

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



*ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ*

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК



ТОМ ВТОРОЙ

ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

РАССКАЗЫ

1884



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Подготовка текста и примечания
Н. Н. АКОПОВОЙ

ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

Роман в пяти частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Приехал... барыня, приехал! — задыхавшимся голосом прошептала горничная Матрешка, вбегая в спальню Хионии Алексеевны Заплатиной. — Вчера ночью приехал... Остановился в «Золотом якоре».

Заплатина, дама неопределенных лет с выцветшим лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезабилье. Волосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по плечам, но они не могли задрапировать ни жилистой худой шеи, ни грязной ночной кофты, открывавшей благодаря оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. Известие, принесенное Матрешкой, поразило Заплатину как громом, и она даже выронила из рук гребень, которым расчесывала свои волосы перед зеркалом. В углу комнаты у небольшого окна, выходившего на двор, сидел мужчина лет под сорок, совсем закрывшись последним номером газеты. Это был сам г. Заплатин, Виктор Николаич, топограф узловской межевой канцелярии. По своей наружности он представлял полную противоположность своей жене: прилично полный, с румянцем на загорелых щеках, с русой окладистой бородкой и добрыми серыми глазками, он так же походил на спелое яблоко, как его достойная половина на моченую грушу. Он маленькими глотками отпивал из стакана кофе и лениво потягивался в своем

мягком глубоком кресле. Появление Матрешки и ее шепот не произвели на Заплатина никакого впечатления, и он продолжал читать свою газету самым равнодушным образом.

— Матрена, голубчик, беги сейчас же к Агриппине Филипьевне... — торопливо говорила Заплатина своей горничной. — Да постой... Скажи ей только одно слово: «приехал». Понимаешь?.. Да ради бога, скорее...

Матрешке в экстренных случаях не нужно было повторять приказаний, — она, по одному мановению руки, с быстротой пушечного ядра летела хоть на край света. Сама по себе Матрешка была самая обыкновенная, всегда грязная горничная, с порядочно измятым глупым лицом и большими темными подглазницами под бойкими карими глазами; ветхое ситцевое платье всегда было ей не впору и сильно стесняло могучие юные формы. В руках Заплатиной Матрешка была золотой человек, потому что обладала счастливой способностью действовать без рассуждений.

— Ах, господи... что же это такое?.. Да Виктор Николаич... Ах, господи!.. — причитала Заплатина, бестолково бросаясь из угла в угол.

— Чего тебе?..

— Да ведь ты слышал: при-е-хал...

— Что же из этого?

— Болван! Да ведь Привалов — миллионер, пойми ты это... Мил-ли-онер!.. Ах, господи, где же мой корсет... где мой корсет?

— Отстань, пожалуйста...

— Дурак!.. Ах, господи... Ведь говорила я Агриппине Филипьевне, уж сколько раз говорила: «Mon ange [1], уж поверьте, что недаром приехал этот ваш братец...» Да-с!.. Вот и вышло по-моему. Ах! вот пойдет переполох: Бахаревы, Ляховские, Половодовы... Я очень рада, что Привалов посбавит им спеси, то есть Ляховским и Половодовым. Уж очень зазнались... даром, что рыльце-то у них в пушку. Вот ужо, погодите, подтянет вас, голубчиков, наследничек-то... Ха-ха... Виктор Ни-

---

[1] Мой ангел, *(франц.)*

колаич, дерево ты этакое, слышишь: *Привалов приехал!*

— Да отвяжись ты от меня, ржавчина! «Приехал, приехал», — передразнивал он жену. — Нужно, так и приехал. Такой же человек, как и мы, грешные... Дай-ка мне миллион, да я...

— Отчего же он не остановился у Бахаревых? — соображала Заплатина, заключая свои кости в корсет. — Видно, себе на уме... Все-таки сейчас поеду к Бахаревым. Нужно предупредить Марью Степановну... Вот и партия Nadine. Точно с неба жених свалился! Этакое счастье этим богачам: своих денег не знают куда девать, а тут, как снег на голову, зять миллионер... Воображаю: у Ляховского дочь, у Половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаревых целых две... Вот извольте тут разделить между ними одного жениха!..

— Бабы — так бабы и есть, — резонировал Заплатин, глубокомысленно рассматривая расшитую цветным шелком полу своего халата. — У них свое на уме! «Жених» — так и было... Приехал человек из Петербурга, — да он и смотреть-то на ваших невест не хочет! Этакого осетра женить... Тьфу!..

— Ничего ты не понимаешь, — с напускным равнодушием проговорила Заплатина, облекаясь в перекрашенное шелковое платье травяного цвета и несколько раз примеривая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой. — Разве мужчины могут что-нибудь понимать? По-твоему, например, Привалов заберется с Иваном Яковличем к арфисткам в «Магнит» и будет совершенно счастлив? Да? Как Лепешкин, Ломтев... Ведь и ты не прочь бы присоединиться к их компании. Пожалуйста, не трудитесь отпираться... Все вы, мужчины, одинаковы, и меня не проведете! Нет... Насквозь всех вас вижу: променяете на первую танцовщицу.

Заплатина круто повернулась перед зеркалом и посмотрела на свою особу в три четверти. Платье сидело кошелем; на спине оно отдувалось пузырями и ложилось вокруг ног некрасивыми тощими складками, точно под ними были палки. «Разве надеть новое платье, которое подарили тогда Панафидины за жениха Капочке?» — подумала Заплатина, но сейчас же решила: «Не

стоит... Еще, пожалуй, Марья Степановна подумает, что я заискиваю перед ними!» Почтенная дама придала своей физиономии гордое и презрительное выражение.

— А ты вот что, Хина, — проговорил Заплатин, наблюдавший за последними маневрами жены. — Ты не очень тово... понимаешь? Пожалей херес-то... А то у тебя нос совсем клюквой...

— У меня... нос клюквой?!.

Хиония Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничтожающим взглядом на мужа, как это делают драматические провинциальные актрисы, величественно проговорила:

— Если без меня приедет сюда Агриппина Филипьевна, передай ей, что я к ней непременно заеду сегодня же... Понял?

— Как не понять: вам с Агриппиной Филиповной теперь работа, в чужом пиру похмелье...

Семья Заплатиных в уездном городке Узле, заброшенном вглубь Уральских гор, представляла оригинальное и вполне современное явление. Она являлась логическим результатом сцепления целой системы причин и следствий, созданных живой действительностью. Эта семья, как истинное дитя своего века, служила выразителем его стремлений, достоинств и недостатков. Виктор Николаич был сын сторожа, отставного солдата. Кое-как, с грехом пополам, выучился он грамоте и в самой зеленой юности поступил в уездный суд, где годам к тридцати добился пятнадцати рублей жалованья. По тому времени этих денег было совершенно достаточно, чтобы одеваться прилично и иметь доступ в скромные чиновничьи дома. Последнее, ничтожное в своей сущности обстоятельство имело в жизни Заплатина решающее значение. На одной из чиновничьих вечеринок он встретился с чрезвычайно бойкой гувернанткой. Она заинтересовала маленького чиновника. Правда, у гувернантки была довольно сомнительная репутация, но это совершенно выкупалось тремя тысячами приданого. Заплатин был рассудительный человек и сразу сообразил, что дело не в репутации, а в том, что сто восемьдесят рублей его жалованья сами по себе ничего не обещают в будущем, а плюс три тысячи пред-

ставляют нечто очень существенное. Этот брак состоялся, и его плодами постепенно явились двадцать пять рублей жалованья вместо прежних пятнадцати, далее свой домик, стоивший по меньшей мере тысяч пятнадцать, своя лошадь, экипажи, четыре человека прислуги, приличная барская обстановка и довольно кругленький капитальчик, лежавший в ссудной кассе. Одним словом, настоящее положение Заплатиных было совершенно обеспечено, и они проживали в год около трех тысяч. А между тем Виктор Николаич продолжал получать свои триста рублей в год, хотя служил уже не в уездном суде, а топографом при узловской межевой канцелярии. Все, конечно, знали скудные размеры жалованья Виктора Николаича и, когда заходила речь об их широкой жизни, обыкновенно говорили: «Помилуйте, да ведь у Хионии Алексеевны пансион; она знает отлично французский язык...» Другие говорили просто: «Да, Хиония Алексеевна очень умная женщина». И далекая провинция начинает проникаться сознанием, что умные люди могут получать триста рублей, а проживать три тысячи. Это вполне современное явление никому не резало глаз, а подводилось под разряд тех фактов, которые правы уже по одному тому, что они существуют.

Домик Заплатиных был устроен следующим образом. Довольно приличный подъезд вел в светлую переднюю. Из передней одна дверь вела прямо в уютную небольшую залу, другая — в три совершенно отдельных комнаты и третья — в темный коридор, служивший границей собственно между половиной, где жили Заплатины, и пансионом. Центром всего дома, конечно, была гостиная, отделанная с трактирной роскошью; небольшой столовой она соединялась непосредственно с половиной Заплатиных, а дверью — с теми комнатами, которые по желанию могли служить совершенно отдельным помещением или присоединяться к зале. В зале стояли порядочный рояль и очень приличная мебель. В других комнатах мебель была сборная, обои не первой молодости, занавески с пятнами и отпечатками грязных пальцев Матрешки. В домике Заплатиных кипела вечная ярмарка: одни приезжали, другие уезжали.

Преобладающий элемент составляли дамы. Они являлись сюда за последними новостями, делились слухами и уезжали нагруженные, как пчелы цветочной пылью, целым ворохом сплетен. Idée fixe [1] Хионии Алексеевны была создать из своей гостиной великосветский салон, где бы молодежь училась хорошему тону и довершала свое образование на живых образцах, люди с весом могли себя показать, женщины — блеснуть своей красотой и нарядами, заезжие артисты и артистки — найти покровительство, местные таланты — хороший совет и поощрение и все молодые девушки — женихов, а все молодые люди — невест. Чтобы выполнить во всех деталях этот грандиозный план, у Заплатиных не хватало средств, а главное, что было самым больным местом в душе Хионии Алексеевны, — ее салон обходили первые узловские богачи — Бахаревы, Ляховские и Половодовы. Нужно отдать полную справедливость Хионии Алексеевне, что она не отчаивалась относительно будущего: кто знает, может быть, и на ее улице будет праздник — времена переменчивы. Так ткет паук паутину где-нибудь в темном углу и с терпением, достойным лучшей участи, ждет своих жертв...

— Эта Хиония Алексеевна ни больше, ни меньше, как трехэтажный паразит, — говорил частный поверенный Nicolas Веревкин. — Это, видите ли, вот какая штука: есть такой водяной жук! — черт его знает, как он называется по-латыни, позабыл!.. В этом жуке живет паразит-червяк, а в паразите какая-то глиста... Понимаете? Червяк жрет жука, а глиста жрет червяка... Так и наша Хиония Алексеевна жрет нас, а мы жрем всякого, кто попадет под руку!

Что касается семейной жизни, то на нее полагалось время от двух часов ночи, когда Хиония Алексеевна возвращалась под свою смоковницу из клуба или гостей, до десяти часов утра, когда она вставала с постели. Остальное время всецело поглощалось приемами гостей и разъездами по знакомым. Виктор Николаич мирился с таким порядком вещей, потому что на свободе мог вполне предаваться своему любимому заня-

[1] Неотступная мысль *(франц.)*.

тию — политике. Сидеть в мягком кресле, читать последний номер газеты и отпивать небольшими глотками душистый мокка — ничего лучшего Виктор Николаич никогда не желал. Его мысли постоянно были заняты высшими соображениями европейской политики: Биконсфильд, Бисмарк, Гамбетта, Андраши, Грант — тут было над чем подумать. Относительно своих гостей Виктор Николаич держался таким образом: выходил, делал поклон, улыбался знакомым и, поймав кого-нибудь за пуговицу, уводил его в уголок, чтобы поделиться последними известиями с театра европейской политики.

— Мне нужно посоветоваться с мужем, — обыкновенно говорила Хиония Алексеевна, когда дело касалось чего-нибудь серьезного. — Он не любит, чтобы я делала что-нибудь без его позволения...

Это, конечно, были только условные фразы, которые имели целью придать вес Виктору Николаичу, не больше того. Советов никаких не происходило, кроме легкой супружеской перебранки с похмелья или к ненастной погоде. Виктор Николаич и не желал вмешиваться в дела своей жены.

Что касается пансиона Хионии Алексеевны, то его существование составляло какую-то тайну: появлялись пансионерки, какие-то дальние родственницы, сироты и воспитанницы, жили несколько месяцев и исчезали бесследно, уступая место другим дальним родственницам, сиротам и воспитанницам. Можно было подумать, что у Хионии Алексеевны во всех частях света бесконечная родня. Чему учили в этом пансионе и кто учил — едва ли ответила бы на это и сама Хиония Алексеевна. Пансион имел сношение с внешним миром только при посредстве Матрешки.

Чтобы довершить характеристику той жизни, какая шла в домике Заплатиных, нужно сказать, что французский язык был его душой, альфой и омегой. Французские фразы постоянно висели в воздухе, ими встречали и провожали гостей, ими высказывали то, что было совестно выговорить по-русски, ими пускали пыль в глаза людям непосвященным, ими щеголяли и задавали тон. В жизни Хионии Алексеевны французский язык был

неисчерпаемым источником всевозможных комбинаций, а главное — благодаря ему Хиония Алексеевна пользовалась громкой репутацией очень серьезной, очень образованной и вообще передовой женщины.

II

Бахаревский дом стоял в конце Нагорной улицы. Он был в один этаж и выходил на улицу пятнадцатью окнами. Что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии этого дома (как это ни странно, но у каждого дома есть своя физиономия). Под этой широкой зеленой крышей, за этими низкими стенами, выкрашенными в дикий серый цвет, совершалось такое мирное течение человеческого существования! Небольшие светлые окна, заставленные цветами и низенькими шелковыми ширмочками, смотрели на улицу с самой добродушной улыбкой, как умеют смотреть хорошо сохранившиеся старики. Прохожие, торопливо сновавшие по тротуарам Нагорной улицы, с завистью заглядывали в окна бахаревского дома, где все дышало полным довольством и тихим семейным счастьем. Вероятно, очень многим из этих прохожих приходила в голову мысль о том, что хоть бы месяц, неделю, даже один день пожить в этом славном старом доме и отдохнуть душой и телом от житейских дрязг и треволнений.

Каменные массивные ворота вели на широкий двор, усыпанный, как в цирке, мелким желтым песочком. Самый дом выходил на двор двумя чистенькими подъездами, между которыми была устроена широкая терраса, затянутая теперь вьющейся зеленью и маркизою с крупными фестонами. Эта терраса низенькими широкими ступенями спускалась в красивый цветник, огороженный деревянной зеленой решеткой. В глубине двора стояли крепкие деревянные службы. Между ними и домом тянулась живая стена акаций и сиреней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за красивой чугунной решетки с изящными столбиками. Параллельно с зданием главного дома тянулся длинный деревянный флигель, где помещались кухня, кучерская и баня.

Внутри бахаревский дом делился на две половины, у которых было по отдельному подъезду. Ближайший к воротам подъезд вел на половину хозяина, Василья Назарыча, дальний — на половину его жены, Марьи Степановны. Когда вы входили в переднюю, вас уже охватывала та атмосфера довольства, которая стояла в этом доме испокон веку. Обе половины представляли ряд светлых уютных комнат с блестящими полами и свеженькими обоями. Потолки были везде расписаны пестрыми узорами, и небольшие белые двери всегда блестели, точно они вчера были выкрашены; мягкие тропинки вели по всему дому из комнаты в комнату. Была и разница между половинами Василья Назарыча и Марьи Степановны, но об этом мы поговорим после, потому что теперь к второму подъезду с дребезгом подкатился экипаж Хионии Алексеевны, и она сама весело кивала своей головой какой-то девушке, которая только что вышла на террасу.

— Ах, mon ange! — воскликнула Хиония Алексеевна, прикладываясь своими синими сухими губами к розовым щекам девушки. — Je suis charmée! [1] Вы, Nadine, сегодня прелестны, как роза!.. Как идет к вам это полотняное платье... Вы походите на Маргариту в «Фаусте», когда она выходит в сад. Помните эту сцену?

Надежда Васильевна, старшая дочь Бахаревых, была высокая симпатичная девушка лет двадцати. Ее, пожалуй, можно было назвать красивой, но на Маргариту она уже совсем не походила. Сравнение Хионии Алексеевны вызвало на ее полном лице спокойную улыбку, но темносерые глаза, опушенные густыми черными ресницами, смотрели из-под тонких бровей серьезно и задумчиво. Она откинула рукой пряди светлорусых гладко зачесанных волос, которые выбились у нее из-под летней соломенной шляпы, и спокойно проговорила:

— Вы находите, что я очень похожа на Маргариту?

— О! совершенная Маргарита!..

— Как же вы недавно сравнивали меня с кем-то другим?

---

[1] Я восхищена! *(франц.)*

— Ах, да, это совсем другое дело: если вы наденете русский сарафан, тогда... Марья Степановна дома? Я приехала по одному очень и очень важному делу, которое, mon ange, немного касается и вас...

— Опять, вероятно, жениха подыскали?

— Что же в этом дурного, mon ange? У всякой Маргариты должен быть свой Фауст. Это уж закон природы... Только я никого не подыскивала, а жених сам явился. Как с неба упал...

— И не ушибся?

Хиония Алексеевна замахала руками, как ветряная мельница, и скрылась в ближайших дверях. Она, с уверенностью своего человека в доме, миновала несколько комнат и пошла по темному узкому коридору, которым соединялись обе половины. В темноте чьи-то небольшие мягкие ладони закрыли глаза Хионии Алексеевны, и девичий звонкий голос спросил: «Угадайте, кто?»

— Ах! коза, коза... — разжимая теплые полные руки, шептала Хиония Алексеевна. — Кто же, кроме тебя, будет у вас шутить? Сейчас видела Nadine... Ей, кажется, и улыбнуться-то тяжело. У нее и девичьего ничего нет на уме... Ну, здравствуй, Верочка, ma petite chèvre!.. [1] Ах, молодость, молодость, все шутки на уме, смехи да пересмехи.

— Да о чем же горевать, Хиония Алексеевна? — спрашивала Верочка, звонко целуя гостью. Верочка ничего не умела делать тихо и «всех лизала», как отзывалась об ее поцелуях Надежда Васильевна.

— Ах, ma petite [2], все еще будет: и слезки, может, будут, и сердечко защемит...

— Ну и пусть щемит: я буду тогда плакать. Мама в моленной... Вы ведь к ней?

— О да, мне ее непременно нужно видеть,— серьезно проговорила Хиония Алексеевна, поправляя смятые ленты. — Очень и очень нужно, — многозначительно прибавила она.

— Я сейчас, — проговорила Верочка, бойко повернулась на одной ножке и быстро исчезла.

---

[1] моя маленькая козочка!.. *(франц.)*

[2] моя крошка, *(франц.)*

«Вот этой жениха не нужно будет искать: сама найдет, — с улыбкой думала Хиония Алексеевна, провожая глазами убегавшую Верочку. — Небось не закиснет в девках, как эти принцессы, которые умеют только важничать... Еще считают себя образованными девушками, а когда пришла пора выходить замуж, — так я же им и ищи жениха. Ох, уж эти мне принцессы!»

Хиония Алексеевна прошла в небольшую угловую комнату, уставленную старинной мебелью и разными поставцами с серебряной посудой и дорогим фарфором. Китайские чашечки, японские вазы, севрский и саксонский сервизы красиво пестрели за большими стеклами. В переднем углу, в золоченом иконостасе, темнели образа старинного письма; изможденные, высохшие лица угодников, с вытянутыми в ниточку носами и губами, с глубокими морщинами на лбу и под глазами, уныло глядели из дорогих золотых окладов, осыпанных жемчугом, алмазами, изумрудами и рубинами. Неугасимая лампада слабым ровным светом теплилась перед ними. Небольшие окна были задрапированы чистенькими белыми занавесками; между горшками цветов на лакированных подоконниках стояли ведерные бутыли с наливками из княженики и рябины. Хиония Алексеевна прошла по мягкому персидскому ковру и опустилась на низенький диванчик, перед которым стоял стол красного дерева с львиными лапами вместо ножек. Совершенно особенный воздух царил в этой комнатке: пахло росным ладаном, деревянным маслом, какими-то душистыми травами и еще бог знает чем-то очень приятным, заставлявшим голову непривычного человека тихо и сладко кружиться. Темносиние обои с букетами цветов и золотыми разводами делали в комнате приятный для глаза полумрак. Писанная масляными красками старинная картина в тяжелой золотой раме висела над самым диваном. Молодой человек и девушка в костюмах первой французской революции сидели под развесистым деревом и нежно смотрели друг другу в глаза. Направо от диванчика была пробита в стене небольшая дверь, замаскированная коричневыми драпри. Это была спальня самой Марьи Степановны.

— Добрые вести не лежат на месте! — весело проговорила высокая, полная женщина, показываясь в дверях спальни; за ее плечом виднелось розовое бойкое лицо Верочки, украшенное на лбу смешным хохолком.

— Ах! Марья Степановна... — встрепенулась Хиония Алексеевна всеми своими бантами, вскакивая с дивана. В скобках заметим, что эти банты служили не столько для красоты, сколько для прикрытия пятен и дыр. — А я действительно с добрыми вестями к вам.

Марья Степановна была в том неопределенном возрасте, когда женщину нельзя еще назвать старухой. Для своих пятидесяти пяти лет она сохранилась поразительно, и, глядя на ее румяное свежее лицо с большими живыми темными глазами, никто бы не дал ей этих лет. Одета она была в шелковый синий сарафан старого покроя, без сборок позади и с глухими проймами на спине. Белая батистовая рубашка выбивалась из-под этих пройм красивыми буфами и облегала полную белую шею небольшой розеткой. Золотой позумент в два ряда был наложен на переднее полотнище сарафана от самого верху до подола; между позументами красиво блестели большие аметистовые пуговицы. Русые густые волосы на голове были тщательно подобраны под красивую сороку из той же материи, как и сарафан; передний край сороки был украшен широкой жемчужной повязкой. В этом костюме Марья Степановна была типом старинной русской красавицы. Медленно переступая на высоких красных каблучках, Марья Степановна подошла к своей гостье и поцеловалась с ней.

— Ты бы, Верочка, сходила в кладовую, — проговорила она, усаживаясь на диван. — Там есть в банке варенье... Да скажи по пути Досифеюшке, чтобы нам подали самоварчик.

Верочка нехотя вышла из комнаты. Ей до смерти хотелось послушать, что будет рассказывать Хиония Алексеевна. Ведь она всегда привозит с собой целую кучу рассказов и новостей, а тут еще сама сказала, что ей «очень и очень нужно видеть Марью Степановну».

«Этакая мамаша!» — думала девушка, надувая и без того пухлые губки.

— Зачем вы ее выслали? — говорила Хиония Алексеевна, когда Верочка вышла.

— Молода еще; все будет знать — скоро состарится.

— Ах, Марья Степановна, какую я вам новость привезла! — торжественно заговорила Хиония Алексеевна, поднимая вылезшие брови чуть не до самой шляпы. — Вчера приехал *При-ва-лов*... Сергей Александрыч Привалов... Разве вы не слыхали?.. Да, приехал.

У Марьи Степановны от этого известия опустились руки, и она растерянно прошептала:

— Как же это... Где же он остановился?

— В «Золотом якоре», в номерах для приезжающих. Занял рублевый номер, — рапортовала Хиония Алексеевна. — С ним приехал человек... три чемодана... Как приехал, так и лег спать.

— Зачем же это Привалов в трактире остановился?

— Не в трактире, а в номерах для приезжающих, Марья Степановна, — поправила Хиония Алексеевна.

— Ах, матушка, по мне все равно... Не бывала я там никогда. Отчего же он в свой дом не проехал или к нам? Ведь не выгнала бы...

— Вот уж это вы напрасно, Марья Степановна!.. Разве человек образованный будет беспокоить других? Дом у Привалова, конечно, свой, да ведь в нем жильцы. К вам Привалову было ближе приехать, да ведь он понимает, что у вас дочери — невесты... Знаете, все-таки неловко молодому человеку показать себя сразу неделикатным. Я как услышала, что Привалов приехал, так сейчас же и перекрестилась: вот, думаю, господь какого жениха Nadine послал... Ей-богу! А сама плачу... Не знаю, о чем плачу, только слезы так и сыплются. И сейчас к вам...

— Да может быть, Привалов без нас с вами женился?

— Ах, Марья Степановна!.. Уж я не стала бы напрасно вас тревожить. Нарочно пять раз посылала Матрешку, а она через буфетчика от приваловского человека всю подноготную разузнала. Только устрой, господи, на пользу!.. Уж если это не жених, так весь свет

пройти надо: и молодой, и красивый, и богатый. Миллио-нер... Да ведь вам лучше это знать!

— Ну, миллионы-то еще надо ему самому наживать, — степенно проговорила Марья Степановна, подбирая губы оборочкой...

— Ах, помилуйте, что вы?!. Да ведь после матери досталось ему пятьсот тысяч...

— Убавьте триста-то, Хиония Алексеевна.

— Ну, что же? Ну, пусть будет двести тысяч. И это деньги.

— Да ведь он их, наверно, давно прожил там, в своем Петербурге-то.

— И нисколько не прожил... Nicolas Веревкин вместе с ним учился в университете и прямо говорит: «Привалов — самый скромный молодой человек...» Потом после отца Привалову достанется три миллиона... Да?

— Это, Хиония Алексеевна, еще старуха надвое сказала... Трудно получить эти деньги, если только они еще есть. Ведь заводы все в долгу.

— Ах, господи, господи!.. — взмолилась Хиония Алексеевна. — И что вам за охота противоречить, когда всем, решительно всем известно, что Привалов получит три миллиона. Да-с, три, три, три!..

Последняя фраза целиком долетела до маленьких розовых ушей Верочки, когда она подходила к угловой комнате с полной тарелкой вишневого варенья. Фамилия Привалова заставила ее даже вздрогнуть... Неужели это тот самый Сережа Привалов, который учился в гимназии вместе с Костей и когда-то жил у них? Один раз она еще укусила его за ухо, когда они играли в жгуты... Сердце у Верочки по неизвестной причине забило тревогу, и в голове молнией мелькнула мысль: «Жених... жених для Нади!»

— Что с тобой, Верочка? — спрашивала Марья Степановна, когда дочь вошла в комнату, раскрасневшаяся, как пион.

— Я... я, мама, очень скоро бежала по лестнице, — отвечала Верочка, еще более краснея.

— Ах, молодость, молодость! — шептала сладким голосом Хиония Алексеевна, закатывая глаза. — Да...

Вот что значит молодость: и невинна, и пуглива, и смешна. Кому не было шестнадцати лет!..

Верочка в эту минуту в своем смущении, с широко раскрытыми карими глазами, с блуждающей по лицу улыбкой, с вспыхивавшими на щеках и подбородке ямочками была действительно хороша. Русые темные волосы были зачесаны у нее так же гладко, как и у сестры, за исключением небольшого хохолка, который постоянно вставал у нее на конце пробора, где волосы выходили на лоб небольшим мысиком. Тяжелая коса трубой лежала на спине. Только светлопалевое платье немного портило девушку, придавая ей вид кисейной барышни, но яркие цвета были страстью Верочки, и она любила щегольнуть в розовом, сиреневом или голубом. «А... радуга», — говорил Виктор Васильич, брат Верочки, когда она одевалась по своему вкусу. Теперь ей только что минуло шестнадцать лет, и она все еще не могла привыкнуть к своему длинному платью, которое сводило ее с ума. Фигура у Верочки еще не сформировалась, и она попрежнему осталась «булкой», как в шутку иногда называл ее отец.

Эта немая сцена была прервана появлением Досифеи, которая внесла в комнату небольшой томпаковый самовар, кипевший с запальчивостью глубоко оскорбленного человека. Досифея была такая же высокая и красивая женщина, как сама Марья Степановна, только черты ее правильного лица носили более грубый отпечаток, как у всех глухонемых. Косоклинный кубовый сарафан облегал ее могучие формы; на голове была девичья повязка, какие носят старообрядки. Длинный белый передник был подвязан под самые мышки. Марья Степановна сделала ей несколько знаков рукой; Досифея с изумлением посмотрела кругом, потом стремительно выбежала из комнаты и через минуту была на террасе, где Надежда Васильевна читала книгу. Глухонемая бросилась к девушке и принялась ее душить в своих могучих объятиях, покрывая безумными поцелуями и слезами ее лицо, шею, руки.

— Что это с тобой? — удивилась Надежда Васильевна, когда пароксизм миновал.

— Ммм... ааа... — мычала Досифея, делая знаки руками и головой.

— Вот еще где наказание-то, — вслух подумала Надежда Васильевна, — да эта Хина кого угодно сведет с ума!

Девушка знаками объяснила глухонемой, что над ней пошутили и что никакого жениха нет и не будет. Досифея недоверчиво покачала головой и объяснила знаками, что это ей сказала «сама», то есть Марья Степановна.

III

— Это Привалов! — вскрикнула Хиония Алексеевна, когда во дворе к первому крыльцу подъехал на извозчике какой-то высокий господин в мягкой серой шляпе.

— Как же это так... скоро... вдруг, — говорила растерявшаяся Марья Степановна. — Верочка, беги скорее к отцу... скажи... Ах, чего это я горожу!

— Позовите сюда Nadine, Верочка! — скомандовала Хиония Алексеевна.

— Да, да, позови ее, — согласилась Марья Степановна. — Как же это?.. У нас и к обеду ничего нет сегодня. Ах, господи! Вы сказали, что ночью приехал, я и думала, что он завтра к нам приедет.. У Нади и платья нового, кажется, нет. Портнихе заказано, да и лежит там...

Надежда Васильевна попалась Верочке в темном коридорчике; она шла в свою комнату с разогнутой книгой в руках.

— Иди, ради бога, иди, скорее иди!.. — шептала Верочка, поднимаясь на носки.

— Да что с тобой, Верочка?

— Ах, иди, иди...

Надежда Васильевна видела, что от Верочки ничего не добьется, и пошла по коридору. Верочка несколько мгновений смотрела ей вслед, потом быстро ее догнала, поправила по пути платье и, обхватив сестру руками сзади, прильнула безмолвно губами к ее шее.

— Сегодня, кажется, все с ума сошли, — проговорила недовольным голосом Надежда Васильевна, осво-

бождаясь из объятий сестры. — И к чему эти телячьи нежности; давеча Досифея чуть не задушила меня, теперь ты...

— Надя... — шептала задыхающимся голосом Верочка, хватаясь рукой за грудь, из которой сердце готово было выскочить: так оно билось. — Приехал... Привалов!..

Надежда Васильевна прошла в комнату матери, а Верочка на цыпочках пробралась к самой передней и в замочную скважину успела рассмотреть Привалова. Он теперь стоял посреди комнаты и разговаривал с старым Лукой.

— Что, не узнал меня? — спрашивал Привалов седого низенького старичка с моргающими глазками.

— Нет... невдомек будет, — говорил Лука, медленно шевеля старческими, высохшими губами.

— А Сережу Привалова помнишь?

— Батюшка ты наш, Сергей Александрыч!.. — дрогнувшим голосом запричитал Лука, бросаясь снимать с гостя верхнее пальто и по пути целуя его в рукав сюртука. — Выжил я из ума на старости лет... Ах ты, господи!.. Угодники, бессребренники...

— Василий Назарыч здоров? — спрашивал Привалов.

— Да, да... То есть... Ах, чего я мелю!.. Пожалуйте, батюшка, позвольте, только я доложу им. В гостиной чуточку обождите... Вот где радость-то!..

— Ну, а ты, Лука, как поживаешь? — спрашивал Привалов, пока они проходили до гостиной.

— Что мне делается; живу, как старый кот на печке. Только вот ноги проклятые не слушают. Другой раз точно на чужих ногах идешь... Ей-богу! Опять, тоже вот идешь по ровному месту, а левая нога начнет задирать и начнет задирать. Вроде как подымаешься по лестнице.

С старческой болтливостью в течение двух-трех минут Лука успел рассказать почти все: и то, что у барина тоже одна ножка шаркает, и что у них с Костенькой контры, и что его, Луку, кровно обидели — наняли «камардина Игреньку», который только спит.

— Вот он, — проговорил Лука, показывая глазами

на молодого красивого лакея с английским пробором. — Ишь, челку-то расчесал! Только уж я сам доложу о вас, Сергей Александрыч... Да какой вы из себя-то молодец... а! Я живой ногой... Ах ты, владычица небесная!..

И, задирая левой ногой, Лука направился к дубовой запертой двери. Верочка осталась совершенно довольна своими наблюдениями: Привалов в ее глазах оказался вполне достойным занять роль того мифического существа, каким в ее воображении являлся жених Нади. Ведь Надя необыкновенная девушка — красивая, умная, следовательно, и жених Нади должен быть необыкновенным существом. Во-первых, Привалов — миллионер (Верочка была очень практическая особа и хорошо знала цену этому магическому слову); во-вторых, о нем столько говорили, и вдруг он является из скрывавшей его неизвестности... Его высокий рост, голос, даже большая русая борода с красноватым оттенком, — все было хорошо в глазах Верочки. Между тем Привалов совсем не был красив. Лицо у него было неправильное, с выдающимися скулами, с небольшими карими глазами и широким ртом. Правда, глаза эти смотрели таким добрым взглядом, но ведь этого еще мало, чтобы быть красивым.

— Вот изволь с ней поговорить! — горячилась Марья Степановна, указывая вбежавшей Верочке на сестру. — Не хочет переменить даже платье...

— Ну что, какой он: красавец? брюнет? блондин? Главное — глаза, какие у него глаза? — сыпала вопросами Хиония Алексеевна, точно прорвался мешок с сухим горохом.

— Высокий... носит длинную бороду... с Лукой разговаривал...

— Ах, Верочка, глаза... какие у него глаза?

— Кажется, черные... нет, серые... черные...

— Что он с Лукой говорил? — спросила Марья Степановна.

Верочка начала выгружать весь запас собранных ею наблюдений, постоянно путаясь, повторяла одно и то же несколько раз. Надежда Васильевна с безмолвным сожалением смотрела на эту горячую сцену и не знала, что ей делать и куда деваться.

Неожиданное появление Привалова подняло переполох в бахаревском доме сверху донизу. Марья Степановна в своей спальне при помощи горничной Даши и Хионии Алексеевны переменяла уже третий сарафан; Верочка тут же толклась в одной юбке, не зная, какому из своих платьев отдать предпочтение, пока не остановилась на розовом барежевом. Как всегда в этих случаях бывает, крючки ломались, пуговицы отрывались, завязки лопались; кажется, чего проще иголки с ниткой, а между тем за ней нужно было бежать к Досифее, которая производила в кухне настоящее столпотворение и ничего не хотела знать, кроме своих кастрюль и горшков. Старый Лука — и тот, схватив мел и суконку, усердно полировал бронзовую ручку двери.

— Устрой, милостивый господи, все на пользу... — вслух думал старый верный слуга, поплевывая на суконку. — Уж, кажется, так бы хорошо, так бы хорошо... Вот думать, так не придумать!.. А из себя-то какой молодец... в прероду свою вышел. Отец-то вон какое дерево был: как, бывало, размахнется да ударит, так замертво и вынесут.

— Уж вы, Хиония Алексеевна, пожалуйста, не оставляйте нас, — не зная зачем, просила Марья Степановна.

— Помилуйте, Марья Степановна: я нарочно ехала предупредить вас, — не без чувства собственного достоинства отвечала Хиония Алексеевна, напрасно стараясь своими костлявыми руками затянуть корсет Верочки. — Ах, Верочка... Ведь это ужасно: у женщины прежде всего талия... Мужчины некоторые сначала на талию посмотрят, а потом на лицо.

— Что же мне делать, Хиония Алексеевна? — со слезами в голосе спрашивала бедная девочка.

— Теперь уж ничего не поделаешь... А вот вы, козочка, кушайте поменьше — и талия будет. Мы в пансионе уксус пили да известку ели, чтобы интереснее казаться...

Только один человек во всем доме не принимал никакого участия в этом переполохе. Это был младший сын Бахарева, Виктор Васильевич. Он лежал в одной

из самых дальних комнат, выходившей окнами в сад. Вернувшись домой только в шесть часов утра, «еле можаху», он, не раздеваясь, растянулся на старом клеенчатом диване и теперь лежал в расстегнутой куцей визитке табачного цвета, в смятых панталонах и в одном сапоге. Другой сапог валялся около дивана вместе с раскрытыми золотыми часами. Молодое бледное лицо с густыми черными бровями и небольшой козлиной бородкой было некрасиво, но оригинально; нос с вздутыми тонкими ноздрями и смело очерченные чувственные губы придавали этому лицу капризный оттенок, как у избалованного ребенка. Игорь несколько раз пробовал разбудить молодого человека, но совершенно безуспешно: Виктор Васильевич отбивался от него руками и ногами.

— Велели беспременно разбудить, — говорил Игорь, становясь в дверях так, чтобы можно было увернуться в критическом случае. — У них гости... Приехал господин Привалов.

— Какой там Привалов... Не хочу знать никакого Привалова! Я сам Привалов... к черту!.. — кричал Бахарев, стараясь попасть снятым сапогом в Игоря. — Ты, видно, вчера пьян был... без задних ног, раккалия!.. Привалова жена в окно выбросила... Привалов давно умер, а он: «Привалов приехал...» Болван!

— Это уж как вам угодно будет, — обиженным голосом заявил Игорь, продолжая стоять в дверях.

— Мне угодно, чтобы ты провалился ко всем семи чертям!

— Может, прикажете сельтерской воды или нашатырного спирту... весь хмель как рукой снимет.

— А! так ты вот как со мной разговариваешь...

— Мне что... мне все равно, — с гонором говорил Игорь, отступая в дверях. — Для вас же хлопочу... Вы и то мне два раза каблуком в скулу угадали. Вот и знак-с...

— Ну, и убирайся к чертовой матери с своим знаком, пока я из тебя лучины не нащепал!

Игорь скрылся. Бахарев попробовал раскрыть глаза, но сейчас же закрыл их: голова чертовски трещала от вчерашней попойки.

«И пьют же эти иркутские купцы... здорово пьют! — рассуждал он. — А Иван-то Яковлич... ах, старый хрен!»

IV

Когда Привалов вошел в кабинет Бахарева, старик сидел в старинном глубоком кресле у своего письменного стола и хотел подняться навстречу гостю, но сейчас же бессильно опустился в свое кресло и проговорил взволнованным голосом:

— Да откуда это ты... вы... Вот уж, поистине сказать, как снег на голову. Ну, здравствуй!..

Наклонив к себе голову Привалова, старик несколько раз крепко поцеловал его и, не выпуская его головы из своих рук, говорил:

— Какой ты молодец стал... а! В отца пошел, в отца... Когда к нам в Узел-то приехал?

— Сегодня ночью, Василий Назарыч.

— Да, да, ночью, — бормотал старик, точно стараясь что-то припомнить. — Да, сегодня ночью...

— Как здоровье Марьи Степановны?

— Моей старухи? Ничего, молится... Нет, право, какой ты из себя-то молодец... а!

— Я прежде всего должен поблагодарить вас, Василий Назарыч... — заговорил Привалов, усаживаясь в кресло напротив старика.

— Как ты сказал: поблагодарить?

— Да, потому что я так много обязан вам, Василий Назарыч.

— Э, перестань, дружок, это пустое. Какие между нами счеты... Вот тебе спасибо, что ты приехал к нам. Пора, давно пора. Ну, как там дела-то твои?

— Все в том же положении, Василий Назарыч.

— Гм... я думал, лучше. Ну, да об этом еще успеем натолковаться! А право, ты сильно изменился... Вот покойник Александр-то Ильич, отец-то твой, не дожил... Да. А ты его не вини. Ты еще молод, да и не твое это дело.

— Я хорошо понимаю это, Василий Назарыч.

— Нет, ты не вини. Не бери греха на душу...

Коренастая, широкоплечая фигура старика Бахарева тяжело повернулась в своем кресле. Эта громадная голова с остатками седых кудрей и седой всклокоченной бородой была красива оригинальной старческой красотой. Небольшие проницательные серые глаза смотрели пытливо и сурово, но теперь были полны любви и теплой ласки. Самым удивительным в этом суровом лице с сросшимися седыми бровями и всегда сжатыми плотно губами была улыбка. Она точно освещала все лицо. Так умеют смеяться только дети да слишком серьезные и энергичные старики.

Кабинет Бахарева двумя окнами выходил на улицу и тремя на двор. Стены были оклеены скромными коричневыми обоями, окна задрапированы штофными синими занавесями. В этой комнате всегда стоял полусвет. На полу лежал широкий персидский ковер. У стены, напротив стола, стоял низкий турецкий диван, в углу железный несгораемый шкаф, в другом — этажерка. На письменном столе правильными рядами были разложены конторские книги и счеты с белыми облатками. У яшмового письменного прибора стопочкой помещались печатные бланки с заголовком: «Главная приисковая контора В. Н. Бахарева». Они вместо пресса были придавлены платиновым самородком в несколько фунтов весу. На самом видном месте помещалась большая золотая рамка с инкрустацией из ляпис-лазури; в ней была вставлена отцветшая, порыжевшая фотография Марьи Степановны с четырьмя детьми. На стене, над самым диваном, висела в богатой резной раме из черного дерева большая картина, писанная масляными красками. На ней был оригинальный вид сибирского прииска, заброшенного вглубь Саянских гор. На первом плане стояла пестрая кучка приисковых рабочих, вскрывавших золотоносный пласт. Направо виднелась большая золотопромывательная машина, для неопытного глаза представлявшая какую-то городьбу из деревянных балок, желобов и колес. На заднем плане картины, на небольшом пригорочке, — большая приисковая контора, несколько хозяйственных пристроек и длинные корпуса для приисковых рабочих. Высокие горы, сплошь обросшие дремучим сибирским

лесом, замыкали картину на горизонте. Это был знаменитый в летописях сибирской золотопромышленности Варваринский прииск, открытый Васильем Бахаревым и Александром Приваловым в глубине Саянских гор, на какой-то безыменной горной речке. Варваринским он был назван в честь Варвары Павловны, матери Сергея Привалова.

Привалова поразило больше всего то, что в этом кабинете решительно ничего не изменилось за пятнадцать лет его отсутствия, точно он только вчера вышел из него. Все было так же скромно и просто, и стояла все та же деловая обстановка. Привалову необыкновенно хорошо казалось все: и кабинет, и старик, и даже самый воздух, отдававший дымом дорогой сигары.

Именно такою представлял себе Привалов ту обстановку, в которой задумывались стариком Бахаревым его самые смелые предприятия и вершились дела на сотни тысяч рублей.

— Что же мы сидим тут? — спохватился Бахарев. — Пойдем к старухе... Она рада будет видеть этакого молодца. Пойдем, дружок!

Старик было поднялся со своего кресла, но опять опустился в него с подавленным стоном. Больная нога давала себя чувствовать.

— Позвольте, я помогу вам, — предложил Привалов.

— Нет, ты не сумеешь этого сделать, — с печальной улыбкой проговорил старик и позвонил. — Вот Лука — тот на эти дела мастер. Да... Отошло, видно, золотое времечко, Сергей Александрыч, — грустно заговорил Бахарев. — Сегодня ножка болит, завтра ручка, а потом придет время, что и болеть будет нечему... А время-то, время-то теперь какое... а? Ведь каждый час дорог, а я вот пачкаюсь здесь с докторами. Спать даже не могу. Как подумаю, что делается без меня на приисках, так вот сердце кровью и обольется. Кажется, взял бы крылья, да и полетел... Да. А замениться некем! Один сын умнее отца хочет быть, другой... да вот сам увидишь! Дочерей ведь не пошлешь на прииски.

При помощи Луки Бахарев поднялся с кресла и, шаркая одной ногой, пошел к дверям.

— Вот, Лука, и мы с тобой дожили до радости, — говорил Бахарев, крепко опираясь на плечо верного старого слуги. — Видел, какой молодец?..

— Уж на что лучше, Василий Назарыч! Я даже не узнал их... Можно сказать, совсем преобразились. Бывало, когда еще в емназии с Костенькой учились...

— Опять? — строго остановил Бахарев заболтавшегося старика. — Позабыл уговор?

— Не буду, не буду, Василий Назарыч!.. Так, на радостях, с языка слово сорвалось...

— Послушай, да ты надолго ли к нам-то приехал? — спрашивал Бахарев, останавливаясь в дверях. — Болтаю, болтаю, а о главном-то и не спрошу...

— Я думаю совсем здесь остаться, Василий Назарыч.

— Слава тебе, господи, — с умилением проговорил Лука, откладывая свободной рукой широчайший крест.

V

Привалов шел за Васильем Назарычем через целый ряд небольших комнат, убранных согласно указаниям моды последних дней. Дорогая мягкая мебель, ковры, бронза, шелковые драпировки на окнах и дверях — все дышало роскошью, которая невольно бросалась в глаза после скромной обстановки кабинета. В небольшой голубой гостиной стояла новенькая рояль Беккера; это было новинкой для Привалова, и он с любопытством взглянул на кучку нот, лежавших на пюпитре.

— Мы ведь нынче со старухой на две половины живем, — с улыбкой проговорил Бахарев, останавливаясь в дверях столовой передохнуть. — Как же, по-современному... Она ко мне на половину ни ногой. Вот в столовой сходимся, если что нужно.

Сейчас за столовой началась половина Марьи Степановны, и Привалов сразу почувствовал себя как дома. Все было ему здесь знакомо до мельчайшей подробности и точно освящено детскими воспоминаниями. Полинявшие дорогие ковры на полу, резная старинная мебель красного дерева, бронзовые люстры и

канделябры, малахитовые вазы и мраморные столики по углам, старинные столовые часы из матового серебра, плохие картины в дорогих рамах, цветы на окнах и лампадки перед образами старинного письма — все это уносило его во времена детства, когда он был своим человеком в этих уютных низеньких комнатах. Даже самый воздух остался здесь все тем же — теплым и душистым, насквозь пропитанным ароматом домовитой старины.

— Вот и моя Марья Степановна, — проговорил Василий Назарыч, когда они вошли в небольшую темно-красную гостиную.

Привалов увидел высокую фигуру Марьи Степановны, которая была в бледноголубом старинном сарафане и показалась ему прежней красавицей. Когда он хотел поцеловать у нее руку, она обняла его и, по старинному обычаю, степенно приложилась к его щекам своими полными щеками и даже поцеловала его неподвижными сухими губами.

— Нет, ты посмотри, Маша, какой молодец... а? — повторял Василий Назарыч, усаживаясь при помощи Луки в ближайшее кресло.

— В матушку пошел, в Варвару Павловну, — проговорила Марья Степановна, оглядывая Привалова с ног до головы.

— Вот и нет, — возразил старик. — Я как давеча взглянул на него, — вылитый покойный Александр Ильич, как две капли воды.

— Нет, в мать... вылитая мать!

Старики поспорили и остались каждый при своем мнении.

— А ты, поди, совсем обасурманился на чужой-то стороне? — спрашивала Марья Степановна гостя. — И лба не умеешь перекрестить по-истовому-то?.. Щепотью молишься?..

— Нет, зачем же забывать старое, — уклончиво ответил Привалов.

— Никого уж и в живых, почитай, нет, — печально проговорила Марья Степановна, подпирая щеку рукой. — Старая девка Размахнина кое-как держится, да еще Колпакова... Может, помнишь их?..

— Да, помню.

— Добрые люди мрут и нам дорожку трут, — прибавил от себя Бахарев. — Давно ли, ровно, Сергей Александрыч, ты гимназистом-то был, а теперь...

Наступила тяжелая пауза; все испытывали то неловкое чувство, которое охватывает людей, давно не видавших друг друга. Этим моментом отлично воспользовалась Хиония Алексеевна, которая занимала наблюдательный пост в полутемном коридорчике. Она почти насильно вытолкнула Надежду Васильевну в гостиную, перекрестив ее вдогонку.

— Моя старшая дочь, Надежда, — проговорил Василий Назарыч с невольной гордостью счастливого отца.

Привалов поздоровался с девушкой и несколько мгновений смотрел на нее удивленными глазами, точно стараясь что-то припомнить. В этом спокойном девичьем лице с большими темносерыми глазами для него было столько знакомого и вместе с тем столько нового.

— Наде было пять лет, когда вы с Костей уехали в Петербург, — заметила Марья Степановна, давая дочери место около себя.

— Обедать подано, — докладывал Игорь, вытягиваясь в дверях.

— Мы ведь по старинке живем, в двенадцать часов обедаем, — объяснила Марья Степановна, поднимаясь с своего места. — А по-нынешнему господа в восемь часов вечера садятся за стол.

— Да, кто встает в двенадцать часов дня, — заметил Привалов.

— Ну, а ты как?

— Как случится, Марья Степановна. Вот буду жить в Узле, тогда постараюсь обедать в двенадцать.

— Так-то лучше будет, — весело заговорила Марья Степановна; ответ Привалова ей очень понравился. — Ты старины-то не забывай, — наставительно продолжала она по дороге в столовую. — Кто у тебя отцы-то были... а? Ведь столпы были по древлему благочестию. Новшеств этих и знать не хотели, а прожили век не хуже других. А дедушку твоего взять, Павла Михай-

лыча Гуляева? Он часто говаривал, что лучше в одной рубашке останется, а с бритоусами да табашниками из одной чашки есть не будет. Вон какой дом-то выстроил тебе: пятьдесят лет простоял и еще двести простоит. Этаких людей больше и на свете не осталось. Так, мелочь разная.

Привалов плохо слушал Марью Степановну. Ему хотелось оглянуться на Надежду Васильевну, которая шла теперь рядом с Васильем Назарычем. Девушка поразила Привалова, поразила не красотой, а чем-то особенным, чего не было в других.

— Мой младший сын, моя младшая дочь, — коротко отрекомендовал Василий Назарыч Верочку и Виктора Васильича, которые ожидали всех в столовой.

— Это наша хорошая знакомая, Хиония Алексеевна, — рекомендовала Марья Степановна Заплатину, которая ответила на поклон Привалова с приличной важностью.

— Очень приятно, — как во сне повторял Привалов, пожимая руку Виктора Васильича.

— Мне тоже очень приятно, — отвечал Виктор Васильич, расставляя широко ноги и бесцеремонно оглядывая Привалова с ног до головы; он только что успел проснуться, глаза были красны, сюртук сидел криво.

Верочка в своем розовом платье горела, как маков цвет. Ей казалось, что все смотрят именно на нее; эта мысль сильно смущала ее и заставляла краснеть еще больше. «Жених...» — думала она, опуская глаза в сладком волнении. Привалов с любопытством посмотрел на смущенную Верочку и почувствовал себя необыкновенно хорошо, точно он вернулся домой из какого-то далекого путешествия. Именно теперь он отчетливо припомнил двух маленьких девочек, которые нарушали торжественную тишину бахаревского дома вечным шумом, возней и детским смехом. Которую-то из них называли «булкой»... Взглянув на Верочку, Привалов едва успел подавить невольную улыбку: несмотря на свои шестнадцать лет, она все еще оставалась «булкой». Это мимолетное детское воспоминание унесло Привалова в то далекое, счастливое время, когда он еще не отделял себя от бахаревской семьи. Вот в этой

самой столовой происходили те особенные обеды, которые походили на таинство. Маленький Привалов сильно побаивался Марьи Степановны, которая держала себя всегда строго, а за обедом являлась совсем неприступной: никто не смел слова сказать лишнего, и только когда бывал дома Василий Назарыч, эта слишком натянутая обеденная обстановка заметно смягчалась.

— Ты уж не обессудь нас на нашем угощенье, — заговорила Марья Степановна, наливая гостю щей; нужно заметить, что своими щами Марья Степановна гордилась и была глубоко уверена, что таких щей никто не умеет варить, кроме Досифеи.

Старинная фаянсовая посуда с синими птицами и синими деревьями оставалась та же, как и раньше; те же ложки и вилки из массивного серебра с вензелями на ручках. Щи Досифеи, конечно, оставались теми же и так же аппетитно пахли специальным букетом. Привалов испытывал глубокое наслаждение, точно в каждой старой вещи встречал старого друга. Разговор за обедом происходил так же степенно и истово, как всегда, а Марья Степановна в конце стола казалась королевой. Даже Хиония Алексеевна — и та почувствовала некоторый священный трепет при мысли, что имела счастье обедать с миллионером; она, правда, делала несколько попыток самостоятельно вступить в разговор с Приваловым, но, не встречая поддержки со стороны Марьи Степановны, красноречиво умолкала. Зато эта почтенная дама постаралась вознаградить себя мимикой, причем несколько раз самым многознаменательным образом указывала глазами Марье Степановне то на Привалова, то на Надежду Васильевну, тяжело вздыхала и скромно опускала глаза.

— Нынешние люди как-то совсем наособицу пошли, — рассуждала Марья Степановна. — Не приноровишься к ним.

— Ах, совсем дрянной народ, совсем дрянной! — подпевала Хиония Алексеевна, как вторая скрипка в оркестре.

— Это, мама, только так кажется, — заметила Надежда Васильевна. — И прежде было много дурных людей, и нынче есть хорошие люди...

— Конечно, так, — подтвердил Виктор Васильевич. — Когда мы состаримся, будем тоже говорить, что вот в наше время так были люди... Все старики так говорят.

— Да вам с Давидом Ляховским и головы не сносить до старости-то, — проговорил Василий Назарыч.

— Молодость, молодость, — шептала Хиония Алексеевна, закатывая глаза. — Кто не был молод, кому не было шестнадцати лет... Не так ли, Марья Степановна?

Глядя на испитое, сморщенное лицо Хионии Алексеевны, трудно было допустить мысль, что ей когда-нибудь, даже в самом отдаленном прошлом, могло быть шестнадцать лет.

— Вы, вероятно, запишетесь в один из наших клубов, Сергей Александрыч? — спрашивала Заплатина с жестом настоящей grande dame... [1]

— Право, я еще не успел подумать об этом, — отвечал Привалов. — Да вообще едва ли и придется бывать в клубе...

— Да, да... Я понимаю, что вы заняты, у вас дела. Но ведь молодым людям отдых необходим. Не правда ли? — спрашивала Хиония Алексеевна, обращаясь к Марье Степановне. — Только я не советую вам записываться в Благородное собрание: скучища смертная и сплетни, а у нас, в Общественном клубе, вы встретите целый букет красавиц. В нем недостает только Nadine... Ваши таланты, Nadine...

— Давно ли, Хиония Алексеевна, вы сделали такое открытие? — спрашивала с улыбкой Надежда Васильевна.

— О, я это всегда говорила... всегда!.. Конечно, я хорошо понимаю, что вы из скромности не хотите принимать участия в любительских спектаклях.

Когда Надежда Васильевна улыбалась, у нее на широком белом лбу всплывала над левой бровью такая же морщинка, как у Василья Назарыча. Привалов заметил эту улыбку, а также едва заметный жест левым плечом, — тоже отцовская привычка. Вообще было заметно сразу, что Надежда Васильевна ближе стояла к

---

[1] высокопоставленной дамы... *(франц.)*

отцу, чем к матери. В ней до мельчайших подробностей отпечатлелись все те характерные особенности бахаревского типа, который старый Лука подводил под одно слово: «према».

Конец обеда прошел очень оживленно. Хиония Алексеевна, как ни сдерживала свой язык, но под конец выгрузила давивший ее запас последних городских новостей. Привалов, таким образом, имел удовольствие выслушать, что Половодов, конечно, умный человек, но гордец, которого следует проучить. Всего несколько дней назад Хионии Алексеевне представлялся удобный случай к этому, но она не могла им воспользоваться, потому что тут была замешана его сестра, Анна Павловна; а Анна Павловна, девушка хотя и не первой молодости и считает себя передовой, но... и т. д. и т. д.

— Да что я говорю? — спохватилась Хиония Алексеевна. — Ведь Половодов и Ляховский ваши опекуны, Сергей Александрович, — вам лучше их знать.

— Лично мне не приходилось иметь с ними дела, — ответил Привалов.

— Да, да... А Nicolas Веревкин... ведь вы, кажется, с ним вместе в университете учились, если не ошибаюсь?

— Да, вместе.

— Какой это замечательно умный человек, Сергей Александрович. Вы представить себе не можете! Купцы его просто на руках носят... И какое остроумие! Недавно на обвинительную речь прокурора он ответил так: «Господа судьи и господа присяжные... Я могу сравнить речь господина прокурора с тем, если б человек взял ложку, почерпнул щей и пронес ее, вместо рта, к уху». Понимаете: восторг и фурор!..

— Нужно спросить, Хиония Алексеевна, во что обходится остроумие Веревкина его клиентам, — заметил Бахарев.

— Ах, Василий Назарыч... Конечно, Nicolas берет крупные куши, но ведь мы живем в такое время, в такое время... Не правда ли, Марья Степановна?

Марья Степановна ничего не ответила, потому что была занята поведением Верочки и Виктора Васильевича, которые давно пересмеивались насчет Хионии

Алексеевны. Дело кончилось тем, что Верочка, вся красная, как пион, наклонилась над самой тарелкой; кажется, еще одна капелька, и девушка раскатилась бы таким здоровым молодым смехом, какого стены бахаревского дома не слыхали со дня своего основания. Верочку спасло только то, что в самый критический момент все поднялись из-за стола, и она могла незаметно убежать из столовой.

VI

Сейчас после обеда Василий Назарыч, при помощи Луки и Привалова, перетащился в свой кабинет, где в это время, по стариковской привычке, любил вздремнуть часик. Привалов знал эту привычку и хотел сейчас же уйти.

— Нет, постой, с бабами еще успеешь наговориться, — остановил его Бахарев и указал на кресло около дивана, на котором укладывал свою больную ногу. — Ведь при тебе это было, когда умер... Холостов? — старик с заметным усилием проговорил последнее слово, точно эта фамилия стояла у него поперек горла.

— Нет, я в это время был в Петербурге, — ответил Привалов, не понимая вопроса.

— Нет, не то... Как ты узнал, что долг Холостова переведен министерством на ваши заводы?

— Когда я получил телеграмму о смерти Холостова, сейчас же отправился в министерство навести справки. У меня там есть несколько знакомых чиновников, которые и рассказали все, то есть, что решение по делу Холостова было получено как раз в то время, когда Холостов лежал на столе, и что министерство перевело его долг на заводы.

— Меня просто убило это известие, — грустно заговорил Бахарев. — Это несправедливо... Холостов как ваш вотчим и опекун делает миллионный долг при помощи мошенничества, его судят за это мошенничество и присуждают к лишению всех прав и ссылке в Сибирь, а когда он умирает, долг взваливают на вас, наследников. Я еще понимаю, что дело о Холостове затянули на десять лет и вытащили решение в тот момент, когда

Холостова уже нельзя было никуда сослать, кроме царствия небесного... Я это еще понимаю, потому что Холостов был в свое время сильным человеком, и старые благоприятели поддерживали; но перевести частный долг, притом сделанный мошеннически, на наследников... нет, я этого никогда не пойму. А затем эти семьсот тысяч, которые были взяты инженером Масманом во время казенной опеки над заводами, — они тоже перенесены на заводы?

— Да, и они перенесены на нас, потому что деньги были выданы правительством Масману на усиление заводского действия.

— Хорошо. Но ведь Масман до сих пор не представил еще никакого отчета о расходовании этих сумм?

— Ничего не представил.

— Я писал тогда тебе об этом, чтобы хлопотать непременно и притянуть Масмана во что бы то ни стало.

— Василий Назарыч, ведь со времени казенной опеки над заводами прошло почти десять лет... Несмотря ни на какие хлопоты, я не мог даже узнать, существует ли такой отчет где-нибудь. Обращался в контроль, в горный департамент, в дворянскую опеку, везде один ответ: «Ничего не знаем... Справьтесь где-нибудь в другом месте».

— А Масман живет в Петербурге?

— Да, зимой в Петербурге, а летом в Крыму, в собственном имении.

— Купленном на ваши деньги?.. Ха-ха... Ты был у него?

— Несколько раз.

— «Болен» или «не принимают»? Подлецы...

Василий Назарыч тяжело завозился на своем диване и закусил губу.

— А ты знаешь, сколько с процентами составляют эти два долга?

— Около четырех миллионов...

— Да. Когда отец твой умер, на заводах не было ни копейки долгу; оставались еще кой-какие крохи в бумагах да прииски. Когда мачеха вышла за Холостова, он в три года промотал все оставшиеся деньги, заложил прииски, сделал миллионный долг и совсем уронил

заводы. Я надеялся, что когда заводы будут под казенной опекой, — они если не поправятся, то не будут приносить дефицита, а между тем Масман в один год нахлопал на заводы новый миллионный долг. Когда заводы перешли в опекунское управление, я надеялся понемногу опять поднять дело. Костя вот уж пять лет работает на них, как каторжный, и добился ежегодного дивиденда в триста тысяч рублей. Но куда идут деньги?.. Чтобы выплатить четырехмиллионный долг, необходимо поднимать заводы; затем, из этих же денег приходится выплачивать хоть часть процентов по долгу; наконец, остатки уходят на наследников. Мачеха получила свою четырнадцатую часть, вас трое...

— Моя часть целиком уходила на хлопоты, Василий Назарыч.

— Разве я не знаю... Что же, ты видел эту... ну, мачеху свою?

— Нет, я сам не видал, а слышал много.

— Она все в Москве?

— Да. Второй брат страдает тихим помешательством, а младший, Тит, пропал без вести.

— Да, слышал, слышал... Что-нибудь да не чисто в этом деле, я так думаю.

— Теперь трудно сказать, Василий Назарыч.

— Взять теперешних ваших опекунов: Ляховский — тот давно присосался, но поймать его ужасно трудно; Половодов еще только присматривается, нельзя ли сорвать свою долю. Когда я был опекуном, я из кожи лез, чтобы по крайней мере привести все в ясность; из-за этого и с Ляховским рассорился и опеку оставил, а на мое место вдруг назначают Половодова. Если бы я знал... Мне хотелось припугнуть Ляховского, а тут вышла вон какая история. Кто бы этого мог ожидать? Погорячился, все дело испортил.

— Зачем вы так говорите, Василий Назарыч?

— А вот поживи с мое, тогда и сам узнаешь, что и чего стоит. Нет, голубчик, трудно жить на белом свете: везде неправда, везде ложь да обман. Ведь ограбили же вас, сирот; отец оставил вам Шатровские заводы в полном ходу; тогда они больше шести миллионов стоили, а теперь, если пойдут за долг с молотка, и

четырех не дадут. Одной земли четыреста тысяч десятин под заводами... Ох-хо-хо! Не думал я дожить до того, чтобы Шатровские заводы продали за долги. Ведь половина в этих заводах сделана на гуляевские капиталы. Да, Павел-то Михайлыч и дочку-то свою загубил из-за них... Ну, будет, ступай теперь к бабам, а я отдохну.

Бахарев воспользовался случаем выслать Привалова из кабинета, чтобы скрыть овладевшее им волнение; об отдыхе, конечно, не могло быть и речи, и он безмолвно лежал все время с открытыми глазами. Появление Привалова обрадовало честного старика и вместе с тем вызвало всю желчь, какая давно накопилась у него на сердце.

VII

Хиония Алексеевна поспешила сейчас же удалиться, как только заслышала шаги подходившего Привалова; она громко расцеловала Верочку и, пожимая руку Марьи Степановны, проговорила с ударением:

— Я не хочу вам мешать теперь, потому что вы ведь *свои*...

Привалов шел не один; с ним рядом выступал Виктор Васильевич, пока еще не знавший, как ему держать себя. Марья Степановна увела гостя в свою гостиную, куда Досифея подала на стеклянных старинных тарелочках несколько сортов варенья и в какой-то мудреной китайской посудине ломоть сотового меда.

— Ведь это Досифея? — спрашивал Привалов, когда глухонемая остановилась у дверей, чтобы еще раз посмотреть на гостя.

— Да... вспомнил старуху?

— Помилуйте, мы с Костей частенько воевали с ней, — засмеялся Привалов.

Досифея поняла, что разговор идет о ней, и мимикой объяснила, что Костеньки нет, что его не любит *сам* и что она помнит, как маленький Привалов любил есть соты.

— Я и теперь их люблю, — отвечал Привалов на энергичные жесты Досифеи. — Спасибо, что не забыла меня...

Досифея радостно замычала и скрылась. Марья Степановна принялась усиленно потчевать гостя сластями, потому что гостеприимство для нее было священной обязанностью. Привалов должен был отведать всего, чтобы не обидеть хозяйки. Он с большим удовольствием слушал степенную речь Марьи Степановны, пока она подробно рассказывала печальную историю Полуяновых, Колпаковых и Размахниных. Почти все или вымерли, или разорились; пошел совсем другой народ, настали и другие порядки. Мимоходом Марья Степановна успела пожаловаться на Василия Назарыча, который заводит новшества: старшую дочь выдумал учить, новую мебель у себя поставил, знается с бритоусами и табашниками. В этих жалобах было столько старчески забавного, что Привалов все время старался рассматривать мелкие розовые и голубые цветочки, которые были рассыпаны по сарафану Марьи Степановны. Сарафан Марьи Степановны был самый старинный, из тяжелой шелковой материи, которая стояла коробом и походила на кожу; он, вероятно, когда-то, очень давно, был бирюзового цвета, а теперь превратился в модный gris de perle [1].

— Какой у вас старинный сарафан, — проговорил Привалов.

Эта похвала заставила Марью Степановну даже покраснеть; ко всякой старине она питала нечто вроде благоговения и особенно дорожила коллекцией старинных сарафанов, оставшихся после жены Павла Михайлыча Гуляева «с материной стороны». Она могла рассказать историю каждого из этих сарафанов, служивших для нее живой летописью и биографией давно умерших дорогих людей.

— Это твоей бабушки сарафан-то, — объяснила Марья Степановна. — Павел Михайлыч, когда в Москву ездил, так привез материю... Нынче уж нет таких материй, — с тяжелым вздохом прибавила старушка, расправляя рукой складку на сарафане. — Нынче ваши дамы сошьют платье, два раза наденут — и подавай новое. Материи другие пошли, и люди не такие, как прежде.

---

[1] серебристо-серый *(франц.)*.

— Ну, маменька, нынче люди самые настоящие, — заметил Виктор Васильевич, которому давно надоело слушать эти разговоры о старинных людях.

— Поди ты... Нашел настоящих людей!

— Значит, и мы с Сергеем Александрычем никуда не годимся?

— Перестань балясы точить: я дело говорю.

Верочке давно хотелось принять участие в этой беседе, но она одна не решалась проникнуть в гостиную и вошла туда только за спиной Надежды Васильевны и сейчас же спряталась за стул Марьи Степановны. С появлением девушек в комнату ворвались разные детские воспоминания, которые для постороннего человека не имели никакого значения и могли показаться смешными, а для действующих лиц были теперь особенно дороги. Привалов многое успел позабыть из этого детского мира и с особенным удовольствием припоминал разные подробности, которые рассказывала Надежда Васильевна. «Помните вот это-то?», «А помните, как Виктор...» Эти фразы мягко ласкали слух, и Привалов с глубоким наслаждением чувствовал на себе теплоту домашнего очага, которого лишила его судьба. Как все это было давно и, вместе, точно случилось только вчера!..

— Будет вам, стрекозы, — строго остановила Марья Степановна, когда всеми овладело самое оживленное настроение, последнее было неприлично, потому что Привалов был все-таки посторонний человек и мог осудить. — Мы вот все болтаем тут разные пустяки, а ты нам ничего не расскажешь о себе, Сергей Александрыч.

— Право, не знаю, что и рассказывать, Марья Степановна, — ответил Привалов.

— На вот, жил пятнадцать лет в столице, приехал — и рассказать нечего. Мы в деревне, почитай, живем, а вон какие россказни распустили.

— Мама, какая ты странная, — вступилась Надежда Васильевна. — Все равно мы с тобой не поймем, если Сергей Александрыч будет рассказывать нам о своих делах по заводам.

— Да ведь пятнадцать лет не видались, Надя... Это вот сарафан полежит пятнадцать лет, и у того сколько новостей: тут моль подбила, там пятно вылежалось.

Сергей Александрыч не в сундуке лежал, а с живыми людьми, поди, тоже жил...

Последнее поразило Привалова: оглянувшись на свое прошлое, он должен был сознаться, что еще не начинал даже жить в том смысле, как это понимала Марья Степановна. Сначала занятия в университете, а затем лет семь ушло как-то между рук, — в хлопотах по наследству, в томительном однообразии разных сроков, справок, деловых визитов, в шатании по канцеляриям и департаментам. Жизнь оставалась еще впереди, для нее откладывалось время год за годом, а между тем приходилось уже вычеркивать из этой жизни целых тридцать лет. Прямой вопрос Марьи Степановны, подсказанный ей женским инстинктом, поставил Привалова в неловкое положение, из которого ему было довольно трудно выпутаться; Марья Степановна могла истолковать его молчание о своем прошлом в какой-нибудь дурном смысле. Пришлось рассказывать об университете, о профессорах, о столичных удовольствиях.

«Ну, а как там эти штучки разные?..» — весело думал Виктор Васильевич, уносясь в сферу столичных развеселых мест.

VIII

Вечером этого многознаменательного дня в кабинете Василья Назарыча происходила такая сцена. Сам старик полулежал на своем диване и был бледнее обыкновенного. На низенькой деревянной скамеечке, на которую Бахарев обыкновенно ставил свою больную ногу, теперь сидела Надежда Васильевна с разгоревшимся лицом и с блестящими глазами.

— Папа, пожалей меня, — говорила девушка, ласкаясь к отцу. — Находиться в положении вещи, которую всякий имеет право приходить осматривать и приторговывать... нет, папа, это поднимает такое нехорошее чувство в душе! Делается как-то обидно и вместе с тем гадко... Взять хоть сегодняшний визит Привалова: если бы я не должна была являться перед ним в качестве товара, которому только из вежливости не смотрят в зубы, я отнеслась бы к нему гораздо лучше, чем теперь.

— В чем же это Привалов так провинился пред тобой? — с добродушной улыбкой спрашивал Василий Назарыч.

— Да начать хоть с Хины, папа... Ну, скажи, пожалуйста, какое ей дело до меня? А между тем она является с своими двусмысленными улыбками к нам в дом, шепчет мне глупости, выворачивает глаза то на меня, то на Привалова. И положение Привалова было самое глупое, и мое тоже не лучше.

— Да ведь ты хорошо знаешь, что я никогда не приглашаю Хины; я в дела мамы не вмешиваюсь.

— Вот я назло маме и Хине нарочно не пойду замуж за Привалова... Я так давеча и маме сказала, что не хочу разыгрывать из себя какую-то крепость в осадном положении.

— Все это так, Надя, но я все-таки не вижу, в чем виноват тут Сергей Александрыч...

— А вот сейчас... В нашем доме является миллионер Привалов; я по необходимости знакомлюсь с ним и по мере этого знакомства открываю в нем самые удивительные таланты, качества и добродетели. Одним словом, я кончаю тем, что начинаю думать: «А ведь не дурно быть madame Приваловой!» Ведь тысячи девушек сделали бы на моем месте именно так...

— Решительно ничего не понимаю... Тебя сводит с ума глупое слово «жених», а ты думай о Привалове просто как о хорошем, умном и честном человеке.

— Нет, постой. Это еще только одна половина мысли. Представь себе, что никакого миллионера Привалова никогда не существовало на свете, а существует миллионер Сидоров, который является к нам в дом и в котором я открываю существо, обремененное всеми человеческими достоинствами, а потом начинаю думать: «А ведь не дурно быть madame Сидоровой!» Отсюда можно вывести только такое заключение, что дело совсем не в том, кто явится к нам в дом, а в том, что я невеста и в качестве таковой должна кончить замужеством.

— Тебя никто не гонит замуж, Надя.

— Я тебя за это и люблю... А мама, Досифея, Лука, Хина — да все, решительно все, кажется, с ума сошли.

— Да, но ведь трудно обвинять людей в том, чего они не в состоянии понимать.

— Вот для того, чтобы показать им всем их глупость, я никогда не пойду замуж, папа.

— И отличное дело: устрою в монастырь... Ха-ха... Бедная моя девочка, ты не совсем здорова сегодня... Только не осуждай мать, не бери этого греха на душу: жизнь долга, Надя; и так и этак передумаешь еще десять раз.

Василий Назарыч рассказал дочери последние известия о положении приваловского наследства и по этому случаю долго припоминал разные эпизоды из жизни Гуляевых и Приваловых. Девушка внимательно слушала все время и проговорила:

— Все-таки, папа, самые хорошие из них были ужасными людьми. Везде самодурство, произвол, насилие... Эта бедная Варвара Гуляева, мать Сергея Александрыча, — сколько, я думаю, она вынесла...

— Да, сошла, бедная, с ума... Вот ты и подумай теперь хоть о положении Привалова: он приехал в Узел — все равно как в чужое место, еще хуже. А знаешь, что загубило всех этих Приваловых? Бесхарактерность. Все они — или насквозь добрейшая душа, или насквозь зверь; ни в чем середины не знали.

— А Сергей Александрыч, по-твоему, папа, как будет?

— Сергей Александрыч... Сергей Александрыч с Константином Васильевичем все книжки читали, поэтому из них можно и крупы и муки намолоть. Сережато и маленьким когда был, так зверьком и выглядывал: то веревки из него вей, то хоть ты его расколи, — одним словом, приваловская кровь. А впрочем, кто его знает, может, и переменился.

IX

Фамилии Приваловых и Бахаревых были тесно связаны между собой.

Приваловы как заводовладельцы пользовались большой известностью на Урале. Им принадлежали знаме-

нитые Шатровские заводы, занимавшие площадь в четыреста тысяч десятин богатейшей в свете земли. Как большинство уральских заводчиков, последние представители фамилии Приваловых жили нараспашку, предоставив все заводское дело на усмотрение крепостных управителей. В результате оказалось, конечно, то, что заводское хозяйство начало хромать на обе ноги, и заводы, по всей вероятности, пошли бы с молотка. Но счастливый случай спас их: в половине сороковых годов владельцу Шатровских заводов, Александру Привалову, удалось жениться на дочери знаменитого богача-золотопромышленника Павла Михайлыча Гуляева. Непосредственным результатом слияния этих знаменитых фамилий было появление на свет нашего героя, Сергея Привалова. Оно было встречено и отпраздновано с царской роскошью: гремели пушки, рекой лилось шампанское, и целый месяц в приваловском доме угощались званый и незваный. Павел Михайлыч подарил своему внуку «на зубок» десять пудов золота.

Сергей Привалов помнил своего деда по матери как сквозь сон. Это был высокий, сгорбленный седой старик с необыкновенно живыми глазами. Он страстно любил внука и часто говорил ему:

— Ведь ты у меня один... Один, как перст!..

Шестилетний мальчик не понимал, конечно, значения этих странных слов и смотрел на деда с широко раскрытым ртом. Дело в том, что, несмотря на свои миллионы, Гуляев считал себя глубоко несчастным человеком: у него не было сыновей, была только одна дочь Варвара, выданная за Привалова.

— Что дочь? — рассуждал старик раскольник. — Дочь все одно, что вешняя вода: ждешь ее, радуешься, а она пришла и ушла...

Павел Михайлыч Гуляев был из архангельских помор. Его предки бежали из разоренных скитов на Урал, где в течение целого столетия скитались по лесным дебрям и раскольничьим притонам, пока не освоились совсем в Шатровских заводах. Приваловы, как и другие заводчики, открыто держали всяких беглых и беспаспортных бродяг, потому что этот разношерстный гулящий люд составлял для них главную рабочую силу.

Раскольникам они покровительствовали в особенности, потому что они сами тоже придерживались старины, и при помощи золота отводили от них всякие беды и напасти. Когда в первой четверти настоящего столетия были открыты прииски в Восточной Сибири, в глубине енисейской тайги, Павел Гуляев был в числе первых рабочих на золотых приисках. В каких-нибудь десять лет он быстро прошел путь от простого рабочего до звания настоящего золотопромышленника, владевшего одним из лучших приисков во всей Сибири. Крепкий был человек Гуляев, и когда он вернулся на Урал, за ним тянулась блестящая слава миллионера. Из Шатровских заводов Гуляев все-таки не выехал и жил там все время, которое у него оставалось свободным от поездок в тайгу. Громадный деревянный дом, который выстроил себе Гуляев в Шатровском заводе, представлял из себя и крепость, и монастырь, и богато убранные палаты. Это была полная чаша во вкусе того доброго старого времени, когда произвол, насилия и все темные силы крепостничества уживались рядом с самыми светлыми проявлениями человеческой души и мысли. Жизнь в гуляевских палатах была создана по типу древнего благочестия, в жертву которому здесь приносилось все.

Мы уже сказали, что у Гуляева была всего одна дочь Варвара, которую он любил и не любил в одно и то же время, потому что это была дочь, тогда как упрямому старику нужен был сын. Избыток того чувства, которым Гуляев тяготел к несуществующему сыну, естественно, переходил на других, и в гуляевском доме проживала целая толпа разных сирот, девочек и мальчиков. По большей части это были дети гонимых раскольников, задыхавшихся по тюрьмам и острогам; Гуляеву привозили их со всех сторон, где только гнездился раскол: с Ветки, из Керженских лесов, с Иргиза, из Стародубья, Чернораменских скитов и т. д. Эти дети составляли что-то вроде одного семейства, гревшегося под гостеприимной кровлей гуляевских палат. Они получали строгое воспитание под началом раскольничьих начетчиц и старцев, и потом мальчики увозились на прииски, девочки выходили замуж или терпеливо ждали своих суженых.

— Ну, что мое гнездо? — спрашивал обыкновенно Гуляев, когда приезжал с приисков домой.

Это «гнездо» вносило совершенно особенную струю в гуляевский дом. Около старого раскольника Гуляева создавалось что-то вроде домашнего культа. «Это сказал сам Павел Михайлыч», «Так делает сам Павел Михайлыч» — выше этого ничего не было. Слово Гуляева было законом. Из этого гуляевского гнезда вышло много крепких людей, известных всему Уралу и в Сибири. Фамилии Колпаковых, Полуяновых, Бахаревых — все это были птенцы гуляевского гнезда, получившие там вместе с кровом и родительской лаской тот особенный закал, которым они резко отличались между всеми другими людьми. В них продолжали жить черты гуляевского характера — выдержка, сила воли, энергия, неизменная преданность старой вере, одним словом, все то, что давало им право на название крепких людей.

Василий Назарыч Бахарев и Марья Степановна, известные в гуляевском доме под названием Васи и Маши, пользовались особенной любовью старика Гуляева. Они были круглыми сиротами и всеми силами молодой души приросли к гуляевскому дому. Марья Степановна как женщина окружила жизнь в этом доме целым ореолом святых для нее воспоминаний. Из них прежде всего, конечно, выступала типичная фигура самого Павла Михайлыча, затем его жены и дочери Варвары, вышедшей впоследствии за Александра Привалова. Поэтому понятно, что на сына своей подруги Марья Степановна смотрела глазами родной матери. Один вид Сергея Привалова поднимал пред ней целый ряд дорогих ее сердцу покойников. Брак между Васей и Машей был актом воли Павла Михайлыча. Старик однажды пригласил в свой кабинет Машу и, указывая на Васю, сказал всего только несколько слов: «Вот, Маша, тебе жених... После спасибо мне скажешь». Девушка повалилась в ноги своему названому отцу, и этим вся церемония закончилась. Через две недели Бахаревы были повенчаны по раскольничьему обряду.

— Береги его, Маша, — проговорил Гуляев, когда поздравлял молодых. — У меня Василий правая рука... Вот тебе мой сказ.

Бахарев действительно был правой рукой Гуляева и с десяти лет находился при нем безотлучно. Они исколесили всю Сибирь, и мало-помалу Бахарев сделался поверенным Гуляева и затем необходимым для него человеком.

Когда Гуляев выдал свою дочь за Привалова, он сказал Бахареву:

— Не видать бы Привалову моей Варвары, как своих ушей, только уж, видно, такое его счастье... Не для него это дерево растилось, Вася, да, видно, от своей судьбы не уйдешь. Природа-то хороша приваловская... Да и заводов жаль, Вася: погинули бы ни за грош. Ну, да уж теперь нечего тужить: снявши голову, по волосам не плачут.

Брак Варвары Гуляевой был еще оригинальнее, чем замужество Марьи Степановны. Последняя имела хоть некоторое основание подозревать, что ее выдадут за Бахарева, и свыклась с этой мыслью, а дочь миллионера даже не видала ни разу своего жениха, равным образом как и он ее. Когда, перед сватовством, жениху захотелось хоть издали взглянуть на будущую подругу своей жизни, это позволили ему сделать только в виде исключительной милости, и то при таких условиях: жениха заперли в комнату, и он мог видеть невесту только в замочную скважину. Этот оригинальный брак был заключен из политических расчетов: раз, чтобы не допустить разорения Шатровских заводов, и, второе, чтобы соединить две такие фамилии, как Приваловы и Гуляевы. Павел Михайлыч никогда не любил своего зятя, но относился с глубоким уважением к фамилии, которую тот носил. В жертву этой фамилии была принесена и Варвара Гуляева.

Рождение внука было для старика Гуляева торжеством его идеи. Он сам помолодел и пестовал маленького Сережу, как того сына, которого не мог дождаться.

— Вот, Вася, и на нашей улице праздник, — говорил Гуляев своему поверенному. — Вот кому оставлю все, а ты это помни: ежели и меня не будет, — все Сергею... Вот мой сказ.

Что нашла Варвара Гуляева в новой семье, — об этом никто не говорил, да едва ли кто-нибудь интересо-

вался этим. Девушка разделила судьбу других богатых невест: все завидовали ее счастью, которое заключалось в гуляевских и приваловских миллионах. Богатая и вышла за богатого, — в эту роковую формулу укладывались все незамысловатые требования и соображения того времени, точно так же, как и нашего. В муже она нашла бесхарактерного, но доброго человека, который по-своему ее любил. Гуляев еще раньше выстроил дочери в ближайшем уездном городе Узле целый дворец, в котором сам был только раз в жизни, именно когда у него родился внук. Старик слишком прирос к своему гнезду, чтобы менять его на узловские палаты. Отношения его к зятю были немного странные: во-первых, он ничего не дал за дочерью, кроме дома и богатого приданого; во-вторых, он не выносил присутствия зятя, над которым смеялся в глаза и за глаза, может быть, слишком жестоко. Но заводы были поддержаны гуляевскими капиталами, хотя и поступили под его полную опеку. Затем, когда сам Гуляев совсем состарился, он принял зятя в часть по своим сибирским приискам, причем всем делом верховодил попрежнему Бахарев.

В таком положении дела оставались до самой смерти Гуляева; старик и умер не так, как умирают другие люди. Бахарев был в тайге, когда получил с нарочным коротенькую записку Гуляева: «Вася, приезжай похоронить меня...» Дело было летнее. Работа на приисках кипела, но Бахареву пришлось оставить все и сломя голову лететь в Шатровские заводы. Когда его повозка остановилась перед крыльцом гуляевского дома, больной старик открыл глаза и проговорил: «Это Вася приехал...» Собственно, старик не был даже болен, и по его наружности нельзя было заключить об опасности.

— Нет, Вася, умру... — слабым голосом шептал старик, когда Бахарев старался его успокоить. — Только вот тебя и ждал, Вася. Надо мне с тобой переговорить... Все, что у меня есть, все оставляю моему внучку Сергею... Не оставляй его... О Варваре тоже позаботься: ей еще много горя будет, как я умру...

Зятя Гуляев не пожелал видеть даже перед смертью и простился с ним заочно. Вечером, через несколько ча-

сов после приезда Бахарева, он уснул на руках дочери и Бахарева, чтоб больше не просыпаться.

Предсказание старика Гуляева скоро исполнилось.

После его смерти все в его собственном доме и в доме Привалова пошло вверх дном. Грозы больше не было, и Александр Привалов развернулся. Он только рассмеялся, когда узнал, что Гуляев все капиталы завещал внуку. В качестве опекуна собственного сына он принял все хозяйство на себя. Гнездо было разорено, и в приваловских палатах полилась широкой рекой такая жизнь, о которой по настоящее время ходят баснословные слухи. Все усилия Бахарева и жены Привалова отстоять интересы Сергея Привалова разлетелись прахом. Александр Привалов слишком долго ждал и слишком много выносил от своего тестя, чтобы теперь не вознаградить себя сторицей. Это печальное время совпало как раз с открытием богатейших золотоносных россыпей в глубине Саянских гор, что было уже делом Бахарева, который теперь вел дело в компании с Приваловым. Несмотря на свою близость к старику Гуляеву, а также и на то, что в течение многих лет он вел все его громадные дела, Бахарев сам по себе ничего не имел, кроме знания приискового дела и несокрушимой энергии. Неудачи только разжигали его прямую натуру, и он с новыми силами шагал почти через непреодолимые препятствия. Разведки в Саянских горах живо унесли у него последние сбережения, и он принужден был принять к себе в компанию Привалова, то есть вести дело уже на приваловские капиталы. Сам Привалов относился к Бахареву с слепым доверием. Первый прииск, открытый на безыменной горной речке, был назван в честь жены Привалова Варваринским. Этот прииск в течение десяти лет, в сороковых годах, дал чистой прибыли больше десяти миллионов. Таким образом в руках Александра Привалова очутились баснословные богатства, которыми он распорядился посвоему и которые стоили его жене жизни.

Беспримерное, чудовищное богатство Привалова создало жизнь баснословную в летописях Урала. Этот магнат-золотопромышленник, как какой-то французский король, готов был платить десятки тысяч за всякое

новое удовольствие, которое могло бы хоть на время оживить притупленные нервы. Гуляевский дом в Узле был отделан с царской роскошью. Какая жизнь происходила в этом дворце в наше расчетливое, грошовое время, трудно даже представить; можно сказать только, что русская натура развернулась здесь во всю свою ширь. С утра до ночи в приваловских палатах стоял пир горой, и в этом разливном море угощались званый и незваный. И в то же время в том же самом доме в тайных молельнях совершалась постоянная раскольничья служба. Часто и хозяин и гости прямо с пьяной оргии попадали в моленные и здесь отбивали земные поклоны до синяков на лбу. Словом, жизнь, не сдерживаемая более ничем, не знала середины и лилась через край широкой волной, захватывая все на своем пути. Но обыкновенной роскоши, обыкновенного мотовства этим неистовым детям природы было мало. Какой-то дикий разгул овладел всеми: на целые десятки верст дорога устилается красным сукном, чтобы только проехать по ней пьяной компании на бешеных тройках; лошадей не только поят, но даже моют шампанским; бесчисленные гости располагаются как у себя дома, и их угощают целым гаремом из крепостных красавиц.

Александр Привалов, потерявший голову в этой бесконечной оргии, совсем изменился и, как говорили о нем, — задурил. Вконец притупившиеся нервы и расслабленные развратом чувства не могли уже возбуждаться вином и удовольствиями: нужны были человеческие страдания, стоны, вопли, человеческая кровь.

В числе благоприятелей Привалова особенной известностью пользовался некоторый Сашка Холостов, отставной казачий офицер. Это был атлетически сложенный человек, выпивавший зараз дюжину шампанского и ходивший, для потехи своего патрона, на медведя один на один. Этот Сашка был настоящий зверь, родившийся по ошибке человеком. Он пользовался неограниченным влиянием в доме. Без Сашки Привалов не мог жить и даже укладывал его спать в свою собственную спальню. Стоило Привалову сказать: «скучно», и Сашка придумывал какую-нибудь шутку, чтобы развлечь его. Известно, что круг удовольствий,

доступных человеку, крайне ограничен, поэтому Сашке пришлось очень скоро обратиться к безобразиям. Несчастная жена Привалова, конечно, не могла сочувствовать той жизни, которая творилась вокруг нее. Воспитанная в самых строгих правилах беспрекословного повиновения мужней воле, она все-таки как женщина, как жена и мать не могла помириться с теми оргиями, которые совершались в ее собственном доме, почти у нее на глазах. Потерявшаяся в этом вихре одинокая женщина могла только всеми силами ненавидеть Сашку, которого считала источником всяких бед и злоключений. Сашка и начал с нее.

Прежде всего Сашка подействовал на супружеские чувства Привалова и разбудил в нем ревность к жене. За ней следят, ловят каждое ее слово, каждый взгляд, каждое движение... Сашка является гениальным изобретателем в этой чудовищной травле. Счастливая наследница миллионов кончила сумасшествием и умерла в доме Бахарева, куда ее принесли после одной «науки» мужа замертво.

Сергею Привалову в это время было лет семь или восемь. Он едва помнил мать, но в его памяти отчетливо сохранилась картина торжественных похорон. Отца он помнил тоже по этому исключительному обстоятельству. Александру Привалову было тогда лет сорок пять. Это был широкоплечий, сгорбившийся человек, с опухшим желтым лицом и блуждающим утомленным взглядом бесстрастных серых глаз. На лбу были глубокие морщины, волосы открывали лысину, рот складывался в искривленную, неестественную улыбку. Мальчик боялся отца и был несказанно рад, когда он, сейчас после похорон, сказал Бахареву:

— Вот тебе Сергей... Делай с ним, что хочешь, только, ради бога, уведи отсюда!..

После смерти жены Привалов окончательно задурил, и его дом превратился в какой-то ад: ночью шли оргии, а днем лилась кровь крепостных крестьян, и далеко разносились их стоны и крики.

Все эти безобразия закончились неожиданной развязкой... Привалов выписал из Москвы хор цыган с красавицей Стешей во главе. Эта примадонна женила

на себе опустившегося окончательно золотопромышленника, а сама на глазах мужа стала жить с Сашкой. Однако нашлись добрые люди, которые открыли Привалову глаза на все творившиеся около него безобразия. Он решился примерно наказать неверную жену и вероломного друга, — попросту хотел замуровать их в стене, но этот великолепный план был разрушен хитрой цыганкой: ночью при помощи Сашки она выбросила Привалова в окно с высоты третьего этажа. На другой день в саду нашли его окоченелый труп.

После Привалова остались три сына: старший — Сергей, от первой жены, и двое, Иван и Тит, от Стеши. Вскоре после смерти мужа Стеша вышла замуж за Сашку, который был сделан опекуном над малолетними наследниками. Из предыдущего можно себе представить, что это был за опекун. В каких-нибудь пять лет он не только спустил последние капиталы, которые остались после Привалова, но чуть было совсем не пустил все заводы с молотка. Бахарев энергично вступился в это дело, и Сашка ограничился только закладом в государственный банк несуществовавшего металла. Это делалось таким образом: сначала закладывалась черная болванка, затем первый передел из нее и, наконец, окончательно выделанное сортовое железо. Конечно, эта замысловатая операция не могла быть выполнена одним Сашкой, а он действовал при помощи горного исправника и иных. Во всяком случае эта ловкая комбинация дала Сашке целый миллион, но в скором времени вся история раскрылась, и Сашка попал под суд, под которым и находился лет пятнадцать. Это вопиющее дело началось еще при старом судопроизводстве, проходило через десятки административных инстанций и кончилось как раз в тот момент, когда Сашка лежал на столе. Долг, сделанный им, был переведен на заводы.

Одного только не удалось сделать Сашке, — это захватить гуляевские капиталы, которые шли в часть старшего из наследников. Бахарев два раза съездил в Петербург, чтобы отстоять интересы Сергея Привалова, и, наконец, добился своего: гуляевские капиталы, то есть только остатки от них, потому что Александр Привалов не различал своего от имущества жены и много

растратил, — были выделены в часть Сергея Привалова. Ему же достался гуляевский дом в Узле, который был дан стариком Гуляевым в приданое за дочерью. Мальчик еще при жизни отца находился под руководством Бахарева и жил в его доме; после смерти Александра Привалова Бахарев сделался опекуном его сына и с своей стороны употребил все усилия, чтобы дать всеми оставленному сироте приличное воспитание. Таким образом, Сережа Привалов долго жил в бахаревском доме и учился вместе с старшим сыном Бахарева Костей. Что касается двух других наследников, то Стеша, когда Сашка пошел под суд, увезла их с собой в Москву, где и занялась сама их воспитанием. Так как из всего имущества, которое осталось после Александра Привалова, Шатровские заводы оставались неразделенными за малолетством наследников, Бахарев в интересах Сергея Привалова вступил в число опекунов, назначенных от правительства. Он много и энергично хлопотал, чтобы поднять упавшую производительность этих когда-то знаменитых заводов, и достиг своей цели только тогда, когда ему на помощь явился его старший сын Костя, который, кончив курс в университете, поступил управляющим в Шатровские заводы.

X

Жизнь в бахаревском доме навсегда осталась для Привалова самой светлой страницей в его воспоминаниях. Все, что он привык уважать и считал лучшим, он соединял в своем уме с именем Бахаревых.

Эта жизнь являлась сколком с той жизни, которая когда-то происходила в хоромах Павла Михайлыча Гуляева. Марья Степановна свято блюла все свычаи и обычаи, правила и обряды, которые вынесла из гуляевского дома; ей казалось святотатством переступить хотя одну иоту из заветов этой угасшей семьи, служившей в течение века самым крепким оплотом древнего благочестия. Гуляевский дух еще жил в бахаревском доме, им держался весь строй семьи и, повидимому, вливал в нее новые силы в затруднитель-

ных случаях. Карьера всякого золотопромышленника полна превратностей и внезапных превращений, а судьба Василия Назарыча была особенно богата такими превращениями. Громадные барыши и убытки чередовались между собой. Это переменное счастье проходило красной нитью через всю его жизнь и придавало ей особенно интересную окраску.

Сергей Привалов прожил в бахаревском доме до пятнадцати лет, а затем вместе с своим другом Костей был отправлен в Петербург, где и прожил безвыездно до настоящего времени, то есть больше пятнадцати лет.

За этот промежуток времени в бахаревском доме произошли очень крупные перемены. Начать с того, что теперь дом резко разделялся на две половины: половину Марьи Степановны и половину Василья Назарыча. Собственно говоря, такое разделение существовало только для одной Марьи Степановны, которая уже в течение десяти лет не переступала порога половины мужа. Сам Бахарев и дети совсем не признавали такого разделения и одинаково пользовались обеими половинами. Это разделение произошло мучительным путем семейных недоразумений и несогласий. Дети подрастали. Нужно было давать им воспитание. Василий Назарыч, обращавшийся в пестрой семье золотопромышленников, насмотрелся на всяких людей и пришел к тому убеждению, что воспитывать детей в духе исключительности раскольничьих преданий немыслимо. С своей стороны он желал дать им лучшее образование, поставить на дорогу, а там — как знают. В Сибири Бахареву часто приходилось встречаться с образованными честными людьми; он чутьем понял могучую силу образования и желал видеть в своих детях прежде всего образованных людей. Эти взгляды на воспитание встретили жестокий отпор со стороны Марьи Степановны, которая прожила целую жизнь в замкнутой раскольничьей среде и не хотела знать никаких новшеств. После долгой борьбы она все-таки сдалась для сыновей, дочерей же не позволяла ни под каким видом «басурманить». Но здесь Бахареву было уже значительно легче выиграть дело, потому что в лице сыновей он имел известный прецедент и некоторую помощь. Они

уже вносили с собой новую струю в жизнь бахаревского дома; одно их присутствие говорило о другой жизни. После долгих колебаний дело разрешилось вполовину: старшую дочь Надежду Марья Степановна уступила отцу, а младшую оставила при себе.

— Ты от меня ее взял, ты и в ответе, — коротко резюмировала свою последнюю волю Марья Степановна. — Если бы жив был Павел Михайлыч...

— Маша, Маша, — уговаривал жену Бахарев, — ведь теперь другие люди, другое время...

— Ну и живи с другими людьми!

С этого времени и произошло разделение бахаревского дома на две половины: Марья Степановна в этой форме заявила свой последний и окончательный протест.

Василий Назарыч, отстаивая образование детей, незаметно сам втянулся в новую среду, вошел в сношения с новыми людьми, и на его половине окончательно поселился дух новшеств. На этой половине роль хозяйки с двенадцати лет принадлежала Надежде Васильевне, которая из всех детей была самой близкой сердцу Василья Назарыча. Он любил с нею рассуждать о своих делах и часто поверял ей свои самые задушевные мысли. Из этих дружеских отношений между отцом и дочерью постепенно выработался совершенно особенный склад жизни на половине Василья Назарыча: другие разговоры, интересы и даже самый язык. Отец и дочь понимали друг друга по одному движению, с полуслова.

Старшего сына, Костю, Бахарев тоже очень любил, но тот почти совсем не жил дома, а когда, по окончании университетского курса, он вернулся домой, между ними и произошли те «контры», о которых Лука сообщил Привалову. Дело в том, что Константин Бахарев был упрям не менее отца, а известно, что двум медведям плохо жить в одной берлоге. После одного крупного разговора отец и сын разошлись окончательно, хотя, собственно говоря, все дело вышло из пустяков. Это обстоятельство окончательно сблизило отца и дочь, так что Василий Назарыч не мог жить без нее. Надежда Васильевна понимала, что отец инстинктивно старается найти в ней то, что потерял в старшем сыне, то есть

опору наступавшей бессильной старости; она делала все, чтобы подняться до уровня отцовского миросозерцания, и вполне достигла своей цели.

Как это ни странно, но главным фаворитом и родительской слабостью Марьи Степановны был ее сынок Виктор Васильич. Он никогда не выходил из ее воли, после всякой проказы или шалости немедленно просил прощения, раскаивался со слезами и давал тысячу обещаний исправиться. Вместе с годами из детских шалостей выросли крупные недостатки, и Виктор Васильич больше не просил у матери прощения, полагаясь на время и на ее родительскую любовь. Выгнанный из третьего класса гимназии, он оставался без определенных занятий, и Василий Назарыч давно махнул на него рукой. По натуре добрый и по-своему неглупый, Виктор Васильич был тем, что называется «рубаха-парень», то есть не мог не делать того, что делали другие, и шел туда, куда его толкали обстоятельства. Это была неустойчивая, подвижная, крайне впечатлительная натура, искавшая деятельности и не находившая ее. Попеременно Виктор Васильич был мыловаром, техником, разведчиком алмазных копей; теперь он пока успокоился на звании уксусного заводчика, потому что Василий Назарыч наотрез отказался оплачивать все другие его затеи. Вообще отец на многое по отношению к младшему сыну смотрел сквозь пальцы, не желая напрасно огорчать жену, и часто делал вид, что не подозревает печальной истины. Свою неудовлетворенную жажду деятельности Виктор Васильич с лихвой выкупал на поприще всевозможных художеств, где он не знал соперников. Устроить скандал в местном клубе, выбить стекла в избушке какой-нибудь благочестивой вдовы, освистать актрису, отколотить извозчика — все это было делом рук Виктора Васильича и составило ему почетную репутацию в среде узловской jeunesse dorée [1]. Марья Степановна оправдывала такое поведение своего блудного сына молодостью и старалась исправить его домашними средствами. В крайних случаях она говорила: «Погоди, вот ужо скажу отцу-то. Он тебе за-

---

[1] золотой молодежи *(франц.)*.

даст!» Эта невинная угроза слишком часто повторялась в своей стереотипной форме, чтобы напугать даже менее смелого человека, чем Виктор Васильич.

На втором плане, сейчас за Виктором Васильичем, стояла Верочка, или Верета, как называл ее Виктор Васильич, она же и «булка». Это была самая обыкновенная девушка, любившая больше всего на свете плотно покушать, крепко выспаться и визжать на целый дом. К печатной бумаге Верочка питала непреодолимое отвращение и употребляла ее только на обертки. Все в доме любили Верочку и считали ее простушкой и кисейной барышней. Последнее было не совсем справедливо. Верочка была очень практичной особой, и в ее красивой беззаботной головке жил сильный и здоровый, недоступный увлечениям ум. Такие барышни терпеливо дожидаются своих женихов, потом, повинуясь родительской воле, с расчетом выходят замуж, выводят дюжину краснощеких ребят, постепенно превращаются сначала в приличных и даже строгих дам, а потом в тех добрейших, милых старушек, которые выращивают внуков и правнуков и терпеливо доживают до восьмого десятка. С детства Верочка любила ходить вместе с немой Досифеей в кухню, прачечную, погреб и кладовые; помогала солить капусту, разводила цветы и вечно возилась с выброшенными на улицу котятами, которых терпеливо выкармливала, а потом раздавала по своим знакомым. Это практическое направление с годами настолько развилось и окрепло, что в шестнадцать лет Верочка держала в своих ручках почти целый дом, причем с ловкостью настоящего дипломата всегда умела остаться в тени, в стороне. По всему дому раздавался громкий голос Верочки и ее заразительный смех. Вместе с тем Верочка была очень суеверна и была убеждена, что все сны и приметы непременно сбываются. Набожна она была, как монахиня, и выстаивала, не моргнув глазом, самую длинную раскольничью службу, какая совершалась в моленной Марьи Степановны. Принять странника или раскольничью начетчицу, утешить плачущего ребенка, помочь больному, поговорить со стариками и старухами — все это умела сделать Верочка, как никто другой. У нее для всех обиженных

судьбой и людьми всегда было в запасе ласковое, теплое слово, она умела и утешить и погоревать вместе, а при случае и поплакать; но Верочка умела и не любить, — ее трудно было вывести из себя, но раз это произошло, она не забывала обиды и не умела прощать.

XI

Приезд Привалова в уездный город Узел сделался событием дня, о котором говорили все, решительно все. Стоустая молва разнесла целую массу подробностей о его появлении в Узле, о каждом его шаге, каждом слове. Подняты были все те факты, которые давно позабылись и, казалось, навеки умерли вместе со своими героями. Таким образом сложилась почти чудовищная легенда, где быль вязалась с небылицами, ложь с действительностью, вымысел и фантазия с именами живых людей. Имена Александра Привалова, Гуляева, Сашки и Стешки воскресли с новой силой, и около них, как около мифологических героев, выросли предания, сказания очевидцев и главным образом те украшения, которые делаются добрыми скучающими людьми для красного словца. Для этой гигантской работы застоявшейся провинциальной мысли и не знавшей удержу фантазии достаточно было всего нескольких дней, пока Привалов отдыхал от дороги в «Золотом якоре». Наследство Привалова в эти несколько дней выросло до ста миллионов, и, кроме того, ходили самые упорные слухи о каких-то зарытых сокровищах, которые остались после старика Гуляева. На этой исторической почве быстро создалось и то настоящее, героем которого был действительный, невымышленный Сергей Привалов, сидевший в рублевом номере и виденный почти всеми.

Когда на сцену выступил сам Сергей Привалов, естественно, что общее внимание прежде всего обратилось к тому неизвестному, откуда он появился. В самом деле, что делал этот миллионер в Петербурге? Зачем он жил там до тридцати лет? Какую роль играют в этом старик Бахарев и опекуны? Вырастал целый лес таких

вопросов, которые требовали самых остроумных догадок, объяснений, пикантных подробностей, свидетельских показаний. Прежде всего, конечно, всем и каждому было ясно то обстоятельство, что здесь была замешана женщина... Да, именно женщина, даже, может быть, и не одна, а две, три, дюжина. Итак: где женщина? Нашлись, конечно, сейчас же такие люди, которые или что-нибудь видели своими глазами, или что-нибудь слышали собственными ушами; другим стоило только порыться в своей памяти и припомнить, что было сказано кем-то и когда-то; большинство ссылалось без зазрения совести на самых достоверных людей, отличных знакомых и близких родных, которые никогда не согласятся лгать и придумывать от себя, а имеют прекрасное обыкновение говорить только одну правду. Таким образом сделалось всем известно, что Привалов провел в Петербурге очень бурную молодость в среде jeunesse dorée самой высшей пробы; подробно описывали наружность его любовниц с стереотипными французскими кличками, те подарки, которые они в разное время получали от Привалова в форме букетов из сторублевых ассигнаций, баснословной величины брильянтов, целых отелей, убранных с княжеской роскошью.

Нужно заметить, что все вышесказанное занимало только легкомысленные умы. Более серьезные и проницательные субъекты мало интересовались такими бреднями и старались разрешить вопрос, зачем Привалов приехал в Узел. Налицо уже было два очень красноречивых факта: во-первых, Привалов остановился в рублевом номере, во-вторых, он сделал первый визит Бахаревым на другой же день. Первый факт можно объяснить или тем, что Привалов навсегда покончил свою веселую жизнь с Бланш и Сюзет и намеревается посвятить себя мудрой экономии, или тем, что он хотел показать себя для первого раза оригиналом, или же, наконец, тем, что он думал сделать себе маленькое incognito. Объяснение второго факта не представляло такой простоты. Что заставило Привалова сделать визит Бахареву сейчас же по своем приезде в Узел? Почему он, Привалов, не сделал такого же визита своим

опекунам? Не хотел ли он этим показать последним свое неудовольствие? Не находится ли в связи с этим подозрительная болезнь старика Бахарева? Наконец, может быть, Привалов приехал просто жениться на одной из дочерей Бахарева? Еще более интереса представлял тот вопрос, как отнесутся к этому факту опекуны Привалова, если принять его как вызов... Да, тут было над чем поломать голову, — заварилась очень крупная каша даже не для уездного города.

— Мне всего удивительнее во всем этом деле кажется поведение Хионии Алексеевны, — несколько раз довольно многозначительно повторила Агриппина Филипьевна Веревкина, представительница узловского beau monde'a[1]. — Представьте: утром, в самый день приезда Привалова, она посылает ко мне свою горничную сказать, что приехал Привалов, а затем как в воду канула... Не понимаю, решительно не понимаю!..

Хиония Алексеевна в эти немногие дни не только не имела времени посетить свою приятельницу, но даже потеряла всякое представление о переменах дня и ночи. У нее был полон рот самых необходимых хлопот, потому что нужно было приготовить квартиру для Привалова в ее маленьком домике. Согласитесь, что это была самая трудная и сложная задача, какую только приходилось когда-нибудь решать Хионии Алексеевне. Но прежде мы должны сказать, каким образом все это случилось.

Когда Хиония Алексеевна еще сидела за обедом у Бахаревых, у нее мелькнул в голове отличный план поместить Привалова у себя на квартире. Это был очень смелый план, но Хиония Алексеевна не унывала, принимая во внимание то, что Привалов остановился в рублевом номере, а также некоторые другие материалы, собранные Матрешкой с разных концов. Всего труднее было решить вопрос, в какой форме сделать предложение Привалову: сделать это ей самой — неудобно; Виктор Николаевич решительно был неспособен к выполнению такой дипломатической миссии; оставалось одно: сделать предложение через посредство Бахаревых; но каким образом? Хиония Алексеевна

[1] высшего света *(франц.)*.

повела дело с дьявольской ловкостью, потому что ей нужно было подготовить Марью Степановну, которая отличалась большим умом и еще большим упрямством. Тонкая дама повела дело самым осторожным образом. Прежде всего ей пришлось пожалеть, что Привалову неудобно поместиться в доме Бахаревых, — злые языки могут бог знает что говорить! Затем она очень подробно распространилась о нынешних молодых людях, которые усваивают себе очень свободные привычки, особенно в столицах. Этим, конечно, Хиония Алексеевна ничего не хотела сказать дурного о Привалове, который стоит выше всех этих сплетен и разных толков, но ведь в провинции ему покажется страшно скучно, и он может увлечься, а если попадет в такое общество... Нет слов, что для Nadine Привалов самая выгодная партия, но ведь все-таки к нему необходимо присмотреться, — кто знает, чтобы не пожалеть после. Вот если бы... Марья Степановна отлично понимала, какую игру затевала Хиония Алексеевна, но несколько времени колебалась и уже затем согласилась посоветовать Привалову пока поместиться в домике Хионии Алексеевны.

— Конечно, только *пока*... — подтверждала Хиония Алексеевна. — Ведь не будет же в самом деле Привалов жить в моей лачуге... Вы знаете, Марья Степановна, как я предана вам, и если хлопочу, то не для своей пользы, а для Nadine. Это такая девушка, такая... Вы не знаете ей цены, Марья Степановна! Да... Притом, знаете, за Приваловым все будут ухаживать, будут его ловить... Возьмите Зосю Ляховскую, Анну Павловну, Лизу Веревкину — ведь все невесты!.. Конечно, всем им далеко до Nadine, но ведь чем враг не шутит.

«Ох-хо-хо! Как бы эта Хина не сплавила нашего жениха в другие руки, — думала Марья Степановна, слушая медовые речи Заплатиной. — Придется ей, видно, браслетку подарить...»

— Ведь вы себе представить не можете, Марья Степановна, какие гордецы все эти Ляховские и Половодовы!.. Уж поверьте мне, что они теперь мечтают... да, именно мечтают, что вот приехал Привалов да прямо к ним в руки и попал...

Когда Марья Степановна посоветовала Привалову занять пока квартиру у m-me Заплатиной, он сейчас же согласился и даже не спросил, сколько комнат ему отведут и где эта квартира.

— Это та самая дама, которую вы видели у нас за обедом, — объясняла Марья Степановна. — Она очень образованная и живет своим трудом... Болтает иногда много, но все-таки очень умная дама.

— Благодарю вас, — добродушно говорил Привалов, который думал совсем о другом. — Мне ведь очень немного нужно... Надеюсь, что она меня не съест?.. Только вот имя у нее такое мудреное.

— А мы ее Хиной зовем, — может, скорее запомнишь.

— Пусть будет Хина...

Когда Заплатина объявила своему мужу фамилию нового жильца, Виктор Николаевич сначала усомнился, а потом с умилением проговорил:

— Ведь ты у меня гениальнейшая женщина!.. А!.. Этакого осетра в жильцы себе заполучила... Да ведь пожить рядом с ним, с миллионером... Фу, черт возьми, какая, однако, выходит канальская штука!..

— А мне, главное, хочется взбесить этих гордецов Половодовых и Ляховских, — задумчиво говорила гениальнейшая женщина. — Воображаю, как это их всех взбесит!.. Ха-ха...

Хиония Алексеевна гналась не из большого: ей прежде всего хотелось насолить Половодовым и Ляховским, а там — что бог даст. Она еще не обдумала хорошенько всех выгод, которые представляла теперь занятая ею позиция. Ясно было одно, — именно, что ее фонды на узловской бирже должны быстро подняться: такой необыкновенный жених и буквально у нее в руках, за стеной. От неиспытанного счастья у Заплатиной кружилась голова... Вот когда за ней будут ухаживать, все будут заискивать, а она этак свысока посмотрит на них и улыбнется только.

«А там женишок-то кому еще достанется, — думала про себя Хиония Алексеевна, припоминая свои обещания Марье Степановне. — Уж очень Nadine ваша нос кверху задирает. Не велика в перьях птица: хороша доч-

ка Аннушка, да хвалит только мать да бабушка! Конечно, Ляховский гордец и кащей, а если взять Зосю, — вот эта, по-моему, так действительно невеста: всем взяла... Да-с!.. Не чета гордячке Nadine...»

Хиония Алексеевна произносила этот монолог перед зеркалом, откуда на нее смотрело испитое, желтое лицо с выражением хищной птицы, которой неожиданно попала в лапы лакомая добыча. Погрозив себе пальцем, почтенная дама проговорила:

— Главное, Хина, не нужно зарываться... Будь паинькой, а там и на нашей улице праздник будет. Посмотрим теперь, что будут поделывать Ляховские и Половодовы... Ха-ха!.. Может быть, придется и Хине поклониться, господа...

В пылу увлечения Хиония Алексеевна сделала перед зеркалом pas des nymphes, как учили ее в пансионе.

XII

Устроить комнаты для Привалова — составляло для Заплатиной очень замысловатую и сложную задачу, которую она решила в течение нескольких дней самым блестящим образом. Три небольшие уютные комнатки она убрала, как гнездышко. Приличная мебель, драпировки на окнах и дверях, цветы и картины — все было скромно, но очень удобно и с большим вкусом. Матрешка до десяти раз сбегала к лакею Привалова, чтобы подробно разузнать, как его барин жил раньше, какая у него квартира, мебель, любит ли он цветы, ковры и т. д. Согласно собранным сведениям, Заплатина и устроила свои три комнаты. Одна из них служила приемной, другая кабинетом, третья спальней.

Привалов удивился, когда Хиония Алексеевна ввела его во владение новой квартирой: ему очень понравились эти три небольшие комнатки.

— Может быть, я заставил вас сделать лишние издержки? — спрашивал Привалов. — Тогда позвольте мне оставить все вещи за собой.

— О нет, зачем же!.. Не стоит говорить о таких пустяках, Сергей Александрыч. Было бы только для вас

удобно, а я все готова сделать. Конечно, я не имею возможности устроить с такой роскошью, к какой вы привыкли...

— Нет, это напрасно, Хиония Алексеевна... Мне именно нравится эта простота.

Хиония Алексеевна была счастлива. Как ни привыкла она лгать, но в настоящем случае она говорила правду. Она готова была сделать все для Привалова, даже сделать не из корыстных видов, как она поступала обыкновенно, а просто потому, что это нужно было для Привалова, это могло понравиться Привалову. Простодушная похвала Привалова заставила ее покраснеть остатками крови, какая еще текла под ее сухой, сморщенной кожей. Одна мысль о том, что она входит в непосредственные сношения с настоящим миллионером, кружила ей голову и нагоняла сладкое опьянение. В ней теперь проснулся тот инстинкт, который двигает всеми художниками: она хотела служить олицетворению миллионов, как брамин служит своему Браме. Ей казалось, что в своих маленьких комнатках она заперла магическую силу, которая, как магнит, сосредоточит на себе всеобщее внимание... Да, этого было даже слишком достаточно, и Хиония Алексеевна на некоторое время совсем вышла из своей обычной роли и ходила в каком-то тумане. Самые узкие и своекорыстные натуры способны к таким душевным порывам и внутреннему просветлению, когда они действуют не из расчета, а по вдохновению.

Кончив свое дело, Хиония Алексеевна заняла наблюдательную позицию. Человек Привалова, довольно мрачный субъект, с недовольным и глупым лицом (его звали Ипатом), перевез вещи барина на извозчике. Хиония Алексеевна, Матрешка и даже сам Виктор Николаевич, затаив дыхание, следили из-за косяков за каждым движением Ипата, пока он таскал барские чемоданы.

— Видно, что с деньгами, — соображала Матрешка, обращавшаяся в суматохе с барыней самым фамильярным образом. — Тяжелые... страсть!..

— Дура, да разве деньги держат дома?!. — обругала Хиония Алексеевна свою верную рабу.

Матрешка всегда держала двугривенные при своей особе, а целковые, которые посылала на ее долю судьба, она прятала иногда в старых тряпицах; поэтому она вопросительно посмотрела на свою барыню — уж не шутит ли она над ней?

— Деньги держат в банке... Понимаешь?.. — объясняла Хиония Алексеевна. — Дома украдут, а там еще проценты заплатят...

Матрешка усомнилась; она не отдала бы своих двугривенных ни в какой банк. «Так и поверила тебе, — думала она, делая глупое лицо, — нашла дуру...»

Очутившись в своей собственной квартире, Привалов вздохнул свободнее. Он как-то сразу полюбил свои три комнатки и с особенным удовольствием раскрыл дорожный сундук, в котором у него лежали самые дорогие вещи, то есть портрет матери, писанный масляными красками, книги и деловые бумаги. На портрете мать Привалова была нарисована еще очень молодой женщиной с темными волосами и большими голубыми глазами. У Павла Михайлыча Гуляева были такие же глаза и смотрели таким же глубоким, задумчивым взглядом. Тонкие породистые руки с длинными пальцами были выпростаны поверх голубого сарафана с затканными серебряными цветочками; белая кисейная рубашка открывала полную, немного смуглую шею, перехваченную жемчужной ниткой. Старинный кокошник почти совсем закрывал гладко зачесанные волосы, которые только на висках выбивались легкими завитками, придававшими портрету какое-то детское выражение. У Привалова волосы были такие же, как у матери, и он поэтому любил их.

«Что было бы, если бы ты была жива?» — думал Привалов.

Он рассматривал потемневшее полотно и несколько раз тяжело вздохнул: никогда еще ему не было так жаль матери, как именно теперь, и никогда он так не желал ее видеть, как в настоящую минуту. На душе было так хорошо, в голове было столько мыслей, но с кем поделиться ими, кому открыть душу! Привалов чувствовал всем существом своим, что его жизнь осветилась каким-то новым светом, что то, что его мучило

и давило еще так недавно, как-то отпало само собой, и будущее было так ясно, так хорошо.

«Нужно работать и работать», — думал Привалов, разбирая свои бумаги; даже эти мертвые белые листы казались ему совсем другими, точно он их видел в первый раз.

Между прочим, разложив на столе большой план вальцовой мельницы, Привалов долго и особенно внимательно рассматривал его во всех подробностях. На плане мельница была нанесена со всеми пристройками, даже была не забыта крошечная избушка сторожа. Привалов машинально начертил тут же небольшой флигель в пять окон с маленьким цветничком впереди. Именно в этом флигельке теперь билось сердце Привалова, билось хорошим, здоровым чувством, а в окно флигелька смотрело на Привалова такое хорошее девичье лицо с большими темносерыми глазами и чудной улыбкой.

XIII

Хиония Алексеевна немного рано отпраздновала свою победу: ни Ляховский, ни Половодов не приехали к Привалову с визитом и таким образом вполне сохранили за собой высоту своего положения. Это сердило и удивляло Хионию Алексеевну, потому что она, по странному свойству человеческой природы, переносила все, что относилось до жильца, на собственную особу. Почтенную даму даже бесило поведение Привалова, который, кажется, не хотел понимать коварства своих опекунов и оставался до безобразия спокойным. Хиония Алексеевна зорко следила за каждым его шагом и только презрительно покачивала головой, когда Привалов, выйдя из ворот, поворачивал налево.

— Опять... — произносила Хиония Алексеевна таким тоном, как будто каждый шаг Привалова по направлению к бахаревскому дому был для нее кровной обидой. — И чего он *туда* повадился? Ведь в этой Nadine, право, даже интересного ничего нет... никакой женственности. Удивляюсь, где только у этих мужчин глаза... Какой-нибудь синий чулок и... тьфу!..

Хиония Алексеевна относительно своего жильца начала приходить к тому убеждению, что он, бедняжка, глуповат и позволяет водить себя за нос первой попавшейся на глаза девчонке. Несколько раз она нарочно ездила к Марье Степановне, чтобы разузнать, нет ли чего-нибудь нового и что такое мог делать там Привалов. Нового Хиония Алексеевна узнала немного: Привалов больше проводил время в разговоре с Марьей Степановной или в кабинете старика. Nadine была еще глупее Привалова. Она подманивала жениха, как поповна. Со стороны даже было противно смотреть, как она нарочно старалась держаться в стороне от Привалова, чтобы разыграть из себя театральную ingénue, а сама то ботинок покажет Привалову из-под платья, то глазами примется работать, как последняя горничная. «Нечего сказать, воспитали сокровище!.. И Марья Степановна тоже хороша, — будто ничего не замечает, какие штучки выкидывает ученая дочка». Хионию Алексеевну начинало задевать за живое все, что она теперь видела в бахаревском доме; она даже подозревала, не думает ли обойтись Марья Степановна совсем без нее. Одна мысль остаться пятым колесом в этой игре бросала Хионию Алексеевну в холодный пот, — она слишком увлеклась своим новым положением.

«Уж больно зачастил что-то, — думала Марья Степановна о Привалове, — пожалуй, люди еще бог знает что наскажут...»

Каждый новый визит Привалова и радовал Марью Степановну и как-то заботил: она не могла не видеть, что Надя нравилась Привалову и что он инстинктивно ищет ее общества, но уж что-то очень скоро заваривалось то, чего так страстно желала в душе Марья Степановна.

— Ты бы сходил к Ляховскому-то, — советовала она Привалову материнским тоном, — он хоть и бусурман, а всех умнее в городе-то. Вот тоже к Половодову надо.

— Я каждый день собираюсь сделать эти визиты и каждый раз откладываю, — отвечал Привалов.

— Знаю, что тяжело тебе к ним идти, — пожалела Марья Степановна, — да что уж будешь делать. Вот и отец то же говорит.

Марья Степановна решилась переговорить с дочерью и выведать от нее, не было ли у них чего. Раз она заметила, что они о чем-то так долго разговаривали; Марья Степановна нарочно убралась в свою комнату и сказала, что у нее голова болит: она не хотела мешать «божьему делу», как она называла брак. Но когда она заговорила с дочерью о Привалове, та только засмеялась, странно так засмеялась.

— Право, мама, я вас не узнаю совсем, — говорила Надежда Васильевна, — с чего вы взяли, что я непременно должна выходить за Привалова замуж?

— А хоть бы и так, — худого нет; не все в девках сидеть да книжки свои читать. Вот мудрите с отцом-то, — счастья бог и не посылает. Гляди-ко, двадцать второй год девке пошел, а она только смеется... В твои-то годы у меня трое детей было, Костеньке шестой год шел. Да отец-то чего смотрит?

— Это все ваша Хина придумывает, мама.

— Хина?! Я и без Хины знаю, матушка.

— Вы, мама, добьетесь того, что я совсем не буду выходить из своей комнаты, когда у нас бывает Привалов. Мне просто совестно... Если человек хорошо относится ко мне, так вы хотите непременно его женить. Мы просто желаем быть хорошими знакомыми — и только.

— Да ведь не с хорошими знакомыми жить-то, а с мужем!

— Муж найдется, мама. В газетах напечатаем, что вот, мол, столько-то есть приданого, а к нему прилагается очень хорошая невеста... За офицера выйду!

— Полно пустяки-то молоть... Тогда в гостиной-то о чем вы целый час разговаривали?

— Вы непременно желаете это знать?

— Я тебя не заставляю исповедоваться, а так, к слову спросила.

— Я тоже к слову скажу вам: я читала книгу, Сергей Александрыч увидел... ну, о книге и говорили.

— Вот ты и оставайся с своей книгой, а Сергей Александрыч поедет к Ляховскому да на Зосе и женится.

— Что же, мама, Зося хорошая девушка, и Сергей Александрыч недурной человек, — отличная парочка выйдет. Я невесту провожать поеду.

— Мудришь много над матерью-то, Надежда Васильевна, — строго закончила Марья Степановна. — После чтобы не плакать...

Василий Назарыч все время прихварывал и почти не выходил из своего кабинета. Он всегда очень любезно принимал Привалова и подолгу разговаривал об опеке. От Надежды Васильевны он знал ее последний разговор с матерью и серьезно ей заметил:

— Надя, мать — старинного покроя женщина, и над ней смеяться грешно. Я тебя ни в чем не стесняю и выдавать силой замуж не буду, только мать все-таки дело говорит: прежде отцы да матери устраивали детей, а нынче нужно самим о своей голове заботиться. Я только могу тебе советовать как твой друг. Где у нас женихи-то в Узле? Два инженера повертятся да какой-нибудь иркутский купец, а Привалов совсем другое дело...

— По всей вероятности, папа, я его и полюбила бы, если бы меня не выставляли невестой.

— Ах ты, господи! Да кто же ты, перестарок, что ли, какой?

— Папа, оставим этот разговор, а то опять рассоримся.

Эти разговоры с дочерью оставляли в душе Василия Назарыча легкую тень неудовольствия, но он старался ее заглушить в себе то шуткой, то усиленными занятиями. Сама Надежда Васильевна очень мало думала о Привалове, потому что ее голова была занята другим. Ей хотелось поскорее уехать в Шатровские заводы, к брату. Там она чувствовала себя как-то необыкновенно легко. Надежде Васильевне особенно хотелось уехать именно теперь, чтобы избавиться от своего неловкого положения невесты.

XIV

Сам Привалов не замечал, как летело время. Та работа, о которой он мечтал, как-то не делалась, а все откладывалась день за день. Не отдавая себе отчета в том, что его тянуло в бахаревский дом, Привалов скучал в те свободные промежутки, которые у него оста-

вались между двумя визитами к Бахаревым. В эти минуты одиночества, когда Привалов насильно усаживал себя за какую-нибудь книгу или за вычисления по каким-нибудь планам, он по десяти раз перебирал в своей памяти все, в чем действующим лицом являлась Надежда Васильевна.

Раз они вдвоем особенно долго гуляли по бахаревскому саду; Марья Степановна обыкновенно сопровождала их в таких случаях или командировала Верочку, но на этот раз к ней кто-то приехал, а Верочки не было дома.

— Отчего вы не хотите ехать к Ляховскому? — откровенно спрашивала Надежда Васильевна, когда они шли по тенистой липовой аллее.

— Мне тяжело ехать, собственно, не к Ляховскому, а в этот старый дом, который построен дедом, Павлом Михайлычем. Вам, конечно, известна история тех безобразий, какие творились в стенах этого дома. Моя мать заплатила своей жизнью за удовольствие жить в нем...

— Но ведь, кроме воспоминаний, есть настоящее, Сергей Александрыч.

— Вы хотите сказать о заводах?

— Да, я довольно часто бываю в Шатровском заводе, у Кости, и мы часто говорили с ним о вас. Ведь с судьбой этих заводов связана участь сорокатысячного населения... Костя не любит фантазий, но в заводском деле он просто фанатик, и я очень люблю его именно за это. Мне самой тоже нравятся заводы, и знаете, почему? Не потому, что они стоят так дорого, и даже не потому, что с этими именно заводами срослись наши лучшие семейные воспоминания, — нет, я люблю их за тот особенный дух, который вносит эта работа в жизнь. Что-то такое хорошее, новое, сильное чувствуется каждый раз, когда смотришь на заводское производство. Ведь это новая сила в полном смысле слова...

Они сидели в эту минуту на зеленой садовой скамейке. Лицо Надежды Васильевны горело румянцем, глаза светились и казались еще темнее; она сняла соломенную шляпу с головы и нервно скручивала пальцами колокольчики искусственных ландышей, приколотых к отогнутому полю шляпы. Этот разговор сам собой

свелся к планам Привалова; он уже открыл рот, чтобы посвятить Надежду Васильевну в свои заветные мечты, но, взглянув на нее, остановился. Ему показалось даже, что девушка немного отодвинулась от него и как-то особенно посмотрела в дальний конец аллеи, где ярким пятном желтело канареечное платье приближавшейся Верочки.

— Пойдемте; мама ждет нас кофе пить, — проговорила Надежда Васильевна, поднимаясь со скамьи.

Так на этот раз и осталось невысказанным то, чем Привалову хотелось поделиться именно с Надеждой Васильевной.

На половине Марьи Степановны была устроена моленная. Это была длинная комната совсем без окон; человек, незнакомый с расположением моленной, мог десять раз обойти весь дом и не найти ее. Ход в моленную был проведен из темного чуланчика, который был устроен рядом со спальней Марьи Степановны; задняя стенка этого чулана составляла дверь в моленную и для окончательной иллюзии была завешана какими-то старыми шубами. Привалов, не застав Марью Степановну в гостиной, прошел однажды прямо в моленную. Она была там и сама читала за раздвижным аналоем канон богородице; в уголке ютились какие-то старухи в темных платках, повязанных по-раскольничьи, то есть по спине были распущены два конца, как это делают татарки. Седой сгорбленный старик в длиннополом кафтане стоял у правой стены и степенно откладывал поклоны, припадая своей головой к потертому шелковому подрушнику. Привалова сразу охватила с детства знакомая атмосфера: пахло росным ладаном, воском и деревянным маслом. Вся передняя стена моленной была занята иконостасом, в котором, под дорогими окладами из серебра и золота, темнели образа самого старинного письма. Тут были собраны иконы работы фряжской, старого строгановского письма и произведения кормовых царских изографов. Все эти богатства достались моленной Марьи Степановны как наследство после смерти матери Привалова из разоренной моленной в приваловском доме. Слабо теплившиеся неугасимые лампады бросали колеблющийся свет кругом, выхваты-

вая из окружающей темноты глубокую резьбу обронных риз, хитрые потемневшие узоры басменного дела, поднизи из жемчуга и цветных камней, золотые подвески и ожерелья. Под некоторыми иконами висели богатые пелены с золотыми крестами и дорогим шитьем по углам; на маленьком столике, около самого аналоя, дымилась серебряная кацея.

Голос Марьи Степановны раздавался в моленной с теми особенными интонациями, как читают только раскольники: она читала немного в нос, растягивала слова и произносила «й» как «и». Оглянувшись назад, Привалов заметил в левом углу, сейчас за старухами, знакомую высокую женскую фигуру в большом платке, с сложенными по-раскольничьи на груди руками. Это была Надежда Васильевна.

— Ну вот и хорошо, что пришел с нами помолиться, — говорила Марья Степановна, когда выходила из моленной. — Тут половина образов-то твоих стоит, только я тебе их не отдам пока...

— Почему не отдадите, Марья Степановна?

— Да так... Куда ты с ними? Дело твое холостое, дома присмотреть некому. Не больно вы любите молиться-то. А у меня неугасимая горит, кануны старушки говорят.

— Пусть уж лучше стоят у вас, Марья Степановна, — согласился Привалов.

— Как стоят?

— Да так, как стоят теперь. Мне их не нужно.

— Ну, это ты уж напрасно говоришь, — строго проговорила Марья Степановна. — Не подумал... Это твои родовые иконы; деды и прадеды им молились. Очень уж вы нынче умны стали, гордость одолела.

— Мама, ты не поняла Сергея Александрыча, — вступилась Надежда Васильевна.

— Ну, уж извини, голубушка... Что другое действительно не понимаю, — стара стала и глупа, а уж это-то я понимаю.

Старуха расходилась не на шутку, и Надежде Васильевне стоило большого труда успокоить ее. Эта неожиданная вспышка в первую минуту смутила Привалова, и он немного растерялся.

— Вы знаете, за что мама сегодня так рассердилась на вас? — спрашивала Надежда Васильевна, когда он уходил домой.

— За недостаток усердия к старой вере?

— Нет... за то, что вы показали себя недостаточно Приваловым. Поняли?

— Не совсем.

Надежда Васильевна ничего не ответила, а только засмеялась и посмотрела на Привалова вызывающим, говорившим взглядом. Слова девушки долго стояли в ушах Привалова, пока он их обдумывал со всех возможных сторон. Ему особенно приятно было вспомнить ту энергичную защиту, которую он так неожиданно встретил со стороны Надежды Васильевны. Она была за него: между ними, незаметно для глаз, вырастало нравственное тяготение.

XV

Однажды, когда Привалов сидел у Бахаревых, зашла речь о старухе Колпаковой, которая жила в своем старом, развалившемся гнезде, недалеко от бахаревского дома.

— Вы не желаете ли проводить меня к Павле Ивановне? — предложила Надежда Васильевна Привалову; она это делала нарочно, чтобы побесить немножко мать.

— Я с удовольствием... — согласился Привалов, удивленный таким предложением; он видел, как Марья Степановна строго подобрала губы оборочкой, хотя и согласилась с своей обычной величественной манерой.

— Верочка с нами пойдет, мама, — проговорила Надежда Васильевна, надевая шляпу.

Верочка, конечно, была согласна на такую прогулку и даже покраснела от удовольствия. «Дурит девка, — думала Марья Степановна, провожая до террасы счастливое молодое трио. — Вот ужо скажу отцу-то!..» Эти сердитые размышления очень кстати были прерваны звонким поцелуем, который влепила Верочка матери с своей обыкновенной стремительностью. Марья Степановна проводила глазами уходящих дочерей, которые были счастливы молодым счастьем. Особенно хорошо

чувствовала себя Верочка. Все, что теперь делала Надя, для нее было недосягаемым идеалом, целой наукой. Ведь у этой Нади все так просто и вместе так хорошо выходит, — и шляпка всегда хорошо сидит, хотя стоит всего пять рублей, и платья какими-то такими складками ложатся... Верочка не замечала, что идеализировала сестру, смотря на нее как на невесту.

— Это пять минут ходьбы отсюда, — говорила Надежда Васильевна, когда они выходили из ворот. — Из ворот сейчас налево, спустимся к реке, а потом повернем за угол, — тут и колпаковское гнездо.

Дом Колпаковой представлял собой совершенную развалину; он когда-то был выстроен в том помещичьем вкусе, как строили в доброе старое время Александра I. Фасад с колоннами и мезонином, ворота в форме триумфальной арки, великолепный подъезд, широкий двор и десятки ненужных пристроек, в числе которых были и оранжереи специально для ананасов, и конюшни на двадцать лошадей, и целый ряд каких-то корпусов, значение которых теперь трудно было угадать. Колпаков был один из самых богатых золотопромышленников; он любил развернуться во всю ширь русской натуры, но скоро разорился и умер в нищете, оставив после себя нищими жену Павлу Ивановну и дочь Катю. Теперь колпаковское гнездо произвело на Привалова самое тяжелое впечатление, и он удивился, где могла помещаться Павла Ивановна с дочерью. Когда-то зеленая крыша давно проржавела, во многих местах листы совсем отстали, и из-под них, как ребра, выглядывали деревянные стропила; лепные карнизы и капители коринфских колонн давно обвалились, штукатурка отстала, резные балясины на балконе давно выпали, как гнилые зубы, стекол в рамах второго этажа и в мезонине не было, и амбразуры окон глядели как выколотые глаза.

— Где же помещается Павла Ивановна? — спросил Привалов, когда они подошли к покосившейся калитке; самое полотнище калитки своим свободным концом вросло в землю, и поэтому вход во двор был всегда открыт.

— А вот внизу, угловая комнатка...

Они обошли дом кругом, спустились по гнилым

ступеням вниз и очутились совсем в темноте, где пахнуло на них гнилью и сыростью. Верочка забежала вперед и широко распахнула тяжелую дверь в низкую комнату с запыленными крошечными окошечками.

— Это мы, Павла Ивановна... можно войти?— спрашивала она, останавливаясь в дверях.

— Можно, можно... — ответил какой-то глухой женский голос, и от окна, из глубины клеенчатого кресла, поднялась низенькая старушка в круглых серебряных очках. — Ведь это ты, Верочка?

Заметив Привалова, старушка торопливо поправила на плечах вылинявшую синелевую шаль и вдруг выпрямилась, точно ее что кольнуло.

— Вы меня, вероятно, не узнаете, Павла Ивановна, — заговорил Привалов, когда Надежда Васильевна поздоровалась со старушкой. — Сергей Привалов...

— Сережа!.. — вскрикнула Павла Ивановна и всплеснула своими высохшими, морщинистыми руками. — Откуда? Какими судьбами?.. А помните, как вы с Костей бегали ко мне, этакими мальчугашками... Что же я... садитесь сюда.

— Вы, Павла Ивановна, пожалуйста, не хлопочите, мы пришли не как гости, а как старые знакомые, — говорила Надежда Васильевна.

— Хорошо, хорошо... — шептала старушка, украдкой осматривая Привалова с ног до головы; ее выцветшие темные глаза смотрели с безобидным, откровенным любопытством, а сухие посинелые губы шептали: — Хорошо... да, хорошо.

«Надя привела жениха показать...» — весело думала старушка, торопливо, как мышь, убегая в темную каморку, где скоро загремела крышка на самоваре.

Привалов только теперь осмотрелся в полутемной комнате, заставленной самой сборной мебелью, какую только можно себе представить. Перед диваном из красного дерева, с выцветшей бархатной обивкой, стояла конторка палисандрового дерева; над диваном висела картина с купающимися нимфами; комод, оклеенный карельской березой, точно навалился на простенок между окнами; разбитое трюмо стояло в углу на простой

некрашеной сосновой табуретке; богатый туалет с отломленной ножкой, как преступник, был притянут к стене запыленными шнурками. Старинный шандал красовался на комоде, а из резной рамы туалета выглядывало несколько головок деревянных амуров. Все эти обломки старой роскоши были покрыты слоем пыли, как в лавке старых вещей. Старый китайский кот вылез из-за комода, равнодушно посмотрел на гостей и, точно сконфузившись, убрался в темную каморку, где Павла Ивановна возилась с своим самоваром.

— Слава богу, слава богу, что вы приехали наконец! — улыбаясь Привалову, говорила Павла Ивановна. — Дом-то валится у вас, нужен хозяйский глаз... Да, я знаю это по себе, голубчик, знаю. У меня все вон развалилось.

«Чему она так радуется?» — думал Привалов и в то же время чувствовал, что любит эту добрую Павлу Ивановну, которую помнил как сквозь сон.

Чай прошел самым веселым образом. Старинные пузатенькие чашки, сахарница в виде барашка с обломленным рогом, высокий надутый чайник саксонского фарфора, граненый низкий стакан с плоским дном — все дышало почтенной древностью и смотрело необыкновенно добродушно. Верочка болтала, как птичка, дразнила кота и кончила тем, что подавилась сухарем. Это маленькое происшествие немного встревожило Павлу Ивановну, и она проговорила, покачивая седой головой:

— Вот уж воистину сделали вы мне праздник сегодня... Двадцать лет с плеч долой. Давно ли вот такими маленькими были, а теперь... Вот смотрю на вас и думаю: давно ли я сама была молода, а теперь... Время-то, время-то как катится!

С намерением или без намерения, Павла Ивановна увела Верочку в огород, где росла у нее какая-то необыкновенная капуста; Привалов и Надежда Васильевна остались одни. Девушка поняла невинный маневр Павлы Ивановны: старушка хотела подарить «жениху и невесте» несколько свободных минут.

— Какая жалкая эта Павла Ивановна, — проговорил Привалов.

— Зачем жалкая? Нет, это кажется только на

первый раз... она живет истинным философом. Вы как-нибудь поговорите с ней поподробнее.

— Какого же сорта у нее философия?

— Да как вам сказать... У нее совсем особенный взгляд на жизнь, на счастье. Посмотрите, как она сохранилась для своих лет, а между тем сколько она пережила... И заметьте, она никогда не пользовалась ничьей помощью. Она очень горда, хотя и выглядит такой простой.

— Чем же она существует?

— Плетет кружева, вяжет чулки... А как хорошо она относится к людям! Ведь это целое богатство — сохранить до глубокой старости такое теплое чувство и стать выше обстоятельств. Всякий другой на ее месте давно бы потерял голову, озлобился, начал бы жаловаться на все и на всех. Если бы эту женщину готовили не специально для богатой, праздной жизни, она принесла бы много пользы и себе и другим.

Этот разговор был прерван появлением Павлы Ивановны и Верочки. Чай был кончен, и оставалось только идти домой. Во дворе им встретился высокий сгорбленный старик с желтыми волосами.

— Это сумасшедший... — предупредила Надежда Васильевна Привалова, который подал ей руку.

Старик, прищурившись, посмотрел на молодую компанию и, торопливо шмыгая худыми сапогами, подошел прямо к Привалову.

— Вот здесь все бумаги... — надтреснутым голосом проговорил сумасшедший, подавая Привалову целую пачку каких-то засаленных бумаг, сложенных самым тщательным образом и даже перевязанных розовой ленточкой.

— Это что у вас за бумаги? — спрашивал Привалов, рассматривая сверток.

— Тут все мое богатство... Все мои права, — с уверенной улыбкой повторил несколько раз старик, дрожавшими руками развязывая розовую ленточку. — У меня все отняли... ограбили... Но права остались, и я получу все обратно... Да. Это верно... Вы только посмотрите на бумаги... ясно, как день. Конечно, я очень давно жду, но что же делать.

В развязанной пачке оказался всякий хлам: театральные афиши, билеты от давно разыгранной лотереи, объявления разных магазинов, даже пестрые этикеты с ситцев и лекарств. Привалов внимательно рассмотрел эти «права» и, возвращая бумажки старику, проговорил:

— Да, вам ещё придется подождать...

— А как вы думаете: получу я по этим документам?

На морщинистом лице старика изображалось такое напряженное внимание, что Привалову сделалось его жаль. Верочка тихонько хихикала, прячась за Павлу Ивановну.

— Наверно получите, — уверяла Надежда Васильевна сумасшедшего старика. — Вы ведь долго ждали, и теперь уж осталось немного...

— Ах, благодарю вас, благодарю, — прошептал старик и быстро поцеловал у нее руку. — Ваш муж очень умный человек... Да, я буду ждать...

Верочка не могла удержаться от душившего ее смеха и убежала немного вперед.

XVI

Известно, что провинциальная жизнь всецело зиждется на визитах. Это своего рода гамма, из которой составляются всевозможные музыкальные комбинации. Первыми приехали к Привалову Виктор Васильич и Nicolas Веревкин. Виктор Васильич явился от имени Василия Назарыча, почему счел своим долгом затянуться в фрачную пару, белый галстук, белые перчатки и шелковый модный цилиндр с короткими полями и совершенно прямой тульей. Nicolas Веревкин, первенец Агриппины Филипьевны и местный адвокат, представлял полную противоположность Виктору Васильичу: высокий, толстый, с могучей красной шеей и громадной, как пивной котел, головой, украшенной шелковыми русыми кудрями, он, по своей фигуре, как выразился один местный остряк, походил на благочестивого разбойника. Действительно, лицо Веревкина поражало с первого раза: эти вытаращенные серые глаза, которые

смотрели, как у амфибии, немигающим застывшим взглядом, эти толстые мясистые губы, выдававшиеся скулы, узкий лоб с густыми, почти сросшимися бровями, наконец, этот совершенно особенный цвет кожи — меднокрасный, отливавший жирным блеском, — все достаточно говорило за себя. Прибавьте к этому, что местный адвокат улыбался чрезвычайно редко; но его лицо делалось положительно красивым благодаря неуловимой смеси нахальства, иронии и комизма, которые резко отметили это странное лицо среди тысячи других лиц. В самых глупостях, которые говорил Nicolas Веревкин с совершенно серьезным лицом, было что-то особенное: скажи то же самое другой, — было бы смешно и глупо, а у Nicolas Веревкина все сходило с рук за чистую монету. Он был баловнем в мужском и женском обществе, как породистое животное, выделявшееся свежим пятном среди остальных заурядных людишек.

— Посмотрите, Сергей Александрыч, какого я вам зверя привез! — громко кричал Виктор Васильич из передней.

— Очень, очень приятно... — говорил Привалов, крепко пожимая громадную лапу старого университетского товарища.

— Полюбите нас черненькими... — отвечал Веревкин приятным грудным баритоном, оглядывая фигуру Привалова.

Виктор Васильич сейчас же сделал самый подробный обзор квартиры Привалова и проговорил, не обращаясь собственно ни к кому:

— Вот так Хина!.. Отлично устроила все, право. А помнишь, Nicolas, как Ломтев в этих комнатах тогда обчистил вместе с Иваном Яковличем этих золотопромышленников?.. Ха-ха... В чем мать родила пустили сердечных. Да-с...

— Вы очень кстати приехали к нам в Узел, — говорил Веревкин, тяжело опускаясь в одно из кресел, которое только не застонало под этим восьмипудовым бременем. Он несколько раз обвел глазами комнату, что-то отыскивая, и потом прибавил: — У меня сегодня ужасная жажда...

— В самом деле, и у меня главизна зело трещит после вчерашнего похмелья, — прибавил с своей стороны Виктор Васильич. — Nicolas, ты очищенную? А мне по части хересов. Да постойте, Привалов, я сам лучше распоряжусь! Ей-богу!

Виктор Васильич мгновенно исчез на половину Хионии Алексеевны и вернулся оттуда в сопровождении Ипата, который был нагружен бутылками и тарелочками с закуской; Хиония Алексеевна давно предупредила Виктора Васильича, и все уже было готово, когда он заявился к ней с требованием водки и хересов.

— Да скажи барыне, — кричал Бахарев вдогонку уходившему лакею, — скажи, что гости останутся обедать... Понимаешь?

— Чревоугодие и натура одолевают, — объявил Веревкин, выпивая рюмку водки с приемами записного пьяницы.

Привалов через несколько минут имел удовольствие узнать последние новости и был посвящен почти во все городские тайны. Виктор Васильич болтал без умолку, хотя после пятой рюмки хереса язык у него начал заметно прилипать. Он был с Приваловым уже на «ты».

— А я тебя, Привалов, полюбил с первого раза... Ей-богу! — болтал Бахарев, блестя глазами. — Мне черт с ними, с твоими миллионами: не с деньгами жить, а с добрыми людьми... Ха-ха! Я сам давно бы был миллионером, если бы только захотел. Воображаю, как бы все начали тогда ухаживать за мной... Ха-ха!.. «Виктор Васильич! Виктор Васильич...» Я бы показал им, что плевать на них всех хочу... Да-с. А вот мы тебя познакомим с такими дамочками — пальчики оближешь! Ты кого больше любишь: девиц или дам? Я предпочитаю вдовушек... С девицами только время даром терять... Ах! Да вот у Nicolas есть сестренка Алла, — с секретом барышня. А вот поедешь к Ляховскому, так там тебе покажут такую барышню, что отдай все, да мало, прибавь — недостанет... Это, брат, сама красота, огонь, грация и плутовство.

— Зося действительно пикантная девчонка, — согласился Веревкин, смакуя кусок балыка.

— Она меня однажды чуть не расцеловала, — объявил Бахарев.

— Ну, уж это ты врешь, — заметил Веревкин. — Выгонять — она тебя действительно выгоняла, а чтобы целовать тебя... Это нужно совсем без головы быть!

— Ах! Да ты послушай, как это было... Зося любит все смешное, я однажды и показал ей, как собаки мух ловят. Меня один ташкентский офицер научил... Видел, как собака лежит-лежит на солнышке и задремлет (Бахарев изобразил, как дремлет на солнце собака)... Потом пролетит муха: «жжж...» Собака откроет сначала один глаз, потом другой, прищурится немного и этак, понимаете, вдруг «гхам!..» (Бахарев действительно с замечательным искусством передал эту сцену.) Как я показал Зосе эту штуку, — она меня и давай просить, чтобы я ее тоже научил... Ведь научилась, — лучше меня теперь ловит мух! Ты как-нибудь попроси ее, она покажет... Вот она тогда меня чуть-чуть и не расцеловала.

— Вероятно, приняла за настоящую собаку!

— Эк тебя взяло с твоим остроумием... — ворчал Бахарев. — Э, да чего мне тут с вами киснуть, я к Хине лучше пойду...

Легонько пошатываясь и улыбаясь рассеянной улыбкой захмелевшего человека, Бахарев вышел из комнаты. До ушей Привалова донеслись только последние слова его разговора с самим собой: «А Привалова я полюбил... Ей-богу, полюбил! У него в лице есть такое... Ах, черрт побери!..» Привалов и Веревкин остались одни. Привалов задумчиво курил сигару, Веревкин отпивал из стакана портер большими аппетитными глотками.

— Вы что же, — совсем к нам? — спрашивал Веревкин.

— Да, думаю остаться здесь.

Веревкин что-то промычал и медленно отхлебнул из своего стакана; взглянув в упор на Привалова, он спросил:

— Вы были у Бахарева?

— Да.

— Гм... Видите ли, Сергей Александрыч, я приехал к вам, собственно, по делу, — начал Веревкин, не спуская глаз с Привалова. — Но прежде позвольте один

вопрос... У вас не заходила речь обо мне, то есть старик Бахарев ничего вам не говорил о моей особе?

— Нет, ничего не говорил, — ответил Привалов, не понимая, к чему клонились эти вопросы.

— Гм... — промычал Веревкин и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. — Дело вот в чем, Сергей Александрыч... Я буду говорить с вами как старый университетский товарищ. Гм... Одним словом, вы, вероятно, уже заметили, что я порядочно опустился...

Привалов только съежил плечи при таком откровенном признании и пробормотал что-то отрицательное.

— Нет, зачем же! — так же бесстрастно продолжал Веревкин. — Видна птица по полету... Сильно опустился, — при последних словах Веревкин несколько раз тряхнул своей громадной головой, точно желая от чего-то освободиться. — И другие видят, и сам вижу... Шила в мешке не утаишь. Я адвокатом лет восемь. Годовой бюджет десять — двенадцать тысяч; кругом в долгу... Есть кой-какая репутация по части обделывания делишек. Об этом еще успеете наслушаться; но я говорю вам все это в тех видах, чтобы не обманывать на свой счет. Немного свихнулся, одним словом... Стороной я слышал о вашем деле по наследству, так вот и приехал предложить свои услуги. С своей стороны могу сказать только то, что я с удовольствием поработал бы именно для такого запутанного дела... Вам ведь необходим поверенный?

— Да... Отчего же, я согласен, — отвечал Привалов, — очень рад.

— Нет, для вас радость не велика, а вот вы сначала посоветуйтесь с Константином Васильичем, — что он скажет вам, а я подожду. Дело очень важное, и вы не знаете меня. А пока я познакомлю вас, с кем нам придется иметь дело... Один из ваших опекунов, именно Половодов, приходится мне beau frère'ом [1], но это пустяки... Мы подтянем и его. Знаете русскую пословицу: хлебцем вместе, а табачком врозь.

Этот разговор был прерван появлением Бахарева, который был всунут в двери чьими-то невидимыми руками. Бахарев совсем осовелыми глазами посмотрел на

---

[1] зятем, *(франц.)*

Привалова, покрутил головой и заплетавшимся языком проговорил:

— Черт возьми... из самых недр пансиона вынырнул... то есть был извлечен оттуда... А там славная штучка у Хины запрятана... Глаза — масло с икрой... а кулаки у этого неземного создания!.. Я только хотел заняться географией, а она меня как хватит кулаком...

Привалов и Веревкин засмеялись, а Бахарев, пошатываясь и крутя головой, доплелся до оттомана, на котором и растянулся. Сделав героическое усилие удержаться на локтях, он проговорил:

— Послу-ушай, Привалов... я тебя люблю... а ты не знаешь ничего... не-ет...

— Сергей Александрыч знает только то, что тебе нужно хорошенько выспаться, — заметил Веревкин.

— Не-ет... Вы думаете, что я дурак... пьян... Послушай, Привалов, я... тебе вот что скажу...

Бахарев сел и рассеянно посмотрел кругом.

— Мама тебя очень... любит, — продолжал он, раскачивая ногами. — Ведь мама отличная старуха... дда-а... У нее в мизинце больше ума, чем у Веревкина... в голове!.. Да-а... Хе-е... А только мама теперь боится, знаешь чего... Гм... дда... Она боится, что ты женишься на Зосе... Ей-богу!.. А Надя отличная девушка... Ей-богу... Она мне сестра, а я всегда скажу: отличная, умная... Если бы Надя не была мне сестра... ни за какие бы коврижки не уступил тебе... Как ушей своих не увидал бы... дда... Ты непременно женись на ней... слышишь? После спасибо скажешь... А мама боится Зоси, чтобы не отбила жениха... Ха-ха!.. Зося меня чуть не расцеловала, когда я ее научил мух ловить.

— Ну, довольно, спи, — говорил Веревкин, укладывая заболтавшегося молодого человека.

Привалов вдруг покраснел. Слова пьяного Бахарева самым неприятным образом подействовали на него, — не потому, что выставляли в известном свете Марью Степановну, а потому, что имя дорогой ему девушки повторялось именно при Веревкине. Тот мог подумать черт знает что...

— Виктор отличный парень, только уж как попало ему в голову — и понес всякую чепуху, — говорил

Веревкин, делая вид, что не замечает смущения Привалова. — Врет, как пьяная баба... Самая гнилая натуришка!.. Впрочем, Виктор говорит только то, что теперь говорит целый город, — прибавил Веревкин. — Как тертый калач могу вам дать один золотой совет: никогда не обращайте внимания на то, что говорят здесь про людей за спиной. Это язва провинции, особенно нашей. Оно и понятно: мы, мужчины, можем хоть в карты резаться, а дамам что остается? Впрочем, я это только к слову... дамы не по моей части.

Бахарев громко храпел, раскинувшись на оттомане. У Привалова немного отлегло на сердце, и он с благодарностью посмотрел на своего собеседника, проговорив:

— Что касается меня, то мне решительно все равно, что ни болтали бы, но ведь здесь является имя девушки; наконец, сама Марья Степановна может показаться в таком свете...

— Э, батенька, плюньте... Мы вот лучше о деле побалагурим. Виктор, спишь? Спит...

В нескольких словах Веревкин дал заметить Привалову, что знает дело о наследстве в мельчайших подробностях, и намекнул между прочим на то, что исчезновение Тита Привалова тесно связано с какой-то очень смелой идеей, которую хотят провести опекуны.

— Именно? — спросил Привалов.

— Собственно, определенных данных я в руках не имею, — отвечал уклончиво Веревкин, — но у меня есть некоторая нить... Видите ли, настоящая каша заваривается еще только теперь, а все, что было раньше, — только цветочки.

— Помилуйте, Николай Иваныч, что же еще-то может быть?

— Об этом мы еще поговорим после, Сергей Александрыч, а теперь я должен вас оставить... У меня дело в суде, — проговорил Веревкин, вынимая золотые часы. — Через час я должен сказать речь в защиту одного субъекта, который убил троих. Извините, как-нибудь в другой раз... Да вот что: как-нибудь на днях загляните в мою конуру, там и покалякаем. Эй, Виктор, вставай, братику!

— Оставьте его, пусть спит, — говорил Привалов. — Он мне не мешает.

— А вы с ним не церемоньтесь... Так я буду ждать вас, Сергей Александрыч, попросту, без чинов. О моем предложении подумайте, а потом поговорим всерьез.

Предложение Веревкина и слова пьяного Виктора Васильича заставили Привалова задуматься. Что такое мог подозревать этот Веревкин в деле о наследстве? Но ведь даром он не стал бы болтать. Подозревать, что своим намеком Веревкин хотел прибавить себе весу, — этого Привалов не мог по многим причинам: раз — он хорошо относился к Веревкину по университетским воспоминаниям, затем Веревкин был настолько умен, что не допустит такого грубого подходца; наконец, из слов Веревкина, которыми он рекомендовал себя, можно вывести только то, что он сразу хотел поставить себя начистоту, без всяких недомолвок. Только одно в разговоре с Веревкиным не понравилось Привалову, именно то, что Веревкин вскользь как будто желал намекнуть на зависимость Привалова от Константина Васильича.

«Что он этим хотел сказать? — думал Привалов, шагая по своему кабинету и искоса поглядывая на храпевшего Виктора Васильича. — Константин Васильич может иметь свое мнение, как я свое... Нет, я уж, кажется, немного того...»

В глубине души Привалова оставалась еще капелька горечи, вызванная словами Виктора Васильича. Ведь он выдал себя головой Веревкину, хотя тот и делал вид, что ничего не замечает. «И черт же его потянул за язык...» — думал Привалов, сердито поглядывая в сторону храпевшего гостя. Виктор Васильич спал в самой непринужденной позе: лежа на спине, он широко раскинул руки и свесил одну ногу на пол; его молодое лицо дышало завидным здоровьем, и по лицу блуждала счастливая улыбка. Ведь в этом лице было что-то общее с выражением лица Надежды Васильевны. Привалов остановился над спавшим гостем. Такой же белый, немного выпуклый лоб, те же брови, тот же разрез глаз и такие же темные длинные ресницы... Но там все это было проникнуто таким чудным выражением женской

мягкости, все линии дышали такой чистотой, — казалось, вся душа выливалась в этом прямом взгляде темносерых глаз. Зачем же имя этой девушки было произнесено этим Виктором Васильичем с такими безжалостными пояснениями и собственными комментариями? Надежда Васильевна с первого раза произвела сильное впечатление на Привалова, как мы уже видели. Если бы он стал подробнее анализировать свое чувство, он легко мог прийти к тому выводу, что впечатление носило довольно сложное происхождение: он смотрел на девушку глазами своего детства, за ее именем стояло обаяние происхождения... Ведь она была дочь Василия Назарыча; ведь в ней говорила кровь Марьи Степановны; ведь... Привалов не мог в своем воображении отделить девушку от той обстановки, в какой он ее видел. Этот старинный дом, эти уютные комнаты, эта старинная мебель, цветы, лица прислуги, самый воздух — все это было слишком дорого для него, и именно в этой раме Надежда Васильевна являлась не просто как всякая другая девушка, а последним словом слишком длинной и слишком красноречивой истории, в которую было вплетено столько событий и столько дорогих имен.

Вместе с тем Привалов как-то избегал мысли, что Надежда Васильевна могла быть его женой. Нет, зачем же так скоро... Жена — совсем другое дело; он хотел ее видеть такою, какою она была. Жена — слишком грубое слово для выражения того, что он хотел видеть в Надежде Васильевне. Он поклонялся в ней тому, что было самого лучшего в женщине. Если бы она была женой другого, он так же относился бы к ней, как относился теперь. Странное дело, это девичье имя осветило каким-то совершенно новым светом все его заветные мечты и самые дорогие планы. Раньше все это было сухой мозговой выкладкой, а теперь... Нет, одно существование на свете Надежды Васильевны придало всем его планам совершенно особенный смысл и ту именно теплоту, какой им недоставало. Обдумывая их здесь, в Узле, он находил в них много нового, чего раньше не замечал совсем. Раньше он иногда сомневался в их осуществимости, иногда какое-то нехорошее чувство закрадывалось в душу, но теперь ему стоило

только вызвать в своем воображении дорогие черты, и все делалось необыкновенно ясно, всякие сомнения падали сами собой. Каждый раз он испытывал то счастливое настроение, когда человеком овладевает какой-то прилив сил.

XVII

— Барин-то едет! — сиплым шепотом докладывала Матрешка Хионии Алексеевне. — Своими глазами, барыня, видела... Сейчас пальто в передней надевает...

Заплатина прильнула к окну; у ней даже сердце усиленно забилось в высохшей груди: куда поедет Привалов? Если направо, по Нагорной — значит, к Ляховскому, если прямо, по Успенскому бульвару — к Половодову. Вон Ипат и извозчика свистнул, вон и Привалов вышел, что-то подумал про себя, посмотрел направо и сказал извозчику:

— В Нагорную... налево.

От последнего слова в груди Хионии Алексеевны точно что оборвалось. Она даже задрожала. Теперь все пропало, все кончено; Привалов поехал делать предложение Nadine Бахаревой. Вот тебе и жених...

Привалов, пока Заплатина успела немного прийти в себя, уже проходил на половину Марьи Степановны. По дороге мелькнуло улыбнувшееся лицо Даши, а затем показалась Верочка. Она была в простеньком ситцевом платье и сильно смутилась.

— Марью Степановну можно видеть? — спросил Привалов, раскланиваясь с ней.

— Она в моленной...

«Какая славная эта Верочка...» — подумал Привалов, любуясь ее смущением; он даже пожалел, что как-то совсем не обращал внимания на Верочку все время и хотел теперь вознаградить свое невнимание к ней.

— Я сейчас отправлюсь к Ляховскому и заехал поговорить с Марьей Степановной... — объяснил он.

Верочка вся вспыхнула, взглянула на Привалова как-то исподлобья, совсем по-детски, и тихо ответила:

— Надя часто бывала раньше у Ляховских...

— А вы?

— Мне мама не позволяет ездить к ним; у Ляховских всегда собирается большое общество, много мужчин... Да вон и мама.

— Наконец-то ты собрался, — весело проговорила Марья Степановна, появляясь в дверях. — Вижу, вижу; ну, что же, бог тебя благословит...

— Нарочно заехал к вам, Марья Степановна, чтобы набраться смелости.

— А ты к Василию Назарычу заходил? Зайди, а то еще, пожалуй, рассердится. Он и то как-то поминал, что тебя давно не видно... Никак с неделю уж не был.

— Боюсь надоесть.

— Ну, ну, не говори пустого. Все неможется Василию Назарычу, привязала его эта нога.

Они поговорили еще с четверть часа, но Привалов не уходил, поджидая, не послышится ли в соседней комнате знакомый шорох женского платья. Он даже оглянулся раза два, что не ускользнуло от внимания Марьи Степановны, хотя она и сделала вид, что ничего не замечает. Привалова просто мучило желание непременно увидеть Надежду Васильевну. Раза два как-то случилось, что она не выходила к нему, но сегодня он испытывал какое-то ноющее, тоскливое чувство ожидания; ему было неприятно, что она не хочет показаться. После пьяной болтовни Виктора Васильича в душе Привалова выросла какая-то щемящая потребность видеть ее, слышать звук ее голоса, чувствовать ее присутствие. Он нарочно откладывал свой визит к Бахаревым день за день, и вот награда... Марья Степановна точно не желала замечать настроения своего гостя и говорила о самых невинных пустяках, не обращая внимания даже на то, что Привалов отвечал ей совсем невпопад. Верочка раза два входила в комнату, поглядывая искоса на гостя, и делала такую мину, точно удивлялась, что он продолжает еще сидеть.

— А ведь Надя-то уехала, — проговорила Марья Степановна, когда Привалов начал прощаться.

— На заводы уехала, к Косте, — прибавила она, когда Привалов каким-то глупым, остановившимся взглядом посмотрел на нее. — Доктора Сараева знаешь?

— Да, помню немного...

— Ну, вот с ним и уехала.

«Уехала, уехала, уехала...»— как молотками застучало в мозгу Привалова, и он плохо помнил, как простился с Марьей Степановной, и точно в каком тумане прошел в переднюю; только здесь он вспомнил, что нужно еще зайти к Василию Назарычу.

Бахарев сегодня был в самом хорошем расположении духа и встретил Привалова с веселым лицом. Даже болезнь, которая привязала его на целый месяц в кабинете, казалась ему забавной, и он называл ее собачьей старостью. Привалов вздохнул свободнее, и у него тоже гора свалилась с плеч. Недавнее тяжелое чувство разлетелось дымом, и он весело смеялся вместе с Василием Назарычем, который рассказал несколько смешных историй из своей тревожной, полной приключений жизни.

— А что, Сергей Александрыч, — проговорил Бахарев, хлопая Привалова по плечу, — вот ты теперь третью неделю живешь в Узле, поосмотрелся? Интересно знать, что ты надумал... а? Ведь твое дело молодое, не то что наше, стариковское: на все четыре стороны скатертью дорога. Ведь не сидеть же такому молодцу сложа руки...

Привалов не ожидал такого вопроса и замялся, но Бахарев продолжал:

— Знаю, вперед знаю ответ: «Нужно подумать... не осмотрелся хорошенько...» Так ведь? Этакие нынче осторожные люди пошли; не то что мы: либо сена клок, либо вилы в бок! Да ведь ничего, живы и с голоду не умерли. Так-то, Сергей Александрыч... А я вот что скажу: прожил ты в Узле три недели и еще проживешь десять лет — нового ничего не увидишь. Одна канитель: день да ночь — и сутки прочь, а вновь ничего. Ведь ты совсем в Узле останешься?

— Да.

— И отлично; значит, к заводскому делу хочешь приучать себя? Что же, хозяйский глаз да в таком деле — первее всего.

— Нет... Ведь заводы, Василий Назарыч, еще неизвестно кому достанутся. Об этом говорить рано...

— Конечно, конечно... В копнах не сено, в долгах не деньги. Но мне все-таки хочется знать твое мнение о заводах, Сергей Александрыч.

— Вы хотите этого непременно? — спросил Привалов, глядя в глаза старику.

— Да, непременно...

После короткой паузы Привалов очень подробно объяснил Бахареву, что он не любит заводского дела и считает его искусственно созданной отраслью промышленности. Но отказаться от заводов он не желает и не может — раз, потому, что это родовое имущество, и, во-вторых, что с судьбой заводов связаны судьбы сорокатысячного населения и будущность трехсот тысяч десятин земли на Урале. В заключение Привалов заметил, что ни в каком случае не рассчитывает на доходы с заводов, а будет из этих доходов уплачивать долг и понемногу, постепенно поднимать производительность заводов. Бахарев слушал это откровенное признание, склонив немного голову набок. Когда Привалов кончил, он безмолвно притянул его к себе, обнял и поцеловал. На глазах старика стояли слезы, но он не отирал их и, глубоко вздохнув, проговорил прерывавшимся от волнения голосом:

— Спасибо, Сережа... Умру спокойно теперь... да, голубчик. Утешил ты меня... Спасибо, спасибо...

— Я делаю только то, что должен, — заметил Привалов, растроганный этой сценой. — В качестве наследника я обязан не только выплатить лежащий на заводах государственный долг, но еще гораздо больший долг...

— Еще какой долг?

— А как же, Василий Назарыч... Ведь заводы устроены чьим трудом, по-вашему?

— Как чьим? Заводы устраивал твой пращур, Тит Привалов, — его труд был, потом Гуляев устраивал их, — значит, гуляевский труд.

— Да, это верно, но владельцы сторицей получили за свои хлопоты, а вы забываете башкир, на земле которых построены заводы. Забываете приписных к заводам крестьян.

— Да ведь башкиры продали землю...

— За два с полтиной на ассигнации и за три фунта кирпичного чаю.

— А хоть бы и так... Это их дело и нас не касается.

— Нет, очень касается, Василий Назарыч. Как назвать такую покупку, если бы она была сделана нынче!

Я не хочу этим набрасывать тень на Тита Привалова, но...

— Что же, ты, значит, хочешь возвратить землю башкирам? Да ведь они ее все равно продали бы другому, если бы пращур-то не взял... Ты об этом подумал? А теперь только отдай им землю, так завтра же ее не будет... Нет, Сергей Александрыч, ты этого никогда не сделаешь...

— Я и не думаю отдавать землю башкирам, Василий Назарыч; пусть пока она числится за мной, а с башкирами можно рассчитаться и другим путем...

— Не понимаю что-то...

— Если бы я отдал землю башкирам, тогда чем бы заплатил мастеровым, которые работали на заводах полтораста лет?.. Земля башкирская, а заводы созданы крепостным трудом. Чтобы не обидеть тех и других, я должен отлично поставить заводы и тогда постепенно расплачиваться с своими историческими кредиторами. В какой форме устроится все это — я еще теперь не могу вам сказать, но только скажу одно, — именно, что ни одной копейки не возьму лично себе...

— Ах, Сережа, Сережа... — шептал Бахарев, качая головой. — Добрая у тебя душа-то... золотая... Хорошая ведь в тебе кровь-то. Это она сказывается. Только... мудреное ты дело затеваешь, небывалое... Вот я — скоро и помирать пора, а не пойму хорошенько...

— Мы еще поговорим об этом, Василий Назарыч.

— Да, да, поговорим... А ежели ты действительно так хочешь сделать, как говоришь, много греха снимешь с отцов-то. Значит, заводы пойдут сами собой, а сам-то ты что для себя будешь делать? Эх, Сергей Александрыч, Сергей Александрыч. Гляжу я на тебя и думаю: здоров, молод, — скатертью дорога на все четыре стороны... Да. Не то что наше, стариковское, дело: только еще хочешь повернуться, а смерть за плечами. Живи не живи, а помирать приходится... Эх, я бы на твоем месте махнул по отцовской дорожке!.. Закатился бы на Саян... Ведь нынче свобода на приисках, а я бы тебе указал целый десяток золотых местечек. Стал бы поминать старика добром... Костя не захотел меня слушать, так доставайся хоть тебе!

Привалов улыбнулся.

— Я тебе серьезно говорю, Сергей Александрыч. Чего киснуть в Узле-то? По рукам, что ли? Костя на заводах будет управляться, а мы с тобой на прииски; вот только моя нога немного поправится...

— Нет, Василий Назарыч, я никогда не буду золотопромышленником, — твердым голосом проговорил Привалов. — Извините меня, я не хотел вас обидеть этим, Василий Назарыч, но если я по обязанности должен удержать за собой заводы, то относительно приисков у меня такой обязанности нет.

Бахарев какими-то мутными глазами посмотрел на Привалова, пощупал свой лоб и улыбнулся нехорошей улыбкой.

— Что же ты думаешь делать здесь? — спросил Василий Назарыч упавшим сухим голосом.

— Я думаю заняться хлебной торговлей, Василий Назарыч.

Старик тяжело повернулся в своем кресле и каким-то испуганным взглядом посмотрел на своего собеседника.

— Я, кажется, ослышался... — пробормотал он, вопросительно и со страхом заглядывая Привалову в лицо.

— Нет, вы не ослышались, Василий Назарыч. Я серьезно думаю заняться хлебной торговлей...

— Ты... будешь торговать... *мукой?*

— Между прочим, вероятно, буду торговать и мукой, — с улыбкой отвечал Привалов, чувствуя, что пол точно уходит у него из-под ног. — Мне хотелось бы объяснить вам, почему я именно думаю заняться этим, а не чем-нибудь другим.

Бахарев потер опять свой лоб и торопливо проговорил:

— Нет... не нужно!.. Я понимаю все, если способен только понимать что-нибудь...

Откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо руками, старик в каком-то забытьи повторял:

— Торговать мукой... *Му-кой!.. Привалов* будет торговать *мукой... Василий Бахарев* купит у *Сергея Привалова* мешок *муки...*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Неопределенное положение дел оставляло в руках Хионии Алексеевны слишком много свободного времени, которое теперь все целиком и посвящалось Агриппине Филипьевне, этому неизменному старому другу. В роскошном будуаре Веревкиной, а чаще в ее не менее роскошной спальне теперь происходили самые оживленные разговоры, делались удивительно смелые предположения и выстраивались поистине грандиозные планы. Эти две дамы теперь находились в положении тех опытных полководцев, которые накануне битвы делают ряд самых секретных совещаний. Они спорили, горячились, даже выходили из себя, но всегда мирились на одной мысли, что все мужчины положительнейшие дураки, которые, как все неизличимо поврежденные, были глубоко убеждены в своем уме.

— Ах, если бы вы только видели, Агриппина Филипьевна! — закатывая глаза, шептала Хиония Алексеевна. — Ведь всему же на свете бывают границы... Мне просто гадко смотреть на все, что делается у Бахаревых! Эта Nadine с первого раза вешается на шею Привалову... А старики? Вы бы только посмотрели, как они ухаживают за Приваловым... Куда вся гордость девалась! Василий Назарыч готов для женишка в мелочную лавочку за папиросами бегать. Ей-богу!.. А какие

мне Марья Степановна грязные предложения делала... Да разве я соглашусь присматривать да подслушивать за жильцом?!

— Однако вы не ошиблись, кажется, что взяли его на квартиру, — многозначительно говорила Агриппина Филипьевна.

— Не ошиблась?!. А вы спросите меня, Агриппина Филипьевна, чего это стоит! Да... Я сначала долго отказывалась, но эта Марья Степановна так пристала ко мне, так пристала, понимаете, с ножом к горлу: «Пожалуйста, Хиония Алексеевна! Душечка, Хиония Алексеевна... Мы будем уж спокойны, если Привалов будет жить у вас». Ведь знаете мой проклятый характер: никак не могла отказать. Теперь и надела себе петлю на шею... Расходы, хлопоты, беспокойство, а там еще что будет?..

— Так вы говорите, что Привалов не будет пользоваться вниманием женщин? — задумчиво спрашивала Агриппина Филипьевна уже во второй раз.

— Решительно не будет, потому что в нем этого... как вам сказать... между нами говоря... нет именно той смелости, которая нравится женщинам. Ведь в известных отношениях все зависит от уменья схватить удобный момент, воспользоваться минутой, а у Привалова... Я сомневаюсь, чтобы он имел успех...

— У Привалова есть миллионы, — продолжала Агриппина Филипьевна мысль приятельницы.

— Только и есть, что одни миллионы...

— Кажется, достаточно.

— Да... Но ведь миллионами не заставишь женщину любить себя... Порыв, страсть — да разве это покупается на деньги? Конечно, все эти Бахаревы и Ляховские будут ухаживать за Приваловым: и Nadine и Sophie, но... Я, право, не знаю, что находят мужчины в этой вертлявой Зосе?.. Ну, скажите мне, ради бога, что в ней такого: маленькая, сухая, вертлявая, белобрысая... Удивляюсь!

Агриппина Филипьевна была несколько другого мнения относительно Зоси Ляховской, хотя и находила ее слишком эксцентричной. Известная степень оригинальности, конечно, идет к женщине и делает ее заманчивой

в глазах мужчин, хотя это слишком скользкий путь, на котором нетрудно дойти до смешного.

Несмотря на свои сорок восемь лет, Агриппина Филипьевна была еще очень моложава, прилично полна и обладала самыми аристократическими манерами. В ее наружности было что-то очень внушительное, особенно когда она улыбалась своей покровительственной улыбкой. Светлорусые волосы, неопределенного цвета глаза и свежие полные губы делали ее еще настолько красивой, что никто даже не подумал бы смотреть на нее, как на мать целой дюжины детей. Еще меньше можно было, глядя на эту цветущую мать семейства, заключить о тех превратностях, какими была преисполнена вся ее тревожная жизнь.

Когда-то очень давно Агриппина Филипьевна и Хиония Алексеевна воспитывались в одном московском пансионе, где требовался, во-первых, французский язык, во-вторых, французский язык и, в-третьих, французский язык. Из обруселых рижских немок по происхождению, Агриппина Филипьевна обладала счастливым ровным характером; кажется, это было единственное наследство, полученное ею под родительской кровлей, где оставались еще шесть сестриц и один братец. В пансионе Агриппина Филипьевна и Хиония Алексеевна, выражаясь на пансионском жаргоне, обожали одна другую. Мы уже знаем историю Хионии Алексеевны. Агриппина Филипьевна прямо из пансионского дортуара вышла замуж за Ивана Яковлича Веревкина, который, благодаря отчасти своему дворянскому происхождению, отчасти протекции, подходил под рубрику молодых людей, «подающих блестящие надежды». Но Иван Яковлич так и остался при блестящих надеждах, не сделав никакой карьеры, хотя менял род службы раз десять. Агриппина Филипьевна дарила мужа исправно через каждый год то девочкой, то мальчиком. Таким образом получилась в результате прескверная история: семья росла и увеличивалась, а одними надеждами Ивана Яковлича и французским языком Агриппины Филипьевны не проживешь. Один счастливый случай выручил не только Агриппину, но и весь букет рижских сестриц. Дело в том, что одной из этих сестриц выпало

редкое счастье сделаться женой одной дряхлой, но очень важной особы. Как только совершилось это знаменательное событие, то есть как только Гертруда Шпигель сделалась madame Коробьин-Унковской, тотчас же все рижские сестрицы с необыкновенной быстротой пошли в ход, то есть были выданы замуж за разную чиновную мелюзгу. Как раз в это время в Узле открывалось отделение государственного банка, и мужья двух сестриц сразу получили места директоров. Эти сестрицы выписали из Риги остальных четырех, из которых одна вышла за директора гимназии, другая за доктора, третья за механика, а четвертая, не пожелавшая за преклонными летами связывать себя узами Гименея, получила место начальницы узловской женской гимназии. Одним словом, в самом непродолжительном времени сестрицы Шпигель завоевали целый город и начали усиленно плодиться.

Иван Яковлич тоже попал на какое-то место в банк, без определенного названия, зато с солидным окладом. Но и родство с важной особой не помогло осуществлению подаваемых им блестящих надежд. Попав в Узел, он бросил скоро всякую службу и бойко пошел по широкой дорожке карточного игрока. Этот почтенный отец семейства совсем не вмешивался в свои фамильные дела, великодушно предоставив их собственному течению. Дома он почти не жил, потому что вел самую цыганскую жизнь, посещая ярмарки, клубы, игорные притоны и тому подобные злачные места. Впрочем, в трудные минуты своей жизни, в случае крупного проигрыша или какого-нибудь скандала, Иван Яковлич на короткое время являлся у своего семейного очага и довольно терпеливо разыгрывал скромного семьянина и почтенного отца семейства. Он в этих случаях был необыкновенно внимателен к жене, ласкал детей и, улучив удобную минуту, опять исчезал в свою родную стихию. Спрашивается, откуда получались те десять тысяч, которые тратила Агриппина Филипьевна ежегодно? Это был настолько щекотливый и тонкий вопрос, что его обыкновенно обходили молчанием или говорили просто, что Агриппина Филипьевна «живет долгами», то есть что она была так много должна, что

кредиторы, под опасением не получить ничего, поддерживали ее существование. Но и этот, несомненно, очень ловкий modus vivendi [1] мог иметь свой естественный и скорый конец, если бы Агриппина Филипьевна, с одной стороны, не выдала своей старшей дочери за директора узловско-моховского банка Половодова, а с другой — если бы ее первенец как раз к этому времени не сделался одним из лучших адвокатов в Узле. Эти два обстоятельства значительно повысили фонды Агриппины Филипьевны, и она могла со спокойной совестью устраивать по четвергам свои элегантные soirées [2], на которых безусловно господствовал французский язык, обсуждалась каждая выдающаяся новость и испытывали свои силы всякие заезжие артисты и артистки.

Итак, несмотря на то, что жизнь Агриппины Филипьевны была открыта всем четырем ветрам, бурям и непогодам, она произвела на свет целую дюжину маленьких ртов. Эта живая лестница, начинавшаяся с известного уже нам Nicolas, постепенно переходила через разных André, Woldemar, Nini и Bébé, пока не обрывалась шестимесячным Вадимом. Дети помещались в каком-то коридоре, перегороженном тонкими ширмочками на несколько отдельных помещений. Эта дворянская поросль имела решительный перевес в мужской линии. Два старших мальчика учились в классической гимназии, один — в военной, один — в реальном училище и т. д. В недалеком будущем муравейник Агриппины Филипьевны грозил осчастливить благородное отечество неутомимыми деятелями на самых разнообразных поприщах. Мы уже сказали, что старшая дочь Агриппины Филипьевны была замужем за Половодовым; следующая за нею по летам, Алла, вступила уже в тот цветущий возраст, когда ей неприлично было оставаться в недрах муравейника, и она была переведена в спальню maman, где и жила на правах совсем взрослой барышни. Понятно, что Алла не могла относиться к обитателям муравейника иначе, как только с глубоким презрением. Когда ей случалось проходить по

---

[1] образ жизни *(лат.)*.
[2] вечера, *(франц.)*

территории муравейника, она целомудренно подбирала свои безукоризненно накрахмаленные юбки и даже зажимала нос.

Nicolas Веревкин получил первые впечатления своего бытия тоже не в завидной обстановке. Но это не помешало ему быть некоторым исключением, даже домашним божком, потому что Агриппина Филипьевна чувствовала непреодолимую слабость к своему первенцу и создала около него что-то вроде культа. Все, что ни делал Nicolas, было верхом совершенства; самая возможность критики отрицалась. Когда Nicolas выбросили из гимназии за крупный скандал, Агриппина Филипьевна и тогда не сказала ему в упрек ни одного слова, а собрала последние крохи и на них отправила своего любимца в Петербург. Nicolas вполне оправдал то доверие, каким пользовался. Он быстро освоился в столице, сдал экзамен за гимназию и взял в университете кандидата прав. Воспоминанием об этом счастливом времени служили Агриппине Филипьевне письма Nicolas, не отличавшиеся особенной полнотой, но неизменно остроумные и всегда беззаботные. Между прочим, у Агриппины Филипьевны хранилось вырезанное из газет объявление, в котором студент, «не стесняющийся расстоянием», предлагал свои услуги по части воспитания юношества. Эти beaux mots[1] несравненного Nicolas заставляли смеяться счастливую мамашу до слез. Нестеснение расстоянием проходило красной нитью через всю жизнь Nicolas, особенно через его адвокатскую деятельность. Агриппина Филипьевна никогда и ничего не требовала от своего божка, кроме того, чтобы этот божок непременно жил под одной с ней кровлей, под ее крылышком.

После Nicolas самой близкой к сердцу Агриппины Филипьевны была, конечно, Алла. Она не была красавицей; лицо у ней было совсем неправильно; но в этой еще формировавшейся, с детскими угловатыми движениями девушке Агриппина Филипьевна чувствовала что-то обещающее и очень оригинальное. Алла уже выработала в себе тот светский такт, который начи-

[1] остроты *(франц.)*.

нается с уменья во-время выйти из комнаты и заканчивается такими сложными комбинациями, которых не распутать никакому мудрецу. Хиония Алексеевна, конечно, тоже восхищалась Аллой и не упускала случая проговорить:

Elle est tellement innocente
Qu'elle ne connait presque rien... [1]

— Скажите, пожалуйста, что делает ваш братец? — несколько раз спрашивала Хиония Алексеевна.

— Оскар? О, это безнадежно глупый человек и больше ничего, — отвечала Агриппина Филипьевна. — Представьте себе только: человек из Петербурга тащится на Урал, и зачем?.. Как бы вы думали? Приехал *удить рыбу*. Ну, скажите ради бога, это ли не идиотство?

— Гм... да... Но ведь у Оскара Филипыча, кажется, очень хорошее место в Петербурге?

— Да, благодаря сестре Гертруде получает ни за что тысяч пять, — что же делать?.. Идиот!.. Наберет с собой моих мальчишек и целые дни удит с ними рыбу.

— Скажите, какой странный характер...

— Да просто глупость, Хиония Алексеевна...

— Мне кажется странным, что появление Оскара Филипыча совпало с приездом Привалова...

— Ах, вы, Хиония Алексеевна, кажется, совсем помешались на своем Привалове... Помилуйте, какое может быть отношение, когда брат просто глуп? Самая обыкновенная история...

Эти разговоры заканчивались иногда стереотипным рассуждением о «гордеце».

— Конечно, он вам зять, — говорила Хиония Алексеевна, откидывая голову назад, — но я всегда скажу про него: Александр Павлыч — гордец... Да, да. Лучше не защищайте его, Агриппина Филипьевна. Я знаю, что он и к вам относится немного критически... Да-с. Что он директор банка и приваловский опекун, так и, господи боже, рукой не достанешь! Ведь не всем же быть директорами и опекунами, Агриппина Филипьевна?

---

[1] Она так невинна, что почти ничего не понимает... *(франц.)*

Теперь к этому рассуждению о гордеце пристегивалось такое заключение:

— Хотя Александр Павлыч и зять вам, Агриппина Филипьевна, но я очень рада, что Привалов поубавит ему спеси... Да-с, очень рада. Вы, пожалуйста, не защищайте своего зятька, Агриппина Филипьевна.

— Я и не думаю, Хиония Алексеевна.

— Вот еще Ляховский... Разжился фальшивыми ассигнациями да краденым золотом, и черту не брат! Нет, вот теперь до всех вас доберется Привалов... Да. Он даром что таким выглядит тихоньким и, конечно, не будет иметь успеха у женщин, но Александра Павлыча с Ляховским подтянет. Знаете, я слышала, что этого несчастного мальчика, Тита Привалова, отправили куда-то в Швейцарию и сбросили в пропасть. Как вы думаете, чьих рук это дельце?

Агриппина Филипьевна ничего не находила сказать на этот слишком смелый вопрос, а Хиония Алексеевна отвечала сама:

— Конечно, Ляховский!.. Это ясно, как день. Он на все способен.

— Я не понимаю, какая цель могла быть в таком случае у Ляховского? Nicolas говорит, что в интересе опекунов иметь Тита Привалова налицо, иначе последует раздел наследства, и конец опеке.

— Пустяки, пустяки... Я знаю, что это дело Ляховского, а ваш Nicolas обманывает. Ведь я знаю, mon ange, зачем Nicolas приезжал тогда к Привалову...

— Вы знаете, Хиония Алексеевна, что я никогда не вмешиваюсь в дела Nicolas, — это мой принцип.

— А я все-таки знаю и желаю, чтобы Nicolas хорошенько подобрал к рукам и Привалова и опекунов... Да. Пусть Бахаревы останутся с носом и любуются на свою Nadine, а мы женим Привалова на Алле... Вот увидите. Это только нужно повести дело умненько: tête-à-tête [1], маленький пикник, что-нибудь вроде нервного припадка... Ведь эти мужчины все дураки: увидали женщину — и сейчас глаза за корсет. Вот мы...

---

[1] свидание наедине, *(франц.)*

— Нет, Хиония Алексеевна, позвольте вам заметить, — возражала с достоинством Агриппина Филипьевна, — вы так говорите о моей Алле, будто она какая-нибудь христова невеста.

— Ах, я пошутила, Агриппина Филипьевна. Но за всем тем я мое дело знаю...

II

Привалов приехал к Веревкину утром. У чистенького подъезда он встретил толпу оборванных мужиков, которые сняли шапки и почтительно дали ему дорогу. Они все время оставались без шапок, пока Привалов дожидался лакея, отворившего парадную дверь.

— А нам бы Миколая Иваныча... — вытягивая вперед шею и неловко дергая плечами, заговорил кривой мужик, когда в дверях показался лакей с большой лысиной на макушке.

— Они дома-с... — почтительно докладывал он, пропуская Привалова на лестницу с бархатным ковром и экзотическими растениями по сторонам. Пропустив гостя, он захлопнул дверь под носом у мужиков. — Прут, сиволапые, прямо в двери, — ворчал он, забегая немного вперед Привалова.

Пока лакей ходил с докладом в кабинет Веревкина, Привалов оставался в роскошной гостиной Агриппины Филипьевны. От нечего делать он рассматривал красивую ореховую мебель, мраморные вазы, красивые драпировки на дверях и окнах, пестрый ковер, лежавший у дивана, концертную рояль у стены, картины, — все было необыкновенно изящно и подобрано с большим вкусом; каждая вещь была поставлена так, что рекомендовала сама себя с самой лучшей стороны и еще служила в то же время необходимым фоном, объяснением и дополнением других вещей. Самый опытный взгляд, вероятно, не открыл бы рокового un question d'argent [1], который лежал в основании всей этой художественной обстановки. Жалкая ложь была самым искусным

---

[1] денежного вопроса, *(франц.)*

образом прикрыта богатой мебелью и мягкими коврами, служившими продолжением любезных улыбок и аристократических манер самой хозяйки.

— Милости просим, пожалуйте... — донесся откуда-то из глубины голос Веревкина, а скоро показалась и его на диво сколоченная фигура, облаченная теперь в какой-то полосатый татарский халат. — Уж вы извините меня, батенька, — комично оправдывался Веревкин, подхватывая Привалова под руку. — Вы застали меня, можно сказать, на самом месте преступления... Дельце одно нужно было кончить, так в халате-то оно свободнее. Как надену проклятый сюртук, — мыслей в голове нет. Я сейчас, Сергей Александрыч... Обождите единую минуточку.

Веревкин поспешно скрылся за низенькой японской ширмочкой, откуда через минуту до Привалова донеслось сначала тяжелое сопенье носом, а потом какое-то забавное фырканье. Можно было подумать, что за ширмочкой возится стадо тюленей или закладывают лошадь. Кабинет Веревкина был обставлен как всякий адвокатский кабинет: мебель во вкусе трактирной роскоши, голые красавицы на стенах, медвежья шкура у письменного стола, пикантные статуэтки из терракоты на столе и т. д. Некоторое исключение представлял графин водки, поставленный вместе с объедками балыка на круглом столике у самого письменного стола. Рассматривая эту обстановку, Привалов думал о своем последнем разговоре с Васильем Назарычем. К Ляховскому в тот день Привалов, конечно, не поехал, как и в следующий за ним. Ему было слишком тяжело и без того. В течение трех дней у Привалова из головы не выходила одна мысль, мысль о том, что Надя уехала на Шатровские заводы. Ему страшно хотелось самому сейчас же уехать на заводы, но его задержала мысль, что это походило бы на погоню и могло поднять в городе лишние толки. Да и опекунов необходимо было видеть, чтобы явиться к Косте не с пустыми руками. Привалов остановился на Половодове, потому что он был ближе к Веревкину и от него удобно было получить некоторые предварительные сведения, прежде чем ехать к Ляховскому.

— Водку пили? — спрашивал Веревкин, выставляя из-за ширмы свою кудрявую голову. — Вот тут графин стоит... Одолжайтесь. У меня сегодня какая-то жажда...

— Благодарю, — отозвался Привалов.

В это время дверь в кабинет осторожно отворилась, и на пороге показался высокий худой старик лет под пятьдесят; заметив Привалова, старик хотел скрыться, но его остановил голос Веревкина:

— Это ты, папахен?... Здесь свои... Сергей Александрыч, рекомендую: мой родитель, развинтился плотию, но необыкновенно бодр духом. Вообще, молодец старичина... Водки хочешь, папахен?

— Очень и очень приятно, — немного хриплым голосом проговорил Иван Яковлич, нерешительно пожимая руку Привалова своей длинной, женского склада рукой. — Весь город говорит о вашем приезде, — прибавил Иван Яковлич, продолжая пожимать руку Привалова. — Очень и очень приятно...

Длинная тощая фигура Ивана Яковлича, с согнутой спиной и тонкими ногами, не давала никаких оснований предположить, что Nicolas Веревкин был кость от кости, плоть от плоти именно такой подвижнической фигуры. Небольшая головка была украшена самою почтенною лысиною, точно все волосы на макушке были вылизаны коровой или другим каким животным, обладающим не менее широким и длинным языком; эта оригинальная головка была насажена на длинную жилистую шею с резко выдававшимся кадыком, точно горло было завязано узлом. Неправильный нос, густые брови, выцветшие серые глаза и жиденькие баки придавали физиономии Ивана Яковлича такое выражение, как будто он постоянно к чему-то прислушивался. Одет он был в длинный английского покроя сюртук; на одной руке оставалась не снятой палевая новенькая перчатка. Когда Веревкин показался, наконец, из-за ширмы в светложелтой летней паре из чечунчи, Иван Яковлич сделал озабоченное лицо и проговорил с своей неопределенной улыбкой:

— А я было зашел к тебе, Nicolas, по одному делу...

— Опять, видно, продулся?

Иван Яковлич сделал беспокойное движение плечами и покосился в сторону Привалова.

— Не беспокойся, папахен: Сергей Александрыч ведь хорошо знает, что у нас с тобой нет миллионов, — добродушно басил Nicolas, хлопая Ивана Яковлича по спине. — Ну, опять продулся?

— Н... нет, то есть нужно расквитаться с одним старым карточным долгом... Я думал...

— Ну, папахен, ты как раз попал не в линию; у меня на текущем счету всего один трехрублевый билет... Возьми, пригодится на извозчика.

— Нет, я, собственно, не нуждаюсь, но этот Ломтев пристал с ножом к горлу... На нем иногда точно бес какой поедет, а между тем я ждал за ним гораздо дольше.

— Да, да, папахен; мы с тобой вообще много страдаем от людской несправедливости... Так ты водки не хочешь, папахен?

Иван Яковлич великодушно отказался и от водки и от трехрублевого билета и удалился из кабинета такими же неслышными шагами, как вошел; Веревкин выпил рюмку водки и добродушно проговорил:

— Отличный старичина, только вот страстишка к картишкам все животы подводит. Ну что, новенького ничего нет? А мы с вами сегодня сделаем некоторую экскурсию: перехватим сначала кофеев у мутерхен, а потом закатимся к Половодову обедать. Он, собственно, отличный парень, хоть и врет любую половину.

III

Привалов ожидал обещанного разговора о своем деле и той «таинственной нити», на которую намекал Веревкин в свой первый визит, но вместо разговора о нити Веревкин схватил теперь Привалова под руку и потащил уже в знакомую нам гостиную. Агриппина Филипьевна встретила Привалова с аристократической простотой, как владетельная герцогиня, и с первых же слов подарила полдюжиной самых любезных улыбок, какие только сохранились в ее репертуаре.

— Мы, мутерхен, насчет кофеев, — объяснил Nicolas, грузно опускаясь в кресло.

Агриппина Филипьевна посмотрела на своего любимца и потом перевела свой взгляд на Привалова с тем выражением, которое говорило: «Вы уж извините, Сергей Александрыч, что Nicolas иногда позволяет себе такие выражения...» В нескольких словах она дала заметить Привалову, что уже кое-что слышала о нем и что очень рада видеть его у себя; потом сказала два слова о Петербурге, с улыбкой сожаления отозвалась об Узле, который, по ее словам, был уже на пути к известности, не в пример другим уездным городам. Привалов отвечал то, что отвечают в подобных случаях, то есть спешил согласиться с Агриппиной Филипьевной, порывался вставить свое слово и одобрительно-почтительно мычал. В заключение он не мог не почувствовать, что находится в самых недрах узловского beau monde'а и что Агриппина Филипьевна — дама с необыкновенно изящными аристократическими манерами. Агриппина Филипьевна, с своей стороны, вывела такое заключение, что хотя Привалов на вид немного мужиковат, но относительно вопроса, будет или не будет он иметь успех у женщин, пока ничего нельзя сказать решительно.

Этот интересный разговор, походивший на испытание Привалова по всем пунктам, был прерван восклицанием Nicolas:

— А вот и дядюшка!..

В дверях гостиной, куда оглянулся Привалов, стоял не один дядюшка, а еще высокая, худощавая девушка, которая смотрела на Привалова кокетливо прищуренными глазами. «Вероятно, это и есть барышня с секретом», — подумал Привалов, рассматривая теперь малороссийский костюм Аллы. Дядюшка Оскар Филипыч принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые постоянно улыбаются самым сладким образом, ходят маленькими шажками, в качестве старых холостяков любят дамское общество и непременно имеют какую-нибудь странность: один боится мышей, другой не выносит каких-нибудь духов, третий целую жизнь подбирает коллекцию тросточек разных исторических

эпох и т. д. Оскар Филипыч, как мы уже знаем, любил удить рыбу и сейчас только вернулся с Аллой откуда-то с облюбованного местечка на реке Узловке, так что не успел еще снять с себя своего летнего парусинового пальто и держал в руках широкополую соломенную шляпу. Привалов пожал маленькую руку дядюшки, который чуть не растаял от удовольствия и несколько раз повторил:

— Да, да... я слышал о вашем приезде... да!..

— Моя вторая дочь, Алла, — певуче протянула Агриппина Филипьевна, когда дядюшка поместился с своими улыбками на диване.

Привалов раскланялся, Алла ограничилась легким кивком головы и заняла место около мамаши. Агриппина Филипьевна заставила Аллу рассказать о нынешней рыбной ловле, что последняя и выполнила с большим искусством, то есть слегка картавым выговором передала несколько смешных сцен, где главным действующим лицом был дядюшка.

Появилось кофе в серебряном кофейнике, а за ним вышла красивая мамка в голубом кокошнике с маленьким Вадимом на руках.

— Обратите внимание, Сергей Александрыч, на это произведение природы, — говорил Nicolas, принимая Вадима к себе на руки. — Ведь это мой брат Вадишка...

— Ах, Nicolas, — кокетливо отозвалась Агриппина Филипьевна, — ты всегда скажешь что-нибудь такое...

— Я, кажется, ничего *такого* не сказал, мутерхен, — оправдывался Nicolas, высоко подбрасывая кверху «произведение природы», — иметь младших братьев в природе вещей...

— О, совершенно в природе! — согласился дядюшка, поглаживая свое круглое и пухлое, как у танцовщицы, коленко. — Я знал одну очень почтенную даму, которая...

Публика, собравшаяся в гостиной Агриппины Филипьевны, так и не узнала, что сделала «одна очень почтенная дама», потому что рассказ дядюшки был прерван каким-то шумом и сильной возней в передней. Привалов расслышал голос Хионии Алексеевны, прерываемый чьим-то хриплым голосом.

— Ах, это Аника Панкратыч Лепешкин, золотопромышленник, — предупредила Привалова Агриппина Филипьевна и величественно поплыла навстречу входившей Хионии Алексеевне. Дамы, конечно, громко расцеловались, но были неожиданно разлучены седой толстой головой, которая фамильярно прильнула губами к плечу хозяйки.

— Как вы меня испугали, Аника Панкратыч...

— Не укушу, Агриппина Филипьевна, матушка, — хриплым голосом заговорил седой, толстый, как бочка, старик, хлопая Агриппину Филипьевну все с той же фамильярностью по плечу. Одет он был в бархатную поддевку и ситцевую рубашку-косоворотку; суконные шаровары были заправлены в сапоги с голенищами бутылкой. — Ох, уморился, отцы! — проговорил он, взмахивая короткой толстой рукой с отекшими красными пальцами, смотревшими врозь.

Кивнув головой Привалову, Хиония Алексеевна уже обнимала Аллу, шепнув ей мимоходом: «Как вы сегодня интересны, mon ange...» Лепешкин, как шар, подкатился к столу. Агриппина Филипьевна отрекомендовала его Привалову.

— А мы тятеньку вашего, покойничка, знавали даже очень хорошо, — говорил Лепешкин, обращаясь к Привалову. — Первеющий человек по нашим местам был... Да-с. Ноньче таких и людей, почитай, нет... Малодушный народ пошел ноньче. А мы и о вас наслышаны были, Сергей Александрыч. Хоть и в лесу живем, а когда в городе дрова рубят, — и к нам щепки летят.

Лепешкин приложил свое вспотевшее, оплывшее лицо к ручке Аллы, поздоровался с дядюшкой, хлопнув его своей пятерней по коленку, и проговорил, грузно опускаясь в кресло:

— Ох, изморился я, отцы... Жарынь!.. Кваску бы испить, Аграфена Филипьевна?..

— А ты ступай в кабинет ко мне, — предлагал Nicolas. — Там найдешь, чем червячка заморить.

— Нно-о?.. и безногого щенка подковать можно?

— Конечно, можно.

— А вот мы ужо с его преподобием... — проговорил Лепешкин, поднимаясь навстречу подходившему на

своих тоненьких ножках Ивану Яковличу. — Старичку наше почтение...

— Пойдем, пойдем, — отвечал Иван Яковлич, подхватывая Лепешкина под руку; рядом они очень походили на цифру десять.

— Какой забавный этот Аника Панкратыч, — проговорила Агриппина Филипьевна, когда цифра десять скрылась в дверях. — Алла, принеси Анике Панкратычу квасу, — прибавила она. — Он так всегда балует тебя.

— Ведь Лепешкин очень умен, — вставила свое слово Хиония Алексеевна. — Он только прикидывается таким простачком... Простой мужик — и нажил сто тысяч. Да, очень, очень умен!

В это время в кабинете Nicolas происходила такая сцена:

— Голубчик, Аника Панкратыч, выручи, — умолял Иван Яковлич, загнав Лепешкина в самый угол. — Дай мне, душечка, всего двести рублей... Ведь пустяки: всего двести рублей!.. Я тебе их через неделю отдам.

— Знаем мы вашу неделю, ваше преподобие, — грубо отвечал Лепешкин, вытирая свое сыромятное лицо клетчатым бумажным платком. — Больно она у тебя долга, Иван Яковлич, твоя неделя-то...

— Хочешь на колени перед тобой встану, — только выручи...

— А ты как полагаешь: у меня для вашего брата вроде как монетный двор налажен?

— Голубчик, Аника Панкратыч, не ломайся... Ведь всего двести рублей!!. Хочешь, сейчас вексель в четыреста рублей подпишу?

— Нет, зачем пустое говорить... Мне все едино, что твой вексель, что прошлогодний снег! Уж ты, как ни на есть, лучше без меня обойдись...

— Ах, старый черт!.. — застонал Иван Яковлич, схватившись за голову. — Ведь всего двести рублей... ломается...

— Да на што тебе деньги-то?

— Ах, господи, господи! Помнишь ирбитских купцов, с которыми в «Магните» кутили? Ну, сегодня они будут у Ломтева... Понимаешь?

— Как не понять!.. Даже оченно хорошо понимаю. Обыграете хоть кого...

— Отчего же денег не даешь?

— Жаль... Актрысам свезешь.

— Аника Панкратыч, голубчик!.. — умолял Иван Яковлич, опускаясь перед Лепешкиным на колени. — Ей-богу, даже в театр не загляну! Целую ночь сегодня будем играть. У меня теперь голова свежая.

— На што свежее, коли денег нет. Это завсегда так бывает с вашим братом.

— Зарываться не буду и непременно выиграю. Ты только одно пойми: ирбитские купцы... Ведь такого случая не скоро дождешься!.. Да мы с Ломтевым так их острижем...

— Знаю, что острижете, — грубо проговорил Лепешкин, вынимая толстый бумажник. — Ведь у тебя голова-то, Иван Яковлич, золотая, прямо сказать, кабы не дыра в ней... Не стоял бы ты на коленях перед мужиком, ежели бы этих своих глупостев с женским полом не выкидывал. Да... Вот тебе деньги, и чтобы завтра они у меня на столе лежали. Вот тебе мой сказ, а векселей твоих даром не надо, — все равно, на подтопку уйдут.

Иван Яковлич ничего не отвечал на это нравоучение и небрежно сунул деньги в боковой карман вместе с шелковым носовым платком. Через десять минут эти почтенные люди вернулись в гостиную как ни в чем не бывало. Алла подала Лепешкину стакан квасу прямо из рук, причем один рукав сбился и открыл белую, как слоновая кость, руку по самый локоть с розовыми ямочками; хитрый старик только прищурил свои узкие, заплывшие глаза и проговорил, принимая стакан:

— Вот уж что хорошо, так хорошо... люблю!.. Уважила барышня старика... И рубашечка о семи шелках, и сарафанчик-растягайчик, и квасок из собственных ручек... люблю за хороший обычай!..

Привалов еще раз имел удовольствие выслушать историю о том, как необходимо молодым людям иметь известные удовольствия и что эти удовольствия можно получить только в Общественном клубе, а отнюдь не в

Благородном собрании. Было рассказано несколько анекдотов о членах Благородного собрания, которые от скуки получают морскую болезнь. Хиония Алексеевна ввернула словечко о «гордеце» и Ляховском, которые, конечно, очень богатые люди, и т. д. Этот беглый разговор необыкновенно оживился, когда тема незаметно скользнула на узловских невест.

— Какое прекрасное семейство Бахаревых, — сладко закатывая глаза, говорила Хиония Алексеевна, — не правда ли, Сергей Александрыч?

— О да, — протянула Агриппина Филипьевна с приличной важностью. — Nadine Бахарева и Sophie Ляховская у нас первые красавицы... Да. Вы не видали Sophie Ляховской? Замечательно красивая девушка... Конечно, она не так умна, как Nadine Бахарева, но в ней есть что-то такое, совершенно особенное. Да вот сами увидите.

— Ведь Nadine Бахарева уехала на Шатровский завод, — сообщила Хиония Алексеевна, не глядя на Привалова. — Она ведет все хозяйство у брата... Очень, очень образованная девушка.

— Она, кажется, училась у доктора Сараева? — спрашивала Агриппина Филипьевна.

— О да... Вместе с Sophie Ляховской. Сначала они занимались у доктора, потом у Лоскутова.

— Скажите... — протянула Агриппина Филипьевна. — А ведь я до сих пор еще не знала об этом.

— Да, да... Лоскутов и теперь постоянно бывает у Ляховских. Говорят, что замечательный человек: говорит на пяти языках, объездил всю Россию, был в Америке...

— Ну, теперь дело дошло до невест, следовательно, нам пора в путь, — заговорил Nicolas, поднимаясь. — Мутерхен, ты извинишь нас, мы к славянофилу завернем... До свидания, Хиония Алексеевна. Мы с Аникой Панкратычем осенью поступаем в ваш пансион для усовершенствования во французских диалектах... Не правда ли?

На прощанье Агриппина Филипьевна даже с некоторой грустью дала заметить Привалову, что она, бедная провинциалка, конечно, не рассчитывает на

следующий визит дорогого гостя, тем более что и в этот успела наскучить, вероятно, до последней степени; она, конечно, не смеет даже предложить столичному гостю завернуть как-нибудь на один из ее четвергов.

— Нет, я непременно буду у вас, Агриппина Филипьевна, — уверял Привалов, совершенно подавленный этим потоком любезностей. — В ближайший же четверг, если позволите...

— Он непременно придет, мутерхен, — уверял Nicolas. — Мы тут даже сочиним нечто по части зеленого поля...

«Отчего же не прийти? — думал Привалов, спускаясь по лестнице. — Агриппина Филипьевна, кажется, такая почтенная дама...»

Когда дверь затворилась за Приваловым и Nicolas, в гостиной Агриппины Филипьевны несколько секунд стояло гробовое молчание. Все думали об одном и том же — о приваловских миллионах, которые сейчас вот были здесь, сидели вот на этом самом кресле, пили кофе из этого стакана, и теперь ничего не осталось... Дядюшка, вытянув шею, внимательно осмотрел кресло, на котором сидел Привалов, и даже пощупал сиденье, точно на нем могли остаться следы приваловских миллионов.

— Ах, ешь его мухи с комарами! — проговорил Лепешкин, нарушая овладевшее всеми раздумье. — Четыре миллиона наследства заполучил... а? Нам бы хоть понюхать таких деньжищ... Так, Оскар Филипыч?

— О да... совершенно верно: хоть бы понюхать, — сладко согласился дядюшка, складывая мягким движением одну ножку на другую. — Очень богатые люди бывают...

— Вот бы нам с тобой, Иван Яковлич, такую уйму денег... а? — говорил Лепешкин. — Ведь такую обедню отслужили бы, что чертям тошно...

Иван Яковлич ничего не отвечал, а только посмотрел на дверь, в которую вышел Привалов. «Эх, хоть бы частичку такого капитала получить в наследство, — скромно подумал этот благочестивый человек, но сейчас же опомнился и мысленно прибавил: — Нет, уж

лучше так, все равно отобрали бы хористки да арфистки, да Марья Митревна, да та рыженькая... Ах, черт ее возьми, эту рыженькую... Препикантная штучка!..»

IV

На подъезде Веревкина обступили те самые мужики, которых видел давеча Привалов. Они были попрежнему без шапок, а кривой мужик прямо бухнулся Веревкину в ноги, умоляя «ослобонить».

— Завтра, завтра... Видите, что сегодня мне некогда! — говорил Веревкин, помогая Привалову сесть в свою довольно подержанную пролетку, заложенную парой соловых вяток на отлете... — Завтра, братцы...

— Миколай Иваныч, заставь вечно бога молить!.. — громче всех кричал кривой мужик, бросая свою рваную шапку оземь. — Изморились... Ослобони, Миколай Иваныч!

— Не угодно ли вам в мою кожу влезть: пристали, как с ножом к горлу, — объяснял Веревкин, когда пролетка бойко покатилась по широкой Мучной улице, выходившей к монастырю. — Все это мои клиенты, — проговорил Веревкин, кивая головой на тянувшиеся по сторонам лавки узловских мучников. — Вы не смотрите, что на вид вся лавчонка трех рублей не стоит: вон на этих мешках да на ларях такие куши рвут, что мое почтение. Войдешь в такую лавчонку, право, даже смотреть нечего: десяток мешков с мукой, в ларях на донышке овес, просо, горох, какая-нибудь крупа — кажется, дюжины мышей не накормишь...

Пролетка остановилась у подъезда низенького деревянного дома в один этаж с высокой крышей и резным коньком. Это и был дом Половодова. Фронтон, окна, подъезд и ворота были покрыты мелкой резьбой в русском вкусе и раскрашены под дуб. Небольшая терраса, выходившая в сад, походила на аквариум, из которого выпущена вода. В небольшие окна с зеркальными стеклами смотрели широкие, лапчатые листья филодендронов, камелии, пальмы, араукарии. На дворе виднелось длинное бревенчатое здание с стеклянной

крышей, — не то оранжерея, не то фотография или театр; тенистый садик из лип, черемух, акаций и сиреней выходил прямо к Узловке, где мелькали и «китайские беседки в русском вкусе», и цветочные клумбы, и зеркальный шар, и даже небольшой фонтан с русалкой из белого мрамора. Вообще домик был устроен с большим вкусом и был тем, что называется полная чаша. От ручки звонка до последнего гвоздя все в доме было пригнано под русский вкус и только не кричало о том, как хорошо жить в этом деревянном уютном гнездышке. После двусмысленной роскоши приемной Агриппины Филипьевны глаз невольно отдыхал здесь на каждой вещи, и гостя сейчас за порогом подъезда охватывала атмосфера настоящего богатства. Привалов мимоходом прочитал вырезанную над дверями гостиной славянской вязью пословицу: «Не имей ста рублей, имей сто друзей».

— Это даже из арифметики очень хорошо известно, — комментировал эту пословицу Веревкин, вылезая при помощи слуги самой внушительной наружности из своего балахона. — Ибо сто рублей не велики деньги, а у сотни друзей по четвертной занять — и то не малая прибыль.

— Александр Павлыч сейчас принимает ванну, — докладывал лакей.

— Ну так доложи хозяйке, что так и так, мол, гости, — распоряжался Веревкин, как в своем кабинете.

— Их нет дома...

— Вот это так мило: хозяин сидит в ванне, хозяйки нет дома...

— Нет, нет, я здесь... — послышался приятный грудной баритон, и на пороге гостиной показался высокий худой господин, одетый в летнюю серую пару. — Если не ошибаюсь, — прибавил он нараспев, прищурив немного свои подслеповатые иззелена-серые глаза, — я имею удовольствие видеть Сергея Александрыча?

— Ну, теперь начнется десять тысяч китайских церемоний, — проворчал Веревкин, пока Половодов жал руку Привалова и ласково заглядывал ему в глаза: — «Яснейший брат солнца... прозрачная лазурь неба...» — Послушай, Александр, я задыхаюсь от жары; веди нас

скорее куда-нибудь в место не столь отдаленное, но прохладное, и прикажи своему отроку подать чего-нибудь прохладительного... У меня сегодня удивительная жажда... Ну, да уж я сам распоряжусь. Эй, хлопче, очищенной на террасу и закусить чего-нибудь солененького!.. Сергей Александрыч, идите за мной.

Ход на террасу был через столовую, отделанную под старый темный дуб, с изразцовой печью, расписным, пестрым, как хромотроп, потолком, с несколькими резными поставцами из такого же темного дуба. Посредине стоял длинный дубовый стол, покрытый суровой камчатной скатертью с широкой каймой из синих и красных петухов. Над дверями столовой было вырезано неизменной славянской вязью: «Не красна изба углами, а красна пирогами», на одном поставце красовались слова: «И курица пьет». Привалов искоса разглядывал хозяина, который шагал рядом и одной рукой осторожно поддерживал его за локоть, как лунатика. На первый раз Привалову хозяин показался серым: и лицо серое, и глаза, и волосы, и костюм, — и решительно все серое. Дальше он заметил, что нижняя челюсть Половодова была особенно развита; французские анатомы называют такие челюсти калошами. Когда все вышли на террасу и разместились около круглого маленького столика, на зеленых садовых креслах, Привалов, взглянув на длинную, нескладную фигуру Половодова, подумал: «Эк его, точно сейчас где-то висел на гвозде». Вытянутое, безжизненное лицо Половодова едва было тронуто жиденькой растительностью песочного цвета; широко раскрытые глаза смотрели напряженным, остановившимся взглядом, а широкие, чувственные губы и крепкие белые зубы придавали лицу жесткое и, на первый раз, неприятное выражение. Но когда Половодов начинал говорить своим богатым грудным баритоном, не хотелось верить, что это говорит именно он, а казалось, что за его спиной говорит кто-то другой.

— Сюда, сюда... — командовал Веревкин лакею, когда тот появился с двумя подносами в руках. — Кружки барину, а нам с Сергеем Александрычем графинчик...

— Нет, я не буду пить водку, — протестовал Привалов.

— Давеча отказались и теперь не хотите компанию поддержать? — вытаращив свои оловянные глаза, спрашивал Веревкин.

— Nicolas, кто же пьет теперь водку? — вступился Половодов, придвигая Привалову какую-то кружку самой необыкновенной формы. — Вот, Сергей Александрыч, попробуйте лучше кваску домашнего приготовления...

— Нужно сначала сказать: «чур меня», а потом уж пить твой квас, — шутил Веревкин, опрокидывая в свою пасть рюмку очищенной.

Привалов с удовольствием сделал несколько глотков из своей кружки — квас был великолепен; пахучая струя княженики так и ударила его в нос, а на языке остался приятный вяжущий вкус, как от хорошего шампанского.

— Я так рад видеть вас, наконец, Сергей Александрыч, — говорил Половодов, вытягивая под столом свои длинные ноги. — Только надолго ли вы останетесь с нами?

— Если обстоятельства не помешают, думаю остаться совсем, — отвечал Привалов.

— Вот и отлично: было бы желание, а обстоятельства мы повернем по-своему. Не так ли? Жить в столице в наше время просто грешно. Провинция нуждается в людях, особенно в людях с серьезным образованием.

«Ну, теперь запел Лазаря», — заметил про себя Веревкин. — То-то обрадуете эту провинцию всесословной волостью, мекленбургскими порядками да поземельной аристократией...

— Я никому не навязываю своих убеждений, — обиженным голосом проговорил Половодов. — Можно не соглашаться с чужими мнениями и вместе уважать их... Вот если у кого нет совсем мнений...

— Если это ты в мой огород метишь, — напрасный труд, Александр... Все равно, что из пушки по воробью палить... Ха-ха!..

— У нас всякое дело так идет, — полузакрыв глаза и подчеркивая слова, проговорил Половодов. — На всех махнем рукой — и хороши, а чуть кто-нибудь что-нибудь задумает сделать — подымем на смех. Я в этом случае уважаю одно желание что-нибудь сделать, а что сделает человек и как сделает — это совсем другой вопрос. Недалеко ходить: взять славянофильство — кто не глумится? А ведь согласитесь, Сергей Александрыч, в славянофильстве, за вычетом неизбежных увлечений и крайностей в каждом новом деле, есть, несомненно, хорошие стороны, известный саморост, зиждительная сила народного самосознания...

— Ну, теперь пошел конопатить, — проговорил Веревкин и сейчас же передразнил Половодова: — «Тоска по русской правде... тайники народной жизни...» Ха-ха!..

— Мне не нравится в славянофильстве учение о национальной исключительности, — заметил Привалов. — Русский человек, как мне кажется, по своей славянской природе, чужд такого духа, а наоборот, он всегда страдал излишней наклонностью к сближению с другими народами и к слепому подражанию чужим обычаям... Да это и понятно, если взять нашу историю, которая есть длинный путь ассимиляции десятков других народностей. Навязывать народу то, чего у него нет, — и бесцельно и несправедливо.

— А пример других наций? Ведь у нас под носом объединились Италия и Германия, а теперь очередь за славянским племенем.

— Славянофилы здесь впадают в противоречие, — заметил Привалов, — потому что становятся на чужую точку зрения и этим как бы отказываются от собственных взглядов.

— Вот это хорошо сказано... Ха-ха! — заливался Веревкин, опрокидывая голову назад. — Ну, Александр, твои курсы упали...

Половодов только посмотрел своим остановившимся взглядом на Привалова и беззвучно пожевал губами. «О, да он не так глуп, как говорил Ляховский», — подумал он, собираясь с мыслями и нетерпеливо барабаня длинными белыми пальцами по своей кружке.

V

— Тонечка, голубчик, ты спасла меня, как Даниила, сидящего во рву львином! — закричал Веревкин, когда в дверях столовой показалась высокая полная женщина в летней соломенной шляпе и в травянистого цвета платье. — Представь себе, Тонечка, твой благоверный сцепился с Сергеем Александрычем, и теперь душат друг друга такой ученостью, что у меня чуть очи изо лба не повылезли...

— Тонечка, представляю тебе нашего дорогого гостя, — рекомендовал Половодов своей жене Привалова.

Антонида Ивановна была красива какой-то ленивой красотой, разлитой по всей ее статной, высокой фигуре. В ней все было красиво: и небольшой белый лоб с шелковыми прядями мягких русых волос, и белый детски пухлый подбородок, неглубокой складкой, как у полных детей, упиравшийся в белую, точно выточенную шею с коротенькими золотистыми волосами на крепком круглом затылке, и даже та странная лень, которая лежала, кажется, в каждой складке платья, связывала все движения и едва теплилась в медленном взгляде красивых светлокарих глаз. Летом Антонида Ивановна чувствовала себя самой несчастной женщиной в свете, потому что ей решительно везде было жарко, а платье непременно где-нибудь жало. Nicolas объяснял это наследственностью, потому что в крови Веревкиных пылал вечный жар, порождавший вечную жажду.

— Я, кажется, помешала вам?.. — нерешительно проговорила Антонида Ивановна, продолжая оставаться на прежнем месте, причем вся ее стройная фигура эффектно вырезывалась на темном пространстве дверей. — Мне maman говорила о Сергее Александрыче, — прибавила она, поправляя на руке шведскую перчатку.

Привалов смотрел на нее вопросительным взглядом и осторожно положил свою левую руку на правую — на ней еще оставалась теплота от руки Антониды Ивановны. Он почувствовал эту теплоту во всем теле и решительно не знал, что сказать хозяйке, которая

продолжала ровно и спокойно рассказывать что-то о своей maman и дядюшке.

— Тонечка, покорми нас чем-нибудь!.. — умолял Веревкин, смешно поднимая брови. — Ведь пятый час на дворе... Да, кстати, вели подавать уж прямо сюда, — отлично закусим под сенью струй. Понимаешь?

Антонида Ивановна молча улыбнулась той же улыбкой, с какой относилась всегда Агриппина Филипьевна к своему Nicolas, и, кивнув слегка головой, скрылась в дверях. «Она очень походит на мать», — подумал Привалов. Половодов рядом с женой показался еще суше и безжизненнее, точно вяленая рыба.

Обед был хотя и обыкновенный, но все было приготовлено с таким искусством и с таким глубоким знанием человеческого желудка, что едва ли оставалось желать чего-нибудь лучшего. Действие открылось необыкновенно мудреной ботвиньей. Ему предшествовал целый ряд желтозолотистого цвета горьких настоек самых удивительных свойств и зеленоватая листовка, которая была chef-d'oeuvre в своем роде. Все это пилось из маленьких чарочек граненого богемского хрусталя с вырезными виньетками из пословиц: «пьян да умен — два угодья в нем», «пьян бывал, да ума не терял».

Сервировка была в строгом соответствии с господствовавшим стилем: каймы на тарелках, черенки ножей и вилок из дутого серебра, суповая чашка в форме старинной ендовы — все было подогнано под русский вкус.

— Где-то у тебя, Тонечка, был этот ликерчик, — припрашивал Веревкин, сделав честь настойкам и листовке, — как выпьешь рюмочку, так в голове столбы и заходят.

— Не все вдруг, — проговорила Антонида Ивановна таким тоном, каким отвечают детям, когда они просят достать им луну.

Веревкин только вздохнул и припал своим красным лицом к тарелке. После ботвиньи Привалов чувствовал себя совсем сытым, а в голове начинало что-то приятно кружиться. Но Половодов время от времени вопросительно посматривал на дверь и весь просиял, когда, наконец, показался лакей с круглым блюдом, таин-

ственно прикрытым салфеткой. Приняв блюдо, Половодов торжественно провозгласил, точно на блюде лежал новорожденный:

— Господа, рекомендую... Фаршированный калач...

Фаршированный калач был последней новостью и поэтому обратил на себя общее внимание. Он был великолепен: каждый кусок так и таял во рту. Теперь Половодов успокоился и весь отдался еде. За калачом следовали рябчики, свежая оленина и еще много другого. Каждое блюдо имело само по себе глубокий внутренний смысл, и каждый кусок отправлялся в желудок при такой торжественной обстановке, точно совершалось какое-нибудь таинство. Нечего и говорить, конечно, что каждому блюду предшествовал и последовал соответствующий сорт вина, размер рюмок, известная температура, особые приемы разливания по рюмкам и самые мудреные способы проглатывания. Одно вино отхлебывалось большими глотками, другое маленькими, третьим полоскали предварительно рот, четвертое дегустировали по каплям и т. д. Веревкин и Половодов смаковали каждый кусок, подолгу жевали губами и делали совершенно бессмысленные лица. Привалов заметил, с какой энергией работала нижняя челюсть Половодова, и невольно подумал: «Эк его взяло...» Веревкин со свистом и шипеньем обсасывал каждую кость и с умилением вытирал лоснившиеся жирные губы салфеткой.

«Вот так едят! — еще раз подумал Привалов, чувствуя, как решительно был не в состоянии проглотить больше ни одного куска. — Да это с ума можно сойти...»

Антонида Ивановна несколько раз пристально рассматривала широкое и добродушное лицо Привалова и каждый раз думала: «Да он ничего, этот Привалов... Зачем это maman говорит, что он не может иметь успеха у женщин? Он, кажется, немного стесняется, но это пройдет». Привалов чувствовал на себе этот пристальный взгляд, обдававший его теплом, и немного смущался. Разговор служил продолжением той салонной болтовни, какая господствовала в гостиной Агриппины Филипьевны. Перебирали последние новости,

о которых Привалов уже слышал от Виктора Васильича, рассказывали о каком-то горном инженере, который убежал на охоте от медведя.

— Вы еще не были у Ляховских? — спрашивала Антонида Ивановна, принимая от лакея точно молоком налитой рукой блюдо земляники.

— Нет, мне хотелось бы отправиться к Ляховскому вместе с Александром Павлычем, — отвечал Привалов.

— О, с большим удовольствием, когда угодно, — отозвался Половодов, откидываясь на спинку своего кресла.

— Александр Павлыч всегда ездит к Ляховскому с большим удовольствием, — заметила Антонида Ивановна.

— Так и знал, так и знал! — заговорил Веревкин, оставляя какую-то кость. — Не выдержало сердечко? Ах, эти дамы, эти дамы, — это такая тонкая материя! Вы, Сергей Александрыч, приготовляйтесь: «Sophie Ляховская — красавица, Sophie Ляховская — богатая невеста». Только и свету в окне, что Sophie Ляховская, а по мне так, право, хоть совсем не будь ее: этакая жиденькая, субтильная... Одним словом — жидель!

Веревкин красноречивым жестом добавил то, что язык затруднялся выразить.

— Я уже слышал, что Ляховская очень красивая девушка, — заметил Привалов улыбаясь.

— Все наши мужчины от нее без ума, — серьезно отвечала Антонида Ивановна.

— Только, пожалуйста, Тонечка, не включай меня в число этих «ваших мужчин», — упрашивал Веревкин, отдуваясь и обмахивая лицо салфеткой.

Антонида Ивановна спокойным тоном проговорила:

— Я ничего не говорю про тебя, Nicolas. Sophie не обращает на тебя никакого внимания, вот ты и злишься...

— Ах, господи! — взмолился Веревкин своим добродушным басом. — Неужели уж я своей персоной так-таки и не представляю никакого интереса? Конечно, я во французских диалектах не силен — винюсь, но не

такой же я мешок, что порядочной девушке и полюбить меня нельзя...

— Дело не в персоне, а в том... да вот лучше спроси Александра Павлыча, — прибавила Антонида Ивановна. — Он, может быть, и откроет тебе секрет, как понравиться mademoiselle Sophie.

— Ах, секрет самый простой: не быть скучным, — весело отвечал Половодов. — Когда мы с вами будем у Ляховского, Сергей Александрыч, — прибавил он, — я познакомлю вас с Софьей Игнатьевной... Очень милая девушка! А так как она вдобавок еще очень умна, то наши дамы ненавидят ее и, кажется, только в этом и согласны между собой.

— Меня уже обещал познакомить с mademoiselle Ляховской Виктор Васильич, — проговорил Привалов.

— Виктор Васильевич?! Ха, ха!.. — заливался Половодов. — Да он теперь недели две как и глаз не кажет к Ляховским. Проврался жестоким образом... Уверял Ляховскую, что будет издавать детский журнал в Узле. Ха, ха!..

Обед кончился очень весело; но когда были поданы бутылки с лафитом и шамбертеном, Привалов отказался наотрез, что больше не будет пить вина. Веревкин дремал в своем кресле, работая носом, как буксирный пароход. Половодов опять взял гостя за локоть и осторожно, как больного, провел в свой кабинет — потолковать о деле. Этот кабинет занимал маленькую угловую комнату. Письменный стол занимал самую средину. Кругом него были расставлены мудреные стулья с высокими резными спинками и сиденьем, обтянутым тисненным золотыми разводами красным сафьяном. Половодов подвел гостя к креслу такой необыкновенной формы, что Привалов просто не решился на него сесть, — это было что-то вроде тех горних мест, на какие сажают архиереев.

— Вот ваше дельце по опеке, — проговорил Половодов, тыкая пальцем на дубовый поставец в углу. — Ведь надо же было случиться такому казусу... а?.. Братец-то ваш задачу какую задал нам всем? Мы просто голову потеряли с Ляховским. Тит был в последнее время в пансионе Тидемана, недалеко от Цюриха.

Вдруг телеграмма: «Тит Привалов исчез, неизвестно куда...» Извольте теперь разыскивать его по всей Европе. Вот когда будем у Ляховского, тогда мы подробно обсудим, что предпринять, а пока, с вашего позволения, я познакомлю вас в общих чертах с нашей опекой.

— Нельзя ли в другой раз, Александр Павлыч? — взмолился Привалов, чувствовавший после обеда решительную неспособность к какому-нибудь делу.

— Как хотите, Сергей Александрыч. Впрочем, мы успеем вдоволь натолковаться об опеке у Ляховского. Ну-с, как вы нашли Василья Назарыча? Очень умный старик. Я его глубоко уважаю, хотя тогда по этой опеке у нас вышло маленькое недоразумение, и он, кажется, считает меня причиной своего удаления из числа опекунов. Надеюсь, что, когда вы хорошенько познакомитесь с ходом дела, вы разубедите упрямого старика. Мне самому это сделать было неловко... Знаете, как-то неудобно навязываться с своими объяснениями.

— Василий Назарыч, насколько я понял его, кажется, ничего не имеет ни против вас, ни против Ляховского. Он говорил об отчете.

— Ах, да... Представьте себе, этот отчет просто все дело испортил, а между тем мы тут ни душой ни телом не виноваты: отчет составлен и теперь гуляет в опекунском совете второй год. Ведь неудобно уверять Василья Назарыча, что у нас, кроме черновых, ничего не осталось. Притом мы не обязаны представлять ему таких отчетов, а только во избежание недоразумений... Вообще я так рад, что вы, Сергей Александрыч, наконец, здесь и сами увидите, в каком положении дела. О Ляховском вы, конечно, слышали... У него есть странности, но это не мешает быть ему очень умным человеком. Да вот сами увидите. Вы, вероятно, поедете на заводы?

— Да, при первой возможности.

Привалов уехал от Половодова с пустыми руками и с самым неопределенным впечатлением от гостеприимного хозяина, который или уж очень умен, или непроходимо глуп. Привалов дал слово Половодову ехать с ним к Ляховскому завтра или послезавтра. Антонида

Ивановна показалась в гостиной и сказала на прощанье Привалову с своей ленивой улыбкой:

— Мы будем ждать, вас Сергей Александрыч...

Привалов еще раз почувствовал на себе теплый взгляд Половодовой и с особенным удовольствием пожал ее полную руку с розовыми мягкими пальцами.

— А как сестра русские песни поет... — говорил Веревкин, когда они выходили на подъезд. — Вот ужо в следующий раз я ее попрошу. Пальчики, батенька, оближешь!

VI

Половодов пользовался в Узле репутацией дельца самой последней формации и слыл после Веревкина лучшим оратором. Собственно, Половодов говорил лучше Веревкина, но его заедала фраза, и в его речах недоставало того огонька, которым было насквозь прохвачено каждое слово Веревкина. Из-за желания блеснуть своим ораторским талантом Половодов два трехлетия служил председателем земской управы. Земские дела вел он плохо, и держались упорные слухи, что Половодов не забывал и себя при расходовании земских сумм. В настоящую минуту тепленькое место директора в узловско-моховском банке и довольно кругленькая сумма, получаемая им в опекунском совете по опеке над Шатровскими заводами, давали Половодову полную возможность жить на широкую ногу и придумывать разные дорогие затеи. На Половодова находила время от времени какая-то дурь. В одну из таких минут он ни с того ни с сего уехал за границу, пошатался там по водам, пожил в Париже, зачем-то съездил в Египет и на Синай и вернулся из своего путешествия англичанином с ног до головы, в Pith India Helmet [1] на голове, в гороховом сьюте и с произношением сквозь зубы. В г. Узле он отделал свой дом на английский манер и года два корчил из себя узловского сквайра. Когда подул другой ветер, Половодов забросил свой Helmet — Веревкин прозвал его за этот головной убор пожар-

[1] индийском шлеме *(англ.)*.

ным — и перевернул весь дом в настоящий его вид. Женитьба на Антониде Ивановне была одним из следствий этого увлечения тайниками народной жизни: Половодову понравились ее наливные плечи, ее белая шея, и Антонида Ивановна пошла в pendant к только что отделанному дому с его расписными потолками и синими петухами. С полгода Антонида Ивановна сохраняла свое положение русской красавицы и обязана была носить косоклинные сарафаны с прошивками из золотых позументов, но скоро эта игра обоим супругам надоела и сарафан Антониды Ивановны был заброшен в тот же угол, где валялась Pith India Helmet. Впрочем, супруги, кажется, не особенно сожалели о таком обороте дел и вполне довольствовались названием счастливой парочки. Антонида Ивановна отнеслась индифферентно к своему новому положению и удовлетворялась ролью независимой замужней женщины. В глубине души она считала себя очень счастливой женщиной, потому что очень хорошо знала по своему папаше Ивану Яковличу, какие иногда бывают оригинальные мужья. Половодов увлекался женщинами и был постоянно в кого-нибудь влюблен, как гимназист четвертого класса, но эти увлечения быстро соскакивали с него, и Антонида Ивановна смотрела на них сквозь пальцы. У нее была отличная коляска, пара порядочных рысаков, возможность ездить по магазинам и модисткам сколько душе угодно — чего же ей больше желать! Все узловские дамы называли ее счастливейшей женщиной, и Александр Павлыч пользовался репутацией примерного семьянина. Правда, иногда Антонида Ивановна думала о том, что хорошо бы иметь девочку и мальчика или двух девочек и мальчика, которых можно было бы одевать по последней картинке и вывозить в своей коляске, но это желание так и оставалось одним желанием, — детей у Половодовых не было.

Появление Привалова ничего нового не внесло в дом Половодовых.

— В нем есть непосредственность, — сказала Агриппина Филипьевна. — Он глуповат и простоват, но он может быть героем романа...

Антонида Ивановна задумалась над словом «непосредственность», и оно лезло ей в голову целый вечер. Даже ночью, когда в своей спальне она осталась с мужем и взглянула на его длинную, нескладную фигуру, она опять вспомнила это слово: «Непосредственность... Ах, да, непосредственность!» Александр Павлыч в эту ночь не показался ей противнее обыкновенного, и она спала самым завидным образом, как человек, у которого совесть совершенно спокойна. Александр Павлыч, наоборот, не мог похвалиться особенно покойной ночью: он долго ворочал на постели свои кости и несколько раз принимался тереть себе лоб, точно хотел выскоблить оттуда какую-то идею. Утром Половодов дождался, когда проснется жена, и даже несколько увлекся, взглянув, как она сладко спала на своей расшитой подушке, раскинув белые полные руки. Он осторожно поцеловал ее в то место на шее, где пояском проходила у нее такая аппетитная складка, и на мгновение жена опять показалась ему русской красавицей.

Когда Антонида Ивановна полоскалась у своего умывального столика, Половодов нерешительно проговорил, видимо что-то соображая про себя:

— Тонечка... как ты нашла Привалова?

— Я? Привалова? — удивилась Антонида Ивановна, повертывая к мужу свое мокрое лицо с следами мыла на шее и голых плечах. «Ах, да, непосредственность...» — мелькнуло у ней опять в голове, и она улыбнулась.

— Послушай, Тонечка: сделай как-нибудь так, чтобы Привалову не было скучно бывать у нас. Понимаешь?

— Да что же я могу сделать для него?

— Ах, какая ты глупая... Посоветуйся с maman, она лучше тебе объяснит, чем я, — с улыбкой прибавил Половодов.

Это утро сильно удивило Антониду Ивановну: Александр Павлыч вел себя, как в то время, когда на сцене был еще знаменитый косоклинный сарафан. Но приступ мужниной нежности не расшевелил Антониду Ивановну, — она не могла ему отвечать тем же.

Появление Привалова заставило Половодова крепко задуматься, потому что с опекой над Шатровскими заводами для него, кроме материальных выгод, было еще связано много надежд в будущем. Собственно говоря, эти надежды носили пока очень смутный и неопределенный характер, но Половодов любил думать на эту тему. В нем заговорила непреодолимая жажда урвать свою долю из того куска, который теперь лежал под носом. Но как это устроить? Он напрасно ломал голову над решением этого вопроса и переходил от одного плана к другому. Главное, обидно было то, что подобное решение должно было существовать, и Половодов пока только предчувствовал это осуществление.

«Недостает решительности! Все зависит от того, чтобы повести дело смелой, твердой рукой, — думал Половодов, ходя по кабинету из угла в угол. — Да еще этот дурак Ляховский тут торчит: дела не делает и другим мешает. Вот если бы освободиться от него...»

У Половодова захватывало дух при одной мысли, что он мог сделаться полновластным и единоличным хозяином в приваловской опеке, тем более что сам Привалов совершенно безопасный человек. Теперь Половодов получал в год тысяч двадцать, но ведь это жалкие, нищенские крохи сравнительно с тем, что он мог бы получить, если бы ему развязать руки. Ляховский бесполезен как участник в выполнении грандиозных планов Половодова, потому что слишком богат для рискованного дела, а затем трус и мелочник. Ему, конечно, не возвыситься до блестящей идеи, которую теперь вынашивал Половодов, переживая муки сомнения и неуверенности в собственных силах.

В один из таких припадков малодушия, когда Половодов испытывал самое скверное расположение духа, в его кабинете появился дядюшка Оскар Филипыч. Старичок дышал по обыкновению юношеской свежестью, особенно рядом с вытянутой серой фигурой Половодова.

«Чему этот дурак радуется?» — со злостью думал Половодов, когда дядюшка ласково и вкрадчиво улыбался ему.

— Ну, что ваша рыбка? — спрашивал Половодов, не зная, о чем ему говорить с своим гостем.

— О, моя рыбка еще гуляет пока в воде... Да!.. Нужно терпение, Александр Павлыч... Везде терпение, особенно с рыбой. Пусть ее порезвится, погуляет, а там мы ее и подцепим...

Старик рассыпался мелким смешком и весело потер руки; этот смех и особенно пристальный взгляд дядюшки показались Половодову немного подозрительными. О какой рыбке он говорит, — черт его разберет. А дядюшка продолжал улыбаться и несколько раз доставал из кармана золотую табакерку; табак он нюхал очень аккуратно, как старички екатерининских времен.

— Ну, а как вы нашли этого Привалова? — спрашивал дядюшка, играя табакеркой.

— Да пока ничего особенного: ни рыба ни мясо...

— Я немного знал его, когда он еще жил в Петербурге.

— Вы знали Привалова?

— Да, отчасти... То есть знал не лично, а через других. Очень порядочный молодой человек. Жаль, что вы не поладили с ним...

— То есть как это не поладили?

— Я слышал, что Привалов начинает дело против опеки и уже взял себе поверенного.

— Вы хотите сказать о Nicolas? Это старая новость... Только едва ли они чего-нибудь добьются: Привалов и раньше все время хлопотал в Петербурге по своему делу.

— Да, знаю, слышал... Но, видите ли, большая разница — где будет хлопотать Привалов: здесь или там.

Оскар Филипыч в нескольких словах дал заметить Половодову, что ему в тонкости известно не только все дело по опеке, но все его мельчайшие подробности и особенно слабые места. Половодов с возраставшим удивлением слушал улыбавшегося немца и, наконец, проговорил:

— Откуда вы все это узнали и... для чего?

— Так... из любопытства, — скромно отвечал Оскар Филипыч, сладко потягиваясь на своем стуле. — Мне кажется, что вам, Александр Павлыч, выгоднее всего

иметь поверенного в Петербурге, который следил бы за малейшим движением всего процесса. Это очень важно, особенно, если за него возьмется человек опытный...

— Вроде вас, например? — недоверчиво произнес Половодов с легкой улыбкой.

— Отчего же, я с удовольствием взялся бы похлопотать... У меня даже есть план, очень оригинальный план. Только с одним условием: половина ваша, а другая — моя. Да... Но прежде чем я вам его раскрою, скажите мне одно: доверяете вы мне или нет? Так и скажите, что̀ думаете в настоящую минуту...

— Я вам не верю, Оскар Филипыч.

— Очень хорошо, очень хорошо, — невозмутимо продолжал дядюшка. — Прежде всего, конечно, важно выяснить взаимные отношения, чтобы после не было ненужных недоразумений. Да, это очень важно. Ваша откровенность делает вам честь... А если я вам, Александр Павлыч, шаг за шагом расскажу, как мы сначала устраним от дел Ляховского, затем поставим вас во главе всего предприятия и, наконец, дадим этому Привалову как раз столько, сколько захотим, — тогда вы мне поверите?

— Право, не знаю... У меня тоже есть несколько планов.

— Да, но все-таки один в поле не воин... Вы только дайте мне честное слово, что если мой план вам понравится — барыши пополам. Да, впрочем, вы и сами увидите, что без меня трудно будет обойтись, потому что в план входит несколько очень тонких махинаций.

Половодов затворил дверь в кабинет, раскурил сигару и приготовился слушать дядюшку, которому в глубине души он все-таки не доверял. Как иногда случается с умными людьми, Половодова смущали просто пустяки: наружность дядюшки, его херувимский вид и прилизанность всей фигуры. Оскар Филипыч уже совсем не походил на тех дельцов, с какими Половодову до настоящего времени приходилось иметь дело. Какой-то серый балахон, в котором явился дядюшка, и неизбежная для каждого немца соломенная шляпа — просто возмущали Половодова своим мещанским вкусом. Среди роскошной деловой обстановки половодов-

ского кабинета толстенькая фигурка улыбавшегося немца являлась неприятным диссонансом, который просто резал глаз.

— Сначала мы поставим диагноз всему делу, — мягко заговорил дядюшка... — Главный наследник, Сергей Привалов, налицо, старший брат — сумасшедший, младший в безвестном отсутствии. Так? На Шатровских заводах около миллиона казенного долга; положение опекунов очень непрочное...

— Почему вы так думаете?

— Очень просто: вы и Ляховский держитесь только благодаря дворянской опеке и кой-каким связям в Петербурге... Так? Дворянскую опеку и после нельзя будет обойти, но ее *купить* очень недорого стоит: члены правления — один полусумасшедший доктор-акушер восьмидесяти лет, другой — выгнанный со службы за взятки и просидевший несколько лет в остроге становой, третий — приказная строка, из поповичей... Вся эта братия получает по двадцать восемь рублей месячного жалованья. Так?

— Да вы решительно, кажется, все на свете знаете...

— Из любопытства, Александр Павлыч, из любопытства. Таким образом, дворянская опека всегда будет в наших руках, и она нам пригодится... Дальше. Теперь для вас самое главное неудобство заключается в том, что вас, опекунов, двое, и из этого никогда ничего не выйдет. Стоит отыскаться Титу Привалову, который как совершеннолетний имеет право выбирать себе опекуна сам, и тогда положение ваше и Ляховского сильно пошатнется: вы потеряете все разом...

— Совершенно верно.

— Но можно устроить так, что вы в одно и то же время освободитесь от Ляховского и ни на волос не будете зависеть от наследников... Да.

— Именно?

— Позвольте... Старший наследник, Привалов, формально не объявлен сумасшедшим?

— Нет, официально ничего неизвестно...

— О, это прекрасно, очень прекрасно, и, пожалуйста, обратите на это особенное внимание... Как все

великие открытия, все дело очень просто, просто даже до смешного: старший Привалов выдает на крупную сумму векселей, а затем объявляет себя несостоятельным. Опекунов пбоку, назначается конкурс, а главным доверенным от конкурса являетесь вы... Тогда все наследники делаются пешками, и во всем вы будете зависеть от одной дворянской опеки.

— Оскар Филипыч, да это гениальная мысль!.. — вскричал Половодов, заключая дядюшку в свои объятия.

— Позвольте, Александр Павлыч, — скромно продолжал немец, играя табакеркой. — Мысль, без сомнения, очень счастливая, и я специально для нее ехал на Урал.

— Ловить рыбку? Ха-ха...

— Позвольте... Главное заключается в том, что не нужно терять дорогого времени, а потом действовать зараз и здесь и там. Одним словом, устроить некоторый дуэт, и все пойдет как по нотам... Если бы Сергей Привалов захотел, он давно освободился бы от опеки с обязательством выплатить государственный долг по заводам в известное число лет. Но он этого не захотел сам...

— Нет, вы ошибаетесь: Привалов именно этого и добивался, когда жил в Петербурге, и об этом же будет хлопотать его поверенный, то есть Nicolas.

— Я вам говорю, что Привалов *не хотел этого,* не хотел даже тогда, когда ему один очень ловкий человек предлагал устроить все дело в самый короткий срок. Видите ли, необходимо было войти в соглашение кое с кем, а затем не поскупиться насчет авансов, но Привалов ни о том, ни о другом и слышать не хочет. Из-за этого и дело затянулось, но Nicolas может устроить на свой страх то, чего не хочет Привалов, и тогда все ваше дело пропало, так что вам необходим в Петербурге именно такой человек, который не только следил бы за каждым шагом Nicolas, но и парализовал бы все его начинания, и в то же время устроил бы конкурс...

— Дядюшка, вы золотой человек!

— Может быть, буду и золотым, если вы это время сумеете удержать Привалова именно здесь, на Урале.

А это очень важно, особенно когда старший Привалов объявит себя несостоятельным. Все дело можно будет испортить, если упустить Привалова.

— Но каким образом я его могу удержать на Урале?

— Это уж ваше дело, Александр Павлыч: я буду свое делать, вы — свое.

— Может быть, у вас и относительно удержания Привалова на Урале тоже есть своя счастливая мысль?

— Гм... Я удивляюсь одному, что вы так легко смотрите на Привалова и даже не постарались изучить его характер, а между тем — это прежде всего.

— Да Привалова и изучать нечего, — он весь налицо: глуповат и бредит разными пустяками.

— Прибавьте: Привалов очень честный человек.

— Ну и достаточно, кажется.

— Ах, Александр Павлыч, Александр Павлыч. Как вы легко смотрите на вещи, чрезвычайно легко!

— Вы меня считали умнее?

— Да...

— Откровенность за откровенность... Не хотите ли чаю или квасу, Оскар Филипыч? — предлагал Половодов. — Вы устали, а мы еще побеседуем...

Лакей внушительной наружности принес в кабинет поднос с двумя кружками и несколько бутылок вина; Половодов явился вслед за ним и сам раскупорил бутылку шампанского. Отступив немного в сторону, лакей почтительно наблюдал, как барин сам раскупоривает бутылки; а в это время дядюшка, одержимый своим «любопытством», подробно осмотрел мебель, пощупал тисненые обои цвета кофейной гущи и внимательно перебрал все вещицы, которыми был завален письменный стол. Он переспросил, сколько стоят все безделушки, пресспапье, чернильница; пересматривал каждую вещь к свету и даже вытер одну запыленную статуэтку своим платком. Половодов охотно отвечал на все вопросы милого дядюшки, но этот родственный обыск снова немного покоробил его, и он опять подозрительно посмотрел на дядюшку; но прежнего смешного дядюшки для Половодова уже не существовало, а был другой,

совершенно новый человек, который возбуждал в Половодове чувство удивления и уважения.

— Для чего вы хлопочете, Александр Павлыч,— скромно заметил Оскар Филипыч, принимая от Половодова бокал с игравшим веселыми искорками вином.

— Для вас, дорогой дядюшка, для вас хлопочу: вы мне открыли глаза, — восторженно заявил Половодов, не зная, чем бы еще угостить дорогого дядюшку.— Я просто мальчишка перед вами, дядюшка... Частицу вашей мудрости — вот чего я желаю! Вы, дядюшка, второй Соломон!..

В половодовском кабинете велась долгая интимная беседа, причем оба собеседника остались, кажется, особенно довольны друг другом и несколько раз, в порыве восторга, принимались жать друг другу руки.

— Ну-с, Оскар Филипыч, расскажите, что вы думаете о самом Привалове? — спрашивал Половодов, весь покрасневший от выпитого вина.

— Привалов... Гм... Привалов очень сложная натура, хотя он кажется простачком. В нем постоянно происходит внутренняя борьба... Ведь вместе с правами на наследство он получил много недостатков и слабостей от своих предков. Вот для вас эти слабости-то и имеют особенную важность.

— Совершенно верно: Привалов — представитель выродившейся семьи.

— Да, да... И между прочим он унаследовал одну капитальнейшую слабость: это — любовь к женщинам.

— Привалов?!

— О да... Могу вас уверить. Вот на эту сторону его характера вам и нужно действовать. Ведь женщины всесильны, Александр Павлыч, — уже с улыбкой прибавил дядюшка.

— Понимаю, понимаю, все понимаю!

— Только помните одно: девицы не идут в счет, от них мало толку. Нужно настоящую женщину... Понимаете? Нужно женщину, которая сумела бы завладеть Приваловым вполне. Для такой роли девицы не пригодны с своим целомудрием, хотя бывают и между ними очень умные субъекты.

— Понимаю, понимаю и понимаю, дорогой Оскар Филипыч.

— И отлично! Теперь вам остается только действовать, и я буду надеяться на вашу опытность. Вы ведь пользуетесь успехом у женщин и умеете с ними дела водить, ну, вам и книги в руки. Я слышал мельком, что поминали Бахареву, потом дочь Ляховского...

— Послушайте, я вас познакомлю с Ляховским, — перебил Половодов, не слушая больше дядюшки.

— Да, это и необходимо для первого раза... Нам Ляховский пригодится. Он пока затянет дело об опеке...

Таким образом союз между Половодовым и дядюшкой был заключен самым трогательным образом.

— Надеюсь, что мы с вами сойдемся, дорогой дядюшка, — говорил Половодов, провожая гостя до передней.

— О, непременно... — соглашался Оскар Филипыч, надвигая на голову свою соломенную шляпу. — Рука руку моет: вы будете действовать здесь, я там.

VII

Вернувшись к себе в кабинет, Половодов чувствовал, как все в нем было переполнено одним радостным, могучим чувством, тем чувством, какое испытывается только в беззаветной молодости. Даже свой собственный кабинет показался ему точно чужим, и он с улыбкой сожаления посмотрел на окружавшую его обстановку фальшивой роскоши. Эти кофейные обои, эти драпировки на окнах, мебель... как все это было жалко по сравнению с тем, что носилось теперь в его воображении. В его будущем кабинете каждая вещь будет предметом искусства, настоящего, дорогого искусства, которое в состоянии ценить только глубокий знаток и любитель. Какой-нибудь экран перед камином, этажерка для книг, — о, сколько можно сделать при помощи денег из таких ничтожных пустяков!

— А дядюшка-то? Хорош!.. — вслух проговорил Половодов и засмеялся. — Ну, кто мог бы подумать, что в этакой фигурке сидят такие гениальные мысли?!

Половодов походил по своему кабинету, посмотрел в окно, которое выходило в сад и точно было облеплено вьющейся зеленью хмеля и дикого винограда; несколько зеленых веточек заглядывали в окно и словно с любопытством ощупывали своими спиральными усиками запыленные стекла. Распахнув окно, Половодов посмотрел в сад, на аллеи из акаций и тополей, на клумбы и беседки, но это было все не то: он был слишком взволнован, чтобы любоваться природой. В кабинете Половодову казалось тесно и душно, но часы показывали едва три часа — самое мертвое время летнего дня, когда даже собаки не выбегают на улицу. Чтобы успокоить себя, Половодову нужно было движение, общество веселых людей, а теперь приходилось ждать до вечера. От нечего делать он комфортабельно поместился на горнем месте, придвинул к себе недопитую бутылку шампанского и, потягивая холодное вино, погрузился в сладкие грезы о будущем.

«Это еще ничего — создать известную идею, — думал Половодов, припоминая подробности недавнего разговора с дядюшкой. — Все это в пределах возможности; может быть, я и сам набрел бы на дядюшкину идею объявить этого сумасшедшего наследника несостоятельным должником, но вот теория удержания Привалова в Узле — это, я вам скажу, гениальнейшая мысль. Тут нужен артист своего дела... Да!.. И какой чертовский нюх у этого дядюшки по части психологии... Ха-ха!.. Женщины... И в женщинах знает толк, бестия!.. «Нужно настоящую женщину...» То-то вот и есть: где ее взять, эту настоящую женщину, в каком-нибудь Узле!.. Нет, это идея... Ха-ха-ха!.. Клади на ноты и разыгрывай...»

Потягивая вино, Половодов перебирал всех известных ему женщин и девиц, которые как-то не удовлетворяли требованиям предстоящей задачи. «Нет, это все не то...» — думал Половодов с закрытыми глазами, вызывая в своей памяти ряд знакомых женских лиц... «Сестры Бахаревы, Алла, Анна Павловна, Аня Пояркова... черт знает, что это за народ: для чего они живут, одеваются, выезжают, — эти жалкие создания, негодные никуда и ни на что, кроме замужества, которым

исчерпываются все их цели, надежды и желания. Тьфу!.. Разве в состоянии их птичьи головки когда-нибудь возвыситься до настоящей идеи, которая охватывает всего человека и делает его своим рабом. Привалов, кажется, ухаживает за старшей Бахаревой, но из этого едва ли что-нибудь выйдет, потому что он явился немного поздно для этого в Узел... Вот Зося Ляховская, та, конечно, могла выполнить и не такую задачу, но ее просто немыслимо привязать к такому делу, да притом в последнее время она какая-то странная такая, совсем кислая».

«А может быть, Зося еще пригодится когда-нибудь, — решил Половодов про себя, хрустя пальцами. — Только вот это проклятое девичество все поперек горла стоит».

Дальше Половодов задумался о дамах узловского полусвета, но здесь на каждом шагу просто была мерзость, и решительно ни на что нельзя было рассчитывать. Разве одна Катя Колпакова может иметь еще временный успех, но и это сомнительный вопрос. Есть в Узле одна вдова, докторша, шустрая бабенка, только и с ней каши не сваришь.

«Ну, да это пустяки: было бы болото — черти будут, — утешал себя Половодов; он незаметно для себя пил вино стакан за стаканом и сильно опьянел. — А вот дядюшка — это в своем роде восьмое чудо света... Ха-ха-ха!.. Перл...»

Половодов, припоминая смешного дядюшку, громко хохотал и вслух разговаривал сам с собой. Такая беседа один на один и особенно странный смех донеслись даже до гостиной, через которую проходила Антонида Ивановна в белом пенюаре из тонкого батиста.

— Кто у барина? — спросила она лакея.

— Никого нет-с...

— Как никого? Я сейчас слышала, как там разговаривают и хохочут.

— Это они одни-с...

— Что за вздор!.. — проворчала Антонида Ивановна и отправилась сама в кабинет.

— Можно войти? — спросила она, приотворяя слегка дверь.

— Можно, можно...

Антонида Ивановна вошла, оглядела пустой кабинет и только теперь заметила на себе пристальный мутный взгляд мужа.

— Кто это здесь сейчас разговаривал и хохотал? — довольно строго спросила она мужа.

— Да я, Тонечка... Ох-ха-ха!.. Уморил меня этот... этот дядюшка... Представь себе...

— По этому случаю, вероятно, ты и нарезался, как сапожник?..

Пока Антонида Ивановна говорила то, что говорят все жены подгулявшим мужьям, Половодов внимательно рассматривал жену, ее высокую фигуру в полном расцвете женской красоты, красивое лицо, умный ленивый взгляд, глаза с поволокой. Право, она была красива сегодня, и в голове Половодова мелькнула собственная счастливая мысль: чего искать необходимую для дела женщину, когда она стоит перед ним?.. Да, это была та самая женщина, о которой он сейчас думал. Белый пенюар Антониды Ивановны у самой шеи расстегнулся на одну пуговицу, и среди рюша и прошивок вырезывался легкими ямочками конец шеи, где она срасталась с грудью; только на античных статуях бывает такая лепка бюста. Половодов знал толк в пластике и любовался теперь женой глазами настоящего артиста.

— Тонечка... женщина... — заговорил он, порываясь встать с своего горнего места.

Антонида Ивановна полупрезрительно посмотрела на пьяного мужа и молча вышла из комнаты. Ей было ужасно жарко, жарко до того, что решительно ни о чем не хотелось думать; она уже позабыла о пьяном хохотавшем муже, когда вошла в следующую комнату.

VIII

После своего визита к Половодову Привалов хотел через день отправиться к Ляховскому. Не побывав у опекунов, ему неловко было ехать в Шатровские заводы, куда теперь его тянуло с особенной силой,

потому что Надежда Васильевна уехала туда. Эта последняя причина служила для Привалова главной побудительной силой развязаться поскорее с неприятным визитом в старое приваловское гнездо.

Часов в десять утра Привалов был совсем готов и только выжидал еще полчаса, чтобы ехать прямо к Половодову. Когда он уже надевал перчатки, в комнату ворвался Виктор Васильич в своей табачной визитке.

— Ну, вот и отлично! — обрадовался молодой человек, оглядывая Привалова со всех сторон. — Значит, едем? Только для чего ты во фрак-то вытянулся, братец... Испугаешь еще добрых людей, пожалуй. Ну, да все равно, едем.

— Да куда едем-то? — удивился Привалов.

— Как куда? Вот это мило с твоей стороны... Целая неделя прошла, а он и глаз не кажет, да еще спрашивает: «куда!» Эх, ты... Ну, да я на тебя не сержусь, а приехал специально за тобой потому, что послала мамка. А то бы мне наплевать на тебя совсем... Ей-богу! Дуйся, как мышь на крупу... Экая важность, что тятенька тебе голову намылил: ведь я не сержусь же на него, что он мне и на глаза не велел к себе показываться. Нисколько. А почему? Отец, конечно, умный человек, поумнее нас с тобой; если разобрать, так он все-таки старик, да еще и больной старик... То-то вот ты и есть Еруслан Лазаревич! Мама ждала-ждала, а потом и послала за тобой. «Уж не болен ли, говорит, Сереженька с дороги-то, или, может, на нас сердится...» А я ей прямо так и сказал: «Вздор, за задние ноги приволоку тебе твоего Сереженьку...» Нет, кроме шуток, едем поскорее, мне, право, некогда.

— Я и сам думал заехать к вам.

— Ну, брат, не ври, меня не проведешь; боишься родителя-то? А я тебе скажу, что совершенно напрасно. Мне все равно, какие у вас там дела, а только старик даже рад будет. Ей-богу... Мы прямо на маменькину половину пройдем. Ну, так едешь, что ли? Я на своей лошади за тобой приехал.

— С удовольствием.

— Только сними свой фрак, а то всех на сомнение наведешь: чучело чучелом в своем фраке. Ты уж меня извини...

Привалов переменил фрак на сюртук и все время думал о том, что не мистифицирует ли его Виктор Васильевич.

— А я тебе вот что скажу, — говорил Виктор Васильевич, помещаясь в пролетке бочком, — если хочешь угодить маменьке, заходи попросту, без затей, вечерком... Понимаешь — по семейному делу. Мамынька-то любит в преферанс сыграть, ну, ты и предложи свои услуги. Старуха без ума тебя любит и даже похудела за эти дни.

— Я на днях уезжаю на заводы, — заметил Привалов, когда они уже подъезжали к бахаревскому дому.

— Вздор! Зачем тебе туда? Надя была там и может тебе рассказать, что все обстоит благополучно... Обожди с месяц, а там я с тобой могу вместе ехать.

— Разве Надежда Васильевна вернулась?

— Конечно, вернулась... Не буду же я тебя обманывать.

Марья Степановна встретила Привалова со слезами на глазах и долго пеняла ему, зачем он забыл их.

— Ну, к отцу не хочешь ехать, ко мне бы заглянул, а уж я тут надумалась о тебе. Кабы ты чужой был, а то о тебе же сердце болит... Вот отец-то какой у нас: чуть что — и пошел...

— Я ни в чем не обвиняю Василия Назарыча, — говорил Привалов, — и даже не думал обидеться на него за наш последний разговор. Но мне, Марья Степановна, было слишком тяжело все это время...

— Знаю, что тяжело, голубчик. Тебе тяжело, а мне вдвое, потому что приехал ты на родную сторону, а тебя и приголубить некому. Вот нету матери-то, так и приласкать некому... Бранить да началить всегда мастера найдутся, а вот кто пожалеет-то?

Эти простые слова растрогали Привалова, и он с особенным чувством поцеловал руку у доброй старухи. Прежнее теплое чувство охватило его, и он опять был не один, как за несколько минут перед этим. Половина Марьи Степановны на этот раз показалась ему осо-

бенно уютной — все в ней дышало такой патриархальной простотой, начиная со старинной мебели и кончая геранью на окнах. Привалов невольно припомнил обстановку Агриппины Филипьевны и Половодова, где все дышало фальшивой официальной роскошью, все было устроено напоказ.

— А ведь я чего не надумалась здесь про тебя, — продолжала Марья Степановна, усаживая гостя на низенький диванчик из карельской березы, — и болен-то ты, и на нас-то на всех рассердился, и бог знает какие пустяки в голову лезут. А потом и не стерпела: дай пошлю Витю, ну, и послала, может, помешала тебе?

— Нет, зачем же...

— У Ляховского-то тогда был?

— Нет.

— Я так и думала: до Ляховского ли. Легкое ли место, как отец-то наш тогда принял тебя... Горяч он стал больно: то ли это от болезни его, или годы уж такие подходят... не разберу ничего.

Досифея подала самовар и радостно замычала, когда Привалов заговорил с ней. Объяснив при помощи знаков, что седой старик с большой бородой сердится, она нахмурила брови и даже погрозила кулаком на половину Василия Назарыча. Марья Степановна весело смеялась и сквозь слезы говорила:

— Ну, ну, Досифеюшка, не сердись... Нам наплевать на старика с седой бородой; он сам по себе, мы сами по себе.

Но немая не унималась и при помощи мимики очень красноречиво объясняла, что седой старик и Костю не любит, что он сердитый и нехороший. Марья Степановна заварила чай в старинном чайнике с какими-то необыкновенными цветами и, расставляя посуду, спрашивала:

— А ты у Половодова-то был?

— Да, был на днях.

— Весело было, чай? Ведь он ух какой краснобай и дошлый-предошлый, даром что на селедку походит... И жену видел?

— И жену видел.

— Приглянулась?

— Д-да... очень красивая женщина. Впрочем, я хорошенько не рассмотрел ее.

— Уж не ври, пожалуйста, — с улыбкой заметила старушка и посмотрела на Привалова прищуренными глазами; она хотела по выражению его лица угадать произведенное на него Антонидой Ивановной впечатление. «Врет», — решила она про себя, когда Привалов улыбнулся.

Антонида Ивановна, по мнению Бахаревой, была первой красавицей в Узле, и она часто говорила, покачивая головой: «Всем взяла эта Антонида Ивановна, и полнотой, и лицом, и выходкой!» При этом Марья Степановна каждый раз с коротким вздохом вспоминала, что «вот у Нади, для настоящей женщины, полноты недостает, а у Верочки кожа смуглая и волосы на руках, как у мужчины».

— Ну рассказывай, чем тебя угощала Антонида-то Ивановна, — допрашивала старушка своего гостя.

Привалов рассказал, как умел, про половодовский обед.

— В саду обедали-то, говоришь?

— В саду...

— Это уж, видно, твоему поверенному жарко стало... Уж и нашел себе поверенного, нечего сказать!..

— А чем он плох, Марья Степановна?

— Да я его не хаю, голубчик, может, он и хороший человек для тебя, я так говорю. Вот все с Виктором Васильичем нашим хороводится... Ох-хо-хо!.. Был, поди, у Веревкиных-то?

— Был. Заезжал с Николаем Иванычем, чтобы вместе ехать к Половодову.

— Так... Когда вот я про этих Веревкиных вспомню, чудно мне делается: в кого у них детки уродились. Мать — немка, хоть и говорит с Хиной по-французскому; отец на дьячка походит, а вот — взять хоть ту же Антониду Ивановну, — какую красоту вырастили!.. Или тоже взять Николая Иваныча: издалека на него поглядеть — так чисто из нашего купеческого звания паренек, ей-богу!.. Только я его боюсь, твоего поверенного: как вытаращит глаза на тебя, запыхтит...

Больно уж, говорят, дерзко он суд ведет, ну, и тоже такая гуляка, что не приведи истинный Христос. Ты, смотри, не больно с ним путайся.

За чайным столом скоро собралась вся семья. Надежда Васильевна показалась сегодня Привалову особенно веселой. Она рассказывала о своей поездке в Шатровский завод, о том, как Костя ждет Привалова, и т. д. Виктор Васильевич и Верочка по обыкновению дурачились, несмотря на самые строгие взгляды Марьи Степановны.

— Мы вместе с Сергеем Александрычем поедем в Шатрово, — заявлял Виктор Васильич.

— Левизором, что ли? — насмешливо спрашивала Марья Степановна. — То-то, поди, Костя соскучился по тебе, ждет не дождется...

— Нужно еще сначала спросить Сергея Александрыча, возьмет ли он тебя с собой, — добавила Верочка, гремя чайной ложкой.

— Ну, ты, радуга, разве можешь что-нибудь понимать? — огрызался Виктор Васильевич.

Чтобы окончательно развеселить собравшееся за чаем общество, Виктор Васильевич принялся рассказывать какой-то необыкновенный анекдот про Ивана Яковлича и кончил тем, что Марья Степановна не позволила ему досказать все до конца, потому что весь анекдот сводился на очень пикантные подробности, о которых было неудобно говорить в присутствии девиц.

— Ну, не буду, не буду... — согласился Виктор Васильевич. — Я как-нибудь после Сергею Александрычу доскажу одному. Где эти кислые барышни заведутся — и поговорить ни о чем нельзя... Вон Зося, так ей все равно: рассказывай, что душе угодно.

— Да не ври ты, ради истинного Христа, — упрашивала Марья Степановна. — Так она тебя и стала слушать! Не из таких девка-то, с ней говори, да откусывай...

— Мама, да Зося никогда и не говорит с Витей, — вмешалась в разговор Верочка. — Ведь он ей только подает калоши да иногда сбегает куда-нибудь по ее поручению...

— А ты когда же это к Ляховскому-то поедешь? — обратилась Марья Степановна к Привалову. — Долго уж больно что-то сбираешься... Тоже вот на заводы не едешь.

— Тихий воз будет на горе, — с улыбкой отвечал Привалов.

IX

— Ужо заходи как-нибудь вечерком, — говорила Привалову Марья Степановна, когда он уходил.

— С особенным удовольствием, — отозвался Привалов, припоминая совет Виктора Васильевича относительно преферанса.

— Ну, там как знаешь, — с удовольствием или без удовольствия. Скушно покажется со старухами-то сидеть? Не больно у нас веселья-то много... Ничего, поскучай.

Но вечера в бахаревском доме Привалову совсем не показались скучными, а наоборот, он считал часы, когда ему можно было отправиться в бахаревское гнездо.

Всех больше вечерними визитами Привалова была довольна Верочка, хотя на ее долю от этих визитов перепадало очень немного. Этой практической девушке больше всего нравилось то, что в их доме появился, наконец, настоящий мужчина со всеми признаками жениха. Раньше эти вечера были скучны до тошноты, потому что на половине Марьи Степановны собиралось только исключительно женское общество, да и какое общество: приплетется старуха Размахнина, придет Павла Ивановна со своими бесконечными кружевами, иногда навернется еще какая-нибудь старушка — вот и все. Попьют чайку, побеседуют и усядутся за карточный стол играть в преферанс. Если, кроме Павлы Ивановны, никого не было, усаживали играть Верочку, которая страшно скучала и потихоньку зевала в руку. Появление Хины среди такого мертвого вечера было целым событием, и Верочка по-детски заглядывала ей прямо в рот, откуда, как сухой горох из прорванного мешка, неудержимо сыпались самые удивительные но-

вости. Даже старицам, начетчицам, странницам и разным божьим старушкам Верочка всегда была рада, потому что вместе с ними на половину Марьи Степановны врывалась струя свежего воздуха, приносившая с собой самый разнообразный запас всевозможных напастей, болей и печалей, какими изнывал мир за пределами бахаревского дома.

Василий Назарыч половину года проводил на приисках, а другую половину почти все вечера у него были заняты кабинетной работой или визитами разных нужных людей. Про Виктора Васильича и говорить нечего: с наступлением сумерек он исчезал из дому с замечательною аккуратностью и возвращался только утром. Надежда Васильевна вечером тоже редко показывалась на половине Марьи Степановны, потому что обыкновенно в это время занималась у себя в комнате, — «читала в книжку», как говорила про нее Марья Степановна. Таким образом, появление Привалова перевернуло вверх дном вечернюю жизнь на половине Марьи Степановны и оживило ее лихорадочной деятельностью сравнительно с прежним. Павла Ивановна появлялась аккуратно каждый день, когда приходил Привалов, и втроем они усаживались за бесконечный преферанс. По требованию Марьи Степановны, Надежда Васильевна обязана была оставлять свое «чтение в книжку» и тоже принимать участие в преферансе или занимать гостя разговором.

— Да о чем же я с ним буду разговаривать? — спрашивала Надежда Васильевна. — Разговаривать на заказ очень трудно.

— Ладно, ладно... с другими умеешь разговаривать, а тут и языка не стало.

— С какими другими?

— Ну, у Ляховских своих, поди, говоришь тоже... Ведь не в молчанку же там играют...

— У Ляховских, мама, в преферанс не играют, а говорят, когда хочется и что хочется.

— Не мудри, говорю. Вот к Хине не хочешь ехать с визитом...

— Вы знаете, почему я не еду к ней.

Марья Степановна после размолвки Василия

Назарыча с Приваловым почти совсем упала духом относительно своих заветных планов; Привалов не казал к ним глаз, Надежда Васильевна ни за что не хотела ехать к Хине, — одним словом, выходило так, что Привалов совсем попался в ловкие руки одной Хины, которая не преминет воспользоваться всеми выгодами своего исключительного положения. Вот в этот критический момент Марья Степановна и решилась обойтись совсем без Хины и повести дело вполне самостоятельно. Теперь она была наверху блаженства, потому что, очевидно, Привалов с особенным удовольствием проводил у них вечера и заметно искал случая поговорить с Надеждой Васильевной; Марья Степановна каждый раз замечала, что присутствие дочери оживляло Привалова и он украдкой часто посматривал на нее.

— Устрой, господи, все на пользу! — шептала иногда Павла Ивановна, когда оставалась одна с Марьей Степановной.

— Мудрено что-то, — вздыхала Марья Степановна. — Не пойму я этого Сережу... Нету в нем чего-то, характеру недостает: собирается-собирается куда-нибудь, а глядишь — попал в другое место. Теперь вот тоже относительно Нади: как будто она ему нравится, и как будто он ее даже боится... Легкое ли место — такому мужчине какой-нибудь девчонки бояться! И она тоже мудрит над ним... Я уж вижу ее насквозь: вся в родимого батюшку пошла, слова спросту не молвит.

— Девичье дело, Марья Степановна... Нынче образованные да бойкие девицы пошли, не как в наше время. Ну, у них уж все по-своему и выходит.

— Выходит, да не больно... В наше время жених-то приехал в дом, поглядел невесту издальки, а потом тебе и свадьба. А нынче: тянут-тянут, ходят-ходят, говорят-говорят по-умному-то, а глядишь — дело и рассохлось, да и время напрасно пропало.

После одного очень скучного преферанса, когда Марья Степановна вышла из комнаты, чтобы отдать Досифее какое-то распоряжение по хозяйству, Надежда Васильевна пытливо и внимательно посмотрела на Привалова и потом спросила:

— Неужели вам нравится играть в карты?

— Да.

— Не может быть. Вы просто хотите угодить маме и, вероятно, скучаете страшно.

— Наоборот: я так люблю эту мирную обстановку в вашем доме и ничего не желал бы лучшего.

Девушка с недоверием посмотрела на Привалова и ничего не ответила. Но в другой раз, когда они остались вдвоем, она серьезно спросила:

— В прошлый раз вы сказали, что вам очень нравится наша мирная обстановка, — это серьезно было сказано?

— Совершенно серьезно.

— А вы не чувствуете никаких диссонансов, какими пропитана эта мирная обстановка?

— Я хорошенько не понимаю, что вы хотите этим сказать...

Надежда Васильевна на минуту задумалась и, повидимому, колебалась высказать свою мысль, но, взглянув Привалову в глаза, она тихо проговорила:

— Да везде эти диссонансы, Сергей Александрыч, и вы, кажется, уже испытали на себе их действие. Но у отца это прорывается минутами, а потом он сам раскаивается в своей горячности и только из гордости не хочет открыто сознаться в сделанной несправедливости. Взять хоть эту историю с Костей. Вы знаете, из-за чего они разошлись?

— Да, кажется, из-за того же, из-за чего произошла и наша размолвка, то есть из-за приисков.

— С той разницей, что вы и Костя совершенно иначе высказались по поводу приисков: вы не хотите быть золотопромышленником потому, что считаете такую деятельность совершенно непроизводительной; Костя, наоборот, считает золотопромышленность вполне производительным трудом и разошелся с отцом только по вопросу о приисковых рабочих... Он рассказывает ужасные вещи про положение этих рабочих на золотых промыслах и прямо сравнил их с каторгой, когда отец настаивал, чтобы он ехал с ним на прииски.

— Но ведь положение приисковых рабочих можно улучшить — это зависит уже от самих золотопромышленников.

— В том-то и дело, что Костя доказывает совершенно противное, то есть что если обставить приисковых рабочих настоящим образом, тогда лучшие прииски будут давать предпринимателям одни убытки. Они поспорили горячо, и Костя высказался очень резко относительно происхождения громадных богатств, нажитых золотом. Тут досталось и вашим предкам отчасти, а отец принял все на свой счет и ужасно рассердился на Костю.

— А по-вашему, Надежда Васильевна, прав Костя или нет?

— И прав и нет. Прав в том отношении, что действительно наше, например, богатство создано пòтом и кровью добровольных каторжников. Это с одной стороны, а с другой — Костя, по-моему, не прав... Именно, он забывает то, что отец вырос и состарился в известных взглядах, отнестись к которым критически он решительно не в состоянии. Затем, специально для отца золотопромышленность освящена гуляевскими и приваловскими преданиями, и, наконец, сам он фанатик своего дела, на которое смотрит как на священнодействие, а не как на источник личного обогащения. Вот вам первый диссонанс нашей мирной обстановки, — закончила Надежда Васильевна свою речь с немного грустной улыбкой. — Мы живем паразитами, и от нашего богатства пахнет кровью тысяч бедняков... Согласитесь, что одно сознание такой истины в состоянии отравить жизнь.

— Вы замечательно смело рассуждаете... — задумчиво проговорил Привалов. — И знаете, я тысячу раз думал то же, только относительно своего наследства... Вас мучит одна золотопромышленность, а на моей совести, кроме денег, добытых золотопромышленностью, большою тяжестью лежат еще заводы, которые основаны на отнятых у башкир землях и созданы трудом приписных к заводам крестьян.

— Да... Но у вас есть выход: вы можете выплатить свой долг в той или другой форме. А вот другое дело,

когда мы будем рассматривать нашу частную жизнь, наше миросозерцание, наши нравственные понятия, стремления и желания... Вот я именно поэтому и заговорила с вами о диссонансах. Возьмите, например, хоть наше раскольничество: что осталось от того, за что люди умирали сотнями, выносили пытки, изгнание и скитались по лесам, как звери?.. Решительно ничего, кроме мертвой формы и кой-каких обрядов. И этим буквоедством пропитана вся жизнь! Вы посмотрите, как мы относимся к другим! Сколько самой грубой фальши!.. А самое скверное то, что мы этой фальшью покупаем себе полное спокойствие совести.

Надежда Васильевна очень горячо развила свою основную мысль о диссонансах, и Привалов с удивлением смотрел на нее все время: лицо ее было залито румянцем, глаза блестели, слова вырывались неудержимым потоком.

— Скажите, пожалуйста, Надежда Васильевна, только одно, — спрашивал Привалов, — когда и как вы успели передумать столько?

— Вы хотите сказать: кто меня научил всему этому? О, это очень длинная история... Отчасти виноват Костя, потом доктор Сараев, у которого я училась вместе с Зосей Ляховской; наконец, приходилось читать кое-что...

Привалов видел, что девушке что-то хотелось ему досказать, но она удержалась.

Несколько таких разговоров быстро сблизили Привалова и Надежду Васильевну; между ними выросла та невидимая связь, которая не высказывалась словами, а только чувствовалась. Привалов увидел девушку совершенно в новом для него свете: она тяготилась богатой обстановкой, в которой приходилось жить, всякой фальшивой нотой, которых так много звучало в жизни бахаревского дома, наконец своей бездеятельной, бесполезной и бесцельной ролью богатой невесты. Часто они с радостью открывали, что думали об одних и тех же вопросах, мучились теми же сомнениями и нередко приходили к одним результатам. Для Привалова не оставалось никакого сомнения, что Надежда Васильевна живет в отцовском доме только внешним образом,

а ее душа принадлежит другому миру и другим людям. Иногда девушка выражалась слишком резко о самых близких людях, и Привалов не мог не чувствовать, что она находится под чьим-то исключительным, очень сильным влиянием и многого не досказывает.

В свою очередь Привалов очень подробно рассказывал о своих планах на будущее. На Шатровские заводы он смотрел как на свой исторический долг, который обязан выплатить сорокатысячному заводскому населению и башкирам. В какой форме он это сделает, — пока для него еще не ясно, и придется действовать сообразно указаниям опыта. Только в этих видах он и хлопочет о своем наследстве, от которого даже не вправе отказаться. Но прежде чем можно будет приступить к выполнению этих планов, необходимо очистить заводы от государственного долга, что займет, может быть, период времени лет в десять.

— Относительно опеки и государственного долга Костя будет с вами совершенно согласен, — говорила Надежда Васильевна, — но относительно ваших планов погашения исторического долга вы встретите в нем мало сочувствия.

— Почему вы так думаете?

— Да по всему: у вас просто сердце не лежит к заводскому делу, а Костя в этом отношении фанатик. Он решительно и знать ничего не хочет, кроме заводского дела.

Привалов подробно объяснил, что промышленность в Европе и у нас пользуется совсем незаслуженным покровительством государства и даже науки и всем своим гнетом ложится на основной источник народного благосостояния — на земледелие. Эта истина особенно справедлива для России, которая надолго еще останется земледельческой страной по преимуществу. С этой точки зрения русские горные заводы, выстроенные на даровой земле крепостным трудом, в настоящее время являются просто язвой в экономической жизни государства, потому что могут существовать только благодаря высоким тарифам, гарантиям, субсидиям и всяким дру-

гим льготам, которые приносят громадный вред народу и обогащают одних заводчиков.

— Теперь я понимаю, — говорила Надежда Васильевна. — Мне кажется, что папа просто не понял вас тогда и согласится с вами, когда хладнокровно обсудит все дело.

— Нет, я на это не надеюсь, Надежда Васильевна.

— Почему так?

— Да так... Существует что-то вроде фатализма: люди, близкие друг другу по духу, по складу ума, по стремлениям и даже по содержанию основных идей, расходятся иногда на всю жизнь из-за каких-нибудь глупейших пустяков, пустой фразы, даже из-за одного непонятого слова.

— Значит, вы не верите в возможность разумно устранить такие пустяки, которые стоит только выяснить?

— Как вам сказать: и верю и не верю... Пустяки в нашей жизни играют слишком большую роль, и против них иногда мы решительно бессильны. Они опутывают нас по рукам и по ногам, приносят массу самых тяжелых огорчений и служат неиссякаемым источником других пустяков и мелочей. Вы сравните: самый страшный враг — тот, который подавляет нас не единичной силой, а количеством. В тайге охотник бьет медведей десятками, — и часто делается жертвой комаров. Я не отстаиваю моей мысли, я только высказываю мое личное мнение.

Девушка задумалась. Она сама много раз думала о том, что сейчас высказал Привалов, и в ее молодой душе проснулся какой-то смутный страх перед необъятностью житейских пустяков.

— Действительно, эти мелочи просто заедают нас, — согласилась она. — Но ведь есть же средства против них?

— И есть и нет, глядя по человеку.

У Бахаревых Привалов познакомился с доктором Сараевым, который по вечерам иногда заезжал навестить Василия Назарыча. Это был плотный господин лет под пятьдесят, широкий в плечах, с короткой шеей и сильной проседью в гладко зачесанных темных

волосах и такой же бородке. Для своих лет доктор сохранился очень хорошо, и только лицо было совершенно матовое, как у всех очень нервных людей; маленькие черные глаза смотрели из-под густых бровей пытливо и задумчиво. Ходил доктор торопливой, неслышной походкой, жал крепко руку, когда здоровался, и улыбался одинаково всем стереотипной докторской улыбкой, которую никто не разберет.

— Мой учитель и друг, — рекомендовала Надежда Васильевна доктора Привалову. — Борис Григорьич помнит вас, когда вы были еще гимназистом.

— Я тоже не забыл вас, Борис Григорьич, — отвечал Привалов, — и сейчас бы узнал, если бы встретил вас.

— А я так не скажу этого, — заговорил доктор мягким грудным голосом, пытливо рассматривая Привалова. — И немудрено: вы из мальчика превратились в взрослого, а я только поседел. Кажется, давно ли все это было, когда вы с Константином Васильичем были детьми, а Надежда Васильевна крошечной девочкой, — между тем пробежало целых пятнадцать лет, и нам, старикам, остается только уступить свое место молодому поколению.

— Вы, доктор, сегодня, кажется, не в духе? — с улыбкой спрашивала Надежда Васильевна.

— Нет, я только констатирую факт; это одна из тех старых историй, которые останутся вечно новыми.

Привалов с особенным вниманием слушал доктора. Он хотел видеть в нем того учителя, под влиянием которого развилась Надежда Васильевна, но, к своему сожалению, он не нашел того, чего искал.

— Как вы нашли доктора? — спрашивала Надежда Васильевна, когда доктор уехал. — Он произвел на вас неприятное впечатление своей вежливостью и улыбками? Уж это его неисправимый недостаток, а во всем остальном это замечательный, единственный человек. Вы полюбите его всей душой, когда узнаете поближе. Я не хочу захваливать его вперед, чтобы не испортить вашего впечатления...

X

Как Привалов ни откладывал своего визита к Ляховскому, ехать было все-таки нужно, и в одно прекрасное утро он отправился к Половодову, чтобы вместе с ним ехать к Ляховскому. Половодова не было дома, и Привалов хотел вернуться домой с спокойной совестью, что на этот раз уж не он виноват.

— Сергей Александрыч, куда же вы так бежите? — окликнул его голос Антониды Ивановны. — Александр Павлыч сейчас должен вернуться.

Антонида Ивановна стояла в дверях гостиной в голубом пенюаре со множеством прошивок, кружев и бантиков. Длинные русые волосы были ловко собраны в домашнюю прическу; на шее блестела аметистовая нитка. Антонида Ивановна улыбалась и слегка щурила глаза, как это делают театральные ingénues.

— Вы, вероятно, испугались перспективы провести со мной скучных полчаса? Теперь вы искупите свою вину и неделикатность тем, что проскучаете со мной целый час... Да, да, Александр просил сейчас же известить его, как вы приедете, — он теперь в своем банке, — а я нарочно пошлю за ним через час. Что, испугались?

Антонида Ивановна весело засмеялась и провела Привалова в маленькую голубую гостиную в неизменном русском вкусе. Когда проходили по залу, Привалов заметил открытое фортепьяно и спросил:

— Я, кажется, помешал вам, Антонида Ивановна?

— Нет, это пустяки. Я совсем не умею играть... Вот садитесь сюда, — указала она кресло рядом с своим. — Рассказывайте, как проводите время. Ах, да, я третьего дня, кажется, встретила вас на улице, а вы сделали вид, что не узнали меня и даже отвернулись в другую сторону. Если вы будете оправдываться близорукостью, это будет грешно с вашей стороны.

— Помилуйте, Антонида Ивановна, — мог только проговорить Привалов, пораженный необыкновенной любезностью хозяйки. — Я хорошо помню улицу, по которой действительно проходил третьего дня, но вашего экипажа я не заметил. Вы ошиблись.

— Нет, не ошиблась.

— По крайней мере назовите мне улицу, на которой вы меня встретили.

— Ах, какой хитрый... — кокетливо проговорила Половодова, хлопая по ручке кресла. — Вы хотите поймать меня и обличить в выдумке? Нет, успокойтесь: я встретила вас в конце Нагорной улицы, когда вы подходили к дому Бахаревых. Я, конечно, понимаю, что ваша голова была слишком занята, чтобы смотреть по сторонам.

— Именно?

— Нет, это я так болтаю, Сергей Александрыч. Третьего дня у меня болели зубы, и я совсем не выходила из дому.

В этой болтовне незаметно пролетел целый час. Привалов заразился веселым настроением хозяйки и смеялся над теми милыми пустяками, которые говорят в таких хорошеньких гостиных. Антонида Ивановна принесла альбом, чтобы показать карточку Зоси Ляховской. В момент рассматривания альбома, когда Привалов напрасно старался придумать что-нибудь непременно остроумное относительно карточки Зоси Ляховской, в гостиной послышались громкие шаги Половодова, и Антонида Ивановна немного отодвинулась от своего гостя.

— Это мой узник, — объяснила Антонида Ивановна мужу, показывая глазами на Привалова. — Представь себе, когда Сергей Александрыч узнал, что тебя нет дома, он хотел сейчас же незаметным образом скрыться. В наказание я заставила его проскучать целый час в моем обществе...

— Ваше положение действительно было критическое, — весело говорил Половодов, целуя жену в лоб. — Я не желал бы быть на вашем месте.

— Нет, я с большим удовольствием провел время, — уверял Привалов.

— Чтобы хоть чем-нибудь утешить Сергея Александрыча, я показала ему карточку mademoiselle Ляховской, — объясняла Антонида Ивановна, блестя глазами.

— И отлично, — соглашался Половодов. — Теперь нам остается только перейти, то есть, вернее сказать,

переехать от фотографии к оригиналу. Тонечка, ты извини нас с Сергеем Александрычем: мы сейчас отправляемся к Ляховскому.

— Знаю, знаю...

— А ведь я думал, что вы уже были у Ляховского, — говорил Половодов на дороге к передней. — Помилуйте, сколько времени прошло, а вы все не едете. Хотел сегодня сам ехать к вам.

— Ах, какой ты, Александр, недогадливый, — лукаво говорила Антонида Ивановна, — Сергей Александрыч был занят все время...

Половодов прикинулся, что не понимает намека, а Привалов испытывал какое-то глупо-приятное чувство. На пороге Половодов еще раз поцеловал жену, и эта картина семейного счастья могла тронуть даже каменное сердце. Никто бы, конечно, не подумал, что такой поцелуй являлся только одной нотой в той пьесе, которая разыгрывалась счастливыми супругами. Нужно заметить, что пьеса не была каким-нибудь грубым заговором, а просто после известной уже читателям утренней сцены между супругами последовало молчаливое соглашение. И, странная вещь, после своего визита к maman, которая, конечно, с истинно светским тактом открыла глаза недоумевавшей дочери, Антонида Ивановна как будто почувствовала большее уважение к мужу, потому что и в ее жизни явился хоть какой-нибудь интерес.

XI

Приваловский дом стоял на противоположном конце той же Нагорной улицы, на которой был и дом Бахарева. Он занимал собой вершину горы и представлялся издали чем-то вроде старинного кремля. Несколько громадных белых зданий с колоннами, бельведерами, балконами и какими-то странной формы куполами выходили главным фасадом на небольшую площадь, а великолепными воротами, в форме триумфальной арки, на Нагорную улицу. Непосредственно за главным зданием, спускаясь по Нагорной улице, тянулся целый ряд каменных пристроек, тоже украшенных

колоннами, лепными карнизами и арабесками. Сквозные железные ворота открывали вид на широкий двор, со всех сторон окруженный каменными службами, конюшнями, великолепной оранжереей. Это был целый за̀мок в помещичьем вкусе; позади зеленел старинный сад, занимавший своими аллеями весь спуск горы. Привалова поразила та же печальная картина запустения и разрушения, какая постигла хоромины Полуяновых, Колпаковых и Размахниных. Дом представлял из себя великолепную развалину: карнизы обвалились, крыша проржавела и отстала во многих местах от стропил целыми полосами; массивные колонны давно облупились, и сквозь отставшую штукатурку выглядывали обсыпавшиеся кирпичи; половина дома стояла незанятой и печально смотрела своими почерневшими окнами без рам и стекол. Видно было, что крыша в некоторых местах была покрыта свежей краской и стены недавно выбелены. Единственным живым местом во всем доме была та половина, которую занимал Ляховский, да еще большой флигель, где помещалась контора; оранжерея и службы были давно обращены в склады водки и спирта. У Привалова сердце сжалось при виде этой развалины: ему опять страшно захотелось вернуться обратно в свои три комнатки, чтобы не видеть этой картины разрушения. Когда коляска Половодова с легким треском подкатила к шикарному подъезду, массивная дубовая дверь распахнулась, и на пороге показалась усатая улыбающаяся физиономия швейцара Пальки.

— Игнатий Львович дома? — спрашивал Половодов, взбегая на лестницу по ступенькам в темную переднюю.

— Дома, — почтительно вытянувшись, докладывал Палька. Это был целый гайдук в три аршина ростом, с упитанной физиономией, во вкусе старинного польского холопства.

Передняя походила на министерскую приемную: мозаичный мраморный пол, покрытый мягким ковром; стены, отделанные под дуб; потолок, покрытый сплошным слоем сквозных арабесок, и самая роскошная лестница с мраморными белыми ступенями и массивными

бронзовыми перилами. По бокам лестницы тянулась живая стена из экзотических растений, а внизу, на мраморных пьедесталах, покоились бронзовые тритоны с поднятыми кверху хвостами, поддерживая малюток-амуров, поднимавших кверху своими пухлыми ручонками тяжелые лампы с матовыми шарами.

— У них Альфонс Богданыч,— предупредил Палька, помогая Половодову и Привалову освободиться от верхних пальто.

— Ничего... Альфонс Богданыч — главный управляющий Ляховского, — объяснил Половодов Привалову, когда они поднимались по лестнице.

Привалов издали еще услышал какой-то странный крик, будто где-нибудь ссорились бабы; крикливые, высокие ноты так и лезли в ухо. Заметив вопросительный взгляд Привалова, Половодов с спокойной улыбкой проговорил:

— Самая обыкновенная история: Игнатий Львович ссорится со своим управляющим... Ха-ха!.. Это у них так, между прочим; в действительности они жить один без другого не могут.

Когда они поднялись на вторую площадку лестницы, Половодов повернул к двери, которая вела в кабинет хозяина. Из-за этой двери и неслись крики, как теперь явственно слышал Привалов.

— Пожалуйте, Сергей Александрыч, — проговорил Половодов, распахнув дверь в кабинет.

Ляховский сидел в старом кожаном кресле, спиной к дверям, но это не мешало ему видеть всякого входившего в кабинет — стоило поднять глаза к зеркалу, которое висело против него на стене. Из всей обстановки кабинета Ляховского только это зеркало несколько напоминало об удобствах и известной привычке к роскоши; все остальное отличалось большой скромностью, даже некоторым убожеством: стены были покрыты полинялыми обоями, вероятно, синего цвета; потолок из белого превратился давно в грязно-серый и был заткан по углам паутиной; паркетный пол давно вытерся и был покрыт донельзя измызганным ковром, потерявшим все краски и представлявшимся издали большим грязным пятном. Несколько старых стульев, два небольших столика по

углам и низкий клеенчатый диван направо от письменного стола составляли всю меблировку кабинета. Письменный стол был завален деловыми бумагами и расчетными книгами всевозможных форматов и цветов; ими очень искусно было прикрыто оборванное сукно и облупившаяся ореховая оклейка стола.

Наружность Ляховского соответствовала обстановке кабинета. Его небольшая тощая фигурка представлялась издали таким же грязным пятном, как валявшийся под его ногами ковер, с той разницей, что второе пятно помещалось в ободранном кресле. Несмотря на то, что на дворе стояло лето, почерневшие и запыленные зимние рамы не были выставлены из окон, и сам хозяин сидел в старом ваточном пальто. Его длинная вытянутая шея была обмотана шарфом. По наружному виду едва ли можно было определить сразу, сколько лет было Ляховскому, — он принадлежал к разряду тех одеревеневших и высохших, как старая зубочистка, людей, о которых вернее сказать, что они совсем не имеют определенного возраста; всесокрушающее колесо времени катится, точно минуя их. Такие засохшие люди сохраняются в одном положении десятки лет, как те старые, гнилые пни, которые держатся одной корой и готовы рассыпаться в пыль при малейшем прикосновении. Большая голова Ляховского представляла череп, обтянутый высохшей желтой кожей, которая около глаз складывалась в сотни мелких и глубоких морщин. При каждой улыбке эти морщины лучами разбегались по всему лицу. Ляховский носил длинные усы и маленькую мушку под нижней губой; черные волосы с сильной проседью образовали на голове забавный кок. Синие очки не оставляли горбатого носа, но он редко смотрел в них, а обыкновенно поверх их, так что издали трудно было угадать, куда он смотрит в данную минуту. В высохшем помертвелом лице Ляховского оставались живыми только одни глаза, темные и блестящие: они еще свидетельствовали о том запасе жизненных сил, который каким-то чудом сохранился в его высохшей фигуре. Альфонс Богданыч представлял полную противоположность рядом с Ляховским: толстый, с толстой головой, с толстой шеей, толстыми красными пальцами, — он

походил на обрубок; маленькие свиные глазки юлили беспокойным взглядом около толстого носа.

— Вы хотите меня по миру пустить на старости лет? — выкрикивал Ляховский бабьим голосом. — Нет, нет, нет... Я не позволю водить себя за нос, как старого дурака.

— Успокойтесь, Игнатий Львович, — спокойно ответил Альфонс Богданыч, медленным движением откладывая на счетах несколько костяшек.

— Альфонс Богданыч, Альфонс Богданыч... вы надеваете мне петлю на шею и советуете успокоиться! Да... петлю, петлю!.. А Привалов здесь, в Узле, вы это хорошо знаете, — не сегодня-завтра он явится и потребует отчета. Вы останетесь в стороне...

— Не то что явится, а уж явился, Игнатий Львович, — громко проговорил Половодов. — Имею честь рекомендовать: Сергей Александрыч Привалов, Игнатий Львович Ляховский...

— Ах, виноват... извините... — заметался Ляховский в своем кресле, протягивая Привалову свою сухую, как щепка, руку. — Я так рад вас видеть, познакомиться... Хотел сам ехать к вам, да разве я могу располагать своим временем: я раб этих проклятых дел, работаю как каторжник.

Привалов пробормотал что-то в ответ, а сам с удивлением рассматривал мизерную фигурку знаменитого узловского магната. Тот Ляховский, которого представлял себе Привалов, куда-то исчез, а настоящий Ляховский превосходил все, что можно было ожидать, принимая во внимание все рассказы о необыкновенной скупости Ляховского и его странностях. Есть люди, один вид которых разбивает вдребезги заочно составленное о них мнение, — Ляховский принадлежал к этому разряду людей, и не в свою пользу.

— Вы приехали как нельзя более кстати, — продолжал Ляховский, мотая головой, как фарфоровый китаец. — Вы, конечно, уже слышали, какой переполох устроил этот мальчик, ваш брат... Да, да. Я удивляюсь. Профессор Тидеман — такой прекрасный человек... Я имею о нем самые отличные рекомендации. Мы как раз кончили с Альфонсом Богданычем кой-какие счеты и

теперь можем приступить прямо к делу... Вот и Александр Павлыч здесь. Я, право, так рад, так рад вас видеть у себя, Сергей Александрыч... Мы сейчас же и займемся!..

«Ну, этот без всяких предисловий берется за дело», — с улыбкой подумал Привалов, усаживаясь на место Альфонса Богданыча, который незаметно успел выйти из комнаты.

Половодов скрепя сердце тоже присел к столу и далеко вытянул свои поджарые ноги; он смотрел на Ляховского и Привалова таким взглядом, как будто хотел сказать: «Ну, друзья, что-то вы теперь будете делать... Посмотрим!» Ляховский в это время успел вытащить целую кипу бумаг и бухгалтерских книг, сдвинул свои очки совсем на лоб и проговорил деловым тоном:

— Вы, господа, кажется, курите? Ведь вот были где-то у меня отличные сигары...

Он быстро нырнул под свой стол, вытащил оттуда пустой ящик из-под сигар, щелкнул по его дну пальцем и с улыбкой доктора, у которого только что умер пациент, произнес:

— Вот здесь была целая сотня... Отличные сигары от Фейка. Это Веревкин выкурил!.. Да, он по две сигары выкуривает зараз, — проговорил Ляховский и, повернув коробку вверх дном, печально прибавил: — Теперь ни одной не осталось...

— Не беспокойтесь, Игнатий Львович, — успокаивал Половодов, улыбаясь глазами. — Я захватил с собой...

— У меня тоже есть, — заметил Привалов; выходки Ляховского начинали его забавлять.

— Вот и отлично, — обрадовался Ляховский. — Я очень люблю дым хороших сигар... У вас, Александр Павлыч, наверно, регалии... Да? Очень хорошо... Веревкин очень много курит сигар.

После этого эпизода Ляховский с азартом накинулся на разложенные бумаги. Нужно сознаться, что он знал все дело, как свои пять пальцев, и артистически набросал картину настоящего положения дел по опеке. Как искусный дипломат, он начал с самых слабых мест и сейчас же затушевал их целым лесом цифровых

данных; были тут целые столбцы цифр, средние выводы за трехлетия и пятилетия, сравнительные итоги приходов и расходов, цифровые аналогии, сметы, соображения, проекты; цифры так и сыпались, точно Ляховский задался специальной целью наполнить ими всю комнату. Привалов с напряженным вниманием следил за этим цифровым фейерверком, пока у него совсем не закружилась голова, и он готов был сознаться, что начинает теряться в этом лесе цифр. Чтобы перевести дух, он спросил Ляховского:

— Александр Павлыч мне говорил, что у вас есть черновая последнего отчета по опеке... Позвольте мне взглянуть на нее.

— Да, да... Есть; как же, есть. С большим удовольствием...

Ляховский мягкими шажками подбежал к окну, порылся в нескольких картонках и, взглянув в окно, оставил бумаги.

— Извините, я оставлю вас на одну минуту,— проговорил он и сейчас же исчез из кабинета; в полуотворенную дверь донеслось только, как он быстро скатился вниз по лестнице и обругал по дороге дремавшего Пальку.

— Посмотрите, Сергей Александрыч... Ха-ха!.. — заливался Половодов, подводя Привалова к окну. — Удивительный человек этот Игнатий Львович.

Половодов открыл форточку, и со двора донеслись те же крикливые звуки, как давеча. В окно Привалов видел, как Ляховский с петушиным задором наскакивал на массивную фигуру кучера Ильи, который стоял перед барином без шапки. На земле валялась совсем новенькая метла, которую Ляховский толкал несколько раз ногой.

— Вы все сговорились пустить меня по миру! — неестественно тонким голосом выкрикивал Ляховский. — Ведь у тебя третьего дня была новая метла! Я своими глазами видел... Была, была, была, была!..

— Она и теперь в конюшне стоит, — флегматически отвечал Илья, трогая одной рукой то место, где у других людей бывает шея, а у него из-под ворота ситцевой рубашки выползала широкая жирная складка кожи, как у бегемота. — Мне на што ее, вашу метлу.

— Да, да... Сегодня метла, завтра метла, после-

завтра метла. Господи! да вы с меня последнюю рубашку снимете. Что ты думаешь: у меня золотые горы для вас... а?.. Горы?.. С каким ты мешком давеча шел по двору?

— Известно с каким: мешок обыкновенный, с овсом...

— Хорошо, я сам знаю, что не с водой, да овес-то, овес-то куда ты нес... а?.. Ведь овес денег стоит, а ты его воруешь... а?..

— Ничего не ворую... вот сейчас провалиться, Игнатий Львович. Барышня приказали Тэку покормить, ну я и снес. Нет, это вы напрасно: воровать овес нехорошо... Сейчас провалиться... А ежели барышня...

— Барышня?!. Знаю я вас, молодцов... Вот я спрошу у барышни.

Ляховский кричал еще несколько минут, велел при себе убрать новую метлу в завозню и вернулся в кабинет с крупными каплями холодного пота на лбу.

— Разоряют... грабят... — глухим голосом простонал он, бессильно падая в кресло и закрывая глаза.

— Мне кажется, что вы уж очень близко принимаете к сердцу разные пустяки, — заметил Половодов, раскуривая сигару.

— Пустяки?!. это пустяки?!. — возопил Ляховский, вскакивая с места с такой стремительностью, точно что его подбросило. — В таком случае что, по-вашему, не пустяки... а? Третьего дня взял новую метлу, а сегодня опять новая.

— Да ведь метла, Игнатий Львович, стоит у нас копейку.

— Ах, молодые люди, молодые люди... Да разве мне дорога самая метла? Меня возмущает отношение, — понимаете, отношение моих служащих к моим деньгам. Да... Ведь я давно был бы нищим, если бы смотрел на свои деньги их глазами. Последовательность нужна... да, последовательность! Особенно в мелочах, из которых складывается вся жизнь. Сергей Александрович, обратите внимание: сегодня я спущу Илье, а завтра будут делать то же другие кучера, — все и потащат, кто и что успеет схватить. Метод, идея дòроги: кто не умеет сберечь гроша, тот не сбережет миллиона... Да-с. Осо-

бенно это важно для меня: у меня столько дел, столько служащих, прислуги... да они по зернышку разнесут все, что я наживал годами.

— Извините меня, Сергей Александрыч, — прибавил Ляховский после короткой паузы. — Мы сейчас опять за дело...

— Может быть, вы устали, Игнатий Львович, — проговорил Привалов, — тогда мы в другой раз...

— Ах нет, зачем же. Во всяком деле важен прежде всего метод, последовательность...

Чтение черновой отчета заняло больше часа времени. Привалов проверил несколько цифр в книгах, — все было верно из копейки в копейку; оставалось только заняться бухгалтерскими книгами. Ляховский развернул их и приготовился опять унестись в область бесконечных цифр.

— Нет, уж меня увольте, господа, — взмолился Половодов, поднимаясь с места. — Слуга покорный... Да это можно с ума сойти! Сергей Александрыч, пощадите свою голову!

— Мне все равно, — соглашался Привалов. — Как Игнатий Львович.

— Ну и сидите с Игнатьем Львовичем, — проговорил Половодов. — Я не могу вам принести какой-нибудь пользы здесь, поэтому позвольте мне удалиться на некоторое время...

— Куда же вы, Александр Павлыч? — спрашивал Ляховский с недовольным лицом. — Я просто не понимаю...

— Чего ж тут не понимать, Игнатий Львович? Дело, кажется, очень просто: вы тут позайметесь, а я тем временем передохну немножко... Схожу засвидетельствовать мое почтение Софье Игнатьевне.

Ляховский безнадежно махнул рукой на выходившего из комнаты Половодова и зорко поглядел в свои очки на сидевшего в кресле Привалова, который спокойно ждал продолжения прерванных занятий. Привалову больше не казались странными ни кабинет Ляховского, ни сам он, ни его смешные выходки, — он как-то сразу освоился со всем этим. Из предыдущих занятий он вынес самое смутное представление о действительном

положении дел, да и трудно было разобраться в этой массе материала. Нужно было по крайней мере месяц поработать над этими счетами и бухгалтерскими книгами, чтобы овладеть самой сутью дела. Теперь задачей Привалова было ознакомиться хорошенько с приемами Ляховского и его пресловутой последовательностью. Василий Назарыч указал Привалову на слабые места опеки, но теперь рано было останавливаться на них: Ляховский, конечно, сразу понял бы, откуда дует ветер, и переменил бы тактику, а теперь ему поневоле приходилось высказываться в том или другом смысле. За Приваловым оставалось в этой игре то преимущество, что для Ляховского он являлся все-таки неизвестной величиной.

— Вот уж поистине — связался черт с младенцем,— ворчал Половодов, шагая по какому-то длинному коридору развязной походкой своего человека в доме. — Воображаю, сколько поймет Привалов из этих книг... Ха!..

По дороге Половодов встретил смазливую горничную в белом фартуке с кружевами; она бойко летела с серебряным подносом, на котором стояли пустые чашки из-под кофе.

— Кто у барышни? — спросил Половодов, загораживая дорогу и стараясь ухватить двумя пальцами горничную за подбородок с ямочкой посредине.

— Ах, отстаньте... — кокетливо прошептала девушка, защищаясь от барской ласки своим подносом. — Виктор Васильич, Лепешкин, наш барин...

— Понимаю, бесенок.

Потрепав горничную по розовой щеке, Половодов пошел дальше еще в лучшем настроении: каждое смазливое личико заставляло его приятно волноваться.

XII

Занятия в кабинете Ляховского продолжались недолго, потому что хозяин скоро почувствовал себя немного дурно и даже отворил форточку.

— Мы отложим занятия до следующего раза, Игнатий Львович, — говорил Привалов.

— Ах нет, зачем же... Мы еще успеем и сегодня сделать кое-что, — упрямился Ляховский и с живостью прибавил: — Мы вместо отдыха устроим небольшую прогулку, Сергей Александрыч... Да? Ведь нужно же вам посмотреть ваш дом, — вот мы и пройдемся.

— Я боюсь, что такая прогулка еще сильнее утомит вас.

— О, нисколько, напротив, я освежусь.

Привалов покорно последовал за хозяином, который своими бойкими маленькими ножками вывел его сначала на площадку лестницы, а отсюда провел в парадный громадный зал, устроенный в два света. Восемь массивных колонн из серого мрамора с бронзовыми базами и капителями поддерживали большие хоры, где могло поместиться человек пятьдесят музыкантов. Потолок, поднятый в интересах резонанса продолговатым овалом, был покрыт полинявшими амурами и широкими гирляндами самых пестрых цветов. Старинная бронзовая люстра спускалась с потолка массивным серым коконом. Стены, выкрашенные по трафарету, растрескались, и в нескольких местах от самого потолка шли ржавые полосы, которые оставляла просачивавшаяся сквозь потолок вода. Позолота на капителях и базах, на карнизах и арабесках частью поблекла, частью совсем слиняла; паркетный пол во многих местах покоробило от сырости, точно он вспух; громадные окна скупо пропускали свет из-за своих потемневших штофных драпировок. Затхлый, гниющий воздух, кажется, составлял неотъемлемую принадлежность этого медленно разлагавшегося великолепия.

— Этот зал стоит совершенно пустой, — объяснял Ляховский, — да и что с ним делать в уездном городишке. Но сохранять его в настоящем виде — это очень и очень дорого стоит. Я могу вам представить несколько цифр. Не желаете? В другой раз когда-нибудь.

— Да, думаю, что лучше в другой раз.

Ляховский показал еще несколько комнат, которые находились в таком же картинном запустении, как и главный зал. Везде стояла старинная мебель красного дерева с бронзовыми инкрустациями, дорогие вазы из сибирской яшмы, мрамора, малахита, плохие картины

в тяжелых золоченых рамах, словом, на каждом шагу можно было чувствовать подавляющее влияние самой безумной роскоши. Привалов испытывал вдвойне неприятное и тяжелое чувство: раз — за тех людей, которые из кожи лезли, чтобы нагромоздить это ни к чему не пригодное и жалкое по своему безвкусию подобие дворца, а затем его давила мысль, что именно он является наследником этой ни к чему не годной ветоши. В его душе пробуждалось смутное сожаление к тем близким ему по крови людям, которые погибли под непосильным бременем этой безумной роскоши. Ведь среди них встречались недюжинные натуры, светлые головы, железная энергия — и куда все это пошло? Чтобы нагромоздить этот хлам в нескольких комнатах... Привалов напрасно искал глазами хотя одного живого места, где можно было бы отдохнуть от всей этой колоссальной расписанной и раззолоченной бессмыслицы, которая разлагалась под давлением собственной тяжести, — напрасные усилия. В этих роскошных палатах не было такого угла, в котором притаилось бы хоть одно теплое детское воспоминание, на какое имеет право последний нищий... Каждый предмет в этих комнатах напоминал Привалову о тех ужасах, какие в них творились. Тени знаменитого Сашки, Стеши, наконец отца — вот что напоминала эта обстановка, на оборотной стороне которой рядом помещались знаменитая приваловская конюшня и раскольничья моленная.

— Эти комнаты открываются раз или два в год, — объяснял Ляховский. — Приходится давать иногда в них бал... Не поверите, одних свеч выходит больше, чем на сто рублей!

— Теперь нам остается только подняться в бельведер, — предлагал Ляховский, бойко для своих лет взбегая по гнилой, шатавшейся лестнице в третий этаж.

Привалов свободно вздохнул, когда они вышли на широкий балкон, с которого открывался отличный вид на весь Узел, на окрестности и на линию Уральских гор, тяжелыми силуэтами тянувшихся от севера на юг. Правда, горы в этом месте не были высоки и образо-

вали небольшой угол, по которому бойко катилась горная речка Узловка. Она получила свое название от крутого колена, которое делала сейчас по своем выходе из гор и которое русский человек окрестил «узлом». Город получил свое название от реки, по берегам которой вытянул в правильные широкие улицы тысячи своих домов и домиков.

Вообще вид на город был очень хорош и приятно для глаз пестрел своими садами и ярко расписанными церквами. Это был бойкий сибирский город, совсем не походивший на своих «расейских» братьев. Видно, что жизнь здесь кипела ключом на каждом шагу. В густом сосновом бору, который широким кольцом охватывал город со всех сторон, дымилось до десятка больших фабрик и заимок, а по течению Узловки раскинулись дачи местных богачей. Привалов долго смотрел к юго-востоку, за Мохнатенькую горку, — там волнистая равнина тонула в мутной дымке горизонта, постепенно понижаясь в благословенные степи Башкирии.

— Бойкий город, не правда ли? — спрашивал Ляховский, прищуривая глаза от солнца. — Вы, я думаю, не узнали его теперь.

— Да трудно и узнать, потому что я почти все забыл за пятнадцать лет.

— А вот подождите, проведут к нам железную дорогу, тогда мы еще не так процветем.

Привалов промолчал.

— Теперь я покажу вам половину, где мы, собственно, живем сами, — говорил Ляховский, бойко спускаясь по лестнице.

Ляховский повел Привалова через анфиладу жилых комнат, которые представляли приятный контраст со всем, что приходилось видеть раньше. Это были жилые комнаты в полном смысле этого слова, в них все говорило о жизни и о живых людях. Даже самый беспорядок в этих комнатах после министерской передней, убожества хозяйского кабинета и разлагающегося великолепия мертвых залов, — даже беспорядок казался приятным, потому что красноречиво свидетельствовал о присутствии живых людей: позабытая на столе книга, начатая женская работа, соломенная шляпка

с широкими полями и простеньким полевым цветочком, приколотым к тулье, — самый воздух, кажется, был полон жизни и говорил о чьем-то невидимом присутствии, о какой-то женской руке, которая производила этот беспорядок и расставила по окнам пахучие летние цветы. Привалов настолько был утомлен всем, что приходилось ему слышать и видеть в это утро, что не обращал больше внимания на комнаты, мимо которых приходилось идти.

XIII

— Пожалуйте сюда, Сергей Александрыч, — проговорил Ляховский, отворяя пред Приваловым дверь на террасу, которая выходила на двор.

Терраса была защищена от солнца маркизой, а с боков были устроены из летних вьющихся растений живые зеленые стены. По натянутым шнуркам плотно вился хмель, настурции и душистый горошек. Ляховский усталым движением опустился на садовый деревянный стул и проговорил, указывая глазами на двор:

— Моя дочь, Зося...

С намерением или без всякого намерения, но едва ли Ляховский мог выбрать другой, более удачный момент, чтобы показать свою Зосю во всем блеске ее оригинальной красоты. Зося стояла в каком-нибудь десятке сажен от террасы. На ней была темносиняя амазонка с длиннейшим шлейфом. Из-под синей шляпы с загнутым широким полем à la Rubence выбивались пряди белорусых волос с желтоватым отливом. Привалов внимательно смотрел на эту захваленную красавицу, против которой благодаря именно этим похвалам чувствовал небольшое предубеждение, и принужден был сознаться, что Зося была действительно замечательно красива. Она принадлежала к тому редкому типу, о котором можно сказать столько же, сколько о тонком аромате какого-нибудь редкого растения или об оригинальной мелодии, — слово здесь бессильно, как бессильны краски и пластика.

«Неужели это ее отец?» — подумал он, переводя глаза на Ляховского, который сидел на своем стуле

с полузакрытыми глазами, как подбитое молью чучело.

Ляховская была не одна. Рядом с ней стоял в своем сером балахоне Половодов; он всем корпусом немного подался вперед, как пловец, который вот-вот бросится в воду. По другую сторону Зоси выделялась фигура Виктора Васильича с сбитой на затылок шляпой и с выдававшейся вперед козлиной бородкой. Тут же, неизвестно зачем, стоял в своем кафтане Лепешкин. От расплывшейся по его лицу улыбки глаза совсем исчезли, и он делал короткие движения своей пухлой пятерней каждый раз, когда к нему обращалась Ляховская. В этой группе Привалов рассмотрел еще одного молодого человека с длинным испитым лицом и подгибавшимися на ходу тоненькими ножками; он держал в руке длинный английский хлыст. Этот молодой человек был не кто другой, как единственный сын Ляховского — Давид; он слишком рано познакомился с обществом Виктора Васильича, Ивана Яковлича и Лепешкина, и отец давно махнул на него рукой.

— Илья, короче держи корду! — командовала Ляховская.

Посреди двора на длинной веревке описывал правильные круги великолепный текинский иноходец светложелтой масти. Илья занимал центр двора. Его монументальные руки, какие можно встретить только на памятниках разных исторических героев, были теперь открыты выше локтей, чтобы удобнее держать в руках корду; лошадь иногда забирала веревку и старалась сдвинуть Илью с места, но он только приседал, и тогда сорвать его с места было так же трудно, как тумбу.

— Обратите внимание на лошадь, — говорил Ляховский Привалову. — Это настоящий текинский иноходец, который сто́ит на месте, в Хиве, шестьсот рублей, да столько же стоило привести его на Урал.

— Действительно отличная лошадь, — согласился Привалов, знавший толк в лошадях.

— Да это что... вы посмотрите Тэке, когда он идет под дамским седлом.

— Ну-с, Тэке, подойди ко мне, — проговорила Ляховская, останавливая лошадь.

Тэке, мотнув несколько раз головой и звонко ударив передними ногами в землю, кокетливо подошел к девушке, вытянув свою атласную шею, и доверчиво положил небольшую умную голову прямо на плечо хозяйки.

— Напрасно вы, барышня, лошадь балуете, — проговорил Илья, почесывая за ухом концом веревки. — Это такая лошадь, такая... Ты ей корму несешь, а она ладит тебя ногой заразить или зубищами ухватить за шиворот.

— Отчего же Тэке не *заразил ногой* берейтора? — спрашивала Ляховская, гладя лошадь своей маленькой крепкой рукой, затянутой в шведскую серую перчатку.

— Берейтор известно... он, конечно, Софья Игнатьевна, жалованье большое получал... это точно, а проехать-то и я не хуже его проеду.

Тэке, наконец, был отпущен с миром в свою конюшню, и вся компания с говором и смехом повалила за хозяйкой в комнаты. Один Лепешкин на минуту задумался и начал прощаться.

— Что же это вы, Аника Панкратыч? — удивилась Ляховская.

— Да уж так-с, Софья Игнатьевна. Никак не могу-с... Как-нибудь в другой раз, ежели милость будет.

— Отчего же не теперь? Может быть, у вас дела?

— Нет, делов особенных нет...

— Аника Панкратыч боится Игнатия Львовича, — объяснил Половодов, показывая глазами на террасу.

— Ах, вот в чем дело... — засмеялась Ляховская. — А слыхали пословицу, Аника Панкратыч: «в гостях воля хозяйская...»

— Как не слыхать, Софья Игнатьевна, — отвечал Лепешкин, щуря глаза. — Другая еще есть пословица-то...

— Какая?

— Гм... Старые люди так говорили: «гости — люди подневольные, — где посадили, там и сидят, а хозяин, что чирей: где захочет, там и сядет».

Ляховская хохотала над этой пословицей до слез, и ее смех напоминал почему-то Привалову рассказ Виктора Васильича о том, как он выучил Зосю ловить мух. Виктор Васильич и Давид успели подхватить Лепешкина «под крыльца» и без церемонии поволокли на лестницу.

— Ох, поясницу мне изведете, ежовые головы, — хрипел Лепешкин, напрасно стараясь освободиться. — И чего тащат... Тятенька придет и всю артель разорит.

XIV

— Идемте завтракать, Сергей Александрыч, — предлагал Ляховский и сейчас же прибавил: — Я сам не завтракаю никогда, а передам вас на руки дочери...

Они вошли в столовую в то время, когда из других дверей ввалилась компания со двора. Ляховская с улыбкой протянула свою маленькую руку Привалову и указала ему место за длинным столом около себя.

— А у меня дела, Сергей Александрыч, извините, пожалуйста, — говорил Ляховский, трусцой выбегая из комнаты.

— Вы извините рара, у него действительно столько дела, — жеманно проговорила Зося. — Вы что там смеетесь, Аника Панкратыч?

— Он радуется, что Игнатий Львович вышел, — объяснил Половодов, пристально наблюдавший Привалова все время.

— А оно точно... — ухмылялся Лепешкин, жмуря глаза, — всю обедню бы извели... Уж вы, Софья Игнатьевна, извините меня, старика; тятенька ваш, обнаковенно, умственный человек, а компанию вести не могут.

— У вас хорошая привычка, Аника Панкратыч, — заметила Ляховская, гремя ножом, — вы говорите то, что думаете...

— Значит, «люблю молодца за обычай»? Ох-хо-хо! — захрипел Лепешкин, отмахиваясь рукой.

Это странное общество и сама молодая хозяйка заинтересовали Привалова. И в тоне разговора, и в

обращении друг к другу, и в манере хозяйки держать себя — все было новостью для Привалова. Ляховская обращалась со всеми с аристократической простотой, не делая разницы между своими гостями. Привалова она расспрашивала как старого знакомого, который только что вернулся из путешествия. Половодов выбивался из сил, чтобы вставить несколько остроумных фраз в этот беглый разговор, но Ляховская делала вид, что не замечает ни этих остроумных фраз, ни самого автора. Сначала Половодов относился к этому равнодушно, а потом обиделся и замолчал. Ему казалось, что Зося приносила его в жертву приваловским миллионам; против этого он, собственно, ничего не имел, если бы тут же не сидели этот сыромятина Лепешкин и Виктор Васильич.

— А что наш редактор детского журнала? — спрашивала Ляховская, кивая головой в сторону молчаливо сидевшего Виктора Васильича.

— Он, кажется, сегодня не в духе...

— Виктор Васильич оставил редакторство, — объяснил Половодов, успокоенный внимательно-тревожным взглядом хозяйки. — Отныне он просто Моисей...

— Это еще что такое? — удивилась хозяйка.

— А вот Аника Панкратыч расскажет...

— Вышел такой грех, точно... — заговорил Лепешкин. — Мы как-то этак собрались в «Золотом якоре», у одного проезжающего. Проезжающий-то в третьем этаже номер занял. Ну, набралось нас народу грудно... Иван Яковлич, Ломтев, Миколя, я, Виктор Васильич, ваш братец... много народу понаперло. Выпили... Виктор Васильич и говорит: «Супротив меня никому смелости не оказать...» Обнаковенно, человек не от ума сболтнул, а Иван Яковлич подхватил: окажи им смелость сейчас, и шабаш. Ну, какую в номере смелость окажешь, окромя того, что зеркало расщепать или другую мебель какую... Туда-сюда, а Виктора Васильича карахтер вроде как телеграф: вынь да положь... Как он закричит: «Спущайте меня на веревке на карниз... С бутылкой по карнизу обойду!» Я отговаривал, да куда — чуть было меня за бороду не схватил. Ну, думаю, ступай, — Василию Назарычу меньше по векселям

платить. Связали полотенца да на полотенцах его, раба божия, и спустили, как был, без сюртука, без жилетки... Вот он встал этаким манером на карнизе, Христос его знает, уцепился как-то ногами — стоит, и только, значит, хотел из бутылки пить, внизу караульный прибежал... Думает, либо лунатик, либо вор по стене ползет. Ха-ха! И сейчас «караул!!.» Полиция и всякое прочее. А Виктор Васильич не идет с карнизу и шабаш: подавали мы полотенце — не берет, притащили лестницу — «не хочу». Сам слезу, слышь. Ну, слезай. Вот он уцепился руками за карниз, да по окну и полез... И господь его знает, совсем было слез, да по дороге зацепил, видно, голяшкой за кирпичи, да как ногами бухнет в окно... Звон, треск!.. А окно-то выходило в номер, где ташкентский офицер остановился. А у ташкентского офицера семь дочерей, и все спали в этом самом номере. Обнаковенно, испужались до смерти и, в чем были, прямо с постели в номер к тятеньке. Тятенька, обнаковенно, прибежал с ливольвером и сейчас Виктора Васильича за ногу и, с позволения сказать, как кошку, в номер к себе утащил: «Кто таков человек есть?» А Виктор Васильич, не будь плох, отвечает: «Моисей». — «Из каких местов?» — «С неба упал...» А мы там сидим и голосу не подаем, потому либо в свидетели потянут, либо тятенька этот пристрелит.

— И чем же кончилась вся эта история? — спрашивала Ляховская, хохотавшая во время рассказа до слез.

— Обнаковенно, к мировому. Миколя защитником объявился.

Виктор Васильич смеялся вместе с другими самым беззаботным образом. Давид хохотал как сумасшедший и старался под столом достать Лепешкина своими длинными ногами.

— Значит, мы потеряли редактора и получили Моисея, — резюмировала Ляховская, когда пароксизм общего смеха немного утих. — Так и запишем: Моисей...

После этого шумного завтрака Привалов простился с хозяйкой; как только дверь за ним затворилась, Половодов увел Ляховскую в другую комнату и многозначительно спросил:

— На ваш взгляд, Софья Игнатьевна, что за зверь этот Привалов?

— Привалов? А вам...

— Нет, будемте говорить серьезно. Знаете, мужчина никогда не поймет сразу другого человека, а женщина... Это, заметьте, очень важно, и я серьезно рассчитываю на вашу проницательность.

— Господи! Какая бездна серьезности и таинственности... Вы на что это давеча изволили надуться за завтраком?

— Ах, это пустяки... Разве кому-нибудь интересно знать, что я могу чувствовать или думать!

— Меня удивляет ваш тон, Александр Павлыч, — вспыхнув, проговорила Ляховская. — Вы позволяете себе, кажется, слишком много...

— Простите... — проговорил Половодов, почтительно целуя руку девушки, — вы знаете, что это со мной иногда случается...

Они прошли в угловую комнату и поместились около круглого столика. Ляховская сделала серьезное лицо и посмотрела вопросительно своими темными глазами.

— Видите ли, Софья Игнатьевна, — тихо начал Половодов, — Привалов начинает дело... Поверенным Веревкин.

— Nicolas?

— Да, Nicolas...

Последовала короткая пауза.

— Что же вы от меня хотите? — спрашивала Ляховская, общипывая пуговку на своей перчатке.

— Я... я хочу слышать ваше мнение о Привалове, Софья Игнатьевна.

— Мое мнение... Знаете, Александр Павлыч, в лице Привалова есть что-то такое, — скрытность, упрямство, подозрительность, — право, трудно сказать с первого раза.

— Да, он умнее, чем может показаться с первого раза. Но не заметили ли вы в нем, что намекало бы на бесхарактерность? Нерешительность во взгляде, бесцельные движения... Обратите внимание, Привалов — последняя отрасль Гуляевых и Приваловых, следовательно, в нем должны перемешаться родовые черты

этих фамилий: предрасположение к мистицизму, наконец — самодурство и болезненная чувствительность. Привалов является выродком, следовательно, в нем ярче и шире оставили свои следы наследственные пороки и недостатки, чем достоинства. Это закон природы, хотя известным образованием и выдержкой может быть прикрыто очень многое. Ведь вместе с своими миллионами Привалов получил еще большое наследство в лице того темного прошлого, какое стоит за его фамилией.

— Вы иногда бываете, Александр Павлыч, очень умным и проницательным человеком, — заметила девушка, останавливая глаза на одушевленной физиономии Половодова.

— Плохой комплимент, Софья Игнатьевна... Но я не могу обижаться, потому что меня делает глупым именно ваше присутствие, Софья Игнатьевна.

— Ах, как это чувствительно и... смешно. Веревкин справедливо говорит про вас, что вы влюбляетесь по сезонам: весной — шатенки, зимой — брюнетки, осенью — рыжие, а так как я имею несчастье принадлежать к белокурым, то вы дарите меня своим сочувствием летом.

— Довольно, довольно... — упавшим голосом проговорил Половодов.

— Да, мы уклонились от нашего разговора.

Половодов прошелся несколько раз по комнате, потер себе лоб и проговорил:

— Наше дело может кончиться очень плохо, Софья Игнатьевна.

— Именно?

— Я не буду говорить о себе, а скажу только о вас. Игнатий Львович зарывается с каждым днем все больше и больше. Я не скажу, чтобы его курсы пошатнулись от того дела, которое начинает Привалов; но представьте себе: в одно прекрасное утро Игнатий Львович серьезно заболел, и вы... Он сам не может знать хорошенько собственные дела, и в случае серьезного замешательства все состояние может уплыть, как вода через прорванную плотину. Обыкновенная участь таких людей...

— Вам-то какое горе? Если я буду нищей, у вас явится больше одной надеждой на успех... Но будемте говорить серьезно: мне надоели эти ваши «дела». Конечно, не дурно быть богатым, но только не рабом своего богатства...

В ее глазах, в выражении лица, в самой позе было что-то новое для него. Сквозь обычную беззаботность и приемы женщины, привыкшей к поклонению с первого дня рождения, прозвучала совершенно особенная нотка. Что это? Половодов внимательно посмотрел на девушку; она ответила ему странной улыбкой, в которой были перемешаны и сожаление, и гордость, и что-то такое... «бабье», сказал бы Половодов, если бы эта улыбка принадлежала не Зосе Ляховской, а другой женщине. Вдруг в голове у него мелькнула, как молния, одна мысль, и он совершенно равнодушным тоном спросил:

— Я что-то давно не вижу у вас Максима!

— Он давно не был у нас, — невозмутимо ответила Ляховская с той же улыбкой.

XV

Сам по себе приваловский дом был замечательным явлением, как живой памятник отошедшего в вечность бурного прошлого; но еще замечательнее была та жизнь, которая теперь совершалась под его проржавевшей кровлей.

Игнатий Ляховский принадлежал к типу тех темных людей, каких можно встретить только в Сибири. Сам он называл себя почему-то хохлом. Молва гласила другое, именно, что он происходил из кантонистов. Свое состояние он нажил в Сибири какими-то темными путями. Одни приписывали все краденому золоту, другие — водке, третьи — просто счастью. Общий голос громко кричал о том, что Ляховский пошел жить от опеки над наследством Приваловых. Вернее всего было, что созидающими элементами здесь являлось много различных сил и счастливых случаев, а узлом всего являлась удивительная способность Ляховского сразу

определять людей и пользоваться ими, как игрок пользуется шахматами в своих ходах. Все-таки как источник богатства Ляховского, так и размеры этого богатства оставались для обывателей уездного городка и всей губернии неразрешимой загадкой.

О странностях Ляховского, о его страшной скупости ходили тысячи всевозможных рассказов, и нужно сознаться, что большею частью они были справедливы. Только, как часто бывает в таких случаях, люди из-за этой скупости и странностей не желают видеть того, что их создало. Наживать для того, чтобы еще наживать, — сделалось той скорлупой, которая с каждым годом все толще и толще нарастала на нем и медленно хоронила под своей оболочкой живого человека.

Мы здесь должны сказать о жене Ляховского, которая страдала чисто русской болезнью — запоем. Все системы лечения, все знаменитости медицинского мира в России и за границей — все было бессильно против этой страшной болезни. Самым страшным для Ляховского было то, что она передала свои недостатки детям. Ляховский в увлечении своими делами поздно обратил внимание на воспитание сына и получил смертельный удар: Давид на глазах отца был погибшим человеком, кутилой и мотом, которому он поклялся не оставить в наследство ни одной копейки из своих богатств. Давид был тем же матушкиным сынком, как и Виктор Васильич; эти молодые люди весело шли по одной дорожке, и у обоих одинаково было парализовано самое дорогое качество в каждом человеке — воля, характер. Они не были ни злыми, ни глупыми, ни подлецами, но всякую минуту могли быть тем, и другим, и третьим в силу именно своей бесхарактерности.

Несмотря на все принятые предосторожности, в характере Зоси рано сказалось ее мужское воспитание, и она по своим привычкам походила больше на молодого человека. Женского общества она не выносила, и исключение, сделанное для Нади, скоро потеряло всякое значение. Дела по приваловской опеке расстроили хорошие отношения между Ляховским и Бахаревым. Последний не любил высказываться дурно о людях вообще, а о Ляховском не мог этого сделать пред

дочерью, потому что он строго отличал свои деловые отношения с Ляховским от всех других; но Надя с женским инстинктом отгадала действительный строй отцовских мыслей и незаметным образом отдалилась от общества Ляховского. Правда, по наружному виду это трудно было отгадать, но оно чувствовалось во всем, и Ляховский искренно жалел об этом невыгодном для него обстоятельстве. Мы уже видели, что в нем были и Лепешкин, и Виктор Васильич, и еще много других лиц, на которых Ляховскому приходилось смотреть сквозь пальцы. Правда, для всех было ясно, как день, что из Зоси вырабатывалась прозаическая натура, недоступная увлечениям. Поэтому исключительно мужское общество не смущало ни доктора, ни Ляховского.

— Благодаря нашему воспитанию, доктор, у Зоси железные проволоки вместо нервов, — не без самодовольства говорил Ляховский. — Она скорее походит на жокея, чем на светскую барышню... Для нее же лучше. Женщина такой же человек, как и мужчина, а тепличное воспитание делало из женщин нервных кукол. Не правда ли, доктор?

Доктор на это ничего не отвечал обыкновенно, и Ляховский переходил на другой тон.

— Что будете делать, что будете делать, — говорил он, грустно покачивая головой. — Кровь великое дело. А в Зосе много дурной крови... Да, в ней много дурной крови! Но ведь в этом не мы с вами виноваты. Я вижу, что ей во многом еще недостает характера, силы воли, и она делается несправедливой и злой именно в силу этого недостатка. Но научите меня, что еще для нее я могу сделать? Отправить за границу, в Америку, — но ведь она не поймет и десятой доли того, что увидит, а всякое полузнание хуже всякого незнания. Как отец, я не могу отнестись беспристрастно, как желал бы к ней отнестись, и, может быть, преувеличиваю ее недостатки. Не помню где, но, кажется, в каком-то пустейшем французском романе я вычитал мысль, что нет ничего труднее, как установить правильные отношения между отцом и взрослой дочерью. А здесь затруднение

усложняется тем, что у бедной Зоси нет матери... Нет, гораздо хуже, чем нет! Да, доктор... Но войдите в мое положение и скажите, не сделали бы вы то же самое, что я сделал?

XVI

Мы видели Ляховского с его лучших сторон; но он являлся совершенно другим человеком, когда вопрос заходил о деньгах. В конце каждого месяца в его кабинете с небольшими вариациями происходили такие сцены. В двери кабинета пролезает кучер Илья и безмолвно останавливается у порога; он нерешительно начинает что-то искать своей монументальной рукой на том месте, где его толстая голова срослась с широчайшими плечами. Узкие глаза смотрят в угол, ноги делают беспокойные движения, как у слона, прикованного к полу железной цепью.

— Зачем ты пришел, Илья? — спросит Ляховский усталым голосом.

— А насчет жалованья, Игнатий Львович...

— Зачем?

— Говорю: насчет жалованья...

— За деньгами пришел?

— За жалованьем.

— Деньги... везде деньги, всякому подай деньги, — начинает горячиться Ляховский. — Что же, по-твоему, я сам, что ли, делаю их?

— Не могу знать, Игнатий Львович.

— Не могу знать!.. А где я тебе возьму денег? Как ты об этом думаешь... а? Ведь ты думаешь же о чем-нибудь, когда идешь ко мне? Ведь думаешь... а? «Дескать, вот я приду к барину и буду просить денег, а барин запустит руку в конторку и вытащит оттуда денег, сколько мне нужно...» Ведь так думаешь... а? Да у барина-то, умная твоя голова, деньги-то разве растут в конторке?..

По оплывшей бородатой физиономии Ильи от одного уха до другого проползает конвульсивное движение, заменяющее улыбку, и маленькие черные глаза, как у крота, совсем скроются под опухшими красными веками.

— Ежели вы, Игнатий Львович, очень сумлеваетесь насчет жалованья, — начинает Илья, переминаясь с ноги на ногу, — так уж лучше совсем рассчитайте меня... Меня давно Панафидины сманивают к себе... и пять рублей прибавки.

— А кто эти Панафидины?

— Купцы... В гостином дворе кожевенным товаром торгуют.

— Купцы... Вот и ступай к своим Панафидиным, если не умел жить здесь. Твой купец напьется водки где-нибудь на похоронах, ты повезешь его, а он тебя по затылку... Вот тебе и прибавка! А ты посмотри на себя-то, на рожу-то свою — ведь лопнуть хочет от жиру, а он — «к Панафидиным... пять рублей прибавки»! Ну, скажи, на чьих ты хлебах отъелся, как боров?

— Это уж божеское произволение, — резонирует Илья, опять начиная искать в затылке. — Ежели кому господь здоровья посылает... Другая лощадь бывает, Игнатий Львович, — травишь-травишь в нее овес, а она только сохнет с корму-то. А барин думает, что кучер овес ворует... Позвольте насчет жалованья, Игнатий Львович.

— Что ты пристал ко мне с ножом к горлу? Ну, сколько тебе нужно?

— Да за месяц уж пожалуйте... двадцать пять рублей.

— О-о-о... — стонет Ляховский, хватаясь обеими руками за голову. — Двадцать пять рублей, двадцать пять рублей... Да ведь столько денег чиновник не получает, чи-нов-ник!.. Понял ты это? Пятнадцать рублей, десять, восемь... вот сколько получает чиновник! А ведь он благородный, у него кокарда на фуражке, он должен содержать мать старушку... А ты что? Ну, посмотри на себя в зеркало: мужик и больше ничего... Надел порты да пояс — и дело с концом... Двадцать пять рублей... О-о-о!

— А вы, Игнатий Львович, и возьмите себе чиновника в кучера-то, — так он в три дня вашего Тэку или Батыря без всех четырех ног сделает за восемь-то целковых. Теперь взять Тэка... какая это лошадь есть, Игнатий Львович? Одно слово — разбойник: ты ей овса

несешь, а она зубищами своими ладит тебя прямо за загривок схватить... Однова пятилась да пятилась, да совсем меня в угол и запятила. Думаю, как брызнет задней ногой, тут тебе, Илья, и окончание!.. Позвольте, Игнатий Львович, насчет жалов...

— На!.. бери, бери!.. — кричит Ляховский, отодвигая ящик конторки, на дне которого лежит несколько смятых кредиток. — На, грабь меня, снимай последнюю рубашку...

— Уж вы лучше сами отдайте...

— Не могу... чувствую, что пропьешь!

Эта история повторяется исправно каждый раз, поэтому Илья, как по льду, подходит к столу и еще осторожнее запускает свою лапищу в ящик.

— Покорно вас благодарю, — говорит Илья, пятясь к двери, как бегемот. — Мне что, я рад служить хорошим господам. Намедни кучер приходил от Панафидиных и все сманивал меня... И прибавка и насчет водки... Покорно вас благодарю.

Кучер Илья жил настоящим паразитом, но Ляховский никак не мог ему отказать, потому что другого такого Ильи в целой губернии не сыщешь, — ездил он мастерски и умел во всем потрафить барышне.

Чтобы докончить характеристику жизни в доме Ляховского, мы должны остановиться на Альфонсе Богданыче и Пальке. Альфонс Богданыч, безродный полячок, взятый Ляховским с улицы, кажется, совсем не имел фамилии, да об этом едва ли кто-нибудь и думал. Все привыкли к тому, что Альфонс Богданыч должен был все знать, все предупредить, все угадать, всем угодить и все вынести на своей спине, — к чему еще тут фамилия? Никто, кажется, не подумал даже, что могло бы быть, если бы Альфонс Богданыч в одно прекрасное утро взял да и забастовал, то есть не встал утром с пяти часов, чтобы несколько раз обежать целый дом и обругать в несколько приемов на двух диалектах всю прислугу; не пошел бы затем в кабинет к Ляховскому, чтобы получить свою ежедневную порцию ругательств, крика и всяческого неистовства; не стал бы сидеть ночи за своей конторкой во главе двадцати служащих, которые, не разгибая спины, работали под его железным

началом; если бы, наконец, Альфонс Богданыч не обладал счастливой способностью являться по первому зову, быть разом в нескольких местах, все видеть, и все слышать, и все давить, что попало к нему под руку. Одним словом, Альфонс Богданыч играл в доме ту же роль, как стальная пружина в часах, за что в глазах Ляховского он был только очень услужливым и очень терпеливым человеком. Ляховский считал Альфонса Богданыча очень ограниченной головой и возвысил его из среды других служащих только за ослиное терпение и за то, что Альфонс Богданыч был один-одинехонек. Последнее обстоятельство в глазах Ляховского служило лучшей гарантией, что Альфонс Богданыч не будет его обкрадывать в интересах племянников и племянниц. Терпение у Альфонса Богданыча было действительно замечательное; но если бы Ляховский заглянул к нему в голову в тот момент, когда Альфонс Богданыч, прочитав на сон грядущий, как всякий добрый католик, латинскую молитву, покашливая и охая, ложился на свою одинокую постель, — Ляховский изменил бы свое мнение. Как это могло случиться, что Ляховский, вообще видевший людей насквозь, не мог понять человека, который ежедневно мозолил ему глаза, — этот вопрос относится к области психологии. Может быть, это самая простая психическая близорукость у себя дома людей, слишком дальнозорких вне этого дома.

Палька был диаметральной противоположностью Альфонса Богданыча, начиная с того, что он решительно ничего не делал и, по странной случайности, неизменно пользовался репутацией самого верного слуги. Сам Альфонс Богданыч был бессилен против Пальки, как был бессилен относительно Ильи. Но Илья ленился потому, что его избаловали, а Палька потому, что ни на что больше не был годен, ибо был хлоп до мозга костей и больше ничего. Положение Пальки было настолько прочно, что никому и в голову не приходило, что этот откормленный и упитанный хлоп мог же что-нибудь делать, кроме того, что отворять и затворять двери и сортировать проходивших на две рубрики: заслуживающих внимания и таких, про которых он говорил только «пхе!..»

XVII

— Ну, что, как вы нашли Ляховского? — спрашивал Веревкин, явившись к Привалову через несколько дней после его визита. — Не правда ли, скотина во всех отношениях? Ха-ха! Воображаю, какого шута горохового он разыграл перед вами для первого раза...

Привалов подробно рассказал весь ход своего визита и свои занятия с Ляховским; эпизод с сигарами и метлами вызвал самый неистовый хохот Веревкина, который долго громким эхом раскатывался по всему домику Хионии Алексеевны и заставил Виктора Николаича вздрогнуть и заметить: «Эк, подумаешь, разобрало этого Веревкина!»

— Так и есть, по всем правилам своего искусства, значит, вел дело, — заговорил Веревкин, вытирая выступившие от смеха на глазах слезы. — Дайте время, он начнет прикидываться глухим и слепым. Ей-богу! Мерзавец такой, что с огнем поискать. У него есть здесь в Узле несколько домов, конечно купленных при случае, за бесценок. Вот однажды один из этих домов загорелся. Что бы вы думали: набат, народ бежит со всех сторон, и Ляховский трусцой задувает вместе с другими, а пожар на другом конце города. Видите ли, извозчик запросил с Ляховского пятиалтынный, а он давал гривенник. Так в пятачке и разошлись. После говорят Ляховскому: «Как же это вы, Игнатий Львович, пятачка пожалели, а целого дома не жалеете?» А он: «Что же я мог сделать, если бы десятью минутами раньше приехал, — все равно весь дом сгорел бы и пятачок напрасно бы истратил». Заметьте, выдержка какая дьявольская. О, с ним нужно ухо востро держать! Какие он вам бумаги дал — посмотрим.

— Вот все здесь, — отвечал Привалов, вынимая из папки целую кипу взятых у Ляховского бумаг.

Веревкин с сигарой в зубах самым комфортабельным образом поместился в креслах и вооружил свой нос пенсне. Заметив, что Ипат принес и поставил около него на подносе графинчик с водкой и закуску на стеклянной тарелочке, он только улыбнулся; внимание Привалова к его жажде очень польстило Веревкину, и

он с особенным усердием принялся рыться в бумагах, швырял их по всему столу и делал на полях красным карандашом самые энергичные nota bene[1]. На первый раз трудно было разобраться в такой массе цифр, и Веревкин половину бумаг сложил в свой объемистый портфель с оборванными ремнями и сломанным замком.

— Да тут черт ногу сломит, батенька, — проговорил он после часовой работы. — По меньшей мере недели две придется высидеть над ними. Этот Альфонс Богданыч — видели? — такого, я думаю, туману напустил... Ну, да мы их проберем и всех узлом завяжем. А вот что, — совершенно другим тоном прибавил Веревкин, отваливая свою тушу на спинку кресла, — я заехал, собственно, везти вас к Половодову... Мы отлично пообедаем там, а вы кстати пощупаете Александра Павлыча, как он себя чувствует. Ссориться с ними нам во всяком случае не приходится, потому что этим только затянем дело; ведь бумаги все у них в руках. Да я и не люблю ссориться со своими противниками.

Привалову совсем не хотелось ехать к Половодову. Он пробовал сопротивляться, но Веревкин был неумолим и даже отыскал шляпу Привалова, которую сейчас же и надел ему на голову.

— Нет, батенька, едемте, — продолжал Веревкин.— Кстати, Тонечка приготовила такой ликерчик, что пальчики оближете. Я ведь знаю, батенька, что вы великий охотник до таких ликерчиков. Не отпирайтесь, быль молодцу не укор. Едем сейчас же, время скоротечно. Эй, Ипат! Подавай барину одеваться скорее, а то барин рассердится.

Всю дорогу Веревкин болтал, как школьник. Это веселое настроение подействовало заразительно и на Привалова. Только когда они проезжали мимо бахаревского дома, Привалову сделалось как-то немного совестно — совестно без всякой видимой причины. Он заранее чувствовал на себе полный немого укора взгляд Марьи Степановны и мысленно сравнил Надю с Антонидой Ивановной, хотя это и были несравнимые величины.

---

[1] отметки (*лат.*).

Обед у Половодова прошел скучнее, чем можно было предполагать, и Привалов был очень недоволен, что послушался Веревкина. Антонида Ивановна сегодня держала себя очень холодно, даже немножко грустно, как показалось Привалову. Никто ни слова не говорил о Ляховских, как ожидал Привалов, и ему оставалось только удивляться, что за странная фантазия была у Веревкина тащить его сюда смотреть, как лакей внушительной наружности подает кушанья, а хозяин работает своими челюстями. Привалову, конечно, и в голову не пришло бы подумать, что Веревкин действовал по просьбе Антониды Ивановны, а между тем это было так. Веревкин для такого сорта поручений был самый золотой человек, потому что, несмотря на величайшие затруднения и препятствия при их выполнении, он даже не задавал себе вопроса, для чего нужен был Антониде Ивановне Привалов, нужен именно сегодня, а не в другое время. «Женская фантазия», — говорил обыкновенно Веревкин, если от него непременно требовали объяснений. Обед был точно такой же, как и в прошлый раз: редкие, художественно исполненные кушанья съедались с редким вниманием и запивались самыми редкими винами. Сейчас после обеда Половодов увел Привалова к себе в кабинет.

Пока в кабинете шла деловая беседа, Веревкин успел немного прийти в себя после сытного обеда, поймал сестру и усадил ее за рояль.

— Тонечка, голубушка, спой эту песню про Волгу, — умолял он. — Уважь единоутробного брата... а?.. Привалова не стесняйся, он отличный малый, хоть немножко и того (Веревкин многозначительно повертел около лба пальцем), — понимаешь — славянофил своего рода. Ха-ха!.. Ну, да это пустяки: всякий дурак посвоему с ума сходит.

— А ты, кажется, сегодня порядочно утешился за обедом? — спрашивала Антонида Ивановна, с нежностью глядя на «единоутробного» братца.

— Что же, я только в своей стихии — не больше того. «Пьян, да умен — два угодья в нем...» Видишь, начинаю завираться. Ну, спой, голубчик.

Антонида Ивановна взяла несколько аккордов и запела небольшим, но очень чистым контральто проголосную русскую песню:

Широка Волга разливалася,
С крутым бережком поровнялася...

Эта заунывная песня полилась с тем простым, хватавшим за душу выражением, с каким поет ее простой народ и никогда не поют на сцене. Антонида Ивановна умела вытянуть ту заунывную, щемящую нотку, которая неизменно слышится во всех проголосных русских песнях: глухие слезы и смертная тоска по какой-то воле и неизведанном счастье, казалось, стояли в этой песне. Веревкин сидел на низеньком диванчике, положив свою громадную голову в ладони рук как вещь совершенно для него лишнюю. Спутанные шелковые кудри свалились к нему на лоб и закрывали глаза, но он не поправлял их, отдавшись целиком тому подмывавшему чувству, которое, как набежавшая волна прилива, тихо поднимало и несло куда-то вдаль. Привалов что-то хотел отвечать Половодову, когда раздались первые слова песни, да так и остался с открытым ртом на своем горнем месте, куда усадил его Половодов.

— Это Тонечка, — отвечал Половодов на немой вопрос Привалова. — Она порядочно поет русские песни, когда бывает в ударе.

Половодов вместе с Иваном Яковличем всему на свете предпочитал французские шансонетки, но в качестве славянофила он считал своим долгом непременно умилиться каждый раз, когда пела жена. У Привалова тихо закружилась голова от этой песни, и он закрыл глаза, чтобы усилить впечатление. В глубине души что-то тихо-тихо заныло. Пред глазами смутно, как полузабытый сон, проносились картины густого леса, широкий разлив реки, над которым тихо садится багровое солнце; а там уже потянуло и холодом быстро наступающей летней ночи, и тихо зашелестела прибрежная осока, гнувшаяся под напором речной струи.

— В женщине прежде всего — кровь, порода, — говорил Половодов, раздвигая ноги циркулем. — На востоке женщина любит припадками и как-то уж

слишком откровенно: все дело сводится на одну животную сторону. Совсем другое дело европейская женщина. В ней нет этой грязи, распущенности, лени; в ее присутствии все нервы в приятном напряжении, чувства настороже, а глаза невольно отдыхают на стыдливо прикрытых формах. Часто женщину принимаешь за девушку. Здесь все построено на пикантных неожиданностях, везде заманчивая неизвестность, и часто под опущенными стыдливо глазками, под детскими не сложившимися формами кроется самая знойная страсть. Вам которая из Бахаревых больше нравится? — неожиданно спросил Половодов.

Привалов совсем не слушал его болтовни и теперь смотрел на него с недоумением, не понимая вопроса; впрочем, Половодов сейчас же вывел его из затруднения и проговорил:

— Мне Верета больше нравится; знаете, в ней есть что-то такое нетронутое, как переход от вчерашней девочки к завтрашней барышне. Тогда пиши пропало все, потому что начнется это жеманство да кривлянье. Пойдемте в гостиную, — прибавил он, подхватывая Привалова, по своей привычке, под руку.

В гостиной Половодов просидел недолго. Попросив жену занять гостя, он извинился перед Приваловым, что оставит его всего на несколько минут.

— Ты, Александр, подвергаешь Сергея Александрыча ничем не заслуженному испытанию, — проговорила Антонида Ивановна, оставляя рояль.

— Вы несправедливы ко мне, Антонида Ивановна, — мог только ответить Привалов. — Я считаю за счастье...

— А?.. Чего? — спрашивал Веревкин, который спал на своем диванчике и теперь только проснулся. — А я так расчувствовался, что вздремнул под шумок... Вы тут комплименты, кажется, говорите?

Под смех, вызванный этим маленьким эпизодом, Половодов успел выбраться из комнаты, и Привалов остался с глазу на глаз с Антонидой Ивановной, потому что Веревкин уплелся в кабинет — «додернуть», как он выразился.

— Почему вы думаете, Антонида Ивановна, что я

избегаю вашего общества? — спрашивал Привалов. — Наоборот, я с таким удовольствием слушал ваше пение сейчас... Могу сказать откровенно, что никогда ничего подобного не слышал.

Антонида Ивановна внимательно посмотрела на Привалова, накинула на плечи оренбургский платок из козьего пуха и проговорила с ленивой улыбкой:

— Я не понимаю, как это хочется мужчинам говорить вечно одно и то же... Неужели нельзя обойтись без комплиментов?

Они прошли в знакомую Привалову голубую гостиную, но на этот раз Антонида Ивановна села очень далеко от своего гостя.

— Вы не рассказали мне еще о своем визите к Ляховским, — заговорила хозяйка, вздрагивая и кутаясь в свой платок. — А впрочем, нет, не рассказывайте... Вперед знаю, что и там так же скучно, как и везде!.. Не правда ли?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать этим?

— Ах, самую простую вещь, Сергей Александрыч... Посмотрите кругом, везде мертвая скука. Мужчины убивают время по крайней мере за картами, а женщинам даже и это плохо удается. Я иногда завидую своему мужу, который бежит из дому, чтобы провести время у Зоси. Надеюсь, что там ему веселее, чем дома, и я нисколько не претендую на него...

Привалов заговорил что-то об удовольствиях, о чтениях, о занятиях, но Антонида Ивановна неожиданно прервала его речь вопросом:

— Послушайте, когда ваша свадьба?

— Какая свадьба?

— Да ведь вы женитесь на Nadine Бахаревой. Это решительно всем в городе известно, и я, право, от души рада за вас. Nadine отличная девушка, серьезная, образованная... Она резко выделяется из всех наших барышень.

— Послушайте, Антонида Ивановна, — серьезно заговорил Привалов. — Я действительно глубоко уважаю Надежду Васильевну, но относительно женитьбы на ней и мысли у меня не было.

— Неправда.

— Совершенно серьезно говорю.

— О, это пустяки. Все мужчины обыкновенно так говорят, а потом преспокойнейшим образом и женятся. Вы не думайте, что я хотела что-нибудь выпытать о вас, — нет, я от души радуюсь вашему счастью, и только. Обыкновенно завидуют тому, чего самим недостает, — так и я... Муж от меня бежит и развлекается на стороне, а мне остается только радоваться чужому счастью.

— Вы ошибаетесь, Антонида Ивановна, уверяю вас. Есть обстоятельства, которые... Одним словом, я никогда не женюсь.

Антонида Ивановна долгим, внимательным взглядом посмотрела на Привалова, но ничего не отвечала и только плотнее — вместе с шеей — укуталась в свой платок. Привалов еще никогда не видал Половодову такой красивой. В его ушах еще стояла давешняя песня, а тут этот странный тон разговора... Привалов почувствовал себя как-то жутко хорошо около Антониды Ивановны и с особенным удовольствием испытывал на себе теплоту ее пристального ленивого взгляда. Невольная грусть, которая слышалась в ее разговоре, отвечала невеселому настроению Привалова, и он горячо пожал Антониде Ивановне на прощанье руку.

Вечером этого дня, когда Антонида Ивановна вошла в спальню своей maman, она имела самый утомленный и жалкий вид. Тяжело опустившись на ближайший стул, она с заметным усилием едва могла проговорить:

— Бревно этот ваш Привалов, и больше ничего.

Агриппина Филипьевна пытливо и вопросительно посмотрела на дочь, а потом спокойно ответила:

— Нужно иметь терпение, мой друг...

— Александр был здесь?

— Был. Представь себе: захватил с собой Оскара, и вместе отправились к Ляховскому. Оказывается, что это уже не первый их визит туда.

— Решительно ничего не понимаю, maman...

— И я тоже; но все-таки согласись, что очень и очень странно. Что может делать этот идиот Оскар у Ляховского?

Почтенная дама только пожала плечами и сделала презрительную гримасу.

XVIII

В последнее время Надежда Васильевна часто бывала у Ляховских; Привалов встречался с ней там, когда в свободное от занятий время с Ляховским заходил на половину Зоси. Там собиралось шумное молодое общество, к которому примкнул и дядюшка Оскар Филипыч, необыкновенно смешно рассказывавший самые невинные анекдоты.

— Мы вас все будем называть дядюшкой, Оскар Филипыч, — говорила Зося.

— И отлично... — соглашался дядюшка. — Я буду очень любить такую племянницу, как вы.

Дядюшка в качестве любезника старой школы почтительно целовал каждый раз руку Зоси и забавно шаркал ножкой. Половодов служил коноводом и был неистощим в изобретении маленьких летних удовольствий: то устраивал ночное катанье на лодках по Узловке, то маленький пикник куда-нибудь в окрестности, то иллюминовал старый приваловский сад, то садился за рояль и начинал играть вальсы Штрауса, под которые кружилась молодежь в высоких залах приваловского дома. Виктор Васильевич был правой рукой Половодова и слушался, как собака, каждого его движения. Особенно смешил всех дядюшка, который боялся лошадей и воды и так забавно танцевал вальс в два па, как его танцуют только старики.

Это шумное веселье было неожиданно прервано появлением нового лица. Однажды, когда Привалов занимался с Ляховским в его кабинете, старик, быстро сдвинув очки на лоб, проговорил:

— Вы видели Лоскутова? Максима Лоскутова?

— Нет...

— Ну, так вы, батенька, ничего не видели; это unicus [1] в своем роде... Да, да. Наш доктор отыскал его... Замечательная голова: философ, ученый, поэт — все, что хотите, черт его знает, чего он только не учил и чего не знает! В высшей степени талантливая натура. Я очень благодарен доктору за этот подарок.

---

[1] редкий экземпляр (*лат.*).

Привалов рассмеялся.

— Чего вы смеетесь? Конечно, подарок, а то как же? Мы, сидя в Узле, совсем заплесневели, а тут вдруг является совершенно свежий человек, с громадной эрудицией, с оригинальным складом ума, с замечательным даром слова... Вы только послушайте, как Лоскутов говорит...

Ляховский сделал кислое лицо и как-то по-жидовски расставил руки.

— Для нас этот Лоскутов просто находка, — продолжал развивать свою мысль Ляховский. — Наши барышни, если разобрать хорошенько, в сущности и людей никаких не видали, а тут смотри, учись и стыдись за свою глупость. Хе-хе... Посмотрели бы вы, как они притихнут, когда Лоскутов бывает здесь: тише воды, ниже травы. И понятно: какие-нибудь провинциальные курочки, этакие цыплятки — и вдруг настоящий орел... Да вы только посмотрите на него: настоящая Азия, фаталист и немного мистик.

— Вы так много насказали про Лоскутова, Игнатий Львович, что я даже немного начинаю бояться его, — пошутил Привалов.

— Я сам его боюсь... Да...

Старик поднялся со своего кресла, на цыпочках подбежал притворить двери кабинета, еще раз огляделся кругом и, наклонившись к самому уху Привалова, шепотом говорил:

— Лоскутов был в чем-то замешан... Понимаете — замешан в одной старой, но довольно громкой истории!.. Да... Был в административной ссылке, потом объехал всю Россию и теперь гостит у нас. Он открыл свой прииск на Урале и работает довольно счастливо... О, если бы такой человек только захотел разбогатеть, ему это решительно ничего не стоит.

— А сам-то по себе кто такой этот Лоскутов?

— Да бог его знает... Он, кажется, служил в военной службе раньше... Я иногда, право, боюсь за моих девочек: молодо-зелено, как раз и головка закружится, только доктор все успокаивает... Доктор прав: самая страшная опасность та, которая подкрадывается к вам темной ночью, тишком, а тут все и всё налицо. Девоч-

кам во всяком случае хороший урок... Как вы думаете?

Не дождавшись ответа Привалова, Ляховский вдруг громко захохотал и даже, схватившись за живот руками, забегал, как сумасшедший, по кабинету. Привалов так привык к выходкам этого странного человека, что даже не обиделся на такой странный оборот разговора. Задыхаясь от смеха, Ляховский несколько раз раскрывал рот, чтобы что-то сказать и объяснить Привалову, но только махал безнадежно руками и опять начинал хохотать. На его лбу очки так и прыгали, на висках вспухли толстые синие жилы, и из глаз катились слезы; только приступ удушливого кашля остановил этот гомерический смех, и Ляховский мало-помалу успокоился.

— Сергей Александрыч, извините меня... Ха-ха... — заливался старик, вытирая глаза платком. — Вы только представьте себе картину... О-ха-ха!.. Ох, задохся!.. Вы представьте себе... Половодов... ха-ха-ха!.. Ведь вы знаете, что за человек Половодов: делец в нынешнем вкусе и бонвиван par excellence [1], и вдруг он встречается с Лоскутовым... Ха-ха-ха!.. Ничего подобного в жизни своей не встречал... Все равно, что свести волка с собакой, так и Лоскутова с Половодовым... Александр Павлыч, бедняжка, совсем утратил все свои достоинства и снизошел до последней степени унижения: начал сердиться на Лоскутова за то, видите ли, что тот в тысячу раз умнее его... А у девочек так глазки и разгорелись: ведь поняли, в чем дело, без слов поняли. Это, батенька, целая школа: один такой урок на целую жизнь хватит... Да! И представьте себе: этот самый Александр Павлыч, милый и обязательный человек во всех отношениях, глубоко убежден, что Лоскутов жалкий авантюрист, как сказочная ворона, щеголяющая в павлиньих перьях...

— А Лоскутов давно живет на Урале?

— Да как вам сказать: год... может быть полтора, и никак не больше. Да пойдемте, я вас сейчас позна-

---

[1] по преимуществу, *(франц.)*

комлю с Лоскутовым, — предлагал Ляховский, — он сидит у Зоси...

Привалов испытал некоторое волнение, когда они входили в гостиную Зоси; оттуда доносились громкие голоса. Ляховский бежал трусцой и несколько раз взбил свой кок на голове. Когда они вошли в гостиную, Привалов в первую минуту не заметил, кого искал глазами. На синем атласном диване с тяжелыми шелковыми кистями сидела Зося; рядом с ней, на таком же атласном стуле, со стеганой квадратами спинкой, помещалась Надежда Васильевна; доктор ходил по комнате с сигарой в зубах, заложив свои большие руки за спину. На столе перед диваном в беспорядке стояли чашки с простывшим недопитым кофе и лежала раскрытая книга.

— Максим Лоскутов... — проговорил Ляховский с особенной, крикливой ноткой в голосе.

Из низкого голубого кресла поднялся среднего роста господин и протянул Привалову руку. Это и был Максим Лоскутов. На вид ему можно было дать лет тридцать пять; узкое бледное лицо с небольшой тощей бородкой было слегка тронуто оспой, густые сросшиеся брови и немного вздернутый нос делали его положительно некрасивым. Только большой белый лоб, прикрытый спутанными мягкими темными волосами, да усталый, точно надломленный взгляд больших глаз с приподнятыми внешними углами придавали этому лицу характерный отпечаток. Такие лица не забываются. Небольшая, но плотная фигура Лоскутова, с медленными, усталыми движениями, обличала большую силу и живучесть; короткая кисть мускулистой руки отвечала Привалову крепким пожатием, а светлокарие глаза, того особенного цвета, какой бывает только у южан, остановились на нем долгим внимательным взглядом. Темная визитка Лоскутова, покрытая кое-где пылью и пухом, и смятая сорочка свидетельствовали о вкусах своего хозяина, который, очевидно, не переменил костюма с дороги.

— Ну, я не буду вам мешать, — торопливо заговорил Ляховский. — У меня бездна дел...

В гостиной воцарилось на минуту принужденное,

тяжелое молчание. Привалов чувствовал себя лишним в этом интимном кружке и напряженно молчал.

— Хотите кофе? — предлагала Ляховская.

Привалов отказался.

— Я просил бы вас продолжать ваш прежний разговор, — заметил он, — если только я не мешаю...

— Нет, зачем же мешать, — ответил за них Лоскутов.

XIX

В кабинете Ляховского весело и дружелюбно беседовали с хозяином Половодов и «дядюшка». Особенным оживлением отличался сегодня Половодов. Он фамильярно трепал дядюшку по плечу и старался разогнать в Ляховском те минуты сомнения, которые оставляли на его лбу глубокие морщины и заставляли брови плотно сдвигаться. Ляховский, очевидно, не решался на что-то, чего домогался Половодов; дядюшка держался в стороне и только напряженно улыбался, сохраняя свой розово-херувимский вид.

— Да уж вы, Игнатий Львович, не беспокойтесь, — объяснил Половодов, широко расставляя свои длинные ноги, точно последнее было самым неопровержимым аргументом.

— Я и не беспокоюсь... Нет, не беспокоюсь, — отвечал Ляховский, ерзая в своем ободранном кресле.

— Оскар Филипыч знает *все*... — проговорил, наконец, Половодов, любивший одним ударом разрешать все недоумения.

— Как все? Что такое все? — как-то жалко залепетал Ляховский, испытующе переводя глаза с Половодова на дядюшку. — Кажется, между нами нет никаких особенных секретов...

Половодов неестественно захохотал, запрокинув голову назад, а потом самым беззаботным голосом проговорил:

— Не беспокойтесь и не сомневайтесь, дорогой Игнатий Львович. Вы можете быть совершенно откровенны с Оскаром Филипычем: я объяснил ему все относительно приваловской опеки...

Эти слова для Ляховского были ударом грома, и он только бессильно съежился в своем кресле, как приколотый пузырь. Дядюшка принял серьезный вид и вытянул губы.

— Прежде чем объяснять *все* всякому постороннему человеку, вам не мешало бы посоветоваться со мною, Александр Павлыч, — глухо заговорил Ляховский, подбирая слова. — Может быть, я не желаю ничьего постороннего вмешательства... Может быть, я не соглашусь посвящать никого в мои дела! Может быть... наконец...

— Э, батенька, перестаньте ломать комедию! — с сердцем перебил его Половодов, делая злые глаза. — Вы меня знаете, и я вас хорошо знаю... Что же еще представляться!

— Вы слишком много себе позволяете, Александр Павлыч... я... я...

— Послушайте, Игнатий Львович, — настойчиво продолжал Половодов. — Если я доверился Оскару Филипычу, следовательно, вы можете ему доверять, как мне самому...

«Дурак, дурак и дурак! — с бешенством думал Ляховский, совсем не слушая Половодова. — Первому попавшемуся в глаза немчурке все разболтал... Это безумие! Ох, не верю я вам, никому не верю, ни одному вашему слову... Продадите, обманете, подведете...»

— Я ничего не знаю и умею молчать... — заявил с своей стороны дядюшка, прерывая общее тяжелое молчание.

— Мне до вас решительно никакого нет дела!.. — резко отозвался Ляховский, вскакивая с кресла. — Будете вы говорить или молчать — это меня нисколько не касается! Понимаете: нисколько!..

— Однако так нельзя вести дело, Игнатий Львович, — уговаривал Половодов, — я вас предупреждал, и вы сами согласились...

— Вы лжете!.. Я ни на что не соглашался и не мог согласиться.

Половодов только засвистал, а Ляховский бросился в кресло и враждебным взглядом смерил дядюшку с ног до головы. Беззвучно пожевав губами и поправив кок на голове, Ляховский быстро обратился к дядюшке:

— Ну, а вы что же молчите? Какую такую пользу вы можете принести нашему делу? На что вы надеетесь?

— О, отлично надеюсь...

— «Отлично надеюсь!» — передразнил Ляховский. — Вы говорить-то сначала выучитесь по-русски... Не сегодня-завтра Веревкин отправится хлопотать по опеке, ну, на что же вы надеетесь, позвольте полюбопытствовать?

— Конечно, не на себя, Игнатий Львович, — деловым тоном отвечал немец. — Я — маленький человек, и вы и Александр Павлыч — все мы маленькие люди... А где маленькие мухи запутываются в паутине, большие прорывают ее.

Ляховский пожевал губами, потер лоб рукой и проговорил:

— А вы знаете, что большие мухи любят брать большие куски?

— Из двух зол нужно выбирать меньшее: или лишиться всего, или пожертвовать одной частицей...

— Что же вы думаете делать?

— Для вас прежде всего важно выиграть время, — невозмутимо объяснял дядюшка, — пока Веревкин и Привалов будут хлопотать об уничтожении опеки, мы устроим самую простую вещь — затянем дело. Видите ли, есть в Петербурге одна дама... Она не куртизанка, как принято понимать это слово, но только имеет близкие сношения с теми сферами, где...

— Короче — у нее бывают большие люди? — перебил Ляховский, нетерпеливо ежа свои острые плечи...

— Именно... Если она возьмется за это дело, тогда можно все устроить, решительно все!..

— Но ведь ей нужно платить, этой вашей даме... — застонал Ляховский, хватаясь за голову, — понимаете: пла... тить!!.

— Она берет известный процент с предприятия, смотря по обстоятельствам: пять, десять... Вообще неодинаково!.. Придется, конечно, сделать небольшой авансик, пустяки — каких-нибудь пятнадцать — двадцать тысяч единовременно.

— О-о!.. — завопил Ляховский, точно у него вы-

вали зуб. — Нет, благодарю вас... У меня и денег таких нет! Довольно, довольно...

— Игнатий Львович, что же вы в самом деле? — вступился Половодов. — Дайте хоть рассказать хорошенько, а там и неистовствуйте, сколько душе угодно!

— Я согласен, что двадцать тысяч довольно круглая цифра, — невозмутимо продолжал дядюшка, потирая руки. — Но зато в какой безобидной форме все делается... У нее, собственно, нет официальных приемов, а чтобы получить аудиенцию, необходимо прежде похлопотать через других дам...

— Которым тоже нужно платить!! — вскричал Ляховский, скрипя зубами.

— Да, тысячи три-четыре...

— Да за что же? за что?

— Как за что? — удивился дядюшка. — Да ведь это не какие-нибудь шлюхи, а самые аристократические фамилии. Дом в лучшей улице, карета с гербами, в дверях трехаршинный гайдук, мраморные лестницы, бронза, цветы. Согласитесь, что такая обстановка чего-нибудь да стоит?..

— Стоит, стоит... Ужасно много стоит! — стонал Ляховский.

Ляховский до того неистовствовал на этот раз, что с ним пришлось отваживаться. Дядюшка держал себя невозмутимо и даже превзошел самого Альфонса Богданыча. Он ни разу не повысил тона и не замолчал, как это делал в критические моменты Альфонс Богданыч.

— Да скажите же, ради бога: вы из папье-маше, что ли, сделаны? — кричал Ляховский, тыкая дядюшку пальцем.

После страшной борьбы Ляховский, наконец, согласился с теорией дядюшки «затянуть дело», но все приставал с вопросом:

— А как я могу вас проверить, Оскар Филипыч? Ну, скажите: как?

— Я вам представлю расписки от *самой,* — невозмутимо отвечал дядюшка.

— Вы сами напишете?!.

Выйдя от Ляховского, дядюшка тяжело вздохнул и

отер лоб платком; Половодов тоже представлял из себя самый жалкий вид и смотрел кругом помутившимися глазами.

— Это сам дьявол, а не человек, — проговорил, наконец, дядюшка, когда они вышли из подъезда.

— Хуже дьявола... — согласился Половодов, шаркая ногами. — А все-таки на нашей улице будет праздник...

— Но чего это стоит!.. — вздохнул дядюшка; он был бледен и жалко мигал глазами.

Основной план действия Половодов и дядюшка, конечно, не открыли Ляховскому, а воспользовались им только для первого шага, то есть чтобы затянуть дело по опеке.

XX

Вечерние посещения бахаревского дома Привалову уже не доставляли прежнего удовольствия. Та же Павла Ивановна с своим вечным вязаньем, та же Досифея, та же Марья Степановна с своими воспоминаниями, когда люди жили «по-истовому». Это однообразие нарушалось только появлением Верочки, которая совсем привыкла к Привалову и даже вступала с ним в разговор, причем сильно краснела каждый раз и не знала, куда девать руки. Привалову нравилось разговаривать с этой свежей, нетронутой девушкой, которая точно заражала своей молодостью даже степенные покои Марьи Степановны.

— У нас скучно, — говорила Верочка, несмело взглядывая на Привалова.

— Почему скучно?

— Да так... Никого не бывает почти.

— А знакомые?

— Да кто у нас знакомые: у папы бывают золотопромышленники только по делам, а мама знается только со старухами да старцами. Два-три дома есть, куда мы ездим с мамой иногда; но там еще скучнее, чем у нас. Я замечала, что вообще богатые люди живут скучнее бедных. Право, скучнее...

— А ведь это верно, — засмеялся Привалов. — А если бы вам предложили устроить все по-своему, вы как бы сделали?

Верочка не ожидала такого вопроса и недоверчиво посмотрела на Привалова; но его добродушный вид успокоил ее, и она наивно проговорила:

— Я бы устроила так, чтобы всем было весело... Да!.. Мама считает всякое веселье грехом, но это неправда. Если человек работает день, отчего же ему не повеселиться вечером? Например: театр, концерты, катание на тройках... Я люблю шибко ездить, так, чтобы дух захватывало!

— Вы разве не бываете в театре?

— Очень редко... Ведь мама никогда не ездит туда, и нам приходится всегда тащить с собой папу. Знакомых мало, а потом приедешь домой, — мама дня три дуется и все вздыхает. Зимой у нас бывает бал... Только это совсем не то, что у Ляховских. Я в прошлом году в первый раз была у них на балу, — весело, прелесть! А у нас больше купцы бывают и только пьют...

Мало-помалу Привалов вошел в тот мир, в каком жила Верочка, и он часто думал о ней: «Какая она славная...» Надежда Васильевна редко показывалась в последнее время, и если выходила, то смотрела усталою и скучающею. Прежних разговоров не поднималось, и Привалов уносил с собой из бахаревского дома тяжелое, неприятное раздумье.

Раз, когда Привалов тихо разговаривал с Верочкой в синей гостиной, издали послышались тяжелые шаги Василия Назарыча. Девушка смутилась и вся вспыхнула, не зная, что ей делать. Привалов тоже почувствовал себя не особенно приятно, но всех выручила Марья Степановна, которая как раз вошла в гостиную с другой стороны и встретила входившего Василия Назарыча. Старик, заметив Привалова, как-то немного растерялся, а потом с улыбкой проговорил:

— Ну, ты что же ко мне-то не заходишь?

— Да вы все были заняты, Василий Назарыч...

— Занят-то занят — это верно, а ты заходи.

Старик остался в гостиной и долго разговаривал с Приваловым о делах по опеке и его визитах к опеку-

нам. По лицу старика Привалов заметил, что он недоволен чем-то, но сдерживает себя и не высказывается. Вообще весь разговор носил сдержанный, натянутый характер, хотя Василий Назарыч и старался казаться веселым и приветливым попрежнему.

— А где же Надя? — спросил старик Марью Степановну.

— Да ей нездоровится что-то... — подобрав губы, ответила Марья Степановна. — Все это от ваших книжек: читает, читает, ну и попритчится что ни на есть.

Бахарев рассмеялся и, взглянув на Верочку, любовно проговорил:

— Ну, а ты, коза, «в книжку не читаешь»?

— Оставь ты ее, ради Христа, — вступилась Марья Степановна за свою любимицу, которая до ушей вспыхнула самым ярким румянцем.

После этой сцены Привалов заходил в кабинет к Василию Назарычу, где опять все время разговор шел об опеке. Но, несмотря на взаимные усилия обоих разговаривавших, они не могли попасть в прежний хороший и доверчивый тон, как это было до размолвки. Когда Привалов рассказал все, что сам узнал из бумаг, взятых у Ляховского, старик недоверчиво покачал головой и задумчиво проговорил:

— Все это не то... нет, не то! Ты бы вот на заводы-то сам съездил поскорее, а поверенного в Мохов послал, пусть в дворянской опеке наведет справки... Все же лучше будет...

У Ляховского тоже было довольно скучно. Зося хмурилась и капризничала. Лоскутов жил в Узле вторую неделю и часто бывал у Ляховских. О прежних увеселениях и забавах не могло быть и речи; Половодов показывался в гостиной Зоси очень редко и сейчас же уходил, когда появлялся Лоскутов. Он не переваривал этого философа и делал равнодушное лицо.

— Отчего вы не любите Максима? — допытывалась Зося, но Половодов только поднимал плечи и издавал неопределенное мычание.

Скоро Привалов заметил, что Зося относится к Надежде Васильевне с плохо скрытой злобой. Она постоянно придиралась к ней в присутствии Лоскутова, и

ее темные глаза метали искры. Доктор с тактом истинно светского человека предупреждал всякую возможность вспышки между своими ученицами и смотрел как-то особенно задумчиво, когда Лоскутов начинал говорить. «Тут что-нибудь кроется», — думал Привалов.

Однажды, в середине июля, в жаркий летний день, Привалов долго и бесцельно бродил по саду, пока не устал и не забрался в глубину сада, в старую, обвалившуюся беседку. Он долго мечтал здесь, не замечая, как бежало время. Тихий разговор вывел его из задумчивости. Кто-то шел по узенькой аллее прямо к нему. Едва он успел сообразить всю невыгодность своей позиции, как из-за шпалеры темнозеленых пихт показалась стройная фигура Надежды Васильевны; она шла рядом с Лоскутовым. Привалов хотел выйти из своей засады, но почему-то остался на месте и только почувствовал, как встрепенулось у него в груди сердце.

— Сядем здесь, Максим... Я устала, — послышался голос Надежды Васильевны, и затем она сейчас же прибавила: — Я не желала бы встретить Привалова.

— Почему? — спрашивал Лоскутов, усаживаясь прямо на траву. — Он мне нравится... Очень хороший человек!

Привалов очутился в некоторой засаде, из которой ему просто неловко было выйти. «Сядем» — резнуло его по уху своим слишком дружеским тоном, каким говорят только с самыми близкими людьми.

— Привалов действительно хороший человек, — соглашалась девушка, — но нам с тобой он принес немало зла. Его появление в Узле разрушило все планы. Я целую зиму подготовляла отца к тому, чтобы объявить ему... ну, что мы...

Надежда Васильевна тихо засмеялась, и до Привалова долетел звук поцелуев, которыми она награждала философа. Вся кровь бросилась в голову Привалова, и он чувствовал, как все закружилось около него.

— Я все-таки не понимаю, чем тут провинился Привалов, — сказал Лоскутов.

— А тем и провинился, что отец и мать сходят с ума от одной мысли породниться с Приваловым...

— Да ведь отец, кажется, разошелся с ним?

— Разошелся... Но ведь ты не знаешь совсем, что за человек мой отец. Теперь он действительно очень недоволен Приваловым, но это еще ничего не значит. Привалов все-таки остается Приваловым.

— Именно?

— Именно? — повторила Надежда Васильевна вопрос Лоскутова. — А это вот что значит: что бы Привалов ни сделал, отец всегда простит ему все, и не только простит, но последнюю рубашку с себя снимет, чтобы поднять его. Это слепая привязанность к фамилии, какое-то благоговение пред именем... Логика здесь бессильна, а человек поступает так, а не иначе потому, что *так нужно*. Дети так же делают...

— Но ведь это не дети, Надя...

— Разница в том, что у этих детей все средства в руках для выполнения их *так нужно*. Но ведь это только со стороны кажется странным, а если стать на точку зрения отца — пожалуй, смешного ничего и нет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В бахаревском доме царствовала особенная, зловещая тишина, и все в доме чувствовали на себе ее гнет.

Сумрачный и неприветливый сидит в своей каморке старый Лука. С утра до вечера теперь брюзжит и ворчит старик и, чтобы разогнать скуку, все что-нибудь чистит: то ручку у дверей, то шарниры, то бронзовую накладку с надписью: «Для писем и газет». Последнюю Лука чистит с особенным ожесточением, точно старается ее задобрить. Железный ящик, прикрепленный к двери с внутренней стороны, в глазах Луки имеет какое-то особенное, таинственное значение: из этого небольшого ящика налетают на бахаревский дом страшные минуты затишья, и Лука с суеверным страхом подходит к нему каждое утро.

Однажды, когда Лука принес письмо, Василий Назарыч особенно долго читал его, тер себе рукой больное колено, а потом проговорил:

— Ну, Лука, наши с тобой дела плохи...

У Луки екнуло сердце от этих слэв, и он раскрыл рот, приготовившись выслушать неприятное известие.

— На Варваринском прииске плохо, — объяснил Василий Назарыч, не глядя на старика. — Значит, летом нам работать негде будет...

Вот с этого времени и сделалось в бахаревском доме особенно тихо, точно кто придавил рукой прежнее веселье.

Начиналась уже осень, хотя еще стоял август. Было два таких холодных утренника, что весь бахаревский сад покрылся желтыми пятнами, а цветник во дворе почернел совсем. Дни становились короче, а по ночам поднимался сильный ветер, который долго-долго гудел в саду, перебирая засохшие листья и со свистом врываясь в каждую щель. Суеверный Лука крестится и творит молитву, когда хлопнет железным листом на крыше или завоет в трубе. Сейчас же за стеной был кабинет Василия Назарыча, и старик далеко за полночь прислушивался к каждому звуку, доносившемуся к нему оттуда. Василий Назарыч тоже подолгу не спит по ночам и все что-то пишет и откладывает на счетах. «Ох! Все это от проклятых писем», — думает про себя Лука, прислушиваясь к каждому звуку.

Днем старику как будто веселее, и он все поглядывает через двор, в людскую, где всем верховодит немая Досифея. У Марьи Степановны не было тайн от немой, и последняя иногда делилась ими с Лукой, хотя с большой осторожностью, потому что Лука иногда мог и сболтнуть лишнее, особенно под пьяную руку. Придет Лука в кухню, подсядет к самому столу, у которого командует Досифея, и терпеливо ждет, когда она несколькими жестами объяснит все дело. Здесь Лука узнал, что у «Сереженьки» что-то вышло с старшей барышней, но она ничего не сказывает «самой»; а «Сереженька» нигде не бывает, все сидит дома и, должно быть, болен, как говорит «сама».

— Которая уж неделя пошла... — вздыхает Лука.

Старик, под рукой, навел кое-какие справки через Ипата и знал, что Привалов не болен, а просто заперся у себя в комнате, никого не принимает и сам никуда не идет. Вот уж третья неделя пошла, как он и глаз не кажет в бахаревский дом, и Василий Назарыч несколько раз справлялся о нем.

— Сам-то ничего не знает, — объясняла Досифея, — и никто не знает...

II

Однажды, когда Лука особенно сильно хандрил с раннего утра и походя грыз Игоря, сильный звонок у подъезда просто взбесил степенного старика.

— Кого это черт принес! — ругался Лука, нарочно медля отворить двери. — Точно на пожар трезвонит... Наверно, аблакат какой-нибудь, прости ты меня, истинный Христос!

Звонок повторился с новой силой, и когда Лука приотворил дверь, чтобы посмотреть на своего неприятеля, он даже немного попятился назад: в дверях стоял низенький толстый седой старик с желтым калмыцким лицом, приплюснутым носом и узкими черными, как агат, глазами. Облепленный грязью татарский азям и смятая войлочная шляпа свидетельствовали о том, что гость заявился прямо с дороги.

— Господи Исусе Христе... — ужаснулся Лука, отступая из своей позиции, и прибавил: — Да ведь это никак ты, Данила Семеныч?..

— А ты возьми глаза-то в зубы, да и посмотри, — хрипло отозвался Данила Семеныч, грузно вваливаясь в переднюю. — Что, не узнал, старый хрен? Девичья память-то у тебя под старость стала... Ну, чего вытаращил на меня шары-то? Выходит, что я самый и есть.

Гость хрипло засмеялся, снял с головы белую войлочную шляпу и провел короткой пухлой рукой по своей седой щетине.

— Данила Семеныч... голубчик... Да откедова ты взялся-то? — взметался Лука. — Угодники бессребренники... Зачем ты приехал-то?

— Ну, ну, запричитал, старый хрен... Не с неба упал на тебя!.. Завтра двадцатый день пойдет, как с Саяна...

— С прииску?

— Обнаковенно... А то откуда?.. Ну, да нечего с тобой бобы-то разводить... Старик-то дома?

— Дома, дома...

— Ну, я к нему сейчас... пойду...

— Ну, уж я тебя в таком виде не пущу, Данила Семеныч. Ты хоть образину-то умой наперво, а то

испугаешь еще Василия-то Назарыча. Да приберись малость, — вон на тебе грязищи-то сколько налипло...

— Грязцы точно что захватил дорогой-то... Не раздеваясь, гнал три недели!.. Рука даже опухла от подзатыльников ямщикам... Ей-богу!..

— Да ну тебя, подь ты к чòмору! — отмахивался Лука, затаскивая гостя в свою каморку. — Все у тебя, Данила Семеныч, хихи да смехи... Ты вот скажи, зачем к нам объявился-то?

— Объявился — и вся тут, — коротко сказал Данила Семеныч, с трудом стаскивая с своих богатырских плеч стоявший лубом азям, под которым оказался засаленный татарский бешмет из полосатой шелковой материи.

— Ох, чует мое сердечушко, што не к добру ты нагрянул, — причитал Лука, добывая полотенце из сундучка. — Василий-то Назарыч не ждал ведь тебя, даже нисколько не ждал, а ты, на-поди, точно снег на голову...

— Я люблю скоро все делать...

— Хошь бы письмо написал, што ли... Ведь много писал... Я сам носил твои-то письма к барину!

— Раньше писал, а теперь не о чем... Да и письмо долго, а я живой ногой долетел. Нет ли у тебя пропустить чего-нибудь? Горло пересохло...

— Да ведь ты дорогой-то, поди, на каждом станке прикладывался? Вон, глаза-то совсем заплыли...

— Был и такой грех, Лука, был грех...

— Знаю, знаю: как приехал в город, сейчас и зарядил? Хе-хе-хе...

Данила Семеныч только бессильно махнул рукой и принялся умываться. Лука долго и безмолвно следил за процессом умыванья, а потом что-то вспомнил и торопливо побежал из каморки.

— Куда ты потащился? — спрашивал Данила Семеныч, намыливая свои жилистые, бронзовые руки.

— Сейчас, сейчас... обожди малость; я живой ногой.

— Ты, смотри, не болтай самой-то...

Но Лука не слышал последних слов и на всех парах летел на половину Марьи Степановны. Добежав до

комнаты Надежды Васильевны, старик припал к замочной скважине и прошептал...

— Барышня, а барышня... На один секунд...

— Чего тебе, Лука? — отозвалась Надежда Васильевна, показываясь в дверях.

— Матушка, барышня, да тот приехал, эфиоп-то наш... Ей-богу! У меня в каморке сидит...

— Да кто приехал?

— Ах, угодники бессребренники!.. Да Данила Семеныч приехал... А уж я по его образине вижу, што он не с добром приехал: и черт-чертом, страсть глядеть. Пожалуй, как бы Василия-то Назарыча не испужал... Ей-богу! Вот я и забежал к вам... потому...

Надежда Васильевна, не слушая болтовни Луки, торопливо шла уже в переднюю, где и встретилась лицом к лицу с самим Данилой Семенычем, который, очевидно, уже успел пропустить с приезда и теперь улыбался широчайшей, довольной улыбкой, причем его калмыцкие глаза совсем исчезали, превращаясь в узкие щели.

— Ах, старый хрен, успел уж набрехать по всему дому, — проговорил он, косясь на Луку. — Здравствуйте, барышня... Хорошеете, сударыня, да цветете.

Данила Семеныч поцеловал руку, которую ему протянула Надежда Васильевна, и прибавил самым невинным тоном:

— А вот я и приехал... Да.

— Да с чем приехали-то, Данила Семеныч?

— А так... делать больше нечего на приисках, ну я и махнул.

— Как нечего делать?

— Да так...

Данила Семеныч сделал выразительный жест рукой и опять засмеялся.

— Дрянь дело, Надежда Васильевна... За папенькой вашим приехал.

— Вы одну минуту подождите здесь, — проговорила Надежда Васильевна, оставляя гостя в зале. — Я сейчас проведаю папу, он, кажется, не совсем здоров...

Василий Назарыч сидел в своем кресле и просматри-

вал последний номер газеты. Подняв глаза, он улыбнулся дочери и протянул ей руку.

— Я думала, что у тебя сидит доктор,— солгала Надежда Васильевна, не зная, как ей приступить к делу.

— Доктор заезжает вечером, а теперь полдень...

— Ну, а что твоя нога, папа?

— К весне доктор обещает ее починить, голубчик. Только ведь смерть моя сидеть здесь без всякого дела...

— А ты не ждешь сюда Данилы Семеныча?

— Нет; а что?

— Я так спросила... Я из своей комнаты видела, точно он проехал к нам.

— Не может быть!..

— Мне показалось... Может быть, я ошибаюсь.

Старик тревожным взглядом посмотрел на дочь и потер свое больное колено. В это время из залы донесся хриплый смех Данилы Семеныча, и побледневший как полотно Бахарев проговорил:

— Да ведь он здесь, Надя... Это он хохочет?!.

— Да, он, папа... Мне можно побыть здесь, пока он будет у тебя?..

— Нет, голубка... после... вечером. Пошли его сюда.

Надежда Васильевна поцеловала отца в лоб и молча вышла из кабинета. Данила Семеныч, покачиваясь на своих кривых ногах, ввалился в кабинет.

— Ох, быть беде, барышня... — шептал Лука, провожая Надежду Васильевну. — Уж я верно вам говорю...

— Ты сиди пока здесь и слушай, — просила девушка, — я боюсь, чтобы с папой не сделалось дурно... Понял? Чуть что, сейчас же скажи мне.

— Будьте спокойны: в один секунд... Чуть ежели что — я живой ногой... А Данила неспроста приехал, я уж по его косым глазам вижу... Ей-богу!.. Ох-хо-хо!..

III

Только что Надежда Васильевна пришла в свою комнату, как почти сейчас же за нею прибежала Верочка, вся перепуганная и бледная. Она едва могла проговорить:

— Папа кричит так страшно... Надя, голубчик, беги скорее, ради бога, скорее!.. У них что-то произошло... Лука плачет... Господи, да что же это такое?!

Верочка тихо заплакала, закрыв лицо руками.

Когда Надежда Васильевна проходила по столовой, до нее донеслись чьи-то отчаянные крики: она не узнала голоса отца и бегом бросилась к кабинету. Отворив двери, Надежда Васильевна увидела такую картину: Данила Семеныч стоял в углу, весь красный, с крупными каплями пота на лбу, а Василий Назарыч, не помня себя от ярости, бросался из угла в угол, как раненый зверь. Он был страшен в эту минуту и с пеной у рта, сжав кулаки, несколько раз подступал к самому носу Данилы Семеныча. Взрыв бешенства парализовал боль в ноге, и старик с помутившимися глазами рвал остатки седых волос на своей голове.

— Ты меня зарезал... Понимаешь: *за-ре-зал*... — неистово выкрикивал Василий Назарыч каким-то диким, страшным голосом. — На старости лет пустил по миру всю семью!.. Все погубил!!. всех!!.

— Бог милостив, Василий Назарыч... — осмелился заметить Данила Семеныч, когда Надежда Васильевна показалась на пороге. — Поправимся...

— Поправимся?!. Нет, я тебя сначала убью... жилы из тебя вытяну!!. Одно только лето не приехал на прииски, и все пошло кверху дном. А теперь последние деньги захватил Работкин и скрылся... Боже мой!!. Завтра же еду и всех вас переберу... Ничего не делали, пьянствовали, безобразничали!!. На кого же мне положиться?!.

Надежда Васильевна показала глазами Даниле Семенычу на дверь, и тот выполз из кабинета. Наступило тяжелое молчание, показавшееся отцу и дочери вечностью. Девушка села на диван и ждала, пока отец, бегая по кабинету, продолжал неистовствовать, порываясь к двери, точно он хотел догнать Данилу Семеныча. Из бессвязного потока проклятий Надежда Васильевна узнала пока то, что последние деньги, какие были посланы Бахаревым на прииски, украдены бежавшим кассиром Работкиным. Она молчала, давая отцу полную волю излить свое бешенство; в такие минуты

подступаться к нему — значило подливать масла в огонь. Эта сцена продолжалась с полчаса, пока, наконец, Василий Назарыч с глухими рыданиями не бросился в свое кресло. Гроза была на исходе, и Надежда Васильевна проговорила:

— Папа, зачем же ты так волнуешься? Ведь этим дела не поправить... Нужно успокоиться, а потом и обсудить все обстоятельства.

— У нас теперь одни обстоятельства: мы — нищие!! — закричал старик, опять вскакивая с своего кресла.

Но пароксизм бешенства заметно проходил. Слезы мешались с проклятиями и стонами, пока не перешли в то тяжелое, полусознательное состояние, когда человек начинает грезить наяву.

— Я один, один... — стонал Василий Назарыч, закидывая голову на спинку кресла. — Не на кого положиться... Ох, хоть бы умереть скорее!.. Нищета, позор... О, боже мой!!!

IV

Данила Семенович Шелехов был крещеный киргиз, купленный еще дедом Сергея Привалова в одну из жестоких степных голодовок. Обезумевшие от голода родители с большим удовольствием продали шустрого ребенка за мешок муки и пару плохих сапогов. Степняк-киргизенок, как пойманный зверек, был завезен сначала в Шатровские заводы, а потом попал в Узел. В первое время он совсем затерялся в толпе многочисленной дворни и несколько лет прислуживал магнату-заводчику в качестве казачка. Уже подростком, когда старик Гуляев открыл свои прииски в Сибири, Шелехов попал к нему и там вышел на свою настоящую дорогу. Впоследствии он работал вместе с Бахаревым, который заведовал гуляевскими приисками, и вместе с ним перешел к Александру Привалову.

По своей натуре Шелехов остался настоящим степняком; его характер представлял самую пеструю смесь достоинств и недостатков. Предоставленный самому себе, он, вероятно, скоро бы совсем смотался в закру-

жившем его вихре цивилизованной жизни, но его спасли золотые промыслы, которые по своей лихорадочной, азартной деятельности как нельзя больше соответствовали его характеру. Здесь, на промыслах, у Шелехова выработалась та репутация, благодаря которой он сделался своим человеком в среде золотопромышленников. В поисках за золотом, на разведках по тайге и непроходимой глуши Шелехов был незаменимым человеком. Его железная натура, кажется, не знала, что такое усталость, и жить по целым месяцам в глубине тайги, по неделям спать под прикрытием полотняной палатки на снегу в горах, делать тысячеверстные экскурсии верхом — во всех этих подвигах Данила Шелехов не знал соперников. Затем долголетняя практика выработала у Шелехова известный «золотой инстинкт»: он точно чутьем знал, где в земле скрывается золото, и старый Бахарев часто советовался с ним в трудных случаях.

Но насколько хорош и незаменим был Шелехов на разведках, настолько же он был несносен и даже жалок во все остальное время, когда все дело сводилось на систематический, упорный труд. Шелехов мог работать только порывами, с изумительной энергией и настойчивостью, но к правильному труду он положительно был неспособен.

Самой замечательной особенностью Шелехова было то, что стоило ему только раз вырваться с прииска и попасть куда-нибудь в город, — он разом спускал все, что копил в течение нескольких лет. С ним не было в этих случаях никакого сладу, и Бахарев терпеливо ждал того момента, когда у загулявшего Данилы Семеныча вылетит из кармана последний грош.

— Ну что, отзвонился? — спросит только Василий Назарыч, когда Шелехов, наконец, появится в его кабинете, с измятым лицом и совсем оплывшими глазами.

— Совсем готов, Василий Назарыч...

— Оно и на душе легче; отзвонил — и с колокольни долой.

— В лучшем виде, Василий Назарыч; отпустили в чем мать родила.

Марья Степановна глубоко веровала в гений Данилы Семеныча. Она была убеждена, что у Шелехова от природы «легкая рука» на золото и что стоит ему только уйти с приисков, как все там пойдет шиворот-навыворот. Поэтому после вспышки со стороны Василия Назарыча Данила Семеныч увлекался на половину «самой», где его поили чаем, ублажали, и Марья Степановна снисходила даже до того, что из собственных рук подносила ему серебряную чарку анисовки. Эта чарка в глазах суеверной старухи имела особенное значение, потому что из нее кушал анисовку еще сам Павел Михайлович. Когда Шелехов прокучивал все и даже спускал с себя шелковый бешмет, ему стоило только пробраться на кухню к Досифее, и все утраченное платье являлось как по мановению волшебного жезла, а самого Данилу Семеныча для видимости слегка журили, чтобы потом опохмелить и обогреть по всем правилам раскольничьего гостеприимства.

Так и после бури в кабинете Василия Назарыча Шелехов пробрался на половину «самой», где его уже ждала чарка анисовки и кипевший на столе самовар.

— Што больно шумели там? — с приветливой строгостью спрашивала Марья Степановна, указывая глазами на половину мужа.

— Маненько побеседовали... — ухмыльнулся Шелехов, вытирая вспотевшее лицо платком.

— Хороша беседа, нечего сказать!

— Да уж такой случай вышел, матушка Марья Степановна. Ежели разобрать, так оно, пожалуй, следовало бы и поколотить за наши провинности...

— А много набедокурил там, на приисках-то?

— Ох, и не спрашивай, голубушка Марья Степановна!..

— Народ разогнали?

— Разогнали...

— А еще-то што?

— Кассира-то, Работкина, помнишь? Ну, он, подлец, захватил последние денежки и удрал с ними... Уж я его искал-искал, — точно в воду канул.

— А все это водочка тебя, Данилушка, доводит до беды.

— Она, проклятая, — смиренно соглашался Данилушка. — Как теперь из беды выпутаемся — одному господу известно...

— А выпутывайся, коли умел попадаться, —наставительно заметила Марья Степановна.

Шелехов оглянулся осторожно кругом и, наклонившись к самому уху Марьи Степановны, своим сиплым хрипом прошептал:

— Местечко есть на примете, голубушка... Ох, хорошо местечко! Только я теперь самому-то ничего не сказал, пусть у него сперва сердце-то отойдет маненько. Бурят один сплоха натакался на местечко-то.

Это известие совсем успокоило старуху, и она ласково проговорила Данилушке:

— А ты бы поменьше водку-то трескал, отдохнуть бы ей дал, а то ведь лица на тебе нет: все заплыло под один пузырь.

— Это от дороги, Марья Степановна... Ведь двадцать ден гнал сюды; так запаливал, в том роде, как генерал-губернатор.

За чаем Марья Степановна поведала своему Данилушке все свои огорчения и печали. Данилушка слушал, охал и в такт тяжелым вздохам Марьи Степановны качал своей победной буйной головушкой.

— А ты слышал про Сережу-то Привалова? — спрашивала Марья Степановна, когда Данилушка допивал уже третий стакан чаю.

— Нет, а што?

— Здесь он ноне живет, в Узле...

От этого известия Данилушка даже привскочил на месте и только проговорил:

— Как здесь?

— А так, приехал и живет.

— У вас-то бывает часто, поди?

— Раньше-то бывал, а вот теперь которую неделю и глаз не кажет. Не знаю уж, што с ним такое приключилось.

— Я так полагаю, што болесть какая прикинулась, — полувопросительно заметил Данилушка.

— Может, и болесть, а может, и нет, — таинственно ответила Марья Степановна и в свою очередь, оглядев-

шись кругом, рассказала Данилушке всю историю пребывания Привалова в Узле, причем, конечно, упомянула и о контрах, какие вышли у Василия Назарыча с Сережей, и закончила свой рассказ жалобами на старшую дочь, которая вся вышла в отца и, наверно, подвела какую-нибудь штуку Сереже.

От Данилушки у Марьи Степановны не было семейных тайн: свой человек был в доме, да и на язык крепок, — хоть топором руби, не выдаст.

— Есть причина, беспременно есть, — глубокомысленно заметил Данилушка, почесывая затылок. — Видел я даве барышню нашу — прынцесса... Хошь кому не стыдно показать: как маков цвет цветет!

— Цветет-то она цветет, да кабы не отцвела скоро, — с подавленным вздохом проговорила старуха, — сам знаешь, девичья краса до поры до время, а Надя уж в годах, за двадцать перевалило. Мудрят с отцом-то, а вот счастья господь и не посылает... Долго ли до греха — гляди, и завянет в девках. А Сережа-то прост, ох как прост, Данилушка. И в кого уродился, подумаешь... Я так полагаю, што он в мать, в Варвару Павловну пошел.

— Ужо я схожу к нему, — задумчиво сказал Шелехов.

— Сходи, Данилушка, проведай... Мне-то неловко к нему послов посылать, а тебе за попутьем сходить.

V

Привалов по целым часам лежал неподвижно на своей кушетке или, как маятник, бродил из угла в угол. Но всего хуже, конечно, были ночи, когда все кругом затихало и безысходная тоска наваливалась на Привалова мертвым гнетом. Он тысячу раз перебирал все, что пережил в течение этого лета, и ему начинало казаться, что все это было только блестящим, счастливым сном, который рассеялся как туман.

Хиония Алексеевна зорко следила за ним. Для нее было ясно, что с Приваловым случилось что-то необыкновенное, но что случилось — она не знала и терялась

в тысяче предположений. Главное противоречие, сводившее ее с ума, заключалось в том, что Бахаревы ловили выгодного жениха, а выгодный жених давно таращил глаза на богатую невесту... Неужели же она отказала ему, Привалову, миллионеру? Нет, этого не могло быть! Это немыслимо... Не влюбился ли Привалов в Зосю? Нет ли у этой гордячки Nadine какой-нибудь таинственной истории, которую Привалов мог открыть как-нибудь случайно? Хиония Алексеевна напрасно билась своей остроумной головой о ту глухую стену, которую для нее представляли теперь эти ненавистные Бахаревы, Половодовы и Ляховские.

«Разве навестить Привалова под предлогом участия к его здоровью?» — думала иногда Хиония Алексеевна, но сейчас же откладывала в сторону эту вздорную мысль.

Она своими ушами слышала, что Привалов отдал Ипату категорический приказ решительно никого не принимать, даже Nicolas Веревкина. А этот дурак, Ипат, кажется, на седьмом небе в своей новой роли и с необыкновенной дерзостью отказывает всем, кто приезжает к Привалову. Заезжали Половодов, Виктор Васильич, доктор, — всем один ответ: «Барин не приказали принимать...» Виктор Васильич попробовал было силой ворваться в приваловскую половину, но дверь оказалась запертой, а Ипат, вдобавок, загородил ее, как медведь, своей спиной.

— Скажи своему барину, олух ты этакий, что я умер, — ругался Виктор Васильич. — Понимаешь: умер?.. Так и скажи...

Nicolas Веревкин приезжал несколько раз — и совершенно безуспешно. Этот никогда не терявший присутствия духа человек проговорил, обращаясь к Хионии Алексеевне, только одну фразу: «Ну, Хиония Алексеевна, только и жилец у вас... а? Уж вы не заперли ли его в своем пансионе под замок?»

Хиония Алексеевна испытывала муки человека, поджариваемого на медленном огне, но, как известно, счастливые мысли — дети именно таких безвыходных положений, поэтому в голове Хионии Алексеевны, наконец,

мелькнула одна из таких мыслей, — именно мысль послать к Привалову Виктора Николаича.

— Я думаю, что ты сегодня сходишь к Сергею Александрычу, — сказала Хиония Алексеевна совершенно равнодушным тоном, как будто речь шла о деле, давно решенном. — Это, наконец, невежливо: жилец живет у нас чуть не полгода, а ты и глаз к нему не кажешь. Это не принято... Все я да я: не идти же мне самой в комнаты холостого молодого человека!..

— А я-то зачем к нему пойду? — упавшим голосом проговорил Виктор Николаич.

— Как зачем? Вот мило... Снеси газеты и извинись, что раньше не догадался этого сделать... Понял?

Виктор Николаич отправился. Через минуту до ушей Хионии Алексеевны донесся его осторожный стук в дверь и голос Привалова: «Войдите...»

— Извините... — бормотал Заплатин, пряча газеты за спиной, — я, кажется, помешал вам... Вот газеты...

— Если не ошибаюсь... — заговорил Привалов.

— Я самый... да... Виктор Николаич Заплатин... Да.

— Очень приятно. Садитесь, пожалуйста...

Они посмотрели друг другу в глаза: Привалов был бледен и показался Заплатину таким добрым, что язык Виктора Николаича как-то сам собой проговорил:

— Вы уж извините меня, Сергей Александрыч... Я не пошел бы беспокоить вас, да вот Хина пристала, ей-богу...

Привалов с недоумением посмотрел на своего смущенного гостя и улыбнулся: ему сразу понравился этот бедный «муж своей жены». Сначала его неприятно удивил неожиданный визит, а теперь он даже был рад присутствию живого человека. Виктор Николаич в первую минуту считал себя погибшим, — проклятый язык сегодня губил его второй раз, но улыбка Привалова спасла его. Через четверть часа они беседовали самым мирным образом, как старые знакомые, что безгранично удивило Матрешку, считавшую барина решительно неспособным к «словесности».

Уже распростившись и идя к двери, Виктор Николаич вдруг вернулся и спросил:

— А вы слышали, Сергей Александрыч, новость?

— Какую?

— Да весь город об этом говорит...

— Именно?

— Василий-то Назарыч того-с... обанкрутился...

Это известие было так неожиданно, что Привалов с особенным вниманием посмотрел на Виктора Николаича, уж не бредит ли он.

— Это верно-с... — продолжал Заплатин. — Все в один голос кричат... А моей Хине, знаете, везде забота: с утра треплется по городу.

— Как же это так... вдруг...

— Да уж так-с... Все вдруг банкротятся. Сказывают, кассир у них с деньгами убежал.

VI

Весть о разорении Бахаревых уже успела облететь весь город. Кто разнес ее, какими путями она побывала везде — трудно сказать. Дурные вести, как вода, просачиваются сквозь малейшие скважины. Заплатина узнала о разорении Бахаревых, конечно, одна из первых и поспешила на месте проверить собранные новости, а главное — ей хотелось посмотреть, как теперь чувствует себя Марья Степановна и гордячка Nadine. «И поделом! — восклицала в гостиной Агриппины Филипьевны эта почтенная дама. — А то уж очень зазнались... Ах, интересно теперь взглянуть на них!» Хиония Алексеевна, конечно, не забыла, как приняла ее Марья Степановна в последний раз, но любопытство брало верх над всеми ее чувствами, а она никогда не могла с ним справиться. К тому же теперь она поедет не к прежней Марье Степановне.

Итак, Хиония Алексеевна со свойственной ей развязностью влетела на половину Марьи Степановны, громко расцеловала хмурившуюся Верочку и, торопливо роняя слова, затараторила:

— Ах, mon ange, mon ange... Я так соскучилась о вас! Вы себе представить не можете... Давно рвалась к вам, да все проклятые дела задерживали: о том позаботься, о другом, о третьем!.. Просто голова кругом...

А где мамаша? Молится? Верочка, что же это вы так изменились? Уж не хвораете ли, mon ange?..

— Мама в моленной, я сейчас схожу за ней.

Верочка не торопясь вышла из комнаты; болтовня и радость Хины неприятно поразили ее, и в молодом сердце сказалась щемящая нотка. Чему она радуется? Неужели Хина успела уже разнюхать? Верочка закусила губу, чтобы не заплакать от злости.

Дожидаясь Марьи Степановны в ее гостиной, Хиония Алексеевна испытывала неподдельное волнение — как-то выйдет к ней Марья Степановна? А с другой стороны, теперь она отнеслась с совершенно новым чувством к той обстановке, пред которою еще недавно благоговела. Хина спокойно осматривалась кругом, точно была здесь в первый раз, и даже прикинула в уме, сколько стоят, примерно, находившиеся в этой гостиной вещи и вещицы. Собственно, мебель ничего не стоила: ну, ковры, картины, зеркала еще туда-сюда; а вот в стеклянном шкафике красовались японский фарфор и китайский сервиз — это совсем другое дело, и у Хины потекли слюнки от одной мысли, что все эти безделушки можно будет приобрести за бесценок.

— Ах, Марья Степановна... — вскинулась всем своим тщедушным телом замечтавшаяся Хина, когда на пороге гостиной показалась высокая фигура самой хозяйки.

При виде улыбавшейся Хины у Марьи Степановны точно что оборвалось в груди. По блудливому выражению глаз своей гостьи она сразу угадала, что их разорение уже известно целому городу, и Хиония Алексеевна залетела в их дом, как первая ворона, почуявшая еще теплую падаль. Вся кровь бросилась в голову гордой старухи, и она готова была разрыдаться, но во-время успела собраться с силами и протянула гостье руку с своей обыкновенной гордой улыбкой.

— Ах, извините меня, извините меня, Марья Степановна... — рассыпалась Хина, награждая хозяйку поцелуем. — Я все время была так завалена работой, так завалена... Вы меня поймете, потому что можете судить по собственным детям, чего они стоят родителям. Да!

А тут еще Сергей Александрыч... Но вы, вероятно, уже слышали, Марья Степановна?

Марья Степановна отнеслась совершенно безучастно к болтовне Хины и на ее вопрос только отрицательно покачала головой. Чтобы ничем не выдать себя, Марья Степановна потребовала самовар и послала Верочку за вареньем.

— Я решительно не знаю, что и делать, — тараторила гостья, — заперся в своей комнате, никого не принимает...

— Кто заперся-то, Хиония Алексеевна?

— Да Сергей Александрыч... Ах, боже мой! Да неужели же вы так уж ничего и не слыхали?

— От кого мне слышать-то... Заперся, значит, дело какое-нибудь есть... Василий Назарыч по неделям сидит безвыходно в своем кабинете. Что же тут особенного?

Но Хиония Алексеевна не унялась и совершенно другим тоном спросила:

— А как здоровье Nadine?

— Не совсем, кажется...

— Скажите... Как жаль! Нынешние молодые люди совсем и на молодых людей не походят. В такие ли годы хворать?.. Когда мне было шестнадцать лет... А все-таки такое странное совпадение: Привалов не выходит из комнаты, занят или нездоровится... Nadine тоже...

Эту пилюлю Марья Степановна проглотила молча. В течение целого часа она точно сидела на угольях, но не выдала себя, а даже успела нанести несколько очень чувствительных ударов самой Хине, рассчитывавшей на слишком легкую добычу.

— Как здоровье Василья Назарыча? — невинным тоном осведомилась Хина, как опытный стратег, оставив самый сильный удар к концу. — В городе ходят слухи, что его здоровье...

— Ему лучше. Вероятно, он скоро отправится на прииски...

Невозмутимое спокойствие Марьи Степановны обескуражило Хину, и она одну минуту усомнилась уже,

не врали ли ей про разорение Бахаревых, но доказательство было налицо: приезд Шелехова что-нибудь да значит.

— Ах, я совсем заболталась с вами, Марья Степановна, — спохватилась Хина, допивая чашку. — Мне еще нужно поспеть сегодня в десять мест... До свидания, дорогая Марья Степановна!..

Хина в сопровождении Верочки успела торопливо обежать несколько комнат под благовидным предлогом, что ошиблась выходом. Ее одолевала жажда взглянуть на те вещи, которые пойдут с молотка.

— Ах, какая прелестная ваза! Какой милый коврик... — шептала Хина, ощупывая вещи дрожавшими руками; она вперед смаковала свою добычу и успела прикинуть в уме, какие вещи она возьмет себе и какие уступит Агриппине Филипьевне. Конечно, себе Хиония Алексеевна облюбовала самые хорошие вещи, а своей приятельнице великодушно предоставила все то, что было похуже.

VII

Утром, когда Лука и Данилушка распивали чай, в передней послышался нерешительный звонок.

— Кому бы это быть? — недоумевал Лука, направляясь к дверям.

У подъезда стоял Привалов. В первую минуту Лука не узнал его. Привалов был бледен и смотрел каким-то необыкновенно спокойным взглядом.

— Марью Степановну можно видеть? — спрашивал он.

— Можно, Сергей Александрыч... обнаковенно можно! Да штой-то из лица-то как вы изменились? Уж не попритчилось ли што грешным делом?

— Да, немножко попритчилось, — с улыбкой ответил Привалов. — Прихворнул...

— Ах ты, грех какой вышел... а?..

Когда Привалов повернулся, чтобы снять пальто, он лицом к лицу встретился с Данилушкой. Старик смотрел на него пристальным, насквозь пронизывавшим взглядом. Что-то знакомое мелькнуло Привалову в этом

желтом скуластом лице с редкой седой бородой и узкими, маслянисто-черными глазами.

— Небось не признаете? — проговорил Данилушка улыбнувшись.

— Это вы... Данила Семеныч?..

— Как две капли воды.

Они поздоровались.

— А я у вас был, Сергей Александрыч, — заговорил своим хриплым голосом Данилушка. — Да меня не пустил ваш холуй... Уж я бы ему задал, да, говорит, барин болен.

— Да, я действительно был болен.

Эта неожиданная встреча не произвела впечатления на Привалова; он даже не спросил Данилушку, давно ли он приехал с приисков и зачем. Наружное спокойствие Привалова прикрывало страшную внутреннюю борьбу. Когда он еще брался за ручку звонка, сердце в груди вздрогнуло у него, как спугнутая птица. Данилушку он видел точно в тумане и теперь шел через столовую по мягкой тропинке с каким-то тяжелым предчувствием: он боялся услышать знакомый шорох платья, боялся звуков дорогого голоса и вперед чувствовал на себе пристальный и спокойный взгляд той, которая для него навсегда была потеряна. Весь бахаревский дом казался ему могилою, в которой было похоронено все самое дорогое для него, а вместе с ним и его собственное сердце...

В дверях столовой он столкнулся с Верочкой. Девушка не испугалась по обыкновению и даже не покраснела, а посмотрела на Привалова таким взглядом, который отозвался в его сердце режущей болью. Это был взгляд врага, который не умел прощать, и Привалов с тоской подумал: «За что она меня ненавидит?»

— Мама в гостиной, — холодно проговорила Верочка, когда Привалов поровнялся с ней.

— Мне можно ее видеть?

— Да...

Марья Степановна сидела в кресле и сквозь круглые очки в старинной оправе читала «Кириллову книгу». В трудные минуты жизни она прибегала к излюбленным раскольничьим книгам, в которых находила

всегда и утешение и подкрепление. Шаги Привалова заставили ее обернуться. Когда Привалов появился в дверях, она поднялась к нему навстречу, величавая и спокойная, как всегда. Они молча обменялись взглядами.

— Здравствуй... — протянула Марья Степановна. — Чего стоишь в дверях-то? Садись, так гость будешь...

Взглянув на Привалова прищуренными глазами, Марья Степановна прибавила:

— Из себя-то ты как переменился...

— Был болен, Марья Степановна.

— Слышала стороной, что скудаешься здоровьем-то. Твоя-то Хина как-то забегала к нам и отлепортовала... Тоже вот Данилушка пошел было к тебе в гости, да несолоно хлебавши воротился. Больно строгого камардина, говорит, держишь... Приступу нет.

— Я сейчас видел Данилу Семеныча... Все такой же, почти не изменился совсем... Потолстел, кажется. А как здоровье Василья Назарыча?

— Ничего, поправляется. По зиме-то, видно, с сыном на прииски вместе уедут...

В воображении Привалова Марья Степановна представлялась убитой и потерявшей голову женщиной, в действительности же она явилась попрежнему спокойной и гордой. Только книга в почерневшем кожаном переплете с медными застежками была новостью для Привалова, и он машинально рассматривал теперь тисненые узоры на обложке этой книги, пока Марья Степановна как ни в чем не бывало перебирала разные пустяки, точно они только вчера расстались и в их жизни ничего не произошло нового. Но эта политика не обманула Привалова: он чутьем понял, что Марья Степановна именно перед ним не хочет выказать своей слабости, потому что недовольна им и подозревает в чем-то. Что в Верочке высказалось открыто и ясно как день, то же самое в Марье Степановне ушло глубоко внутрь и прикрылось напускным равнодушием. Открытая неприязнь Верочки была легче для Привалова, чем эта чисто раскольничья политика гордой старухи.

Марья Степановна именно того и ждала, чтобы Привалов открылся ей, как на духу. Тогда она все

извинила бы ему и все простила, но теперь другое дело: он, очевидно, что-то скрывает от нее, значит, у него совесть не чиста.

Привалов плохо понимал, что говорила с ним Марья Степановна, и с чувством подавленной тоски смотрел кругом. Давно ли вся эта комната была для него дорогим уголком, и он все любил в ней, начиная с обоев и кончая геранями и белыми занавесками в окнах. Сердце его сжималось с мучительной тоской. К чему еще эта последняя ложь и неправда? Ведь он *не может* объяснить всего Марье Степановне, тогда как она просто не хочет поговорить с ним о том, зачем он пришел. Ведь она видит, как тяжело ему было прийти к ним в дом, и не понимает, зачем он шел...

«Опять недоразумение...» — с горечью думал Привалов, отвечая своей собеседнице что-то невпопад.

Этот разговор был прерван появлением Надежды Васильевны.

— Мама, тебя на что-то нужно Павле Ивановне, — проговорила девушка, здороваясь с Приваловым.

Старуха зорко наблюдала эту встречу: Привалов побледнел и, видимо, смутился, а Надежда Васильевна держала себя, как всегда. Это совсем сбило Марью Степановну с толку: как будто между ними ничего не было и как будто было. Он-то смешался, а она как ни в чем не бывало... «Ох, не проведешь меня, Надежда Васильевна, — подумала старуха, поднимаясь неохотно с места. — Наскрозь вас вижу с отцом-то: все мудрить бы вам...»

Когда Марья Степановна вышла из комнаты, Привалов с испугавшей его самого смелостью проговорил:

— Мне необходимо переговорить с вами, Надежда Васильевна, об одном деле...

— Если я не ошибаюсь, вас привели к нам те слухи, которые ходят по городу о нашем разорении?

— Да.

— Мама вам ничего не говорила?

— Нет.

— Так я и знала... Она останется верна себе до конца и никогда не выдаст себя. Но ведь она не могла

не видеть, зачем вы пришли к нам? Тем более что ваша болезнь, кажется, совсем не позволяет выходить из дому.

— Собственно, я не был болен... — замялся Привалов, чувствуя на себе пристальный взгляд девушки. — Но это все равно... Мне хотелось бы только знать, каково истинное положение дел Василья Назарыча. Обратиться к нему прямо я не решился...

— И хорошо сделали, потому что, вероятно, узнали бы не больше того, что уже слышали от мамы. Городские слухи о нашем разорении — правда... В подробностях я не могу объяснить вам настоящее положение дел, да и сам папа теперь едва ли знает все. Ясно только одно, что мы разорены.

Спокойный тон, с которым говорила Надежда Васильевна, удивил Привалова. Он теперь не думал о себе, о своем положении, его *я* отошло в сторону; всеми своими чувствами он видел ее, ту ее, какой она сидела с ним... Невозмутимая и спокойная, с ясным взглядом и задумчиво сложенными губами, она, кажется, никогда не была так хороша, как именно теперь. Это простенькое шерстяное платье, эта простая прическа, эти уверенные открытые движения — все в ней было чудно хорошо, как один стройный музыкальный аккорд. Привалов еще никогда так не любил, как именно теперь... Эти серые большие глаза глядели к нему прямо в душу, где с страшной силой поднялось то чувство, которое он хотел подавить в себе.

— А что бы вы сказали мне, Надежда Васильевна, — заговорил Привалов, — если бы я предложил Василию Назарычу все, что могу предложить с своей стороны?

— Но ведь вы знаете, что отец не согласится на это.

— Но нельзя ли подготовить Василья Назарыча при помощи третьего лица... то есть убедить, чтобы он взял от меня то, на что он имеет полное право?

Надежда Васильевна отрицательно покачала головой.

— Все эти недоразумения, конечно, должны пройти сами собой, — после короткой паузы сказала она. — Но пока остается только ждать... Отец такой странный... малодушествует, падает духом... Я никогда не видала его таким. Может быть, это в связи с его болезнью, может быть, от старости. Ведь ему не привыкать к подобным превращениям, кажется...

— Я убежден, что стоит Василью Назарычу только самому отправиться на прииски, и все дело поправится. За него стоит известное имя, многолетняя репутация, твердый кредит.

Надежда Васильевна заговорила о Шелехове, которого недолюбливала. Она считала этого Шелехова главным источником многих печальных недоразумений, но отец с непонятным упорством держится за него. Настоящим разорением он, собственно, обязан ему, но все-таки не в силах расстаться с ним.

— А мама — та чуть не молится на Данилушку. Она, кажется, глубоко убеждена в том, что все удачи отца зависят единственно от счастливой звезды Данилушки.

Этот разговор был прерван появлением Марьи Степановны, которая несколько времени наблюдала разговаривавших в дверную щель. Ее несказанно удивлял этот дружеский характер разговора, хотя его содержание она и не могла расслышать. «И не разберешь их...» — подумала она, махнув рукой, и в ее душе опять затеплилась несбыточная мечта. «Чего не бывает на свете...» — думала старуха.

Поговорив с Марьей Степановной, Привалов начал прощаться.

— Опять пропадешь недели на три? — смягченным голосом спрашивала Марья Степановна. — Уж твоя-то Хина не запирает ли тебя на замок?..

— Нет, пока еще не случалось...

— К отцу-то теперь не ходи, у него сидит кто-то, — предупредила Марья Степановна. — Он спрашивал про тебя...

— Я на днях побываю.

— И лучше... Отец-то рад будет тебе.

VIII

Через день Привалов опять был у Бахаревых и долго сидел в кабинете Василья Назарыча. Этот визит кончился ничем. Старик все время проговорил о делах по опеке над заводами и ни слова не сказал о своем положении. Привалов уехал, не заглянув на половину Марьи Степановны, что немного обидело гордую старуху.

Старик Бахарев за эти дни успел настолько освоиться с своим положением, что казался совсем спокойным и обсуждал свои дела с хладнокровием совсем успокоившегося человека.

— К весне непременно нужно добыть денег... — говорил он, когда Надежда Васильевна сидела в его кабинете вечером.

Девушка ничего не ответила на этот косвенный вопрос и только проговорила:

— У тебя, папа, кажется, был Привалов.

— Да, был...

Василий Назарыч пытливо посмотрел на дочь и улыбнулся.

— Ты думаешь, я стану у него просить денег? — спросил он, понизив голос.

— Нет, зачем непременно просить... А если бы Привалов сам тебе предложил?

Старик на минуту задумался, а потом с подавленным вздохом проговорил:

— Нет, голубчик, нам, старикам, видно, не сварить каши с молодыми... В разные стороны мы смотрим, хоть и едим один хлеб. Не возьму я у Привалова денег, если бы даже он и предложил мне их...

Несколько минут в кабинете стояло напряженное молчание, одинаково тяжелое для обоих собеседников.

— Видишь, Надя, какое дело выходит, — заговорил старик, — не сидел бы я, да и не думал, как добыть деньги, если бы мое время не ушло. Старые друзья-приятели кто разорился, кто на том свете, а новых трудно наживать. Прежде стоило рукой повести Василию Бахареву, и за капиталом дело бы не стало, а теперь... Не знаю вот, что еще в банке скажут: может, и

поверят. А если не поверят, тогда придется обратиться к Ляховскому.

— Я не советовала бы, папа, тебе...

— Понимаю, Надя, все понимаю, голубчик. Да бывают такие положения, когда не из чего выбирать. А у меня с Ляховским еще старые счеты есть кое-какие. Когда он приехал на Урал, гол как сокол, кто ему дал возможность выбиться на дорогу? Я не хочу приписывать все себе, но я ему помог в самую трудную минуту.

— А если он откажет тебе?

— Нет, он не может отказать, Надя... Он мне слишком много обязан.

Опять пауза и молчание.

На половине «самой» с первого раза трудно было заметить настоящее положение дел, а человек неопытный даже и ничего особенного не увидел бы. Здесь все было по-старому, в том строгом порядке, как это ведется только в богатых раскольничьих домах. Марья Степановна была так же величественно спокойна и ни на одну иоту не изменила своих привычек. В своем косоклинном сарафане и сороке она выглядела прежней боярыней и попрежнему справляла бесконечную службу в моленной, куда к ней попрежнему сходились разные старцы в длиннополых кафтанах, подозрительные старицы и разный другой люд, целую жизнь ютящийся около страннолюбивых и нищекормливых богатых раскольничьих домов. Со стороны этот люд мог показаться тем сбродом, какой питается от крох, падающих со стола господ, но староверческие предания придавали этим людям совсем особенный тон: они являлись чем-то вроде хозяев в бахаревском доме, и сама Марья Степановна перед каждым кануном отвешивала им земной поклон и покорным тоном говорила: «Отцы и братия, простите меня, многогрешную!» Надежде Васильевне не нравилось это заказное смирение, которым прикрывались те же недостатки и пороки, как и у никониан, хотя по наружному виду от этих выдохшихся обрядов веяло патриархальной простотой нравов. Теперь в особенности поведение матери неприятно действовало на девушку: зачем вся эта фальшь на каждом шагу, в каждом движении, в каждом взгляде?.. Прямая, честная

натура Надежды Васильевны возмущалась этой жалкой комедией, но выхода из этого положения не предвиделось. Чуткая молодая совесть переживала целый ряд самых тяжелых испытаний.

Первая любовь с ее радостными тревогами и сладкими волнениями открыла девушке многое, чего она раньше совсем не замечала. Дорогая тень любимого человека стояла за каждым фактом, за каждым малейшим проявлением вседневной жизни и требовала строгого отчета. Каждая фальшивая нотка поднимала в глазах девушки любимого человека все выше и выше, потому что он служил для нее олицетворением правды. Одно лицо смотрело на нее постоянно, и она в каждом деле мысленно советовалась с ним. Собственное положение в доме теперь ей обрисовалось особенно ясно, то есть, несмотря на болезненную привязанность к ней отца, она все-таки была чужой под этой гостеприимной кровлей, может быть, более чужой, чем все эти старцы и старицы.

«Недаром Костя ушел из этого дома», — не раз думала девушка в своем одиночестве и даже завидовала брату, который в качестве мужчины мог обставить себя по собственному желанию, то есть разом и безнаказанно стряхнуть с себя все обветшалые предания раскольничьего дома.

Именно теперь, при тяжелом испытании, которое неожиданно захватило их дом, девушка с болезненной ясностью поняла все те тайные пружины, которые являлись в его жизни главной действующей силой. Раньше она как-то индифферентно относилась к этим двум половинам, но теперь их смысл для нее выяснился вполне: Марья Степановна и не думала смиряться, чтобы по крайней мере дойти до кабинета больного мужа, — напротив, она, кажется, никогда еще не блюла с такой щепетильностью святую отчужденность своей половины, как именно теперь. Смысл такого поведения был теперь ясен как день: Марья Степановна умывала руки в тех испытаниях, которые, по ее мнению, Василий Назарыч переживал за свои новшества, за измену гуляевским старозаветным идеалам. Между матерью и дочерью не было сказано ни одного слова на эту тему, но

это не мешало последней чувствовать, что больной отец был предоставлен на ее исключительное попечение. По этому поводу состоялось как бы безмолвное соглашение, и Надежда Васильевна приняла его. С каждым днем разница между двумя половинами разрасталась и принимала резкие формы.

В лице матери, Досифеи и Верочки безмолвно составился прочный союз, который, пользуясь обстоятельствами, крепчал с каждым днем. В сдержанном выражении лиц, в уверенных взглядах Надежда Васильевна, как по книге, читала совершавшуюся перед ней тяжелую борьбу. Пространство, разделявшее два лагеря, с каждым днем делалось все меньше и меньше, и Надежда Васильевна вперед трепетала за тот час, когда все это обрушится на голову отца, который предчувствовал многое и хватался слабеющими руками за ее бесполезное участие. Чем она могла помочь ему, кроме того жалкого в своем бессилии внимания, какое каждая дочь по обязанности оказывает отцу?.. Теперь это бессилие сделалось для нее больным местом, и она завидовала последнему мужику, который умеет по крайней мере копать землю и рубить дрова. Положение богатой барышни дало почувствовать себя, и девушка готова была плакать от сознания, что она в отцовском доме является красивой и дорогой безделушкой — не больше.

А с другой стороны, Надежда Васильевна все-таки любила мать и сестру. Может быть, если бы они не были богаты, не существовало бы и этой розни, а в доме царствовали тот мир и тишина, какие ютятся под самыми маленькими кровлями и весело выглядывают из крошечных окошечек. Приятным исключением и нравственной поддержкой для Надежды Васильевны теперь было только общество Павлы Ивановны, которая частенько появлялась в бахаревском доме и подолгу разговаривала с Надеждой Васильевной о разных разностях.

— Ничего, голубушка, перемелется — мука будет,— утешала старушка, ковыряя свою бесконечную работу. — Как быть-то... Своеобычлива у вас маменька-то, ну да это ничего, душа-то у нее добрая.

IX

Хиония Алексеевна уже начала испытывать на своей особе живительное влияние приваловских миллионов. Когда она сидела в гостиной Агриппины Филипьевны и в сотый раз перебирала все, что успела узнать и придумать относительно Бахаревых, Данилушки и Привалова, приехала Антонида Ивановна. Нужно заметить, что и раньше отношения между этими дамами, то есть Хионией Алексеевной и Антонидой Ивановной, были очень дружелюбны, хотя и не подавали никакого повода к особенной нежности. Но на этот раз Антонида Ивановна отнеслась к Хионии Алексеевне с особенным вниманием. Конечно, Хиония Алексеевна настолько чувствовала себя опытной в делах подобного рода, что не только не поддалась и не растаяла от любезных улыбок, а даже подумала про себя самым ядовитым образом: «Знаю, знаю, матушка... Это тебя гордец подослал!» Разговор сейчас же завязался о разорении Бахаревых, о Привалове, и Хионии Алексеевне представился самый удобный случай прикинуться совершенно равнодушной к своему жильцу, что она и не преминула выполнить с замечательным искусством.

— Я слышала, что Привалов нынче почти совсем не бывает у Бахаревых, — проговорила Антонида Ивановна, тоже стараясь попасть в тон равнодушия. — Вероятно, дела по опеке отнимают у него все свободное время. Мой Александр целые ночи просиживает за какими-то бумагами.

— Ах, я, право, совсем не интересуюсь этим Приваловым, — отозвалась Хиония Алексеевна. — Не рада, что согласилась тогда взять его к себе на квартиру. Все это Марья Степановна... Сами знаете, какой у меня характер: никак не могу отказать, когда меня о чем-нибудь просят...

— Привалов, говорят, был очень заинтересован Nadine Бахаревой?..

— И вы верите этому, Антонида Ивановна?! Nadine Бахарева!.. Что такое Nadine Бахарева?

Агриппина Филипьевна молчала, слушала этот разговор, но потом ни с того ни с сего заметила:

— А я так думаю, Хиония Алексеевна, что этот ваш Привалов выеденного яйца не стоит... Поживет здесь, получит наследство и преспокойнейшим образом уедет, как приехал сюда. Очень уж много говорят о нем — надоело слушать...

Хиония Алексеевна обиделась. Она никак не ожидала именно такого действия своей тактики... Когда она приехала домой, в душе у нее щемило неприятное чувство, от которого она никак не могла освободиться. А дело, кажется, было ясно как день: несмотря на самую святую дружбу, несмотря на пансионские воспоминания и также на то, что в минуту жизни трудную Агриппина Филипьевна перехватывала у Хионии Алексеевны сотню-другую рублей, — несмотря на все это, Агриппина Филипьевна держала Хионию Алексеевну в известной зависимости, хотя эта зависимость и выражалась в самой мягкой, дружеской форме. Но теперь другое дело: Хиония Алексеевна, по мнению Агриппины Филипьевны, готова была вообразить о себе бог знает что. Почтенная дама не могла вынести даже одной мысли, что эта Хина, кажется, мечтает устраивать у себя такие же soirées, как она, Агриппина Филипьевна. И вообще еще один маленький шаг, и Хина, пожалуй, совсем задерет нос и в состоянии даже забыться...

«А черт с ним, с этим Приваловым, в самом-то деле, — раздумывала наедине Заплатина под влиянием только что полученной неприятности от своей пансионской подруги. — Пожалуй, с ним только даром время проведешь, а каши не сваришь...»

А Привалов в это время, по мнению Хионии Алексеевны, лишился последних признаков человеческой мысли, доказательством чему, во-первых, служило то, что он свел самое компрометирующее знакомство с каким-то прасолом Нагибиным, настоящим прасолом, который сидел в мучной лавке и с хлыстом бегал за голубями. Мало этого, Привалов привез его к себе в квартиру, пил с ним чай, и такие tête-à-tête тянулись битых две недели. Наконец, в одно прекрасное утро, когда только что установился первый санный путь, к домику Хионии Алексеевны подъехала почтовая повозка, заложенная парой (обратите особенное внимание: парой);

Привалов и Нагибин вышли на подъезд, одетые по-дорожному... Но предоставим самой Хионии Алексеевне рассказать то, что последовало дальше:

— Нет, вы представьте себе, Агриппина Филипьевна, такую картину... Я нарочно подбежала к окну и замерла, — да, совсем замерла!.. Смотрю: Ипат выносит маленький чемоданчик, кладет этот чемоданчик в повозку... А я жду, чувствую, что готова упасть в обморок... Привалов садится в повозку и *садит рядом с собой этого прасола Нагибина!* Ведь он проехал по всему городу с этим Нагибиным, проехал среди белого дня, все его, наверно, видели?! И это миллионер Привалов... Ха! ха! ха!.. Только в этот момент мне сделалось ясно, какую жертву я принесла для этой старой ханжи Марьи Степановны... Вы знаете мой характер, Агриппина Филипьевна... Да... И вот к чему повели все мои хлопоты, все мои заботы, тревоги, волнения...

В первый раз Привалов проездил дней десять и вернулся один, без Нагибина, что немного успокоило Хионию Алексеевну. Но, увы! Привалов прожил в Узле всего неделю, а потом явился опять Нагибин, и они опять уехали в одной повозке. Матрешка донесла своей госпоже, что Привалов строит мельницу в деревне Гарчики, в двадцати верстах от Лалетинских вод. Заплатина приняла это известие так безучастно, как будто Матрешка рассказывала ей о какой-нибудь полярной экспедиции. Какие Гарчики? Что это за глупое название?.. Хиония Алексеевна окончательно махнула рукой на своего жильца и, конечно, сейчас же отправилась отвести душу к своему единственному, старому, верному другу.

Хиония Алексеевна чувствовала себя в положении человека, изувеченного поездом; все ее планы рушились, надежды растаяли, оставив в душе мучительную пустоту. И в этот-то критический момент, когда Заплатина сидела на развалинах своих блестящих планов, вдруг к подъезду подкатываются американские сани с медвежьей полостью, и из саней выходит... Антонида Ивановна Половодова... Та самая Половодова, которая в течение долгих лет была только обидно вежлива с

Хионией Алексеевной, та Половодова, которая не заплатила ей визита.

— А я к вам, милая Хиония Алексеевна, — весело говорила Половодова, раздеваясь в передней при помощи Виктора Николаича. — Я слышала от maman, что вы не совсем здоровы, и приехала навестить вас... Не беспокойтесь, пожалуйста, Виктор Николаич!.. Благодарю вас...

Хиония Алексеевна готова была даже заплакать от волнения и благодарности. Половодова была одета, как всегда, богато и с тем вкусом, как унаследовала от своей maman. Сама Антонида Ивановна разгорелась на морозе румянцем во всю щеку и была так заразительно свежа сегодня, точно разливала кругом себя молодость и здоровье. С этой женщиной ворвалась в гостиную Хионии Алексеевны первая слабая надежда, и ее сердце задрожало при мысли, что, может быть, еще не все пропало, не все кончено...

— Вы слышали, Хиония Алексеевна, — говорила Половодова с деловым, серьезным лицом, — на святках у Ляховских бал...

— Да, да... Ведь у них каждые святки бывает бал.

— Совершенно верно, но это будет что-то особенное... Уже идут приготовления, хотя до рождества остается целых два месяца.

— Скажите!..

— Мне кажется, что нет ли здесь какой-нибудь особенной причины... Александр мне говорил, что Зося произвела на Привалова сильное впечатление...

— Этот Привалов сумасшедший, Антонида Ивановна... это безумец... это...

Хиония Алексеевна не могла себя сдержать и высказала все, что у нее накипело на душе. Половодова выслушала ее со снисходительной улыбкой и ничего не ответила.

— Отчего вы никогда не заглянете ко мне? — ласково корила Половодова Хионию Алексеевну, застегивая шведскую перчатку. — Ах, как у вас мило отделан домик... я люблю эту милую простоту. Кстати, Хиония Алексеевна, когда же я, наконец, увижу вас у себя? Александр утро проводит в банке... Вы, кажется,

с ним не сходитесь характерами?.. Но это пустяки, он только кажется гордым человеком...

Когда, проходя по передней в своей шубке из чернобурых лисиц, Половодова вопросительно посмотрела на дверь в комнаты Привалова, Хиония Алексеевна обязательно сейчас же распахнула эту дверь и предложила гостье посмотреть помещение ее жильца.

— Это у него гостиная, там кабинет... Да войдите, Антонида Ивановна...

Половодова, заглянув в дверь, несколько мгновений колебалась — переступить ей порог этой двери или нет, но выдержка взяла верх над любопытством, и Антонида Ивановна на предложение любезной хозяйки только покачала отрицательно своей красивой головой.

X

Привалов действительно в это время успел познакомиться с прасолом Нагибиным, которого ему рекомендовал Василий Назарыч. С ним Привалов по первопутку исколесил почти все Зауралье, пока не остановился на деревне Гарчиках, где заарендовал место под мельницу и сейчас же приступил к ее постройке, то есть сначала принялся за подготовку необходимых материалов, наем рабочих и т. д. Время незаметно катилось в этой суете, точно Привалов хотел себя вознаградить самой усиленной работой за полгода бездействия.

В Узле Привалов появлялся только на время, отчасти по делам опеки, отчасти для своей мельницы. Nicolas Веревкин, конечно, ничего не выхлопотал и все сидел со своей нитью, на которую намекал Привалову еще в первый визит. Впрочем, Привалов и не ожидал от деятельности своего адвоката каких-нибудь необыкновенных результатов, а, кажется, предоставил все дело его естественному течению.

— Что-нибудь да выйдет, — говорил Привалов своему поверенному.

— Вот уж этого я не понимаю, Сергей Александрыч... Отправьте меня в Петербург с известными полномочиями, и я мигом оборудую все дело.

— Нет, Николай Иваныч, из такой поездки ровно ничего не выйдет... Поверьте мне. Я сколько лет совершенно напрасно прожил в Петербурге и теперь только могу пожалеть и себя и даром потраченное время. Лучше будем сидеть здесь и ждать погоды...

«Эх, разве так дела делают, — с тоской думал Nicolas, посасывая сигару. — Да дай-ка мне полсотни тысяч, да я всех опекунов в один узел завязал бы... А вот извольте сговориться с субъектом, у которого в голове засела мельница! Это настоящая болезнь, черт возьми...»

Nicolas несколько раз окольными путями, самым осторожным образом, пытался навести Привалова на мысль, что цель оправдывает средства и что стоит только сразиться с противниками их же собственным оружием — успех будет несомненный. Но Привалов не хотел понимать эти тонкие внушения и несколько раз к слову говорил, что предпочитает лучше совсем лишиться всякого наследства, чем когда-нибудь стать на одну доску с своими опекунами. Такое категорическое решение сильно обескураживало Веревкина, хотя он и не терял надежды когда-нибудь «взвеселить» опекунов.

Когда все самое необходимое по постройке мельницы было сделано, Привалов отправился в Шатровский завод.

В светлый ноябрьский день подъезжал Привалов к заветному приваловскому гнезду, и у него задрожало сердце в груди, когда экипаж быстро начал подниматься на последнюю возвышенность, с которой открывался вид на весь завод. Это была широкая горная панорама с узким и глубоким озером в середине. В дальнем конце этого озера зеленела группа лесистых островков, а ближе, на выступившем крутом мыске, весело рассыпались сотни бревенчатых изб и ярко белела каменная заводская церковь. Широкая плотина замыкала озеро и связывала мыс с лесистой крутой горкой, у самого подножия которой резко выделялся своей старинной архитектурой господский старый дом с почерневшей высокой железной крышей и узкими окнами. Издали этот дом походил на цитадель, а его окна казались крепостными амбразурами.

Сейчас за плотиной громадными железными коробками стояли три доменных печи, выметывавшие вместе с клубами дыма широкие огненные языки; из-за них поднималось несколько дымившихся высоких железных труб. На заднем плане смешались в сплошную кучу корпуса разных фабрик, магазины и еще какие-то здания без окон и труб. Река Шатровка, повернув множество колес и шестерен, шла дальше широким, плавным разливом. По обоим ее берегам плотно рассажались дома заводских служащих и мастеровых.

Прокатившись по заводской плотине, экипаж Привалова остановился у подъезда господского дома, который вблизи смотрел еще мрачнее и суровее, чем издали.

Каменные ворота были такой же крепостной архитектуры, как и самый дом: кирпичные толстые вереи с пробитыми в них крошечными калитками, толстая железная решетка наверху с острыми гвоздями, полотнища ворот чуть не из котельного железа, — словом, это была самая почтенная древность, какую можно еще встретить только в старинных монастырях да в заштатных крепостях. Недоставало рва с водой и подъемного моста, как в рыцарских замках.

Из новенького подъезда, пробитого прямо в толстой наружной стене, показались два черных сеттера. Виляя пушистыми хвостами и погромыхивая медными ошейниками, они обнюхивали Привалова самым дружелюбным образом, пока он вылезал из экипажа, а затем ощупью пробирался по темной узкой передней.

— Константин Васильевич дома?— спрашивал Привалов, когда в дверях показалась девушка в накрахмаленном белом переднике.

— Нет, они на заводе... — бойко ответила девушка и сейчас же принялась тащить с гостя тяжелую оленью доху. — А как о вас доложить прикажете?

— Привалов...

Горничная выпустила из рук рукав дохи, несколько мгновений посмотрела на Привалова такими глазами, точно он вернулся с того света, и неожиданно скрылась.

В это время к подъезду неторопливо подходил господин среднего роста, коренастый и плотный, в

дубленом романовском полушубке и черной мерлушковой шапке. Он вошел в переднюю и неторопливо начал раздеваться, не замечая гостя.

— Костя...

— А... это ты, — неторопливо проговорил Бахарев таким тоном, точно вчера расстался с Приваловым. — Наконец-то надумался, а я уж и ждать тебя перестал... Ну, здравствуй!..

Друзья детства пожали друг другу руки и, после некоторого колебания, даже расцеловались по русскому обычаю из щеки в щеку. Привалов с особенным удовольствием оглядывал теперь коренастую, немного сутуловатую фигуру Кости, его суконную рыжую поддевку, черные шаровары, заправленные в сапоги, и это широкое русское лицо с окладистой русой бородой и прищуренными глазами. Костя остался прежним Костей, начиная от остриженных под гребенку волос и кончая своей рыжей поддевкой. Бывают такие люди, у которых как-то все устроено так, что то, что мы называем красотой, здесь оказывается совершенно излишним. Константин Бахарев был именно таким человеком.

Через длинную гостиную с низким потолком и узкими окнами они прошли в кабинет Бахарева, квадратную угловую комнату, выходившую стеклянной дверью в столовую, где теперь мелькал белый передник горничной. Обстановка кабинета была самая деловая: рабочий громадный стол занимал средину комнаты, у окна помещался верстак, в углу — токарный станок, несколько шкафов занимали внутреннюю стену. Между печью и окном стоял глубокий старинный диван, обтянутый шагренью, — он служил хозяину кроватью. На письменном столе, кроме бумаг и конторских книг, кучей лежали свернутые трубочкой планы и чертежи, части деревянной модели, образчики железных руд, пробы чугуна и железа и еще множество других предметов, имевших специально заводское значение. Все это — и стол, и верстак, и окна, и пол — все было обильно посыпано пеплом от сигар, и везде валялись окурки папирос.

— А ведь я рассорился с стариком...— нерешительно проговорил Привалов, чтобы чем-нибудь прервать наступившее неловкое молчание.

— Слышал... — коротко ответил Бахарев, шагая по кабинету своим развалистым шагом. — Надя писала...

— А слышал, что дела у старика плохи?

— Да... Ничего, поправится, — прибавил он, точно для успокоения Привалова.

— Поправится-то, конечно, поправится, да теперь ему туго приходится...

Они заговорили о делах Василия Назарыча, причем Привалов рассказал о неожиданном приезде в Узел Шелехова.

— Ну, значит, дела очень плохи, если Данилушка прилетел с приисков, — заметил Бахарев с неопределенной улыбкой.

Бахарев очистил на письменном столе один угол, куда горничная и поставила кипевший самовар. За чаем Бахарев заговорил об опеке и об опекунах. Привалов в коротких словах рассказал, что вынес из своих визитов к Ляховскому и Половодову, а затем сказал, что строит мельницу.

— Слышал... Что же, в добрый час... Кажется, Надя что-то такое писала о какой-то мельнице, — старался припомнить Бахарев, наливая стаканы.

С первых же слов между друзьями детства пробежала черная кошка. Привалов хорошо знал этот сдержанный, холодный тон, каким умел говорить Костя Бахарев. Не оставалось никакого сомнения, что Бахарев был против планов Привалова.

— Я не понимаю одного, — говорил Бахарев после долгой паузы, — для чего ты продолжаешь эти хлопоты по опеке?

— Как для чего?

— Да так... Ведь все равно ты бросил заводы, значит они ничего не проиграют, если перейдут в другие руки, которые сумеют взяться за дело лучше нашего.

— Нет, не все равно, Костя. Говоря правду, я не для себя хлопочу...

— И это знаю... Тем хуже для заводов. Подобные филантропические затеи никогда и ни к чему не вели.

— Да ведь ты даже хорошенько не знаешь моих филантропических затей...

— И не желаю знать... Совершенно довольно с меня того, что ты бросил заводы.

— В том-то и дело, что я даже не имею права их бросить.

— Опять глупое слово... Извини за резкое выражение. По-моему, в таком деле и выбора никакого не может быть, а ты... Нет, у меня решительно не так устроена голова, чтобы понимать эту погоню за двумя зайцами.

— Пожалуйста, оставим этот разговор до другого раза.

— Согласен, тем более что я тебе, кажется, все сразу высказал.

Константин Бахарев был фанатик заводского дела, как Василий Бахарев был фанатиком золотопромышленности. Это были две натуры одного закала, почему, вероятно, они и не могли понять друг друга. Костя не знал и ничего не хотел знать, кроме своих заводов, тогда как Привалов постоянно переживал все муки неустоявшейся мысли, искавшей выхода и не находившей, к чему прилепиться.

Друзья поговорили о разных пустяках и почувствовали то неловкое положение, когда два совершенно чужих человека должны занимать друг друга. Разговор не клеился.

— Не желаешь ли сходить на завод? — предложил Бахарев, когда чай был кончен.

— Пожалуй...

От господского дома до завода было рукой подать, — стоило только пройти небольшую площадь, на которой ютилось до десятка деревянных лавок. В заводском деле Привалов ничего не понимал и бродил по заводу из корпуса в корпус только из вежливости, чтобы не обидеть Костю. Да и что было во всем этом интересного: темные здания, где дует из каждого угла, были наполнены мастеровыми с запекшимися, изнуренными лицами; где-то шумела вода, с подавленным грохотом вертелись десятки чугунных колес, шестерен и валов, ослепительно ярко светились горна пудлинговых,

сварочных, отражательных и еще каких-то мудреных печей. Везде мелькало раскаленное железо, и черными клубами вырывался дым из громадных труб. Бахарев оживился и давал самые подробные объяснения новой, только что поставленной катальной машины, у которой стальные валы были заточены самым необыкновенным образом. Чтобы доставить удовольствие Привалову, на новой машине было прокатано несколько полос сортового железа. Привалов видел, как постепенно черновая болванка, имевшая форму длинного кирпича, проходила через ряд ва́лов, пока не превратилась в длинную тонкую полосу, которая гнулась под собственной тяжестью и рассыпала кругом тысячи блестящих искр.

— А вот я тебе покажу водяное колесо, — предлагал Бахарев, предлагая пройти в новую деревянную постройку.

Осмотрели колесо, которое вертелось с подавленным шумом, заставляя вздрагивать всю фабрику. Привалов пощупал рукой медную подушку, на которой вращалась ось колеса, — подушка была облита ворванью. Бахарев засмеялся. Плотинный и уставщик, коренастые старики с плутоватыми физиономиями, переглянулись.

Таким же образом были осмотрены печи Сименса-Мартена, потом вагранка. Поднялись на доменные печи, где с шипением и треском пылало целое море огня и снопом летели кверху крупные искры. Те же обожженные лица, кожаные фартуки, мягкие пряденики на ногах. Привалов чувствовал себя в этом царстве огня и железа совершенно чужим, лишним человеком и молча осматривал все, что ему показывали. Он стеснялся задавать вопросы, чтобы не обнаружить перед рабочими своего полного неведения по части заводского дела. Между тем по фабрикам уже пронеслась молва, что приехал сам барин и осматривает с управляющим всякое действие. Образовались кучки любопытных, из всех щелей и дыр блестели любопытством чьи-то глаза. Служить центром внимания этих сотен людей Привалов совсем не желал и предложил Бахареву вернуться домой, ссылаясь на голод.

— Действительно, соловья баснями не кормят, — согласился Бахарев. — Я и забыл, что ты с дороги, и моя прямая обязанность прежде всего накормить тебя...

Привалов вздохнул свободнее, когда выбрался под открытое небо из этого царства гномов, где даже самый снег был покрыт сажей и пылью и все кругом точно дышало огнем и дымом.

XI

Все время обеда и вплоть до самого вечера прошло как-то между рук, в разных отрывочных разговорах, которыми друзья детства напрасно старались наполнить образовавшуюся за время их разлуки пустоту.

Перед тем как идти спать, Привалову пришлось терпеливо выслушать очень много самых интересных вещей относительно заводского дела. Отделаться от Бахарева, когда он хотел говорить, было не так-то легко, и Привалов решился выслушать все до конца, чтобы этим гарантировать себя на будущее время. Как все увлеченные своей идеей люди, Бахарев не хотел замечать коварного поведения своего друга и, потягивая портер, нетерпеливо выгружал обильный запас всевозможных проектов, нововведений и реформ по заводам. Тут было достаточно всего: и узкоколейные железные дороги, которыми со временем будет изрезан весь округ Шатровских заводов, и устройство бессемеровского способа производства стали, и переход заводов с древесного топлива на минеральное, и горячее дутье в видах «улавливания газов и утилизации теряющегося жара» при нынешних системах заводских печей, и т. д. Привалов старался внимательно вслушаться в некоторые проекты, но не мог и только замечал, как лицо Кости делалось все краснее и краснее, а глаза заметно суживались.

Друзья детства для первого раза разошлись по своим комнатам довольно холодно. Привалову была отведена угловая комната, выходившая двумя окнами в сад. Она играла роль и кабинета и спальни. Между окнами стоял небольшой письменный стол, у внутренней стены простенькая железная кровать под белым

чехлом, ночной столик, этажерка с книгами в углу, на окнах цветы, — вообще вся обстановка смахивала на монастырскую келью и понравилась Привалову своей простотой. На письменном столе лежала записная книжка в шагреневом переплете, стояли две вазочки для букетов и валялась какая-то женская работа с воткнутой иглой.

— Это Надя что-то работала... — проговорил Бахарев, взглянув на письменный стол. — Когда она приезжает сюда, всегда занимает эту комнату, потому что она выходит окнами в сад. Тебе, может быть, не нравится здесь? Можно, пожалуй, перейти в парадную половину, только там мерзость запустения.

— Нет, мне здесь будет отлично.

Бахарев ушел, а Привалов разделся и поскорее лег в постель. Он долго лежал с открытыми глазами, и в голове его с мучительной тоской билась одна мысль: вот здесь, в этой комнате, жила она... Да, она здесь работала, она здесь думала, она здесь смеялась... Вот это окно отворяли ее руки, она поливала эти цветы по утрам. Даже эти крепостные стены в глазах Привалова получили совершенно другое значение; точно они были согреты присутствием той Нади, о которой болело его сердце. Надя, Надя... ты чистая, ты хорошая, ты, может быть, вот в этой самой комнате переживала окрыляющее чувство первой любви и, глядя в окно или поливая цветы, думала о нем, о Лоскутове. Здесь перечитывались его письма, здесь припоминались счастливые мгновения дорогих встреч, здесь складывались золотые сны, здесь переживались счастливые минуты первого пробуждения молодого чувства...Здесь она называла его ласковыми именами, здесь она улыбалась ему во сне и, протягивая руки, шептала слова любви. Чудные грезы и бесконечная поэзия, которые идут рука об руку с муками сердца и мириадами страданий...

Он старался забыть ее, старался не думать о ней, а между тем чувствовал, что с каждым днем любит ее все больше и больше, любит с безумным отчаянием.

Наследник приваловских миллионов заснул в прадедовском гнезде тяжелым и тревожным сном. Ему грезились тени его предков, которые вереницей наполняли

этот старый дом и с удивлением смотрели на свою последнюю отрасль. Привалов видел этих людей и боялся их. Привалов глухо застонал во сне, и его губы шептали: «Мне ничего не нужно вашего... решительно ничего. Меня давят ваши миллионы...»

XII

На другой день Привалов встал с головной болью.

Завтрак был подан в столовой. Когда они вошли туда, первое, что бросилось в глаза Привалову, был какой-то господин, который сидел у стола и читал книгу, положив локти на стол. Он сидел вполоборота, так что в первую минуту Привалов его не рассмотрел хорошенько.

— А, Максим... — весело заговорил Бахарев.

Привалов вздрогнул при этом имени. Действительно, это был Лоскутов. Он не встал навстречу хозяину, а только с улыбкой своего человека в доме слегка кивнул головой Бахареву и опять принялся читать.

— Позвольте познакомить... — заговорил Бахарев.

— Нет, мы уже знакомы... — перебил его Привалов, торопливо протягивая руку своему счастливому сопернику.

— Да, да... — протянул Лоскутов, вскидывая глазами на Привалова, — у Ляховских встречались...

В первую минуту Привалов почувствовал себя так неловко, что решительно не знал, как ему себя держать, чтобы не выдать овладевшего им волнения. Лоскутов, как всегда, был в своем ровном, невозмутимом настроении и, кажется, совсем не замечал Привалова.

Как это ни странно, но благодаря именно присутствию Лоскутова весь день прошел особенно весело. Бывают такие положения, когда третий человек так же необходим для различных выкладок, как то неизвестное *X*, при помощи которого решаются задачи в математике. Привалов не мог не сравнить своих вчерашних разговоров с Костей с глазу на глаз с сегодняшними: о натянутости не было и помину. Затем второй странностью для Привалова было то, что сегодня он совер-

шенно свободно говорил обо всем, о чем вчера старался молчать, и опять-таки благодаря участию Лоскутова.

— А ведь знаете, Сергей Александрыч, — говорил Лоскутов своим простым уверенным тоном, — я вполне сочувствую всем вашим планам и могу только удивляться, как это люди вроде Константина Васильича могут относиться к ним с таким равнодушием.

Наконец, нашелся человек, который открыто высказывался за Привалова, и этот человек был его соперник.

Вечером в кабинете Бахарева шли горячие споры и рассуждения на всевозможные темы. Горничной пришлось заменить очень много выпитых бутылок вина новыми. Лица у всех раскраснелись, глаза блестели. Все выходило так тепло и сердечно, как в дни зеленой юности. Каждый высказывал свою мысль без всяких наружных прикрытий, а так, как она выливалась из головы.

— А ты все-таки утопист и мечтатель, — говорил Бахарев, хлопая Привалова по плечу.

— Нет, наоборот: ты увлекаешься своими фантазиями и из-за них не хочешь видеть действительных интересов, — возражал Привалов.

Привалов был плохой оратор, но теперь он с особенной последовательностью и ясностью отстаивал свои идеи.

— Против промышленности вообще и против железной промышленности в частности я ничего не имею, — говорил он, размахивая руками. — Но это только в теории или в применении к Западу... А что касается русского заводского дела, я — против него. Это болезненный нарост, который питается на счет здоровых народных сил. Горное дело на Урале создалось только благодаря безумным привилегиям и монополиям, даровым трудом миллионов людей при несправедливейшей эксплуатации чисто национальных богатств, так что в результате получается такой печальный вывод: Урал со всеми своими неистощимыми богатствами стоил правительству в десять раз дороже того, сколько он принес пользы... И вдобавок — эти невероятные жертвы правительства не принесут и в будущем никакой пользы, потому что наши горные заводы все до одного должны

ликвидировать свои дела, как только правительство откажется вести их на помочах. Стоит только отменить правительству тариф на привозные металлы, оградить казенные леса от расхищения заводчиками, обложить их производительность в той же мере, как обложен труд всякого мужика, — и все погибнет сразу.

— Но ведь эти затраты правительство делало не из личной пользы, а чтобы создать крупную заводскую промышленность. Примеры Англии, Франции, наконец Америки — везде одно и то же. Сначала правительство и нация несомненно теряли от покровительственной системы, чтобы потом наверстать свои убытки с лихвой и вывести промышленность на всемирный рынок.

— Там это было действительно так, а у нас получается противоположный результат: наша политика относительно заводов вместо развития промышленности создала целое поколение государственных нищих, которые, лежа на неисчислимых сокровищах, едва пропитывают себя милостыней. Результат получился как раз обратный: вместо развития горной промышленности мы загородили ей дорогу чудовищной монополией.

— Ты забываешь только одно, что ты сам заводчик, — заметил Бахарев.

— Нет, я этого никогда не могу забыть и поэтому должен в особенности выяснить положение свое собственное и других заводчиков. Мы живем паразитами...

— Кто же вам мешает не быть ими?

— Это другой вопрос, который я постараюсь разобрать обстоятельнее.

Привалов набросал широкую картину настоящего уральских заводчиков, большинство которых никогда даже и не бывало на своих заводах. Системой покровительства заводскому делу им навсегда обеспечены миллионные барыши, и все на заводах вертится через третьи и четвертые руки, при помощи управителей, поверенных и управляющих. В таких понятиях и взглядах вырастает одно поколение за другим, причем можно проследить шаг за шагом бесповоротное вырождение самых крепких семей. Чтобы вырваться из этой системы паразитизма, воспитываемой в течение полутораста лет, нужны нечеловеческие усилия, тем более что придется

до основания разломать уже существующие формы заводской жизни.

— Вот ты и занялся бы такими реформами, — проговорил Бахарев. — Кстати, у тебя свободного времени, кажется, достаточно...

— А если я сознаю, что у меня не хватает силы для такой деятельности, зачем же мне браться за непосильную задачу, — отвечал Привалов. — Да притом я вообще против насильственного культивирования промышленности. Если разобрать, так такая система, кроме зла, нам ничего не принесла.

— По-твоему, остается, значит, закрыть заводы и возвратиться к каменному периоду?

— Вот в том-то и дело, что мы, заводчики, даже не имеем права закрыть заводы, потому что с ними связаны интересы полумиллионного населения, которому мы кругом должны. Чьим трудом создавались заводы и на чьей земле?..

— Теперь об этом говорить довольно поздно...

— Нет, именно теперь об этом и следует говорить, потому что на заводах в недалеком будущем выработается настоящий безземельный пролетариат, который будет похуже всякого крепостного права...

XIII

Несколько дней Привалов и Бахарев специально были заняты разными заводскими делами, причем пришлось пересмотреть кипы всевозможных бумаг, смет, отчетов и соображений. Сначала эта работа не понравилась Привалову, но потом он незаметно втянулся в нее, по мере того как из-за этих бумаг выступала действительность. Но, работая над одним материалом, часто за одним столом, друзья детства видели каждый свое.

Прежде всего выступила на сцену история составления уставной грамоты, что относилось еще ко времени опекунства Сашки Холостова. Очевидно, эта уставная грамота была составлена каким-то отчаянным приказным, крючкотвором и докой. Просматривая теперь эту

грамоту, через двадцать лет, можно было только удивляться проницательности и широте взгляда ее безвестного составителя: все было предусмотрено, взвешено и где следует выговорено и оговорено. Конечно, дока составлял грамоту по поручению Холостова и на его кормах, поэтому и все выгоды от нее были на стороне заводов. Центр тяжести лежал в наделе мастеровых землей, и этот пункт был обработан с особенным мастерством. В результате получалось население в сорок тысяч, совершенно обезземеленное, самое существование которого во всем зависит от рокового «впредь до усмотрения».

Далее выяснилась двадцатилетняя история мужицких мытарств относительно этой грамоты, которая была подписана какими-то «старичками».

Отыскали покладистых старичков, те под пьяную руку подмахнули за все общество уставную грамоту, и дело пошло гулять по всем мытарствам. Мастеровые и крестьяне всеми способами старались доказать неправильность составленной уставной грамоты и то, что общество совсем не уполномачивало подписывать ее каких-то сомнительных старичков. Так дело и тянулось из года в год. Мужики нанимали адвокатов, посылали ходоков, спорили и шумели с мировым посредником, но из этого решительно ничего не выходило.

— Это дело необходимо покончить, — говорил Привалов, просматривая документы. — Уставная грамота действительно составлена неправильно...

— Да, но теперь все зависит от опекунов...

«Что скажут опекуны», «все зависит от опекунов» — эти фразы были для Привалова костью в горле, и он никогда так не желал развязаться с опекой во что бы то ни стало, как именно теперь.

Скоро выплыло еще более казусное дело о башкирских землях, замежеванных в дачу Шатровских заводов еще в конце прошлого столетия. Оказалось, что дело об этом замежевании велось с небольшими перерывами целых сто лет, и истцы успели два раза умереть и два раза родиться. Слабая сторона дела заключалась в том, что услужливый землемер в пылу усердия замежевал целую башкирскую деревню Бухтармы; с другой

стороны, услужливый человек, посредник, перевел своей единоличной властью целую башкирскую волость из вотчинников в припущенники, то есть с надела в тридцать десятин посадил на пятнадцать. Остальные десятины отошли частью к заводам, а частью к мелким землевладельцам. Главное затруднение встречалось в том, что даже приблизительно невозможно было определить те межи и границы, о которых шел спор. В документах они были показаны «от урочища Сухой Пал до березовой рощи» или, еще лучше, «до камня такого-то или старого пня». Ни березовой рощи, ни камня, ни пня давно уже не было и в помине, а где стояло урочище Сухой Пал — каждая сторона доказывала в свою пользу. Разница получалась чуть не в пятьдесят верст. Да и самая деревня Бухтармы успела в течение ста лет выгореть раз десять, и ее наличное население давно превратилось в толпу голодных и жалких нищих.

— Что мы будем делать? — несколько раз спрашивал Привалов хмурившегося Бахарева.

— Теперь решительно ничем нельзя помочь, — отвечал обыкновенно Бахарев, — проклятая опека связала по рукам и по ногам... Вот когда заводы выкрутятся из долгов, тогда совсем другое дело. Можно просто отрезать башкирам их пятнадцать десятин, и конец делу.

— Да, но ведь не все же эти десятины отошли к заводам?

— Сосчитайте, сколько их отошло.

Точно для иллюстрации этого возмутительного дела в Шатровском заводе появилась целая башкирская депутация. Эти дети цветущей Башкирии успели проведать, что на заводы приехал сам барин, и поспешили воспользоваться таким удобным случаем, чтобы еще раз заявить свои права.

Привалова на первый раз сильно покоробило при виде этой степной нищеты, которая нисколько не похожа на ту нищету, какую мы привыкли видеть по русским городам, селам и деревням. Цивилизованная нищета просит если не словами, то своей позой, движением руки, взглядом, наконец — лохмотьями, просит потому, что там есть надежда впереди на что-то. Но здесь совсем другое: эти бронзовые испитые лица с

косыми темными глазами глядят на вас с тупым безнадежным отчаянием, движения точно связаны какой-то мертвой апатией, даже в складках рваных азямов чувствовалось это чисто азиатское отчаяние в собственной судьбе. «Такова воля Аллаха...» — вот роковые слова, которые гнездились под меховыми рваными треухами. Какое-то подавляющее величие чувствовалось в этой степной философии, созданной тысячелетиями и красноречиво иллюстрированной событиями последних двухсот лет.

— Бачка... кош ставить нильзя... — десять раз принимались толковать башкиры, — ашата подох... становой кулупал по спинам...

Между этой отчаянной голытьбой, обреченной более сильной цивилизацией на вымирание, как объясняет наука, выделялись только два старика, которые были коноводами. Один, Кошгильда, был лет под шестьдесят, широкоплечий, с подстриженной седой бородкой, с могучей грудью. Другой, жилистый и сухой, весь высохший субъект, с тонкой шеей и подслеповатыми, слезившимися глазами. Его звали Урукаем. Старики держали себя просто и свободно, с грацией настоящих степняков. Они еще чуть-чуть помнили привольное старое житье, когда после холодной и голодной зимы отправлялись на летние кочевки сотнями кошей. Степь была вольная. За лето успевали все отдохнуть — и скот и люди. А теперь... «кунчал голова», — как объяснял более живой Кошгильда.

«Вот они, эти исторические враги, от которых отсиживался Тит Привалов вот в этом самом доме, — думал Привалов, когда смотрел на башкир. — Они даже не знают о том славном времени, когда башкиры горячо воевали с первыми русскими насельниками и не раз побивали высылаемые против них воинские команды... Вот она, эта беспощадная философия истории!»

Башкир несколько дней поили и кормили в господской кухне. Привалов и Бахарев надрывались над работой, разыскивая в заводском архиве материалы по этому делу. Несколько отрывочных бумаг явилось плодом этих благородных усилий — и только. Впрочем, на одной из этих бумаг можно было прочитать фамилию

межевого чиновника, который производил последнее размежевание. Оказалось, что этот межевой чиновник был Виктор Николаевич Заплатин.

— Вот и отлично, — обрадовался Привалов. — Это хозяин моей квартиры в Узле, — объяснял он Бахареву, — следовательно, от него я могу получить все необходимые указания и, может быть, даже материалы.

— Дай бог...

Когда башкирам было, наконец, объявлено, что вот барин поедет в город и там будет хлопотать, они с молчаливой грустью выслушали эти слова, молча вышли на улицу, сели на коней и молча тронулись в свою Бухтарму. Привалов долго провожал глазами этих несчастных, уезжавших на верную смерть, и у него крепко щемило и скребло на сердце. Но что он мог в его дурацком положении сделать для этих людей!

Целую ночь снилась Привалову голодная Бухтарма. Он видел грязных, голодных женщин, видел худых, как скелеты, детей... Они не протягивали к нему своих детских ручек, не просили, не плакали. Только длинная шея Урукая вытянулась еще длиннее, и с его губ сорвались слова упрека:

— Наш земля — твой земля... — хрипел Урукай, совсем закрыв слезившиеся глазки. — Все — твой, ничево — наш... Ашата подох, апайка подох, Урукай подох...

Привалов проснулся с холодным потом на лбу.

XIV

Привалов прожил на Шатровском заводе недели две и все время был завален работой по горло. Свободное время оставалось только по вечерам, когда шли бесконечные разговоры обо всем.

Лоскутов уезжал на прииски только на несколько дней. Работы зимой были приостановлены, и у него было много свободного времени. Привалов как-то незаметно привык к обществу этого совершенно особенного человека, который во всем так резко отличался от всех других людей. Только иногда какое-нибудь неосторожное слово нарушало это мирное настроение Привалова,

и он опять начинал переживать чувство предубеждения к своему сопернику.

— Это, голубчик, исключительная натура, совершенно исключительная, — говорил Бахарев про Лоскутова, — не от мира сего человек... Вот я его сколько лет знаю и все-таки хорошенько не могу понять, что это за человек. Только чувствуешь, что крупная величина перед тобой. Всякая сила дает себя чувствовать.

— Мне еще Ляховский говорил о нем, — заметил Привалов, — впрочем, он главным образом ценит его как философа и ученого.

— Да, с этой стороны Лоскутов понятнее. Но у него есть одно совершенно исключительное качество... Я назвал бы это качество притягательной силой, если бы речь шла не о живом человеке. Говорю серьезно... Замечаешь, что чувствуешь себя как-то лучше и умнее в его присутствии; может быть, в этом и весь секрет его нравственного влияния.

— Однако, что же такое, по-твоему, этот Лоскутов?

— Лоскутов? Гм... По-моему, это — человек, который родился не в свое время. Да... Ему негде развернуться, вот он и зарылся в книги с головой. А между тем в другом месте и при других условиях он мог бы быть крупным деятелем... В нем есть эта цельность натуры, известный фанатизм, — словом, за такими людьми идут в огонь и в воду.

Вообще Лоскутов для Привалова продолжал оставаться загадкой. С одной стороны, он подкупал Привалова своей детской простотой, как подкупал Бахарева своим цельным характером, а Ляховского умом; с другой стороны, Привалова отталкивала та мистическая нотка, какая звучала в рассуждениях Лоскутова. Вглядываясь в выражение лица Лоскутова, Привалов испытывал иногда щемящее, неприятное чувство... Иногда Привалову делалось настолько тяжелым присутствие Лоскутова, что он или уходил на завод, или запирался на несколько часов в своей комнате. «Если ты действительно любишь ее, — шептал ему внутренний голос, — то полюбишь и его, потому что она счастлива с ним, потому что она любит его...» Гнетущее чувство смертной тоски сжимало его сердце, и он подолгу не спал по

ночам, тысячу раз передумывая одно и то же. Надежда Васильевна и Лоскутов — это были два роковые полюса, между которыми с болезненным напряжением теперь опять вращались все мысли Привалова...

Лоскутов с своей стороны относился к Привалову с большим вниманием и с видимым удовольствием выслушивал длиннейшие споры о его планах. Привалов иногда чувствовал на себе его пристальный взгляд, в котором стоял немой вопрос.

— Знаете что, Сергей Александрыч, — проговорил однажды Лоскутов, когда они остались вдвоем в кабинете Бахарева, — я завидую вашему положению.

— В каком отношении? — удивился Привалов.

— Да во многих отношениях... Конечно, вам предстоит много черновой, непроизводительной работы, но эта темная сторона с лихвой выкупается основной идеей. Начать с того, что вы определяете свои отношения к заводам без всяких иллюзий, а затем, если осуществится даже половина ваших намерений, Шатровские заводы послужат поучительным примером для всех других.

— Да... Но ведь «добрыми намерениями вымощен весь ад», как говорит пословица, — заметил Привалов. — Все дело может кончиться тем, что мы не развяжемся даже с опекой...

— Гм... конечно, все может быть. Тогда у вас в резерве остается ваше собственное дело — организация хлебной торговли на рациональных основаниях. Уж одним этим вы спасете тысячи людей от эксплуатации нарождающейся буржуазии... Я понимаю, что всякое новое дело, особенно в области практических интересов, должно пройти через целый ряд препятствий и даже неудач, но великое дело — положить именно начало. Последователи и продолжатели найдутся. По-моему, вы выбрали особенно удачный момент для своего предприятия: все общество переживает период брожения всех сил, сверху донизу, и вот в эту лабораторию творящейся жизни влить новую струю, провести новую идею особенно важно. Конечно, были попытки и раньше в этом направлении, но я разбираю ваш проект по отношению

к настоящему времени, к выбранному месту и тем средствам, какими вы располагаете.

Однажды, когда Привалов после ужина ушел в свою комнату и только что хотел просмотреть последнюю книжку журнала, в дверях послышался осторожный стук.

— Вы спите? — спрашивал за дверями голос Лоскутова.

— Нет... войдите.

— А я к вам... Что-то не хочется спать, а Константин Васильич ушел на завод. Можно у вас посидеть?

— Отчего же...

Лоскутов поместился на маленьком клеенчатом диванчике и, не торопясь, раскурил папиросу.

«Зачем он пришел?» — думал Привалов, предчувствуя какое-то объяснение.

— А мне хотелось с вами поговорить, — продолжал Лоскутов, попыхивая синим дымом. — Может быть, вы не расположены к этому? Будьте откровенны, я не обижусь...

— Нет, я с удовольствием послушаю.

Лоскутов бросил недокуренную папиросу в угол, прошелся по комнате несколько раз и, сделав крутой поворот на каблуках, сел рядом с Приваловым и заговорил с особенной отчетливостью:

— Все это время я серьезно думал о ваших планах... И чем дальше я думаю на эту тему, предо мной все неотвязнее встает один вопрос... За ваши планы говорит все: и оригинальность мысли, и чистота намерений, и полная возможность осуществления, но у этих планов есть страшный недостаток, потому что здесь все зависит от одной личности и затем будущее обеспечено только формой. Именно, вы всего больше рассчитываете на формальную сторону дела, на строй предприятия. Что будет со всем этим, когда вас не будет или вы почему-либо откажетесь от выполнения своей идеи? Постараюсь быть яснее: вера в торжество формы, кажется, уже поколебалась у самых слепых ее защитников, потому что всякая форма является только паллиативной мерой, которая просто убаюкивает нас и заставляет закрывать глаза на продолжающее существовать зло... Дальше...

Мне думается, что успех каждого начинания больше всего зависит от органической подготовки всех действующих лиц. Вот я и думаю, что не лучше ли было бы начать именно с такой органической подготовки, а форма вылилась бы сама собою. Конечно, это несравненно медленнее, но зато успех будет несомненный. Ведь вам придется стать лицом к лицу с организованной силой эксплуатации, с одной стороны, а с другой — с пассивным сопротивлением той именно массы, для которой все будет делаться. Произойдут недоразумения, взаимное недоверие, ряд мелких плутней и обманов. Мне кажется, что было бы вернее начать именно с такой органической подготовки...

— Вы забываете, что время не ждет, а пока мы будем заниматься такой подготовкой, удобный случай будет упущен навсегда. Форма моего предприятия будет служить только временными лесами и вместе с тем школой. А дальше время и обстоятельства покажут, что придется изменить или оставить совсем.

— Да, но это очень скользкий путь...

— За неимением лучшего пока будем довольствоваться им.

Лоскутов заговорил о систематической подготовке, как он понимал ее сам. Дело в том, что во всех предприятиях рассчитываются прежде всего экономические двигатели и та система форм, в какую отлилась жизнь. Но ведь все это служит только проявлением, внешней оболочкой, основой двигающей силы, которая лежит не вне человека, а внутри его. Практика всемирной истории с железной последовательностью доказала полную неосуществимость всех форм, какие боролись со злом его же средствами. Необходимо обратить внимание на нравственные силы, какие до сих пор не принимались в расчет новаторами. А между тем только на этих силах и можно создать что-нибудь истинно прочное и таким образом обеспечить за ним будущее.

— Но как же вы воспользуетесь этими нравственными силами? — спрашивал Привалов. — Опять-таки должна существовать форма, известная организация...

— Совершенно верно. Только здесь форма является средством, а центр тяжести перемещается с

экономических интересов на нравственные силы. Притом здесь организация совсем не играет такой роли, как при осуществлении экономических интересов. Чем объяснить, например, живучесть нашего раскола и сектантства? Формальная сторона здесь является только побочным обстоятельством, а важны именно нравственные побуждения.

При последних словах глаза у Лоскутова заблестели, и он тяжело вздохнул, точно свалил гору с плеч.

XV

В доме Ляховского шли деятельные приготовления к балу, который ежегодно давался по случаю рождения Зоси четвертого января. На этом бале собирался весь Узел, и Ляховский мастерски разыгрывал роль самого гостеприимного и радушного хозяина, какого только производил свет.

Приготовления к нынешнему балу доказывали своей торжественной суетой, что готовится нечто из ряду выходящее вон, не в пример прошлым годам. Вездесущий Альфонс Богданыч, как гуттаперчевый мяч, катался по всем комнатам, все видел, все слышал и все и всех успевал обругать. В нем говорил теперь не слуга или наемник, обязанный выполнить хозяйское приказание, а истинный артист. Предстоящая «забавка» была для Альфонса Богданыча самым серьезным делом, требовавшим глубоких соображений и слишком много «счастливых мыслей», как выражался он. За этими счастливыми мыслями Альфонс Богданыч по сту раз в день являлся к Зосе и наипочтительнейше начинал:

— Если Софья Игнатьевна не захочет дать мне совет, я погиб... У Софьи Игнатьевны столько вкуса... Боже, сколько вкуса! И глаз... о, какой острый, молодой глаз у Софьи Игнатьевны! Мне нужно думать целую неделю, а Софье Игнатьевне стоит только открыть ротик...

Но он не ограничивался одной Зосей, а бежал так же стремительно в нижний этаж, где жили пани Марина

и Давид. Конечно, пани Марина очень любила русскую водку, но она не забыла еще, как танцевала с крутоусым Сангушко, и знала толк в забавках. Гордый и грубый с пани Мариной в обыкновенное время, Альфонс Богданыч теперь рассыпался пред ней мелким бесом и в конце концов добивался-таки своего.

Пани Марина, высокая и когда-то замечательно красивая женщина, теперь являлась жалкой развалиной. Обрюзглое лицо, мешки под глазами, красный нос, мутный тупой взгляд больших темных глаз и дрожавшие руки красноречиво свидетельствовали, чем занималась пани Марина в своих пяти комнатах, где у Приваловых был устроен приют для какого-то беглого архиерея. Обстановка этих комнат была устроена практическим Альфонсом Богданычем из разных остатков и обрезков. Сборная мебель, полинявшие драпировки, слишком старые ковры на полу — все говорило о том, что он владел золотой способностью создавать из ничего.

— Только одно слово, пани Марина, а иначе — я погиб... Только одно слово. О, пани все на свете знает... пани все видела, пани стоит сказать одно слово, и мы все спасены.

Сделав таинственное лицо, Альфонс Богданыч подходил на цыпочках к пани Марине, наклонялся к самому уху и шептал сладко и льстиво:

— О! пани Марина, кто же не знает, что вы первая красавица... во всей Польше первая!.. Да... И лучше всех танцевали мазурочки, и одевались лучше всех, и все любили пани Марину без ума. Пани Марина сердится на меня, а я маленький человек и делал только то, чего хотел пан Игнатий.

После такого вступления пани Марина, наконец, сдавалась на «одно слово», и Альфонс Богданыч выпытывал из нее все, что ему было нужно. Они беседовали по целым часам самым мирным образом, как самые лучшие друзья, и пани Марина оставалась очень довольна, рассматривая принесенные Альфонсом Богданычем образчики разных материй и план забавок.

— Мы откроем бал полонезом Огиньского, — рапортовал он, подпрыгивая на своем стуле. — Для паненки

Зоси костюм из желтого атласа. Для пары нарочно выписываем из Сибири одного шляхтича: от-то танцует!..

Пани Марина сделала вопросительное лицо, и Альфонс Богданыч поспешил поправиться:

— О, конечно, он не так хорошо танцует, как танцевали кавалеры с пани Мариной... Но пан Игнатий хочет видеть настоящую мазурку, знаете, мазур Хлопицкого? Не мазуру Контского, а мазур Хлопицкого... Паненка Зося не знает про кавалера... Сюрприз, все сюрприз, везде сюрприз...

Это известие оживило пани Марину, и она отнеслась к счастливой мысли Альфонса Богданыча с глубоким участием и обещала свою помощь и всякое содействие.

Зося хотя и не отказывалась давать советы Альфонсу Богданычу, но у нее на душе совсем было не то. Она редко выходила из своей комнаты и была необыкновенно задумчива. Такую перемену в характере Зоси раньше всех заметил, конечно, доктор, который не переставал осторожно наблюдать свою бывшую ученицу изо дня в день.

— Я советовал бы вам ежедневно проводить непременно два-три часа на воздухе, — говорил доктор.

— Хорошо... — как-то безучастно соглашалась Зося. — А что, как здоровье Nadine? Вы давно у них были, Борис Григорьич?

Зося сделалась необыкновенно внимательна в последнее время к Надежде Васильевне и часто заезжала навестить ее, поболтать или увезти вместе с собой кататься. Такое внимание к подруге было тоже новостью, и доктор не мог не заметить, что во многом Зося старается копировать Надежду Васильевну, особенно в обстановке своей комнаты, которую теперь загромоздила книгами, гравюрами серьезного содержания и совершенно новой мебелью, очень скромной и тоже «серьезной».

Только с двумя привычками Зося была не в силах расстаться: это со своими лошадьми и с тысячью тех милых, очень дорогих и совершенно ненужных безделушек, которыми украшены были в ее комнате все столы, этажерки и даже подоконники. Между прочим, в новой обстановке, которую устраивала себе Зося, обходилось

не без курьезов: так, рядом с портретом Дарвина на стене помещался портрет какого-то английского скакуна, под бюстом Шиллера красовался английский жокей и т. д. Комната Зоси выходила окнами на двор, на север; ее не могли заставить переменить эту комнату на другую, более светлую и удобную, потому что из своей комнаты Зося всегда могла видеть все, что делалось на дворе, то есть, собственно, лошадей.

— В вас есть небольшая перемена... — осторожно пробовал навести разговор доктор.

— Понятное дело, Борис Григорьич, нам пора и за ум приниматься, а не все прыгать на одной ножке,— довольно грубо отвечала Зося, но сейчас же поправилась. — Вы, милый мой доктор, тысячу раз уж извините меня вперед... Я постоянно оказываю вам самую черную неблагодарность. Вы ведь извините меня? да?

«Нервы», — думал про себя доктор, напрасно стараясь придумать какое-нибудь средство, чтобы оживить Зосю.

Впрочем, Зося оживлялась и сама, когда у них в доме бывал Лоскутов. Он зимой часто приезжал в Узел и бывал у Ляховских. Игнатий Львович постоянно твердил дочери: «Это редкий экземпляр, Зося... очень редкий. И замечательно умный экземпляр. Советую тебе поближе сойтись с ним. Общество умных людей — самая лучшая школа». Зося по-своему пользовалась советами отца и дурачилась в присутствии Лоскутова, как сумасшедшая. Ее забавлял этот философ не от мира сего, и она в его присутствии забывала свою скуку. Надежда Васильевна иногда встречалась с Лоскутовым у Ляховских, и они втроем проводили очень весело время.

Половодов и Виктор Васильич несколько раз заглядывали к Зосе и пытались настроить хозяйку по-старому, но дело не клеилось. Зося скучала в их обществе, и «Моисей», наконец, решил, что она «совсем прокисла и обабилась». Отделаться от Половодова было не так легко, потому что он в некоторых случаях имел терпение ходить по пятам целые месяцы сряду. Чтобы попасть в тон нового настроения, которое овладело Зосей, Половодов в свободное время почитывал серьезные

статейки в журналах и даже заглядывал в ученые книги. Главным двигателем здесь являлось задетое самолюбие, потому что Половодов, как все мелкие эгоисты, не переносил соперничества и лез из кожи, чтобы взять верх. Но на этот раз последнее было довольно трудно сделать, потому что в философии Половодов смыслил столько же, сколько и в санскритском языке.

«Дурит девка, — несколько раз ворчал мученик науки, ломая голову над Шопенгауэром. — И нашла чем заниматься... Тьфу!.. Просто замуж ей пора, вот и бесится с жиру...»

Зося, конечно, давно уже заметила благородные усилия Половодова, и это еще больше ее заставляло отдавать предпочтение Лоскутову, который ничего не подозревал. Последнее, однако, не мешало ему на всех пунктах разбивать Половодова каждый раз, когда тот делал против него ученую вылазку. Даже софизмы и самые пикантные bons mots [1] не помогали, а Зося заливалась самым веселым смехом, когда Половодов, наконец, принужденно смолкал.

За несколько дней до бала Зося в категорической форме объявила доктору, чтобы Лоскутов непременно был в числе гостей.

— Вот уже этого я никак не могу вам обещать, — попробовал упереться доктор. — Вы сами знаете, что Лоскутов порядочный нелюдим и на балах совсем не бывает... Не тащить же мне его силой, Зося?

— Скажите проще, что вы совсем не желаете исполнить мою просьбу? — настаивала Зося с обычным упрямством. — Тогда я обращусь к Александру Павлычу, наконец, к Альфонсу Богданычу...

— Хорошо, я передам ваше непременное желание Лоскутову.

— Ах, вот за это я вас люблю, Борис Григорьич... Как и чем прикажете благодарить? Я вам что-нибудь вышью...

— Все это хорошо, но я, право, не понимаю таких неопределенных желаний, — серьезно говорил доктор.—

---

[1] остроты *(франц.)*.

Тем более что мы можем показаться навязчивыми. Это детский каприз...

— И пусть будет каприз! Если я этого хочу, доктор?

Доктору оставалось только пожать плечами, а Зося надула свои пухлые губки и уже зло проговорила:

— Хорошо, пусть будет по-вашему, доктор... Я не буду делать особенных приглашений вашему философу, но готова держать пари, что он будет на нашем бале... Слышите — непременно! Идет пари? Я вам вышью феску, а вы мне... позвольте, вы мне подарите ту статуэтку из терракоты, помните, — ребенка, который снимает с ноги чулок и падает. Согласны?

— Хорошо, — согласился доктор, протягивая руку, и, пристально взглянув на расширенные зрачки Зоси, подумал: «Нет, это уж не нервы, а что-нибудь посерьезнее...»

Все эти хлопоты, которые переживались всеми в старом приваловском доме, как-то не касались только самого хозяина, Игнатия Львовича. Ему было не до того. Пролетка Веревкина чуть не каждый день останавливалась пред подъездом, сам Nicolas грузно высаживал свою «натуру» из экипажа и, поднявшись с трудом во второй этаж, медведем вваливался в кабинет Игнатия Львовича.

— Как драгоценнейшее здравие почтеннейшего Игнатия Львовича? — басил Nicolas, пожимая сухую тонкую руку Ляховского своей пятерней.

— Ах, это вы!.. — удивлялся каждый раз Ляховский и, схватившись за голову, начинал причитать каким-то бабьим голосом: — Опять жилы из меня тянуть... Уморить меня хотите, да, уморить... О, вы меня сведете с ума с этим проклятым делом! Непременно сведете... я чувствую, что у меня в голове уже образовалась пустота.

— Если в голове, то это еще не велика беда, — шутил Nicolas, разваливаясь в кресле с видом человека, который пришел в свою комнату. — А вот насчет дельца позвольте...

— Да ведь я вам говорил, что ничего не знаю, что все бумаги у Половодова... С него и спрашивайте.

— Александр Павлыч говорит наоборот, именно, что все документы как по наделу мастеровых Шатровского завода, так и по замежеванию башкирских земель хранятся у вас.

— Нет, у меня ничего нет, — каким-то упавшим голосом отвечал Ляховский, делая птичье лицо.

— Нет, документы у вас.

— Я же говорю вам, что ничего у меня нет.

— А я вам повторяю, что у вас, и не выйду из вашего кабинета, пока вы мне их не покажете.

— Это разбой, дневной разбой!.. — вскрикивал Ляховский, начиная бегать по кабинету своим сумасшедшим шагом.

Веревкин преспокойно покуривал сигару, выжидая, когда, наконец, Ляховскому надоест бесноваться. Побегав с полчаса, Ляховский вдруг останавливался и веселым тоном, как человек, только что нашедший потерянную вещь, объявлял:

— Николай Иваныч... Да ведь эти проклятые документы должны храниться в дворянском опекунском управлении, в Мохове. Да, да... Я хорошо это помню. Отлично помню...

Веревкин вместо ответа вынимал из своего портфеля отношение моховского дворянского опекунского управления за № 1348; в нем объявлялось, что искомых документов в опеке налицо не имеется. Ляховский читал это отношение через свои очки несколько раз самым тщательным образом, просматривая бумагу к свету, нет ли где подскобленного места и, наконец, объявлял:

— Это вы сами написали, Николай Иваныч...

— Игнатий Львович, вы, кажется, считаете меня за какого-то шута горохового? А не угодно ли вам показать опись, по которой вы получали бумаги и документы при передаче опекунских дел?

— Какую опись?

— Да ведь вы опекун?

— Опекун. Ах, позвольте... Нужно спросить Василия Назарыча, он должен помнить...

— Он говорит, что передал все документы вам.

— Не может быть... Вы ослышались, Николай Иваныч!..

Подобная комедия повторялась чуть не изо дня в день в течение последних трех месяцев. Сначала пробовал хлопотать сам Привалов, но ничего не мог добиться и махнул рукой, передав дело Веревкину. Ляховский дошел до того, что даже прятался от Веревкина и, как был, в своем ваточном пальто и в туфлях, в таком костюме и улепетывал куда-нибудь в сад или в конюшни. Этот остроумный маневр несколько раз спасал Ляховского от нападений Nicolas, пока последний со своей стороны не придумал некоторого фокуса. Веревкин звонил у подъезда, и, пока Палька отворял двери, он рысью обегал дом и караулил ворота, когда Ляховский побежит от него через двор. Тут остроумный адвокат орлом налетал на свою добычу, и опять начиналась та же сказка про белого бычка, то есть разговор о документах.

— Вам будет плохо, — предупредил Веревкин Ляховского за несколько дней до бала. — Отдавайте добром...

— Послушайте, Николай Иваныч, — мягко ответил Ляховский. — Отчего Сергей Александрыч сам не хочет прийти ко мне?.. Мы, может быть, и столковались бы по этому делу.

— Да ведь он у вас был не один десяток раз, и все-таки из этого ничего не вышло, а теперь он передал все дело мне и требует, чтобы все было кончено немедленно. Понимаете, Игнатий Львович: *не-мед-лен-но*... Кажется, уж будет бобы-то разводить. Да Привалова и в городе нет совсем, он уехал на мельницу.

По вечерам в кабинете Ляховского происходил иногда такой разговор между самим хозяином и Половодовым:

— Я больше не могу, Александр Павлыч, — усталым голосом говорил Ляховский. — Этот Веревкин пристает с ножом к горлу.

— Немножко еще потерпите, Игнатий Львович, — отвечал Половодов, вытягивая свои длинные ноги. — Ведь вы знаете, что для нас теперь самое важное — выиграть время... А когда Оскар Филипыч устроит все дело, тогда мы с Николаем Иванычем не так заговорим.

— Оскар Филипыч, Оскар Филипыч, Оскар Филипыч... А что, если ваш Оскар Филипыч подведет нас? И какая странная идея пришла в голову этому Привалову... Вот уж чего никак не ожидал! Какая-то филантропия...

— Это нам на руку: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А вы слышали, что дела у Василия Назарыча швах?..

— О да, слышал... Ведь вот, подумаешь, какой странный случай вышел! — удивлялся Ляховский.

— Ничего странного нет, а, наоборот, самое естественное дело. Ведь еще вопрос, откуда у Бахарева капиталы...

— Нет, это вы уж напрасно, — вступился Ляховский. — Я знаю слишком хорошо Василия Назарыча и могу поручиться за него...

— Это плохое доказательство. Вот я за вас сегодня поручусь, а вы меня завтра ко дну спустите... Ведь спустите и не поморщитесь. Ха-ха! Нисколько не обижусь, поелику homo homini lupus est [1]. Кстати, у вас на святках бал готовится? Отличное дело...

— Да, бал, — упавшим голосом повторил Ляховский. — Деньги, деньги и деньги... И какой дурак придумал эти балы?!.

XVI

Наконец, наступил и многознаменательный день бала. Весь Узел, то есть узловский beau monde, был поднят на ноги с раннего утра. Бедные модистки не спали накануне целую ночь, дошивая бальные платья. Хиония Алексеевна не выходила от Веревкиных, где решался капитальный вопрос о костюме Аллы. Вероятно, ни один генерал, даже перед самым серьезным делом, никогда не высказал такой тонкой сообразительности и находчивости. Каждая мелочь была обсуждена на предварительном совещании, затем в проекте, потом производился маленький опыт и, наконец, следовало окончательное решение, которое могло быть обжало-

---

[1] человек человеку — волк *(лат.)*.

вано во второй инстанции, то есть когда все эти незаметные мелочи будут примерены Аллой в общем.

— Ах, душечка, не поднимайте плечи, — упрашивала Хиония Алексеевна Аллу, — вот у вас в этом месте, у лопатки, делается такая некрасивая яма... Необходимо следить за собой.

— Какие глупости... — грубила Алла. — Вы меня муштруете, как пожарную лошадь.

— После сами благодарить будете за науку, — трещала Хина. — Никто своего счастья не знает... Не все богатым невестам за богатых женихов выходить, и мы не хуже их. Не так ли, Агриппина Филипьевна? Деньги — как вода: пришли и ушли, только и видел... Сегодня богатая невеста, а завтра... Ах, я, кажется, не дождусь до вечера, чтобы посмотреть на Nadine Бахареву, на эту гордячку. Так интересно, так интересно... А Привалов-то, представьте, ведь он был влюблен в нее... д-да! И где только глаза у этих мужчин. Конечно, Привалов очень умный человек, и теперь, кажется, одумался.

Привалов тоже готовился к балу, испытывая довольно приятное волнение. Он думал о том, что увидит сегодня Надежду Васильевну. Зачем, для чего все это — Привалов не хотел даже думать, отдаваясь волне, которая опять подхватила и понесла его. Перед рождеством Привалов почти все время провел в Гарчиках; к Бахаревым он заходил раза два, но все как-то неудачно: в первый раз Надежда Васильевна не показалась из своей комнаты, во второй она куда-то уехала только что перед ним. Ипат, кажется, не разделял веселых чувств своего барина и все время тяжело вздыхал, пока помогал барину одеваться, то есть ронял вещи, поднимал их, задевал ногами за мебель и т. д.

Ночь была ясная, морозная, небо точно обсыпано брильянтовой пылью. Снег светился синеватыми искрами. Привалов давно не испытывал такого бодрого и счастливого настроения, как сегодня, и с особенным удовольствием вдыхал полной грудью морозный воздух.

В передней стояла настоящая давка, хотя Привалов приехал довольно рано. Кроме двух горных инженеров

и одного адвоката, с которыми Привалов встречался у Половодова, все был незнакомый народ. Разодетые дамы поднимались по лестнице, шелестя длинными шлейфами. Привалов чувствовал, что они испытывают такое же приятное волнение, какое испытывал он сам; это видно было по лихорадочно светившимся глазам, по нервным движениям. Особенно одна молоденькая девушка в белом платье обратила на себя внимание Привалова. Не было сомнения, что это был ее первый выезд, и дебютантка так мило конфузилась, и вместе с тем она была так счастлива... Привалов чувствовал, что у нее от слишком сильного возбуждения руки и ноги не повиновались и точно мешали, когда хотелось вспорхнуть и улететь под звуки доносившейся из главной залы музыки. Молодые собаки испытывают то же самое на первой охоте, но Привалову показалось такое сравнение слишком грубым.

— Вот вас-то только и недоставало, Сергей Александрыч! — кричали в два голоса «Моисей» и Давид, подхватывая Привалова под руки.

— А что? — справился Привалов, с любопытством поглядывая на завитых, как барашки, благоприятелей.

— Хотите визави? — предлагал «Моисей».

— Я не танцую.

— Это еще что за новости... Вы шутите? Пойдемте, батенька, приглашайте поскорее, есть тут одна докторша... спасибо после скажете! Куда вы? Постойте... Ха-ха! Представьте себе, этот сумасшедший здесь...

— Какой сумасшедший? — проговорил Привалов, почувствовав что-то неприятное.

— Ну, да этот... Лоскутов! Ха-ха!.. Вот вам визави; два сапога — пара...

Привалов кое-как отделался от веселых молодых людей с шапокляками и побрел в главную залу, где теперь публика бродила густой шумевшей толпой. Известие, что Лоскутов на бале, неприятно поразило Привалова. Остановившись в дверях, он обвел глазами весь зал. Везде было так много света, что Привалов даже немного прищурил глаза; лица мешались в пестрой разноцветной куче, шевелившейся и гудевшей, как пчелиный рой. Больше всего Привалова поразил

самый зал: он даже не узнал его. Экзотическая зелень по углам, реставрированная живопись, новые драпировки на окнах, навощенный паркет, — словом, зал благодаря стараниям Альфонса Богданыча принял совершенно другой вид. В это время Привалов заметил в толпе знакомую фигуру философа, который шел по залу с таким видом, как будто попал в царство теней.

«Это она идет с ним под руку...» — с тоской подумал Привалов, стараясь разглядеть даму в белом атласном платье, которая шла, опираясь на руку Лоскутова.

— Посмотрите, пожалуйста, какова парочка! — кричал «Моисей», точно вынырнув откуда-то из-под земли. — Видели Зосю, как она шла с Лоскутовым? Ха-ха...

— Разве это была Зося?

— А то как же? Конечно, она. Ведь взбредет же человеку такая блажь... Я так полагаю, что Зося что-нибудь придумала. Недаром возится с этим сумасшедшим.

— А вот и Хиония Алексеевна! — крикнул «Моисей», оставляя Привалова.

По лестнице величественно поднимались две группы: впереди всех шла легкими шажками Алла в бальном платье цвета чайной розы, с голыми руками и пикантным декольте. За ней Иван Яковлич с улыбкой счастливого отца семейства вел Агриппину Филипьевну, которая была сегодня необыкновенно величественна. Шествие замыкали Хиония Алексеевна и Виктор Николаич.

Привалов раскланялся с дамами и пожал тонкую руку Ивана Яковлича, который все время смотрел на него улыбавшимися глазами.

— Ах, сколько публики, сколько публики! — восклицала с восторгом институтки Хиония Алексеевна, кокетливо прищуривая глаза. — Вот, Сергей Александрыч, вы сегодня увидите всех наших красавиц... Видели Аню Пояркову? Высокая, с черными глазами... О, это такая прелесть, такая прелесть!..

Между прочим, Хина успела показать глазами на Аллу: дескать, какова девочка, если знаешь толк в жен-

щинах. Вся компания скоро смешалась с публикой, а Привалов пошел через зал в боковую комнату. Он знал, что на рождественском бале всегда бывает сама пани Марина, и ему хотелось ее увидать. Пани Марина шла как раз навстречу вместе с Игнатием Львовичем. Она была необыкновенно эффектна в своем гранатовом бархатном платье с красной камелией в волосах и ответила на поклон Привалова едва заметным кивком головы, улыбаясь стереотипной улыбкой хозяйки дома.

— Вы, кажется, не знакомы? — лепетал Игнатий Львович, походивший в своем фраке на деревянного манекена. — Пани Марина, это Сергей Александрыч Привалов... рекомендую. Прекрасный молодой человек, которого ты непременно полюбишь... Его нельзя не полюбить!

— Очень рада познакомиться, — протянула пани Марина, подавая Привалову свою руку с обычным жестом театральной королевы.

Привалов не успел ничего ответить пани Марине, потому что его заставила обернуться чья-то рука, тянувшая его за плечо. Обернувшись, Привалов увидел Половодовых; Александр Павлыч, пожимая руку Привалову, говорил:

— Наконец-то и вы выглянули на свет божий... Тонечка, представь себе, Сергей Александрыч не танцует. Мне сейчас «Моисей» докладывал...

— Вероятно, Сергей Александрыч пошутил, — певуче и мягко ответила Антонида Ивановна. — Или, может быть, Сергей Александрыч стыдится танцевать с провинциалками, — кокетливо прибавила она, чуть показывая свои белые мелкие зубы.

Антонида Ивановна показалась Привалову сегодня ослепительно красивой, красивой с ног до головы, от складок платья до последнего волоска.

— Тонечка, извини меня, — торопливо заговорил Половодов, осторожно освобождая свой локоть из-под руки жены. — Я сейчас... только на одну минуточку оставлю тебя с Сергеем Александрычем.

Антонида Ивановна ничего не ответила мужу, а только медленно посмотрела своим теплым и влажным

взглядом на Привалова, точно хотела сказать этим взглядом: «Что же вы не предлагаете мне руки? Ведь вы видите, что я стою одна...» Привалов предложил руку, и Антонида Ивановна слегка оперлась на нее своей затянутой выше локтя в белую лайковую перчатку рукой.

— Пойдемте в зал, — предложила Антонида Ивановна, подбирая свободной рукой шлейф платья, на который сейчас наступил какой-то неловкий кавалер.

В это время Половодов вернулся, и по его лицу можно было заметить, что он очень доволен, что сбыл жену с рук.

— Знаете, кто сегодня всех красивее здесь? — спрашивал он, обращаясь к Привалову.

— Конечно, Зося и Надежда Васильевна... — ответила Антонида Ивановна, делая равнодушное лицо.

— А вот и нет, Тонечка... Ты видела Верочку Бахареву?

— Нет, а что?

— Положительно, самая красивая девушка здесь... Это, кажется, еще первый ее выезд в свет. Да, да... Во всем видна эта непосредственность, какая-то милая застенчивость, — одним словом, как только что распускающийся бутон.

Антонида Ивановна слишком хорошо знала заячью натуру своего мужа и поэтому сомнительно покачала головой. Александр Павлыч хвалил Верочку, чтобы отвести глаза. Его увлечение Зосей не было тайной ни для кого.

— Обратите, пожалуйста, внимание на нее, — шепнул Половодов на ухо Привалову. — Плечи покатые, грудь... а на спине позвонки чуть-чуть выступают розовыми ямочками. Это бывает только у брюнеток.

— Вы нынче что-то совсем не заглядываете к нам?,— ласково пеняла Антонида Ивановна, когда Половодов ушел. — То есть, вы бываете по делу у Александра Павлыча и сейчас же бежите, вероятно, из страха встретиться со мной...

— Да все как-то некогда было, — оправдывался Привалов.

— Вот уж этому никогда не поверю, — горячо возразила Половодова, крепко опираясь на руку Привалова. — Если человек что-нибудь захочет, всегда найдет время. Не правда ли? Да я, собственно, и не претендую на вас, потому что кому же охота скучать. Я сама ужасно скучала все время!.. Так, тоска какая-то... Все надоело.

Антонида Ивановна тихонько засмеялась при последних словах, но как-то странно, даже немного болезненно, что уж совсем не шло к ее цветущей здоровьем фигуре. Привалов с удивлением посмотрел на нее. Она тихо опустила глаза и сделала серьезное лицо. Они прошли молча весь зал, расталкивая публику и кланяясь знакомым. Привалов чувствовал, что мужчины с удивлением следили глазами за его дамой и отпускали на ее счет разные пикантные замечания, какие делаются в таких случаях.

— Сядемте вот здесь, в уголок, — усталым голосом проговорила Половодова, опускаясь на бархатный диванчик.

Публика раздалась, образуя круг, по которому плавными размахами пошли кружиться танцующие пары. В этом цветочном вихре мелькнула козлиная бородка «Моисея», который работал ногами с особенным ожесточением; затем пролетел Давид с белокурой Аней Поярковой; за ним молодой доктор с румяным лицом и развевавшимися волнистыми волосами. Несколько горных инженеров и адвокатов, франт учитель гимназии, жандармский капитан, несколько банковских служащих — словом, обычная танцующая узловская публика. Привалов рассмотрел Верочку, которая в розовом платье вихрем кружилась по залу, совсем повиснув на руке Половодова.

— Посмотрите, вон Зося... — шепнула Половодова, указывая веером на проходившую мимо парочку.

Зося шла под руку с высоким красавцем поляком, который в числе других был специально выписан для бала Альфонсом Богданычем. Поляк был необыкновенно хорош, хорош чистотой типа, выдержкой, какой недостает русскому человеку. Видимо, что он был в своей сфере, как рыба в воде, и шел свободной уверенной

походкой, слегка улыбаясь своей даме. Привалов видел, как он взял правой рукой Зосю за талию, но не так, как другие, а совсем особенным образом, так что Зося слегка наклонилась на его широкую грудь всем телом. Свободным движением поляк расчистил себе дорогу и плавными мягкими кругами врезался в кружившуюся толпу.

— Антонида Ивановна, позвольте вас пригласить!— кричал «Моисей», вынырнув из толпы.

Антонида Ивановна поднялась, «Моисей» взял ее за талию и стал в позицию. Она через его плечо оглянулась на Привалова и улыбнулась своей загадочной улыбкой. Волна танцующих унесла и эту пару.

XVII

То чувство приятного возбуждения, с которым Привалов явился на бал, скоро сменилось неопределенным тяжелым чувством. Спертый воздух, блеск огней, накоплявшийся удушливый жар и общая толкотня скоро утомили Привалова, хотя ему все еще не хотелось расстаться с своим уголком. Здесь он был защищен танцующей публикой от того жадного внимания, с каким смотрели на него совсем незнакомые ему люди. Слава его как миллионера еще не успела остыть, и многие явились на бал со специальной целью посмотреть на него. Привалов чувствовал это общее, слишком тяжелое для него, любопытство в выражении устремленных на него взглядов, в шепоте, которым провожали его. Ему страстно захотелось увидеть теперь Надежду Васильевну. С этой целью он поднялся с своего диванчика и стал бродить из комнаты в комнату. Скоро он увидал знакомый профиль и эту гордую умную голову, которая так хорошо была поставлена на плечах, как это можно заметить только у античных статуй.

Надежда Васильевна шла с доктором и что-то тихо рассказывала ему. На открытой шее ярко блестел крошечный брильянтовый крестик. В русых волосах белела камелия. Привалов внимательно следил за ней издали и как раз в это время встретился глазами с Хионией

Алексеевной, которая шептала что-то на ухо Агриппине Филипьевне и многозначительно улыбнулась, показав головой на Привалова. Привалов даже покраснел под взглядом этих почтенных матрон и испытал самое неприятное чувство, как будто он неожиданно наступил на змею. Он повернулся назад.

— Постойте, Сергей Александрыч, — остановил Привалова Nicolas, облеченный в черную пару и белые перчатки. — Куда это вы бредете?

— Да так... Сам не знаю куда.

— И я тоже... Значит, сошлись характерами! Прополземте в буфет, там есть некоторый ликер... только как он называется — позабыл... Одним словом, этакая монашеская рецептура: Lacrima Christi [1] или Слезы Марии Магдалины, что-то в этом роде. Ведь вы уважаете эти ликеры, батенька... Как же, я отлично помню!

Nicolas подхватил Привалова под руку и потащил через ряд комнат к буфету, где за маленькими столиками с зеленью — тоже затея Альфонса Богданыча, — как в загородном ресторане, собралась самая солидная публика: председатель окружного суда, высокий старик с сердитым лицом и щетинистыми бакенбардами, два члена суда, один тонкий и длинный, другой толстый и приземистый; прокурор Кобяко с длинными казацкими усами и с глазами навыкате; маленький вечно пьяненький горный инженер; директор банка, женатый на сестре Агриппины Филипьевны; несколько золотопромышленников из крупных, молодцеватый старик полицеймейстер с военной выправкой и седыми усами, городской голова из расторговавшихся ярославцев и т. д.

— Одначе здорово народу-то понаперло... — проговорил Веревкин.

Привалов здоровался со знакомыми, не успевая отвечать на вопросы, которые сыпались на него градом. «Да что это вы вздумали строить мельницу, Сергей Александрыч? Охота вам, право... И в клуб не заглянете — это просто неделикатно!» Общее внимание

---

[1] Слезы Христа *(лат.)*.

смутило Привалова. Он многих совсем не знал, но его, очевидно, знали все и теперь с чисто провинциальным ненасытным любопытством глядели во все глаза. Большинство смотрело на наследника миллионов, как на редкую птицу. На некоторых лицах мелькало почти враждебное выражение. Но общий тон все-таки был самый дружелюбный, как на Руси встречают всякого нового человека с громким именем, и только приваловская мельница нагоняла облачка на это ясное небо.

— А, черрт... Брось ты свою мельницу, — лепетал пьяный инженер, хватая Привалова за рукав. — Ей-богу, брось... Ну ее к нелегкому!.. А мы тебя лучше женим... Господа, давайте женим Сергея Александрыча; тогда все пойдет как по маслу.

— А ведь это верно, — отозвался кто-то из толпы.— Женим... Тогда и в клуб будет ходить, и в винт грешным делом... Ха-ха!.. Уж это верно... Да-с!..

— А вон Данилушка нагружается, — заметил Веревкин, тыкая пальцем в угол. — Ну что, Данилушка, устроил разрешение вина и елея?

— Разрешил... — прохрипел Данилушка. — Вон какая компания набралась: один другого лучше...

Около Данилушки собрался целый круг любопытных, из которых прежде всего выделялась массивная фигура Лепешкина, а потом несколько степенных лиц неопределенных профессий. По костюмам можно было заметить, что это все был народ зажиточный, откормленный, с легким купеческим оттенком.

— Это все наши воротилы и тузы... — шепнул Веревкин на ухо Привалову. — Толстосумы настоящие! Вон у того, который с козлиной бородкой, за миллион перевалило... Да! А чем нажил, спросите: пустяками. Случай умел поймать, а там уж пошло.

— Сергей Александрыч, за компанию выпить? — предлагал Данилушка.

— Благодарю...

— Раздавим муху, дуй ее горой, — отозвался Лепешкин.

— А... вы здесь? — спрашивал Половодов, продираясь сквозь толпу.— Вот и отлично... Человек, нельзя ли нам чего-нибудь... А здесь все свой народ набрался, —

ораторствовал он, усаживаясь между Приваловым и Данилушкой. — Живем одной семьей... Так, Данилушка?

— В лучшем виде, Александр Павлыч... Уж такая компания, можно сказать, такая компания: весь свет наскрозь произойди — не найдешь...

— Только вот Сергея Александрыча недоставало... Ну, теперь он от нас не отобьется. Не-ет, шалишь!

В буфете толпились усовершенствованные коммерсанты с новым пошибом. Сквозь купеческую основу пробивался новый тип, который еще не выяснился во всех деталях. Они держали себя на особицу от других купцов, к которым относились немного брезгливо; но до настоящего кровного барина этому полумужичью было еще далеко. В покрое платья, в движениях, в разговоре — везде так и прорывалась настоящая крестьянская складка, которой ничто не могло вытравить. Были тут крупные хлебные коммерсанты, ворочавшие миллионами пудов хлеба ежегодно, были скупщики сала, пеньки, льняного семени, были золотопромышленники, заводчики и просто крупные капиталисты, ворочавшие банковскими делами. Привалов с глубоким интересом всматривался в этот новый для него тип, который создался и вырос на наших глазах, вместе с новыми требованиями, запросами и веяниями новой жизни.

— Все это козырные тузы, — проговорил Веревкин. — Крепкий народ, а до Ляховского да Василья Назарыча далеко... Пороху не хватает.

Привалов ничего не отвечал. Он думал о том, что именно ему придется вступить в борьбу с этой всесильной кучкой. Вот его будущие противники, а может быть, и враги. Вернее всего, последнее. Но пока игра представляла закрытые карты, и можно было только догадываться, у кого какая масть на руках.

— Хотите, со всеми познакомлю? — предлагал Веревкин, попивая свой ликер. — Все мои клиенты.

— Нет, как-нибудь после...

Появилось откуда-то шампанское. Привалова поздравляли с приездом, чокались бокалами, высказывали самые лестные пожелания. Приходилось пить, благодарить за внимание и опять пить. После нескольких бокалов вина Привалов поднялся из-за стола и, не

обращая внимания на загораживавших ему дорогу новых друзей, кое-как выбрался из буфета.

— Ну, теперь идите и любуйтесь нашими красавицами, — отпускал Половодов свою жертву. — Ведь провинция... Полевые цветочки, незабудочки. А относительно Верочки не забывайте моего совета.

Привалов вздохнул свободнее, когда вышел, наконец, из буфета. В соседней комнате, через отворенную дверь видны были зеленые столы с игроками. Привалов заметил Ивана Яковлича, который сдавал карты. Напротив него сидел знаменитый Ломтев, крепкий и красивый старик с длинной седой бородой, и какой-то господин с зеленым лицом и взъерошенными волосами. По бледному лицу Ивана Яковлича и по крупным каплям пота, которые выступали на его выпуклом облизанном лбу, можно было заключить, что шла очень серьезная игра.

Привалов обошел несколько раз все комнаты, отыскивая Надежду Васильевну и стараясь не встречаться с кем-нибудь из своих новых знакомых. Тоска навалилась на Привалова с новой силой... Зачем он здесь? Зачем сейчас знакомился с этими людьми и пил шампанское?.. «Глупо», — подумал Привалов, опускаясь на первый попавшийся на глаза стул. Он теперь как-то безучастно смотрел на проходившую мимо него публику. Его мысль унеслась в далекое прошлое, когда в этих самых комнатах шел пир горой — для других людей... Вот здесь веселились все эти Полуяновы, Размахнины, Колпаковы, которые теперь коротают дни в своих страшных развалинах. Может быть, и этот дом ждет такая же участь в недалеком будущем.

— А я вас давно ищу, Сергей Александрыч, — весело заговорила Надежда Васильевна, останавливаясь пред Приваловым. — Вы, кажется, скучаете?.. Вот мой кавалер тоже не знает, куда ему деваться, — прибавила она с улыбкой, указывая головой на Лоскутова, который действительно был жалок в настоящую минуту.

Привалов подал стул Надежде Васильевне.

— Вы, вероятно, удивляетесь, что встретили меня на этом бале? — спрашивала девушка, когда Лоскутов ушел.

— Нисколько... Почему же другие могут быть на бале, а вам нельзя?

— Да... но при теперешних обстоятельствах... Словом, вы понимаете, что я хочу сказать. Мне совсем не до веселья, да и папа не хотел, чтобы я ехала. Но вы знаете, чего захочет мама — закон, а ей пришла фантазия непременно вывозить нынче Верочку... Я и вожусь с ней в качестве бонны.

— Я видел давеча, как Вера Васильевна танцевала... Она производит фурор.

Надежда Васильевна печально улыбнулась и слегка пожала плечами. Привалов видел, что она что-то хочет ему объяснить и не решается. Но он был так счастлив в настоящую минуту, так глупо счастлив и, как слишком счастливые люди, с эгоизмом думал только о себе и не желал знать ничего более.

— Мазурка! — пронеслось по всем залам.

— Ах, я, кажется, с кем-то танцую... — вспомнила Надежда Васильевна, поднимаясь с места навстречу подходившему кавалеру.

Счастье так же быстро улетело, как и прилетело.

XVIII

Когда с хор захватывающей волной полились звуки мазурки Хлопицкого, все бросились в зал, где танцующие пары выстроились длинной шеренгой. Впереди всех стоял седой толстый пан Кухцинский, знаменитый танцор; он танцевал с самой пани Мариной. За ними стоял молодой красавец поляк, пан Жукотынский с Зосей; дальше пан Мозалевский с Надеждой Васильевной, Давид с Верочкой, «Моисей» с Аней Поярковой, молодой доктор с Аллой, Альфонс Богданыч с Агриппиной Филипьевной и т. д. Расправив седой ус и щелкнув каблуками, пан Кухцинский пошел в первой паре с тем шиком, с каким танцуют мазурку только одни поляки. Публика зашепталась и заахала от восторга, любуясь первыми двумя парами. Опьяняющие звуки мазурки волновали всех, и даже из буфета и из игорной комнаты вышли все, чтобы посмотреть на мазурку. Какой-то

седой старик отбивал такт ногой, пьяный инженер, прищелкивая пальцами и языком, вскрикивал каким-то бабьим голосом:

— Лихо... черрт побери!.. Тара-та-тта, тара-раррара... та! И-их... Браво, Кухцинский!.. Лихо, Кухцинский!..

Мазурка продолжалась около часа; пары утомились, дамы выделывали па с утомленными лицами и тяжело переводили дух. Только одни поляки не чувствовали никакой усталости, а танцевали еще с большим одушевлением. Привалов в числе другой нетанцующей публики тоже любовался этим бешеным танцем и даже пожалел, что сам не может принять участия в нем.

— А вы вот где, батенька, скрываетесь... — заплетавшимся языком проговорил над самым ухом Привалова Веревкин; от него сильно пахло водкой, и он смотрел кругом совсем осовелыми глазами. — Важно... — протянул Веревкин и улыбнулся пьяной улыбкой. Привалов в первый еще раз видел, что Веревкин улыбается, — он всегда был невозмутимо спокоен, как все комики по натуре.

— Да, недурно, — согласился Привалов.

— Недурно?.. Ах, вы... Ну, да все это вздор!.. — добродушно проговорил Веревкин и, взглянув на Привалова сбоку, прибавил совсем другим тоном: — А я сегодня того... Да, в приличном градусе. И знаете, успел продуть этому живодеру... Ну, Ломтеву... три тысячи. Да... Только я свои собственные продул, кровные, а не чужие. А вы знаете, что я вам скажу, Сергей Александрыч? Мы, то есть я да вы, конечно, — порядочные люди, а из остальных... ну, вот из этих, которые танцуют и которые смотрят, знаете, кто здесь еще порядочные люди?

— Очень щекотливый вопрос, Николай Иваныч.

— Нет, не щекотливый... Оставимте церемонии, Сергей Александрыч. Вон смотрите: видите доктора Сараева? Вот идет с полной высокой дамой... Доктор и есть самый порядочный человек, хотя он считает меня за порядочного подлеца. Ну, да это все равно: дело не во мне, а в докторе. Я его очень уважаю... Потом Лоскутов порядочный человек тоже, хотя и не от мира сего.

Ну, господь с ним... Вот уже целых двух насчитали. Пожалуй, председатель суда недурной человек, только в нем живого места нет: он, должно полагать, даже потеет статьями закона... Ей-богу! «И прииде к Иисусу законник некий...» Вот он самый и есть, законник-то этот, наш председатель. Да!

Мазурка кончилась сама собой, когда той молоденькой девушке, которую видел давеча Привалов на лестнице, сделалось дурно. Ее под руки увели в дамскую уборную. Агриппина Филипьевна прошла вся красная, как морковь, с растрепавшимися на затылке волосами. У бедной Ани Поярковой оборвали трен, так что дамы должны были образовать вокруг нее живую стену и только уже под этим прикрытием увели сконфуженную девушку в уборную.

Зося шла одна; она отыскивала в толпе кого-то своими горевшими глазами... У двери она нашла, кого искала.

— Я устала... — слабым голосом прошептала девушка, подавая Лоскутову свою руку. — Ведите меня в мою комнату... Вот сейчас направо, через голубую гостиную. Если бы вы знали, как я устала.

— Не следовало так много танцевать, — заметил Лоскутов серьезно...

— По-вашему же сидеть и скучать, — капризным голосом ответила девушка и после небольшой паузы прибавила: — Вы, может быть, думаете, что мне очень весело... Да?.. О нет, совершенно наоборот; мне хотелось плакать... Я ведь злая и от злости хотела танцевать до упаду.

По дороге они встретили доктора Сараева.

— Доктор, помните наше пари? — крикнула Зося, когда доктор уже прошел мимо них. — Вы проиграли...

Доктор остановился, посмотрел на улыбавшееся ему лицо Зоси и задумался.

— Вот сюда, — проговорила Зося, указывая Лоскутову на затворенную дверь.

Они вошли в совсем пустую комнату с старинной мебелью, обитой красным выцветшим бархатом. Одна лампа с матовым шаром едва освещала ее, оставляя в тени углы и открытую дверь в дальнем конце. Лоскутов усадил свою даму на небольшой круглый диванчик

и не знал, что ему делать дальше. Зося сидела с опущенными глазами и тяжело дышала.

— Вам не принести ли воды? — спросил Лоскутов.

Зося подняла на него свои чудные глаза, очевидно не понимая вопроса, а затем слабо улыбнулась и движением руки указала Лоскутову место рядом с собой.

— Здесь... — прошептала она, опять опуская глаза.

Лоскутов вопросительно посмотрел на Зосю и осторожно сел рядом.

— Вы считаете меня совсем пустой девушкой... — заговорила Зося упавшим, глухим голосом. — Я вижу, не отпирайтесь. Вы думаете, что я способна только дурачиться, наряжаться и выезжать лошадей. Да? Ведь так?

— Я не понимаю, к чему такой разговор, — проговорил Лоскутов. — Я, кажется, ничем не дал повода так думать...

— Но ведь я могла быть другим человеком, — продолжала Зося в каком-то полузабытьи, не слушая Лоскутова. — Может быть, никто так сильно не чувствует пустоту той жизни, какою я живу... Этой пустотой отравлены даже самые удовольствия. Если бы... Вам, может быть, скучно слушать мою болтовню?

— Нет, наоборот... я с удовольствием...

— А сознайтесь, ведь вы никогда даже не подозревали, что я могу задумываться над чем-нибудь серьезно... Да? Вы видели только, как я дурачилась, а не замечали тех причин, которые заставляли меня дурачиться... Так узнайте же, что мне все это надоело, все!.. Вся эта мишура, ложь, пустота давят меня...

— Но ведь в ваших руках все средства, чтобы устроить жизнь совсем иначе... Вам стоит только захотеть.

— А если то, чего я хочу и чего добиваюсь, не в моей власти?.. Надо мной будут смеяться, если я скажу... будут считать сумасшедшей... У меня есть только один преданный человек, который слишком глубоко любит меня и которому я плачу за его чувства ко мне тысячью мелких обид, невниманием, собственной глупостью. Этот человек — доктор. Доктор все для меня сделает, стоит только мне сказать слово, но *здесь* и доктор бессилен. Я пробовала переломить себя,

прикрывалась дурачествами, шутками, смехом и очень рада, что все приняли это за чистую монету.

— Если в число этих всех вы включаете и меня, это несправедливо, — заметил Лоскутов. — Я несколько раз думал...

— Вы... вы думали обо мне? — с живостью подхватила Зося, глядя на Лоскутова широко раскрытыми глазами.

— Как о всех других людях...

— Именно?

— Думал, что вы иногда желаете серьезно заниматься, может быть, мечтаете приносить пользу другим, а потом все это и соскочит с вас, как с гуся вода... Может быть, я ошибаюсь, Софья Игнатьевна, но вы сами...

— Ах, не то... Меня давят обстановка, богатство...

— И тщеславие...

— И тщеславие... Я не скрываю. Но знаете, кто сознает за собой известные недостатки, тот стоит на полдороге к исправлению. Если бы была такая рука, которая... Ах, да, я очень тщеславна! Я преклоняюсь пред силой, я боготворю ее. Сила всегда оригинальна, она дает себя чувствовать во всем. Я желала бы быть рабой именно такой силы, которая выходит из ряду вон, которая не нуждается вот в этой мишуре, — Зося обвела глазами свой костюм и обстановку комнаты, — ведь такая сила наполнит целую жизнь... она даст счастье.

— Зачем же рабство?

— Рабство... а если мне это нравится? Если это у меня в крови — органическая потребность в таком рабстве? Возьмите то, для чего живет заурядное большинство: все это так жалко и точно выкроено по одной мерке. А стоит ли жить только для того, чтобы прожить, как все другие люди... Вот поэтому-то я и хочу именно рабства, потому что всякая сила давит... Больше: я хочу, чтобы меня презирали и... хоть немножечко любили...

— Я все-таки не понимаю вас...

Зося закусила губу и нервно откинула свои белокурые волосы, которые рассыпались у нее по обнаженным плечам роскошной волной: в ее красоте в настоящую минуту было что-то захватывающее, неотразимое, это

была именно сила, которая властно притягивала к себе. Нужно было быть Лоскутовым, чтобы не замечать ее волшебных чар.

— Мне иногда хочется умереть... — заговорила Зося тихим, прерывающимся голосом; лицо у нее покрылось розовыми пятнами, глаза потемнели. — Проходят лучшие молодые годы, а между тем найдется ли хоть одна такая минута, о которой можно было бы вспомнить с удовольствием?.. Все бесцельно и пусто, вечные будни, и ни одной светлой минуты.

Лоскутов принужденно молчал; розовые ноздри Зоси раздулись, грудь тяжело колыхнулась.

— Послушайте... — едва слышно заговорила девушка, опуская глаза. — Положим, есть такая девушка, которая любит вас... а вы считаете ее пустой, светской барышней, ни к чему не годной. Что бы вы ответили ей, если бы она сказала вам прямо в глаза: «Я знаю, что вы меня считаете пустой девушкой, но я готова молиться на вас... я буду счастлива собственным унижением, чтобы только сметь дышать около вас».

— Софья Игнатьевна, если вы говорите все это серьезно... — начал Лоскутов, пробуя встать с дивана, но Зося удержала его за руку. — Мне кажется, что мы не понимаем друг друга и...

— Нет, вы хорошо понимаете, что я хочу сказать, — задыхавшимся шепотом перебила девушка. — Вы хотите... вы добиваетесь, чтобы я первая сделала признание... Извольте: я люблю вас!..

Последнюю фразу Зося почти крикнула и, закрыв лицо руками, покорно ждала смертельного удара.

— Софья Игнатьевна... прежде всего успокойтесь, — тихо заговорил Лоскутов, стараясь осторожно отнять руки от лица. — Поговоримте серьезно... В вас сказалась теперь потребность любви, и вы сами обманываете себя. У вас совершенно ложный, идеализированный взгляд на предмет вашей страсти, а затем...

— Казните, казните... только скорее... и не наносите удара из-за угла! Я сказала вам, что̀ я, теперь скажите вы про себя, что̀ вы.

— Я не могу ответить вам тем же, Софья Игнатьевна...

Ляховская глухо застонала и с истерическим смехом опрокинула голову на спинку дивана.

— Вы не можете... Ха-ха!.. И вот единственный человек, которого я уважала... Отчего вы не скажете мне прямо?.. Ведь я умела же побороть свой девичий стыд и первая сказала, что вас люблю... Да... а вы даже не могли отплатить простой откровенностью на мое признание, а спрятались за пустую фразу. Да, я в настоящую минуту в тысячу раз лучше вас!.. Я теперь поняла все... *вы любите Надежду Васильевну*... Да?

— Да... — проговорил Лоскутов, и тень замешательства скользнула по его лицу.

— Ну, так уходите... ха-ха!.. Нет, вернитесь.

С последними словами Ляховская, как сумасшедшая, обхватила своими белоснежными, чудными руками шею Лоскутова и покрыла безумными поцелуями его лицо.

Бал кипел широкой волной, когда по залам смутно пронеслась первая весть о каком-то происшествии. Дамы зашептались, улыбки сменились серьезным выражением лиц. Кто пустил первую молву? Что случилось? Никто и ничего хорошенько не знал. Видели только, как пробежал побледневший доктор куда-то во внутренние комнаты. Привалов в числе другой публики испытывал общее недоумение и отыскивал знакомых, чтобы узнать, в чем дело. Когда он проходил по одной из боковых комнат, его догнал Ляховский с искаженным лицом и остановившимся взглядом.

— Ради бога... стакан воды!.. — хрипел старик, не узнавая Привалова. — Умерла, умерла...

— Кто умер, Игнатий Львович? — спросил Привалов, но Ляховский не слыхал вопроса и бежал вперед, схватив себя за волосы.

Бал расстроился, и публика цветной, молчаливой волной поплыла к выходу. Привалов побрел в числе других, отыскивая Надежду Васильевну. На лестнице он догнал Половодову, которая шла одна, подобрав одной рукой трен своего платья.

— Вы не знаете, Антонида Ивановна, что случилось? — спрашивал Привалов.

— Пустяки: Зося упала в обморок... — как-то нехотя ответила Половодова.

Привалов предложил ей руку и помог спуститься по лестнице; в передней он отыскал шубу, помог ее надеть и напрасно отыскивал глазами Половодова.

— Вы, кажется, кого-то отыскиваете, Сергей Александрыч?

— Да я что-то не вижу Александра Павлыча...

— И не увидите, потому что он теперь ждет наверху, чем кончится обморок Зоси, а меня отпустил одну... Проводите, пожалуйста, меня до моего экипажа, да, кстати, наденьте шубу, а то простудитесь.

Когда к подъезду подкатила с зажженными фонарями карета Половодова и Антонида Ивановна поместилась в нее, Привалов протянул ей руку проститься, но Антонида Ивановна не подала своей, а, отодвинувшись в дальний угол кареты, указала глазами на место около себя. Дверцы захлопнулись, и карета, скрипя по снегу полозьями, бойко полетела вдоль по Нагорной улице; Привалов почувствовал, как к нему безмолвно прильнуло красивое женское лицо и теплые пахучие руки обняли его шею. Настала минута опьяняющего, сладкого безумия; она нахлынула на Привалова с захватывающим бешенством, и он потерял голову.

— Когда мы подъедем, ты выйди у подъезда, а потом через полчаса я тебе сама отворю двери... — шептала Половодова, когда карета катилась мимо бахаревского дома. — Александр домой приедет только утром... У них сегодня в «Магните» будет разливанное море. Тебя, вероятно, приглашали туда?

— Да.

— Ты обещал?

— Да... чтобы отвязаться.

Половодова на минуту задумалась, а потом с ленивой улыбкой проговорила:

— Если тебя Александр спросит, почему ты не приехал в «Магнит», сообщи ему под секретом, что у тебя было назначено rendez-vous[1] с одной замужней женщиной. Ведь он глуп и не догадается...

---

[1] свидание *(франц.)*.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Тяжелые дни переживались в старом бахаревском доме.

Деньги ушли в тот провал, в котором были похоронены раньше сотни тысяч, а прииски требовали новых денег. Шелехов кутил, не показываясь в бахаревском доме по целым неделям: он теперь пропадал вместе с Виктором Васильичем. Курсы Василия Назарыча в среде узловской денежной братии начали быстро падать, и его векселя, в первый раз в жизни, Узловско-Моховский банк отказался учитывать. Василий Назарыч этим не особенно огорчился, но он хорошо видел, откуда был брошен в него камень: этот отказ был произведением Половодова, который по своей натуре способен был наносить удары только из-за угла. Петля затягивалась, и положение с часу на час делалось безвыходнее. Выплыли на свет божий, бог знает откуда, какие-то старые векселя и платежи, о которых старик давно забыл. Приходилось отдавать последние гроши, чтобы поддержать имя в торговом мире. Пока единственным спасением для Бахарева было то, что наступившая зима вместе с приостановкой работ на приисках дала ему передышку в платежах по текущим счетам; но тем страшнее было наступление весны, когда вместе с весенней водой ключом закипит горячая работа на всех приисках.

Где добыть денег к этому времени, чтобы по самому последнему зимнему пути уехать на прииски?

С половины января здоровье Василия Назарыча начало заметно поправляться, так что он с помощью костыля мог бродить по комнатам.

— Теперь вы даже можете съездить куда-нибудь, — предложил доктор. — Моцион необходим для вас...

Это предложение доктора обрадовало Бахарева, как ребенка, которому после долгой ненастной погоды позволили, наконец, выйти на улицу. С нетерпением всех больных, засидевшихся в четырех стенах, он воспользовался случаем и сейчас же решил ехать к Ляховскому, у которого не был очень давно.

— Папа, удобно ли тебе будет ехать туда? — пробовала отговорить отца Надежда Васильевна. — Зося все еще больна, и сам Игнатий Львович не выходит из своего кабинета. Я третьего дня была у них...

— Нет, мне необходимо видеть Ляховского, — упорствовал старик и велел Луке подавать одеваться.

Лука, шепча молитвы, помог барину надеть сюртук и потихоньку несколько раз перекрестился про себя. «Уж только бы барину ноги, а тут все будет по-нашему», — соображал старик, в последний раз оглядывая его со всех сторон.

— Ну что, Лука, я сильно похудел? — спрашивал Василий Назарыч, с костылем выходя в переднюю.

— Как будто из лица немного поспали, Василий Назарыч... А так-то еще и молодого, который похуже, затопчете.

Василий Назарыч давно не испытывал такого удовольствия, как сегодня. Его все радовало кругом: и морозный зимний день, и бежавшие пешеходы с красными носами, и легкий ход рысака, и снежная пыль, которой обдало его в одном ухабе. Все заботы и неприятности последнего времени он точно разом оставил в своем старом доме и теперь только хотел дышать свежим, вольным воздухом, лететь вперед с быстротой ветра, чтобы дух захватывало. «Жаль, что Надю не захватил с собой, — думал старик, когда его щегольские лакированные сани с медвежьей полостью стрелой неслись мимо домика Заплатиной. — Она все сидит дома,

бедняжка, а тут хоть прокатилась бы со мной... Как это я позабыл, право!»

В передней Бахарева встретил неизменный Палька, который питал непреодолимую слабость к «настоящим господам». Он помог гостю подняться на лестницу и, пока Бахарев отдыхал на первой площадке, успел сбегать в кабинет с докладом.

— Вот не ожидал!.. — кричал Ляховский навстречу входившему гостю. — Да для меня это праздник... А я, Василий Назарыч, увы!.. — Ляховский только указал глазами на кресло с колесами, в котором сидел. — Совсем развинтился... Уж извините меня, ради бога! Тогда эта болезнь Зоси так меня разбила, что я совсем приготовился отправляться на тот свет, да вот доктор еще придержал немного здесь...

— Я слышал о болезни Софьи Игнатьевны и от души пожалел вас, — говорил Бахарев, пожимая руку Ляховского.

— Да, да... Благодарю вас. Надежда Васильевна не забывает нас... Это — ангел, ангел!.. Я завидую вам как счастливейшему из отцов...

Ляховский глубоко вздохнул и печально прибавил:

— Вот, Василий Назарыч, наша жизнь: сегодня жив, хлопочешь, заботишься, а завтра тебя унесет волной забвенья... Что такое человек? Прах, пепел... Пахнуло ветерком — и человека не стало вместе со всей его паутиной забот, каверз, расчетов, добрых дел и пустяков!..

Красноречиво и горячо Ляховский развил мысль о ничтожности человеческого существования, коснулся слегка загробной жизни и грядущей ответственности за все свои дела и помышления и с той же легкостью перешел к настоящему, то есть к процессу, которым грозил теперь опеке Веревкин.

— Я не понимаю нынешних молодых людей, — решил Ляховский и сейчас же завел речь о другом, заметив неприятное впечатление, которое произвел на Бахарева этот разговор об опеке.

Ляховский расходился до того, что даже велел подавать завтрак к себе в кабинет, что уж совсем не было в его привычках. Необыкновенная любезность хозяина

тронула Бахарева, хотя вообще он считал Ляховского самым скрытным и фальшивым человеком; ему понравилась даже та форма, в которой Ляховский между слов успел высказать, что ему все известно о положении дел Бахарева.

— Все устроится понемногу, дорогой Василий Назарыч, — успокаивал своего гостя Ляховский. — Главное — здоровье, а наши дела, как погода, — то вёдро, то ненастье.

— Да, именно, меня по рукам и по ногам связывала моя болезнь...

— О, конечно... Все уверены в том, что, будь вы сами на приисках прошлое лето, ничего не произошло бы. Это маленькое испытание... Да! Чем бы сделалась наша жизнь, если бы подобными испытаниями нас не встряхивало постоянно. Просто заплесневели бы, и только. Взять мое положение; вы знаете, как я люблю Зосю... Ведь она у меня одна, одна, Василий Назарыч!.. И вдруг такой удар... Я думал, что сойду с ума... Скажите, за что такое испытание послано именно мне? Покорился, перенес... и теперь считаю секунды, когда ей сделается лучше... На доктора все надежды!..

— Софье Игнатьевне, как я слышал, лучше?

— Ничего не известно, Василий Назарыч... Решительно ничего! Теперь переживаем самый критический момент: пан или пропал...

Пользуясь хорошим расположением хозяина, Бахарев заметил, что он желал бы переговорить о деле, по которому приехал. При одном слове «дело» Ляховский весь изменился, точно его ударили палкой по голове. Даже жалко было смотреть на него, — так он съежился в своем кресле, так глупо моргал глазами и сделал такое глупое, птичье лицо.

— Позвольте, Василий Назарыч, — предупредил Ляховский гостя. — Если вы рассчитываете на мой кредит, — у меня ничего нет в настоящую минуту... Даю вам честное слово!..

— А если я буду просить вас о поручительстве, Игнатий Львович? Именно ваше поручительство спасло бы меня...

— Хорошо... я поручусь за вас, вы получите деньги и закопаете их на своих приисках, — ведь я должен буду платить по моему поручительству?

— Да...

Расставив широко свои костлявые руки и подняв брови, Ляховский глухим шепотом, как трагический актер, проговорил:

— Воля ваша, — не могу... У меня нет свободных капиталов, а все до последней копейки помещено в предприятиях. Тысячу раз извините, дорогой Василий Назарыч, но хоть зарежьте сейчас, — не могу!..

Удар был нанесен так неожиданно, что у Бахарева как-то все завертелось в глазах, и он в смущении потер рукой свою больную ногу.

— Послушайте, Игнатий Львович, — тихо заговорил старик, чувствуя, как вся кровь приливает к нему в голову. — Помните ли вы, как... Я не желаю укорить вас этим, но...

— Василий Назарыч, за кого же вы меня считаете? — умоляюще закричал Ляховский. — Я забыл?!. Нет, я слишком хорошо помню, как я явился на Урал беднее церковной мыши и как при вашей помощи я сделал первый крупный шаг. Всем и каждому скажу, что всем обязан именно вам: трудно начало сделать...

— Вы придаете слишком большое значение моей небольшой услуге.

— Нет, уважаемый Василий Назарыч, дорого яичко к христову дню...

— Отчего же вы отказываетесь помочь мне теперь, когда я, седым, больным стариком, обратился к вашей помощи... Ведь я же доверял вам, когда вы еще ничего не имели!

— Вот в том-то и дело, Василий Назарыч, что вы доверяли мне, и я всегда буду ценить ваше доверие...

— Следовательно, вы не доверяете мне.

Ляховский одно мгновение, казалось, колебался, но это было только одно мгновение, а потом он сухо проговорил:

— Нет, я не могу поручиться за вас...

Бахарев вышел из кабинета Ляховского с красным лицом и горевшими глазами: это было оскорбление,

которого он не заслужил и которое должен был перенести. Старик плохо помнил, как он вышел из приваловского дома, сел в сани и приехал домой. Все промелькнуло перед ним, как в тумане, а в голове неотступно стучала одна мысль: «Сережа, Сережа... Разве бы я пошел к этому христопродавцу, если бы не ты!»

II

В роскошной спальне Зоси Ляховской теперь господствовал тяжелый для глаз полумрак; окна были задрапированы тяжелыми складками зеленой материи, едва пропускавшими в комнату слабый свет. Все лишние вещи были вынесены. Несмотря на все предосторожности, в спальне пахло лекарствами. В соседней комнате день и ночь дежурили сиделки. Больная лежала на большой кровати черного дерева с серебряными украшениями, под полосатым пологом из восточной шелковой материи. На батистовой подушке едва можно было рассмотреть бледное, тонкое лицо Зоси. Глаза казались еще больше в темных кругах, кончик носа обострился, недавно ещё пухлые красивые губы болезненно обтянулись около зубов. Роскошные белокурые волосы были острижены, и девушка походила теперь на мальчика лет пятнадцати с тонким профилем и точно нарисованными бровями.

— Доктор, как вы думаете — лучше мне?.. — едва слышно спрашивала больная, слабым движением выпрастывая из-под одеяла похудевшую белую, как мрамор, руку.

— Было бы лучше, если бы вы имели побольше терпения, — сухо отвечал доктор, проверяя пульс больной по своим часам.

— О, мне все равно... жить или умереть... Не стоит жить, доктор.

— Об этом мы поговорим с вами, когда вы поправитесь...

Третью неделю проводил доктор у постели больной, переживая шаг за шагом все фазисы болезни. Он сам теперь походил на больного: лицо осунулось, глаза

ввалились, кожа потемнела. В течение первых двух недель доктор не спал и трех ночей.

История этой болезни выяснилась для доктора во всех деталях на другой же день после бала, хотя он ни слова не сказал о ней Ляховскому. Вместо железных проволок у Зоси оказались самые бабьи нервы... Переход от девушки к женщине разыгрался катастрофой в тот момент, когда доктор и Ляховский всего менее ожидали его. Сквозь капризы и чудачества пробилось первое женское чувство, хотя и оно скорее походило на прихоть, чем на серьезное душевное движение. Доктора убивала мысль, что болезнь Зоси обязана своим происхождением не разбитому чувству любящей женской души, а явилась вследствие болезненного самолюбия. Как! Когда все и всё преклонялось пред ней, он, Лоскутов, один отнесся к ней совершенно равнодушно; мало того — он предпочел ей другую... Доктор был глубоко убежден, что Зося совсем не любила Лоскутова и даже не могла его полюбить, а только сама уверила себя в своей любви и шаг за шагом довела себя до рокового объяснения. Даже в бреду имя Лоскутова никогда не произносилось одно, а всегда рядом с именем Надежды Васильевны. Гордость и ревность к сопернице — вот где таились главные корни болезни.

Диагноз болезни был поставлен безошибочно, оставалось только помогать естественному ходу болезненного процесса и устранять причины, которые могли бы создать новые осложнения. Молодая натура стойко выдерживала неравную борьбу с приступами болезни, но было несколько таких моментов, что доктор начинал испытывать сомнения относительно счастливого исхода. Были даже собраны два консилиума, но ученый ареопаг не пришел ни к каким новым заключениям. Особенно страшны были две ночи, когда пламя жизни, казалось, готово было совсем потухнуть... Зося металась в страшном бреду и никого не узнавала; доктор сидел у ее изголовья и по секундам отсчитывал ход болезни, как капитан, который ведет свой корабль среди бушующего моря. Он готов был отдать полжизни, чтобы облегчить страдания этого молодого тела, но наука была

бессильна подать руку помощи, и оставалось только ждать.

Раз ночью, когда все в доме спало мертвым сном, Зосе сделалось особенно нехорошо. Она металась на своей подушке.

— Доктор, дайте мне вашу руку... — прошептала больная. — Мне будет легче...

Она судорожно ухватилась своей горевшей маленькой рукой за его руку и в таком положении откинулась на подушку; ей казалось, что она медленно проваливается в какую-то глубокую яму, и только одна рука доктора еще в состоянии удержать ее на поверхности земли.

— Послушайте, доктор, ведь я не умру?.. — шептала Зося, не открывая глаз. — Впрочем, все доктора говорят это своим пациентам... Доктор, я была дурная девушка до сих пор... Я ничего не делала для других... Не дайте мне умереть, и я переменюсь к лучшему. Ах, как мне хочется жить... доктор, доктор!.. Я раньше так легко смотрела на жизнь и людей... Но жизнь так коротка, — как жизнь поденки.

Это был тот кризис, которого с замирающим сердцем ждал доктор три недели. Утром рано, когда Зося заснула в первый раз за все время своей болезни спокойным сном выздоравливающего человека, он, пошатываясь, вошел в кабинет Ляховского.

— Умирает?! — схватившись за голову, спрашивал Ляховский; его испугало серое лицо доктора с помутившимися глазами.

— Нет, спасена...

Ляховский с каким-то детским всхлипыванием припал своим лицом к руке доктора и в порыве признательности покрыл ее поцелуями; из его глаз слезы так и сыпались, но это были счастливые слезы.

III

Привалов переживал медовый месяц своего незаконного счастья. Собственно говоря, он плыл по течению, которое с первого момента закружило его и понесло вперед властной пенившейся волной. Когда

он ночью вышел из половодовского дома в достопамятный день бала, унося на лице следы безумных поцелуев Антониды Ивановны, совесть проснулась в нем и внутрениий голос сказал: «Ведь ты не любишь эту женщину, которая сейчас осыпала тебя своими ласками...»

— Нет, я люблю ее! — старался уверить самого себя Привалов. — Нет, я люблю ее...

На другой день Привалов уже подъезжал к дому Половодова, как вспомнил, что Антонида Ивановна назначила ему свидание у матери. Появление Привалова удивило и обрадовало Агриппину Филипьевну.

Привалову казалось, что она догадывается об истинной причине его визита, и он несколько раз принимался извиняться, что обстоятельства не позволяли ему быть у нее во второй раз, как он обещал.

Час, который Привалову пришлось провести с глазу на глаз с Агриппиной Филипьевной, показался ему бесконечно длинным, и он хотел уже прощаться, когда в передней послышался торопливый звонок. Привалов вздрогнул и слегка смутился: у него точно что оборвалось внутри... Без сомнения, это была она, это были ее шаги. Антонида Ивановна сделала удивленное лицо, застав Привалова в будуаре maman, лениво протянула ему свою руку и усталым движением опустилась в угол дивана.

— Ты, кажется, очень весело вчера провела время? — спрашивала Агриппина Филипьевна дочь.

— Нет, maman... Если бы не Сергей Александрыч, я бы умерла от скуки, — неохотно ответила Антонида Ивановна, сбоку вскидывая глазами на Привалова. — А вы, Сергей Александрыч, конечно, веселились напропалую... после бала, — уже с улыбкой прибавила она.— Мне Александр что-то рассказывал такое...

— Я удивляюсь, что Александр Павлыч считает нужным посвящать тебя в такие подробности, — строго заметила Агриппина Филипьевна.

— Что же тут особенного, maman?.. Ведь Сергей Александрыч — свободный человек. Бал расстроился в середине, вот они и отправились его доканчивать...

Половодова еще никогда не была так красива, какой теперь показалась Привалову, и когда Агриппина Филипьевна оставила, наконец, их вдвоем, он робко подошел к ней, чтобы поцеловать протянутую руку.

— Послушай, — заговорила Антонида Ивановна, когда Привалов прильнул губами к ее шее, — старуха догадалась сразу обо всем... Ты держишься непростительно глупо! Хорошо, что нам нечего опасаться ее. Какое у тебя сегодня глупое лицо.

Этот несколько суровый тон сменился горячим поцелуем, и Половодова едва успела принять свой обычный скучающий и ленивый вид, когда в гостиной послышались приближавшиеся шаги maman. У Привалова потемнело в глазах от прилива счастья, и он готов был расцеловать даже Агриппину Филипьевну. Остальное время визита прошло очень весело. Привалов болтал и смеялся самым беззаботным образом, находясь под обаянием теплого взгляда красивых глаз Антониды Ивановны.

Свидания в первое время происходили в часы службы Половодова в банке. Привалов являлся как раз в то время, когда хозяину нужно было уходить из дому, и он каждый раз упрашивал гостя подождать до его возвращения, чтобы пообедать вместе. Это были счастливые минуты... Антонида Ивановна, проводив мужа, забывала всю свою лень и дурачилась, как институтка.

С каждым днем Привалов все сильней и сильней привязывался к этой загадочной натуре, тянувшей его в свои объятия всеми чарами любви. Антонида Ивановна каждый раз являлась для него точно новой женщиной; она не повторялась ни в своих ласках, ни в порывах страсти, ни в капризах. По выражению ее лица нельзя было угадать, что она думает в настоящую минуту. С самым серьезным лицом она болтала тысячи тех милых глупостей, какие умеют говорить только женщины, чувствующие, что их любят; самые капризы и даже вспышки гнева, как цветами, пересыпались самыми неожиданными проявлениями загоравшейся страсти. Привалов пил день за днем эту сладкую отраву любви, убаюканный кошачьими ласками этой женщины, умевшей безраздельно овладеть его мягкой, податливой

душой. Прежней Антониды Ивановны точно не существовало, а была другая женщина, которая, казалось, не знала границ своим желаниям и в опьяняющем чаду своей фантазии безрассудно жгла две жизни.

— Я ничего не требую от тебя... Понимаешь — ничего! — говорила она Привалову. — Любишь — хорошо, разлюбишь — не буду плакать... Впрочем, часто у меня является желание задушить тебя, чтобы ты не доставался другой женщине. Иногда мне хочется, чтобы ты обманывал меня, даже бил... Мне мало твоих ласк и поцелуев, понимаешь? Ведь русскую бабу нужно бить, чтобы она была вполне счастлива!..

Но слишком частые свидания в половодовском доме сделались, наконец, неудобны. Тогда Антонида Ивановна решила бывать в Общественном клубе, членом которого Привалов числился уже несколько месяцев, хотя ни разу не был в нем.

IV

Общественный клуб помещался в двухэтажном каменном доме, который выходил на Нагорную улицу, через квартал от старого приваловского дома. В длинной передней, где висели по стенам шубы гостей, посетителей обдавало той трактирной атмосферой, которая насквозь пропитана тепловатым ароматом кухни и табачным дымом. В нижнем этаже Общественного клуба помещалось несколько маленьких комнат, уставленных зелеными ломберными столиками; здесь процветал знаменитый сибирский вист с винтом, героями которого являлись Иван Яковлич, Ломтев и братия. Тут же, вероятно для очищения совести, приткнулись две комнаты — одна бильярдная, а другая — читальня; впрочем, эти две комнаты по большей части оставались пустыми и служили только для некоторых таинственных tête-à-tête, когда писались безденежные векселя, выпрашивались у хорошего человека взаймы деньги, чтобы отыграться; наконец, здесь же, на плетеных венских диванчиках, переводили свой многомятежный дух потерпевшие за зеленым полем полное крушение и отдыхали поклонники Бахуса.

Из передней довольно узкая лестница вела во второй этаж; перила были задрапированы покрытыми пылью олеандрами и еще какой-то зеленью, которая цеплялась своими иглами за бальные шлейфы и трены, точно когтями. В первое свое посещение клуба Привалов долго бродил по комнаткам в нижнем этаже, где за столами сидели большей частью совершенно незнакомые ему люди. Он прислушивался к шуму подъезжавших саней и к сдержанному говору в передней; он слышал женские голоса, шелест платьев и осторожные легкие шаги по лестнице. Скоро из передней потянуло струей самых разнообразных духов, какие употребляет далекая провинция, — пахло даже камфарой, которой на лето были переложены шубы от моли.

Наконец, Привалов решил подняться во второй этаж, в царство дам. На лестнице его встретила Хиония Алексеевна дружеским восклицанием:

— А, наконец-то и вы, Сергей Александрыч!.. Я думала, что вы сегодня не приедете.

— Нет, я уже давно здесь.

— У нас в клубе смешанное общество, — объясняла Хиония Алексеевна по дороге в танцевальный зал, где пиликал очень плохой оркестр самую ветхозаветную польку. — Можно сказать, мы устроились совсем на демократическую ногу; есть здесь приказчики, мелкие чиновники, маленькие купчики, учителя... Но есть и представители нашего beau mond'а: горные инженеры, адвокаты, прокурор, золотопромышленники, заводчики, доктора... А какой богатый выбор красивых дам!..

Плохонький зал, переделанный из какой-то оранжереи, был скупо освещен десятком ламп; по стенам висели безобразные гирлянды из еловой хвои, пересыпанной бумажными цветами. Эти гирлянды придавали всему залу похоронный характер. Около стен, на вытертых диванчиках, цветной шпалерой разместились дамы; в глубине, в маленькой эстраде, заменявшей сцену, помещался оркестр; мужчины жались около дверей. Десятка два пар кружились по залу, подымая облако едкой пыли.

Остальное помещение клуба состояло из шести довольно больших комнат, отличавшихся большей

роскошью сравнительно с обстановкой нижнего этажа и танцевального зала; в средней руки столичных трактирах можно встретить такую же вычурную мебель, такие же трюмо под орех, выцветшие драпировки на окнах и дверях. Одна комната была отделана в красный цвет, другая — в голубой, третья в зеленый и т. д. На диванчиках сидели дамы и мужчины, провожавшие Привалова любопытными взглядами.

— Вот эта дама с розой в волосах, — объясняла Заплатина, — переменяет каждый сезон по любовнику, а вот та, в сером платье... Здравствуйте, Пелагея Семеновна!.. Обратите, пожалуйста, внимание на эту девушку: очень богатая невеста и какая красавица, а отец был мясником. И держит себя как хорошо, никак не подумаешь, что из крестьяночек. Да... Отец в лаптях ходил!..

Привалов кое-как отделался от непрошенной любезности Хины и остался в буфете, дверь из которого как раз выходила на лестницу, так что можно было видеть всех входивших в танцевальный зал. С Хиной приходилось быть любезным, потому что она могла пригодиться в будущем.

— Голубчик, Сергей Александрыч!..

Привалов почувствовал, как кто-то обхватил его шею руками и принялся целовать; это был «Моисей», от которого так и разило перегорелой водкой.

— Ах, здравствуй, Виктор Васильич! — обрадовался Привалов. — Я тебя давненько-таки не видал. Где это ты пропадаешь?

«Моисей» с пьяной улыбкой только махнул рукой.

— А ведь старик-то у нас того... — заговорил он грустно, — повихнулся крепко. Да! Мать как-то спрашивала про тебя... А ты, брат, нехорошо делаешь, что забываешь нас... нехорошо! Я тебе прямо скажу, хоть ты и миллионер. Мне наплевать на твои миллионы... все-таки нехорошо!.. Надя что-то прихварывает, Верочка в молитву ударилась... Я и домой редко заглядываю, потому у нас с Данилушкой теперь разливное море... А мне жаль стариков-то, да и сестренок жаль, потому шила в мешке не утаишь, и по городу — шу-шу-шу... «Бахарев разорился!.. Бахарев банкрот!..»

— Да ведь это пустяки, Виктор Васильич. Василий Назарыч поправится...

— Конечно, поправится, черт их всех возьми! — крикнул «Моисей», стуча кулаком по столу. — Разве старик чета вот этой дряни... Вон ходят... Ха-ха!.. Дураки!.. Василий Бахарев пальцем поведет только, так у него из всех щелей золото полезет. Вот только весны дождаться, мы вместе махнем со стариком на прииски и все дело поправим. Понял?

— «Моисей», — окликнул Бахарева подошедший Давид Ляховский. — Пойдем... Катька здесь!

— Погоди, вот я поговорю с Приваловым, — упрямился Бахарев. — Ты знаешь Катю Колпакову? Нет? Ну, брат, так ты мух ловишь здесь, в Узле-то... Как канканирует, бестия! Понимаешь, ее сам Иван Яковлич выучил.

— Это неужели та Катя Колпакова? — удивился Привалов.

— А то какая же? Ха-ха!.. Колпаковы одни... Старуха богу молится, а Катенька... Да вон она идет, рыженькая!..

«Моисей» показал на проходившую под руку с каким-то инженером среднего роста девушку с голубыми глазами и прекрасными золотистыми волосами, точно шелковой рамкой окаймлявшими ее бойкое матовое лицо, с легкими веснушками около носа. Она слегка покачивалась на высоких каблуках.

— Софья Игнатьевна, я слышал, поправляется? — обратился Привалов к Давиду.

— Да, кажется... — равнодушно отвечал молодой человек, оседлывая свой длинный нос золотым пенсне. — У нее какая-то мудреная болезнь... «Моисей», да пойдем же, а то этот черт Глазков опять отобьет у нас Катьку.

— Ну, брат, шалишь: у нее сегодня сеанс с Лепешкиным, — уверял «Моисей», направляясь к выходу из буфета; с половины дороги он вернулся к Привалову, долго грозил ему пальцем, ухмыляясь глупейшей пьяной улыбкой и покачивая головой, и, наконец, проговорил: — А ты, брат, Привалов, ничего... Хе-хе! Нет, не

ошибся!.. У этой Тонечки, черт ее возьми, такие амуры!.. А грудь?.. Ну, да тебе это лучше знать...

Этот откровенный намек сначала покоробил Привалова, но потом он успокоился, потому что «Моисей» сболтнул спьяна и завтра же позабудет обо всем.

В ожидании Половодовой Привалов наблюдал публику. В буфете и внизу заседали отцы семейств, коммерсанты, денежные тузы; вверху сновала из комнаты в комнату действующая армия невест, находившаяся под прикрытием маменек, тетушек и просто дам, которые «вывозили» девушек в свет. Хина плавала в этой подвижной улыбавшейся толпе, как щука в воде. Она всех знала, всем умела угодить, улыбнуться, сказать ласковое слово. Маменьки засидевшихся девиц смотрели на Хину со страхом и надеждой, как на судьбу. Репутация Хины была давно упрочена: товар, который потерял всякую надежду на сбыт, в ее ловких руках сходил за настоящий. До десятка молодых дам были обязаны своим супружеским счастьем исключительно ей одной.

По лестнице в это время поднимались Половодовы. Привалов видел, как они остановились в дверях танцевальной залы, где их окружила целая толпа знакомых мужчин и женщин; Антонида Ивановна улыбалась направо и налево, отыскивая глазами Привалова. Когда оркестр заиграл вальс, Половодов сделал несколько туров с женой, потом сдал ее с рук на руки какому-то кавалеру, а сам, вытирая лицо платком, побрел в буфет. Заметив Привалова, он широко расставил свои длинные ноги и поднял в знак удивления плечи.

— И вы!.. — проговорил он наконец. — Мне Тонечка говорила про вас, да я не поверил... Чего вы здесь, однако, сидите, Сергей Александрыч, пойдемте лучше вниз: там встретим много знакомого народа.

— Я приду немного погодя, а теперь пойду здороваться с Антонидой Ивановной, — отвечал Привалов.

— Смотрите, не надуйте! — погрозил Половодов пальцем. — А мы могли бы сочинить там премилую партийку... Кстати, вы заметили Колпакову?

— Да, «Моисей» мне показывал ее.

— Не правда ли, львица? А заметили, какой у нее овал лица? — Половодов поцеловал кончики своих пальцев и прибавил точно в свое оправдание:

— Я, собственно, член Благородного собрания, но записался сюда по необходимости: все деловой народ собирается, нельзя...

— А, наконец и вы... — протянула Антонида Ивановна, когда Привалов здоровался с ней. — Проведите меня куда-нибудь, где не так жарко и душно, как здесь...

Она смотрела на Привалова детски-покорным взглядом и, подавая ему руку, тихо спросила:

— Ты на меня не сердишься?

— За что? — удивился Привалов.

Половодова обвела кругом глазами и сделала легкую гримасу.

— Ведь это кабак какой-то... — проговорила она, брезгливо подбирая правой рукой трен платья.

Она прошла в зеленую угловую комнату, где было мало огня и публика не так толкалась прямо под носом. Но едва им удалось перекинуться несколькими фразами, как показался лакей во фраке и подошел прямо к Привалову.

— Вас, Сергей Александрыч, спрашивают-с, — почтительно доложил он, перебирая в руках салфетку.

— Кто?

— Там, внизу-с... Ваш человек.

Привалов оставил Половодову и сошел вниз, где в передней действительно ждал его Ипат с письмом в руках.

— С кульером... — проговорил он, переминаясь с ноги на ногу. — Я только стал сапоги чистить, а в окно как забарсят... ей-богу!..

Привалов не слушал его и торопливо пробегал письмо, помеченное Шатровским заводом. Это писал Костя. Он получил из Петербурга известие, что дело по опеке затянется надолго, если Привалов лично не явится как можно скорее туда, чтобы сейчас же начать хлопоты в сенате. Бахарев умолял Привалова бросить все в Узле и ехать в Петербург. Это известие бросило

Привалова в холодный пот: оно было уж совсем некстати...

— Ну, что? — спросила глазами Антонида Ивановна, когда Привалов вернулся в свой уголок.

Он подал ей письмо.

— Значит, ты бросишь меня? — упавшим голосом спросила она, опуская глаза и ощипывая одной рукой какую-то оборку на своем платье.

— Тонечка, я не могу оставить это дело... Ты пойми, что от моей поездки будет зависеть участь всех заводов.

Она молчала, не поднимая головы.

— Эта поездка отнимет у меня самое большее месяц времени, — продолжал Привалов, чувствуя, как почва уходила из-под его ног.

— Неправда... Ты не вернешься!— возражала Половодова. — Я это вперед знала... Впрочем, ты знаешь — я тебя ничем не желаю стеснить... Делай так, как лучше тебе, а обо мне, пожалуйста, не заботься. Да и что такое я для тебя, если разобрать...

Антонида Ивановна горько улыбнулась и подняла свои глаза.

— Тонечка, голубчик... Что же мне делать? — взмолился Привалов. — Ну, научи...

— Я не решаюсь советовать тебе, Сергей, но на твоем месте сделала бы так: в Петербург послала бы своего поверенного, а сама осталась бы в Узле, чтобы иметь возможность следить и за заводами и за опекунами.

Привалов задумался; совет имел за себя много подкупающих обстоятельств, главное из которых Антонида Ивановна великодушно обошла молчанием, — именно, к трем причинам, которые требовали присутствия Привалова в Узле, она не прибавила самой себя. Это великодушие и эта покорность победили Привалова.

V

Nicolas Веревкин согласился ехать в Петербург с большим удовольствием, — раз, затем, чтобы добраться, наконец, до тех злачных мест, где зимуют настоящие матерые раки, а затем — ему хотелось немного встрях-

нуть свою засидевшуюся в провинциальной глуши натуру.

— А помните, я говорил вам про нить-то? — спрашивал Nicolas Привалова.

— Да, помню...

— Ну, вот она и выходит, значит, эта самая нить...

— Именно?

— А помните моего дядюшку, который приезжал сюда рыбку удить?.. Вот и заклевало...

— Не понимаю решительно ничего.

— И я тоже не много понимаю, но знаете, у нашего брата образуется этакий особенный нюх по части этих нитей... В самом деле, за каким чертом приезжал сюда этот дядюшка? Потом, каким ветром занесло его к Ляховскому, да еще вместе с Половодовым?.. Это, батенька, такая троица получается, что сам черт ногу переломит.

— Мне кажется, что, по французской пословице, вы ищете в супе фортепьянных струн...

— Есть, есть некоторое предчувствие... Ну, да страшен сон, но милостив бог. Мы и дядюшку подтянем. А вы здесь донимайте, главное, Ляховского: дохнуть ему не давайте, и Половодову тоже. С ними нечего церемониться...

Таким образом, Nicolas Веревкин через три дня, закутавшись в оленью доху, летел в Петербург, а Привалов остался в Узле.

Время Привалова теперь делилось между четырьмя пунктами, где он мог встречаться с Антонидой Ивановной: в гостиной Хины, в доме Веревкиных, в клубе и, наконец, в доме Половодова. Посещения гостиной Хины и клуба были делом только печальной необходимости, потому что любовникам больше деваться было некуда; половодовский дом представлял несравненно больше удобств, но там грозила вечная опасность из каждого угла. Зато дом Веревкиных представлял все удобства, каких только можно было пожелать: Иван Яковлич играл эту зиму очень счастливо и поэтому почти совсем не показывался домой, Nicolas уехал, Алла была вполне воспитанная барышня и в качестве таковой смотрела

на Привалова совсем невинными глазами, как на друга дома, не больше. Сама Агриппина Филипьевна... Вообще это была самая странная женщина, которую Привалов никак не мог разгадать. Подозревала ли она что-нибудь об отношениях дочери к Привалову и если подозревала, то как вообще смотрела на связи подобного рода — ничего не было известно, и Агриппина Филипьевна неизменно оставалась все той же Агриппиной Филипьевной, какой Привалов видел ее в первый раз. С одной стороны, ему было неловко при мысли, что если она ничего не подозревает, и вдруг, в одно прекрасное утро, все раскроется... Привалову вперед делалось совестно, что он ставит эту добрую мать семейства в такое фальшивое положение. С другой стороны, он подозревал, что только благодаря мудрейшей тактике Агриппины Филипьевны все устроилось как-то само собой, и официальные визиты незаметно перешли в посещения друга дома, близкого человека, о котором и в голову никому не придет подумать что-нибудь дурное.

Странно было то, что эти частые посещения Привалова Веревкиных приводили в какое-то бешенство Хионию Алексеевну. Ей казалось, что Агриппина Филипьевна нарочно отбивает у нее жильца, тогда как по всем человеческим и божеским законам он принадлежал ей одной. Между друзьями детства готова была пробежать черная кошка, но Антонида Ивановна с прозорливостью любящей женщины постаралась потушить пожар в самом зародыше. Она несколько раз затащила к себе Хионию Алексеевну и окружила ее такими любезностями, таким вниманием, так ухаживала за нею, что Хина, несмотря на свою сорокалетнюю опытность, поддалась искушению и растаяла. А когда Антонида Ивановна намекнула ей, что вполне рассчитывает на ее скромность и постарается не остаться у нее в долгу, Хина даже прослезилась от умиления.

— Знаете, Антонида Ивановна, я всегда немножко жалела вас, — тронутым голосом говорила она. — Конечно, Александр Павлыч — муж вам, но я всегда скажу, что он гордец... Да!.. Воображаю, сколько вам приходится терпеть от его гордости.

— Вы ошибаетесь, Хиония Алексеевна, — пробовала спорить Антонида Ивановна. — За Александром есть много других недостатков, но только он не горд...

— Ах, не спорьте, ради бога! Гордец и гордец!.. Такой же гордец, как Бахаревы и Ляховские... Вы слышали: старик Бахарев ездил занимать денег у Ляховского, и тот ему отказал. Да-с! Отказал... Каково это вам покажется?

Откуда Хина могла знать, что Ляховский отказался поручиться за Бахарева, — одному богу известно. По крайней мере ни Ляховский, ни Бахарев никому не говорили об этом.

— Буду с вами откровенна, — продолжала расходившаяся Хина, заглядывая в глаза Половодовой. — Ведь я вас знала, mon ange, еще маленькой девочкой и могу позволить себе такую откровенность... Да?

— Говорите...

— Вы никогда не любили своего мужа...

— Но ведь мы, кажется, и не разыгрывали влюбленных?

— Все это так, но человеческое сердце, в особенности женское сердце, Антонида Ивановна... Ах, сколько оно иногда страдает совершенно одиноко, и никто этого не подозревает. А между тем, помните, у Лермонтова:

А годы проходят — все лучшие годы!

Хиония Алексеевна добивалась сделаться поверенной в сердечных делах Антониды Ивановны, но получила вежливый отказ. У Хины вертелся уже на кончике языка роковой намек, что ей известны отношения Половодовой к Привалову, но она во-время удержалась и осталась очень довольна собой, потому что сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое.

«Еще пригодится как-нибудь», — утешала Хина себя, когда ехала от Половодова в самом веселом расположении духа.

VI

Надежда Васильевна после рождества почти все время проводила в своей комнате, откуда показывалась только к обеду, да еще когда ходила в кабинет отца. Комната девушки с двумя окнами выходила в сад и походила на монашескую келью по своей скромной обстановке: обтянутый пестрым ситцем диванчик у одной стены, четыре стула, железная кровать в углу, комод и шкаф с книгами, письменный стол, маленький рабочий столик с швейной машиной — вот и все. Девушка очень любила эту комнатку, потому что могла оставаться в ней одна, сколько ей было угодно. Но чтобы иметь право на такую роскошь, как отдельная комната, Надежде Васильевне пришлось выдержать ту мелкую борьбу, какая вечно кипит под родительскими кровлями: Марья Степановна и слышать ничего не хотела ни о какой отдельной комнате, потому — для чего девке отдельная комната, какие у ней такие важные дела?.. «В книжку-то читать можно по всем комнатам», — ворчала старая раскольница. Все раскольничьи богатые дома устроены по одному плану: все лучшие комнаты остаются в качестве парадных покоев пустыми, а семья жмется в двух-трех комнатах. У самой есть хоть спальня, а дети обыкновенно перебиваются кое-как.

Отдельная комната для старшей дочери была самым обидным новшеством для Марьи Степановны и, как бельмо, всегда мозолила ей глаза. Она никогда не заглядывала сюда, как и на половину мужа. У Верочки не было своей комнаты, да она и не нуждалась в ней, околачиваясь по всему дому.

За последние три недели Надежда Васильевна слишком много пережила в своей комнате и была несказанно счастлива уже тем, что могла в такую критическую минуту оставаться одна. Она сильно изменилась и похудела; глаза смотрели тревожным взглядом, в движениях чувствовалась усталость. Девушка не могла даже заниматься попрежнему, и раскрытая книга оставалась недочитанной, начатая работа валилась из рук. Только одна машина все чаще и чаще постукивала далеко за полночь, и Марья Степановна, прислушиваясь

к этой ночной работе, не могла надивиться, что за «охота припала девке к шитью...»

Как удивилась бы Марья Степановна, если бы увидела работу дочери: много прибавилось бы бессонных ночей в ее жизни. Торопливо кроились эти маленькие рубашечки-распашонки, детские простынки и весь несложный комплект детского белья; дрожавшая рука выводила неровный шов, и много-много раз облита была вся эта работа горькими девичьими слезами. Сколько страха за неизвестное будущее было пережито за этой работой, сколько тяжелого горя... А вместе с работой крепла и росла решимость идти и сказать отцу все, пока не открылось критическое положение девушки само собой.

«Чего же мне бояться? — тысячу раз задавала себе вопрос Надежда Васильевна. — Я совершеннолетняя и могу располагать собой...»

Иногда в голове девушки мелькала предательская мысль — уйти из отцовского дома потихоньку; но против такого бегства возмущалась ее простая, открытая душа. Зачем еще этот обман, когда и без того днем раньше — днем позже все будет открыто? Лучше уж прямо принять все на свою голову и с спокойной совестью оставить отцовский дом. Несколько раз Надежда Васильевна выходила из своей комнаты с твердой решимостью сейчас же объясниться с отцом, но у нее опускались каждый раз руки, начинали дрожать колени, и она возвращалась опять в свою комнату, чтобы снова переживать свои тайные муки. А сколько было проведено бессонных ночей, сколько пролито слез.

Наконец, девушка решилась объясниться с отцом. Она надела простенькое коричневое платье и пошла в кабинет к отцу. По дороге ее встретила Верочка. Надежда Васильевна молча поцеловала сестру и прошла на половину отца; у нее захватило дыхание, когда она взялась за ручку двери.

— Это ты, Надя? — спросил Василий Назарыч, не отнимая головы от какой-то работы.

— Да, я, папа.

— Что это с тобой, ты больна серьезно? — спрашивал Василий Назарыч, ласково целуя дочь. — Ну, садись...

— Нет, я здорова... мне лучше.

Наступила короткая пауза; старик тяжело повернулся в своем кресле: его точно кольнуло какое-то тяжелое предчувствие.

— Что-нибудь случилось, Надя?.. — спросил он, тревожно заглядывая в глаза дочери.

— Ничего особенного не случилось, папа, кроме того, что я пришла к тебе...

Девушка осмотрела кругом комнату, точно заранее прощаясь с дорогими стенами, а потом остановила глаза на отце. Этот пристальный, глубокий взгляд, полный какой-то загадочной решимости, окончательно смутил Василья Назарыча, и он нерешительно потер свое колено.

— Папа, — заговорила Надежда Васильевна, опускаясь на ближайший стул, — я думаю теперь вот о чем... Почему несправедлива к людям природа: одним дает физическую силу, другим физическую слабость... Почему всякая беда всей своей тяжестью ложится прежде всего на женщину? Почему женщина, устраненная от всякой общественной деятельности, даже у себя дома не имеет своего собственного угла, и ее всегда могут выгнать из дому отец, братья, муж, наконец собственные сыновья? Почему в семье, где только и может жить женщина, с самого рождения она поставлена в неволю? То, что мужчинам прощается как шалость, губит женщину навсегда... Посмотри, какая безграничная разница в положении братьев и сестер в семье... Разве все это справедливо, папа?

— Я что-то не пойму хорошенько тебя сегодня, — проговорил Василий Назарыч. — К чему ты это ведешь?

— А вот к чему, папа...

Надежда Васильевна тяжело перевела дух и как-то испуганно посмотрела на отца, ей стало невыносимо тяжело.

— Положим, в богатом семействе есть сын и дочь, — продолжала она дрогнувшим голосом. — Оба совершен-

нолетние... Сын встречается с такой девушкой, которая нравится ему и не нравится родителям; дочь встречается с таким человеком, который нравится ей и которого ненавидят ее родители. У него является ребенок... Как посмотрят на это отец и мать?

— Конечно, не похвалят! Разве хорошо обмануть девушку?

— Нет, слушай дальше... Предположим, что случилось то же с дочерью. Что теперь происходит?.. Сыну родители простят даже в том случае, если он не женится на матери своего ребенка, а просто выбросит ей какое-нибудь обеспечение. Совсем другое дело дочь с ее ребенком... На нее обрушивается все: гнев семьи, презрение общества. То, что для сына является только неприятностью, для дочери вечный позор... Разве это справедливо?

— Мудреную ты мне загадку загадываешь... — изменившимся глухим голосом проговорил Василий Назарыч. — Сын с собой ничего не принесет в отцовский дом, а дочь...

— Это еще хуже, папа: сын бросит своего ребенка в чужую семью и этим подвергает его и его мать всей тяжести ответственности... Дочь по крайней мере уже своим позором выкупает часть собственной вины; а сколько она должна перенести чисто физических страданий, сколько забот и трудов, пока ребенок подрастет!.. Почему родители выгонят родную дочь из своего дома, а сына простят?

— Девушки знают, что их ждет, и поэтому должны беречь себя...

— Нет, папа, это несправедливость, ужасная несправедливость...

— Да к чему ты это говоришь-то? — как-то застонал Василий Назарыч, и, взглянув на мертвенную бледность, разлившуюся по лицу дочери, он понял или, вернее, почувствовал всем своим существом страшную истину.

— Эта дочь богатых родителей — я...

— Ты... ты... ты... — бессмысленно залепетал старик; у него в глазах пошли яркие круги, и он застонал.

— Раньше я не решалась сказать тебе всего... Мне было жаль убить тебя своим признанием...

— А себя?!. Себя... О господи... Боже!.. Себя тебе не жаль!! — неистово закричал старик, с глухими рыданиями хватаясь за свою седую голову.

— Я не раскаиваюсь, папа...

Бахарев налитыми кровью глазами посмотрел на дочь, вскочил с кресла и хриплым голосом прошептал:

— У меня нет больше дочери... Мне остается позор... Господи!.. Этого еще одного и недоставало!! Нет больше у меня дочери!.. Понимаешь: нет, нет, нет дочери...

— Я это знала... я сейчас ухожу...

— Нет, ты не уйдешь... О господи! Надя, Надя!.. И кто тебя обманул?! Кто?..

— Меня никто не обманывал... — прошептала девушка, закрывая лицо руками; сквозь белые пальцы закапали крупные капли слез.

— Подлец! Честные люди так не делают... Подлец он, подлец... захотел посмеяться над моими седыми волосами... над моей старостью.

— Папа, ты напрасно выходишь из себя; ведь от этого не будет лучше. Если ты хочешь что-нибудь сказать мне на прощанье, поговорим спокойно...

— На прощанье?! Спокойно?! Боже мой... Нет, ты никуда не уйдешь... я живую замурую тебя в четыре стены, и ты не увидишь света божьего... На прощанье! Хочешь разве, чтобы я тебя проклял на прощанье?.. И прокляну... Будь ты проклята, будьте вы оба прокляты!..

Надежда Васильевна чувствовала, как над ее головою наклонилось искаженное гневом лицо отца, как сжимались его кулаки, как дрожало все его тело, и покорно ждала, когда он схватит ее и вышвырнет за порог.

— Послушай, папа... я никогда и ни о чем не просила тебя, — заговорила она, и чарующая нежность зазвенела в ее дрожащем голосе. — Мы расстаемся, может быть, навсегда... Еще раз прошу тебя — успокойся...

Этот полный мольбы и нежности голос заставил

старика немного опомниться: он так любил слушать голос своей дочери... Звуки этого голоса унесли его в счастливое прошлое. Ему припомнилось именно теперь, как маленькой девочкой Надя лежала при смерти и как он горько рыдал над ее детской кроваткой. Зачем она не умерла тогда, в ореоле своей детской невинности?.. Потом, когда ей было двенадцать лет, она упала с экипажа и попала под лошадь. Как тогда у него дрогнуло сердце, когда он увидел побледневшее от страха детское личико и жалко цеплявшиеся за землю ручонки... Колесо готово уже было раздавить маленькое детское тельце, как он с силой, какую дает только отчаяние, одним движением перевернул тяжелый экипаж, и девочка осталась цела и невредима... Зачем не раздавило ее тогда этим колесом, чтобы сохранить честь всего дома и избавить ее от вечного позора?..

Бахарев опустился в свое кресло, и седая голова бессильно упала на грудь; припадок бешенства истощил последние силы, и теперь хлынули бессильные старческие слезы.

— Папа, милый... прости меня! — вскрикнула она, кидаясь на колени перед отцом. Она не испугалась его гнева, но эти слезы отняли у нее последний остаток энергии, и она с детской покорностью припала своей русой головой к отцовской руке. — Папа, папа... Ведь я тебя вижу, может быть, в последний раз! Голубчик, папа, милый папа...

В припадке невыразимой жалости и нежности она целовала полы его платья. В кабинете на минуту воцарилось тяжелое молчание.

— Папа... я ни в чем никогда не обманывала тебя... Я молилась на тебя... И теперь я все та же. Я ничего никому не сделала дурного, кроме тебя.

— Отчего же ты не хотела выйти замуж? Или *он* не хочет жениться на тебе?..

— Папа, я сама не хочу выходить замуж...

— Почему?

— Если человек, которому я отдала все, хороший человек, то он и так будет любить меня всегда... Если он дурной человек, — мне же лучше: я всегда могу уйти от него, и моих детей никто не смеет отнять от

меня!.. Я не хочу лжи, папа... Мне будет тяжело первое время, но потом все это пройдет. Мы будем жить хорошо, папа... честно жить. Ты увидишь все и простишь меня.

Бахарев молчал. Мертвенная бледность покрыла его лицо, он как-то болезненно выпрямился и молча указал дочери на дверь.

VII

Время от святок до масленицы, а затем и покаянные дни великого поста для Привалова промелькнули как длинный сон, от которого он не мог проснуться. Волею-неволею он втянулся в жизнь уездного города, в его интересы и злобы дня. Иногда его начинала сосать тихая, безотчетная тоска, и он хандрил по нескольку дней сряду.

— А вы слышали нашу новость? — спросила его в одну из таких тяжелых минут Хина.

— Какую?

— Надежда-то Васильевна ушла.

— Как ушла?

— Да очень просто: взяла да ушла к брату... Весь город об этом говорит. Рассказывают, что тут разыгрался целый роман... Вы ведь знаете Лоскутова? Представьте себе, он давно уже был влюблен в Надежду Васильевну, а Зося Ляховская была влюблена в него... Роман, настоящий роман! Помните тогда этот бал у Ляховского и болезнь Зоси? Мне сразу показалось, что тут что-то кроется, и вот вам разгадка; теперь весь город знает.

— Мало ли что болтают иногда, — заметил Привалов.

— Ну, уж извините, я вам голову отдаю на отсечение, что все это правда до последнего слова. А вы слышали, что Василий Назарыч уехал в Сибирь? Да... Достал где-то денег и уехал вместе с Шелеховым. Я заезжала к ним на днях: Марья Степановна совсем убита горем, Верочка плачет... Как хотите — скандал на целый город, разоренье на носу, а тут еще дочь-невеста на руках.

Эти известия как-то сразу встряхнули Привалова, и он сейчас же отправился к Бахаревым. Дорогой он старался еще уверить себя, что Хина переврала добрую половину и прибавила от себя; но достаточно было взглянуть на убитую физиономию Луки, чтобы убедиться в печальной истине.

— Улетела наша жар-птица... — прошептал старик, помогая Привалову раздеться в передней; на глазах у него были слезы, руки дрожали. — Василий Назарыч уехал на прииски; уж неделю, почитай. Доедут — не доедут по последнему зимнему пути...

В гостиной, на половине Марьи Степановны, Привалова встретила Верочка. Она встретила его с прежней ледяной холодностью, чего уж, кажется, никак нельзя было ожидать от такой кисейной барышни. Марья Степановна приняла его также холодно и жаловалась все время на головную боль.

— А я думала, что ты в Питер уехал, — как-то обидно равнодушно проговорила она. — Костя что-то писал...

Старый бахаревский дом показался Привалову могилой или, вернее, домом, из которого только что вынесли дорогого покойника. О Надежде Васильевне не было сказано ни одного слова, точно она совсем не существовала на свете. Привалов в первый раз почувствовал с болью в сердце, что он чужой в этом старом доме, который он так любил. Проходя по низеньким уютным комнатам, он с каким-то суеверным чувством надеялся встретить здесь Надежду Васильевну, как это бывает после смерти близкого человека.

Старая любовь, как брошенное в землю осенью зерно, долго покрытое слоем зимнего снега, опять проснулась в сердце Привалова... Он сравнил настоящее, каким жил, с теми фантазиями, которые вынашивал в груди каких-нибудь полгода назад. Как все было и глупо и обидно в этом счастливом настоящем... Привалов в первый раз почувствовал нравственную пустоту и тяжесть своего теперешнего счастья и сам испугался своих мыслей.

В этом скверном расположении духа, которое переживал Привалов, только первое письмо Веревкина, ко-

торое он прислал из Петербурга, несколько утешило его. Nicolas писал, что его подозрения относительно дядюшки действительно оправдались: последний раскинул настоящую паутину и уже готовился запустить свою лапу, как он, то есть Веревкин, явился самым неприятным сюрпризом и сразу расстроил все дело. Веревкин подробно описывал свои хлопоты, официальные и домашние: как он делал визиты к сильным мира сего, как его водили за нос и как он в конце концов добился-таки своего, пуская в ход все свое нахальство, приобретенное долголетней провинциальной практикой. В конце письма стояла приписка, что делом о Шатровских заводах заинтересовалась одна очень влиятельная особа, которая будет иметь большое значение, когда дело пойдет в сенат. «Сначала, — писал Веревкин, — я бродил как впотьмах, но теперь поосмотрелся: везде люди, везде человеки. Даст бог, учиним знатную викторию... А дядюшку смажем по всем правилам исскуства: не суйся в калачный ряд с суконным рылом».

Нынешний пост четверги Агриппины Филипьевны заставляли говорить о себе положительно весь город, потому что на них фигурировал Привалов. Многие нарочно приезжали затем только, чтобы взглянуть на этот феномен и порадоваться счастью Агриппины Филипьевны, которая так удивительно удачно пристраивала свою младшую дочь. Что Алла выходит за Привалова — в этом могли сомневаться только завзятые дураки.

Вот на одном из таких четвергов и произошел маленький случай, имевший неисчислимые последствия. Публики было особенно много: адвокаты, инженеры, какой-то заезжий певец, много дам. Привалов, конечно, был тут же, и все видели своими глазами, как он перевертывал страницы нот, когда Алла исполняла свою сонату. Хиония Алексеевна была особенно в ударе и развернулась: французские фразы так и сыпались с ее языка, точно у нее рот был начинен ими. В своем увлечении Хиония Алексеевна даже не обратила внимания на то, что Агриппина Филипьевна давно перестала улыбаться и тревожно подняла брови кверху.

В самом разгаре вечера, когда Хиония Алексеевна только что готовилась поднести ко рту ложечку клубничного варенья, Агриппина Филипьевна отозвала ее немного в сторону и вполголоса заметила:

— Хиония Алексеевна, вы бы оставили ваш французский язык...

Хиония Алексеевна в первую минуту подумала, что она ослышалась, и даже улыбнулась начатой еще за вареньем улыбкой, но вдруг ей все сделалось ясно, ясно, как день... Она задрожала всем телом от нанесенного ей оскорбления и едва могла только спросить:

— То есть как это — *мой* французский язык?..

— А так... Вы меня ставите в неловкое положение: все смеются над вашим произношением...

— Я?! ставлю *вас?!* в неловкое положение?!? Все смеются над моим произношением?!? И это говорите мне вы... Агриппина Филипьевна?!?

— Душечка, Хиония Алексеевна, пожалуйста, не сердитесь на меня... — попробовала было подсластить поднесенную пилюлю Агриппина Филипьевна, но было уже поздно: все было кончено!

Я, право, не знаю, как описать, что произошло дальше. В первую минуту Хиония Алексеевна покраснела и гордо выпрямила свой стан; в следующую за этим минуту она вернулась в гостиную, преисполненным собственного достоинства жестом достала свою шаль со стула, на котором только что сидела, и, наконец, не простившись ни с кем, величественно поплыла в переднюю, как смертельно оскорбленная королева, которая великодушно предоставила оскорбителей мукам их собственной совести.

«Мое произношение шокирует Агриппину Филипьевну!» — вот мысль, которая, как капля серной кислоты, жгла мозг Хионии Алексеевны, когда она ехала от Веревкиных до своего домика.

«Она думает, что если Антонида Ивановна сделалась любовницей Привалова, так мне можно делать всевозможные оскорбления», — с логикой оскорбленной женщины рассуждала далее Хиония Алексеевна, ломая руки от бессильной злости.

«Муж — шулер, сын — дровокат, дочь — содержанка, сама из забвенных рижских немок, которых по тринадцати на дюжину кладут!» — вот общий знаменатель, к которому сводились теперь мысли Хионии Алексеевны относительно фамилии Веревкиных.

VIII

Именно после этого разрыва все пошло как-то не попрежнему между Приваловым и Антонидой Ивановной, начиная с самого места действия, которое сузилось наполовину. Гостиная Хины была теперь закрыта, в клубе показываться было не совсем удобно, чтобы не вызвать озлобленную Хину на какую-нибудь отчаянную выходку. Однако Антонида Ивановна раза два ездила туда, точно затем только, чтобы поддразнить Хину. Половодова теперь играла в опасную игру, и чем больше представлялась опасность, тем сильнее она доставляла ей удовольствие. Это была какая-то бешеная скачка за сильными ощущениями. Для Антониды Ивановны сделалось чем-то вроде потребности ставить Привалова из одного критического положения в другое. Замечательно было то хладнокровие, с каким она распутывала все затруднения, какие создавала собственными руками. Если Привалов протестовал, это вызывало целую бурю упреков, колкостей и насмешек.

— Ты трус! — несколько раз говорила она ему с вызывающей улыбкой, подталкивая на какую-нибудь рискованную выходку.

Раза два Антонида Ивановна удерживала Привалова до самого утра. Александр Павлыч кутил в «Магните» и возвращался уже засветло, когда Привалов успевал уйти. В третий раз такой случай чуть не разразился катастрофой. Антонида Ивановна предупредила Привалова, что мужа не будет дома всю ночь, и опять задержала его. В середине ночи вдруг послышался шум подъехавшего экипажа и звонок в передней.

— Это Александр!.. — вскрикнула Антонида Ивановна.

Положение Привалова оказалось безвыходным: из передней уже доносился разговор Половодова с лакеем. По тону его голоса и по растягиванию слов можно было заключить, что он явился навеселе. Привалов стоял посредине комнаты, не зная, что ему делать.

— Что же ты стоишь таким дураком? — шепнула Антонида Ивановна и вытолкнула его в соседнюю комнату. — Сиди здесь... он пьян и скоро заснет, а тогда я тебя успею выпустить.

Пока Половодов шел до спальни, Антонида Ивановна успела уничтожить все следы присутствия постороннего человека в комнате и сделала вид, что спит. Привалов очутился в самом скверном положении, какое только можно себе представить. Он попал на какое-то кресло и сидел на нем, затаив дыхание; кровь прилила в голову, и колени дрожали от волнения. Он слышал, как Половодов нетвердой походкой вошел в спальню, поставил свечу на ночной столик и, не желая тревожить спавшей жены, осторожно начал раздеваться.

— Ты не спишь? — осторожно проговорил Половодов, когда жена открыла глаза.

— Нет, не сплю, как видишь... — сухо отвечала Антонида Ивановна.

— А я, Тонечка, сейчас от Ляховского.

— Оно и видно, что от Ляховского.

— Ей-богу, Тонечка, не лгу!

— Я тебя не заставляю божиться... К чему?

— Ну вот... ты уж и рассердилась... А я тебя люблю.

— Верю... Вероятно, сейчас только из «Магнита»?

— На минуточку действительно заезжал... на одну минуточку, Тонечка. Даже не снимал шубы...

Наступила пауза; Половодов щелкнул пальцами и покрутил с самодовольной улыбкой своей головой...

— А ты у меня умница, Тонечка.

— Merci...

— Нет, серьезно: умница... Знаешь новость?.. Ну, да это все равно!.. Хе-хе... Дело-то, пожалуй, и не в этом...

— А в чем?

— Ты сослужила нам золотую службу, Тонечка...

— Какую службу?..

Половодов несколько времени улыбался, а потом заговорил вполголоса:

— Помнишь, я тебя просил устроить так, чтобы Привалову у нас не было скучно?

— Ну?

— Теперь, знаешь, какие слухи по городу ходят... Ха-ха!.. Сегодня мне один дурак довольно прозрачно намекнул... Ей-богу!.. Понимаешь, подозревают тебя в близких отношениях к этому дураку Привалову... Ха-ха... Уж я хохотал-хохотал, когда остался один... Ведь это, голубчик, получается целая пьеса...

— Право, мне надоело слушать твои глупости!

— Нет, не глупости... Ха-ха!.. Нет, какого дурака Привалов-то разыграл... а?.. Ведь он сильно приударил за тобой, — я знаю и не претендую... А как сия история совершилась... Ты помнишь своего-то дядюшку, Оскара Филипыча? Ну, я от него сегодня телеграмму получил...

— Оставь, пожалуйста... Право, мне не интересно слушать про ваши дела. У меня голова болит...

— Нет, ты слушай... Если бы Привалов уехал нынче в Петербург, все бы дело наше вышло швах: и мне, и Ляховскому, и дядюшке — шах и мат был бы. Помнишь, я тебя просил в последний раз во что бы то ни стало отговорить Привалова от такой поездки, даже позволить ему надеяться... Ха-ха!.. Я не интересуюсь, что между вами там было, только он остался здесь, а вместо себя послал Nicolas. Ну, и просолил все дело!

— Ничего не понимаю... Да и ты сам не знаешь, что болтаешь спьяна!

— Нет, знаю, голубчик... Ведь ты умница!.. Nicolas еще может нам пакостить, ну, тогда другую механику подведем... На выдумки природа торовата!..

IX

Весна вышла дружная; быстро стаяли последние остатки снега, лежавшего по низинам и глубоким оврагам; около воды высыпала первая зеленая травка, и, насколько кругом хватал глаз, все покрылось черными

заплатами только что поднятых пашен, перемешанных с желтыми квадратами отдыхавшей земли и зеленевшими озимями. Над пашней давно звенел жаворонок, и в черной земле копались серьезные грачи. Севы шли своим чередом.

Привалов в эту горячую пору успел отделать вчерне свой флигелек в три окна, куда и перешел в начале мая; другую половину флигеля пока занимали Телкин и Нагибин. Работа по мельнице приостановилась, пока не были подысканы новые рабочие. Свободное время, которое теперь оставалось у Привалова, он проводил на полях, присматриваясь к крестьянскому хозяйству на месте.

Однажды в половине мая, когда Привалов, усталый, прибрел с полей в свой флигелек, Нагибин торопливо догнал его и издали еще кричал:

— Сергей Александрыч, Сергей Александрыч... Слышали новость?

— Какую?

— Вечор на Лалетинские воды привезли Ляховского замертво...

— Как так?

— А так!.. Без языка, и правая половина вся отнялась... Этакая беда, подумаешь, стряслась!.. Дочь-то только-только поправилась, а тут и сам свернулся... И дохтура с собой привезли, Бориса Григорьича. Вы бы съездили его проведать, Сергей Александрыч!

— Пожалуй... — нерешительно согласился Привалов. — Мне его давно нужно увидать.

На другой день у приваловского флигелька стояла плетенка, в каких ездят по всему Уралу, заложенная парой костлявых киргизок. На козлах сидел кучером гарчиковский мужик Степан, отбившийся по скудоумию от земли и промышлявший около господ. Когда плетенка, покачиваясь на своих гибких рябиновых дрогах, бойко покатилась по извилистому проселку, мимо бесконечных полей, Привалов в первый еще раз испытывал то блаженное чувство покоя, какому завидовал в других. Ему все нравилось кругом: и вспаханные поля, и всходившие озими, и эта мягкая, как покрытая войлоком, черноземная проселочная дорога, и дружный

бег сильных киргизок, и даже широкая заплатанная спина Степана, который смешно дергал локтями в нырках и постоянно поправлял на голове рваную баранью шапчонку. Здоровое чувство охватило Привалова, и он даже пожалел Ляховского. В последний раз он видел его перед масленицей; старик чувствовал себя бодро и строил планы будущего.

— Вот тебе и Лалетинка, — проговорил Степан, когда плетенка бойко вскатилась на последний пригорок.

Внизу, под пригорком, река Лалетинка делала широкий выгиб, подмывая крутой песчаный берег, поросший молодым сосняком; на широком и низком мысу высыпало около сотни крестьянских изб, точно все они сушились на солнечном пригреве. Издали можно было различить деревянное здание курзала над железным ключом, длинную веранду, где играла во время лечебного сезона музыка и гуляли больные, длинное и неуклюжее здание номеров для приезжающих больных. По берегу реки, справа, было выстроено до десятка плохоньких ванн, затянутых сверху новой парусиной. Вид на всю деревню был очень красив, хотя курзал еще был пуст, потому что большинство больных собиралось на воды только к концу мая. Когда плетенка подкатилась к подъезду номеров для приезжающих с поднятым флагом на крыше, из окон второго этажа выглянуло на Привалова несколько бледных, болезненных лиц. В числе других выглянул и доктор Хлюдзинский, который заведовал водами. Привалов пробежал глазами в передней номеров черную доску, где были записаны фамилии жильцов, и остановился; пять номеров подряд были подписаны одной фамилией Ляховского.

— Вам кого-с? — спрашивал коридорный в черном фраке и белом галстуке.

— Доктора Сараева можно видеть?

— Сейчас-с, я доложу...

Коридорный через минуту вернулся в сопровождении самого доктора, который с улыбкой посмотрел на смятый дорожный костюм Привалова и пожал ему руку.

— А я приехал проведать вас, — проговорил Привалов, входя в номер доктора.

В маленькой комнатке, которую доктор занимал в нижнем этаже, царил тот беспорядок, какой привозят с собой все путешественники: в углу стоял полураскрытый чемодан, на стене висело забрызганное дорожной грязью пальто, на окне разложены были хирургические инструменты и стояла раскрытая коробка с табаком. В первое мгновенье Привалов едва заметил молодую белокурую девушку с остриженными под гребенку волосами, которая сидела в углу клеенчатого дивана. Когда она с улыбкой поклонилась, Привалову показалось, что он где-то видал это худенькое восковое лицо с тонким профилем и большими темными глазами.

— Не узнаете, Сергей Александрыч? — спросил знакомый женский голос.

— Софья Игнатьевна!.. Ужели это вы? — удивился Привалов.

— Как видите... Состарилась, не правда ли?.. Должно быть, хороша, если знакомые не узнают, — говорила Зося, с завистью больного человека рассматривая здоровую фигуру Привалова, который точно внес с собой в комнату струю здорового деревенского воздуха.

— А мы недавно о вас говорили здесь, Сергей Александрыч, — сказал доктор. — Вот Софья Игнатьевна очень интересовалась вашей мельницей.

— Да, да... — с живостью подтвердила девушка слова доктора. — И не одной мельницей, а вообще всем вашим предприятием, о котором, к сожалению, я узнала только из третьих рук.

— Я не знал, Софья Игнатьевна, что вас могла так заинтересовать моя мельница.

— Нет, мы все-таки интересуемся вашей мельницей, — отвечал доктор. — И даже собирались сделать вам визит... Вот только нас задерживает наш больной.

— А мне можно будет видеть Игнатия Львовича? — спросил Привалов. — Я приехал не по делу, а просто навестить больного.

— Папа будет вам очень рад, — ответила Зося за доктора. — Только он ничего не говорит пока, но всех узнает отлично... Ему было немного лучше, но дорога испортила.

Когда доктор вышел из номера, чтобы проведать больного, девушка заговорила:

— Ведь папе совсем было лучше, и он мог уже ходить по комнате с костылями, но тут подвернулся этот Альфонс Богданыч. Вы, вероятно, видали его у нас? Что произошло между ними — не знаю, но с папой вдруг сделался паралич...

— Если вы желаете навестить больного, он будет вам рад, — заявил доктор, появляясь в дверях.

Через два номера по обитой ковром двери Привалов узнал помещение больного. Стены номера и весь пол были покрыты ташкентскими коврами; слабая струя света едва пробивалась сквозь драпировки окон, выхватывая из наполнявшего комнату полумрака что-то белое, что лежало на складной американской кровати, как узел вычищенного белья. Воздух был насыщен запахом эфира и какого-то пахучего спирта. Доктор осторожно подвел Привалова к креслу, которое стояло у самой кровати больного, рядом с ночным столиком, заставленным аптечными банками и флаконами. Только теперь Привалов рассмотрел голову больного, обернутую чем-то белым: глаза были полуоткрытые, рот неприятно скошен на сторону. Слабое движение левой руки — вот все, чем больной мог заявить о своем человеческом существовании.

— Папа, как ты себя чувствуешь? — спрашивала девушка, заходя к отцу с другой стороны кровати. — Сергей Александрыч нарочно приехал, чтобы навестить тебя...

Слабое движение руки, жалко опустившейся на одеяло, было ответом, да глаза раскрылись шире, и в них мелькнуло сознание живого человека. Привалов посидел около больного с четверть часа; доктор сделал знак, что продолжение этого безмолвного визита может утомить больного, и все осторожно вышли из комнаты. Когда Привалов начал прощаться, девушка проговорила:

— Вы куда же? Нет, мы вас оставим обедать... И не думайте отказываться: по-деревенски, без церемоний.

Обед был подан в номере, который заменял приемную и столовую. К обеду явились пани Марина и Давид. Привалов смутился за свой деревенский костюм и пожалел, что согласился остаться обедать. Ляховская отнеслась к гостю с той бессодержательной светской любезностью, которая ничего не говорит. Чтобы попасть в тон этой дамы, Привалову пришлось собрать весь запас своих знаний большого света. Эти трогательные усилия по возможности разделял доктор, и они вдвоем едва тащили на себе тяжесть светского ига.

— Каким вы богатырем смотрите среди нас, — откровенно заметила Зося, обращаясь к Привалову в середине обеда. — Мы все рядом с вами просто жалки: мама не совсем здорова, Давид, как всегда, доктор тоже какой-то желтый весь, о мне и говорить нечего... Я вчера взглянула на себя в зеркало и даже испугалась: чистая восковая кукла, которая завалялась в магазине.

— Будем, по примеру Сергея Александрыча, надеяться на целебную силу деревенского воздуха, — проговорил доктор.

Привалов вздохнул свободнее, когда, наконец, обед кончился и он мог распрощаться с этим букетом чающих движения воды.

— Если вы захотите осмотреть мою мельницу, Софья Игнатьевна, — говорил Привалов, прощаясь с девушкой, — я буду очень счастлив.

— Непременно, непременно, Сергей Александрыч,— весело отвечала Зося, встряхивая головой, — мы с доктором прикатим к вам.

X

Мы должны вернуться назад, к концу апреля, когда Ляховский начинал поправляться и бродил по своему кабинету при помощи костылей. Трехмесячная болезнь принесла с собой много упущений в хозяйстве, и теперь Ляховский старался наверстать даром пропущенное время. Он рано утром поджидал Альфонса Богданыча

и вперед закипал гневом по поводу разных щекотливых вопросов, которые засели в его голове со вчерашнего дня.

Наконец, дверь скрипнула, и на пороге показался сам Альфонс Богданыч с кипой бумаг в старом портфеле.

— Надеюсь, драгоценное здоровье Игнатия Львовича совсем поправилось? — льстиво заговорил управляющий, с низким поклоном занимая свое обычное место за письменным столом.

— Да, вы можете надеяться... — сухо ответил Ляховский. — Может быть, вы надеялись на кое-что другое, но богу было угодно поднять меня на ноги... Да! Может быть, кто-нибудь ждал моей смерти, чтобы завладеть моими деньгами, моими имениями... Ну, сознайтесь, Альфонс Богданыч, у вас ведь не дрогнула бы рука обобрать меня? О, по лицу вижу, что не дрогнула бы... Вы бы стащили с меня саван... Я это чувствую!.. Вы бы пустили по миру и пани Марину и Зосю... О-о!.. Прошу вас, не отпирайтесь: совершенно напрасно... Да!

Альфонс Богданыч улыбнулся. Да, улыбнулся в первый раз, улыбнулся спокойной улыбкой совсем независимого человека и так же спокойно посмотрел прямо в глаза своему патрону... Ляховский был поражен этой дерзостью своего всенижайшего слуги и готов был разразиться целым потоком проклятий, но Альфонс Богданыч предупредил его одним жестом: он с прежним спокойствием раскрыл свой портфель, порылся в бумагах и достал оттуда свеженькое объявление, отпечатанное на листе почтовой бумаги большого формата.

— Вот... — коротко проговорил он, подавая объявление Ляховскому.

Отнеся бумагу далеко от глаз, Ляховский быстро пробежал глазами объявление, которое гласило: «Торгово-промышленная компания А. Б. Пуцилло-Маляхинского. Компания имеет честь довести до сведения почтеннейшей публики, что она на вновь открытых заводах — винокуренных, кожевенных, свечных и мыловаренных — принимает всевозможные заказы, ручаясь за добросовестное выполнение оных и, в особенности, за

их своевременность. Заводы расположены в Западной Сибири, главный склад и контора компании помещаются в г. Узле, по Соборной улице, в доме А. Б. Пуцилло-Маляхинского». Под объявлением стояла полная подпись: «А. Б. Пуцилло-Маляхинский». Ляховский три раза прочел объявление, почесал себе лоб, заглянул на оборотную сторону бумаги и, наконец, проговорил:

— Не знаю... Совсем не слыхал такой компании!.. Что это за Пуцилло-Маляхинский? Вероятно, какой-нибудь аферист?... Совсем незнакомая фамилия.

— Может быть, почтеннейшему Игнатию Львовичу угодно будет припомнить эту фамилию? — с прежней улыбкой проговорил Альфонс Богданыч. — Когда-то Игнатий Львович знал эту фамилию.

— Нет, не помню!

— Мой дед по отцу был Пуцилло, а мой дед по матери — Маляхинский, — проговорил Альфонс Богданыч.

Ляховский сделал большие глаза, раскрыл рот и бессильно опустился в свое ободранное кресло, схватившись обеими руками за голову. В этой умной голове теперь колесом вертелась одна мысль:

«Пуцилло-Маляхинский... Пуцилло-Маляхинский... Пуцилло-Маляхинский».

— Вы меня обокрали, Альфонс Богданыч... — прошептал убитым голосом Ляховский. — Каждый гвоздь на ваших заводах мой... Понимаете: вы меня пустили по миру!!.

— Нет, зачем же, Игнатий Львович... Я вашего ничего не тронул, а если что имею, то это плоды долголетних сбережений.

— Плоды долголетних сбережений!! Ха-ха! — дико захохотал Ляховский, закидывая голову. — Вернее: плоды долголетнего систематического грабежа...

— Вы ошибаетесь, Игнатий Львович, — невозмутимо продолжал Альфонс Богданыч. — Вы из ничего создали колоссальные богатства в течение нескольких лет. Я не обладаю такими счастливыми способностями и должен был употребить десятки лет для создания собственной компании. Нам, надеюсь, не будет тесно, и

мы будем полезны друг другу, если этого, конечно, захотите вы... Все зависит от вас...

— Скажите мне одно, — спрашивал Ляховский: — как вы успели выстроить все эти заводы, когда все время находились неотлучно при мне? Кто строил все эти заводы?..

— Как кто? По матери у меня остались два племянника Маляхинских, и по отцу у меня три племянника Пуцилло... Молодые люди отлично кончили курс в высших заведениях и постройкой заводов только отплатили мне за то воспитание, которое я дал им.

— У вас пять племянников?!.

— И одна племянница... Очень милая девушка, Игнатий Львович! И какие завидные способности: говорит на трех языках, рисует...

— Довольно, довольно... Верю!..

Ляховский чувствовал, как он проваливается точно в какую-то пропасть. Ведь все дела были на руках у Альфонса Богданыча, он все на свете знал, везде поспевал во-время, и вдруг Альфонса Богданыча не стало... Кого Ляховский найдет теперь на его место? Вдобавок, он сам не мог работать попрежнему. Фамилия Пуцилло-Маляхинский придавила Ляховского, как гора. Впереди — медленное разорение...

Вечером с ним сделался удар.

XI

Публика начала съезжаться на воды только к концу мая. Конечно, только половину этой публики составляли настоящие больные, а другая половина ехала просто весело провести время, тем более что летом жизнь в пыльных и душных городах не представляет ничего привлекательного.

— Господа... mesdames, пользуйтесь воздухом! — кричал доктор Хлюдзинский с утра до вечера, торопливо перебегая от одной группы к другой. — От воздуха зависит все, mesdames!.. Посмотрите на Ляховских: отца привезли замертво, дочь была совершенно прозрачная, а теперь Игнатий Львович катается в своем

кресле, а Софья Игнатьевна расцвела, как ширазская роза!.. Да, mesdames... А все отчего: Софья Игнатьевна вполне пользуется всеми благами деревенского воздуха, и розы на ее щеках служат лучшим доказательством ее благоразумия.

Как на всех других водах, знакомства здесь сводились с поразительной быстротой, и все общество быстро распалось на свои естественные группы: на аристократию, буржуазию и разночинцев. Конечно, во главе аристократии стояли Ляховские, а Зося явилась львицей сезона и поэтому заслужила откровенную ненависть всех дам и девиц сезона. В этой ненависти все разнородные элементы соединились в одно сплоченное целое, и когда Зося по вечерам являлась в танцевальном зале курзала, ее встречал целый строй холодных и насмешливых взглядов. Мы должны сказать, что в числе лечившихся дам была и наша уважаемая Хиония Алексеевна: ее высохшее тело требовало тоже отдыха, и она бродила по курзалу с самым меланхолическим видом. Собственно говоря, она ничем не была больна, а только чувствовала потребность немножко рассеяться. Оставаться в Узле, на развалинах погибшей пансионской дружбы, было выше даже ее сил, и она решилась отдохнуть на лоне природы. Но этот отдых продолжался всего один день, а когда Хиония Алексеевна показалась в курзале, она сразу попала в то пестрое течение, в котором барахталась всю свою жизнь. В обособлении членов на группы Хиония Алексеевна, конечно, приняла самое деятельное участие и повела глухую борьбу против аристократических привилегий, то есть против Зоси Ляховской, за которой больная молодежь ходила толпой. Раньше она занималась «этой девчонкой» только между прочим, а теперь принялась за работу вполне серьезно.

— Нет, я ей покажу, этой девчонке! — решила Хиония Алексеевна, закидывая гордо свою голову. — Она воображает, что если у отца миллионы, так и лучше ее нет на свете...

Началась настоящая травля. Заплатина преследовала Зосю по пятам и, наконец, добилась того, что та обратила на нее внимание.

— Скажите, пожалуйста, за что ненавидит меня эта дама? — спрашивала Зося доктора Сараева, указывая на Хину. — Она просто как-то шипит, когда увидит меня... У нее делается такое страшное лицо, что я не шутя начинаю бояться ее. А между тем я решительно ничего ей не сделала.

Доктор только пожал плечами, потому что, в самом деле, какой философ разрешит все тайны дамских симпатий и антипатий? Объяснять Зосе, что Заплатина преследует Зосю за ее богатство и красоту, — доктор не решался, предоставляя Зосе своим умом доходить до корня вещей.

Потом Зосе случилось уловить какую-то саркастическую французскую фразу, произнесенную Хионией Алексеевной.

«О, да она еще говорит по-французски и довольно порядочно!» — удивилась про себя девушка, оглядываясь на сердитую даму.

Наконец, им пришлось заговорить. Сначала они обменялись сухими, почти враждебными фразами, но потом их беседа приняла более мирный характер.

Хина в самых живых красках очертила собравшуюся на воды публику и заставила хохотать свою юную собеседницу до слез; затем последовал ряд портретов общих знакомых в Узле, причем Бахаревым и Веревкиным досталось прежде всего. А когда Заплатина перешла к изображению «гордеца» Половодова, Зося принялась хохотать, как сумасшедшая, и кончила тем, что могла только махать руками.

— Странно, я встречаю в вас первую женщину, с которой нельзя соскучиться, — говорила Зося, все еще продолжая вздрагивать всем телом от душившего ее смеха.

— А я?.. Я задыхаюсь в обществе этих Веревкиных, Бахаревых и Половодовых, — в свою очередь откровенничала Хина. — Разве наши дамы могут что-нибудь понимать, кроме своих тряпок?..

Доктор Сараев давно разыскивал Зосю и немало был удивлен, когда нашел ее в обществе Заплатиной с следами слез на глазах.

— До свидания, милейшая Хиония Алексеевна! — проговорила Зося, пожимая руку своей собеседницы. — Не правда ли, мы еще увидимся с вами?

— Я удивляюсь, Зося, вашей неразборчивости в выборе ваших новых знакомых, — строго заметил доктор, когда они шли в номера.

— Ах, если бы вы слышали, как она смешно рассказывает!.. Ха-ха... Ведь это воплощенный яд!.. Нет, это такой редкий экземпляр дамской породы... Она меня просто уморила, доктор.

Хиония Алексеевна владела счастливой способностью выжимать какие угодно обстоятельства в свою пользу. Неожиданное знакомство с Зосей подняло в ее голове целый ворох проектов и планов. Теперь Зося была не просто гордая девчонка, а совмещение всех человеческих достоинств: красоты, ума, доброты, веселья, находчивости, остроумия, а главное — эта девица была настоящая аристократка, до которой далеко всем этим Nadine Бахаревым, Аллам, Аннам Павловнам и tutti quanti [1]. Заплатина упивалась аристократическим происхождением Зоси, как раньше преклонялась пред магической силой приваловских миллионов. Одним словом, Зося являлась в глазах Хионии Алексеевны идеалом молодой девушки.

— У вас, mon ange, каждое мимолетное движение — целая история, — объясняла Хина Зосе ее совершенства. — Даже в самых недостатках сказывается кровь, порода.

А прибавьте к этому еще то, что Зося была единственной наследницей богатств Ляховского! У Заплатиной кружилась даже голова, когда она про себя перечисляла различные статьи этого богатства. Для кого курились винокуренные заводы по всему Зауралью? Для кого паслись в киргизской степи стада баранов, из которых после топили сало, делали мыло и свечи? Для кого работали кожевенные и стеклянные заводы? Для кого совершались миллионные торговые операции? Для кого качались богатейшие урожаи на тысячах десятин, купленных за бесценок?

---

[1] всем прочим *(итал.)*.

Заплатина не могла не чувствовать собственного ничтожества рядом с этими дарами фортуны. Чтобы хоть чем-нибудь пополнить свои недостатки, почтенная женщина обратила свое внимание на Привалова, который в ее рассказах являлся какой-то частью ее собственного существования. Как бы удивился сам Привалов, если бы услышал, как Хина распиналась за него пред Зосей. Во-первых, он был чем-то вроде тех сказочных принцев, которые сначала являются без королевства, а потом, преодолевая тысячи препятствий, добиваются своих наследственных прав. Хина сумела придать истории наследства Привалова самый заманчивый характер, а его самого наделила такими достоинствами, какие оставались незаметны только благодаря его скромности. Во-вторых, мельница Привалова и его хлебная торговля служили только началом осуществления его гениальных планов, — ведь Привалов был герой и в качестве такового сделает чудеса там, где люди в течение тысячи лет только хлопали ушами. Заплатина тонко намекнула Зосе, что мельница и хлебная торговля служат только прикрытием тех социальных задач, которые взялся осуществить Привалов. Да, это был социалист и очень опасный человек, хотя никто этого и не подозревает благодаря его тонкой скромности. Новый Привалов, которого Хина создавала слушательнице, увлекал рассказчицу, и она сама начинала верить собственным словам.

— Да, он не походит на других, — задумчиво говорила Зося.

— Конечно!.. Это, mon ange, необыкновенный человек.

— Скажите, он ведь, кажется, был влюблен в Надежду Васильевну? — неожиданно спросила Зося.

Хина немного смутилась в первое мгновение, но сейчас же победоносно вышла из своего затруднительного положения.

— Могу вас уверить, что серьезного ничего не было... Просто были детские воспоминания; затем сама Надежда Васильевна все время держала себя с Приваловым как-то уж очень двусмысленно; наконец, старики

Бахаревы помешались на мысли непременно иметь Привалова своим зятем. Вот и все!..

Зося снизошла до того, что сделала визит Заплатиной в ее маленькую избушку, где пахло курами и телятами. Заплатина, конечно, постаралась не остаться в долгу и через два дня заявилась в своем лучшем шелковом платье к Ляховским. Все шло отлично, пока Хиония Алексеевна сидела в комнате Зоси, но когда она показалась в столовой, ей пришлось испытать сразу две неприятности. Во-первых, пани Марина приняла Хину с ее французским языком с такой леденящей любезностью, что у той заскребли кошки на сердце; во-вторых, Давид, отлично знавший Хионию Алексеевну по Общественному клубу, позволил себе с ней такие фамильярности, каких она совсем не желала для первого визита.

Этот визит омрачил счастливое настроение Заплатиной, и она должна была из чувства безопасности прекратить свои дальнейшие посещения Ляховских. Да кроме того, ей совсем не нравилось смотреть на презрительное выражение лица, с которым встретил ее сам Игнатий Львович, хотя ему как больному можно было многое извинить; затем натянутая любезность, с какой обращался с ней доктор, тоже шокировала покорную приличиям света натуру Хионии Алексеевны.

Зося, конечно, относилась к ней хорошо, но она не хотела ронять своего достоинства в глазах этой девушки благодаря неприличному поведению остальных членов семьи.

У Хионии Алексеевны блеснула счастливая мысль.

— Я удивляюсь, mon ange,— говорила она однажды Зосе, — что вам за охота похоронить себя летом в четырех стенах, когда вы имеете полную возможность устроиться совершенно иначе, как восточная царица... Да!..

Зося пила кумыс, который ей привозили башкиры откуда-то из-под Красного Луга. Вот отлично было бы пожить жизнью этих номадов, а для этого стоило только поставить свою палатку около башкирских кошей. Палатку можно устроить на текинский образец: снаружи обить белым войлоком, а внутри убрать все бухарскими

коврами. Это будет прелестно!.. Можно создать всю обстановку во вкусе кочевников, до последнего гвоздя. А как это будет оригинально! Какие parties de plaisir[1] можно будет там устраивать... Одно удовольствие — провести полтора месяца в такой палатке, буквально на лоне природы, среди диких сынов степей — одно такое удовольствие чего стоило. Зося расцеловала Хионию Алексеевну и ухватилась обеими руками за оригинальную выдумку.

— Только я прошу вас об одном, — говорила Заплатина, — выдайте, mon ange, все за собственное изобретение... Мне кажется, что ваши предубеждены против меня и могут не согласиться, если узнают, что я подала вам первую мысль.

— Хорошо, но с условием: мы будем жить вместе... Не правда ли?..

Хина поломалась для порядку и в конце концов изъявила свое согласие. Таким образом, ей незачем будет являться с визитами к Ляховским, и она будет иметь совершенно самостоятельное значение. А там — будет что будет...

Проект Зоси был встречен с большим сочувствием, особенно доктором, потому что в самом деле чего же лучше: чем бестолково толочься по курзалу, полезнее в тысячу раз получать все блага природы из первых рук.

Немедленно был послан в Троицк, как на ближайший меновой двор, особенный нарочный с поручением приобрести четыре кибитки: одну для Зоси, одну для конюхов, одну для женской прислуги и одну на всякий случай, то есть для гостей. Через неделю нарочный вернулся; немедленно было выбрано место под кибитки, и блестящая затея получила свое реальное осуществление. Место, где раскинулись палатки, было восхитительно: на высоком берегу безыменной речушки, в двух шагах от тенистой березовой рощи; кругом волновалась густая зеленая трава, точно обрызганная миллионами пестрых лесных цветочков. Башкирское кочевье оживляло ландшафт. Около дырявых, ободранных

---

[1] увеселительные прогулки *(франц.)*.

кошей суетилась подвижная полунагая толпа ребят, денно-нощно работали женщины, эти безответные труженицы в духе добрых азиатских нравов, и вечно ничего не делали сами башкиры, попивая кумыс и разъезжая по окрестностям на своих мохноногих лошадках; по ночам около кошей горели яркие огни, и в тихом воздухе таяла и стыла башкирская монотонная песня, рассказывавшая про подвиги башкирских богатырей, особенно о знаменитом Салавате. Верстах в десяти, на горизонте, темнели избы деревни Красный Луг. Благодатная Башкирия дышала здесь всеми своими красотами.

XII

Жизнь в кошах быстро восстановила здоровье Зоси. Она все время проводила на воздухе; нарочно были приведены из Узла Тэке и Батырь. Зося любила устраивать длинные прогулки верхом в обществе доктора. Хиония Алексеевна пыталась было принять участие в этих прогулках: однажды она совсем решилась было преодолеть свой институтский страх к оседланной лошади и даже, при помощи Ильи, взобралась на Батыря, но при первой легкой рыси комом, как застреленная птица, свалилась с седла и даже слегка повихнула ногу. Оставалось покориться судьбе и сидеть в коше, пока Зося гарцевала на своем иноходце.

В одну из таких прогулок доктор и Зося подъехали к самым Гарчикам.

— Вон мельница Привалова, — указал доктор на широкий пруд и строившуюся мельницу. — Если хотите, можем сделать визит Сергею Александрычу?

— С удовольствием, — согласилась Зося.

Они нашли Привалова на месте строившейся мельницы. Он вылез откуда-то из нижнего этажа, в плисовой поддевке и шароварах; ситцевая рубашка-косоворотка красиво охватывала его широкую шею. На голове был надвинут какой-то картуз. Когда Зося протянула ему руку, затянутую в серую шведскую перчатку с лакированным раструбом, Привалов с улыбкой отдернул назад свою уже протянутую ладонь.

— Боюсь испортить вам перчатку, Софья Игнатьевна, — добродушно проговорил он, но Зося настояла и пожала его широкую ладонь.

— А мы приехали со специальной целью мешать вам, — смеялась девушка, грациозно перекидывая шлейф своей амазонки через левую руку. — Вы нам покажете все свои подвиги...

Привалов повел гостей показывать мельницу, и Зося в своей амазонке лазила по всем углам мельничного корпуса, внимательно рассматривая все подробности производившихся работ.

В маленьком флигельке на скорую руку устроен был чай. Нагибин собственноручно «наставил» самоварчик и не без эффекта подал его на стол.

За чаем, когда Зося наливала стаканы в качестве хозяйки, доктор не без ловкости навел разговор на земледелие, а потом перешел к хлебной торговле и мельнице. Привалов сначала отделывался общими фразами, но потом разговорился. Ему нравилось, что Зося интересуется его мельницей и с таким вниманием слушает его объяснения. Девушка сделала несколько вопросов, которые показывали, что она относится к делу не с праздным любопытством, а с чистосердечным желанием понять все. Пока Привалов говорил, Зося внимательно рассматривала выражение этого загорелого добродушного лица; открытый взгляд карих глаз, что-то уверенное и спокойное в движениях — произвели сегодня на Зосю то впечатление, которое было подготовлено рассказами Хины. В глазах Зоси Привалов сегодня действительно был героем, как человек, который резко выдался из среды других.

— Я буду ждать вас, Сергей Александрыч, — говорила Зося на прощанье. — Приезжайте прямо в кош, — это два часа езды от вашей мельницы.

Когда доктор и Зося крупной рысью тронулись по дороге в Красный Луг, Нагибин проговорил:

— Эко, господи, каких лошадей, подумаешь, добудут... И ловко барышня ездит. Смела, нечего говорить!

Этот визит напомнил Привалову о той жизни, от которой он отказался. Зося ему нравилась.

Через три дня Привалов на гнедом киргизе ехал по дороге в Красный Луг. Он нарочно ехал тихо, чтобы полюбоваться развертывавшимися кругом красотами. Овсы нынче взялись необыкновенно дружно; пшеница уже трубилась, выгоняя свою матовую зелень, на которой отдыхал глаз. День был горячий; накаленный воздух переливался прозрачными волнами; над бесконечными нивами нависла кружившая голову испарина. В траве звонко ковали кузнечики; где-то тянул свою скрипучую песню коростель. Из придорожной травы, покрытой мелкой пылью, то и дело взлетали, как ракеты, маленькие птички и быстро исчезали в воздушном пространстве. На горизонте, со стороны Лалетинских вод, медленно ползло грозовое облачко, и можно было рассмотреть косую полосу дождя, которая орошала нивы; другая сторона неба была залита ослепительным солнечным светом, — глазам было больно смотреть. Привалов думал о том, что как хорошо было бы, если бы дождевая тучка прокатилась над пашнями гарчиковских мужиков; всходы нуждались в дожде, и поп Савел служил уж два молебна; даже поднимали иконы на поля. Эти сельскохозяйственные мысли были, как птицы, вспугнуты неожиданно шарахнувшейся лошадью: под самыми ногами промелькнул большой заяц, легкими прыжками ускакавший в овес.

«Нехороший знак... — вслух подумал Привалов и засмеялся собственному суеверию. — Зачем я еду?» — подумал он в следующую минуту и даже остановил лошадь.

С пригорка, на котором теперь стоял Привалов, вдали можно было рассмотреть мельничный пруд, а впереди, на берегу речки, дымились башкирские коши... «Если поедешь направо — сам будешь сыт, конь голоден; поедешь налево — конь будет сыт, сам будешь голоден; а если поедешь прямо — не видать тебе ни коня, ни головы», — припомнились Привалову слова сказки, и он поехал прямо на дымок кошей. Лошадь, выгнув свою оленью шею, неслась быстрым ходом; она почуяла пасшийся на траве табун башкирских лошадей и раздувала ноздри.

Подъезжая к пригорку, на котором стоял белый кош Ляховской, Привалов издали заметил какую-то даму, которая смотрела из-под руки на него. «Уж не пани ли Марина?» — подумал Привалов. Каково было его удивление, когда в этой даме он узнал свою милую хозяйку, Хионию Алексеевну. Она даже сделала ему ручкой.

— Какими судьбами, Хиония Алексеевна? — спрашивал Привалов, передавая своего киргиза подошедшему Илье.

— Ах, не спрашивайте, пожалуйста! — жеманно отвечала Хиония Алексеевна. — Вы знаете мой проклятый характер... После вашего отъезда доктор посоветовал ехать на воды — вот я и отправилась. У меня уж такой характер. А здесь встречаю Софью Игнатьевну... случайно познакомились...

Зося была немного больна и приняла Привалова внутри коша, где можно было сидеть только на низеньких диванчиках, поджав ноги. Хозяйка была занята приручением степного сокола, который сидел перед ней на низенькой деревянной подставке и каждый раз широко раскрывал рот, когда она хотела погладить его по дымчатой спине.

— Видите, какой степняк-недотрога, — говорила Зося, отдергивая руку. — Третий день с ним мучусь... Все руки мне исклевал.

Она показала Привалову свои руки, покрытые шрамами и кровавыми царапинами.

— А вам для чего его приручать? — полюбопытствовал Привалов, с удивлением осматривая окружавшую его обстановку.

— Когда привыкнет, буду вынашивать, а потом вы примете участие в соколиной охоте, которую мы постараемся устроить в непродолжительном времени. Это очень весело... Мне давно хотелось побывать на такой охоте.

— Да, это будет очень интересно, — согласился Привалов, пробуя погладить сокола.

— Я понимаю именно такую охоту, — говорила Зося. — Это совсем не то, что убивать птицу из-под

собаки... Охота с ружьем — бойня. А здесь есть риск, есть опасность.

В своей полувосточной обстановке Зося сегодня была необыкновенно эффектна. Одетая в простенькое летнее платье, она походила на дорогую картину, вставленную в пеструю раму бухарских ковров. Эта смесь европейского с среднеазиатским была оригинальна, и Привалов все время, пока сидел в коше, чувствовал себя не в Европе, а в Азии, в этой чудной стране поэтических грез, волшебных сказок, опьяняющих фантазий и чудных красавиц. Даже эта пестрая смесь выцветших красок на коврах настраивала мысль поэтическим образом.

Хиония Алексеевна в качестве дуэньи держала себя с скромным достоинством и делала серьезное лицо, когда Зося начинала хохотать. Она быстро дала понять Привалову, что здесь она свой человек.

— А все-таки, знаете, Сергей Александрыч, я иногда страшно скучаю, — говорила Зося, когда Хина вышла из коша. — Вечное безделье, вечная пустота... Ну, скажите, что будет делать такая барышня, как я? Ведь это прозябание, а не жизнь. Так что даже все удовольствия отравлены сознанием собственной ненужности.

— Работу можно найти, если захотеть.

— То есть можно обмануть себя призраком работы: открыть какую-нибудь швейную мастерскую, устроить школу, поступить на курсы... А если я ни первого, ни второго, ни третьего не желаю? Мне нужен такой труд, который бы поглощал меня всю, без которого я не могла бы существовать. Я понимаю политических деятелей, понимаю всех этих борцов за идею. Вот вы, например, сидите на своей мельнице, и никуда вас не тянет, ничто вам не напоминает, что каждый прожитый день — тяжелое обвинение против вас в собственной ничтожности. Знаете, я думала о ваших планах несколько раз... Если бы вы не открыли этой Америки раньше меня, я занялась бы этой хлебной торговлей. Известная цель впереди делает человека счастливым.

— Но ведь вы знаете, что моя Америка открыта не мной и раньше меня?

— Знаю... знаю... Но важно вот что: все убеждены в справедливости известной идеи, создается ряд попыток ее осуществления, но потом идея незаметно глохнет и теряется; вот и важно, чтобы явился именно такой человек, который бы стряхнул с себя все предубеждения и оживил идею. Помните Темир-Ленка, который наблюдал муравья, сорок раз поднимавшегося с зерном в гору и сорок раз свалившегося под гору? Ведь в сорок первый раз он втащил-таки свое зерно.

— Мне кажется, что вы меня не так поняли, Софья Игнатьевна, — заговорил Привалов. — Для осуществления моих планов нужен не один человек, не два, а сотни и тысячи людей... Я глубоко убежден в том, что эта тысяча явится и сделает то, чего мы с вами не успеем или не сумеем.

— Мы с вами?

— Отчего же вам не работать в том же направлении, но совершенно самостоятельно? Все средства в ваших руках.

— А сознание-то своей негодности, которое тянет, точно привязанная к ноге гиря?.. Нет, я сегодня положительно хандрю и, вероятно, успела вам надоесть с своим *я*.

При посредстве доктора между Зосей и Приваловым завязались полудружеские отношения. Привалов начинал ездить в коши все чаще и чаще; ему нравилось общество Зоси, которая держала себя просто и непринужденно, хотя иногда и капризничала по своему обыкновению. Одним из таких капризов Зоси было непременное желание познакомиться с попом Савелом, о котором она много слышала от Привалова. В одно прекрасное утро Привалов и поп Савел верхами приехали в коши, и Зося осталась в восторге от оригинального попа, который забавлял ее своим ядовитым, озлобленным умом. Странную картину представлял теперь кош Зоси, где на мягком бухарском ковре, поджав ноги, сидел поп Савел, а Зося учила его играть в домино.

— Что же, вы так и думаете пропадать в сельских попах? — спрашивала Зося своего оригинального гостя.

— Нет... Уйду в монахи!..

— Да-а... — задумчиво протянула Зося. — А пока вы еще не отрешились от нашего грешного мира, завертывайте ко мне вместе с Сергеем Александрычем.

XIII

Зося не обманывала Привалова: на нее действительно находили минуты тяжелого сплина, и она по целым часам оставалась неподвижной. Эти припадки тоски очень беспокоили доктора, но что он мог поделать против них?

Однажды, когда Зося в минуту сплина лежала бледная и равнодушная на своей постели, в кош стремглав вбежала Хиония Алексеевна.

— «Гордец» едет... «Гордец»!.. — кричала она, размахивая руками.

— Вероятно, вы ошиблись? — равнодушно спросила девушка.

— Уж извините... Да я «гордеца» за сто верст узнаю: точно вяленая рыба сидит на лошади, и ноги болтаются, как палки.

— Вы куда это, Хиония Алексеевна? — остановила Зося, когда Заплатина направилась к выходу.

— Как куда? Вы думаете, я останусь здесь, чтобы любоваться на вашего гордеца?.. Ну, уж извините, этого никогда не будет!.. Я бедная женщина, но я тоже имею свою гордость.

Через минуту в кош вошел Половодов. Он с минуту стоял в дверях, отыскивая глазами сидевшую неподвижно девушку, потом подошел к ней, молча поцеловал бледную руку и молча поставил перед ней на маленькую скамеечку большое яйцо из голубого атласа на серебряных ножках.

— Я не ожидал встретить вас такой печальной, Софья Игнатьевна, — проговорил он, опускаясь прямо на пол по-турецки. — Я пришел утешить вас... как ребенка, который обжег палец.

— Благодарю...

Зося подавила серебряную застежку и открыла яйцо: на дне, на белой атласной подушечке, спал, как

ребенок, крошечный медвежонок с черным пушистым рыльцем и немного оскаленными мелкими зубами. Девушка тихо вскрикнула от удивления и молча пожала руку Половодова, этого старого неизменного друга, который был всегда одинаков с нею. Его ухаживания не надоедали Зосе, потому что Половодов умел разнообразить свое поведение. Настоящий подарок был chef d'oeuvre'ом его изобретательного ума, и Зося понимала, что никто другой не придумал бы такого сюрприза. Половодов остался очень доволен впечатлением своего подарка, который он обдумывал в течение двух месяцев, когда сидел в Узловско-Моховском банке за кипами разных банковских дел.

— Вы, вероятно, приехали с новостями? — спрашивала Зося, вынимая медвежонка из яйца; он несколько раз сладко зевнул и лениво посмотрел кругом блестевшими синими глазками. — Ах, какой смешной бутуз!!.

Пока Зося дурачилась с медвежонком, который то лизал ей руки, то царапал толстыми лапами, Половодов успел выгрузить весь запас привезенных из Узла новостей, которых было очень немного, как всегда. Если зимой провинция скучает отчаянно, то летом она буквально задыхается от скуки.

— И только? — усталым голосом спрашивала Зося, когда Половодов кончил свое повествование.

— Нет, есть еще... — нерешительно проговорил Половодов. — Только вы сегодня, кажется, не в таком расположении духа, чтобы выслушать меня с надлежащим вниманием.

— Нет, я буду вас слушать, — с капризными нотками в голосе отозвалась Зося; она любила командовать над этим обожателем и часто с истинною женской жестокостью мучила его своими бесчисленными капризами.

— Послушайте, Софья Игнатьевна... — тихо заговорил Половодов, опуская голову. — Я буду говорить с вами как ваш старый, самый лучший друг.

— О нет, что хотите, только, пожалуйста, избавьте меня от вашего дружеского участия!.. — как-то застонала девушка.

— Вы не хотите меня понять, Софья Игнатьевна...

Зося молчала; она слышала, как Половодов нервно хрустнул своими пальцами, — это была одна из его мещанских привычек, о которой в минуту волнения он забывал.

— Вы знаете, Софья Игнатьевна, что я поклоняюсь женщине, — проговорил Половодов с теми задушевными нотками в голосе, какими он умел пользоваться в критическую минуту. — Это мой культ... Но я поклоняюсь женщине не за одну красоту, нет, этого еще мало, а главным образом за то, что женщина — великая сила!.. Посмотрите, каких мы глупостей ни наделаем для любимой женщины!.. Самые трезвые и черствые натуры теряют голову и удивляют мир своими юношескими увлечениями. Помните того французского адвоката, который в каждом процессе спрашивал: «Где женщина?» Ведь это великая истина, которая так же справедлива, как то, что мы все родимся от женщины. Если бы дело шло о сравнениях, я сравнил бы влияние женщины с той скрытой теплотой, которая, по учению физики, спаивает малейшие атомы материи и двигает мирами...

Зося молчала.

— Я знаю вас, Софья Игнатьевна, с детства, и вы знаете, что я с детства люблю вас, — глухо продолжал Половодов, еще ниже опуская свою голову. — Вы царапали меня, как котенок, но если бы вы били меня хлыстом, — я целовал бы ту руку, которая поднимала на меня хлыст. Для меня вы — идеал женской красоты... и, кроме того, вы очень умны... и энергичны. Конечно, всякий может увлекаться, всякий — неизбежная жертва ошибок, но когда почва уходит из-под ваших ног, когда все кругом начинает колебаться, человека спасает вера. Именно так я всегда веровал в вас.

— Вы делаете такое странное вступление, точно меня сейчас по меньшей мере повесят, — нетерпеливо проговорила она. — Не делайте из меня жертву ваших ораторских приемов...

— Хорошо, я постараюсь быть кратким, — сухо ответил Половодов, делая бесстрастное лицо. — Знаете ли вы, Софья Игнатьевна, что вы накануне разорения? Нет? И понятно, потому что этого не подозревает и

сам Игнатий Львович... Этот Пуцилло-Маляхинский так запутал все дела Игнатия Львовича...

— Какой Пуцилло-Маляхинский? Ах, да, я все забываю: Альфонс Богданыч... Так бы и говорили!

— В том-то и дело, что Альфонса Богданыча нет больше, а есть Пуцилло-Маляхинский, который, как мертвый гриб, вырос на развалинах вашего богатства. Я говорил с вашим новым управляющим и сам просматривал конторские отчеты и сметы: все дела запущены до безобразия, и в случае ликвидации дай бог свести концы с концами. Конечно, за Игнатия Львовича стоит его собственное имя, но вы представьте себе такой случай, что после первого параличного удара последует второй... В торговом мире богатство — это мыльный пузырь, который разлетается мгновенно радужными брызгами. Ведь разорился же старик Бахарев, разорились многие другие от самых ничтожных причин...

— Все это хорошо и очень убедительно, но я не понимаю одного: при чем тут именно я?

— Позвольте... Вы ведь знаете про приваловскую опеку и слышали, что Nicolas начал в Петербурге против нас, опекунов, процесс? Хорошо. Дело это крайне запутанное, так что мы останемся в ответе за все упущения, которые были наделаны по опеке в течение двадцати лет. У нас была надежда... но она лопнула. Теперь предстоит скандальный процесс, который может кончиться обвинением в мошенничестве, то есть ссылкой не в столь отдаленные места Сибири. Подумайте, как будет ваш полубольной отец фигурировать на скамье подсудимых... Ему не перенести такого позора, и если он не умрет до суда, то умрет во время самого суда.

— Следовательно, вы думаете, что какими-то путями я могу спасти вас?

— О нет... тысячу раз нет, Софья Игнатьевна!.. — горячо заговорил Половодов. — Я говорю о вашем отце, а не о себе... Я не лев, а вы не мышь, которая будет разгрызать опутавшую льва сеть. Дело идет о вашем отце и о вас, а я остаюсь в стороне. Вы любите отца, а он, по старческому упрямству, всех тащит в пропасть

вместе с собой. Еще раз повторяю, я не думаю о себе, но от вас вполне зависит спасти вашего отца и себя...

— Именно? — как-то равнодушно проговорила Зося.

— Гм... — замялся немного Половодов, потом нетвердым голосом проговорил: — Выходите за этого Привалова...

Зося несколько мгновений молчала, а потом, взглянув в глаза Половодову, тихо проговорила:

— А если я... люблю *этого* Привалова, которого вы считаете дураком?

— Тем лучше для вас... — машинально ответил Половодов, не веря собственным ушам.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Старый приваловский дом в Узле переделывался заново. Поправляли обвалившуюся штукатурку, красили крышу, вставляли новые рамы в окнах, отовсюду убирали завалявшийся старый хлам, даже не оставили в покое дедовского са́да, в котором производилась самая энергичная реставрация развалившихся беседок, киосков, мостиков и запущенных аллей. Внутри дома стоял дым коромыслом: перестилали полы, меняли паркет, подновляли живопись на потолках и стенах, оклеивали стены новыми обоями... Сотни рабочих с утра до ночи суетились по дому, как муравьи, наполняя старые приваловские стены веселым трудовым шумом. Были выписаны мастера-специалисты из Петербурга и Варшавы; оттуда же партиями получалась дорогая мебель, обои, драпировки, ковры, бронза, экипажи и тысячи других предметов, необходимых в обиходе богатого барского дома. Работа шла с лихорадочной поспешностью, чтобы все окончить к октябрю, когда Ляховские вернутся из своего башкирского имения.

Читатель, конечно, уже догадался, что вся эта перестройка делалась по случаю выхода замуж Зоси за Привалова. Да, эта свадьба была злобой дня в Узле, и

все о ней говорили как о выдающемся явлении. Сам Привалов появлялся в Узле только наездом, чтобы проверить работы и поторопить подрядчиков, а затем снова исчезал. Все планы и рисунки, по которым производились работы, представлялись на рассмотрение Зоси; она внимательно разбирала их и в трудных случаях советовалась с Хионией Алексеевной или Половодовым, который теперь был своим человеком у Ляховских. Привалов сначала сильно косился на него, но Зося ничего не хотела слышать о каких-нибудь уступках, и Привалову ничего не оставалось, как только покориться. Впрочем, Половодов и сам, сознавая свое фальшивое положение, старался по возможности совсем не встречаться с Приваловым. Зося от души смеялась над этой взаимной ненавистью и уверяла Привалова, что он полюбит несравненного Александра Павлыча, когда ближе познакомится с его редкими качествами.

— Я не понимаю, Зося, что у тебя за пристрастие к этому... невозможному человеку, чтобы не сказать больше, — говорил иногда Привалов, пользуясь подвернувшейся минутой раздумья. — Это какая-то болезнь...

— Ах, боже мой! Как ты не можешь понять такой простой вещи! Александр Павлыч такой забавный, а я люблю все смешное, — беззаботно отвечала Зося. — Вот и Хину люблю тоже за это... Ну, что может быть забавнее, когда их сведешь вместе?.. Впрочем, если ты ревнуешь меня к Половодову, то я тебе сказала раз и навсегда...

— Не буду, ничего не буду говорить, делай как хочешь, я знаю только то, что люблю тебя.

— Пока это не особенно заметно... Ты, повидимому, больше занят своим, а не моим счастьем, и если что делаешь якобы для меня, все это в сущности приятно больше тебе. Ведь ты порядочный эгоист, если разобрать, потому что не хочешь никак помириться даже с такими моими капризами, как Хина или Александр Павлыч... Я очень немного требую от тебя: не трогай только моих друзей, которые все наперечет: кречет

Салават, медвежонок Шайтан, Тэке и Батырь и, наконец, Хина с Александром Павлычем... Кажется, с этим можно было бы помириться?

Эти маленькие семейные сцены выкупались вполне счастливыми минутами, когда Зося являлась совсем в другом свете. Привалов был глубоко убежден, что он шаг за шагом переработает ее. Прежде всего, во что бы то ни стало, нужно изолировать ее от влияния таких сомнительных личностей, как Половодов, Хина, «Моисей» и т. д. Что это возможно, — ручательством служило собственное сознание Зоси, когда на нее находили минуты раскаяния. Доктор был того же мнения; все то, что было неприятного и резкого в Зосе-девушке, должно исчезнуть в Зосе-женщине. Ведь это такая податливая натура, с такими хорошими задатками! Как, например, горячо отнеслась Зося к приваловской мельнице, потом сама предполагала открыть несколько профессиональных школ и т. д. В ней постоянно сказывалась практическая отцовская жилка, и Привалов часто советовался с ней в трудных случаях.

— Я радуюсь только одному, — со слезами на глазах говорил Привалову доктор, когда узнал о его свадьбе, — именно, что выбор Зоси пал на вас... Лучшего для нее я ничего не желаю; под вашим влиянием совсем сгладятся ее недостатки. Я в этом глубоко убежден, Сергей Александрыч...

Доктор считал Привалова немного бесхарактерным человеком, но этот его недостаток, в его глазах, выкупался его искренней, гуманной и глубоко честной натурой. Именно такой человек и нужен был Зосе, чтобы уравновесить резкости ее характера, природную злость и наклонность к самовольству. Сама Зося говорила доктору в припадке откровенности то же самое, каялась в своих недостатках и уверяла, что исправится, сделавшись m-me Приваловой.

Ляховский встретил известие о выходе Зоси замуж за Привалова с поразившим всех спокойствием, даже больше, почти совсем безучастно. Старик только что успел оправиться от своей болезни и бродил по водам при помощи костылей; болезнь сильно повлияла на его

душевный склад и точно придавила в нем прежнюю энергию духа. Одним словом, в прежнем Ляховском чего-то недоставало.

— Так ты решила выйти за Привалова? — в раздумье спрашивал старик, не глядя на дочь.

— Да, папа.

— Что же, он очень хороший человек?

— Кажется... Мне кажется странным такой вопрос, папа, ведь ты знаешь Сергея Александрыча не меньше моего!

— А что доктор говорит?

— Право, папа, ты сегодня предлагаешь такие странные вопросы; доктор, конечно, хороший человек, я его всегда уважала, но в таком вопросе он является все-таки чужим человеком... О таких вещах, папа, с посторонними как-то не принято советоваться.

— Твоя правда, твоя правда, Зося... У меня, знаешь, в голове что-то еще не совсем... сам чувствую, что недостает какого-то винтика.

— Если ты хочешь знать, доктор отнесся к моему выбору с большим сочувствием. Он даже заплакал от радости...

— Доктор заплакал? — задумчиво спрашивал Ляховский, как-то равнодушно глядя на дочь. — Да, да... Он всегда тебя любил... очень любил.

К Привалову старик отнесся с какой-то скрытой иронией, почти враждебно, хотя прослезился и поцеловал его.

— Знаете ли, Сергей Александрыч, что вы у меня разом берете все? Нет, гораздо больше, последнее, — как-то печально бормотал Ляховский, сидя в кресле. — Если бы мне сказали об этом месяц назад, я ни за что не поверил бы. Извините за откровенность, но такая комбинация как-то совсем не входила в мои расчеты. Нужно быть отцом, и таким отцом, каким был для Зоси я, чтобы понять мой, может быть, несколько странный тон с вами... Да, да. Скажите только одно: действительно ли вы любите мою Зосю?

— Да, Игнатий Львович...

— Ах, да, конечно! Разве ее можно не любить? Я хотел совсем другое сказать: надеетесь ли вы... обду-

мали ли вы основательно, что сделаете ее счастливой и сами будете счастливы с ней. Конечно, всякий брак — лотерея, но иногда полезно воздержаться от риска... Я верю вам, то есть хочу верить и, простите отцу... не могу! Это выше моих сил... Вы говорили с доктором? Да, да. Он одобряет выбор Зоси, потому что любит вас. Я тоже люблю доктора...

Разобраться в этом странном наборе фраз было крайне трудно, и Привалов чувствовал себя очень тяжело, если бы доктор не облегчал эту трудную задачу своим участием. Какой это был замечательно хороший человек! С каким ангельским терпением выслушивал он влюбленный бред Привалова. Это был настоящий друг, который являлся лучшим посредником во всех недоразумениях и маленьких размолвках.

— Если бы не доктор, мы давно рассорились бы с тобой, — говорила Привалову Зося. — И прескучная, должно быть, эта милая обязанность улаживать в качестве друга дома разные семейные дрязги!..

Молодые люди шутили и смеялись, а доктор улыбался своей докторской улыбкой и нервно потирал руки. В последнее время он часто начинал жаловаться на головные боли и запирался в своем номере по целым дням.

Пани Марина и Давид отнеслись к решению Зоси с тем родственным участием, которое отлично скрывает истинный ход мыслей и чувств. По крайней мере Привалов гораздо лучше чувствовал себя в обществе Игнатия Львовича, чем в гостиной пани Марины. Что касается Давида, то он был слишком занят своими собственными делами. В течение последней зимы он особенно близко сошелся с Половодовым и, как ходила молва, проигрывал по различным игорным притонам крупные куши. На Лалетинских водах быстро образовался свой карточный кружок, где Давид под руководством Александра Павлыча проводил время очень весело, как и следует представителю настоящей jeunesse dorée.

Всех довольнее предстоящей свадьбой, конечно, была Хиония Алексеевна. Она по нескольку раз в день принималась плакать от радости и всех уверяла, что

давно не только все предвидела, но даже предчувствовала. Ведь Сергей Александрыч такой прекрасный молодой человек и такой богатый, а Зося такая удивительная красавица — одним словом, не оставалось никакого сомнения, что эти молодые люди предусмотрительной природой специально были созданы друг для друга.

— Я всегда верила в провидение! — патетически восклицала Хиония Алексеевна, воздевая руки кверху. — Когда Сергей Александрыч только что приехал в Узел, я прямо подумала: вот жених Зосе...

Для Привалова его настоящее превращалось в какой-то волшебный сон, полный сладких грез и застилавшего глаза тумана. Сквозь всю окружавшую его суету и мелькавшие кругом его лица он видел только одну Зосю, эту маленькую царицу, дарившую его бесконечным счастьем. Иногда он со страхом смотрел в темные глаза любимой девушке, точно стараясь разгадать по ним будущее... Зося, конечно, любила его. Он это видел, чувствовал. Но она любила совсем не так, как любят другие женщины: в ее чувстве не было и тени самопожертвования, желания отдать себя в чужие руки, — нет, это была гордая любовь, одним взглядом покорявшая все кругом. Зося была всегда одинакова и всегда оставалась маленькой царицей, которая требовала поклонения. В самых ласках и словах любви у нее звучала гордая нотка; в сдержанности, с какой она позволяла ласкать себя, чувствовалось что-то совершенно особенное, чем Зося отличалась от всех других женщин.

Иногда Привалов начинал сомневаться в своем счастье и даже точно пугался его. Оно было так необъятно, такой властной силой окрыляло его душу, точно поднимало над землей, где недоставало воздуху и делалось тесно. Как он раньше мог жить, не чувствуя ничего подобного? Но это нищенское существование кончилось, и впереди бесконечной перспективой расстилалась розовая даль, кружившая голову своей необъятностью. Неужели эта маленькая гордая головка думала о нем, о Привалове? А эти чудные глаза, которые

смотрели прямо в душу... Нет, он был слишком счастлив, чтобы анализировать настоящее, и принимал его как совершившийся факт, как первую страничку открывшейся перед ним книги любви.

II

Когда Нагибин привез из города известие, что и дом и все в доме готово, в Гарчиках, в деревенской церкви, совершился самый скромный обряд венчания. Свидетелями были доктор, Нагибин и Телкин; со стороны невесты провожала всего одна Хиония Алексеевна. Зося была спокойна, хотя и бледнее обыкновенного; Привалов испытывал самое подавленное состояние духа. Он никогда не чувствовал себя так далеко от своей Зоси, как в тот момент, когда она пред священником подтверждала свою любовь к нему. «Она такая красавица... Она не может меня любить», — с тоской думал он, держа в своей руке ее холодную маленькую руку. Прямо из церкви молодые отправились в Узел, где их ожидала на первый раз скромная семейная встреча: сам Ляховский, пани Марина и т. д. Старик расчувствовался и жалко заморгал глазами, когда начал благословлять дочь; пани Марина выдержала характер и осталась прежней королевой. Из посторонних на последовавшем затем ужине присутствовали только такие близкие люди, как Половодов, Виктор Васильич и Хиония Алексеевна. В десять часов вечера все разъехались по домам.

Половодов вернулся домой в десять часов вечера, и, когда раздевался в передней, Семен подал ему полученную без него телеграмму. Пробежав несколько строк, Половодов глухо застонал и бросился в ближайшее кресло: полученное известие поразило его, как удар грома, и он несколько минут сидел в своем кресле с закрытыми глазами, как ошеломленная птица. Телеграмма была от Оскара Филипыча, который извещал, что их дело выиграно и что Веревкин остался с носом.

«Несколькими часами раньше получить бы эту телеграмму, — и тогда *этого* ничего бы не было...» — стонал Половодов, хватаясь за голову.

В голове у него все кружилось; кровь прилила к сердцу, и он чувствовал, что начинает сходить с ума. Эти стены давили его, в глазах пестрели красные и синие петухи, глухое бешенство заставляло скрежетать зубами. Он плохо помнил, как выскочил на улицу, схватил первого попавшегося извозчика и велел ехать в Нагорную улицу. От клуба он пошел к приваловскому дому пешком; падал мягкий пушистый снег, скрадывавший шум шагов. Половодов чувствовал, как тяжело билось его сердце в груди. Вот и площадь, на которую выходил дом своим фасадом; огни были погашены, и дом выделялся темной глыбой при мигавшем пламени уличных фонарей.

— О, дурак, дурак... дурак!.. — стонал Половодов, бродя, как волк, под окнами приваловского дома. — Если бы двумя часами раньше получить телеграмму, тогда можно было расстроить эту дурацкую свадьбу, которую я сам создавал, своими собственными руками. О, дурак, дурак, дурак!..

В груди у Половодова точно что жгло, язык пересох, снег попадал ему за раскрытый воротник шубы, но он ничего не чувствовал, кроме глухого отчаяния, которое придавило его как камень. Вот на каланче пробило двенадцать часов... Нужно было куда-нибудь идти; но куда?.. К своему очагу, в «Магнит»? Пошатываясь, Половодов, как пьяный, побрел вниз по Нагорной улице. Огни в домах везде были потушены; глухая осенняя ночь точно проглотила весь город. Только в одном месте светил огонек... Половодов узнал дом Заплатиной.

В разгоряченном мозгу Половодова мелькнула взбалмошная мысль, и он решительно позвонил у подъезда заплатинского дома. Виктор Николаич был уже в постели и готовился засыпать, перебирая в уме последние политические известия; полураздетая Хиония Алексеевна сидела одна в столовой и потягивала херес.

— Кого там принесло? — сердито заворчала она, когда раздался звонок. — Матрешка, не принимай...

Здесь не родильный дом, чтобы врываться во всякое время дня и ночи...

Матрешка отправилась в переднюю и вернулась с визитной карточкой. Хина пробежала фамилию Половодова и остолбенела.

— Они пешком, надо полагать, пришли... — шепотом докладывала Матрешка, вытирая нос кулаком.

— Проведи в гостиную и попроси подождать, — сказала Хина, стараясь перед зеркалом принять более человеческий вид.

Конечно, в голове Хины сразу блеснула мысль, что, вероятно, случилось что-нибудь неладное. Она величественно вошла в гостиную и в вопросительной позе остановилась перед гостем, который торопливо поднялся к ней навстречу.

— Извините, если я потревожил вас, Хиония Алексеевна, — извинился он, глядя на хозяйку какими-то мутными глазами. — Я час назад получил очень важную телеграмму... чрезвычайно важную, Хиония Алексеевна! Если бы вы взялись передать ее Софье Игнатьевне.

— С удовольствием...

— Нужно передать немедленно... сейчас...

— Вы с ума сошли, Александр Павлыч?!.

— Хиония Алексеевна... ради бога... Хотите, я вас на коленях буду просить об этом!

— Садитесь, пожалуйста... — пригласила Хина своего гостя, который бессильно опустился в кресло около стола.

— Каждая минута дорога... каждое мгновение!.. — задыхавшимся шепотом говорил Половодов, ломая руки.

— Я удивляюсь вам, Александр Павлыч... Если бы вы мне предложили горы золота, и тогда ваша просьба осталась бы неисполненной. Существуют такие моменты, когда чужой дом — святыня, и никто не имеет права нарушать его священного покоя.

Слова Хины резали сердце Половодова ножом, и он тяжело стиснул зубы. У него мелькнула даже мысль — бежать сейчас же и запалить эту «святыню» с четырех концов.

— Воды я могу у вас попросить? — спросил он после долгой паузы.

— Не хотите. ли вина? — предложила Заплатина; «гордец» был так жалок в настоящую минуту, что в ее сердце шевельнулось что-то вроде сострадания к нему.

— Вина!.. — повторил Половодов, не понимая вопроса. — Ах, да. Пожалуй, если это не затруднит вас.

— Нет... вы слишком взволнованы, а вино успокаивает.

Через пять минут на столе стояла свежая бутылка хереса, и Половодов как-то машинально проглотил первую рюмку.

— У вас отличное вино... — проговорил он, пережевывая губами. — Да, очень хорошее.

— Так себе... — скромничала Хина, наливая рюмку себе.

Несколько минут в гостиной Хионии Алексеевны стояло тяжелое молчание. Половодов пил вино рюмку за рюмкой и заметно хмелел; на щеках у него выступили красные пятна.

— Так, по-вашему, все кончено? — как-то глухо проговорил он, поднимая свои бесцветные глаза на хозяйку.

— Все кончено...

— А вы знаете, о чем я говорю?

— Да. Если бы вы получили вашу телеграмму несколькими часами раньше, тогда... иногда невестам делается дурно перед самым венцом, и свадьба откладывается и даже может совсем расстроиться.

— Но кто бы мог подозревать такой оборот дела? — говорил Половодов с Хиной как о деле хорошо ей известном. — А теперь... Послушайте, Хиония Алексеевна, скажите мне ради бога только одно... Вы опытная женщина... да... Любит Зося Привалова или нет?

— Смешно спрашивать об этом, Александр Павлыч... Разве кто-нибудь принуждал Софью Игнатьевну выходить непременно за Привалова?

— Предположим, что существовали некоторые обстоятельства, которые могли повлиять на решение девушки именно в пользу Привалова...

— Вам ближе знать эти обстоятельства; дела Игнатия Львовича расстроены, а тут еще этот процесс по

опеке... Понятно, что Софье Игнатьевне ничего не оставалось, как только выйти за Привалова и этим спасти отца.

— Значит, вы все знаете?..

— Почти... думаю, что вы получили телеграмму из Петербурга о том, что Веревкин проиграл процесс.

Половодов несколько времени удивленными глазами смотрел на свою собеседницу и потом задумчиво проговорил:

— Вы замечательно умная женщина... Мы, вероятно, еще пригодимся друг другу.

III

Дела на приисках у старика Бахарева поправились с той быстротой, какая возможна только в золотопромышленном деле. В течение весны и лета он заработал крупную деньгу, и его фонды в Узле поднялись на прежнюю высоту. Сделанные за последнее время долги были уплачены, заложенные вещи выкуплены, и прежнее довольство вернулось в старый бахаревский дом, который опять весело и довольно глядел на Нагорную улицу своими светлыми окнами.

Прошедшую весну и лето в доме жили собственно только Марья Степановна и Верочка, а «Моисей», по своему обыкновению, появлялся, как комета. С приливом богатства по дому опять покатился беззаботный смех Верочки и ее веселая суетня; Марья Степановна сильно изменилась, похудела и сделалась еще строже и неприступнее. Это был тип старой раскольницы, которая знать ничего не хотела, кроме раз сложившихся убеждений и взглядов. Бегство старшей дочери из дому только укрепило ее в сознании правоты старозаветных приваловских и гуляевских идеалов, выше которых для нее ничего не было. Она осталась спокойной по отношению к поведению дочери, потому что вся вина падала на голову Василия Назарыча как главного устроителя всяких новшеств в доме, своими руками погубившего родную дочь. Поведение Нади было наказанием свыше, пред которым оставалось только преклониться.

Имя Надежды Васильевны больше не произносилось в бахаревском доме, точно оно могло внести с собой какую-то заразу. Она была навсегда исключена из списка живых людей. Только в моленной, когда Досифея откладывала свои поклоны на разноцветный подручник, она молилась и за рабу божию Надежду; в молитвах Марьи Степановны имя дочери было подведено под рубрику «недугующих, страждущих, плененных и в отсутствии сущих отец и братий наших». Это была холодная раскольничья молитва, вся пропитанная эгоизмом и лицемерием и ради своей формы потерявшая всю теплоту содержания. Летом были получены два письма от Надежды Васильевны, но не распечатанными попали прямо в печь, и Марья Степановна благочестиво обкурила своей кацеей даже стол, на котором они лежали. Досифея про себя потихоньку жалела барышню, которую нянчила и пестовала, но открыто заявить свое сочувствие к ней она не смела. Верочка относилась к сестре как-то безучастно, что было совсем уж неестественно для такой молодой девушки. Впрочем, она только повторяла то, что делала мать.

Только один человек во всем доме вполне искренно и горячо оплакивал барышню — это был, конечно, старый Лука, который в своей каморке не раз всплакнул потихоньку от всех. «Ну, такие ее счастки, — утешал самого себя старик, размышляя о мудреной судьбе старшей барышни, — от своей судьбы не уйдешь... Не-ет!.. Она тебя везде сыщет и придавит ногой, ежели тебе такой предел положон!»

Известие о женитьбе Привалова было принято в бахаревском доме с большой холодностью. Когда сам Привалов явился с визитом к Марье Степановне, она не вытерпела и проговорила:

— На бусурманке женишься?

— Нет, не на бусурманке, Марья Степановна, — отвечал Привалов. — Моя невеста католичка...

— Ну, это, по-нашему, все одно... И сам в латынской закон уйдешь.

Марья Степановна равнодушно выслушала объяснения Привалова о свободе совести и общей веро-

терпимости; она все время смотрела на него долгим испытующим взглядом и, когда он кончил, прибавила:

— А ты подумал ли о том, Сереженька, что дом-то, в котором будешь жить с своей бусурманкой, построен Павлом Михайлычем?.. Ведь у старика все косточки перевернутся в могилке, когда твоя-то бусурманка в его дому свою веру будет справлять. Не для этого он строил дом-то! Ох-хо-хо... Разве не стало тебе других невест?..

— Марья Степановна, вы, вероятно, слыхали, как в этом доме жил мой отец, сколько там было пролито напрасно человеческой крови, сколько сделано подлостей. В этом же доме убили мою мать, которую не спасла и старая вера.

— А ты не суди отца-то. Не нашего ума это дело...

— Однако вы судите вперед мою невесту, которая еще никому не сделала никакого зла.

— Не сделала, так сделает... Погоди еще!.. Ох, не ладно ты, Сереженька, удумал, не в добрый час начал.

Василию Назарычу ничего не писали о женитьбе Привалова. Он приехал домой только по первому зимнему пути, в половине ноября, приехал свежим, здоровым стариком, точно стряхнул с себя все старческие недуги. Лука не выдержал и горько заплакал, когда увидал старого барина.

— О чем ты плачешь, старина? — спрашивал Василий Назарыч, предчувствуя что-то недоброе.

— От радости, Василий Назарыч, от радости... — шептал Лука, вытирая лицо рукавом, — заждались мы вас здесь...

— Ну, а еще о чем плачешь?

Лука оглянулся кругом и прошептал:

— Сереженька-то женился, Василий Назарыч...

— Как женился?! На ком?

— А так. Обошли его, обманули!.. По ихнему доброму характеру эту проклятую польку и подсунули — ну, Сереженька и женился. Я так полагаю — приворожила она его, сударь... Сам приезжал сюда объявляться Марье Степановне, ну, а они его учали маненько корить — куды, сейчас на дыбы, и прочее. С месяц, как

свадьбу сыграли. Дом-то старый заново отстроили, только, болтают, неладно у них с первого дня пошло.

— Как неладно?

— А так, как обнаковенно по семейному делу случается: он в одну сторону тянет, а она в другую... Ну, вздорят промежду себя, а потом Сереженька же у нее и прощения просят... Да-с. Уж такой грех, сударь, вышел, такой грех!..

Это известие отравило Бахареву радость возвращения на родное пепелище. Собственный дом показался ему пустым; в нем не было прежней теплоты, на каждом шагу чувствовалось отсутствие горячо любимого человека. На приисках тоска по дочери уравновешивалась усиленной деятельностью, а здесь, в родном гнезде, старика разом охватила самая тяжелая пустота. Приваловская женитьба была лишней каплей горечи. Имена Нади и Сережи за последний год как-то все время для старика стояли рядом, его старое сердце одинаково болело за обоих. Теперь он не знал, о ком больше сокрушаться, о потерянной навсегда дочери или о Привалове.

Напрасно старик искал утешения в сближении с женой и Верочкой. Он горячо любил их, готов был отдать за них все, но они не могли ему заменить одну Надю. Он слишком любил ее, слишком сжился с ней, прирос к ней всеми старческими чувствами, как старый пень, который пускает молодые побеги и этим протестует против медленного разложения. С кем он теперь поговорит по душе? С кем посоветуется, когда взгрустнется?..

Даже богатство, которое прилило широкой волной, как-то не радовало старика Бахарева, и в его голове часто вставал вопрос: «Для кого и для чего это богатство?» Оно явилось, точно насмешка над упадавшими силами старика, напрасно искавшего вокруг себя опоры и поддержки. Оставаясь один в своем кабинете, Василий Назарыч невольно каждый раз припоминал, как его Надя ползала на коленях перед ним и как он оттолкнул ее. Разве он мог сделать иначе?.. Он был отец, и он первый занес карающую руку на преступную дочь... Иногда в его душе возникало сомнение: спра-

ведливо ли он поступил с дочерью? Но все, казалось, было за него, он не находил себе обвинения в жестокости или неправде. Тысячу раз перебирал старик в своей памяти все обстоятельства этого страшного для него дела и каждый раз видел только то, что одна его Надя виновата во всем. Голос сомнения и жалости к дочери замирал под тяжестью обвинения.

Раз Василий Назарыч стоял в моленной. Большие восковые свечи горели тусклым красным пламенем; волны густого дыма от ладана застилали глаза; монотонное чтение раскольничьего кануна нагоняло тяжелую дремоту. Старинные гуляевские и приваловские образа смотрели из киотов как-то особенно строго. Старика точно кольнуло что, и он быстро оглянулся в тот угол, где обыкновенно стояла его Надя... Угол был пуст. Страшная, смертная тоска охватила Василия Назарыча, и он, как сноп, с рыданиями повалился на землю. В его груди точно что-то растаяло, и ему с болезненной яркостью представилась мысль: вот он, старик, доживает последние годы, не сегодня-завтра наступит последний расчет с жизнью, а он накануне своих дней оттолкнул родную дочь, вместо того чтобы простить ее. «Папа, папа... я никому не сделала зла!» — слышал старик последний крик дочери, которая билась у его ног, как смертельно раненная птица.

IV

Медовый месяц для молодой четы Приваловых миновал, оставив на горизонте ряд тех грозовых облачков, без которых едва ли складывается хоть одно семейное счастье.

Жизнь в обновленном приваловском доме катилась порывистой бурной струей, шаг за шагом обнажая для Привалова то многое, чего он раньше не замечал. Собственно, дом был разделен на две половины: Ляховские остались в своем старом помещении, а Приваловы заняли новое. Только парадные комнаты и передняя были общими. Для двух семей комнат было даже слишком много. На первый раз для Привалова с особенной

рельефностью выступили два обстоятельства: он надеялся, что шумная жизнь с вечерами, торжественными обедами и парадными завтраками кончится вместе с медовым месяцем, в течение которого в его доме веселился весь Узел, а затем, что он заживет тихой семейной жизнью, о какой мечтал вместе с Зосей еще так недавно. Но вышло совсем наоборот: медовый месяц прошел, а шумная жизнь продолжалась попрежнему. Гости не выходили из дому, и каждый день придумывалось какое-нибудь новое развлечение, так что в конце концов Привалов почувствовал себя в своем собственном доме тоже гостем, даже немного меньше — посторонним человеком, который попал в эту веселую компанию совершенно случайно. Такая жизнь никогда не входила в его расчеты, и его не раз охватывал какой-то страх за будущее.

Зося, конечно, угадывала истинный ход мыслей мужа, но делала вид, что ничего не замечает. Когда Привалов начинал говорить с ней серьезно на эту тему, Зося только пожимала плечами и удивлялась, точно она выслушивала бред сумасшедшего. В самом деле, чего он хочет от нее?.. Таким образом между молодыми супругами легла первая тень. Та общая нить, которая связывает людей, порвалась сама собой, порвалась прежде, чем успела окрепнуть, и Привалов со страхом смотрел на ту цыганскую жизнь, которая царила в его доме, с каждым днем отделяя от него жену все дальше и дальше. Он только мог удивляться тем открытиям, какие делал ежедневно: то, что он считал случайными чертами в характере Зоси, оказывалось его основанием; где он надеялся повлиять на жену, получались мелкие семейные сцены, слезы и т. д. Все это выходило как-то обидно и глупо, глупо до боли. Для кого же Зося мучила Привалова и для чего? Он в этом случае не понимал жены и просто терялся в объяснениях... Из новых знакомых, которые бывали у Приваловых, прибыло очень немного: два-три горных инженера, молодой адвокат — восходящее светило в деловом мире — и еще несколько человек разночинцев. Прежние знакомые Зоси остались все те же и только с половины Ляховского перекочевали на половину Привалова; Полово-

дов, «Моисей», Лепешкин, Иван Яковлич чувствовали себя под гостеприимной приваловской кровлей как дома. Они ни в чем не стесняли себя и, как казалось Привалову, к нему лично относились с вежливой иронией настоящих светских людей.

Все эти гости были самым больным местом в душе Привалова, и он никак не мог понять, что интересного могла находить Зося в обществе этой гуляющей братии. Раз, когда Привалов зашел в гостиную Зоси, он сделался невольным свидетелем такой картины: «Моисей» стоял в переднем углу и, закрывшись ковром, изображал архиерея, Лепешкин служил за протодьякона, а Половодов, Давид, Иван Яковлич и горные инженеры представляли собой клир. Сама Зося хохотала как сумасшедшая.

— Это кощунство, Зося... — заметил Привалов, которого эта картина покоробила.

— Нет, это просто смешно!

— Не понимаю!..

— Как всегда!

Если выпадала свободная минута от гостей, Зося проводила ее около лошадей или со своими ястребами и кречетами. Полуго́довой медведь Шайтан жил в комнатах и служил божеским наказанием для всего дома: он грыз и рвал все, что только попадалось ему под руку, бил собак, производил неожиданные ночные экскурсии по кладовым и чердакам и кончил тем, что бросился на проходившую по улице девочку-торговку и чуть-чуть не задавил ее. Но чем больше проказил Шайтан, тем сильнее привязывалась к нему Зося. Она точно не могла жить без него и даже клала его на ночь в свою спальню, где он грыз сапоги, рвал платье и вообще показывал целый ряд самых артистических штук. Только когда Привалов, выведенный из терпения, пообещал отравить Шайтана стрихнином, Зося решилась, наконец, расстаться со своим любимцем, то есть для него была устроена в саду круглая яма, выложенная кирпичом, и Зося ежедневно посылала ему туда живых зайцев, кроликов и щенков. Ей доставляла удовольствие эта травля, хотя это удовольствие однажды едва не кончилось очень трагически: пьяный «Моисей» полетел

в яму к медведю, и только кучер Илья спас его от очень печальной участи. Лошади, кречеты и медвежонок отнимали у Зоси остатки свободного дня, так что с мужем она виделась только вечером, усталая и капризная. Протесты Привалова против такого образа жизни принимались за личное оскорбление; после двух-трех неудачных попыток в этом роде Привалов совсем отказался от них. Часто он старался обвинить самого себя в неумении отвлечь Зосю от ее друзей и постепенно создать около нее совершенно другую жизнь, других людей и, главное, другие развлечения. Оставалась одна надежда на время... Может быть, Зосе надоест эта пустая жизнь, когда с ней произойдет какой-нибудь нравственный кризис.

— Есть еще одна надежда, Сергей Александрыч, — говорил доктор, который, как казалось Привалову, тоже держался от него немного дальше, чем это было до его женитьбы.

— Именно?

— Как у всякой замужней женщины, у Софьи Игнатьевны могут быть дети, тогда...

Положение Привалова с часу на час делалось все труднее. Он боялся сделаться пристрастным даже к доктору. Собственное душевное настроение слишком было напряжено, так что к действительности начали примешиваться призраки фантазии, и расстроенное воображение рисовало одну картину за другой. Привалов даже избегал мысли о том, что Зося могла не любить его совсем, а также и он ее. Для него ясно было только то, что он не нашел в своей семейной жизни своих самых задушевных идеалов.

Скоро обнаружилась еще одна горькая истина. Именно, Привалов не мог не заметить, что все в доме были против него. Это было слишком очевидно. И если Привалов еще мог, в счастливом случае, как-нибудь изолировать свою семейную жизнь от внешних влияний, то против внутреннего, органического зла он был решительно бессилен. Что он мог сделать, когда каждый шаг Зоси в глазах Игнатия Львовича и пани Марины не подлежал даже критике? Раз что-нибудь сделала Зося — все было хорошо. Разве была такая вещь, ко-

торой нельзя было бы позволить и извинить такой молоденькой и красивой женщине? Все удивлялись странному поведению Привалова, который просто придирался к Зосе с самыми глупейшими пустяками.

— Если вы не исправитесь, я не отвечаю ни за что! — говорил Ляховский своему зятю. — Вы не цените сокровище, какое попало в ваши руки... Да!.. Я не хочу сказать этим, что вы дурной человек, но ради бога никогда не забывайте, что ваша жена, как всякое редкое растение, не перенесет никакого насилия над собой.

— Я, кажется, делаю, Игнатий Львович, решительно все, что зависит от меня, — пробовал оправдываться Привалов.

— Нет, нет и нет!.. Вы не хотите всмотреться в характер Зоси, не хотите его изучить во всех тонкостях, как обязан сделать каждый муж, который дорожит своим семейным счастьем. Зося подарила вас своей молодостью, своей красотой, — остальное все на вашей совести. Вы настолько эгоистичны, что не можете примириться даже с теми детскими прихотями, на какие имеет полное право всякая молоденькая женщина, особенно такая красавица, как Зося. Поверьте моей опытности и постарайтесь воспользоваться моими советами... Я говорю с вами как отец и как человек.

Выход из этого двусмысленного положения был один: вырвать Зосю из-под влияния родной семьи, другими словами, выгнать Ляховских из своего дома. Но это было невозможно. Враждебный лагерь смыкался около Привалова все теснее и теснее. Зося скоро сама поддалась общему течению и стала относиться к мужу в общем враждебном тоне. Ей как-то все стало не нравиться в Привалове: сапоги у него скрипели; когда он ел, у него так некрасиво поднимались скулы; он не умел поддержать разговора за столом и т. д. Но больше всего Зосе не нравилось в муже то, что он положительно не умел себя держать в обществе — не в меру дичился незнакомых, или старался быть развязным, что выходило натянуто, или просто молчал самым глупейшим образом.

— Понимаете, Сергей Александрыч, вы делаете смешным и себя и меня, — упрекала его Зося.

— Да что же мне делать, Зося? Для чего вся эта комедия, когда я даже совсем не желаю видеть этих людей.

— А... так вы вот как!.. Вы, вероятно, хотите замуровать меня в четыре стены, как это устраивали с своими женами ваши милые предки? Только вы забыли одно: я не русская баба, которая, как собака, будет все переносить от мужа...

— Зося, опомнись ради бога, что ты говоришь... Неужели я так похож на своих предков?.. Нужно же иметь капельку справедливости...

— Значит, я несправедлива к вам?

Хиония Алексеевна быстро освоилась в новой своей роли и многое успела забрать в свои цепкие руки. Между прочим, когда все в доме были против Привалова, она не замедлила примкнуть к сильнейшей партии и сейчас же присоединила свой голос к общему хору. Она не упускала удобного случая, чтобы поставить Привалова в какое-нибудь неловкое положение, зло подшутить над ним и при случае даже запустить шпильку в больное место. Все это проделывалось с целью попасть в общий тон и угодить Зосе. Однажды она особенно надоела Привалову, и он резко заметил ей:

— Хиония Алексеевна, вы иногда, кажется, забываете, что в этом доме хозяин я... А то вы так странно держите себя и позволяете себе так много, что в одно прекрасное утро я должен буду принять свои меры.

Разговор происходил с глазу на глаз, и Хиония Алексеевна, прищурив глаза, нахально спросила:

— Именно?.. Как прикажете понять ваши слова: за угрозу просто или за формальный отказ от дома?

— Если хотите, так за то и другое вместе! — крикнул Привалов, едва удерживаясь от желания вышвырнуть ее за дверь.

— Благодарю вас, Сергей Александрыч, — делая книксен, проговорила Хиония Алексеевна в прежнем своем тоне. — Вы мне хорошо платите за те tête-à-tête,

какие я вам устраивала с Антонидой Ивановной... Ха-ха! Вы, может быть, позабыли, как она целовала вас в вашем кабинете? А я была настолько скромна, что ваша жена еще до сих пор даже не подозревает, с каким чудовищем имеет дело. Merci! Да, я сейчас же ухожу из вашего дома и не поручусь, что ваша жена сегодня же не узнает о ваших милых похождениях. Прибавьте еще Надежду Васильевну к этому... О, я уверена, что эта бедная девушка пала жертвой вашего сластолюбия, а потом вы ее бросили.

— Хиония Алексеевна...

Но Хиония Алексеевна была уже за порогом, предоставив Привалову бесноваться одному. Она была довольна, что, наконец, проучила этого миллионера, из-за которого она перенесла на своей собственной спине столько человеческой несправедливости. Чем она не пожертвовала для него — и вот вам благодарность за все труды, хлопоты, неприятности и даже обиды. Если бы не этот Привалов, разве Агриппина Филипьевна рассорилась бы с ней?.. Нет, решительно нигде на свете нет ни совести, ни справедливости, ни признательности!

Из приваловского дома Хина, конечно, не ушла, а как ни в чем не бывало явилась в него на другой же день после своей размолвки с Приваловым. Хозяину ничего не оставалось, как только по возможности избѐгать этой фурии, чтобы напрасно не подвергать нареканиям и не отдавать в жертву городским сплетням ни в чем не повинные женские имена, а с другой — не восстановлять против себя Зоси. Хиония Алексеевна в случае изгнания, конечно, не остановилась бы ни перед чем.

— Как жестоко можно ошибиться в людях, даже в самых близких, — меланхолически говорила она Зосе. — Я, например, столько времени считала Александра Павлыча самым отчаянным гордецом, а между тем оказывается, что он совсем не гордец. Или взять Сергея Александрыча... Ах, mon ange, сколько мы, женщины, должны приносить жертв этим отвратительным эгоистам мужчинам!..

V

Когда переделывали приваловский дом, часть его пристроек была обращена в склады для хлеба, а в моленной были устроены лавки. Затем часть сада была отведена специально под деревянные амбары, тоже для хлеба. Все эти перестройки были закончены к первому санному пути, когда приваловская мельница должна была начать работу. Осенью Привалов только раз был на мельнице, и то ненадолго, чтобы проверить работы. Теперь, когда дома ему делалось слишком тяжело, он вспомнил о своей мельнице и по первопутку отправился туда. Когда он выехал за город, то уж почувствовал заметное облегчение; именно ему необходимо было вырваться на деревенский простор и отдохнуть душой на бесконечном раздолье полей, чтобы освободиться от давившего его кошмара. Он сразу повеселел, и многое, что его мучило еще так недавно, показалось ему просто смешным.

— А мы вас здесь крепко дожидаем, Сергей Александрыч, — встретил Нагибин хозяина. — Так дожидаем... Надо первый помол делать, благословясь. Меленка-то совсем готова.

В мельничном флигельке скоро собрались все, то есть Нагибин, Телкин, поп Савел и Ипат, который теперь жил в деревне, так как в городе ему решительно нечего было делать. Впрочем, верный слуга Привалова не особенно горевал о таком перемещении: барин своей женитьбой потерял в его глазах всякую цену. «Одним словом, как есть пропащий человек!»

В каких-нибудь два часа Привалов уже знал все незамысловатые деревенские новости: хлеба̀, слава богу, уродились, овсы — ровные, проса и гречиха — середка на половине. В Красном Лугу молоньей убило бабу, в Веретьях скот начинал валиться от чумы, да отслужили сорок обеден, и бог помиловал. В «орде» больно хороша нынче уродилась пшеница, особенно кубанка. Сено удалось не везде, в петровки солнышком прихватило по увалам; только и поскоблили где по мочевинкам, в понизях да на поемных лугах, и т. д. и т. д.

Мельница была совсем готова. Воды в пруде, по расчетам Телкина, хватит на всю зиму. Оставалось пустить все «обзаведение» в ход, что и было приведено в исполнение хмурым октябрьским утром. Зашумела вода, повертывая громадное водяное колесо, а там и пошли работать шестерни, валы и колеса с разными приводами и приспособлениями. Все было в исправности; работа шла как по-писаному. Из-под жерновов посыпалась теплая мука, наполняя всю мельницу своим специфическим ароматом. Все с напряженным вниманием следили за этой работой, которая совершалась вполне форменно — лучше требовать нельзя.

— Ну, с первинкой, Сергей Александрыч, поздравляем, — заговорил Нагибин. — Все по форме и без сумления. В самый аккурат издалась меленка, в добрый час будь сказано!

Телкин подробно еще раз показал и объяснил, где нужно, весь двигавшийся механизм. Глаза у него блестели, а лицо подернулось легкой краской; он сдерживал себя, стараясь не выдать волновавшего его чувства счастливой гордости за шевелившееся, стучавшее и шумевшее детище.

— Теперь можно и поздравить хозяина, — говорил поп Савел, успевший порядочно выпачкаться в муке; мелкий бус, как инеем, покрыл всех.

После официального открытия мельницы было устроено приличное угощение. Публика почище угощалась в флигельке, а для мужиков были поставлены столы в самой мельнице. Мужиков набралось густо, и все нужный народ, потрудившийся в свою долю при постройке: кто возил бревна, кто бутовый камень, кто жернова и т. д. После трех стаканов водки на мельнице поднялся тот пьяный шум, приправленный песней и крепким русским словцом, без чего не обходится никакая мужицкая гулянка. Потные красные бородатые лица лезли к Привалову целоваться; корявые руки хватали его за платье; он тоже пил водку вместе с другими и чувствовал себя необыкновенно хорошо в этом пьяном мужицком мире. Отдельный стол был поставлен для баб, которые работали при затолчке плотины; он теперь походил на гряду с маком и весело пестрел

красными, синими и желтыми цветами. Бабы пропустили по стаканчику, и маковая гряда тоже заголосила на все лады, присоединяясь к мужицкому галдению. Где-то пиликнула вятская гармоника, в другом углу жалобно затренькала деревенская балалайка, и началась музыка... Старостиха Анисья тончайшим голосом завела песню, ее подхватили десятки голосов, и она полилась нестройной, колыхавшейся волной, вырвалась на улицу и донеслась вплоть до деревни, где оставались только самые древние старушки, которые охали и крестились, прислушиваясь, как мир гуляет.

Поп Савел успел нагрузиться вместе с другими и тоже лез целоваться к Привалову, донимая его цитатами из всех классиков. Телкин был чуть-чуть навеселе. Вообще все подгуляли, за исключением одного Нагибина, который «не принимал ни капли водки». Началась пляска, от которой гнулись и трещали половицы; бабы с визгом взмахивали руками; захмелевшие мужики грузно топтались на месте, выбивая каблуками отчаянную дробь.

— Гуляй, девонька!.. — выкрикивал какой-то рыжий мужик, отплясывая в рваном полушубке. — Мматушки... шире бери!..

Когда общее веселье перешло в сплошной гвалт и мельница превратилась в настоящий кабак, Привалов ушел в свой флигель. Он был тоже пьян и чувствовал, как перед глазами предметы двоились и прыгали.

Утром он проснулся с сильной головной болью и с самым смутным представлением о том, что делалось вчера на мельнице.

— Здорово отгуляли, Сергей Александрыч, — улыбался Нагибин.

— Ничего.

— Теперь только чайку испить — и дело в шляпе. Поп Савел уже наведывался, он все еще вчерашним пьян... А слышите, как меленка-то постукивает? Капитон с трех часов пустил все обзаведение...

Привалову казалось с похмелья, что постукивает не на мельнице, а у него в голове. И для чего он напился вчера? Впрочем, нельзя, мужики обиделись бы.

Да и какое это пьянство, ежели разобрать? Самое законное, такая уж причина подошла, как говорят мужики. А главное, ничего похожего не было на шальное пьянство узловской интеллигенции, которая всегда пьет, благо нашлась водка.

— Вот чайку-с... — предлагал Нагибин. — Оно очень облегчает, ежели кто водку принимает... А вон и поп Савел бредет, никак.

— Мир дому сему, — крикнул поп Савел еще под окошком. — У меня сегодня в голове такая мельница мелет... А я уж поправился, стомаха ради и частых недуг!..

Привалов быстро вошел в деревенскую колею, к которой всегда его тянуло. Поездка с Нагибиным по деревням и мелким хлебным ярмаркам отнимала большую половину времени, а другая уходила целиком на мельницу. Работа закипела. Сотни подвод ежедневно прибывали к мельнице, сваливали зерно в амбары и уступали место другим. Начали расти поленницы белых мешков с зеленым клеймом: «Мельница Привалова». Сотни рабочих были заняты на мельнице переноской и перевозкой зерна, около зерносушилок и веялок, в отделении, где весили и ссыпали муку в мешки. Около приваловского флигеля вечно стояли пустые подводы дожидавшихся расчета мужиков. Через неделю началась правильная отсылка намолотой муки в Узел, в главный склад при приваловском доме. Привалов никогда не чувствовал себя так легко, как в этот момент; на время он совсем позабыл о всем городском и ежедневно отсылал Зосе самые подробные письма о своей деятельности.

Зося отвечала на письма мужа коротенькими записочками. Между прочим она писала ему, что скучает одна и желала бы сама жить где-нибудь в деревне, если бы могла оставить своих стариков. Привалов сначала не верил, но желание быть счастливым было настолько велико, что он забывал все старое и снова отдавался душой своей Зосе. Он даже старался во всем обвинить самого себя, только бы спасти свое чувство, свою любовь. Ведь она хорошая, эта Зося, она любит его... При первой возможности Привалов бросил все

дела на мельнице и уехал в Узел. Но там его ожидало новое разочарование: Зося встретила его совсем враждебно, почти с ненавистью. Это он видел по ее темным глазам, по недовольному лицу, по необыкновенной раздражительности.

— Мне гораздо лучше было совсем не приезжать сюда, — говорил Привалов. — Зачем ты писала то, чего совсем не чувствовала?.. По-моему, нам лучше быть друзьями далеко, чем жить врагами под одной кровлей.

Этот тон смутил Зосю. Несколько дней она казалась спокойнее, но потом началась старая история. Привалова удивляло только то, что Половодов совсем перестал бывать у них, и Зося, как казалось, совсем позабыла о нем. Теперь у нее явилось новое развлечение: она часов по шести в сутки каталась в санях по городу, везде таская за собой Хину. Она сама правила лошадью и даже иногда сама закладывала свой экипаж.

Дело по хлебной торговле пошло бойко в гору. Привалов уже успел сбыть очень выгодно несколько больших партий на заводы, а затем получил ряд солидных заказов от разных торговых фирм. Расчеты и ожидания оправдались скорее, чем он надеялся. Недоставало времени и рабочих рук. Приходилось везде поспевать самому, чтобы поставить сразу все дело на твердую почву. Много времени отнимали разные хлопоты с нотариусами и банками. Раз, когда Привалов зашел в Узловско-Моховский банк, он совсем неожиданно столкнулся со стариком Бахаревым. Оба смутились и не знали, о чем говорить.

— Ну, что твоя мельница? — спросил, наконец, Бахарев, не глядя на Привалова.

— Пока ничего, работает. Давно ли вы вернулись с приисков, Василий Назарыч?

— Да уж порядочно, пожалуй с месяц... Ах, я и забыл: поздравляю тебя с женитьбой.

Вышла самая тяжелая и неприятная сцена. Привалову было совестно пред стариком, что он до сих пор не был еще у него с визитом, хотя после своего последнего разговора с Марьей Степановной он мог его и не делать.

VI

От Веревкина последнее письмо было получено незадолго до женитьбы Привалова. В нем Nicolas отчасти повторял то же самое, о чем уже писал раньше, то есть излагал разные блестящие надежды и смелые комбинации. Прибавкой являлось только то, что ему порядочно надоело в Петербурге, и он начинал порываться в Узел, в свою родную стихию, в которой плавал как рыба в воде. Занятый семейными делами и мельницей, Привалов забыл о своем поверенном, о котором ему напомнила встреча со стариком Бахаревым. Уже одна фигура этого типичного старика служила как бы немым укором: а что же заводы? как идут дела об опеке? что делал там, в Петербурге, этот Веревкин? Привалов не мог порядочно ответить ни на один из этих вопросов, и теперь совесть особенно мучила его, что он из-за личных дел забыл свои главные обязанности. Вообще все выходило как-то особенно глупо, за исключением разве одной мельницы, которая работала все время отлично. Да и эта единственная удача была отравлена тем, что Привалов ни с кем не мог поделиться своей радостью.

О семье Бахаревых Привалов слышал стороной, что дела по приискам у Василия Назарыча идут отлично. Рассказывали о сотнях тысяч, заработанных им в одно лето. За богатством опять тянулась блестящим хвостом слава. Все с уважением говорили о старом Бахареве, который из ничего создавал миллионы. Только о Надежде Васильевне никто ничего не знал, а Привалов слышал мельком о ней от доктора, который осенью был в Шатровских заводах. Костя Бахарев никогда не любил обременять себя перепиской, поэтому Привалов нисколько не удивился, что не получил от него в течение полугода ни одной строчки.

Однажды на своем письменном столе Привалов, к своему удивлению, нашел карточку Кости Бахарева.

— Он уехал, вероятно, обратно на заводы? — спрашивал Привалов Пальку.

— Нет, они сюда приехали совсем...

— Как совсем?

— Так-с... Теперь живут в «Золотом якоре», просили известить их, когда вы приедете. Прикажите послать им сказать?

— Нет, не нужно... Я сам к нему поеду.

Этот неожиданный приезд Кости Бахарева поразил Привалова; он почуял сразу что-то недоброе и тотчас же отправился в «Золотой якорь». Бахарев был дома и встретил друга детства с насмешливой холодностью.

— Я совсем, Сергей Александрыч, — заговорил Костя, когда Привалов сел на диванчик.

— Как совсем?

— Да так... Получил чистую от Александра Павлыча.

— Ничего не понимаю!

— А между тем все дело чрезвычайно просто: пока ты тут хороводился со своей свадьбой, Половодов выхлопотал себе назначение поверенным от конкурсного управления... Да ты что смотришь на меня такими глазами? Разве тебе Веревкин ничего не писал?

— Последнее письмо я от него получил месяца два тому назад.

— Ну, батенька, в это время успело много воды утечь... Значит, ты и о конкурсе ничего не знаешь?.. Завидую твоему блаженному неведению... Так я тебе расскажу все: когда Ляховский отказался от опекунства, Половодов через кого-то устроил в Петербурге так, что твой второй брат признал себя несостоятельным по каким-то там платежам...

— Да ведь он идиот?

— Это все равно... Объявили несостоятельным и назначили конкурс, а поверенным конкурсного управления определили Половодова. Впрочем, это случилось недавно... Он меня и смазал для первого раза. Говоря проще, мне отказали от места, а управителем Шатровских заводов назначили какого-то Павла Андреича Кочнева, то есть не какого-то, а родственника Половодова. Он женат на Шпигель, родной сестре матери Веревкина. Теперь понял, откуда ветер дует?

Привалов несколько времени молчал; полученное известие ошеломило его, и он как-то ничего не мог сообразить: как все это случилось? какой конкурс? какой Кочнев? при чем тут сестрицы Шпигель?

— Что же мы теперь будем делать? — проговорил Привалов, приходя в себя.

— Ты — не знаю, что будешь делать, а я получил приглашение на заводы Отметышева, в Восточную Сибирь, — сказал Бахарев. — Дают пять тысяч жалованья и пятую часть паев... Заводы на паях устроены.

— Так... Что же, скатертью тебе дорога, — ответил задумчиво Привалов, глядя в пространство, — а нам деваться некуда...

— Я одного только не понимаю, Сергей, — заговорил Бахарев, стараясь придать тону голоса мягкий характер, — не понимаю, почему ты зимой не поехал в Петербург, когда я умолял тебя об этом? Неужели это так трудно было сделать?

Привалов схватился за голову и забегал по комнате, как раненый зверь; вопрос Бахарева затронул самое больное место в его душе.

— А Василий Назарыч знает о конкурсе? — спрашивал Привалов, продолжая бегать.

— Да... я ему рассказывал...

— Разве вы помирились?

— То есть как тебе сказать; ведь мы, собственно, не ссорились, так что и мириться нечего было. Просто приехал к родителю, и вся недолга. Он сильно переменился за это время...

— Вспылил, когда узнал о конкурсе?

— Нет... заплакал. В старчество впадает... Все заводы жалел. Ах да, я тебе позабыл сказать: сестра тебе кланяется...

Привалов вопросительно посмотрел на Бахарева; в его голове мелькнуло сердитое лицо Верочки.

— Разве забыл — Надя?

— Ах да... виноват. Ну что, как она поживает?

— Ничего, теперь переехала на прииск к Лоскутову. Два сапога — пара: оба бредят высшими вопросами и совершенно довольны друг другом.

— Я слышал, что Василий Назарыч разошелся с Надеждой Васильевной? — спрашивал Привалов, чтобы замять овладевшее им волнение; там, в глубине, тихо-тихо заныла старая, похороненная давно любовь.

— Да, тут вышла серьезная история... Отец, пожалуй бы, и ничего, но мать — и слышать ничего не хочет о примирении. Я пробовал было замолвить словечко; куда, старуха на меня так поднялась, что даже ногами затопала. Ну, я и оставил. Пусть сами мирятся... Из-за чего только люди кровь себе портят, не понимаю и не понимаю. Мать не скоро своротишь: уж если что поставит себе — кончено, не сдвинешь. Она ведь тогда прокляла Надю... Это какой-то фанатизм!.. Вообще старики изменились: отец в лучшую сторону, мать — в худшую.

Друзья детства проговорили за полночь о заводах и разных разностях. Бахарев не укорял Привалова, так как не интересовался его теперешней жизнью. Он даже не полюбопытствовал узнать, как теперь живется Привалову. Это было в характере Кости; он никогда не вмешивался в чужую жизнь, как не посвящал никого в свои интимные дела. Это был человек дела с ног до головы, и Привалов нисколько не обижался его невниманием к собственной особе. Сам Привалов не хотел заговаривать о своей новой жизни, потому что, раз, это было слишком тяжело, а второе — ему совсем не хотелось раскрывать перед Костей тайны своей семейной жизни. Все, и хорошее и дурное, Привалов переживал один на один, не требуя ничьего участия, ни совета, ни сочувствия.

— Ты скоро едешь? — спрашивал Привалов на прощанье.

— Не знаю пока... Может быть, проживу здесь зиму. Хочется отдохнуть. Я не хочу тебя чем-нибудь упрекнуть, а говорю так: встряхнуться необходимо.

— Послушай, Сергей, — остановил Привалова Бахарев, когда тот направился к выходу. — Отчего же ты к нашим не заедешь? Я про стариков говорю...

— Неловко как-то...

— Ну, как знаешь... Тебе лучше знать.

Из «Золотого якоря» Привалов вышел точно в каком тумане; у него кружилась голова. Он чувствовал, что все кругом него начинает рушиться, и ему не за что даже ухватиться. Приходилось жить с такими людьми, с которыми он не имел ничего общего, и оттолкнуть от себя тех, кого он ценил и уважал больше всего на свете. Прежде чем вернуться в свой дом, Привалов долго бродил по городу, желая освежиться. В голове поднимался целый ворох самых невеселых мыслей. Жизнь начала тяготить Привалова, а сознание, что он поступает как раз наоборот с собственными намерениями, — щемило и сосало сердце, как змея.

VII

Ляховский, повидимому, совсем поправился. Он мог ходить по комнатам без помощи костылей и по нескольку часов сряду просиживал в своем кабинете, занимаясь делами с своим новым управляющим. Но все это была только одна форма: прежнего Ляховского больше не было. Сам Ляховский сознавал это и по временам впадал в какое-то детское состояние: жаловался на всех, капризничал и даже плакал. Между тем этот же Ляховский весь точно встряхивался, когда дело касалось новой фирмы «А. Б. Пуцилло-Маляхинский»; в нем загоралась прежняя энергия, и он напрягал последние силы, чтобы сломить своего врага во что бы то ни стало. Это были жалкие усилия, что и сам Ляховский сознавал в спокойную минуту, но освободиться от своей idée fixe он был не в силах. Часто он создавал самые нелепые проекты и требовал их немедленного осуществления; но проходил день, и проекты шли на подтопку.

Доктор видел состояние Ляховского и не скрывал от себя печальной истины.

— Игнатий Львович, вы, конечно, теперь поправились, — говорил доктор, выбирая удобную минуту для такого разговора, — но все мы под богом ходим... Я советовал бы на всякий случай привести в порядок все ваши бумаги.

— Что вы хотите сказать этим?

— Вы понимаете меня хорошо... У вас есть дочь; вам следует заблаговременно позаботиться о ней.

— Вы заживо меня хороните, доктор! — горячился Ляховский. — У меня все готово, и завещание написано на имя Зоси. Все ей оставляю, а Давиду — триста рублей ежегодной пенсии. Пусть сам учится зарабатывать себе кусок хлеба... Для таких шалопаев труд — самое лучшее лекарство... Вы, пожалуйста, не беспокойтесь; у меня давно все готово.

В подтверждение своих слов Ляховский вынимал из письменного стола черновую приготовленного духовного завещания и читал ее доктору пункт за пунктом. Завещание было составлено в пользу Зоси, и доктор успокаивался.

— Но я скоро не умру, доктор, — с улыбкой говорил Ляховский, складывая завещание обратно в стол. — Нет, не умру... Знаете, иногда человека поддерживает только одна какая-нибудь всемогущая идея, а у меня есть такая идея... Да!

— Именно?

— А Пуцилло-Маляхинский?.. Поверьте, что я не умру, пока не сломлю его. Я систематически доконаю его, я буду следить по его пятам, как тень... Когда эта компания распадется, тогда, пожалуй, я не отвечаю за себя: мне будет нечего больше делать, как только протянуть ноги. Я это замечал: больной человек, измученный, кажется, места в нем живого нет, а все скрипит да еще работает за десятерых, воз везет. А как отняли у него дело — и свалился, как сгнивший столб.

На другой день после своего разговора с Бахаревым Привалов решился откровенно обо всем переговорить с Ляховским. Раз, он был опекуном, а второе, он был отец Зоси; кому же было ближе знать даже самое скверное настоящее. Когда Привалов вошел в кабинет Ляховского, он сидел за работой на своем обычном месте и даже не поднял головы.

— Мне хотелось бы переговорить с вами об одном очень важном деле, — заговорил Привалов.

— А... с удовольствием. Я сейчас...

Ляховский отодвинул в сторону свой последний проект против компании «Пуцилло-Маляхинский» и приготовился слушать; он даже вытащил вату, которой закладывал себе уши в последнее время. Привалов передал все, что узнал от Бахарева о конкурсе и назначении нового управителя в Шатровские заводы. Ляховский слушал его внимательно, и по мере рассказа его лицо вытягивалось все длиннее и длиннее, и на лбу выступил холодный пот.

— Я рассказал вам все, что сам знаю, — закончил Привалов.— Веревкин, по всей вероятности, послал мне подробное письмо о всем случившемся, но я до сих пор ничего не получал от него. Вероятно, письмо потерялось...

Ляховский молча посмотрел на Привалова через очки, потер себе лоб и нетерпеливо забарабанил сухими пальцами по ручке кресла.

— Не понимаю, не понимаю... — заговорил он глухим голосом. — Послушайте, может быть, Веревкин продал вас?..

Привалов только что хотел вступиться за своего поверенного, как Ляховский вскочил с своего места, точно ужаленный; схватившись за голову обеими руками, он как-то жалко застонал:

— Постойте: вспомнил... Все вспомнил!.. Вот здесь, в этом самом кабинете все дело было... Ах, я дурак, дурак, дурак!!. А впрочем, разве я мог предполагать, что вы женитесь на Зосе?.. О, если бы я знал, если бы я знал... Дурак, дурак!..

— Я не понимаю, в чем дело, Игнатий Львович?

— Не понимаете?.. Сейчас поймете!.. О, это все устроил Половодов; я, собственно, не виноват ни душой, ни телом. Послушайте, Сергей Александрыч, никогда и ни одному слову Половодова не верьте... Это все он устроил — и меня подвел и вас погубил.

— Я не...

— Позвольте; помните ли вы, как Веревкин начинал процесс против опеки?.. Он тогда меня совсем одолел... Ведь умная бестия и какое нахальство! Готов вас за горло схватить. Вот Половодов и воспользовался именно этим моментом и совсем сбил меня с толку.

Просто запугал, как мальчишку... Ах, я дурак, дурак! Видите ли, приезжал сюда один немец, Шпигель... Может быть, вы его видели? Он еще родственником как-то приходится Веревкину... Как его, позвольте, позвольте, звали?.. Карл... Фридрих...

— Да, я видел его у Веревкиных; Оскар Филипыч...

— Вот... вот он самый... Ведь немчурка совсем ничтожная... Вот Половодов и привел ко мне этого самого немчурку, да вдвоем меня и обделали. Понимаете, совсем обошли, точно темноту на меня навели...

Ляховский подробно рассказал Привалову всю историю своего знакомства с Шпигелем и результат их совещаний.

— Одним словом, получается довольно грязненькая история, — проговорил Ляховский, бегая по комнате. — Винюсь, выжил из ума...

— Я желал бы знать только одно: почему вы не рассказали мне всей этой истории, когда я сделал предложение вашей дочери? — спрашивал побледневший Привалов. — Мне кажется, что у вас более не должно было оставаться никаких причин подкапываться под меня?

— Ах, господи, господи... — опять застонал Ляховский. — Да разве вы не знаете такой простой вещи, что одна глупость непременно ведет за собой другую, а другая — третью... Клянусь вам богом, что я хотел вам все рассказать, решительно все, но меня опять сбил Половодов. Я еще не успел оправиться тогда хорошенько от болезни, а он и взял с меня слово молчать обо всем... Видите ли, основание-то молчать было: во-первых, я сам не верил, чтобы этот Шпигель мог что-нибудь сделать — это раз; во-вторых, когда вы сделали предложение Зосе, ваш процесс клонился в вашу пользу... Половодов тогда, еще до вашего предложения, нарочно приезжал предупредить меня... Как же!.. Он, кажется, сам тогда сильно струхнул и даже потерял голову. Но все-таки как честный человек я должен был объяснить вам... И объяснил бы, если бы не было совестно. Войдите в мое положение: вы делаете предложение моей дочери, она любит вас, и вдруг я вас обливаю целым ушатом холодной воды... Если кто виноват, так виноват

именно я, я и в ответе; у меня просто не поднялась рука расстроить счастье Зоси... Была еще причина, почему я не рассказал вам всего, — продолжал Ляховский после короткой паузы. — Положим, вы сейчас же отправились бы лично хлопотать по своему делу... Хорошо. Вы думаете, вы помогли бы делу?.. О нет... Вы бы испортили его вконец, как доктор, который стал бы лечить самого себя. Там, очевидно, у них составилась сильная партия, если они успели провести дело. И как отлично все задумано: объявить идиота несостоятельным... Это гениальная идея!.. И она никому не пришла бы в голову, уверяю вас, кроме этого немца... О, это он все устроил от начала до конца. По когтям видно зверя...

— Почему же вы с такой уверенностью говорите, что все дело устроил непременно Шпигель?

— А кто же больше?.. Он... Непременно он. У меня положительных данных нет в руках, но я голову даю на отсечение, что это его рук дело. Знаете, у нас, практиков, есть известный нюх. Я сначала не доверял этому немцу, а потом даже совсем забыл о нем, но теперь для меня вся картина ясна: немец погубил нас... Это будет получше Пуцилло-Маляхинского!.. Поверьте моей опытности.

— Мне хотелось бы знать еще одно обстоятельство, — спросил Привалов. — Как вы думаете, знала Зося эту историю о Шпигеле или нет? Ведь она всегда была хороша с Половодовым.

— Вот вам бог, что она ничего не могла знать!.. — клялся Ляховский.

Привалов, пошатываясь, вышел из кабинета Ляховского. Он не думал ни о конкурсе, ни о немце Шпигеле; пред ним раскрылась широкая картина человеческой подлости... Теперь для него было ясно все, до последнего штриха; его женитьбу на Зосе устроил не кто другой, как тот же Половодов. Он запугал Зосю разорением отца — с одной стороны, а с другой — процессом по опеке; другими словами, Половодов, жертвуя Зосей, спасал себя, потому что как бы Привалов повел процесс против своего тестя?.. Все было ясно, все было

просто. Только одно еще смущало Привалова: Половодов любил Зосю — это очевидно из всего его поведения; Половодов, без сомнения, очень проницательный и дальновидный человек; как же он не мог предвидеть торжества своей интриги и ошибся всего на какой-нибудь один месяц?..

Ночью с Ляховским сделался второй удар. Несмотря на все усилия доктора, спасти больного не было никакой возможности; он угасал на глазах. За час до смерти он знаком попросил себе бумаги и карандаш; нетвердая рука судорожно нацарапала всего два слова: «Пуцилло-Маляхинский...» Очевидно, сознание отказывалось служить Ляховскому, паралич распространялся на мозг.

Весь дом был в страшном переполохе; все лица были бледны и испуганы. Зося тихонько рыдала у изголовья умирающего отца. Хина была какими-то судьбами тут же, и не успел Ляховский испустить последнего вздоха, как она уже обшарила все уголки в кабинете и перерыла все бумаги на письменном столе.

— Ищите завещание... — шептала она Зосе, бегая по кабинету, как угорелая мышь.

— После... — прошептала Зося.

— Нет, сейчас... Это очень важно!..

Начались поиски завещания; были открыты все ящики, десять раз перебрана была каждая бумажка; единственным результатом всех поисков были два черновых завещания, которые Ляховский читал доктору. Как только рассвело утро, Хина объехала всех нотариусов и навела справки: завещания нигде не было составлено. Хина еще раз перерыла весь кабинет Ляховского — все было напрасно.

— Несчастная... — шипела Хина, обращаясь к Зосе. — Понимаете ли вы, что все наследство достанется одному Давиду, а вам ничего...

— Как ничего?..

— А так... Вы свое, по закону, получили сполна в форме приданого... Вот и любуйтесь на свои тряпки! Тьфу!.. Уж именно — век живи, век учись, а дураком умрешь...

VIII

После смерти Ляховского в доме Привалова поселилась какая-то тяжелая пустота; все чувствовали, что чего-то недостает. Привалов не любил Ляховского, но ему было жаль старика; это все-таки был недюжинный человек; при других обстоятельствах, вероятно, этот же самый Ляховский представлял бы собой другую величину. Человеческой природе свойственно забывать недостатки умерших и припоминать их хорошие стороны: это одно из самых светлых проявлений человеческой натуры. Как опекуна и как тестя Привалов не уважал Ляховского, но как замечательно умного человека он его любил. Со стариком не было скучно, во всех его разговорах звучала сухая, но остроумная нотка. Особенно теперь, когда для сравнения остался Давид Ляховский, все оценили старого Ляховского, этого скупого, придирчивого, вечно ворчавшего и вечно больного человека.

Получив утверждение в правах наследства, Давид быстро расправил свои крылышки. Он начал с того, что в качестве вполне самостоятельного человека совсем рассорился с Приваловым и переехал с пани Мариной в свой собственный дом, который купил на Нагорной улице. Старый Палька последовал, конечно, за молодым барином, а его место в швейцарской приваловского дома занял выписанный из Гарчиков Ипат. Этот верный слуга, нарядившись в ливрею, не мог расстаться со своей глупостью и ленью и считал своим долгом обращаться со всеми крайне грубо.

Зося первое время была совсем убита смертью отца. Привалов сначала сомневался в искренности ее чувства, приписывая ее горе неоправдавшимся надеждам на получение наследства, но потом ему сделалось жаль жены, которая бродила по дому бледная и задумчивая. Оставшись только вдвоем с женой в старом отцовском доме, Привалов надеялся, что теперь Зося вполне освободится от влияния прежней семейной обстановки и переменит образ своей жизни. Доктор

бывал в приваловском доме каждый день, и Привалов особенно рад был видеть этого верного друга.

— Она изменится, — говорил доктор Привалову несколько раз. — Смерть отца заставит ее одуматься... Собственно говоря, это хорошая натура, только слишком увлекающаяся.

— Доктор, вы ошибаетесь, — возражал Привалов. — Что угодно, только Зося самая неувлекающаяся натура, а скорее черствая и расчетливая. В ней есть свои хорошие стороны, как во всяком человеке, но все зло лежит в этой неустойчивости и в вечной погоне за сильными ощущениями.

— Зося эксцентрична, но у нее доброе сердце...

— Может быть... От души желал бы ошибиться.

Что особенно не нравилось Привалову, так это то, что Хина после смерти Ляховского как-то совсем завладела Зосей, а это влияние не обещало ничего хорошего в будущем. Все старания Привалова и доктора выжить Хину из дому оставались совершенно безуспешными: Зося не могла жить без своей дуэньи и оживлялась только в ее присутствии. Зося со своей стороны не могла не заметить громадной перемены в своем муже. Он относился к ней ровно и спокойно, как к постороннему человеку, с той изысканной вежливостью, которая заменила недавнюю любовь. Зося чувствовала, что муж не любит ее, что в его ласках к ней есть что-то недосказанное, какая-то скрытая вражда. Привалов скучал с ней и с удовольствием уходил в свой кабинет, чтобы зарыться в бумаги.

— Душечка, это он хочет испытать вас, — говорила Хина, — а вы не поддавайтесь; он к вам относится холодно, а вы к нему будьте еще холоднее; он к вам повертывается боком, а вы к нему спиной. Все эти мужчины на один покрой; им только позволь...

— Мне все равно, пусть его... — со скучающим видом отвечала Зося. — Я даже не замечаю, есть он в доме или его нет...

— Знаете, душечка, на что сердится ваш муженек? — говорила Хина. — О, все эти мужчины, как монеты, походят друг на друга... Я считала его идеальным

мужчиной, а оказывается совсем другое! Пока вы могли рассчитывать на богатое наследство, он ухаживал за вами, а как у вас не оказалось ничего, он и отвернул нос. Уж поверьте мне!

— Нет, это вздор... Он просто глуп, Хиония Алексеевна.

— Ах, извините, mon ange... Я боялась вам высказаться откровенно, но теперь должна сознаться, что Сергей Александрыч действительно немного того... как вам сказать... ну, недалек вообще (Хина повертела около своего лба пальцем). Если его сравнить, например, с Александром Павлычем... Ах, душечка, вся наша жизнь есть одна сплошная ошибка! Давно ли я считала Александра Павлыча гордецом... Помните?.. А между тем он совсем не горд, совсем не горд... Я жестоко ошиблась. Не горд и очень умен...

По зимнему пути Веревкин вернулся из Петербурга и представил своему доверителю подробный отчет своей деятельности за целый год. Он в живых красках описал свои хождения по министерским канцеляриям и визиты к разным влиятельным особам; ему обещали содействие и помощь. Делом заинтересовался даже один министр. Но Шпигель успел организовать сильную партию, во главе которой стояли очень веские имена; он вел дело с дьявольской ловкостью и, как вода, просачивался во все сферы.

— Я все-таки переломил бы этого дядюшку, — повествовал Веревкин, — но ему удалось втянуть в дело одну даму... А эта дама, батенька, обламывает и не такие дела. Ну, одним словом, она проводит дела через все инстанции, у нее что-то вроде своего министерства, черт ее возьми!

— Ляховский мне рассказывал...

— Покойник спятил с ума под конец; что ему стоило предупредить вас об этой даме летом? О, тогда бы мы все оборудовали лихим манером; сунули бы этой даме здоровый куш, и дело бы наше. Я поздно узнал... А все-таки я пробился к ней.

— Ну, и что же?

— Да ничего... Бабенка действительно умная. Лет этак под тридцать, в теле и насчет обхождения... Одним

словом, этакая бальзаковская женщина большую силу забрала над разными сиятельными старцами. Прямо мне сказала: «Где же вы раньше-то были? А теперь я ничего не могу сделать... Покойников с кладбища не ворочают». Ей-богу, так и сказала. А я спрашиваю ее: «Неужели, говорю, и надежды впереди никакой не осталось?» — «Нет, говорит, надеяться всегда можно и следует...» Смеется, шельма!.. Пикантная бабенка, черт ее возьми... Она вас... кажется, встречала где-то.

— Не помню, едва ли.

— А знаете, какой совет она мне дала на прощанье? «Вы, говорит, теперь отдохните немного и дайте отдохнуть другим. Через год конкурс должен представить отчет в опеку, тогда вы их и накроете... Наверно, хватят большой куш с радости!» Каково сказано!.. Ха-ха... Такая политика в этой бабенке — уму помраченье! Недаром миллионными делами орудует.

— Значит, теперь остается только ждать?

— Да, ждать. Будем обтачивать терпение... Я, грешный человек, намекнул бабенке, что ежели и всякое прочее, так мы за гешефтом не постоим. Смеется, каналья...

— Ну, это уж вы напрасно, Николай Иваныч. Я не давал вам полномочий на такие предложения и никогда не пойду на подобные сделки. Пусть лучше все пойдет прахом!..

— Э, батенька, все мы люди, все человеки... Не бросить же заводы псу?! Геройствовать-то с этой братией не приходится; они с нас будут живьем шкуру драть, а мы будем миндальничать. Нет, дудки!.. Нужно смотреть на дело прямо: клин клином вышибай.

— Нет, я все-таки не согласен.

«Этакой пень дурацкий! — обругался про себя Веревкин. — Погоди, не то запоешь, как подтянут хорошенько нас, рабов божиих...»

Итак, приходилось ждать и следить за деятельностью Половодова. Вся трудность задачи заключалась в том, что следить за действиями конкурса нельзя было прямо, а приходилось выискивать подходящие случаи. Первый свой отчет Половодов должен был подать будущей осенью, когда кончится заводский год.

IX

На мельнице зимой работа кипела; Привалов ездил в Гарчики довольно часто, но, когда первые хлопоты поулеглись и свободного времени оставалось на руках много, Привалов не знал, куда ему теперь деваться с этой свободой. Дома оставаться с глазу на глаз с женой ему было тяжело. Каждый раз, когда он видел Зосю, ему представлялся Половодов, который так ловко соединил их брачными узами. Вся кровь бросалась Привалову в голову при одной мысли, что до сих пор он был только жалкой игрушкой в руках этих дельцов без страха и упрека. Несколько раз Привалову хотелось высказать в глаза жене, за кого он считает ее, но что-то удерживало его. Худой мир все-таки лучше доброй ссоры, да к тому же Привалову не хотелось огорчать доктора, который умел видеть в своей ученице одни хорошие стороны.

Чтобы хоть как-нибудь убить свободное время, которое иногда начинало просто давить Привалова, он стал посещать Общественный клуб — собственно, те залы, где шла игра. Давно ли этот же самый Общественный клуб казался Привалову кабаком, но теперь он был рад и кабаку, чтобы хоть куда-нибудь уйти от самого себя. Привалов перезнакомился кое с кем из клубных игроков и, как это бывает со всеми начинающими, нашел, что, право, это были очень хорошие люди и с ними было иногда даже весело; да и самая игра, конечно по маленькой, просто для препровождения времени, имела много интересного, а главное, время за сибирским вистом с винтом летело незаметно; не успел оглянуться, а уж на дворе шесть часов утра.

Сначала Привалову было немного совестно очень часто являться в клуб, но потом он совсем освоился с клубной атмосферой. Народ все был свой, всех загоняла сюда за зеленые столы одна сила — бессодержательность и скука провинциальной жизни. Адвокаты, инженеры, золотопромышленники, купцы, разночинцы — все перемешались за зеленым полем в одну братскую пеструю кучку, жившую одними интересами. Страсть к игре сравнила всех и, как всякая болезнь, не

делала исключений. Привалов быстро вошел во вкус этой клубной жизни, весело катившейся в маленьких комнатах, всегда застланных табачным дымом и плохо освещенных. Он скоро изучил до тонкости особенности всех игроков, их слабости и смешные стороны. Были тут игроки, как он, от нечего делать; были игроки, которые появлялись в клубе периодически, чтобы спустить месячное жалованье; были игроки, которые играли с серьезными надутыми лицами, точно совершая таинство; были игроки-шутники, игроки-забулдыги; игроки, с которыми играли только из снисхождения, когда других не было; были, наконец, игроки по профессии, великие специалисты, чародеи и магики.

— Интересно, что́ сегодня будет у Ивана Яковлича с Ломтевым, — каждый раз говорил партнер Привалова, член окружного суда, известный в клубе под кличкой Фемиды. — Кто кого утопит... Нашла коса на камень...

Героями зимнего сезона в клубе являлись действительно Иван Яковлич и Ломтев, которые резались изо дня в день не на живот, а на смерть. Раньше они всегда были союзниками, а теперь какая-то черная кошка пробежала между ними, и они поклялись погубить один другого. Между прочим, Привалов слышал, что сыр-бор загорелся из-за какой-то женщины. Этот карточный турнир сосредоточивал на себе общее внимание, и, как военные бюллетени, шепотом передавали технические фразы: «У Ивана Яковлича заколодило... Ломтев в ударе! Иван Яковлич пошел в гору... Ломтев сорвался!» Привалов иногда с нетерпением дожидался вечера, чтобы узнать, кто сегодня сорвется и кто пойдет в гору. Куши росли, а с ними росло и внимание публики.

— Иван Яковлич обделает Ломтева козой, — говорил кто-нибудь.

— Нет, извините, Иван Яковлич еще чином не вышел... Вот посмотрите, как Ломтев завяжет его в узел!

— Иван Яковлич счастливо играет нынешнюю зиму... Ему везет...

— Гусей по осени считают. Выигрывает всегда тот, кому сначала не везет.

Здесь все было типично, даже клубный швейцар, снимая шубы с клубных завсегдатаев, докладывал:

— Ломтев с Пареным Ивана Яковлича разыгрывают-с... Тридцать шестая тысяча пошла.

— А сколько в зиму проигрывают в клубе? — спросил как-то Привалов.

— Год на год не приходится, Сергей Александрыч. А среднее надо класть тысяч сто... Вот в третьем году адвоката Пикулькина тысяч на сорок обыграли, в прошлом году нотариуса Калошина на двадцать да банковского бухгалтера Воблина на тридцать. Нынче, сударь, Пареный большую силу забирать начал: в шестидесяти тысячах ходит. Ждут к рождеству Шелехова — большое у них золото идет, сказывают, а там наши на Ирбитскую ярмарку тронутся.

Пареный — темная личность неизвестного происхождения и еще более неопределенного рода занятий — в нынешний сезон являлся восходящим светилом, героем дня. Это был средних лет мужчина, с выправкой старого военного; ни в фигуре, ни в лице, ни в манере себя держать, даже в костюме у него решительно ничего не было особенного. Самый заурядный из заурядных людишек, а счастье выбрало именно его... Впереди предвиделись новые куши и новые жертвы. Собственно, для случайностей здесь оставалось очень немного места: все отлично знали, что проиграет главным воротилам за зеленым столом тысяч пять Давид Ляховский, столько же Виктор Васильич, выбросит тысяч десять Лепешкин, а там приедет из Петербурга Nicolas Веревкин и просадит все до последней нитки. Из случайных жертв подвертывались сорвавшиеся с родительской цепи купеческие сынки, хватавшие плохо лежавший кус адвокаты, запустившие лапу в сундук банковские служащие и т. д. Адвокаты и горные инженеры пользовались в этом случае особенно громкой репутацией, потому что те и другие представляли для настоящих матерых игроков постоянную статью дохода: они спускали тут все, что успели схватить своими цепкими руками на стороне.

— Фильтруют нас здесь, батенька, крепко фильтруют, — говорил Nicolas Веревкин, потряхивая своей громадной головой. — Изображаем из себя веспасиановых губок или пиявок: только насосался, глядишь, уж и выжали, да в банку с холодной водой.

Привалов с любопытством неофита наблюдал этот исключительный мирок и незаметно для самого себя втягивался в его интересы. Он играл по маленькой, без особенно чувствительных результатов в ту или другую сторону. Однажды, когда он особенно сильно углубился в тайны сибирского виста с винтом, осторожный шепот заставил его прислушаться.

— Который? — спрашивал один голос.

— Вот этот... с бородкой, — отвечал другой.

— Гм... Ловко Александр Павлыч обделал делишки; одной рукой ухватился за заводы, другой...

Дальше Привалов не мог хорошенько расслышать шепот, но почувствовал, как вся кровь бросилась к нему в голову и внутри точно что перевернулось.

— Так-с... — продолжал второй голос. — Значит, она к нему и ездит?

— Не к нему в дом, у него своя жена... а к этой даме... Вон ее муж играет налево в углу с Павлом Андреичем.

Привалов инстинктивно взглянул налево в угол: там с Павлом Андреичем играл по одной сотой Виктор Николаевич Заплатин.

— А давно? — продолжался шепот.

— Да уж второй месяц. Красавица... Молодец этот Александр Павлыч! Так ему не взять бы ее, так он сначала ее выдал за него, а потом уж и прибрал к своим рукам.

Этот шепот заставил побелеть Привалова; он боялся оглянуться на шептавшихся, как человек, который ждет смертельного удара. У него дрожали колени и тряслись губы от бешенства. Теперь он в состоянии был убить кого угодно... Игра как раз кончилась, и когда он поднялся с места, невольно встретился глазами с двумя шептавшимися почтенными старичками, которые сейчас же замолчали. Привалов пристально посмотрел на них. Это были совсем незнакомые люди, по костюму — среднего провинциального круга. Его гнев так же быстро упал, как и поднялся: чем виноваты эти невинные сплетники, что он уже сделался жертвой беспощадной городской молвы? Теперь его интимная жизнь не была уже тайной, она была выброшена на улицу и безжалостно топталась всеми прохожими.

X

Вернувшись из клуба домой, Привалов не спал целую ночь, переживая страшные муки обманутого человека... Неужели его Зося, на которую он молился, сделается его позором?.. Он, несмотря на все семейные дрязги, всегда относился к ней с полной доверенностью. И теперь, чтобы спуститься до ревности, ему нужно было пережить страшное душевное потрясение. Раньше он мог смело смотреть в глаза всем: его семейная жизнь касалась только его одного, а теперь...

«Но обман, обман! — стонал Привалов, хватаясь за голову. — Отчего Зося не сказала прямо, что не любит меня?.. Разве...»

Привалову страстно хотелось бежать от самого себя. Но куда? Если человек безумеет от какой-нибудь зубной боли, то с чем сравнить всю эту душевную муку, когда все кругом застилается мраком и жизнь делается непосильным бременем?..

Сквозь этот наплыв клубком шевелившихся чувств слабым эхом пробивалась мысль: «А если все это неправда, пустая городская сплетня, на какую стоит только плюнуть?»

«Конечно, неправда... — говорил вслух Привалов, утешая себя собственно звуком этих слов. — Зося никогда не спустится до обмана...»

Но сейчас же около этой фразы вырастал целый лес страшных призраков. Привалов перебирал все мельчайшие подробности своей семейной жизни, которых раньше не мог понять, — они теперь осветились ярким, беспощадным светом... Ложь, ложь и ложь везде и во всем! Ложь в этой роскошной обстановке, ложь в каждой складке платья, в каждой улыбке, в каждом взгляде... Вот где источник ненависти к нему, с которой Зося напрасно боролась первое время. Половодов совсем опутал ее тысячью нитей, и она для этого человека могла решиться на все. Теперь ей больше нечего было терять, нечего ждать впереди: она отдалась течению, которое ее неудержимо несло в бездну. Может быть, она не отдалась еще Половодову — для такого обмана она слишком была расчетливой и холодной, —

но, что гораздо хуже, она принадлежала Половодову душой. Он все простил бы ей, все извинил, если бы даже открыто убедился в ее связи с Половодовым, но ведь она больше не принадлежала ему, как не принадлежала себе самой.

Привалов забылся только к самому утру тяжелым и беспокойным сном. Когда он проснулся, его первой мыслью было сейчас же идти к жене и переговорить с ней обо всем откровенно, не откладывая дела в долгий ящик.

— Можно войти? — послышался голос Nicolas Веревкина.

— Войдите...

Веревкин пролез в двери и поместился к столу. Привалов позвонил и велел подать водки. После третьей рюмки Nicolas, наконец, заговорил:

— А я к вам зашел проститься...

— Разве вы уезжаете?

— На Ирбитскую отправляюсь... Есть кой-какие делишки, так надо их оборудовать. Народ все теплый собирается...

— А скоро вы думаете ехать? — спросил Привалов, раздумывая что-то про себя.

— Да этак недельки через две надо будет тронуться. Папахен-то, слышали?

— Да, слышал.

— Прогорел совсем и тоже думает махнуть в Ирбит... Эти игроки все ездят на ярмарку поправляться, как больные куда-нибудь на воды. Папахен верует в теорию вероятностей и надеется выплыть... А шельма Ломтев мастерски его взвесил: общипал до последнего перышка.

Между прочим, Веревкин успел рассказать последние городские новости: приехал Данилушка Шелехов и теперь безобразничает с Лепешкиным в «Магните»; Половодов где-то совсем пропал и глаз никуда не кажет и т. д. Привалов почти ничего не слышал, что рассказывал Nicolas, а когда тот собрался уходить, он проговорил:

— Вот что, Николай Иваныч... Я тоже думаю побывать в Ирбите, так поедемте вместе.

— И отлично, Сергей Александрыч! Лихо закатимся... А для вас это даже необходимо; все эти дела хлебные там завариваются, нужно познакомиться кой с кем из настоящих козырных тузов.

— Да, да... Мне действительно там необходимо побывать.

— Покойник Игнатий Львович много денег загребал на этой Ирбитской — и ведь около каких пустяков: пенечки партию купит, сальца там, — а глядишь, в результате и обсмаковал целый куш.

Ехать на ярмарку было счастливой мыслью для Привалова. Именно ему необходимо было куда-нибудь уехать, чтобы избавиться от давивших его призраков. Оставаться в Узле теперь было выше его сил. Этой поездкой он убивал двух зайцев: раз, мог устроить несколько выгодных операций по хлебной торговле, а второе — он мог на время позабыться в этой бесшабашной ярмарочной атмосфере. Объясниться с женой именно теперь он раздумал, потому что под горячую руку мог ей наговорить много лишнего, а этим испортил бы все дело. Вообще в результате получился тот вывод, что необходимо бежать из Узла, хотя на время.

Через две недели Привалов отправился на ярмарку вместе с Веревкиным.

Подъезжая еще к Ирбиту, Привалов уже чувствовал, что ярмарка висит в самом воздухе. Дорога была избита до того, что экипаж нырял из ухаба в ухаб, точно в сильнейшую морскую качку. Нервные люди получали от такой езды морскую болезнь. Глядя на бесконечные вереницы встречных и попутных обозов, на широкие купеческие фуры, на эту точно нарочно изрытую дорогу, можно было подумать, что здесь только что прошла какая-то многотысячная армия с бесконечным обозом.

Ирбит — большое село в обыкновенное время — теперь превратился в какой-то лагерь, в котором сходились представители всевозможных государств, народностей, языков и вероисповеданий. Это было настоящее ярмарочное море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда. Жажда наживы согнала сюда людей со всех сторон, и эта разноязычная и разноплеменная толпа

отлично умела понять взаимные интересы, нужды и потребности. При первом ошеломляющем впечатлении казалось, что катилось какое-то громадное колесо, вместе с которым катились и барахтались десятки тысяч людей, оглашая воздух безобразным стоном.

— Папахен тоже на ярмарке, — предупредил Веревкин, когда они подъезжали к каким-то номерам. — Надо будет его разыскать. Впрочем, их с Ломтевым все знают, как белых воробьев.

Трехрублевый номер, который занял Привалов вместе с Веревкиным, как все ярмарочные номера, поражал своим убожеством, вонью и грязью. Непролазная грязь — неотъемлемая принадлежность всех русских ярмарок. Напившись чаю и отдохнув с дороги, Привалов и Веревкин разбрелись в разные стороны. Привалову нужно было на биржу, а потом к кое-кому из воротил по хлебной торговле. Народ был в разгоне, и Привалов проездил по городу до вечера, разыскивая разных нужных людей. Когда он вернулся в свой номер, усталый и разбитый, с пустой головой и волчьим аппетитом, Веревкин был уже дома, а с ним сидел «Моисей».

— Кого я вижу?.. — кричал он, обнимая Привалова. — Ну, батенька, вот не ожидал... Нечего сказать, удивил мир злодейством!

— Мне удивляться нечего: я за делом приехал, — полушутя, полусерьезно отвечал Привалов, — а вот тебя как сюда занесло?

— Меня?!. Ха-ха!.. Привела меня сюда... ну, одним словом, я прилетел сюда на крыльях любви, а выражаясь прозой, приехал с Иваном Яковличем. Да-с... Папахен здесь и сразу курсы поправил. Третью ночь играет, и на второй десяток тысяч перевалило.

— А ты бухгалтером, что ли, приехал с ним? — заметил лениво Веревкин.

— Говорят тебе — на крыльях любви...

— Это за Катькой Колпаковой, в переводе?

— Хотя бы и за ней... Она меня уж с полгода за нос водит.

Разговор, конечно, происходил с неизбежной выпивкой и характерной русской закуской в виде балыка,

салфеточной икры, соленых огурцов и т. д. Веревкин краснел все более и более. «Моисей» начинал глупо хлопать глазами.

— А где сегодня будут играть? — спрашивал «Моисей». — У Мухина?

— Не знаю, — ответил Веревкин как-то нехотя.

— Врешь, знаешь... И я знаю!

— Тебе же лучше, если знаешь...

— Ддаа... А папахен твой надувает меня... Я, брат, все знаю! Он хочет у меня Катьку Колпакову отбить... Нет, шалишь, не на того напал. Я ей покажу...

— Да, так вот в чем дело! Ну, это еще не велико горе. Катерина Ивановна, конечно, девица первый сорт по всем статьям, но сокрушаться из-за нее, право, не сто̀ит. Поверь моей опытности в этом случае.

— Это уж я знаю, сто̀ит или не сто̀ит... — глухо отвечал «Моисей», ероша волосы. — Я этой Катьке пропишу такую вселенскую смазь...

— Ого-го!.. Вон оно куда пошло, — заливался Веревкин. — Хорошо, сегодня же устроим дуэль по-американски: в двух шагах, через платок... Ха-ха!.. Ты пойми только, что сия Катерина Ивановна влюблена не в папахена, а в его карман. Печальное, но вполне извинительное заблуждение даже для самого умного человека, который зарабатывает деньги головой, а не ногами. Понял? Ну, что возьмет с тебя Катерина Ивановна, когда у тебя ни гроша за душой... Надо же и ей заработать на ярмарке на свою долю!..

От этих чисто ярмарочных разговоров у Привалова начинала просто болеть голова. Тема была бесконечна: нажива, вино, женщины, карты... Что-то пьяное и беспутное чувствовалось даже в самом воздухе. Смертная тоска начинала давить и сосать Привалова. Он хотел на время утонуть в этом ярмарочном море, но это было не так-то легко сделать. С раннего утра, где он ни был, везде лезла в глаза одна и та же картина: бесшабашное ярмарочное пьянство. Ни одного дела не делалось без водки, и Привалов не мог даже припомнить хорошенько, сколько он сегодня выпил. Впрочем, теперь ему даже хотелось пить. После каждой рюмки он испытывал какое-то предательски приятное чувство, которое

подталкивало и тянуло к следующей рюмке. Это облегчение было уже знакомо Привалову. Он испытывал его в Гарчиках, где пил водку с попом Савелом, и в Общественном узловском клубе, когда в антрактах между роберами нельзя было не выпить с хорошим человеком.

— Куда мы сегодня поедем вечером? — спрашивал захмелевший «Моисей».

— Вероятно, в «Биржевую гостиницу» или в «Магнит», — отвечал Веревкин, с самым глупым лицом прожевывая балык. — Нужно показать Сергею Александрычу нашу Ирбитскую ярмарку. Ведь это, батенька, картина, ежели разобрать. Оно кажется с первого разу, что все ярмарки похожи одна на другую как две капли воды: Ирбит — та же матушка Нижегородская, только посыпанная сверху снежком, а выходит то, да не то. Да-с... Любопытное местечко этот Ирбит, поелику здесь сходятся вплотную русская Европа с русской Азией! Люблю я эту самую Сибирь: самая купеческая страна. Бар и крепостного права она не видала, и даже всероссийский лапоть не посмел перевалить через Урал... В сапожках ходит наша Сибирь! И народец только — сорви-голова.

Под разными предлогами Веревкин кое-как выжил «Моисея» из номера.

— Зачем вы его выдворили? — спрашивал Привалов.

— Да так... Черт его знает, что у него на уме; еще скандал устроит Катерине Ивановне, а нам с вами нужно ехать сейчас.

— Куда?

— Побываем везде... Стоит посмотреть здешний народец. Видите ли, мы сначала завернем в «Биржевую», а потом к Катерине Ивановне: там папахен процеживает кого-то третий день. Крепкий старичина, как зарядит — так и жарит ночей пять без просыпу, а иногда и всю неделю. Как выиграл — вторую неделю гулять... Вы не слыхали, какую шутку устроил Данилушка с Лепешкиным? Ха-ха... Приходят в одну гостиницу, там аквариум с живыми стерлядями; Данилушка в аквариум, купаться... конечно, все раздавил и за все заплатил.

XI

Над Ирбитом стояла зимняя февральская ночь: все небо залито мириадами звезд; под полозьями звонко хрустел снег, точно кто хватался за железо закоченевшими на морозе руками. Лавки были закрыты; на площади и по улицам от возов с товарами, купеческих фур и мелких лавчонок не было свободного местечка. Посредине улицы едва оставался свободный проезд для экипажей; дорога в обыкновенном смысле не существовала, а превратилась в узкое, избитое ямами корыто, до краев наполненное смятым грязно-бурого цвета снегом, походившим на неочищенный сахарный песок. Жизнь и движение по улицам продолжались и ночью: ползли бесконечные обозы, как разрозненные звенья какого-то чудовищного ярмарочного червя; сновали по всем направлениям извозчики, вихрем летели тройки и, как шакалы, там и сям прятались какие-то подозрительные тени.

— В «Биржевую»! — приказывал Веревкин извозчику, когда они вышли на подъезд.

Если днем все улицы были запружены народом, то теперь все эти тысячи людей сгрудились в домах. С улицы широкая ярмарочная волна хлынула под гостеприимные кровли. Везде виднелись огни; в окнах, сквозь ледяные узоры, мелькали неясные человеческие силуэты; из отворявшихся дверей вырывались белые клубы пара, вынося с собою смутный гул бушевавшего ярмарочного моря. Откуда-то доносились звуки визгливой музыки и обрывки пьяной горластой песни.

Около «Биржевой гостиницы» стояло много извозчиков, и постоянно подъезжали новые с седоками. В передней обдавало посетителей спертой трактирной атмосферой. Где-то щелкали бильярдные шары, и резкими взрывами неслись припевы дикой ярмарочной песни. Охрипшие и надсаженные голоса арфисток неприятно резали непривычное ухо; на каждом шагу так и обдавало ярмарочным кабаком с его убогой роскошью и беспросыпным, отчаянным пьянством. Привалову страстно захотелось вернуться, но Веревкин

уже подхватил его под руку и насильно тащил по лестнице.

— Мы только посмотрим, — упрашивал он. — Ведь это море, настоящее море... Вон как Сибирь матушка поднялась: стоном-стон!

— Шире берри... валяй!!. — неистово выкрикивал какой-то захмелевший купчик, которого два лакея вели под руки.

— Кричи, братику: все любезное отечество помаленьку слопаешь, — шутил Веревкин, продираясь к отдельному столику сквозь густую толпу, окружавшую эстраду с арфистками.

Ах ты, береза,
Да ты ль, моя береза... —

разбитым, сиплым голосом начала примадонна, толстая, обрюзгшая девица с птичьим носом. Хор подхватил, и все кругом точно застонало от пестрой волны закружившихся звуков. Какой-то пьяный купчик с осовелым лицом дико вскрикивал и расслабленно приседал к самому полу.

За столами собралась самая пестрая публика, какую только можно себе представить. Чистокровный крупичатый москвич братался с коренным сибиряком, одесский коммерсант с архангельским помором, остзейский барон с бухарцем, лупоглазый румын с китайцем и т. д. Эта безобразная капля ярмарочного моря в миниатюре представляла собой все наше многоязычное, разноплеменное и неизмеримо разнообразное отечество: север и юг, запад и восток имели здесь своих типичных представителей, слившихся в одну пеструю мозаику. Здесь же толпились англичане, немцы, французы, американцы, итальянцы, армяне, евреи и тот специально ярмарочный люд, который трудно подвести под какую-нибудь определенную национальность. Есть такие люди, которых можно встретить только на ярмарках. Чем они занимаются, зачем приезжают на ярмарки — неразрешимая задача. Эти таинственные незнакомцы всегда чисто одеты и всегда щеголяют тяжелыми часовыми цепочками, массивными брелоками и дорогими кольцами.

— Привел господь в шестьдесят первый раз приехать на Ирбит, — говорил богобоязливо седой, благообразный старик из купцов старинного покроя; он высиживал свою пару чая с каким-то сомнительным господином поношенного аристократического склада. — В гору идет ярмарка-матушка... Умножается народ!

Привалов сначала почувствовал себя очень жутко в галдевшей пестрой толпе, но потом его глубоко заинтересовала эта развернутая страничка чисто русской жизни. Здесь переплелись в один крепкий узел кровные интересы миллионов тружеников, а эта вечно голодная стая хищников справляла свой безобразный шабаш, не желая ничего знать, кроме своей наживы и барыша. Глядя на эти довольные лица, которые служили характерной вывеской крепко сколоченных и хорошо прилаженных к выгодному делу капиталов, кажется, ни на мгновение нельзя было сомневаться в том, «кому живется весело, вольготно на Руси...» Эта страшная сила клокотала и бурлила здесь, как вода в паровом котле: вот-вот она вырвется струей горячего пара и начнет ворочать миллионами колес, валов, шестерен и тысячами тысяч мудреных приводов.

— А вон и наши великие чудотворцы!.. — крикнул Веревкин, прерывая мысли Привалова.

— Кто?

— Да Лепешкин с Данилушкой... Вот уж про кого можно сказать, что два сапога — пара: другой такой не подобрать. Ха-ха!..

Лепешкин и Данилушка бродили из комнаты в комнату под ручку, как два брата. Они чувствовали себя здесь так же хорошо, как рыба в воде, и, видимо, только подыскивали случай устроить какую-нибудь механику.

— Ах, раздуй тебя горой... Миколя!.. — кричал Лепешкин, издали завидя Веревкина. — Ты как попал к нам? Да и Сергей Александрыч... Ох-хо-хо!.. Горе душам нашим...

Данилушка так и покатился шаром, распахнув свои короткие ручки. Его смуглое лицо лоснилось, а глаза совсем заплыли. Он облобызал Привалова.

— Весело? — спрашивал Привалов друзей.

— Ох, весело, Сергей Александрыч... — как-то вздохнул всей своей утробой Лепешкин. — Ты только погляди, какую мы здесь обедню отзваниваем: чистое пекло!.. И все свои, все по купечеству... Гуляй, душа!..

— Ну, чудотворцы, что вы тут поделываете? — допрашивал Веревкин стариков.

— Да чего нам делать-то? Известная наша музыка, Миколя; Данила даве двух арфисток вверх ногами поставил: одну за одну ногу схватил, другую за другу да обеих, как куриц, со всем потрохом и поднял... Ох-хо-хо!.. А публика даже уж точно решилась: давай Данилу на руках качать. Ну, еще акварию раздавили!.. Вот только тятеньки твоего нет, некогда ему, а то мы и с молебном бы ярмарке отслужили. А тятеньке везет, на третий десяток перевалило.

Шампанское полилось рекой. Все пили... Привалов вдруг почувствовал себя необыкновенно легко, именно легко, точно разом стряхнул с себя все невзгоды. Ему хотелось пить и пить, пить без конца. Пьяный Данилушка теперь обнимал Привалова и хриплым шепотом говорил:

— Отчего ты к нам-то не заглянешь... а?

Привалов рассказал свой последний визит к Марье Степановне и свою встречу с Василием Назарычем в банке.

— Ох, напрасно, напрасно... — хрипел Данилушка, повертывая головой. — Старики ндравные, чего говорить, характерные, а только они тебя любят пуще родного детища... Верно тебе говорю!.. Может, слез об тебе было сколько пролито. А Василий-то Назарыч так и по ночам о тебе все вздыхает... Да. Напрасно, Сереженька, ты их обегаешь! Ей-богу... Ведь я тебя во каким махоньким на руках носил, еще при покойнике дедушке. Тоже и ты их любишь всех, Бахаревых-то, а вот тоже у тебя какой-то сумнительный характер.

Данилушка, как умел, рассказал последние новости о бахаревском доме: Костя все еще гостит и помирился со стариками; на приисках золото так и лезет — на настоящую россыпь натакались; Верочка совсем невеста, жениха ей беспременно надо, а то как бы грех не вышел какой, как с Надеждой Васильевной. Ох, и

хороша же была эта Надежда Васильевна: красавица, умница, характер — шелк шелком, а вот, поди ты, ни за грош, ни за копеечку пропала. По зиме-то Марья Степановна нарочно посылала на прииски к Лоскутову, разведать о Надежде-то Васильевне, что и как. Сказывали — слух пал — дитё у ней, старуха-то и всполошилась: хошь и прокляла сгоряча, а свою кровь как, поди, не жаль... Ну, ничего, все благополучно: и сама Надежда Васильевна и дитё. — Привалов слушал Данилушку с опущенной головой; эти имена поднимали в нем старые воспоминания неиспытанного счастья, которые были так далеки от его настоящего.

— Ну, нам пора, Сергей Александрыч, — заговорил Веревкин, поднимаясь с места. — Поедемте дальше...

— А ты куда, Миколя? — допытывался Лепешкин.

— Туда, куда тебе нельзя ехать.

— Ой, врешь... Ей-богу, врешь! Мы с Данилой тоже припрем к вам, только вот еще здесь расправим немножко косточки.

— Приезжайте, только «Моисея» не возите с собой.

— Ладно, ладно. И это знаем... Катерине Ивановне поклончик. Да вот чего, у меня тут кошевая стоит, у самого трактира — только кликни Барчука. Лихо домчит... Зверь, а не ямщик.

— Хорошо, хорошо.

Привалов и Веревкин пошли к выходу, с трудом пробираясь сквозь толпу пьяного народа. Везде за столиками виднелись подгулявшие купчики, кутившие с арфистками. Нецензурная ругань, женский визг и пьяный хохот придавали картине самый разгульный, отчаянный характер.

К подъезду лихо шарахнулась знаменитая тройка Барчука. Кошевая была обита персидскими коврами; сам Барчук, совсем седой старик с косматой бородой и нависшими бровями, сидел на козлах, как ястреб.

— К Катерине Ивановне!.. — коротко отдал приказание Веревкин.

Барчук неистово гикнул, и тройка птицей полетела куда-то на окраину, минуя самые бойкие торговые места. Привалов залюбовался тройкой: коренник-иноходец вытянулся и, закинув голову, летел стрелой;

пристяжные, свернувшись в кольцо, мели землю своими гривами. Валдайские колокольчики вздрагивали и замирали под высокой расписной дугой. У подъезда одного двухэтажного дома с освещенными окнами Барчук осадил тройку своей железной рукой, как мертвую; лошади даже присели на круп. На звонок выбежала горничная и внимательно осмотрела гостей.

— Свои, свои... — успокаивал ее Веревкин, вылезая из шубы. — Кто наверху?

— Московский барин да иркутские купцы.

В зале, отделанном с большой роскошью, гостей встретила сама Катерина Ивановна. Она была сегодня в тяжелом бархатном платье, с брильянтовой бабочкой в золотистых волосах.

— Вы, кажется, незнакомы, — заговорил Веревкин, рекомендуя Привалова.

— Вот где мы, наконец, встретились с вами, — протянула Катерина Ивановна, рассматривая Привалова своими прищуренными близорукими глазами.

— Папахен где? — спрашивал Веревкин, заглядывая за портьеру следующей комнаты.

Катерина Ивановна только слегка кивнула своей красивой головкой и добродушно засмеялась. Привалов рассматривал эту даму полусвета, стараясь подыскать в ней родственные черты с той скромной старушкой, Павлой Ивановной, с которой он когда-то играл в преферанс у Бахаревых. Он, как сквозь сон, помнил маленькую Катю Колпакову, которая часто бывала в бахаревском доме, когда Привалов был еще гимназистом.

— Что вы на меня так смотрите? — с улыбкой спрашивала девушка, быстро поднимая на Привалова свои большие темносерые глаза. — Я вас встречала, кажется, в клубе...

— Да, я тоже встречал вас.

Наступила тяжелая пауза. Катерина Ивановна, видимо, стеснялась; Привалову вдруг сделалось жаль этой красивой девушки, вырванной из семьи в качестве жертвы общественного темперамента. «Ведь она человек, такой же человек, как все другие,— подумал Привалов, невольно любуясь смутившейся красавицей. —

Чем же хуже нас? Ее толкнула на эту дорогу нужда, а мы...» Катерина Ивановна поймала этот взгляд и как-то болезненно выпрямилась, бросив на Привалова нахальный, вызывающий взгляд.

В следующей комнате шла игра с той молчаливой торжественностью, с какой играют только завзятые игроки, игроки по призванию. На первом плане был Иван Яковлич, бледный, с мутным взглядом, с взъерошенными волосами; он держал банк. Привалову бросились в глаза его женские руки, в которых как-то сами собой тасовались карты. Напротив него стоял «московский барин». В нем сразу можно было узнать прежнего военного из какого-нибудь дорогого полка. Но красивое молодое лицо уже поблекло от бессонных ночей и превратностей жизни афериста. Человек пять иркутских купцов размещались вокруг стола в самых непринужденных позах; измятые лица и воспаленные глаза красноречиво говорили об их занятиях. На двух столах помещались вина и закуски. Когда Привалов вошел в комнату, на него никто даже не взглянул, так все были заняты главными действующими лицами, то есть Иваном Яковличем и московским барином.

— Вот, пожалуйте сюда-с... — предупредительно шепнула какая-то темная личность, точно вынырнувшая из-под пола.

Это был типичный ярмарочный шакал, необходимая свита при каждом крупном игроке. Он униженно кланялся при каждом слове и постоянно улыбался принужденной льстивой улыбкой. Усадив Привалова, шакал смиренно отошел в темный уголок, где дремал на залитом вином стуле.

Обстановка комнаты придавала ей вид будуара: мягкая мебель, ковры, цветы. С потолка спускался розовый фонарь; на стене висело несколько картин с голыми красавицами. Оглядывая это гнездышко, Привалов заметил какие-то ноги в одном сапоге, которые выставлялись из-под дивана.

— Это Иван Митрич... — доложил почтительным шепотом шакал, поймав взгляд Привалова. — Вторые сутки-с почивают. Сильно были не в себе.

Игра совершалась попрежнему в самом торжественном молчании. Иван Яковлич держал банк, уверенными движениями бросая карты направо и налево. Московский барин равнодушно следил за его руками. У него убивали карту за картой. Около Ивана Яковлича, на зеленом столе, кучки золота и кредиток все увеличивались.

— На тридцать шестую тыщу перевалило... — шептались купцы.

Привалов поставил карту — ее убили, вторую — тоже, третью — тоже. Отсчитав шестьсот рублей, он отошел в сторону. Иван Яковлич только теперь его заметил и поклонился с какой-то больной улыбкой; у него на лбу выступали капли крупного пота, но руки продолжали двигаться так же бесстрастно, точно карты сами собой падали на стол.

— Эк их взяло... точно замерли! — ворчал Nicolas Веревкин, пересаживаясь от игорного стола к закуске. — Папахен сегодня дьявольски режет...

К столу с винами подошел «московский барин»; он блуждающим взглядом посмотрел на Привалова и Веревкина, налил себе рюмку вина и, не выпив ее, пошатываясь вышел из комнаты.

— Этот совсем готов: finita la commedia [1], — объяснял Nicolas, кивая головой на закрывшуюся за московским барином портьеру.

— Проигрался?

— Да... Тысяч двадцать пять просадил. Из московских жуланов. Каждую ярмарку приезжает обирать купцов, а нынче на папахена и наткнулся. Ну да ничего, еще успеет оправиться! Дураков на его долю еще много осталось...

Игра продолжалась. «Московского барина» сменил белобрысый купчик в «спинджаке» и брильянтовых запонках. Он выиграл три раза и начал повышать ставку.

— Ваня, обрежешься... — удерживал его черноволосый купец с косыми глазами.

---

[1] представление окончено *(итал.)*.

«Спинджак» опять выиграл, вытер лицо платком и отошел к закуске. Косоглазый купец занял его место и начал проигрывать карту за картой; каждый раз, вынимая деньги, он стучал козонками по столу и тяжело пыхтел. В гостиной послышался громкий голос и сиплый смех; через минуту из-за портьеры показалась громадная голова Данилушки. За ним в комнату вошла Катерина Ивановна под руку с Лепешкиным.

— Ну и утешил!! — кричал Лепешкин, тыкая Данилушку своим опухшим перстом. — Настоящее светопреставление!.. Только вы, Сергей Александрыч, уехали из «Биржевой», мы самую малость посидели и закатили в «Казань», а там народичку тьма-тьмущая. Сели к столику, спросили холодненького, а потом Данила и говорит: «Давай всю публику изутешим: я представлюсь сумасшедшим, а ты будто мой брат. Ей-богу!.. Валяй...» Ох-хо-хо!.. Как он выворотит зенки да заорет не своим голосом — страсть! Народ весь к нам — шум, столарня... Я его руками держу, а он на стены кидается!.. Потом подвернулась какая-то арфистка, а он на нее, потом по столам побежал, по посуде, через головы... «Кто такой? Что попритчилось с мужиком?» Говорю, что мой брат, семипалатинский купец. А Данило забрался к арфисткам и давай на них кидаться: визг, крик, страсти господни! Уж кое-как его изловили, тюменские купцы подвернулись, связали салфетками, а потом прямо в кошевую к Барчуку. Поблагодарил я их, говорю, — прямо к душевному доктору повезу... Ха-ха!.. Вот и привез!

— Да ведь тут у вас половина знакомых была в «Казани», — посмеивался Веревкин.

— Были и знакомые... Как не быть! Животики надорвали, хохочут над Данилушкой... Ох-хо-хо! Горе душам нашим... Вот как, матушка ты наша, Катерина Ивановна!.. Не гляди на нас, что мы старые да седые: молодому супротив нас еще не уколоть... Ей-богу!.. Только вот Ивана Яковлича не было, а то бы еще чище штуку сыграли.

Данилушка только ухмылялся и утирал свое бронзовое лицо платком. Купцы отошли от игорного стола и хохотали вместе с другими над его выдумкой.

Лепешкин отправился играть и, повернув свою круглую седую голову, кричал:

— Катерина Ивановна, на твои счастки буду играть; все твое...

— Лучше так отдай мне деньги, все равно проиграешь, — отвечала Катерина Ивановна.

— Ишь ты, больно гладкая... Валяй, Иван Яковлич!..

Игра оживилась, куши начали расти, руки Ивана Яковлича задвигались быстрее. Привалов тоже принял участие в игре и вернул почти все проигранные давеча деньги. Белобрысый купец сидел с ним рядом и с азартом увеличивал ставки. Лепешкину везло, Привалов начинал проигрывать и тоже увеличивал ставки. Он почувствовал какое-то неприятное озлобление к Ивану Яковличу и его двигавшимся белым рукам.

Игра разгоралась все сильней и сильней, точно в потухавший огонь подлили масла. К игрокам пристал и Данилушка. Кучки золота около Ивана Яковлича все увеличивались, а вместе с ними увеличивалось и росло у его партнеров желание отыграть эти кучки. Привалов поддался общему настроению и проигрывал карту за картой, с небольшими перерывами, когда около него на столе образовывалась на несколько минут тоже маленькая кучка из полуимпериалов. «Не может быть, чтобы Ивану Яковличу везло вечно», — думал пьяный Привалов, как думали другие. Дальше он начинал жалеть глупо проигранных денег и внутренно давал себе слово, что как только воротит проигрыш — сейчас же забастует. Но проигрыш все шел на увеличение, а не на уменьшение, и Привалов чувствовал какую-то жгучую потребность выиграть у Ивана Яковлича хоть часть проигранных денег. В этот момент он почувствовал, что его кто-то тянет легонько за рукав; он быстро обернулся и встретился глазами с Катериной Ивановной. Девушка звала его немым выразительным взглядом, и Привалов пошел за ней в гостиную.

— Я вам больше не дам играть... — тихо проговорила она, притворяя за собой дверь.

— Это почему?

— А так... Проиграете.

— Почему же именно я должен проиграть, а не ваш Иван Яковлич?

— Так... — коротко ответила Катерина Ивановна. — Во-первых, вы горячитесь, во-вторых, Иван Яковлич всегда выигрывает...

— Однако Ломтев его разыграл?

— То совсем другое дело: нашла коса на камень...

Это непрошенное вмешательство сначала рассердило Привалова; он готов был наговорить Катерине Ивановне дерзостей, но потом как-то вдруг отмяк и улыбнулся.

— Действительно, я глупости делаю, — проговорил он. — Да и пьян порядочно.

— Скоро кататься поедем, холодком продует. Видели, как проигрался Шнегас?

— Это отставной военный?

— Да, да... Все спустил, а не из последних игроков. Я сейчас пошлю за лошадьми...

Привалов вернулся в игорную комнату, где дела принимали самый энергичный характер. Лепешкин кричал и ругался, другие купцы тоже. В золотой кучке Ивана Яковлича виднелись чьи-то кольца и двое золотых часов; тут же валялась дорогая брильянтовая булавка.

— Так ты не хочешь мне на вексель поверить? — кричал Лепешкин, стуча кулаками по столу. — Мне?.. а?..

— Не могу... — коротко отвечал Иван Яковлич, опуская глаза.

— Так ты вот какие со мной поступки поступаешь?! Ах ты, дьявол этакий... черт!.. Да я тебя...

Неистовый старик только ринулся было через стол на Ивана Яковлича, чтобы доказать ему собственноручно, какой такой человек он есть, но Данилушка удержал его во-время.

— Отстань, дурмень, — хрипел Данилушка, принимая друга в свои железные объятия. — Разве это порядок?

— Да я ему... Кто он? Да я... Пусти, ради Христа! Дьявол, пусти...

— Не пущу... не шеперься.

Этим эпизодом игра кончилась. Иван Яковлич бросил карты и проговорил:

— Больше не могу...

— А почему ты мне под вексель не поверил? — придрался к нему Лепешкин. — Я тебе верю, а ты мне не хочешь... а?

Иван Яковлич с улыбкой взял со стола горсть золота и протянул руку к Лепешкину...

— Теперь сколько хочешь, а во время игры не могу...

— Да мне теперь-то не надо, а зачем даве не давал?

— Да нельзя же, говорят тебе! — усовещивал Данилушка расходившегося приятеля. — Невозможно, и все тут... Везде так.

— Черти вы, вот что! — ругался Лепешкин, не зная, как ему сорвать свою обиду.

Под окном послышался звон бубенчиков, — это подкатили кошевые. Вся компания торопливо подкрепилась около винного столика и повалила в переднюю. Катерина Ивановна вышла после других в бархатной синей шубке на настоящем собольем меху. Кошевые в это время быстро нагружались вином и приличной снедью; в двух даже были поставлены ломберные столы. При громадной вместимости кошевых — в них можно было свободно посадить человек двенадцать — эти затеи были самым обыкновенным делом. В кошевой Барчука поместились Привалов, Иван Яковлич с Катериной Ивановной, Веревкин, Лепешкин и Данилушка.

— Ох, много еще места пустого... — скорбел Лепешкин.

— Я сама буду править, — вызвалась Катерина Ивановна. — Барчук, вожжи...

Девушка села на облучок, забрала в руки вожжи, и кошевая полетела за город. Началась самая бешеная скачка вперегонку, но тройку Барчука трудно было обогнать: лошади были на подбор. Другие кошевые скоро остались назади и ныряли по ухабам, как лодки в бурю. Ночь была звездная, но звезды уже блекли, и небо заволакивалось предутренней белесоватой мглой.

Вздымаемый копытами снег покрыл всех серым налетом, а синяя шубка Катерины Ивановны совсем побелела. Соболья шапочка на голове у нее тоже превратилась в ком снега, но из-под нее вызывающе улыбалось залитое молодым румянцем девичье лицо, и лихорадочно горели глаза, как две темных звезды. Свежий воздух, вместо того чтобы освежить Привалова, подействовал как раз наоборот: он окончательно опьянел и чувствовал, как все у него летит перед глазами,— полосы снега, ухабы, какой-то лес, рожа Лепешкина, согнутая ястребиная фигура Барчука и волны выбившихся из-под собольей шапочки золотистых волос. Вперед!.. Чтобы дух занимало и искры сыпались из глаз... Вон Барчук сам взял вожжи, вскрикнул каким-то нечеловеческим голосом, и все кругом пропало в резавшей лицо и слепившей глаза снежной пыли. Лошадей больше нельзя было рассмотреть, а кошевая точно сама собой неслась в снежную даль, как стрела, выпущенная из лука могучей рукой.

Дальнейшие впечатления для Привалова перемешались в самую невозможную мозаику, точно его несло куда-то вихрем. Тройки съехались, на привале все пили... Откуда-то появились пьяные женщины, которых обливали вином. Потом скакали обратно в город, причем Привалов даже сам несколько времени правил барчуковой тройкой. Но все это происходило как во сне или в потемках. В каком-то большом доме, где играла музыка и было очень много женщин, все танцевали, а Лепешкин с Данилушкой откололи свою «руськую». Потом все собрались в большой комнате, где много пили, пели песни... У Привалова сильно кружилась голова, и он заметил, что Веревкин постоянно был возле него, как нянька.

— Столы... составляй столы! — орали пьяные голоса.

Из столов, сдвинутых вместе, образовалось нечто вроде концертной эстрады, которую со всех сторон окружили шатавшиеся пьяные люди. Потом Привалов видел, как Веревкин вынес из соседней комнаты что-то белое и поставил это белое на помост. Собравшаяся публика дико взвыла, точно голодная стая волков.

которой бросили кусок свежего мяса: на помосте в одной рубашке стояла Катерина Ивановна... Она что-то пела такое веселое и канканировала. Публика дико выла и несколько раз принималась ее качать на руках. Привалов аплодировал и кричал вместе с другими, и ему страстно хотелось поколотить этого Ивана Яковлича.

Потом вся эта картина исчезла, точно в тумане. Привалов помнил только, что он сидел очень близко к Катерине Ивановне, она беззаботно смеялась и разглаживала ему волосы своими белыми маленькими руками. Когда он проснулся, кругом было темно, на полу валялись какие-то спавшие люди, сломанная мебель, пустые бутылки и т. д. Привалов лежал на диване, а рядом с ним, на подставленных к дивану стульях, богатырским сном спал Nicolas Веревкин. Голова у Привалова страшно трещала, хотелось пить, в груди что-то жгло. Привалов смутно припомнил, где он и что с ним, а потом опять забылся тяжелым пьяным сном. Когда он проснулся во второй раз, на полу комнаты сидели и лежали те же фигуры и опять пили.

— В театр пора, Сергей Александрыч!.. — крикнул кто-то. — Вставайте да поправляйтесь скорее.

— Какой театр... где?

— Да ведь десятый час на дворе... Ха-ха!.. — хохотал Веревкин, только что успевший умыться.

Короткий зимний день был вычеркнут из среды других дней, а наступившая ночь точно служила продолжением вчерашней.

XII

Ярмарочный театр, кой-как сгороженный из бревен и досок, был битком набит пьяной ярмарочной публикой. Ложа, в которую попал Привалов, была одна из ближайших к сцене. Из нее отлично можно было рассматривать как сцену, так и партер. Привалова особенно интересовал последний, тем более что пьеса шла уже в половине. В ложе теперь сидел он только с Веревкиным, а остальная компания нагружалась в буфете. Поместившись к барьеру, Привалов долго

рассматривал ряды кресел и стульев. На них разместилось все, что было именитого на десятки тысяч верст: московские тузы по коммерции, сибирские промышленники, фабриканты, водочные короли, скупщики хлеба и сала, торговцы пушниной, краснорядцы и т. д. От каждого пахло десятками и сотнями тысяч. Было несколько миллионеров, преимущественно с сибирской стороны.

— Картина!.. — говорил Nicolas, мотая головой в партер. — Вот вам наша будущая буржуазия, которая тряхнет любезным отечеством по-своему. Силища, батенька, страшенная!..

Веревкин был пьян еще со вчерашнего, и Привалов тоже чувствовал себя не особенно хорошо: ему было как-то все равно, и он смотрел кругом взглядом постороннего человека. В душе, там, глубоко, образовалась какая-то особенная пустота, которая даже не мучила его: он только чувствовал себя частью этого громадного целого, которое шевелилось в партере, как тысячеголовое чудовище. Ведь это целое было неизмеримо велико и влекло к себе с такой неудержимой силой... Вольготное существование только и возможно в этой форме, а все остальное должно фигурировать в пассивных ролях. Даже злобы к этому целому Привалов не находил в себе: оно являлось только колоссальным фактом, который был прав сам по себе, в силу своего существования.

— Искусство прогрессирует... — слышался в соседней ложе сдержанный полушепот, который заставил Привалова задрожать: это был голос Половодова. — Да, во всех отраслях человеческой деятельности, в силу основного принципа всякого прогрессивного движения, строго и последовательно совершается неизбежный процесс дифференцирования. Я сказал, что искусство прогрессирует, — действительно, наши отцы, например, сходили с ума от балета, а в наше время он совсем упал. И в самом деле, если взять все эти пуанты и турде-форсы только сами по себе, получается какая-то глупая лошадиная дрессировка — и только. Восхищались балетными антраша, в которых Камарго делала четыре удара, Фанни Эльслер — пять, Тальони —

шесть, Гризи и Сангалли — семь, но вышла на сцену шансонетка — и все эти антраша пошли к черту! Да-с... Я именно с этой стороны понимаю прогресс...

В одной ложе с Половодовым сидел Давид и с почтительным вниманием выслушивал эти поучения; он теперь проходил ту высшую школу, которая отличает кровную золотую молодежь от обыкновенных смертных.

— Вот черт принес... — проворчал Веревкин, когда завидел Половодова.

Появление Половодова в театре взволновало Привалова так, что он снова опьянел. Все, что происходило дальше, было покрыто каким-то туманом. Он машинально смотрел на сцену, где актеры казались куклами, на партер, на ложи, на раек. К чему? зачем он здесь? Куда ему бежать от всей этой ужасающей человеческой нескладицы, бежать от самого себя? Он сознавал себя именно той жалкой единицей, которая служит только материалом в какой-то сильной творческой руке.

По окончании пьесы в ложу ввалилась остальная пьяная компания. Появление Ивана Яковлича произвело на публику заметное впечатление: сотни глаз смотрели на этого счастливца, о котором по ярмарке ходили баснословные рассказы. Типичная свита из Данилушки, Лепешкина и Nicolas Веревкина усиливала это впечатление. Эти богачи и миллионеры теперь завидовали какому-нибудь Ивану Яковличу, который на несколько времени сделался героем ярмарочного дня. Из лож и кресел на него смотрели с восторженным удивлением, как на победителя. Даже обыгранные им купчики разделяли это общее настроение: они были довольны уже тем, что проиграли не кому другому, а самому Ивану Яковличу.

— Папахен-то ведь и спать даже не ложился, — сообщал Привалову Nicolas Веревкин. — Пока мы спали, он работал... За восемьдесят тысяч перевалило. Да... Я советовал забастовать, так не хочет: хочет добить до ста.

Nicolas Веревкин назвал несколько громких имен в торговом мире, которые сегодня жестоко поплатились за удовольствие сразиться с Иваном Яковличем.

Сам Иван Яковлич был таким же, как и всегда: так же нерешительно улыбался и выглядел попрежнему каким-то подвижником.

— Сейчас будет Катя петь... — предупредил Nicolas Привалова, указывая на афише на фамилию m-lle Колпаковой, которая в антракте между пьесой и водевилем обещала исполнить какую-то шансонетку.

— «Моисей» в театре, — шепнул Nicolas Веревкин отцу.

— Где?

— В первом ряду, налево...

— Ах, черт его возьми!.. Что же ты раньше не сказал? — смущенно заговорил Иван Яковлич. — Необходимо было предупредить Катю.

— Да он только что пришел, а сейчас занавес...

Иван Яковлич только пожал плечами и принялся в бинокль отыскивать «Моисея». В этот момент поднялся занавес, и публика встретила выбежавшую из-за кулис Катерину Ивановну неистовыми аплодисментами. Она была одета в короткое платьице французской гризетки и бойко раскланивалась с публикой. Лепешкин и Данилушка, не довольствуясь обыкновенными аплодисментами, неистово стучали ногами в пол. Даже из ложи Половодова слышались аристократические шлепки затянутых в перчатки рук. Капельмейстер поднес певице большой букет, и она, прижимая подарок к груди, несколько раз весело кивнула головой в ложу Ивана Яковлича.

— Ох, горе душам нашим! — хрипел Лепешкин, отмахиваясь обеими руками. — Ай да Катерина Ивановна, всю публику за один раз изуважила...

Капельмейстер взмахнул своей палочкой, скрипки взвизгнули, где-то глухо замычала труба. Наклонившись всем корпусом вперед, Катерина Ивановна бойко пропела первый куплет; «Моисей» впился глазами, когда она привычным жестом собрала юбки веером и принялась канканировать. Сквозь смятое плиссе юбок выступали полные икры, и ясно обрисовывалось, точно

облитое розовым трико, колено... Опустив глаза и как-то по-детски вытянув губы, Колпакова несколько раз повторила речитатив своей шансонетки, и когда публика принялась неистово ей аплодировать, она послала несколько поцелуев в ложу Ивана Яковлича.

— О-ох, матушка ты наша... — хрипел Лепешкин, наваливаясь своим брюхом на барьер ложи.

В этот момент в первом ряду кресел взвился белый дымок, и звонко грянул выстрел. Катерина Ивановна, схватившись одной рукой за левый бок, жалко присела у самой суфлерской будки, напрасно стараясь сохранить равновесие при помощи свободной руки. В первых рядах кресел происходила страшная суматоха: несколько человек крепко держали какого-то молодого человека за руки и за плечи, хотя он и не думал вырываться.

— Да ведь это «Моисей»!.. — крикнул кто-то.

— Он самый, — подтвердил Лепешкин. — Я своими глазами видел, как он к музыкантам подбежал да в Катерину Ивановну и запалил.

Опустили занавес. Полиция принялась уговаривать публику расходиться.

— Не уходите, — говорил Nicolas Веревкин Привалову, — мне же придется защищать этого дурака... Авось свидетелем пригодитесь: пойдемте за кулисы.

На сцене без всякого толку суетились Лепешкин и Данилушка, а Иван Яковлич как-то растерянно старался приподнять лежавшую в обмороке девушку. На белом корсаже ее платья блестели струйки крови, обрызгавшей будку и помост. Притащили откуда-то заспанного старичка доктора, который как-то равнодушно проговорил:

— Помогите, господа, перенести больную в уборную куда-нибудь...

Данилушка, Лепешкин, Иван Яковлич и еще несколько человек исполнили это желание с особенным усердием и даже помогли расшнуровать корсет. Доктор осмотрел рану, послушал сердце и флегматически проговорил:

— Так... пустяки. Впрочем, необходимо сначала привести ее в чувство.

— Подождите еще минуточку, пока приедет следователь, — упрашивал Веревкин Привалова.

Привалов остался и побрел в дальний конец сцены, чтобы не встретиться с Половодовым, который торопливо бежал в уборную вместе с Давидом. Теперь маленькая грязная и холодная уборная служила продолжением театральной сцены, и публика с такой же жадностью лезла смотреть на последнюю агонию умиравшей певицы, как давеча любовалась ее полными икрами и бесстыдными жестами.

Привалову пришлось ждать следователя почти час. Он присел на сложенные в углу кулисы и отсюда машинально наблюдал суетившуюся на сцене публику; кто тащил ведро воды, кто льду на тарелке, кто корпию. Доктор несколько раз выходил из уборной и только отмахивался рукой от сыпавшихся на него со всех сторон вопросов. Комедия жизни неожиданно перешла в драму... Вон Данилушка растерянно выскочил из уборной и трусцой побежал на авансцену. Привалов окликнул его, старик на мгновение остановился и, узнав Привалова, хрипло крикнул:

— Отходит...

— Кто отходит?

— Катерина Ивановна... она отходит!

Данилушка последние слова крикнул уже из помещения для музыкантов, куда спрыгнул прямо со сцены; он торопливо перелез через барьер и без шапки побежал через пустой партер к выходу.

Привалов пошел в уборную, где царила мертвая тишина. Катерина Ивановна лежала на кровати, устроенной на скорую руку из старых декораций; лицо покрылось матовой бледностью, грудь поднималась судорожно, с предсмертными хрипами. Шутовской наряд был обрызган каплями крови. Какая-то добрая рука прикрыла ноги ее синей собольей шубкой. Около изголовья молча стоял Иван Яковлич, бледный как мертвец; у него по лицу катились крупные слезы.

Через пять минут все было кончено: на декорациях в театральном костюме лежала попрежнему прекрасная женщина, но теперь это бездушное тело не мог

уже оскорбить ни один взгляд. Рука смерти наложила свою печать на безобразную человеческую оргию.

— Кончились, ваше высокоблагородие... — шепотом говорил какой-то полицейский, впуская в уборную следователя, точно он боялся кого-то разбудить.

Началось предварительное следствие с допросом обвиняемого и свидетелей. Было осмотрено место преступления и вещественные доказательства. Виктор Васильич отвечал на все вопросы твердо и уверенно, свидетели путались и перебивали друг друга. Привалов тоже был допрошен в числе других и опять ушел на сцену, чтобы подождать Nicolas Веревкина.

— Сергей Александрыч, Сергей Александрыч! — кричал Веревкин, выбегая из уборной через пять минут.

— Что случилось?

— Ваш брат здесь...

— Какой?

— Да Тит Привалов... Сейчас его допрашивает следователь. Идите скорее...

Перед следователем стоял молодой человек с бледным лицом и жгучими цыганскими глазами.

— Вы находились в числе других актеров ярмарочной труппы? — спрашивал следователь.

— Да... Я играл под фамилией Валова, — с иностранным акцентом отвечал молодой человек, встряхивая черными как смоль волосами.

— Та-ак-с... Так ваша настоящая фамилия Привалов?

— Да... Тит Привалов, один из владельцев Шатровских заводов.

Веревкин поймал владельца Шатровских заводов на сцене и снова допросил его, кто он и откуда, а потом отрекомендовал ему Привалова.

— Вот ваш родной брат, Сергей Александрыч Привалов...

Братья нерешительно подали руки друг другу и не знали, что им говорить.

— Вы теперь свободны? — спрашивал Nicolas молодого человека. — Поедемте с нами, а там уж познакомимся...

— Я с удовольствием... — замялся Тит Привалов, — только у меня нет своей шубы...

— Тогда мы сделаем так: вы, Сергей Александрыч, поедете домой и пошлете нам свою шубу, а мы подождем вас здесь...

— Кстати уж пошлите и верхнее платье, — просил Тит Привалов, — а то все, что на мне, — не мое, антрепренерское.

«Хорош гусь... — подумал даже Веревкин, привыкший к всевозможным превратностям фортуны. — Нет, его не нужно выпускать из рук, а то как раз улизнет... Нет, братику, шалишь, мы тебя не выпустим ни за какие коврижки!»

Привалов еще раз взглянул на своего братца, походившего на лакея из плохого ресторана, и отправился в свои номера, где не был ровно двое суток. В ожидании платья Веревкин успел выспросить у Тита Привалова всю подноготную: из пансиона Тидемана он бежал два года назад, потому что этот швейцарский профессор слишком часто прибегал к помощи своей ученой палки; затем он поступил акробатом в один странствующий цирк, с которым путешествовал по Европе, потом служил где-то камердинером, пока счастливая звезда не привела его куда-то в Западный край, где он и поступил в настоящую ярмарочную труппу. Своего платья у него не было, но антрепренер был так добр, что дал ему свою шубу доехать до Ирбита, а отсюда он уже надеялся как-нибудь пробраться в Узел.

— Ну, батенька, можно сказать, что вы прошли хорошую школу... — говорил задумчиво Веревкин. — Что бы вам явиться к нам полгодом раньше?.. А вы какие роли играли в театре?

— Неодинаково, больше прислугу и в водевилях.

— Так-с... гм. Действительно, вышел водевиль: сам черт ничего не разберет!..

XIII

Привалов привез брата в Узел и отвел ему несколько комнат в доме, на прежней половине Ляховских. Молодой человек быстро освоился со своим новым

положением и несколько времени служил предметом для городских толков и пересудов. Многие видели в нем жертву братской ненависти, от которой он чуть-чуть не погиб, если бы не спасся совершенно случайно. Даже смерть актрисы Колпаковой была вплетена в эту историю двух братьев; эта девушка поплатилась головой за свое слишком близкое знакомство с наследником приваловских миллионов.

Дома Привалов нашел то же, что и оставил. Впрочем, он и не рассчитывал ни на что другое, так как знал из самых достоверных источников, что Зося имеет постоянные свидания с Половодовым в доме Заплатиной. Тит Привалов явился для Зоси новым развлечением — раз, как авантюрист, и второе, как герой узловского дня; она возила его по всему городу в своем экипаже и без конца готова была слушать его рассказы и анекдоты из парижской жизни, где он получил свое первоначальное воспитание, прежде чем попал к Тидеману. Хиония Алексеевна была тоже в восторге от этого забавного Titus, который говорил по-французски с настоящим парижским прононсом и привез с собой громадный выбор самых пикантных острот, каламбуров и просто французских словечек.

— Да, да... Что мы живем здесь, в этой трущобе, — говорила Хиония Алексеевна, покачивая головой. — Так и умрешь, ничего не видавши. Ах, Париж, Париж... Вот куда я желала бы попасть!.. И Александр Павлыч то же самое говорит, что не умрет спокойно, если не побывает в Париже.

Дела на мельнице у Привалова шли порядочно, хотя отсутствие хозяйского глаза было заметно во всем, несмотря на все усердие старика Нагибина. Привалов съездил на мельницу, прожил там с неделю и вернулся в Узел только по последнему зимнему пути. Но и в Узле и в Гарчиках прежнего Привалова больше не было, а был совсем другой человек, которого трудно было узнать: он не переставал пить после Ирбитской ярмарки. В Узле он все ночи проводил в игорных залах Общественного клуба, где начал играть по крупной в компании Ивана Яковлича. Этот последний вернулся с ярмарки с пустыми карманами.

— Как это вас угораздило? — спрашивал его Привалов.

— Да так... не выдержал характера: нужно было забастовать, а я все добивал до сотни тысяч, ну и продул все. Ведь раз совсем поехал из Ирбита, повез с собой девяносто тысяч с лишком, поехали меня провожать, да с первой же станции и заворотили назад... Нарвался на какого-то артиста. Ну, он меня и раздел до последней нитки. Удивительно счастливо играет бестия...

Однажды, когда Привалов особенно долго засиделся в клубе, Иван Яковлич отвел его в сторону и как-то смущенно проговорил:

— У Кати есть здесь мать... бедная старуха. Хотел я съездить к ней, нельзя ли чем помочь ей, да мне это неловко как-то сделать. Вот если бы вам побывать у нее. Ведь вы с ней видались у Бахаревых?

— Да. Пожалуй, я съезжу, — согласился Привалов.

— И «Моисей» просил тоже...

— Он где теперь?

— На поруках у отца живет пока, до суда.

— Хорошо, я это устрою.

Привалов даже обрадовался этому предложению: он чувствовал себя виноватым пред старушкой Колпаковой, что до сих пор не навестил ее. Он отправился к ней на другой же день утром. Во дворе колпаковской развалины его встретил старик Полуянов, приветливо улыбнулся и с лукавым подмигиванием сообщил:

— А ведь мое дело на днях вырешится окончательно... Как же! Я уж говорил об этом Павле Ивановне. Вот и бумаги...

На сцену опять появился сверток разноцветных бумажек, бережно перевязанных розовой ленточкой.

Павла Ивановна даже испугалась, когда в передней увидела высокую фигуру Привалова. Старушка как-то разом вся съежилась и торопливо начала обдергивать на себе старенькое ситцевое платье.

— Не узнали, Павла Ивановна?

— Испугалась, Сергей Александрыч... Как ты, голубчик, постарел-то, и лицо-то совсем не твое стало. Уж извини меня, старуху: болтаю, что на ум взбредет.

— А я зашел навестить вас, давно не видал.

— Ох, давно, голубчик.

Старушка засуетилась со своим самоваром, разговаривая с гостем из-за перегородки.

— Вот уж сорочины скоро, как Катю мою застрелили, — заговорила Павла Ивановна, появляясь опять в комнате. — Панихиды по ней служу, да вот собираюсь как-нибудь летом съездить к ней на могилку поплакать... Как жива-то была, сердилась я на нее, а теперь вот жаль! Вспомнишь, и горько сделается, поплачешь. А все-таки я благодарю бога, что он не забыл ее: прибрал от сраму да от позору.

Привалова неприятно поразили эти слова.

— Вы очень строго судите свою дочь, — заметил он.

— Нельзя, голубчик, нельзя... Теперь вон у Бахаревых какое горе из-за моей Кати. А была бы жива, может, еще кому прибавила бы и не такую печаль. Виктор Васильич куда теперь? Ох-хо-хо. Разве этот вот Веревкин выправит его — не выправит... Марья Степановна и глазыньки все выплакала из-за деток-то! У меня одна была Катя — одно и горе мое, а погорюй-ка с каждым-то детищем...

— А Надежда Васильевна где теперь?

Павла Ивановна недоверчиво посмотрела на Привалова прищуренными глазами.

— А разве доктор-то, Борис-то Григорьич, ничего тебе не говорил?

— Я его не видал уже с месяц...

— Надежда Васильевна живет теперь в Узле, уж вторая неделя пошла. Да.

— Как в Узле?

— Да ты в самом деле ничего не знаешь? Приехала она сюда вместе с этим... ну, с мужем, по-нынешнему. Болен он, ну, муж-то этот.

— Лоскутов?

— Ну, он, выходит. У доктора и живут.

— А Марья Степановна знает об этом?

— Знает-то знает, да только слышать ничего не хочет...

Старушка махнула рукой и заплакала. Для чужого горя у нее еще были слезы...

— Ведь Надежда-то Васильевна была у меня, — рассказывала Павла Ивановна, вытирая глаза. — Как же, не забыла старухи... Как тогда услыхала о моей-то Кате, так сейчас ко мне пришла. Из себя-то постарше выглядит, а такая красивая девушка... ну, по-вашему, дама. Я еще полюбовалась ею и даже сказала, а она как покраснеет вся. Об отце-то тоскует, говорит... Спрашивает, как и что у них в дому... Ну, я все и рассказала. Про тебя тоже спрашивала, как живешь, да я ничего не сказала: сама не знаю.

— Про мою жизнь, Павла Ивановна, кажется, все знают — не секрет... Шила в мешке не утаишь.

— Ох, Сереженька, голубчик, много болтают, да только верить-то не хочется...

Старушка покачала головой и, взглянув на Привалова своими прищуренными глазами, проговорила:

— А ты на меня не рассердишься, голубчик?

— Нет, говорите.

— Не знаю, правду ли болтают: будто ты вином этим стал заниматься и в карты играешь... Брось ты ради Христа эту всю пакость!

Привалов улыбнулся.

— Нет, Павла Ивановна, мне так легче... — проговорил он, поднимаясь с места. — Тяжело мне...

— Ох, знаю, знаю... Басурманка твоя все мутит.

— Нет, я на жену не жалуюсь: сам виноват...

Они простились. Расчувствовавшаяся старушка даже перекрестила Привалова, а когда он намекнул ей, зачем собственно приходил, она отрицательно замахала руками и с грустной улыбкой проговорила:

— Нет, ничего мне не нужно, голубчик... Да и какая необходимость у старухи: богу на свечку — и только. Спасибо на добром слове да на том, что не забыл меня. А ты сам-то попомни лучше мое-то слово...

Она здесь, в Узле, — вот о чем думал Привалов, когда возвращался от Павлы Ивановны. А он до сих пор не знал об этом!.. Доктор не показывается и, видимо, избегает встречаться с ним. Ну, это его дело. В Привалове со страшной силой вспыхнуло желание

увидать Надежду Васильевну, увидать хотя издали... Узнает она его или нет? Может быть, отвернется, как от пьяницы и картежника, которого даже бог забыл, как выразилась бы Павла Ивановна?

«Умереть...» — мелькнуло в голове Привалова. Да, это было бы хорошо: все расчеты с жизнью покончить разом и разом освободиться от всех тяжелых воспоминаний и неприятностей.

Для кого и для чего он теперь будет жить? Тянуть изо дня в день, как тянут другие, — это слишком скучная вещь, для которой не стоило трудиться. Даже то дело, для которого он столько работал, теперь как-то начинало терять интерес в его глазах. Он припомнил Ирбитскую ярмарку, где лицом к лицу видел ту страшную силу, с которой хотел бороться. Его идея в этом стройном и могучем хоре себялюбивых интересов, безжалостной эксплуатации, организованного обмана и какой-то органической подлости жалко терялась, как последний крик утопающего.

На следующий день Привалов не мог преодолеть искушение и отправился в ту улицу, где жил доктор. Он сначала хотел только издали взглянуть на тот дом, где теперь жила Надежда Васильевна, и сейчас же вернуться домой. Может быть, где-нибудь в окне мелькнет знакомое лицо... Отыскать квартиру доктора было не особенно трудно. Он жил по ту сторону пруда, в старой Карманной улице, в небольшом новом флигельке, выходившем на улицу четырьмя окнами. У подъезда лежала пестрая собака доктора, которую ему подарила Зося. Привалов с замирающим сердцем шел по деревянному тротуару, не спуская глаз с заветного уголка. Вот и подъезд, вот в окнах зелеными лапами смотрятся агавы... Не давая самому себе отчета, Привалов позвонил и сейчас же хотел убежать, но в этот момент дверь скрипнула и послышался знакомый голос:

— Кто там?

Дверь распахнулась, и на пороге показалась сама Надежда Васильевна, в простеньком коричневом платье, с серой шалью на плечах. Она мельком взглянула на Привалова и только хотела сказать, что доктора

нет дома, как остановилась и, с улыбкой протягивая руку, проговорила:

— Сергей Александрыч!.. Вот приятная неожиданность! А доктор говорит, что вы после ярмарки прямо уехали на свою мельницу.

— Да, я был там и только недавно вернулся.

— Как я рада видеть вас... — торопливо говорила Надежда Васильевна, пока Привалов раздевался в передней. — Максим уж несколько раз спрашивал о вас... Мы пока остановились у доктора. Думали прожить несколько дней, а теперь уж идет вторая неделя. Вот сюда, Сергей Александрыч.

В маленькой гостиной Привалову показалось хорошо, как в раю. На Надежду Васильевну он боялся взглянуть, точно от одного этого взгляда могло рассеяться все обаяние этой встречи.

— А ведь как давно мы не видались с вами, — говорила Надежда Васильевна, усаживая гостя на ближайшее кресло.

Она показалась Привалову и выше и полнее. Но лицо оставалось таким же, с оттенком той строгой красоты, которая смягчалась только бахаревской улыбкой. Серые глаза смотрели мягче и немного грустно, точно в их глубине залегла какая-то тень. Держала она себя попрежнему просто, по-дружески, с той откровенностью, какая обезоруживает всякий дурной помысел, всякое дурное желание.

Надежда Васильевна в несколько минут успела рассказать о своей жизни на приисках, где ей было так хорошо, хотя иногда начинало неудержимо тянуть в город, к родным. Она могла бы назвать себя совсем счастливой, если бы не здоровье Максима, которое ее очень беспокоит, хотя доктор, как все доктора, старается убедить ее в полной безопасности. Потом она рассказывала о своих отношениях к отцу и матери, о Косте, который по последнему зимнему пути отправился в Восточную Сибирь, на заводы.

— Вы разве не видали Костю перед отъездом? — спрашивала Надежда Васильевна.

— Нет... Да нам тяжело было бы встретиться еще раз, — откровенно признавался Привалов. — Нас отча-

сти связывали только заводы, а теперь порвалась и эта последняя связь.

Чтобы замять этот неприятный разговор, Надежда Васильевна стала расспрашивать Привалова о его мельнице и хлебной торговле. Ее так интересовало это предприятие, хотя от Кости о нем она ничего никогда не могла узнать: ведь он с самого начала был против мельницы, как и отец. Привалов одушевился и подробно рассказал все, что было им сделано и какие успехи были получены; он не скрывал от Надежды Васильевны тех неудач и разочарований, какие выступали по мере ближайшего знакомства с делом.

— Могу пожалеть только об одном, что доктор ранее почему-то не хотел сказать, что вы здесь, — проговорила Надежда Васильевна. — Ведь не мог же он не знать этого, когда бывает в вашем доме каждый день... Мы на днях, вероятно, уезжаем отсюда.

— Я вам объясню, Надежда Васильевна, почему доктор скрывал от вас мое появление здесь, — заговорил Привалов, опуская глаза. — Он боялся, что я могу явиться к вам не совсем в приличном виде... Доктор так добр, что хотел, хотя на время, скрыть мои недостатки от вас...

— Сергей Александрыч, вы говорите такие страшные вещи... — смущенно заговорила Надежда Васильевна, делая большие глаза.

Она с каким-то страхом взглянула на Привалова, который теперь упорно и как-то болезненно-пристально смотрел на нее. В этом добром, характерном лице стояло столько муки и затаенного горя.

— Это длинная история, Надежда Васильевна... Если хотите, я могу вам рассказать, как дошел до своего настоящего положения.

Привалова вдруг охватило страстное желание рассказать — нет, исповедаться ей во всем, никому больше, а только ей одной. Все другие могли видеть одну только внешность, а ей он откроет свою душу; пусть она казнит его своим презрением. Сейчас и здесь же. Ему будет легче...

— Когда я шел сюда, я не думал, что увижу вас, — глухо заговорил Привалов, опять опуская глаза. —

Я даже боялся этой встречи, хотя и желал ее... Скажу больше: когда я шел сюда, я думал о смерти, о своей смерти. Как хорошо во-время умереть, Надежда Васильевна, и как тяжело сознавать, что еще молод, силен и не можешь рассчитывать на этот спасительный исход. На мысль о смерти меня навела трагическая история Кати Колпаковой... Она умерла на моих глазах, и я позавидовал ей, когда увидел ее мертвой. Это была замечательно красивая девушка, а мертвая она была просто идеально хороша.

В своей исповеди Привалов рассказал все, что произошло с ним после роковой сцены в саду, кончая Ирбитской ярмаркой и своим визитом к Павле Ивановне. Он очертил всех действующих лиц этой сложной истории, свою домашнюю обстановку и свое постепенное падение, быстрое по внешности, но вполне последовательное по внутреннему содержанию. Проследить такое падение в самом себе крайне трудно, то есть отдельные его ступени, как трудно определить высоту горы при спуске с нее. Недостает глазомера, той перспективы, которая давала бы возможность сравнения. Мысль болтается в пустом пространстве, где ей не за что ухватиться.

— Вы простите меня за то, что я слишком много говорю о самом себе, — говорил Привалов останавливаясь. — Никому и ничего я не говорил до сих пор и не скажу больше... Мне случалось встречать много очень маленьких людей, которые вечно ко всем пристают со своим «я», — это очень скучная и глупая история. Но вы выслушайте меня до конца; мне слишком тяжело, больше чем тяжело.

Возбужденное состояние Привалова передалось ей, и она чувствовала, как холодеет вся. Несколько раз она хотела подняться с места и убежать, но какая-то сила удерживала ее, и она опять желала выслушать всю эту исповедь до конца, хотя именно на это не имела никакого права. Зачем он рассказывал все это именно ей и зачем именно в такой форме?

— Вы обратите внимание на отсутствие последовательности в отдельных действиях, — говорил Привалов. — Все идет скачками... Целое приходится восста-

новлять по разрозненным звеньям и обрывкам. Я часто думал об этой непоследовательности, которую сознавал и которая так давила меня... Но, чтобы понять всего человека, нужно взять его в целом, не с одним только его личным прошедшим, а со всей совокупностью унаследованных им особенностей и характерных признаков, которые гнездятся в его крови. Вот если рассматривать с этой точки зрения все те факты, о которых я сейчас рассказываю, тогда вся картина освещается вполне... Пред вами во весь рост встает типичный представитель выродившейся семьи, которого не могут спасти самые лучшие стремления. Именно с этой точки зрения смотрит на меня доктор, если я не ошибаюсь.

Дальше Привалов рассказывал о том, как колебалась его вера даже в собственную идею и в свое дело. Если его личная жизнь не сложилась, то он мог бы найти некоторый суррогат счастья в выполнении своей идеи. Но для него и этот выход делался сомнительным.

— Я не согласна с вами в этом случае, — заговорила Надежда Васильевна. — Вы смотрите теперь на все слишком пристрастно...

Надежда Васильевна заговорила на эту тему, глаза у нее блестели, а на лице выступил яркий румянец. Она старалась убедить Привалова, что он напрасно отчаивается в успехах своей идеи, и даже повторила те его мысли, которые он когда-то высказывал еще в Шатровском заводе. Привалов слушал эту горячую прочувствованную речь со смешанным чувством удивления и тяжелого уныния. В Надежде Васильевне теперь говорила практическая отцовская жилка, и вместе с тем она увлекалась грандиозной картиной неравной, отчаянной борьбы с подавляющим своим численным составом и средствами неприятелем. Именно такая борьба была полна смысла, и для нее стоило жить на свете. Стыдно и позорно опускать руки именно в тот момент, когда дело уже поставлено и остается только его развивать.

— Признаться сказать, я гораздо больше ожидала от вас, Сергей Александрыч, — кончила она.

В исповеди Привалова чего-то недоставало, чувствовался заметный пробел, — Надежда Васильевна

это понимала, но не решалась поставить вопрос прямо. У Привалова уже вертелось на языке роковое признание в своей погибшей, никому не известной любви, но он преодолел себя и удержался.

— А вот и Максим... — проговорила Надежда Васильевна, указывая головой на окно...

По деревянному тротуару действительно шел Лоскутов. Привалов не узнал его в первую минуту, хотя по внешности он мало изменился. В этой характерной фигуре теперь сказывалось какое-то глубокое душевное перерождение; это было заметно по рассеянному выражению лица и особенно по глазам, потерявшим свою магическую притягательную силу. Привалова Лоскутов узнал не вдруг и долго пристально всматривался в него, пока проговорил:

— Да, да... теперь вспомнил: Привалов, Сергей Александрыч.

«У этого тоже недостает какого-то винтика в голове», — подумал Привалов, припоминая слова покойного Ляховского.

Они разговорились принужденным разговором чужих людей. Надежде Васильевне было вдвойне тяжело оставаться свидетельницей этой натянутой беседы: одного она слишком любила, а другого жалела. У нее готовы были навернуться слезы на глазах при одной мысли, что еще так недавно эти люди были полны жизни и энергии.

Привалов начал прощаться. Лоскутов машинально протянул ему руку и остался в своем кресле с таким лицом, точно напрасно старался что-то припомнить.

— Я буду вас ждать, — говорила Надежда Васильевна, когда провожала Привалова в переднюю. — Мы еще о многом переговорим с вами... Да? Видели, в каком положении бедный Максим... У него какое-то мудреное нервное расстройство, и я часто сама не узнаю его; совсем другой человек.

— Давно это с ним?

— С середины зимы... Сначала жаловался на головные боли, потом появилась какая-то слабость, апатия, галлюцинации. Доктор лечит его электричеством... Так я буду надеяться, что вы не позабудете нас.

XIV

Дело Виктора Васильича по убийству артистки Колпаковой должно было разбираться в летнюю сессию узловского окружного суда. Защитником был Nicolas Веревкин. Весной, пока Виктор Васильич жил на поруках у отца, Веревкин бывал в старом бахаревском доме почти каждый день. Сначала его встретили там очень сухо, а старый Лука фукал на него, как старый кот. Сам Василий Назарыч отнесся к Веревкину немного подозрительно и с оттенком легкой иронии. Зато Марья Степановна приняла «Витенькина защитника» с распростертыми объятиями и не знала, каким вареньем его угощать. Но в течение какого-нибудь месяца Веревкин сделался почти своим человеком в бахаревском доме, и прежде всех сдался на капитуляцию старый Лука. Веревкин не проходил по бахаревской передней без того, чтобы не кинуть старику какую-нибудь колючую шуточку вместе с красным словечком. Луке перепадали кредитки, а известно, что человеческое сердце не камень.

Действительно, познакомившись с Веревкиным ближе, Василий Назарыч скоро оценил эту широкую натуру и даже привык к нему. Притом Веревкин знал до тонкостей все дело по приваловской опеке, и старик мог говорить с ним о Шатровских заводах сколько душе угодно. Крепок был старик Бахарев на новые знакомства вообще, а против фамилии Веревкиных был даже предубежден, считая их самыми вздорными дворянскими выродками; но к Nicolas Веревкину сколько он ни присматривался — отличный парень выходил, как его ни поверни. Да и услуга-мужик; только еще Василий Назарыч успеет о чем заикнуться, он уж готов. И не то чтобы выслуживался или заискивал перед богатым мужиком, как это делают другие, нет, уж натура у этого Веревкина была такая. Раз, чтобы отблагодарить Веревкина за какие-то хлопоты, Василий Назарыч пригласил его обедать. Против такой короткости Марья Степановна сильно восстала и не хотела выходить сама к обеду и Верочку не хотела показывать.

— Уж больно про него много нехорошего говорят: и пьяница-то, и картежник, и обирало, — говорила Марья Степановна, защищая свой семейный очаг от вторжения иноплеменных. — Конечно, Витю он защищает, так уж я его всячески ублаготворю... Только это все другое, а не обед.

— Ну, матушка, трудно нынче людей разбирать, особенно по чужим-то разговорам. А мне Николай Иваныч тем поглянулся, что простой он человек... Да. Не съест нас...

— Может, он и в самом деле не такой, как говорят, — соглашалась Марья Степановна. — Как-то не примениться совсем...

— Вот то-то и есть: стары мы с тобой стали, Марья Степановна, — грустно проговорил Василий Назарыч. — А Николай Иваныч все-таки будет обедать...

Для Марьи Степановны обеды и ужины всегда являлись чем-то особенно важным, и в ее уме около накрытого стола сгруппировывалась масса разных примет и поверий. Верочка разделяла все воззрения матери и с ужасом думала об обеде, на котором будет присутствовать Веревкин, этот сорви-голова из «Витенькиных приятелей». Лука и Досифея тоже с немалым страхом ждали рокового обеда. Но, как это иногда случается, обед прошел самым обыкновенным образом, почти незаметно. Веревкин все время вел с Василием Назарычем серьезный разговор и вообще держал себя с большим тактом; Марье Степановне он понравился тем, что знал толк в кушаньях и оценил по достоинствам каждое. Это польстило старухе, и она даже залюбовалась, с каким завидным аппетитом Николай Иваныч смаковал произведения Досифеи. На Верочку, рдевшую за столом как маков цвет, Веревкин даже не взглянул ни одного лишнего раза.

В конце зимы Василий Назарыч уехал на свои прииски, и в бахаревском доме наступила особенно тяжелая пустота: не было Надежды Васильевны, не было Кости. Виктор Васильич притих, — вообще царило очень невеселое настроение. Процесс Виктора Васильича приближался, и Веревкин время от времени привозил каких-то свидетелей и все допрашивал

Виктора Васильича. Раз, когда Веревкин хотел ехать домой, Виктор Васильич остановил его:

— Ты куда это? Пойдем к маменьке, она давно хочет сразиться с тобой в картишки... Старухи теперь в преферанс играют с Верочкой. Ну же, пойдем...

Веревкин немного смутился, но если желает Марья Степановна, он ничего не имеет против преферанса.

— Она уж несколько раз просила меня привести тебя, — врал Виктор Васильич, которому хотелось устроить маленькое домашнее представление и вспугнуть старух.

Понятно, какой переполох произвело неожиданное появление Веревкина во внутренних покоях самой Марьи Степановны, которая даже побледнела от страха и посадила Верочку рядом с собой, точно наседка, которая прячет от ястреба своего цыпленка под крылом. У Павлы Ивановны сыпались карты из рук — самый скверный признак, как это известно всем игрокам.

— Вот, мама, я привел к тебе Николая Иваныча, с которым ты хотела сразиться в преферанс, — рекомендовал Виктор Васильич своего друга. — Он отлично играет...

Старухи поломались, а потом сели за карты. Виктор Васильич примостился было к ним, но скоро был изгнан с позором, потому что имел скверную привычку воровать взятки. В течение какого-нибудь получаса игра загорелась, и Веревкин совсем обворожил старух, так что сама степенная Марья Степановна едва сдерживала смех, когда Николай Иваныч только открывал рот. Эта интересная игра собрала в коридоре «целую публику»: в замочную скважину попеременно смотрели Лука, Досифея и Верочка. «Сама играла с аблакатом» — это что-нибудь значило!

— Да не оказия ли... — удивлялся Лука, хлопая себя по ляжкам. — Совсем обошел старух-то, прах его побери!..

Игра продолжалась часа три, так что Марья Степановна даже испугалась, когда взглянула на часы.

— Ужо как-нибудь в другой раз доиграем, — проговорила она, поднимаясь из-за стола.

Марья Степановна сейчас же спохватилась, но глупое слово вылетело — не поймаешь.

— Тьфу ты, греховодник! — отплевывалась Марья Степановна, когда Веревкин ушел. — И зачем это я сболтнула про другой раз?..

— А он, право, ничего... — добродушно заявляла Павла Ивановна.

— Какой он смешной... — вставила свое слово Верочка.

— Не твое дело! — строго оборвала Марья Степановна. — Разве девичье дело мужчин-то разбирать?.. Все они под одну стать.

Таким образом Веревкин проник до гостиной Марьи Степановны, где частенько составлялись самые веселые преферансы, доставлявшие старушкам большое удовольствие. Он являлся как-то случайно и всегда умел уезжать во-время. Когда Веревкина не было дня три, старушки начинали скучать и даже ссорились за картами.

Дело Виктора Васильича приближалось к развязке; оно было назначено в майскую сессию. Веревкин употребил все, что от него зависело, чтобы обставить дело настоящим образом. В день суда, когда Веревкин повез Виктора Васильича на скамью подсудимых, Марья Степановна горько заплакала, несколько раз благословляла своего блудного сына и даже перекрестила самого Николая Иваныча.

— Бог не без милости, Марья Степановна, — утешал Веревкин плакавшую старуху.

Марья Степановна только махнула рукой. Досифея тоже долго крестила широким раскольничьим крестом уезжавших, а Лука собственной особой отправился в суд.

Зал узловского окружного суда был битком набит самой избранной публикой, всегда жадной до интересных процессов на пикантной подкладке. Весь узловский бомонд и купечество с замирающим сердцем встретили Виктора Васильича, когда он вошел на «подсудимую скамью», как выражался Лука. В качестве свидетелей фигурировали все свои люди, и в числе других братья Приваловы, которые еще раз привлекли на себя общее

внимание. Веревкин особенно был озабочен составом присяжных заседателей и боялся как огня, чтобы не попали чиновники: они не пощадили бы, а вот купцы да мужички — совсем другое дело, особенно последние.

Пока шел допрос свидетелей и говорил свою казенную речь прокурор, публика оставалась равнодушной, дожидаясь защиты. Веревкин не обманул ожиданий и действительно сказал блестящую речь, в которой со своим неизменным остроумием разбил основные положения обвинения, по ниточке разобрал свидетельские показания и мастерски, смелой рукой набросал нравственную физиономию своего клиента. Это была нервная, впечатлительная, порывистая натура, богатая природными дарованиями, но лишенная правильной шлифовки. Доверчивый и простодушный, полный юношеских сил, молодой Бахарев встречается с опытной куртизанкой Колпаковой, которая зараз умела вести несколько любовных интриг; понятно, что́ произошло от такой встречи; доверчивый, пылкий юноша не мог перенести раскрывшейся перед ним картины позорного разврата и в минуту крайнего возбуждения, сам не отдавая себе отчета, сделал роковой выстрел. Веревкин с замечательным искусством разобрал все последовательные стадии этой любви и на каждом шагу рядом свидетельских показаний выяснял характерные роли главных действующих лиц.

— Я не выставляю подсудимого каким-то идеальным человеком, — говорил Веревкин. — Нет, это самый обыкновенный смертный, не чуждый общих слабостей... Но он попал в скверную историю, которая походила на игру кошки с мышкой. Будь на месте Колпаковой другая женщина, тогда Бахарев не сидел бы на скамье подсудимых! Вот главная мысль, которая должна лечь в основание вердикта присяжных. Закон карает злую волю и бесповоротную испорченность, а здесь мы имеем дело с несчастным случаем, от которого никто не застрахован.

Эта речь произвела сильное впечатление на публику и присяжных. Последнее слово подсудимого, который откровенно рассказал весь ход дела, решило его участь: присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Когда публика начала поздравлять Виктора Васильича и Веревкина, Привалов отвел последнего в сторону и сказал:

— Зачем вы так забросали грязью Катерину Ивановну?

— Э, батенька, что поделаешь: ее не вернуть, а «Моисея» нужно было выправить, — добродушно ответил Веревкин и прибавил каким-то смущенным тоном: — А я вот что скажу вам, голубчик... Сегодня я лез из кожи больше для себя, чем для «Моисея».

— Именно?

— В семена хочу пойти...

— Ничего не понимаю!

— Женюсь, батенька... Уж предложение сделал Вере Васильевне и с Марьей Степановной переговорил. Старуха обещала, если выправлю «Моисея». Теперь дело за Васильем Назарычем. Надоело болтаться. Пора быть бычку на веревочке. Оно и необходимо, ежели разобрать... Только вот побаиваюсь старика, как бы он не заворотил мне оглобли.

Привалов от души пожелал счастья своему бывшему поверенному и Верочке. Это зарождавшееся молодое счастье отозвалось в его душе глухой болью...

XV

Здоровье Лоскутова не поправлялось, а, напротив, делалось хуже. Вместе с весной открывались работы на приисках, но Лоскутову нечего было и думать самому ехать туда; при помощи Веревкина был приискан подходящий арендатор, которому прииски и были сданы на год. Лоскутовы продолжали оставаться в Узле.

— Для Максима необходима спокойная жизнь и такие развлечения... как это вам сказать... Одним словом, чисто деревенские, — объяснил доктор Надежде Васильевне. — Покой, хорошее питание, прогулки, умеренная физическая работа — вот что ему необходимо вместе с деревенским воздухом и подходящим обществом.

— Куда же нам ехать, Борис Григорьевич?

— Я думал об этом, Надежда Васильевна, и пришел к тому убеждению, что самое лучшее будет вам отправиться в Гарчики, на мельницу. У Привалова там есть хорошенький флигелек, в котором вы отлично можете провести лето. Если хотите, я переговорю с Сергеем Александрычем.

— Позвольте, доктор, мне немного подумать... — уклончиво ответила Надежда Васильевна.

Собственно, ей давно хотелось куда-нибудь подальше уехать из Узла, где постоянно приходилось наталкиваться на тяжелые воспоминания, но когда доктор заговорил о приваловской мельнице, Надежде Васильевне почему-то не хотелось воспользоваться этим предложением, хотя она ни на мгновение не сомневалась в том, что Привалов с удовольствием уступит им свой флигелек. Почему ей не хотелось ехать в Гарчики — Надежда Васильевна сама не могла дать себе обстоятельного ответа, а просто у нее, как говорится, не лежала душа к мельнице. Привалов бывал у них довольно часто, при посторонних молчал, а когда оставался один с Надеждой Васильевной, начинал говорить с полной откровенностью, как с сестрой. Эту неровность Надежда Васильевна объясняла ненормальной жизнью Привалова, который попрежнему проводил ночи в клубе в самом сомнительном обществе и раза два являлся к Лоскутовым сильно навеселе. Последнее обстоятельство особенно сильно огорчало Надежду Васильевну, и раз она серьезно спросила Привалова:

— Разве так трудно расстаться с этой дурной привычкой? Ведь вы можете не пить, как раньше...

Привалов поднял глаза на Надежду Васильевну, несколько времени молчал, а потом проговорил:

— К чему? Мне это доставляет удовольствие, я забываюсь на время...

— А если я вас об этом буду просить, Сергей Александрыч? Если вы не хотите удержаться для себя, то сделайте это для меня...

— Вы это серьезно говорите?

— Да.

— Хорошо... Только трезвый я не могу говорить с вами по душе, откровенно, а теперь это для меня

единственное спасение. Я часто упрекаю себя за свою болтовню, но мне так тяжело...

Надежда Васильевна от души жалела Привалова и не умела ему ничем помочь. Она часто думала об этом странном, непонятном человеке и нередко приходила к самым противоположным выводам. Несомненным было только то, что Привалов, несмотря на все свои недостатки и ошибки, оставался честной и прямой натурой. Странно, что чистосердечная исповедь Привалова не произвела на нее отталкивающего, дурного впечатления; напротив, Надежда Васильевна убедилась только в том, что Привалов являлся жертвой своих, приваловских, миллионов, ради которых около него постоянно ютились самые подозрительные люди, вроде Ляховского, Половодова, Веревкина и т. д. Что Привалов женился на Зосе — это тоже было понятно, как понятно и то, почему Зося вышла замуж именно за него. Но чего Надежда Васильевна никак не могла понять, так это отношений Привалова к Половодовой, этой пустой светской барыне, кроме своей красивой внешности не имевшей за собой решительно ничего. Тут чувствовался какой-то пробел, чувствовалось что-то недоговоренное, чего не хотел или не умел досказать сам Привалов.

Если раньше в Привалове Надежда Васильевна видела «жениха», которого поэтому именно и не любила, то теперь она, напротив, особенно интересовалась им, его внутренней жизнью, даже его ошибками, в которых обрисовывался оригинальный тип. Такой именно человек мог любить и сделать жизнь полной. Зосю Надежда Васильевна не обвиняла, но на ее месте никогда не довела бы Привалова до его настоящего положения. Ей рисовался другой Привалов, тот хороший Привалов, которого она хотела видеть в нем. Недаром отец так привязан к этой фамилии... Были такие моменты, когда Надежда Васильевна настолько увлекалась своими мыслями, что необыкновенно живо воспроизводила пред собой широкую картину осуществившихся приваловских планов, деятельной участницей и исполнительницей которых была она сама. Она видела эту приваловскую мельницу в Гарчиках, тысячи подвод с хлебом, которые стягивались к ней со всех сторон, организован-

ную на широких началах хлебную торговлю и т. д. Этой жизнью можно было жить, и она дала бы здоровое, трудовое счастье.

Для этих мыслей у Надежды Васильевны теперь оставалось много свободного времени: болезнь мужа оторвала ее даже от того мирка, с которым она успела сжиться на приисках. А теперь, живя в городе, она не знала, куда ей деваться со своими досугами, и иногда сильно скучала. Доктор целые дни проводил на практике, так что дома его можно было видеть только мельком. Других знакомых не было, поэтому посещения Привалова вносили в эту однообразную жизнь освежающий элемент. Лоскутов попрежнему чувствовал себя нехорошо, хотя определенной болезни доктора не находили в нем.

— У меня точно делается темно в голове, — говорил иногда Лоскутов жене, — самое страшное ощущение... Иногда опять все кругом делается необыкновенно ясно: именно, основой всего является число, известный механический ритм, из которого, как звуки из отдельных колебаний воздушной волны, развивается весь остальной мир. Я так отчетливо представляю себе картину, что мог бы изложить ее при помощи математических формул или, еще лучше, музыкальными аккордами. Говорю серьезно... Ведь мир — это строго гармоническое целое, с числовым основанием, и ничто так не передает гармонические сочетания, как музыка. Можно положить на ноты шум ветра, стук экипажа, движение машины, шаги человека!

Раз ночью Лоскутов сильно испугал жену: он ее разбудил и тихо прошептал:

— Я сейчас видел все...

— Как все?

— Решительно все... О, как много я видел! Мне было что-то вроде откровения, над чем бьются миллионы человеческих голов самых гениальнейших и чего никогда не разгадают, — я понял это сразу. Знаешь, я видел всех людей счастливыми... Нет ни богатых, ни бедных, ни больных, ни здоровых, ни сильных, ни слабых, ни умных, ни глупых, ни злых, ни добрых: везде счастье... И как просто все! Можно только удивляться,

как это раньше никому не пришло в голову, то есть оно и приходило, может быть, но глохло или искажалось. Видишь ли, в чем дело: если внешний мир движется одной бессознательной волей, получившей свое конечное выражение в ритме и числе, то неизмеримо обширнейший внутренний мир основан тоже на гармоническом начале, но гораздо более тонком, ускользающем от меры и числа, — это начало духовной субстанции. Люди в общении друг с другом постоянно представляют дисгармонию, точно так же как в музыке. Вот чтобы уничтожить эту дисгармонию, нужно создать абсолютную субстанцию всеобщего духа, в котором примирятся все остальные, слившись в бесконечно продолжающееся и бесконечно разнообразное гармоническое соединение, из себя самого исходящее и в себя возвращающееся.

Дальше Лоскутов очень подробно развивал мысль, что необходимо, на основании абсолютной субстанции духа, создать новую вселенскую религию, в которой примирятся все народы и все племена. Даже с практической стороны он не видит препятствия; необходимо отправиться в Среднюю Азию, эту колыбель религиозных движений, очистить себя долгим искусом, чтобы окончательно отрешиться от отягощающих наше тело чисто плотских помыслов, и тогда вполне возможно подняться до созерцания абсолютной идеи, управляющей нашим духовным миром.

Надежда Васильевна с ужасом слушала этот сумасшедший бред и сама начинала чувствовать, что недалека от сумасшествия. Галлюцинации мужа передавались ей: это был первый шаг к сумасшествию. Она не знала, что ей делать и как отнестись к этим галлюцинациям мужа, которые стали повторяться. Когда она рассказала все доктору, он внимательно ее выслушал и задумчиво проговорил:

— Плохо, очень плохо.

— Что же делать, доктор?

— Нужно подождать, пока болезнь окончательно определится.

Привалов сдержал свое слово и перестал пить, но был такой задумчивый и печальный, что Надежде

Васильевне тяжело было на него смотреть. Трезвый он действительно почти совсем не разговаривал, то есть ничего не рассказывал о себе и точно стыдился, что позволил себе так откровенно высказаться пред Надеждой Васильевной... Таким образом ей разом пришлось ухаживать за двумя больными, что делало ее собственное положение почти невыносимым. Раз она попробовала предложить очень энергическую меру Привалову:

— Я вижу, Сергей Александрыч, что вам трудно переменить прежний образ жизни, хотя вы стараетесь сдержать данное слово. Только не обижайтесь, я вам предложу маленький компромисс: пейте здесь... Я вам не буду давать больше того, чем следует.

— Нет... никогда. Да я уж совсем почти отвык, а если навожу на вас тоску своим присутствием, так это совсем уж не от того. Вы меня просто гоните, когда надоем вам...

Надежда Васильевна сейчас же раскаялась в своем необдуманном предложении, которым Привалов, видимо, обиделся. Раньше он никогда не обижался на нее, хотя она высказывала ему вещи гораздо обиднее. В свою очередь Надежда Васильевна тоже была недовольна Приваловым: она ему желала только добра, — на что же он обижался? Да и что она за нянька, чтобы ухаживать за ним? Впрочем, это была минутная вспышка, которая так же скоро потухла, как явилась. Ей опять сделалось жаль Привалова, который так беззаветно доверялся ей.

Ввиду всех этих данных Надежда Васильевна и не дала доктору сейчас же решительного ответа, когда он предложил ей ехать в Гарчики. Ее что-то удерживало от этой поездки, точно она боялась сближения с Приваловым там, на мельнице, где он, собственно, бывал реже, чем в городе. Но доктор настаивал на своем предложении, и Надежда Васильевна, наконец, нашла то, что ее смущало.

— А что скажет Зося, когда узнает, что мы переехали на мельницу к Сергею Александрычу? — откровенно высказалась она доктору.

— Я думал об этом, Надежда Васильевна, и могу вам сказать только то, что Зося не имеет никакого права что-нибудь говорить про вас, — ответил доктор. — Вы, вероятно, заметили уже, в каком положении семейные дела Зоси... Я с своей стороны только могу удивляться, что она еще до сих пор продолжает оставаться в Узле. Самое лучшее для нее — это уехать отсюда.

Надежда Васильевна, наконец, согласилась, потому что не могла подыскать никаких причин для отказа.

Переехать в Гарчики совсем — было делом нескольких дней. Начиналась уже весна: последний снег белел только по оврагам, и на полях зеленели озими. Местоположение Гарчиков, окрестности, близость реки Узловки, наконец самая мельница и флигелек в три окна — все понравилось Надежде Васильевне с первого раза. Лоскутов тоже быстро освоился с новой обстановкой и точно ожил в ней. Он по целым дням бродил по полям и лугам, подолгу оставался на мельнице, наблюдая кипевшую на ней работу. Галлюцинации оставили его расстроенный мозг, и он заметно оживился.

Во флигельке скоро потекла мирная семейная жизнь, в которой принимали самое живое участие Нагибин и поп Савел. Они своим присутствием делали совсем незаметным однообразие деревенской жизни, причем поп Савел ближе сошелся с Лоскутовым, а Нагибин с Надеждой Васильевной. Добрый старик не знал, чем угодить «барышне», за которой ухаживал с самым трогательным участием.

— Вот только Сергея Александрыча и недостает, — иногда говорил Нагибин, тяжело вздыхая. — А то вся артель теперь в сборе...

— Теперь Сергею Александрычу нельзя сюда приехать, Илья Гаврилыч, — отвечала Надежда Васильевна, — он ведь свидетелем по делу брата Виктора...

— Точно-с, сударыня. Я совсем забыл...

Мы до сих пор ничего не говорили о маленьком существе, жизнь которого пока еще так мало переходила границы чисто растительных процессов: это была маленькая годовалая девочка Маня, о которой рассказывал Привалову на Ирбитской ярмарке Данилушка.

Слишком занятая больным мужем, Надежда Васильевна мало видела свою дочурку в городе, где она находилась под надзором няни, зато теперь она могла посвящать ей целые дни. Нагибин особенно привязался к ребенку и ухаживал за ним, как женщина. Смешно было смотреть, когда этот старик тащил на руках маленькую «внучку», как он называл девочку, куда-нибудь на берег Лалетинки и забавлял ее самыми замысловатыми штуками: катался на траве, кричал коростелем, даже пел что-нибудь духовное.

— В бабушку, вся в бабушку, — говорил иногда старик, рассматривая внучку. — Ишь какая карахтерная.

Девочка действительно была серьезна не по возрасту. Она начинала уже ковылять на своих пухлых розовых ножках и довела Нагибина до слез, когда в первый раз с счастливой детской улыбкой пролепетала свое первое «деду», то есть дедушка. В мельничном флигельке теперь часто звенел, как колокольчик, детский беззаботный смех, и везде валялись обломки разных игрушек, которые «деду» привозил из города каждый раз. Маленькая жизнь вносила с собой теплую, светлую струю в мирную жизнь мельничного флигелька.

Привалов действительно приехал в Гарчики после процесса Виктора Васильича и вместе с известием об его оправдании привез переданную ему Веревкиным новость о намерении последнего «пойти в семена». О предложении Веревкина Привалов пока рассказал только одной Надежде Васильевне, которая уже сама рассказала все Нагибину.

— Устрой, господи, все на пользу! — крестился старик. — На что лучше... Николай-то Иваныч золотая душа, ежели его в руках держать. Вере-то Васильевне, пожалуй, трудновато будет совладать с им на первых порах... Только же и слово сказал: «в семена пойду!» Ах ты, господи батюшко!

По такому исключительному случаю был устроен маленький семейный праздник, на котором разговорам не было конца. Привалов точно переродился на деревенском воздухе и удивлял Надежду Васильевну своим

оживленным, бодрым настроением. Когда вечером начали все прощаться, Нагибин крепко поцеловал руку Надежды Васильевны и проговорил растроганным голосом:

— Матушка ты наша, барышня-голубушка, пропали бы мы все здесь пропадом... Вот те истинный Христос!

— Что вы, Илья Гаврилыч, — останавливала расчувствовавшегося старика Надежда Васильевна, — при чем тут именно я?

— Ну, уж это дело наше, голубушка... Знаем, что знаем. Позвольте еще ручку, барышня...

— Какая я вам барышня, когда у меня уж дети!

— Для кого как, а для нас вы барышня, Надежда Васильевна. Я так и молюсь за вас: «Господи, помилуй нашу барышню Надежду Васильевну...» Вот сейчас провалиться, не вру... Пожалуйте ручку, барышня!

Деревенская весна с тысячью мужицких думушек и и «загадок» раскрывала пред Надеждой Васильевной, страница за страницей, совершенно незнакомую ей жизнь. Вычитанное представление о деревне так мало отвечало действительности... Особенно интересовали Надежду Васильевну внутренние порядки крестьянской жизни, какой она проявляется у себя, в своей семье. Каторжная доля деревенской бабы удивила ее. И мужик, конечно, работает, но бабе везде достается вдвое, даже в несчастиях и оскорблениях. Этот специально бабий мир был переполнен такими специально бабьими интересами и напастями, которым не было числа и меры. Для Надежды Васильевны одно открытие следовало за другим, точно она приехала в какое-то не известное ей до сих пор царство. Что значили наши выдуманные и воображаемые страдания сравнительно с мукой мученической деревенской бабы, о которой сам бог забыл! Скоро у Надежды Васильевны завелось в Гарчиках самое обширное бабье знакомство, а во флигельке не переводились разные древние старушки, которых Надежда Васильевна особенно любила. Это были настоящие героини труда, труда самого неблагодарного и никому не известного. Старухи несли в мельничный флигелек бесконечные рассказы о пережитой ими муке мученической вместе с тысячами своих старушечьих

недугов, зол и безысходного горя, которому одно лекарство — могила.

— Матушка ты наша, Надежда Васильевна, — говорила одна сгорбленная старушка, — ты поживи с нами-то подоле, так ее своими глазыньками увидишь. Мужику какое житье: знает он свою пашню да лошадь, а баба весь дом везет, в поле колотится в страду, как каторжная, да с ребятишками смертыньку постоянную принимает.

Раз Надежда Васильевна попала на деревенскую свадьбу и с этого деревенского «веселья» даже заболела: недаром сложились эти похоронные свадебные песни — в них выливалась вся бабья мука мученическая, которой не было конца краю. Теперь все то, чем раньше жила Надежда Васильевна, как-то отошло на задний план, стушевалось, побледнело и просто казалось смешным. Впереди вставала бесконечная святая работа, которую должна сделать интеллигентная русская женщина, — именно, прийти на помощь к своей родной сестре, позабытой богом, историей и людьми. Здесь, как нигде в другом месте, чувствовалась великая сила знания... Малейшая крупица его здесь принесет плод сторицей. Даже специально «городские» знания Надежды Васильевны нашли здесь громадное применение, а между тем ей необходимо было знать тысячи вещей, о которых она никогда даже не думала, так, например, медицина.

Не прошло недели деревенского житья, как Надежда Васильевна почувствовала уже, что времени у нее не хватает для самой неотступной работы, не говоря уже о том, что было бы желательно сделать. Приходилось, как говорится, разрываться на части, чтобы везде поспеть: проведать опасную родильницу, помочь нескольким больным бабам, присмотреть за выброшенными на улицу ребятишками... А там уже до десятка белоголовых мальчуганов и девчонок исправно являлись к Надежде Васильевне каждое утро, чтобы «происходить грамоту».

— Одолели вас наши бабы, барышня, — соболезновал Нагибин. — Ведь их только помани: умереть не да-

дут. Одно слово — бабы, бабы и есть... И старушонки вот тоже каждый день зачали сюда таскаться.

— Ну, это не ваша, а моя забота, — сухо ответила Надежда Васильевна, — пусть ходят, я всегда им рада.

К Привалову Надежда Васильевна относилась теперь иначе, чем в Узле; она точно избегала его, как это казалось ему иногда. О прежних откровенных разговорах не было и помину; в присутствии Привалова Надежда Васильевна обращалась с мужем с особенной нежностью, точно хотела этим показать первому, что он здесь лишний. Даже Лоскутов заметил эту перемену в жене и откровенно, как всегда, высказал ей свое мнение.

— Это тебе так кажется, Максим, — отвечала Надежда Васильевна вспыхивая. — Что мне ухаживать за ним; у меня и без того работы по горло.

— Я так сказал, — проговорил Лоскутов, удивляясь непонятному раздражению жены.

Раз или два, впрочем, Надежда Васильевна высказывала Привалову, что была бы совсем счастлива, если бы могла навсегда остаться в Гарчиках. Она здесь открыла бы бесплатную школу и домашнюю лечебницу. Но как только Максим поправится, придется опять уехать из Гарчиков на прииски.

XVI

Половодов должен был подать первый отчет по конкурсному управлению Шатровскими заводами осенью, когда кончится заводский год. Привалов и Веревкин ожидали этого срока с особенным нетерпением, потому что отчет должен был дать им в руки предлог устранить Половодова с его поста. Теперь налицо было два наследника, и это обстоятельство давало некоторую надежду на полный успех дела.

В старом приваловском доме шла прежняя жизнь, с той разницей, что присутствие Тита Привалова накладывало на нее цыганский отпечаток. Братья, живя под одной кровлей, были гораздо дальше друг от друга, чем раньше, когда Тит Привалов представлял собой

совершенно неизвестную величину. Каждый новый день приносил с собой новые доказательства того, какая неизмеримая разница стояла между братьями. Привалов старший принужден был убедиться, что Привалов младший бесповоротно погибший человек — как человек, который чувствовал физическое отвращение ко всякому труду и с болезненной жаждой отыскивал везде одни удовольствия. Это была вполне цыганская натура: неусидчивая, беспокойная и вместе с тем глубоко апатичная. Когда он потерял интерес новинки, то с головой опустился в тот омут, который чуть было не затянул в себя Привалова старшего. В обществе Лепешкина и Ивана Яковлича Привалов быстро усвоил себе самые широкие привычки и щедро выдавал векселя направо и налево, пока старший Привалов платил за них.

— Воля твоя, я больше не могу оплачивать твои глупости, — заметил, наконец, Привалов своему брату.

— Тогда я перейду на сторону Половодова.

— Для тебя же хуже, а мне все равно: как знаешь, так и делай.

Но Тит рассчитал, что выгоднее держаться за брата, и не привел своей угрозы в исполнение.

Наконец, наступил срок подачи отчета в дворянскую опеку, которая находилась в губернском городе Мохове, за триста верст от Узла. Веревкин полетел туда и всякими правдами и неправдами добыл себе копию с поданного Половодовым отчета.

— Поздравляю: Половодов влетел! — заявил Веревкин, когда вернулся из Мохова. — Зарвался... Ха-ха! Да вы только прочтите этот отчет — комедия из комедий, и мы достопочтенного Александра Павлыча в три узла завяжем. Представьте себе: Шатровские заводы при Косте Бахареве давали ежегодно чистого дивиденда до четырехсот тысяч, а по отчету Половодова... сколько бы вы думали?.. *семьдесят тысяч*... Этого мало: из этих семидесяти тысяч нужно исключить сначала двадцать тысяч за продажу металла, оставшегося после Бахарева, а потом еще пятнадцать тысяч земского налога, которых Половодов и не думал вносить. Итого остается не семьдесят тысяч, а всего тридцать пять тысяч... Далее, Половодов в качестве поверенного от кон-

курса пользуется пятью процентами с чистого дохода; по его расчетам, то есть с семидесяти тысяч, это составит три с половиной тысячи, а он забрал целых десять тысяч...

Привалов не верил своим ушам, но, прочитав копию половодовского отчета, должен был убедиться в печальной истине. Можно было только удивляться безумной смелости, с какой Половодов запустил свою лапу в чужое добро. Теперь Привалов и сам верил, что дни Половодова окончательно сочтены; оставалось только воспользоваться этими обстоятельствами.

— Необходимо вам теперь самим ехать в Мохов, — говорил Веревкин Привалову, — мы их там всех в бараний рог согнем... Вы только представьте себе, из кого состоит эта дворянская опека, — ни дать ни взять какая-нибудь оффенбаховская оперетка! Председатель, отставной чиновник Феонов, — сутяга и приказная строка, каких свет не производил; два члена еще лучше: один — доктор-акушер семидесяти восьми лет, а другой — из проворовавшихся становых приставов, отсидевший в остроге три года... Хороши гуси, нечего сказать! А главное: председатель получает тридцать рублей жалованья, а члены по двадцать восемь рублей. Ну, чего стоило Половодову купить всю эту опеку со всеми потрохами, когда он зацепил больше трехсот тысяч в один год! Признаюсь, бывали у меня дела, видал всякие виды, а подобного еще не случалось лицезреть...

— Мне странным кажется только то, — говорил Привалов, — почему Половодов сразу зарвался, тогда как ему гораздо выгоднее было обобрать заводы в течение нескольких лет на гораздо большую сумму...

— Ну, батенька, у всякого свои расчеты: значит, ему так показалось выгоднее, а может быть, просто не вытерпел и хватил разом. Враг силен, горами качает.

— А где теперь Половодов, вы не знаете?

— Здесь, в Узле. Из самых достоверных источников слышал, даже видел, как он выезжал от Хины.

Привалов хорошо знал, зачем Половодов ездил к Заплатиной, но ему теперь было все равно. С женой он почти не видался и не чувствовал больше к ней ни любви, ни ненависти.

Устроив на скорую руку свои дела в Узле, Привалов уехал с Веревкиным в Мохов и прямо обратился к губернатору, который принял в этом вопиющем деле самое деятельное участие. Веревкин составил докладную записку для губернатора и не пожалел красок для описания подвигов Половодова. Губернатор, старый николаевский служака, круто повернул все дело, и благодаря его усилиям журнальным постановлением дворянской опеки Половодов устранялся от своего звания поверенного от конкурса.

— А кроме этого, мы Александра Павлыча привлечем к уголовной ответственности за мошенничество, — соображал Веревкин, потирая руки. — Захваченные же деньги взыщем гражданским судом. Одним словом, сделаем полнейший шах и мат.

Когда Привалов вернулся в Узел и только хотел отправиться в Гарчики отдохнуть несколько дней, Веревкин узнал, что новым журнальным постановлением дворянской опеки Половодов снова восстановлен в своих полномочиях поверенного от конкурса.

— Опять придется ехать в Мохов... — говорил Веревкин.

Сделать в осеннюю распутицу взад и вперед целых шестьсот верст заставило Привалова задуматься, но дело не ждало, и он решился опять ехать в Мохов. Веревкин так и рвался сразиться еще раз с Половодовым. На этот раз губернатор принял Привалова довольно сухо: какая-то искусная канцелярская рука успела уже «поставить дело» по-своему. Веревкину стоило героических усилий, чтобы убедить губернатора еще раз в необходимости принять самые энергичные меры для ограждения интересов наследников Шатровских заводов. Двухнедельные хлопоты по всевозможным канцелярским мытарствам, наконец, увенчались полным успехом: опека опять отрешила Половодова от его должности, заменив его каким-то безвестным горным инженером.

— Если еще раз такую баню вкусишь, пожалуй, и оскомину набьешь, — решил Веревкин. — Это черт знает что такое, какая-то сказка про белого бычка.

В Узел Привалов вернулся ночью, в страшную осеннюю слякоть, когда в двух шагах хоть глаз выколи. Не успел он умыться после дороги, как в кабинет вошел доктор, бледный и взволнованный. Привалова удивил и даже испугал этот полуночный визит, но доктор предупредил его вопрос, подавая небольшую записку, торопливо набросанную на розовом почтовом листке.

— Вот прочитайте... — едва мог проговорить доктор.

Привалов сразу узнал руку Зоси, которая писала доктору:

«Милый и дорогой доктор!

Когда вы получите это письмо, я буду уже далеко... Вы — единственный человек, которого я когда-нибудь любила, поэтому и пишу вам. Мне больше не о ком жалеть в Узле, как, вероятно, и обо мне не особенно будут плакать. Вы спросите, что меня гонит отсюда: тоска, тоска и тоска... Письма мне адресуйте poste restante [1] до рождества на Вену, а после — в Париж. Жму в последний раз вашу честную руку.

Ваша недостойная ученица *Зося.*

P. S. Мой муж, вероятно, не особенно огорчится моим отъездом, потому что уже, кажется, нашел себе счастье en trois... [2] Если увидите Хину, передайте ей от меня, что обещанные ей Половодовым золотые прииски пусть она сама постарается отыскать, а лично от себя я оставляю ей на память моего мохнатого друга Шайтана».

В кабинете несколько мгновений стояло самое напряженное, тяжелое молчание.

— Я не ожидал от Зоси именно этого... — проговорил, наконец, Привалов.

Ответа не было. Привалов поднял глаза и увидел, как седой, сгорбившийся в одну ночь старик стоял у окна к нему спиной и тихо плакал.

---

[1] до востребования *(франц.)*.

[2] втроем... *(франц.)*

— Борис Григорьич... — тихо окликнул Привалов, подходя к доктору.

— Что? — отозвался старик, закрыв мокрое лицо руками.

— Она уехала... одна?

— Нет, с Половодовым...

Опять тяжелая пауза. Привалову сделалось жаль не себя, а этого хорошего старика, который теперь рыдал как ребенок.

— Доктор, вы очень любили ее?

— Я?.. О да... Зося для меня была дороже жизни. До двенадцати лет я любил ее как девочку, а потом как женщину... Если бы я мог вернуть ее... Она погибнет, погибнет...

«Я никогда не любил жену... — думал Привалов, слушая этот бред. — А вот человек, который действительно отдал ей все, что может отдать человек».

С доктором сделалась истерика, так что Привалову пришлось возиться с ним до самого утра. Старик немного забылся только пред серым осенним рассветом, но и этот тяжелый сон был нарушен страшным гвалтом в передней. Это ворвалась Хиония Алексеевна, которая узнала об исчезновении Зоси, кажется, одной из последних. В кабинет она влетела с искаженным злобой лицом и несколько мгновений вопросительно смотрела то на доктора, то на Привалова.

— Могу я узнать, куда уехала Софья Игнатьевна? — проговорила она, наконец, с азартом, обращаясь к Привалову.

— Да, можете: она теперь на дороге в Вену...

— Не может быть!.. Вы все меня обманываете... С кем же она уехала?

— Вам это ближе знать, Хиония Алексеевна...

— Что вы хотите этим сказать, Сергей Александрыч? Я, конечно, бедная женщина, и оскорбить меня ничего не стоит... Притом вы отлично изучили мой проклятый характер...

Чтобы прекратить эту дурацкую сцену, Привалов дал Хионии Алексеевне прочитать письмо Зоси к доктору.

— Вот как!.. — едва могла проговорить Хиония Алексеевна, напрасно стараясь принять величественную позу. — Прииски... Шайтан...

В следующую минуту Хионию Алексеевну выкинуло из приваловского кабинета, точно ветром, и она опомнилась только на улице, где стояло мглистое, холодное сентябрьское утро, дул пронизывающий насквозь ветер и везде по колено стояла вязкая глубокая грязь. «Золотые прииски пусть она сама постарается отыскать, а лично от себя я оставляю ей на память моего мохнатого друга Шайтана...» Эта фраза колола Хионию Алексеевну, как змеиное жало. И это благодарность за все ее хлопоты, за весь риск, какому она себя подвергала, за всю преданность... И после этого еще можно верить людям?! Ее выкинули, как бросают старую тряпку за окно. Да!.. Испитое лицо Хионии Алексеевны было ужасно в этот момент: волосы выбились из-под шляпы клочьями, пальто было распахнуто. С каким-то диким хохотом она оглянулась на приваловский дом и погрозила ему своим высохшим, костлявым кулаком, а потом плюнула в сторону видневшегося города. Пошатываясь, Хиония Алексеевна едва добралась до первого извозчика и глухо проговорила:

— К Веревкиным...

Когда Веревкин узнал об отъезде Зоси и Половодова, он крепко выругался, а потом проговорил:

— Вот вам и весь секрет, почему Половодов сразу рванул такой куш: не из чего было выбирать. Изволь-ка его теперь ловить по всей Европе, когда у него в кармане голеньких триста тысяч...

XVII

Привалов решился ехать в Петербург сам, чтобы перенести дело в сенат. Теперь он мог воспользоваться произведенной Половодовым растратой в своих интересах, да и хлопотать мог уже не от себя только лично, но и от брата Тита. Веревкин, конечно, ехал вместе с ним и только просил об одном — чтобы подождать приезда Василия Назарыча с приисков, когда его собственное

дело окончательно вырешится в ту или другую сторону. Привалову тоже нужно было привести в порядок кой-какие дела на мельнице, и он согласился подождать до первого зимнего пути.

Веревкин каждый день ездил в бахаревский дом. Его появление всегда оживляло раскольничью строгость семейной обстановки, и даже сама Марья Степановна как-то делалась мягче и словоохотливее. Что касается Верочки, то эта умная девушка не предавалась особенным восторгам, а относилась к жениху, как относятся благоразумные больные к хорошо испытанному и верному медицинскому средству. Иногда она умела очень тонко посмеяться над простоватой «натурой» Nicolas, который даже смущался и начинал так смешно вздыхать.

— Ну, наша Вера Васильевна уродилась, видно, не в батюшку, — рассуждал Лука «от свободности». — Карахтер у ней бедовый, вся в матушку родимую, Марью Степановну, выйдет по карахтеру-то, когда девичья-то скорость с нее соскочит... Вон как женихом-то поворачивает, только успевай оглядываться. На што уж, кажется, Миколай-то Иваныч насчет словесности востер, а как барышня поднимет его на смешки, — только запыхтит.

Марья Степановна, повидимому, не раскаивалась в своем выборе и надеялась, что Василий Назарыч согласится с нею. Иногда, глядя на Веревкина, она говорила вслух:

— Вот уж поистине, Николай Иваныч, никогда не знаешь, где потеряешь, где найдешь... Из Витенькиной-то стрельбы вон оно что выросло! Вот ужо приедет отец, он нас раскасторит...

Наконец, приехал и Василий Назарыч с прииска. Верочка сама объявила ему о сделанном ею выборе. Это неожиданное известие очень взволновало старика; он даже прослезился.

— Он тебе нравится? — спрашивал он Верочку.

— Очень, папа...

— Ну, твое счастье... Прежде старики сами выбирали женихов детям да невест, а нынче пошло уж дру-

гое. Тебе лучше знать, что тебе нравится; только не ошибись...

— Нет, папа: он такой добрый.

— Дай бог, дай бог, деточка, чтобы добрый был. Вот ужо я с ним сам переговорю...

Веревкину старик откровенно высказал все, что у него лежало на душе:

— Сам-то ты парень хороший, да вот тятенька-то у тебя...

— Василий Назарыч, право, трудно обвинять человека в том, от кого он родился, — говорил Веревкин.

— Верно, все верно говоришь, только кровь-то в нас великое дело, Николай Иваныч. Уж ее, брат, не обманешь, она всегда скажется... Ну, опять и то сказать, что бывают детки ни в мать, ни в отца. Только я тебе одно скажу, Николай Иваныч: не отдам за тебя Верочки, пока ты не бросишь своей собачьей должности...

— Это мой хлеб, Василий Назарыч.

— И должность свою бросишь, и за Верочкой я тебе ничего не дам, — продолжал старик, не слушая Веревкина, — сам знаешь, что чужая денежка в прок нейдет, а наживай свою.

— Я и не рассчитываю, Василий Назарыч, на чужие деньги.

— Ну, рассчитываешь там или нет, — по мне, было бы сказано... так-то!.. Конечно, оно хорошо быть адвокатом, жизнь самая легкая, да от легкой-то жизни люди очень скоро портятся.

— Дайте подумать, Василий Назарыч...

— Тут и думать нечего: твое счастье, видно, в сорочке ты родился, Николай Иваныч. А денег я тебе все-таки не дам: научу делу — и будет с тебя. Сам наживай.

Веревкин несколько дней обдумывал это предложение, а потом, махнув рукой на свою «собачью службу», решил: «В семена так в семена... Пойдем златой бисер из земли выкапывать!»

— Только дайте мне дело Шатровских заводов кончить, — просил Веревкин Василия Назарыча. — Нужно будет съездить в Петербург еще раз похлопотать...

— Не держу, поезжай... Только из этого ничего не выйдет, вперед тебе скажу: заводов вам не воротить. Ну, а Сергей что?

Веревкин рассказал, что знал о мельнице и хлебной торговле Привалова. Старик выслушал его и долго молчал.

— Этакая мудреная эта приваловская природа! — заговорил он. — Смотреть на них, так веревки из них вей, а уж что попадет в голову — кончено. Прошлую-то зиму, говорят, кутил он сильно?

— Теперь не пьет больше, Василий Назарыч.

— В добрый час... Жена-то догадалась хоть уйти от него, а то пропал бы парень ни за грош... Тоже кровь, Николай Иваныч... Да и то сказать: мудрено с этакой красотой на свете жить... Не по себе дерево согнул он, Сергей-то... Около этой красоты больше греха, чем около денег. Наш брат, старичье, на стены лезут, а молодые и подавно... Жаль парня. Что он теперь: ни холост, ни женат, ни вдовец...

Свадьба Верочки была назначена сейчас после рождества, когда Веревкин вернется из Петербурга.

Привалов в это время был в Гарчиках, где разыгрывалась самая тяжелая драма: Лоскутов сошел с ума... Был вызван из Узла доктор Сараев, но больной уже не нуждался ни в чьей помощи: смерть была не за горами. У Лоскутова развилась острая форма помешательства с припадками религиозной мании. Он вообразил себя мессией, который пришел спасти весь мир и вторично умереть для спасения людей. Самый восторженный бред перемешивался со страшными приступами отчаяния, которое переходило в исступление. Больной неистовствовал и бесновался, так что его приходилось даже связывать, иначе он разбил бы себе голову или убил первого, кто подвернулся под руку

В комнате больного попеременно дежурили Привалов, Нагибин или сам доктор. Что касается Надежды Васильевны, то доктор непременно настаивал, чтобы она пока переселилась в деревню, где не будет слышать стонов и воплей несчастного больного.

— Если вы не заботитесь о себе, то подумайте о вашей дочери, — говорил доктор, когда Надежда Ва-

сильевна не хотела следовать его советам. — Больному вы не принесете особенной пользы, а себя можете окончательно погубить. Будьте же благоразумны...

Надежда Васильевна, наконец, согласилась с той тупой покорностью, какая является у людей, потерявших последнюю надежду. Она не плакала, не жаловалась, но это немое горе серьезно беспокоило доктора.

Острый период болезни Лоскутова продолжался дней десять, в течение которых он ни разу не заснул, но потом он как-то вдруг «стишал» и точно весь распустился.

— Начался паралич, — предупредил Привалова доктор. — Скоро все кончится.

— Вы предупредили об этом Надежду Васильевну?

— Да... Смерть — самый счастливый исход для таких больных.

Через две недели Лоскутова не стало. Его похоронили на общем крестьянском кладбище, куда Надежда Васильевна ходила каждый день. Доктор каждый раз провожал ее, озабоченный слишком сдержанным, немым горем своей бывшей ученицы. Ему самому было не веселее, и он даже жалел, что Зося продолжает еще жить, жить для того, чтобы спускаться все ниже и ниже по той покатой, скользкой плоскости, по которой она теперь уже катилась. Лоскутова доктор любил и глубоко ценил как талантливую, светлую голову, которая, как многие другие светлые головы на Руси, пропала ни за грош...

Чтобы развлечь Надежду Васильевну, доктор строил всевозможные планы, как устроить ее, но она остановилась на своем собственном решении: навсегда остаться в Гарчиках, где похоронила свое молодое счастье.

— Заведу школу... буду лечить крестьян, — говорила она доктору. — Труд — лучшее лекарство для меня.

Открылся санный путь, и Привалову нужно было уезжать в Петербург. На прощанье он нерешительно сказал Надежде Васильевне:

— У меня есть до вас большая просьба. Я уеду надолго, может быть, на год. Если бы вы согласились

помогать Илье Гаврилычу в нашем деле, я был бы совершенно спокоен за все. Мне необходимо такое доверенное лицо, на которое я мог бы положиться как на самого себя.

Надежда Васильевна долго не соглашалась взять на себя такую обузу, но когда Нагибин стал ее просить со слезами на глазах, она согласилась. Чтобы не скучно было жить одной в Гарчиках, Надежда Васильевна написала письмо старушке Колпаковой, приглашая ее к себе хотя на время.

XVIII

Прошел год.

Свадьба Веревкина состоялась в январе, а весной он уехал с Василием Назарычем на прииски. Привалов с братом Титом жил в Петербурге, где продолжал хлопоты по делу о заводах. Прошло лето, наступила опять зима, и все кругом потонуло в глубоком снегу.

Веревкин с женой жил в бахаревском доме и, кажется, совсем отказался от своих прежних привычек и друзей веселой юности. Приисковое дело пришлось ему как раз по душе, и Василий Назарыч как нельзя больше был доволен своим помощником. Как семьянин Веревкин открывал в себе совершенно не подозреваемые достоинства: он совсем втянулся в тихую семейную жизнь. Маленький диссонанс, особенно на первое время, вносили в эту жизнь родственные отношения к Веревкиным, к которым Бахарев никак не мог привыкнуть, и даже Верочка, уживавшаяся со всем и со всеми, чувствовала себя не в своей тарелке в присутствии Ивана Яковлича или Агриппины Филипьевны. Впрочем, первый особенно не обременял своим присутствием, потому что был слишком занят своими личными делами: в течение года он успел еще раз подняться и спустить все до нитки.

В один из ноябрьских дней, когда Василий Назарыч занимался в своем кабинете, к нему вошел Николай Иваныч и нерешительно кашлянул. Он только что

приехал откуда-то и внес с собой в кабинет свежую струю холодного зимнего воздуха.

— Что новенького, Николай Иваныч? — спросил Василий Назарыч, откладывая в сторону кипу каких-то счетов.

— Привалов приехал, Василий Назарыч.

— Ты его видел?

— Да.

Старик почувствовал что-то недоброе в этом сдержанном тоне зятя, но не решался спросить, что привез с собой из столицы Привалов.

— Шатровские заводы, Василий Назарыч, проданы, — проговорил Веревкин, чтобы разом покончить эту тяжелую сцену.

— Как проданы? Кому?.. зачем?

— Для покрытия казенного долга министерство сочло самым лучшим пустить заводы с молотка...

— Кто же их купил?

— Какая-то компания...

Бахарев закрыл лицо руками и так просидел несколько минут. Слышно было, как он сдержанно всхлипывал, напрасно стараясь подавить подступавшие к горлу слезы.

— Что же досталось наследникам? — спросил старик.

— Заводы пошли по цене казенного долга, а наследникам дали отступных, кажется, тысяч сорок...

— И все кончено?

— Теперь все... Компания приобрела заводы с рассрочкой платежа на тридцать семь лет, то есть немного больше, чем даром. Кажется, вся эта компания — подставное лицо, служащее прикрытием ловкой чиновничьей аферы.

— Всем по куску досталось, все сорвали, а наследников ограбили! От приваловских миллионов даже дыму не осталось... Много я видел на своем веку всяких пакостей, а такую еще вижу в первый раз. А что Привалов?

— Ничего... Собирается ехать на свою мельницу. Да, еще есть новость, Василий Назарыч... Сегодня видел доктора, он едет в Париж. На днях получил

телеграмму от Зоси; она ему телеграфирует, что Половодов застрелился. Его давно разыскивали по Европе по делу о конкурсе, но он ловко скрывался под чужими именами, а в Париже полиция его и накрыла: полиция в двери, а он пулю в лоб... Теперь Зося вызывает доктора в Париж; она хлопочет о разводе.

Бахарев набожно перекрестился и прошептал:

— Всем бы нам руки развязала...

Поздно вечером, когда Веревкин уже хотел ложиться спать, приковылял Лука и объявил:

— Миколай Иваныч, вас барин беспременно спрашивают...

— Хорошо, беспременно приду, старый хрен. Так и скажи барину, что, мол, барин придет, ежели его отпустит барыня...

Лука только махнул рукой: «Уж што и за барин только этот Миколай Иваныч, слова спроста не вымолвит...»

— Мы завтра рано утром едем с тобой, — объявил Василий Назарыч, когда Веревкин пришел в кабинет.

— Хорошо.

Веревкин по тону голоса слышал, что не нужно спрашивать старика, куда и зачем он едет. У Василия Назарыча было что-то на уме, ну, пусть его: ехать так ехать. Отчего не проехаться: дорога как карта, экипаж у Василия Назарыча отличный, можно всю дорогу спать.

Утром было еще темно, когда на дворе бахаревского дома уже топталась лихая почтовая тройка. Мороз стоял порядочный, и все деревья опушило снежными кристаллами. Приятная дрожь охватит всего, когда в такое утро выйдешь из теплой комнаты на улицу, а там заскрипят полозья, замелькает по сторонам бесконечная снежная поляна; в небе чуть-чуть мигают звездочки, позванивает колокольчик под дугой... Сколько поэзии в такой зимней поездке! А там станция, набитая ямщиками, горячие щи на столе, рюмка водки, — и опять звездочки в небе, опять дорога, звон колокольчика и то благодатное убаюкивающее чувство, какого никогда не испытываешь ни на железных дорогах, ни на пароходах.

Веревкин испытывал именно такое поэтическое настроение, когда ехал с Василием Назарычем неизвестно куда. Старик сидел в углу экипажа и все время сосал сигару. Только раз он спросил Веревкина:

— А ты не знаешь, долго проживет Привалов в Узле?

— Дня три, кажется...

Станции мелькали одна за другой. После горячего, чисто дорожного обеда на одной из них Веревкин крепко заснул, укрывшись медвежьим одеялом. Он проснулся только тогда, когда была уже ночь и кибитка легкой почтовой рысцой спускалась к какому-то селу. Где-то далеко лаяли собаки, попался обоз, нагруженный мешками крупчатки. Вон и деревня, потонувшая в сугробах снега; мутно мелькнули в маленьких запушенных снегом окнах огоньки, кое-где столбами поднимался из труб дым... Было раннее деревенское утро, и бабы уже успели затопить печки. Где-то горланил неугомонный петух — этот деревенский часовой, который хозяйкам сказывает время.

Экипаж остановился у новой пятистенной избы, которая точно горела внутри, — так жарко топилась печка у богатого мужика. На лай собаки вышел сам хозяин.

— Ты староста Дорофей? — спрашивал Василий Назарыч.

— Я, ваше степенство...

— Ну, так отворяй ворота. Илья Гаврилыч где?

— На мельнице сегодня ночуют...

— Ну, пошли поскорее за ним.

Веревкин никак не мог догадаться, куда они приехали, но с удовольствием пошел в теплую избу, заранее предвкушая удовольствие выспаться на полатях до седьмого пота. С морозу лихо спится здоровому человеку, особенно когда он отломает верст полтораста. Пока вытаскивались из экипажа чемоданы и наставлялся самовар для гостей, Веревкин, оглядывая новую избу, суетившуюся у печки хозяйку, напрасно старался решить вопрос, где они. Только когда в избу вошел Нагибин, Веревкин догадался, что они в Гарчиках.

«Эге, вон оно куда пошло!..» — подумал про себя Веревкин, здороваясь со старым знакомым.

— Вот и мы к тебе за крупчаткой приехали, — шутил Василий Назарыч, хлопая Нагибина по плечу. — У нас своя-то вся вышла, а есть хочется... Вон у меня зятек-то мастер насчет еды.

За чаем побалагурили о том о сем; Василий Назарыч рассказал о продаже заводов. Нагибин только охал и с соболезнованием качал головой. На дворе начало светать.

— Я малость сосну, господа, — заявил Веревкин, желая избавить стариков от своего присутствия; его давно уже клонил мертвый сон, точно вместо головы была насажена пудовая гиря.

— *Она* здесь? — тихо спросил Василий Назарыч Нагибина, когда Веревкин захрапел на полатях.

— Здесь...

— Ну, что она?.. Рассказывай.

— Да все то же, все по-старому. Школку зимой открыла, с ребятишками возится да баб лечит. Ну, по нашему делу тоже постоянно приходится отрываться: то да се... Уж как это вы хорошо надумали, Василий Назарыч, что приехали сюда. Уж так хорошо, так хорошо.

Бахарев рассказал о смерти Половодова и о желании Зоси получить развод.

— Вот я и приехал... хочу увидать Надю... — заговорил Бахарев, опуская седую голову. — Вся душенька во мне изболелась, Илья Гаврилыч. Боялся один-то ехать — стар стал, того гляди кондрашка дорогой схватит. Ну, а как ты думаешь насчет того, о чем писал?

— То же самое я думаю, Василий Назарыч... Тоскует она, Надежда-то Васильевна, на глазах сохнет. Да и какое это житье, если разобрать: вроде того, как дом стоит без крыши...

— Ну, а теперь можно идти к ней?

— Можно... Она рано встает. Только я вперед забегу, погляжу, что и как. Пожалуй, еще испугается...

— Не послать ли вперед Николая Иваныча? Он мастер балясы-то точить с бабами...

— Нет, уж лучше так, Василий Назарыч. Я живой ногой сбегаю на мельницу, что и как, а потом уж вместе и пойдемте туда. Оно все как-то смутительно...

В ожидании Нагибина Василий Назарыч переживал страшное волнение. Вот уже три года, как он не видал дочери; из письма Нагибина он узнал в первый раз, что у него уже есть внучка; потом — что Лоскутов умер. Старик надеялся, что именно теперь Надя вернется в свой дом, по крайней мере придет взглянуть на стариков. Нет и нет... Тогда Василий Назарыч осторожно навел через Нагибина справки, нет ли какой-нибудь новой причины такого странного поведения; старики одинаково боялись, чтобы за первым Лоскутовым не появился второй. В человека вообще, а в женскую природу в особенности, в этом случае они плохо верили... От Нагибина Василий Назарыч узнал, что новых причин никаких не имеется, а Надежда Васильевна живет в Гарчиках «монашкой»: учит ребят, с деревенскими бабами возится, да еще по мельнице орудует вместе с ним, как наказывал Сергей Александрыч. К этому старик прибавил, что, конечно, теперь она сильно тоскует — приступу к ней иногда нет, — ну, а дело-то все-таки молодое — и не такое горе износится... Вон Сергей Александрыч тоже, сердяга, мается со своим постылым житьишком. Не глядели бы глазыньки! Нагибин боялся прямо высказать Василию Назарычу свои соображения насчет Сергея Александрыча и Надежды Васильевны, которых точно сама судьба столкнула в Гарчиках, но в одном месте упомянул, что Надежда Васильевна «большую силу имеет над Приваловым и, можно сказать, даже они спасли его от пьянства и картежной игры». Это Нагибину рассказывал сам Привалов. Ввиду всех этих обстоятельств Василий Назарыч и поехал сам в Гарчики; он раньше уже думал об этом несколько раз.

— Они встали; пожалуйте, Василий Назарыч, — говорил Нагибин, появляясь в дверях. — Я сказал им, что приведу такого гостя, такого гостя, о каком они и думать не смеют. Сначала не поверили, а потом точно даже немножко испужались...

Старик неудержимо болтал всю дорогу, пока они шли от избы старосты Дорони до мельничного флигелька; он несколько раз от волнения снимал и надевал шапку. У Бахарева дрогнуло сердце, когда он завидел,

наконец, ту кровлю, под которой жила его Надя, — он тяжело дышал и чувствовал, как у него дрожат ноги.

— Вот сюда пожалуйте... — говорил Нагибин, отворяя калитку во двор флигелька.

Вот и передняя, потом большая комната с какими-то столами посредине, а вот и сама Надя, вся в черном, бледная, со строгим взглядом... Она узнала отца и с радостным криком повисла у него на шее. Наступила долгая пауза, мучительно счастливая для всех действующих лиц; Нагибин потихоньку плакал в холодных сенях, творя про себя молитву и торопливо вытирая бумажным платком катившиеся по лицу слезы.

— Вот я приехал к тебе... сам приехал... — шептал Василий Назарыч, рассматривая свою Надю пристальным взглядом. — Состарился совсем... хотел тебя увидать...

Надежда Васильевна провела отца в заднюю половину флигелька, где она занимала две крошечных комнатки; в одной жила сама с Маней, а в другой Павла Ивановна. Старушка узнала по голосу Василия Назарыча и другим ходом вышла в сени, чтобы не помешать первым минутам этого свидания.

— У меня, папа, нет отдельной приемной, — говорила Надежда Васильевна, начиная прибирать разбросанные везде детские игрушки.

Старик покосился в угол, где стояла маленькая детская кроватка; его точно что кольнуло, и Надежда Васильевна заметила, как он отвернулся, стараясь смотреть в другую сторону. Маленькая Маня спала детским крепким сном, не подозревая, какую душевную муку подняло в душе старика ее невинное присутствие в этой комнате.

— Ну, как ты живешь здесь?.. — заговорил Василий Назарыч после короткой, но тяжелой паузы. — Все с своей школой да с бабами возишься? Слышал, все слышал... Сорока на хвосте приносила весточки. Вон ты какая сама-то стала: точно сейчас из монастыря. Ведь три года не видались...

В голосе старика опять послышались глухие слезы, но он сдержал себя на этот раз. Надежда Васильевна от сильного волнения не знала, что ей делать и что

говорить. Она так давно не видала отца, которого всегда безумно любила. В ее глазах это был идеальный человек: добрый, великодушный, энергичный. Она забыла об отношениях лично к ней, а видела отца только таким, каким всегда любила его. Эта представительная стариковская фигура, эта седая большая голова, это открытое энергичное лицо, эти строгие и ласковые глаза — все в нем было для нее дорого, и она сто раз принималась целовать отца. От неожиданного счастья она теряла голову и плохо помнила, что говорила, повторяя одни вопросы и отвечая невпопад. Радость, и слезы, и горе — все это перемешалось в одно чувство, которое придавало Надежде Васильевне неизъяснимую прелесть в глазах отца. Девушка превратилась в женщину, но какую женщину... Разве это была чета другим женщинам. В дочери старик любил самого себя, те именно душевные качества, какие уважал в людях больше всего: прямоту характера, честность и тот особенный склад душевности, какая так редко встречается.

Трудовая, почти бедная обстановка произвела на Василья Назарыча сильное впечатление, досказав ему то, чего он иногда не понимал в дочери. Теперь, как никогда, он чувствовал, что Надя не вернется больше в отцовский дом, а будет жить в том мирке, который создала себе сама.

— Я не приехал бы к тебе, если бы был уверен, что ты сама навестишь нас с матерью... — говорил он. — Но потом рассудил, что тебе, пожалуй, и незачем к нам ездить: у нас свое, у тебя свое... Поэтому я тебя не буду звать домой, Надя; живи с богом здесь, если тебе здесь хорошо...

— Да, мне, папа, здесь очень хорошо. Я не желаю ничего лучшего.

Когда первый прилив радости миновал, Надежда Васильевна почувствовала неприятное сомнение: именно, ей казалось, что отец не высказал прямо цели своего приезда и что-то скрывает от нее. Это было написано на его лице, хотя он и старался замаскировать что-то.

Их разговор разбудил маленькую Маню. Девочка заспанными темными глазками посмотрела на старика и улыбнулась заспанной блаженной улыбкой.

— Маня, деду приехал, — говорила Надежда Васильевна, вынимая девочку из кровати. — Настоящий, наш деду.

Девочка пристально посмотрела на седого старика и, крепко обхватив шею матери, коротко ответила:

— Нет...

— Какая хорошенькая девочка у тебя... — проговорил Василий Назарыч, пробуя приласкать девочку. — Ну, Маня, давай познакомимся...

— Нет...

Девочка прильнула к матери и ни за что не хотела идти на руки к седому настоящему деду; она несколько раз пристально и недоверчиво заглянула в глаза матери, точно подозревая какую-то измену.

Опять вышла тяжелая и неприятная сцена.

Появление Павлы Ивановны с самоваром прекратило неловкое положение обеих сторон, а маленькая Маня весело улыбнулась старушке.

— Вот и я приехал в ваш монастырь, Павла Ивановна, — шутил Василий Назарыч. — У меня где-то есть еще человек, да спит он. Пусть проспится, тогда и покажу его вам.

После чая Василий Назарыч ходил с Нагибиным осматривать мельницу, которая была в полном ходу, и остался всем очень доволен. Когда он вернулся во флигелек, Веревкин был уже там. Он ползал по полу на четвереньках, изображая медведя, а Маня визжала и смеялась до слез. Веселый дядя понравился ей сразу, и она доверчиво шла к нему на руки.

На мельнице Василий Назарыч прожил целых три дня. Он подробно рассказывал Надежде Васильевне о своих приисках и новых разведках: дела находились в самом блестящем положении и в будущем обещали миллионные барыши. В свою очередь Надежда Васильевна рассказывала подробности своей жизни, где счет шел на гроши и копейки. Отец и дочь не могли наговориться: полоса времени в три года, которая разделяла их, послужила еще к большему сближению.

— Ну, я завтра еду домой, Надя... — проговорил Василий Назарыч на третий день вечером, когда они остались в комнате вдвоем.

Надежда Васильевна почувствовала, что вот теперь-то и начнется то тяжелое объяснение, которого она так боялась все время. Она даже побледнела вся и опустила глаза.

— Мне нужно серьезно поговорить с тобой... — продолжал старик, привлекая к себе дочь. — Будем говорить с тобой как старые друзья. Я был виноват пред тобой, но ты старого зла не помнишь... Я слишком много мучился за все это время, чтобы еще сердиться на старика. Стар я стал, Надя, годы такие подходят, что и о смерти нужно подумать... Не сегодня-завтра все будет кончено, и должен буду дать отчет самому богу во всех своих земных делах и помышлениях. Вот я и думаю: умру, ты останешься одна с маленькой девочкой на руках... Конечно, ты работаешь и свою голову всегда прокормишь, но что тебя ждет впереди? Полное одиночество... А ведь ты еще молода, жизнь долга, старое горе износится... Голубчик, надо подумать и о себе! Ты теперь не маленькая, а взрослая женщина, которая может понимать все... Я вот и думаю о тебе, а сердце так и обливается кровью. Тяжело мне будет умирать, Надя, когда ты остаешься не к шубе рукав, как говаривали старинные люди.

Старик замолчал и с трудом перевел дух. Ему трудно было продолжать, и он несколько раз нервным движением пощупал свою голову.

— Скажу тебе прямо, Надя... Прости старика за откровенность и за то, что он суется не в свои дела. Да ведь ты-то моя, кому же и позаботиться о дочери, как не отцу?.. Ты вот растишь теперь свою дочь, и пойми, чего бы ты ни сделала, чтобы видеть ее счастливой.

— Да, это верно, папа. Только я никогда не стала бы ничего ей навязывать.

— И это верно, Надя... на словах. А как не скажешь, когда тебя сосет известная мысль, неотступно сосет? Я тебе не хочу ничего навязывать, а только выскажу свою мысль, свое заветное желание, с которым умру. Видишь, есть такой человек, который любит тебя,

давно любит, и с ним ты была бы счастлива и его сделала бы счастливым. Да и не только его и нас, а и всех тех, для кого теперь трудишься из последних сил. Ты-то вот сама не замечала этого человека, а мы его видели и видим, как он тебя любит. Конечно, все мы люди — все человеки, у всех есть свои недостатки, но...

— Папа, ты забываешь, что я еще только недавно сняла траур.

— Деточка, что же из этого? Ну, я скоро помру, будешь носить по мне траур, разве это доказательство? Все помрем, а пока живы — о живом и будем думать... Ты знаешь, о ком я говорю?

— Да...

— Ну, будем говорить серьезно. Ты теперь большая и понимаешь, что в жизни больше горя, чем радости, если только думать о самом себе... Так?.. Теперь ты только хочешь жить для своей девочки и для других... Так? Хорошо. А если к этому мы прибавим, что ты и сама еще будешь счастлива, — проиграют от этого те люди, для которых ты желаешь жить? Ну, отвечай по совести... Конечно, нет, а неизмеримо выиграют. Даже свахи говорят, что две головешки горят вместе светлее... Мертвых мы с тобой никогда не воротим, а о живых следует подумать. Заметь, что от твоего личного счастья родится счастье, может быть, сотен и тысяч других людей... Об этом следует подумать. Это наш первый христианский долг. Второй раз ты не сделаешься девушкой, а хорошей женой будешь. Тебя удивляет и, может быть, оскорбляет моя стариковская откровенность, но войди в мое положение, деточка, поставь себя на мое место; вот я старик, стою одной ногой в могиле, целый век прожил, как и другие, с грехом пополам, теперь у меня в руках громадный капитал... Что я буду делать? Второй жизни у меня не будет, и мой капитал пойдет прахом, все равно, кому бы он ни достался: Косте, Виктору, Веревкину или Марье Степановне. Тебе отдать все — не возьмешь... А у меня есть большой долг, Надя. Я взят был к Павлу Михайлычу сиротой, и твоя мать — тоже. Мы выросли под крылышком у

старика, выучились, поженились — все от него имеем. Когда он умирал, я один из его воспитанников был у его постели, и он положил мне завет: беречь его дочь Варвару и внука. Что от меня зависело, как ты сама знаешь, я все делал. Теперь мне остается только завещать свои деньги Сергею Александрычу, пусть со временем выкупает заводы... Не продали бы заводов, если бы у меня тогда на Варваринском не случилась беда да нога меня не продержала дома целый год. Ну, скажу тебе откровенно, Сергея Александрыча я люблю и уважаю, но не могу ему всего доверить... У него много недостатков, хотя он был бы совсем другим человеком в хороших руках. Ты сама это знаешь и, наверно, думала то же самое не раз.

Старик обнял дочь и каким-то задыхавшимся шепотом проговорил:

— Если у меня будет внук, маленький Привалов, все, что имею теперь и что буду иметь, — все оставлю ему одному... Пусть, когда вырастет большой, выкупит Шатровские заводы, а я умру спокойно. Голубчик, деточка, ведь с Сергеем умрет последний из Приваловых!..

Надежда Васильевна тихо плакала, старик горячо ее целовал.

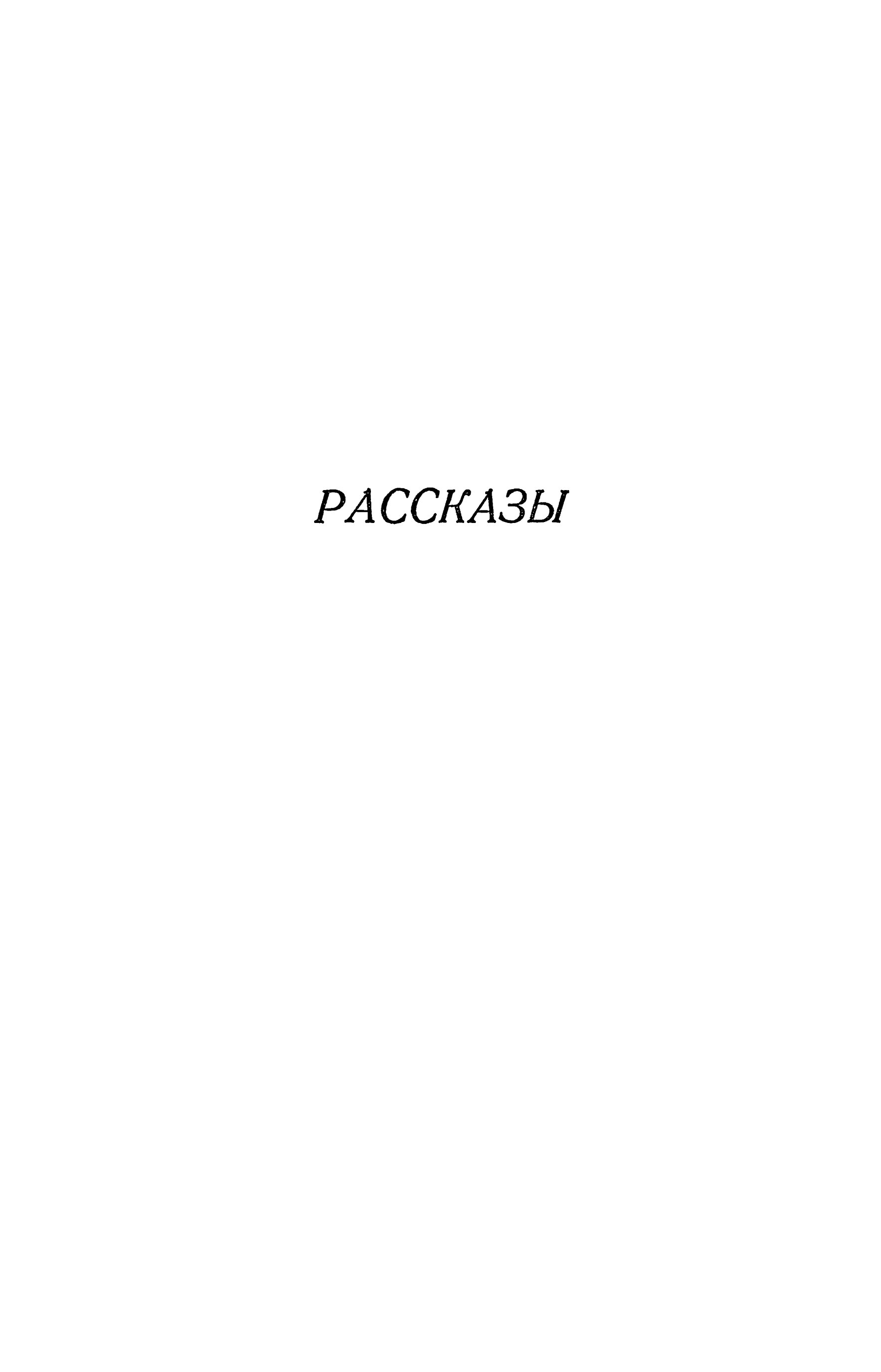
— Я не говорю: сейчас, завтра... — продолжал он тем же шепотом. — Но я всегда скажу тебе только то, что Привалов любил тебя раньше и любит теперь... Может быть, из-за тебя он и наделал много лишних глупостей! В другой раз нельзя полюбить, но ты можешь привыкнуть и уважать второго мужа... Деточка, ничего не отвечай мне сейчас, а только скажи, что подумаешь, о чем я тебе говорил сейчас. Если хочешь, я буду тебя просить на коленях...

— Папа, дорогой... милый папа... я ничего не знаю, — стонала Надежда Васильевна. — Дай мне подумать... Я слишком несчастна... пожалей меня.

Прошло три года. В светлые солнечные дни по Нагорной улице в Узле можно было всегда встретить седого старика, который, прихрамывая, гулял с пятилет-

ней темноглазой девочкой. Это был Василий Назарыч. По совету своего доктора он каждый день делал моцион от своего дома до приваловского и обратно; на прииски он больше не ездил, а его заменил Веревкин. Раз осенью, когда выдался особенно теплый денек, старик вывел из приваловского подъезда полуторагодового мальчика с большими серыми глазами: это был законный внук Василия Назарыча, Павел Привалов.

Основная идея упрямого старика восторжествовала: если разлетелись дымом приваловские миллионы, то он не дал погибнуть крепкому приваловскому роду.



РАССКАЗЫ

ЗОЛОТАЯ НОЧЬ

Из рассказов о золоте

I

— Ну, а я за вами... — говорил Флегонт Флегонтович, тяжело вваливаясь в мою комнату. — Одевайтесь и едем.

— Куда?

— Говорю: одевайтесь... У меня и лошадь у ворот стоит.

Флегонт Флегонтович был одет совсем по-дорожному: в высоких охотничьих сапогах и в кожаной шведской куртке, с сумкой через плечо и даже с револьвером за поясом. Впрочем, он почти всегда щеголял в таком костюме, потому что в качестве золотопромышленника постоянно разъезжал по Уралу из конца в конец. Его приземистая широкоплечая фигура точно на заказ была скроена и сшита именно для такой беспокойной жизни, а широкое лицо с бронзовым загаром и лупившейся обветрелой кожей свидетельствовало о вечных странствованиях по лесам и болотам, несмотря ни на какую погоду. Окладистая, подстриженная русая бородка, широкий русский нос, густые сросшиеся брови и улыбающиеся серые глаза придавали лицу Флегонта Флегонтовича типичный русский склад, хотя и с заметным

оттенком той хитрости и «себе на уме», чем особенно отличаются все коренные сибиряки-промышленники. Говорил Флегонт Флегонтович часто и отрывисто, точно горох сыпал, и постоянно размахивал своими короткими, жирными руками.

— Ну, что же вы еще стоите? Говорю русским языком: лошадь за воротами стоит...

— Куда же ехать-то?

— А какое у нас сегодня число? Двадцать седьмое апреля... Так? А через три дня что у нас будет? Не догадываетесь?

— Первое мая будет... но из этого еще ничего не следует.

— Ах, боже мой, да где же это вы живете? На луне, вероятно... Весь город ждет этого первого мая, как христова дня, а вы вот тут сидите да мух ловите. Говорю: одевайтесь, а потом на лошадь и в дорогу...

— На заявку?

— Наконец-то догадались... Говорите спасибо, что заехал. Другого такого случая и не дождаться.

— А далеко ехать?

— Ну, верст сто с хвостиком будет... на Причинку покатим, да!.. Небось слышали уж о такой речке? Да, золото руками бери... Турфов всего пол-аршина вскрывать. Говорю: богачество!..

В подтверждение своих слов Флегонт Флегонтович сделал своей короткой рукой такой жест, каким капельмейстеры заканчивают пьесу. Косвенной причиной энергичной жестикуляции Флегонта Флегонтовича было и то, что он носил на обеих руках несколько хороших перстней. Мне давно хотелось побывать на приисковой заявке, а настоящий случай являлся тем интереснее, что заявка должна была совершиться в только что отведенной казенной Пятачковой даче, про которую давно ходили слухи, как о золотом дне. В частности, о речке Причинке шла громкая молва, и туда стремились десятки добычливых промышленников, как в своего рода Эльдорадо.

— Кстати, захватите с собой ружье — отличная тяга, — предупреждал меня Флегонт Флегонтович, раскуривая дешевенькую сигарку. — Сплошной лес на

шестьдесят верст. Лосей видимо-невидимо... Одним словом, прокатимся в свое удовольствие, а лично мне вы можете пригодиться в качестве свидетеля на случай спора по заявке.

Мои сборы были непродолжительны, благо лошадь стояла у ворот, а относительно провизии Флегонт Флегонтович озаботился заранее. Оставалось захватить кожан, на случай дождя, да ружье.

— А как погода, Флегонт Флегонтович? — спросил я, набивая походную сумку папиросами.

— В лучшем виде: тихо и ясно по барометру... Может, утренничек прихватит, ну, да это пустяки. А какие теперь ночи в лесу — роскошь! Нам ведь придется ночевать там, на Причинке-то... Пожалуй, шубу возьмите, если боитесь простудиться, а наше дело привычное. Совсем в лесу-то одичаешь, и как-то даже тошно делается, когда с неделю приходится проболтаться в городе. Уж этот мне ваш город...

У ворот нас дожидалась пара гнедых «киргизов», заложенных в коробок. Кучер Вахромей сидел на козлах в широком татарском азяме и в триповом картузе. Это был старый слуга Флегонта Флегонтовича и его неизменный спутник. На вид Вахромею можно было дать лет пятьдесят: сгорбленный, худой, с черной, как у жука, головой. Лицо было желто-бронзовое, косо поставленные глаза, волоса — воронова крыла; словом, он являлся выродком в славянской семье. Про таких черных выродков говорят, что их «цыгане потеряли». По характеру Вахромей принадлежал к самым молчаливым, сосредоточенным натурам, которые целый век бог знает что думают себе под нос.

— Эх, лихо прокатимся, — проговорил Флегонт Флегонтович, грузно влезая в коробок. — Вон погодье-то какое стоит...

Действительно, день был светлый и солнечный, с весенним холодком в воздухе. Наш коробок бойко покатился по широкой городской улице к Шартатскому озеру. Мелькали новые постройки на каждом шагу, и все на купеческую руку.

— Вон как у нас золото-то подымает людей, — проговорил Флегонт Флегонтович с грустной ноткой в

голосе. — Из грязи да прямо в князи так и лезем... Поторапливай, Вахромей, нам еще засветло нужно поспеть в Сосунки.

Вахромей не шевельнул даже бровью в ответ, но лошади сами собой прибавили рыси и дружно подхватывали наш легкий экипаж, покачивавшийся на ходу, как люлька.

II

Екатеринбург — бойкий промышленный город уже сибирского склада. Здесь нет чиновничества, как в других городах, дворянство не играет никакой роли, зато всем ворочают промышленники. Последнее особенно заметно по характеру построек: на каждом шагу так и лезут в глаза хоромины екатеринбургского «обстоятельного» купечества и целые дворцы разных воротил по части спирта, хлебной торговли, сала и разной другой благодати. Там и сям подымаются новые постройки и всё в том же неизменно-купеческом духе. Барина совсем не видно, за исключением двух-трех адвокатов да банковских дельцов, но и те начинают жить на купеческую руку, плотно и с расчетом. Сибирь не знала крепостного права, и настоящие «господа» попадают туда только в качестве администраторов, на особых основаниях или по независящим обстоятельствам. Во всяком случае, вся Сибирь — промышленная, купеческая сторона, и Екатеринбург является ее первым аванпостом.

Наш коробок катился мимо богатых церквей, потом обогнул старый гостиный двор и по широкой плотине, с которой открывается почти швейцарский вид на загородные дачи, перебрался на другой берег довольно широкой реки Исети. С горки, от здания окружного суда, вид на город почти необыкновенный, в смысле «настоящей» Европы: широкий пруд окаймлен гранитной набережной; в глубине его тонут в густой зелени дачи; прямо — красивый собор, направо — массивное здание классической гимназии, налево целый ряд зданий с колоннадами — это помещение горного правления. Сейчас же под плотиной пустующие корпуса упраздненного

монетного двора и гранильной фабрики. Здание окружного суда в вычурном мавританско-готическом стиле. Впереди довольно порядочный бульвар, здание городского театра, магазины и т. д. Словом, бойкий и веселый город, в котором жизнь бьет ключом. Было часа два пополудни, и нам навстречу попадались то и дело городские экипажи, извозчичьи дрожки, простые телеги и роспуски; по тротуарам сновал бойкий городской люд, спешивший по своим делам. Флегонт Флегонтович несколько раз раскланивался направо и налево и непременно комментировал каждую встречу.

— Видели на серой в яблоках? — шепотом спрашивал он. — Тоже на Причинку метит, да шалишь, не надуешь... Ха-ха! Это Агашков, Глеб Клементьич, проехал. А давно ли был яко благ, яко наг, яко нет ничего... Много их тут зубы точат на Причинку, только уж извините, господа, вам Флегонта Собакина не провести. Да!.. Будет и на нашей улице праздник... Так ведь?

— Конечно...

— Знаете, я верю в звезду, — заговорил Флегонт Флегонтович, глубже натягивая на голову круглую ратиновую шапочку. — Все игроки суеверны, а наша золотопромышленность самая азартная игра.

— Позвольте с вами не согласиться в этом случае...

— Но ведь я говорю о *настоящих* золотопромышленниках, понимаете, о настоящих... Да. Мало ли нашего брата плутов и мошенников, которые только прикрываются приисками. Я, дескать, золотопромышленник, а сам черт знает какими делами занимается. Э, да что тут толковать!.. Надеюсь, мы хорошо понимаем друг друга.

Мы выехали за город. Кругом было голо и желто. Трава еще не думала пробиваться, а березы стояли голыми метелками. Наш коробок мягко катился по укатанной глинистой дороге, забирая в гору. В стороне зеленел сосновый мелкий лесок.

— Стой! — крикнул Флегонт Флегонтович и, как мячик, выскочил из коробка на дорогу.

Спустившись в канаву, он набрал несколько камешков и вернулся с ними в экипаж.

— Вот не угодно ли вам полюбоваться,— торопливо говорил он, рассматривая несколько кусков ноздреватого кварца. — Это что такое, по-вашему? Кварц... Какой кварц? Настоящий золотой кварц... Уверяю вас, что правда. Уж эту музыку мы отлично знаем... Можете быть уверены, что мы сейчас едем по чистому золоту. Ей-богу! Бывает белый кварц, плотный, ну, тот нам не рука, хотя в нем попадаются самородки, а вот такой кварц с ноздринками да со ржавыми натеками — наверняк золото. Да ведь здесь кругом золото, куда ни повернись. Вон в Невьянске или в Верхнейвинске прямо в огородах золото копают...

Флегонт Флегонтович был замечательный человек в том отношении, что являлся представителем чистого искусства; он был тем настоящим золотопромышленником, который, кроме своего золота, ничего не хочет знать. Такими «настоящими» бывают только картежники да пьяницы. Это качество Флегонт Флегонтович ценил в себе и в других выше всего на свете и с этой точки зрения смотрел на целый мир. Записные охотники так же разбирают породистых кровных собак, выражаясь технически: «есть кровь» или «нет крови» в данной единице. Из купеческой семьи по происхождению, Флегонт Флегонтович выступил на широкое поле золотопромышленности с довольно кругленьким капитальцем, который и закапывал несколько раз и несколько раз возвращал. Образования он никакого не получил, но сильно поошлифовался в пестрой среде золотопромышленников, где немалый процент составляют настоящие образованные люди или просто люди, видавшие всякие виды.

Превращения, которым подвергался Собакин, были самые удивительные, и он то не имел гроша за душой, то катался на паре наотлет, что у нас служит самым верным признаком «дикой» копейки. Как умел он вывертываться в крайних случаях — один бог знает, но Флегонт Флегонтович продолжал верить в свою счастливую звезду и, в случае возникавших сомнений, постоянно указывал на примеры разбогатевших золотопромышленников, которых на Урале не занимать стать. Эта вера в свои силы являлась самой надежной опорой в тревож-

ной жизни Собакина, который на свое настоящее всегда смотрел как-то сверху, как только на переходное состояние, за которым уже должно последовать настоящее житье. Мало ли людей на всевозможных поприщах утешаются подобными иллюзиями и совершенно несбыточными мечтами, но они уже счастливы преисполняющей их энергией. Как за всеми отпетыми игроками, за Собакиным водились особенности: чем дела его были хуже, тем по наружному виду он казался спокойнее и веселее и просто сыпал самыми смелыми проектами и грандиозными надеждами. В настоящем случае, слушая рассказы Флегонта Флегонтовича о неистощимых сокровищах реки Причинки, я был уверен, что у него не было ни гроша за душой и он ставил ребром последнюю копейку. Это предположение совершенно оправдалось, когда мы разговорились о прошлом годе.

— Прошло лето я на севере работал, — рассказывал Собакин таким тоном, точно он заговорил о постороннем лице. — Далеко, за Богословскими заводами... Вот сторонка, скажу я вам! Особенно одолевали комары — житья от них нет, от проклятых. Если бы кто посмотрел на нас на работе — смех, точно маскарад какой... Ей-богу! У рабочих котелки с куревом за поясом, на рожах просмоленные сетки, а мы щеголяли в такой штуке, что и сказать смешно: сделаешь из картона круглую коробку, проковыряешь в ней две дырочки, на голову наденешь, да так чучелом гороховым и бродишь по прииску. Ха-ха... Чисто как в театре! Только уж и тварь же этот комар, ей-богу, в тысячу раз хуже волка или медведя... Ну, работа у нас хорошо пошла, только шахту пришлось глубокую пробивать, а пробили — вода одолела. Откачивать руками воду — сила не берет, а за паровой машиной надо к чертям на кулички ехать, да еще тащить ее по болотам да по топям чуть не на своей спине. Побился-побился и бросил. Признаться сказать, дорогонько мне обошлось это удовольствие — комаров-то кормить, ну, да вот, слава богу, эта самая Причинка подвернулась — все наверстаем. Главное, вот что забавно: хлопочем, бьемся, ищем золото черт знает где, за четыреста, за пятьсот верст, а оно под носом... Вот и поди ты с нашим

братом, толкуй!.. В четвертом годе я опять в киргизской степи работал, верст за восемьсот унесло отсюда; ну, золото нашлось, и хорошие знаки, а как лето-то подошло — воды ни капли... Тут уж сжатым воздухом, говорят, нужно работать, а где я его возьму, этот самый сжатый воздух? Так и пришлось бросить... То вода долит, то без воды сидишь.

Относительно Причинки Флегонт Флегонтович питал самые розовые надежды и строил очень широкие планы, причем ссылался на имена очень веских лиц в купеческом мире, обещавших ему свое содействие, помощь, кредит и т. д. Из его слов получался такой вывод, что все предшествовавшие работы были только сплошным рядом всевозможных ошибок, но зато теперь он, Флегонт Собакин, достаточно умудренный тяжелым опытом, будет бить наверняка и уж маху не даст ни в каком случае.

— Одно меня удивляет, — философствовал он, пуская струйки табачного дыма, — как только деньги завелись у тебя, пошли дела на лад, откуда народ берется: тот приятель, другой друг, третий еще лучше того. Некоторые пеняют, зачем к ним за деньгами не обратился, когда нужно было. Один лучше другого... А как пошатнулись делишки, все и отвалят, как от покойника. Ей-богу! Меня лишь то удивляет, как это всё успеют люди пронюхать да разузнать: сидишь в лесу, в трущобе, а явишься в город — тут уж все известно, точно они по духу знают. Я не осуждаю, потому все мы люди — человеки, а только очень мне это удивительно кажется. И с другими то же самое.

III

По широкой заводской дороге мы проехали всего верст пять и затем свернули влево, на какую-то лесную глухую тропу с едва заметным колесным следом.

— Мы напрямки прокатим в деревню Сосунки, — объяснял Флегонт Флегонтович, — а там меня уж дожидается доверенный с партией, а другой доверенный тоже с партией ждет в Причинке. Настоящей дорогою

ехать — крюк будет верст в десять, а лесом — рукой подать.

Наша «прямоезжая» дорога бойко вилась по лесистой равнине, постепенно понижавшейся к северу. По сторонам дороги вставал редкий болотный сосняк, изредка попадались островки березняков и смешанный лес; следы хищнической работы человека попадались на каждом шагу, и на месте когда-то вековых вогульских лесов теперь едва сохранились жалкие остатки, точно арьергард разбитой армии. Кое-где и этот жалкий лес совсем редел, образуя широкие лысины — это были свежие поруби, где среди куч не успевшего еще покраснеть хвороста торчали без всякого плана сложенные поленницы веснодельных дров. Близость города с тридцатитысячным населением сказывалась в этой печальной картине разрушения, а там новые поруби и десятки свежих пней и бессильно лежащие на земле вершины сосен, точно отрубленные головы.

Лес еще стоял на зимнем положении, несмотря на объявленную календарями весну. Ни сосна, ни ель еще не дали свежих побегов, а земля была покрыта прошлогодней высохшей бурой травой, из-под которой только кое-где сочилась вода да изредка пробивались красивые бледножелтые цветы с зелеными мохнатыми ножками и усиками. В этом мертвом лесе, пожалуй, была своя поэзия, но непривычному человеку как-то становится в нем грустно и тяжело, как в пустом доме, из которого только что вынесли покойника. Даже говорливый и всегда веселый Флегонт Флегонтович заметно притих и, кажется, вздремнул под мерное покачивание нашего гибкого экипажа. Впрочем, он скоро оживился, когда лошади начали спускаться в какой-то лог, по дну которого бурлила мутная речонка. В глинистом берегу было вырыто несколько ям правильной формы, вроде могил; две были совсем свежие, и вырытый песок еще не успел просохнуть, а другие были завалены хворостом.

— Ишь, старатели как землю роют, — любовно заметил Флегонт Флегонтович, опытным глазом рассматривая работу. — Точно свиньи ходили... Все золото ищут. Только и отпетый, скажу я вам, народ и дело

свое ух как знают: продадут и выкупят. По всему Уралу таких вот шурфов сколько они в год сделают — миллионы. И найдут золото, уж поверьте мне! Где, кажется, и подумать нельзя, чтобы золоту быть, а старатель выкопал ямочку — глядишь, оно и полезло. Здесь по всем деревням уж такой народ живет, сызмальства около золота ходит. Взять хоть Сосунки, Причину, все деревнюшки по Ключевой и Сулатам, да вообще восточный склон Урала до самых степей. И плуты при этом страшные, надо им честь отдать, ну, да мудрено нашего брата и судить — и мы им не пирогами откладываем.

На солнозакате мы выбрались на берег реки Ключевой, которая здесь была очень не широка — сажен пять в некоторых местах; летом ее вброд переезжают. Теперь на ней еще стоял лед, хотя на нем чернели широкие полыньи и от берегов во многих местах шли полосы живой текучей воды. Место было порядочно дикое и глухое, хотя начали попадаться росчисти и покосы; тропа, наконец, вывела на деревенскую дорогу, по которой мы и въехали в Сосунки, когда все кругом начало тонуть в мутных вечерних сумерках.

— Заворачивай прямо к Гавриле Иванычу, — приказывал Флегонт Флегонтович. — Мы у него заночуем.

Сосунки, деревушка дворов в двадцать, не поражала своей внешностью. Покосившиеся избы, дырявые крыши и развалившиеся огороды плохо рекомендовали ее обитателей, известных в городе и окрестностях под сокращенным названием «сосунят». Все отпетый был народ, промышлявший изо дня в день и никогда не знавший, чем будет сыт завтра. Кривая старинная улица, вдоль которой избы рассажались, как гнилые зубы, вывела нас в центр деревни, где коробок и остановился у высокой избы с новыми воротами. На лай собак показались в окне две головы; ворота отворились, и мы въехали во двор, грязный и маленький, с какими-то трухлявыми развалинами вместо служб. Отворивший нам ворота мужик и был сам Гаврила Иванович, плешивый сгорбленный старик в заношенной ситцевой рубахе, в пестрядинных портах и босиком.

— Ну, голова с мозгом, как дела? — спрашивал Флегонт Флегонтович, вылезая из коробка.— Где наши?

— Куда им деваться-то... — как-то нехотя отвечал Гаврила Иванович, моргая подслеповатыми крошечными глазками.

— Небось пьянствуют? Ох, чует мое сердечко, что все они лыка не вяжут, а завтра в поход надо... Утром рано надо, чтобы к обеду поспеть в Причину.

— Ничего, продыбаются дорогой, — коротко ответил Гаврила Иванович, поправляя ослабнувший на животе пояс. — Балованный народ ноне пошел, вот и пируют... Чай пить будешь, Флегонт Флегонтыч?

— Конечно, будем чаевать. Пока лошади выстаиваются да пока есть будут, мы еще и выспаться успеем... А где Метелкин?

— Да уж не знаю, как тебе и сказать... пожалуй, серчать будешь. Солдатка тут есть у нас, ну, у ней и хороводится с нашими сосунками...

— Так и есть, так и есть!.. Ведь я же говорил русским языком, что буду сегодня непременно и чтобы ждали меня... Ах ты, господи, согрешил я с ними!

— Как не ждать, до самых вечерень ждали... Ничего, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь, продыбаются. Дорога тоже не малая, продует...

Лицо у Гаврилы Ивановича было сморщенное и почти коричневое от работы на солнопеке; жиденькая бородка с пробивавшейся сединой украшала нижнюю часть лица какими-то клочьями, точно была усажена болотными кочками. Тонкий нос и свежие ровные зубы являлись на этом старческом лице резкой особенностью и совсем не гармонировали с опустившейся, точно расшатанной фигурой. Когда Гаврила Иванович начинал говорить, густые черные брови у него поднимались и лоб покрывался тонкими морщинками. На первый раз старик не внушал к себе особенного доверия, видно было сразу, что этот мужик себе на уме.

— Золотая голова, — коротко отрекомендовал Собакин старика, когда тот отправился собирать гулявшую по деревне партию. — Конечно, пальца в рот не клади, зато и дело знает так, что комар носу не подточит... Лет пятьдесят золото роет и раза три уж в остроге отсидел за него.

По своему положению Сосунки были глухою лесною деревней, и можно было бы ожидать, что здесь все постройки будут из нового крепкого леса, но не тут-то было — все избы, как на подбор, глядели какими-то старыми грибами, и только в двух-трех местах желтели новые крыши и то из драниц, а не из тесу. Гаврила Иванович придерживался общего распорядка и проживал в очень старой избе, в которой по зимам, наверно, было страшно холодно. О надворных пристройках я уже говорил. В одном углу лежала худая корова и, закрыв глаза, сосредоточенно прожевывала жвачку; у какой-то вросшей по уши в землю амбарушки рвалась на короткой цепи пестрая собачонка. Посредине двора стояла приисковая таратайка — двухколесная тележка с откидным дном. Где перебивалась скотина зимой — я не мог отыскать подходящего места. Перед окном избы лежало два сухих бревна, точно обгрызенных с обоих концов, — такие бревна из сухарника лежали и у других изб и заменяли «сосунятам» поленницы дров. В лесных глухих деревнях, где лес под боком и где, кажется, можно было бы запасти дров во-время, все существуют «от бревна», то есть ребятишки или бабы отгрызут от бревна аршин, расколют — вот и целое топливо, а назавтра та же история. Между тем эти же «сосунята» поставляют в город ежегодно сотни сажен дров.

Внутренность избы Гаврилы Ивановича являлась как бы продолжением того, что было на дворе, — уж очень было в ней и пусто и голо, точно сюда семья переехала только на время. Для «золотой головы» такая странная обстановка была плохой рекомендацией. Нас встретили за порогом два белоголовых мальчика, которые сейчас же и забрались на полати. У печки возилась с самоваром, вероятно, сноха Гаврилы Ивановича, молодая, но очень худая женщина с землистым цветом лица; у окна с прялкой сидела какая-то старуха в синем изгребном дубасе и, не торопясь, тянула бесконечную нитку.

— Здравствуй, баушка, — поздоровался Флегонт Флегонтович. — За вашим золотом вот приехал...

— В добрый час, Флегонт Флегонтыч... Наше золото никому не заказано, милый человек. Только вот со-

суны-то наши третий день пируют без тебя, и Степка наш тоже.

— Слышал, баушка.

— Вечор жену принялся было поленом охаживать, едва отняли бабенку... Это ваше золото самое, Флегонт Флегонтыч, нашей сестре больно дорого приходится: скружились с ним наши-то мужики, совсем скружились...

Когда поспел самовар, в избу вошел Гаврила Иванович; он что-то ворчал про себя и сердито плюнул в сторону.

— Ну что? — коротко спросил Флегонт Флегонтович, ставя на стол налитое чаем блюдечко.

— Не спрашивай... Как тараканы, все по деревне расползлись, способу никакого нет. Ну, и народ... Степушка-то мой увязался за твоим Метелкиным, ну, я ему немножко тово, в затылок насыпал, чтобы помнил отца-то. А он одно мелет: «Тятенька, я рупь за каждый день получаю и могу себя уважить»... Помешался парень на рубле, да и другие тоже. Оно точно, что любопытно рубли-то получать, на боку лежа, вот и спятили все с ума.

— Ох, уж мне эти ваши сосунки! — стонал Флегонт Флегонтович, патетически хватаясь за голову. — Платишь им поденщины по рублю, а они только пьянствуют...

— А по другим местам разе лучше нас? — заступился Гаврила Иванович, подсаживаясь к самовару. — Взять хоть ту же Причину, да эти причинные мужики с кругу спились, потому уж такая рука им подошла: народ так и валит на Причинку, а всем надо партию набирать; ну, цену, слышь, и набавили до двух целковых. У тебя в Причине тоже ведь партия ждет?

— Партия, Гаврила Иваныч... Там мой компаньон Пластунов всем орудует. Не знаю уж, как он там с причинными мужиками поправляется.

— Бог не без милости, Флегонт Флегонтыч...

Все время за чаем разговор продолжался в том же тоне, причем Флегонт Флегонтович сильно волновался, размахивал руками и несколько раз принимался ругаться на чем свет стоит — ругаться в пространство,

чтобы только душу отвести. На дворе давно стояла весенняя голубая ночь с высоким молодым месяцем; где-то лаяла собака и слышался смешанный гул пьяных голосов. В нашей избе горел сальный огарок, тускло освещая неприглядную внутренность избы Гаврилы Ивановича: передний угол, оклеенный остатками обоев, с образом суздальской работы; расписной синий стол с самоваром, около которого сидела наша компания; дремавших около печки баб, белевшие на полатях головы ребятишек, закопченный черный потолок, тульское ружье на стенке с развешанным около охотничьим прибором и т. д.

— Ты бы прилег, касатик, на лавочку да соснул малость... — проговорила старуха, обращаясь ко мне. — Утре рано подымутся.

Мне оставалось только воспользоваться хорошим советом, потому что сон действительно начинал сильно одолевать. Я примостился на лавочку, положив под голову пальто, и скорехонько заснул тяжелым крепким сном, каким спится только в дороге. Пахло чем-то кислым и смазанной дегтем кожей; в дверь постоянно входили и выходили; по стенам и потолку мигали широкие тени; где-то далеко-далеко, точно под землей, пропел петух... Дальше уже все смешалось: Флегонт Флегонтович кого-то опять ругал и несколько раз выскакивал на улицу, кто-то и в чем-то оправдывался слезливым голосом, потом был какой-то шум, точно в избу Гаврилы Ивановича вносили тяжелый рояль.

IV

Рано утром на другой день, еще «на брезгу», мы оставили Сосунки. Весеннее холодное утро заставляло неприятно вздрагивать, и я напрасно кутался в свое осеннее пальто — чисто-весенняя изморозь так и пронизывала насквозь, заставляя зубы выделывать дробь. Переход из теплой избы на мороз, когда хотелось спать мертвым сном, делал наше путешествие очень неприятным.

— Мы теперь на Причину поедем прямыми дорогами, — объяснял Собáкин, отчаянно зевая. — И во времени расчет, да и рабочим меньше соблазна в лесу.

— А далеко будет?

— Да верст сорок с хвостиком...

Ездить прямыми дорогами было слабостью Флегонта Флегонтовича, привыкшего шататься по всевозможным лесным трущобам, и другим оставалось только покориться этой слабости, хотя Гаврила Иванович, кажется, предпочитал сделать объезд.

Сосунки скоро остались позади с своими гнилыми избушками, и мы поехали вниз по течению Ключевой, по довольно торной дороге, с которой свернули в лес. На облучке нашего коробка, рядом с молчаливым, как пень, Вахромеем, поместился Гаврила Иванович, надевший толстый чекмень и заношенную баранью шапку. За нами полз маленький обоз с партиею, то есть две телеги, из которых на одной везли провиант и инструменты, а на другой рабочих. Последняя телега представляла самую живописную картину, точно нагружена была телятами: не проспавшиеся со вчерашнего хмеля «сосунята» сидели в самом тяжелом молчании и только в такт попадавшимся выбоинам и кочкам болтали свешенными из-за телеги ногами. Метелкин, неопределенных лет человек, в одном плисовом пиджаке и в ярко-красном шарфе на шее, шагал за телегой по стороне, стараясь согреться ходьбой. Издали я мог прежде всего рассмотреть нетвердую разбитую походку; черная поярковая шляпа открывала бледное чахоточное лицо с черными большими глазами, большим носом и редкой козлиной бородкой. Флегонт Флегонтович по временам оглядывался на своего провинившегося поверенного и улыбался.

— Продыбаются, Флегонт Флегонтыч, — ответил на эту улыбку Гаврила Иванович, тоже наблюдавший наш обоз. — Оно по холодку-то даже вот как преотлично... Вон как Метелкин-то наш задувает.

— Ведь вот какой народец, — заговорил Флегонт Флегонтович: — на маковую росинку ничего нельзя поверить, хоть того же Метелкина взять... Который год я

с ним маюсь, а без него не могу — и привык, да и дело свое он отлично знает.

— Простудится он в одном пиджаке.

— Метелкин-то? Да он в этом пиджаке зимой верст по сорока уходит, а теперь ему что — шутка... Ничего его не берет, такой уж человек. А сосунята-то, нечего сказать, хороши, только головами мотают...

С каждым шагом вперед мы забирались в настоящую лесную пустыню, где не встретишь жилья на расстоянии шестидесяти, даже восьмидесяти верст, за исключением двух-трех лесных кордонов. Лес делался выше, наша дорога превратилась в едва заметную тропу с заросшей колеей. Из лесных пород господствовала сосна, лишь изредка попадались березовые да осиновые гривки. Меня особенно поражало необыкновенное количество попадавшегося в лесу валежника и стоявших лиственных сухарин. Ель совсем не попадалась; хоть на Урале в таких болотистых низменностях обыкновенно растет самый дремучий ельник. Гаврила Иванович объяснил, что в допрежние времена здесь все рос сплошной ельник, а потом был пожар, и после пожара пошла вот сосна да березняки. Громадное количество валежника объяснялось тоже старым лесным пожаром.

— Дикая сторона была совсем, — пояснил Гаврила Иванович, точно теперь стояла не та же лесная глушь, едва тронутая человеческим жильем.

Пятачковая казенная дача занимает широкую и болотистую низменность в двести тысяч десятин; широким краем она уперлась в речку Ключевую, а к северу вышла неправильным углом. На всем пространстве этой дачи встречается только одна небольшая возвышенность — гора Липовая, что в таком близком соседстве с главною массой Уральского кряжа является очень странным. Обыкновенно все подгорья, особенно восточный склон Урала, усеяны отрогами и гористыми возвышенностями. Пятачковая дача являлась каким-то исключением. Десятки болотистых озер и «озеринок» попадаются на каждом шагу, давая начало десяткам болотистых речонок, которые постепенно сливаются в три главных реки — реку Ключевую, Малый и Большой Сулат. Наделавшая шуму речка Причинка была при-

током Большого Сулата в том месте, где он делал широкую петлю на север, а потом круто поворачивал к юго-востоку; на стрелке, где сливались эти реки, стояла деревушка Причина, куда мы теперь ехали. Население Пятачковой дачи, за исключением двух-трех лесных кордонов, жалось по краям, и только несколько починков и деревушек рассажалось по течению Ключевой и обоих Сулатов. До сих пор Пятачковая дача служила только запасом горючего и строевого материала, специально для казенных горных заводов, а теперь, с постепенным упразднением казенного производства, она пустовала лет десять, пока золотопромышленники не выхлопотали доступа в нее. Сложилось что-то вроде басни о скрытых сокровищах Пятачковой дачи, и сюда теперь устремились сотни предпринимателей с желанием выхватить лучшие куски.

Мы проехали верст пятнадцать; совсем рассветало, но солнце не показывалось — день наступил серый и с легким ветерком, игравшим по вершинам сосен. Наш обоз растянулся на полверсты, и мы часто теряли из виду следовавшие за нами подводы. Обогнули заросший кустарником низкий берег какого-то озера, переехали выбегавшую из него безыменную речонку, причем лопнул тяж у нашего экипажа. Произошла небольшая остановка. Кучер Вахромей угрюмо выругался и без всякой причины полоснул хлыстом щеголевато перебиравшую ногами пристяжную. Гаврила Иванович помог наладить случившуюся поруху и, когда мы тронулись в путь, не сел на облучок, а зашагал мерными мужицкими шагами по стороне. По дороге он сорвал веточку рябины и принялся ее жевать, сплевывая накоплявшуюся во рту горечь тоненькой струйкой сквозь зубы, как плюют цивилизованные кучера и лакеи.

— Здесь не ускочишь, Флегонт Флегонтыч, — говорил он, догоняя нас тяжелой рысцой. — Мочежинки всё пойдут, а летом в ненастье здесь такие пачки да зыбуны стоят — не приведи господи.

Пачкàми и зыбунами называют на прямоезжих дорогах такие места, где экипаж и лошадей вязкая почва совсем засасывает, так что их приходится добывать бастрыгами. Теперь земля еще не совсем растаяла, и

в «сумлительных» местах только подозрительно покачивало, точно экипаж ехал по какому-то подземному нарыву, который вот-вот лопнет. В одном месте шумно сорвался матерый глухарь и стрелой, низко и тяжело полетел в самую чащу, точно брошенный сильной рукой тяжелый камень; затем спугнули несколько рябчиков и до десятка дупелей. По сторонам без конца вставали всё те же сосны, попадался тот же валежник; где-то далеко куковала кукушка. Сосновая хвоя глухо шумела, когда набегал ветерок, а потом опять наступила мертвая, тяжелая тишина.

— Сказывают, Дружков проехал на Причину, — неожиданно проговорил Вахромей, нарушая царствовавшую тишину.

— Кто сказывает-то? — вскипел Флегонт Флегонтович, выпуская из зубов дымившуюся сигару.

— Да люди сказывают... Ночью прямыми дорогами проехал Дружков, а час места и Кривополов.

— Что же ты, идол, молчал до сих пор... а? Где ты раньше-то был... а?.. «Сказывают... сказывают...» Тьфу!.. С партией проехали?..

— Сосунята видели...

— Господи, а мы-то ползем... Гаврила Иванович, слышал?.. И ты, поди, тоже слышал про Кривополова и молчишь?..

— Оно, точно, болтали промежду себя, Флегонт Флегонтыч... — уклончиво ответил Гаврила Иванович, стараясь шагать в стороне от нашего экипажа. — На четырех подводах, болтают, Дружков проехал, а потом уж Кривополов.

— О господи... За чьи только грехи я мучусь с вами?! — яростно возопил Флегонт Флегонтович, поднимая руки кверху, как трагический актер. — Ну, Вахромей молчит — у него уж такой характер, всегда пень пнем, а ты-то, ты-то, Гаврила Иваныч?!. Ведь я на тебя, как на каменную стену, надеюсь! Что мы теперь будем делать, если они опередят нас?.. Ну, говори?.. Кто их проведет прямой-то дорогой?

Гаврила Иванович только жевал губами и несколько раз поправил свою баранью шапку: дескать, «вот вышла же этакая оказия, в сам-деле»...

— Может, заплутаются еще по лесу-то, Флегонт Флегонтыч, — проговорил, наконец, старик в свое оправдание. — Тоже дивно места надо проехать, а дорога вон какая... не ускочишь. Ей-богу, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь.

— Идолы вы, вот что! «Не сумлевайтесь»! — кричал Флегонт Флегонтович, размахивая руками. — Это мы дурака-то валяем, а небось Кривополов с Дружковым опередили нас... Ах, господи, вот еще наказанье-то!..

Чтобы сорвать на ком-нибудь свое расходившееся сердце, Флегонт Флегонтович накинулся на Метелкина, причем с логикой рассердившегося человека всю вину взвалил на него, потому что, если бы он, Метелкин, держал партию в порядке и сам не пьянствовал, тогда мы вчера бы еще в ночь отправились в Причину. Метелкин отмалчивался с виноватым видом, что еще более сердило Флегонта Флегонтовича.

— Ведь вот нар-родец... — проговорил Флегонт Флегонтович, устало откидываясь на спинку экипажа. — Слышали? Все хороши... А между тем... Уж я не так бы распек Гаврилу Иваныча, да теперь нельзя — от него все зависит. Пожалуй, еще рассердится да бросит в лесу, тогда хоть назад ворочайся. Признаться сказать, местечко-то у нас на Причине уж давненько присмотрено, теперь только его взять остается... Есть в Причине один мужик, так он, совсем бросовый — Спирька Косой. Ну, через этого Спирьку мы на место натакались... собственно, Гаврила Иваныч. Конечно, и Спирьке и Гавриле Иванычу благодарность известная, ну, уж это у нас такой порядок, вроде награды выдаем за хорошее место. Вот я и того, боюсь ссориться с Гаврилой-то Иванычем, потому — нужный человек. А все-таки, согласитесь, какой народ: все слышали и молчат... Уж сумеют напакостить. Да... Какую цену дерут с нас за эту ночь вот простые этакие мужики, вон головами-то болтают, которые на задней телеге, потому — чувствуют, что без них нельзя...

У Собакина, как и у многих других, была слабость сделать дело не как другие делают, а наособицу, при помощи какого-нибудь нужного человека. У него всегда

был на примете такой человечек, и он надеялся именно на него. Это было своего рода суеверие, но золотопромышленники не отличаются отсутствием предрассудков и всегда рассчитывают все приметы: тяжелые и легкие дни, встречи, сны и т. д. К числу таких предрассудков можно отнести и слепую веру в разных особенных человечков, через посредство которых можно сразу ухватить настоящий кус. Конечно, в подтверждение приводится масса соответствующих примеров: такому-то указал место башкир, а такому-то пьяница-старатель, ну, отчего же и Спирька Косой не мог облагодетельствовать?.. Может быть, это опоэтизированная точка зрения на жизнь вообще, и, вероятнее всего, такая вера выработалась самой жизнью, когда завтрашний день вечно стоит вопросительным знаком.

— Вам-то все это смешно, а мы даже очень хорошо знаем все эти приметы... да-с! — говорил Собакин с уверенностью испытавшего человека. — Я даже записывал эти приметы, и все выходило по ним.

— Отчего же в Америке, например, золотопромышленники обходятся без примет, а надеются только на свои знания и на энергию?

— Э, батенька... славны бубны за горами. Наверно, и у них свои приметы есть... Уж извините, чтобы так, просто... ну, нет, что-нибудь да есть... Конечно, оно глупо немножко верить, что вот заяц перебежит дорогу — и кончено, а если оно так выходит...

В подтверждение своих слов Собакин рассказал несколько самых убедительных случаев, когда стоило перейти дорогу попу, бабе или перебежать зайцу — и самое верное дело проваливалось.

В одном месте нашу дорогу пересекла свежая колея. По внимательном исследовании было решено, что это проехала какая-то приисковая партия на четырех подводах: след вел от Причины, что много успокоило Флегонта Флегонтовича — все-таки одним конкурентом меньше.

— Может, это Кривополов по лесу блудил? — спрашивал он Гаврилу Ивановича.

— Наверно, он...

Местность кругом мало изменялась — все тот же болотный сосняк, изредка рыжие полянки, потом болотные кочки, валежник и таявшие лужи воды. Переправились через несколько мелких речонок, потом обогнули какое-то широкое озеро с полыньями посредине; небо начало проясняться, и все кругом делалось светлее. Попало еще несколько следов, оставленных проехавшими партиями, но теперь они уже не обратили на себя такого внимания, как раньше, — деревушка Причина была близка, и все были заняты мыслью, что-то там делается: что Пластунов, что Спирька Косой, что другие золотопромышленники.

— Мы в Причине только самую малость опнемся, а потом опять в лес, — говорил Собакин. — Мне нужно не упустить Спирьку, а то как раз кто-нибудь другой перехватит его... Тьфу!.. Ах, проклятый!.. Тьфу, тьфу!..

Со стороны выкатил русак, присел, поднял уши и мягкими прыжками, точно он был в валенках, перекосил нам дорогу. Флегонт Флегонтович даже побледнел от проклятой неожиданности...

V

Причина, как и Сосунки, представляла собой глухую лесную деревушку дворов в тридцать; она стояла совсем в лесу, и трудно было сказать, что заставило ее обитателей выбрать такую страшную глушь. Постройки были старые и разбрелись по берегу речонки Причинки без всякого порядка, точно эти избы были разметаны ветром. Как и в Сосунках, народ здесь тоже жил «от бревна», промышляя охотой, рыбой и золотом. Около изб кое-где стояли городские экипажи и простые телеги — это все были наши конкуренты. Гаврила Иваныч сразу насчитал больше десятка партий.

— Вот и извольте тут... — в отчаянии проговорил Флегонт Флегонтыч. — Уж чуяло мое сердце...

Мы остановились у крайней, очень плохой избушки, в которой жил Спирька Косой. Наш приезд взбудоражил всю деревню — поднялись собаки, в окнах мелькнули наблюдавшие за нами физиономии, за ворота

выскочили посмотреть на приехавших какие-то молодые люди в охотничьих сапогах и кожаных куртках. Какая-то толстая голова кланялась из окна Флегонту Флегонтовичу и старалась что-то выкрикнуть, приставив руку ко рту трубкой.

— А, чтобы тебя черт взял... — ругался неприятно пораженный Собакин. — Это Кривополов... вот тебе и заплутался!

Нас встретил доверенный Флегонта Флегонтовича — Пластунов, совсем еще молодой человек с рыжеватыми усиками; характерное и сердитое лицо, умные холодные глаза и свободная манера держать себя производили на первый раз довольно выгодное впечатление; очевидно, молодой человек пойдет далеко и, вероятно, недаром пользовался таким доверием Флегонта Флегонтовича. Около избы, на завалинке, сидело человек пять рабочих — это была вторая партия. Из избы доносились какие-то хриплые крики и крупная ругань.

— Ну что? — спрашивал Собакин своего доверенного.

— Пока ничего особенного... — уклончиво ответил Пластунов. — Третьи сутки вытрезвляем Спирьку. Пьянствовал целых две недели...

— Где же он деньги брал? Ведь я ему обещал после заявки четвертную... странно.

— Должно быть, обманул кого-нибудь из золотопромышленников, — объяснял Пластунов. — Теперь у них это везде идет: одно и то же место в трои руки продают. Заберут задатки и пьянствуют...

Это известие сильно встревожило Собакина, потому что под пьяную руку Спирька мог сплавить заветное местечко кому-нибудь другому... Во всяком случае, получалась самая скверная штука.

— Да вот сами посмотрите на него, в каком он виде, — предложил Пластунов, показывая глазами на избу.

Двора у Спирькиной избы не было, а отдельно стоял завалившийся сеновал. Даже сеней и крыльца не полагалось, а просто с улицы бревно с зарубинами было приставлено ко входной двери — и вся недолга. Изба была высокая, как все старинные постройки, с под-

клетью, где у Спирьки металась на цепи голодная собака. Мы по бревну кое-как поднялись в избу, которая даже не имела трубы, а дым из печи шел прямо в широкую дыру в потолке. Стены и потолок были покрыты настоящим ковром из сажи.

— Уж я предоставлю... верно!.. — орал кто-то, лежа на лавке. — Предоставлю... на, пользуйся. А кто руководствовал? Спирька Косой... вер-рно...

— Перестань ты грезить-то, — попробовал усовестить Гаврила Иванович. — Ишь, до чего допировался!

— Родимый, Гаврила Иваныч, руководствуй, а я предоставлю... верно! — орал Спирька, с трудом поднимая с лавки свою взлохмаченную черную голову.

— Хорош, нечего сказать... — брезгливо заметил Собакин, разглядывая своего верного человека.

Приземистая широкая фигура Спирьки, поставленная на кривые ноги, придавала ему вид настоящего медведя. Взлохмаченная кудрявая голова, загорелое, почти бронзовое лицо, широкий сплюснутый нос, узкие, как щели, глаза, какая-то шерстистая черная бородка — все в Спирьке обличало лесного человека, который по месяцам мог пропадать по лесным трущобам.

— Сконфузил ты нас, Спирька, — заговорил Гаврила Иванович, придерживая валившегося на один бок Спирьку. — Вот и Флегонт Флегонтыч очень даже сумлевается.

— Флегон Флегоныч... родимый мой... ах, господи милостливый... я? Предоставлю, всё предоставлю...

— А на какие ты деньги пировал? — допрашивал Собакин. — Ведь я все знаю... Ну, сказывай: обещал еще кому-нибудь местечко-то?

Спирька долго смотрел куда-то в угол и скреб у себя в затылке, напрасно стараясь что-нибудь припомнить; две последние недели в его воспаленном мозгу слились в какой-то один безобразный сплошной сон, от которого он не мог проснуться. Он несколько раз вопросительно взглянул на нас, а потом неожиданно бросился в ноги Собакину.

— Флегон Флегоныч... ради Христа, прости ты меня... омманул... ох, всех омманул! — каялся Спирька, растянувшись на полу. — У всех деньги брал... Я прошу,

а они дают. Омманул всех, Флегон Флегоныч... а тебе одному всё предоставлю... владай... твои счастки...

Собакин выругался очень крупно и вышел из избы. О самоваре и других удобствах нечего было и думать, потому что у Спирьки, кроме ружья да голодной собаки, решительно ничего не было.

— Карауль его, как свой глаз, а я его ужо вытрезвлю, — говорил Флегонт Флегонтович Пластунову. — Надо скорее отсюда выбираться, пока до греха... Ну, Спирька, подвел!

— Ничего, Флегонт Флегонтыч, — успокаивал Гаврила Иванович, — разве один наш Спирька такой-то, все они на одну колодку теперь. А что насчет местечка, так Спирька тоже себе на уме: на ногах не держится, а из него правды-то топором не вырубишь...

Это было плохое утешение, но, за неимением лучшего, приходилось довольствоваться им. Расчет Флегонта Флегонтовича выехать сегодня же из Причины тоже не оправдался за разными хлопотами и недосугами, а главное, потому, что партии всё прибывали и все упорно следили друг за другом. Нужно было пережидать и выведать стороной, кто и куда едет, сколько партий, какие вожаки и т. д.

— Заварилась каша, — с тяжелым вздохом проговорил Флегонт Флегонтович, — еще двое суток ждать, а уж теперь семнадцать партий набралось... К первому-то числу что же это будет... И зачем прет народ, просто ошалели... Ну, да и мы тоже не лыком шиты, может, и перехитрим других прочих-то.

Вместо того чтобы только «опнуться» в Причине, как предполагал Флегонт Флегонтович, нам пришлось «промаячить» в этой трущобе целых двое суток, вплоть до самой ночи на первое мая, когда должна была решиться участь всех. От нечего делать я ходил на охоту и присматривался к окружавшей меня пестрой картине. Деревня теперь превратилась в какой-то табор или в стоянку какого-то необыкновенного полка. За неимением места в самой деревне, выросли отдельные таборы в окрестностях, что делалось очень просто: поставят несколько телег рядом, подымут оглобли, накроют их попонами — вот и жилье. На земле горит огонек, бро-

дят спутанные лошади, на телегах и под телегами самые живописные группы — вообще жизнь кипела. Все эти городские, невьянские, тагильские, каменские и многие другие «ищущие златого бисера» перемешались в одну пеструю кучу. Набралось около двухсот человек, и даже явилась полиция для охранения порядка и для предупреждения могущих возникнуть недоразумений. Но пока все было тихо и мирно, даже больше чем мирно — все успели перезнакомиться и, под видом доброжелательной простоты, старались выведать друг у друга кое-что о планах и намерениях на первое мая.

Флегонт Флегонтович при помощи разных нужных человечков успел разузнать всю подноготную, по крайней мере старался уверить в этом, и держал себя с самым беззаботным видом, как человек, у которого совесть совершенно спокойна и которому нечего терять.

— Еще веселее будет в компании-то, Нил Ефремыч, — добродушно говорил он своему благоприятелю Кривополову, который постоянно ходил по гостям из одной избы в другую. — Это кто не с добром приехал, а нам что — милости просим...

— На людях-то и смерть красна, Флегонт Флегонтыч... — отвечал Кривополов, жмуря свои и без того узкие глаза.

Этот Кривополов был очень интересный тип, как переход от русского к монголу; приятели называли Кривополова «киргизской богородицей» за его скуластую сплюснутую рожу с узким, скошенным назад лбом и широким носом. Волосы он стриг под гребенку и носил маленькую кругленькую шапочку, точно всегда был в ермолке. У Кривополова где-то были довольно богатые прииски, поэтому он совершенно безнаказанно мог кутить и безобразничать по целым месяцам. Друг и приятель Кривополова, седой, толстый старик Дружков, являлся точно его половиной — они везде попадали как-то вместе и вместе «травили напропалую». К этим неразлучным друзьям присоседился высокий рыжий хохол Середа, бог знает какими ветрами занесенный на Урал; он молча ходил за Кривополовым и Дружковым, пил, если приглашали, и под нос себе мурлыкал какую-то хохлацкую песенку. Говорили, что Середа только

еще разнюхивает дело в качестве агента от какой-то очень сильной иностранной компании. Когда к нему приставали с допросами, он только отмахивался и говорил приятным грудным тенором:

— Та я ж ничего не знаю, что говорят... А никакой компании нет. Якая там бисова компания? Пранцеватое ваше золото... нэхай ему лишечко буде.

Впрочем, пил Середа мастерски и не прочь был в картишки «повинтить», почему и сошелся на короткую ногу с Кривополовым и Дружковым, которые могли играть беспросыпу хоть неделю.

Из числа других золотопромышленников выдавались Агашков Глеб Клементьевич и курляндский немец Кун. Они и держались наособицу от других, как настоящие аристократы. Агашков славился как скупщик краденого золота; у него были свои прииски, но только такие, которые служили для отвода глаз, то есть воровское золото записывалось в приисковые книги, как свое, и только. Такие дутые прииски на Урале почему-то называются бездушными. Фигура у Агашкова была самая подкупающая: благообразный «низменный» старичок с самой апостольской физиономией — окладистая бородка с проседью, кроткие серые глаза, тихий симпатичный голос и вообще что-то такое благочестивое и хорошее во всей фигуре, кроме длинных рук, которыми Агашков гнул подковы и вколотил в гроб уже двух жен. Особенных художеств за Агашковым не водилось, а жил он как праведник, неукоснительно блюл не только посты, но даже среды и пятницы, был богомолен свыше всякой меры, иногда по двунадесятым праздникам становился на левый клирос и подпевал самым приятным стариковским тенорком, и больше всего любил побеседовать о божественном, особенно что-нибудь позабористее. Кун был лицо новое на Урале, но уже крепко основался и пустил корни. Представительный, всегда прилично одетый, он держался джентльменом; подстриженные усы и эспаньолка делали его моложе своих лет. Как настоящий немец, он никогда не расставался со своей сигарой, с которой точно родился. Кун и Агашков, кажется, сошлись между собой и все держались вместе.

— Спарились, идолы, — коротко объяснил Флегонт Флегонтович. — Только кто кого у них надует: тонок немец, а и Глеб Клементичу тоже пальца в рот не клади.

Из других золотопромышленников, заблагорассудивших лично заявиться на место действия, никто особенно не выдавался, кроме «бывших»: и бывший мировой посредник, и бывший дореформенный заседатель, и бывший становой, и бывший судебный пристав, и бывший педагог, и бывший музыкант, и еще бывшие бог знает где и бог знает чем, но непременно бывшие, что и было видно сразу по остаткам барских замашек в костюмах, в манере держать себя, в прононсе с оттяжкой и шепелявеньем. Эти бывшие — в большинстве неудачники, которым не повезло и которые явились сюда еще раз испытать одну лишнюю неудачу. Они так уж и держались вместе, поглядывая на остальных свысока: дескать, если бы вы, господа, видели нас в прежние-то времена, когда... гм!.. чер-рт поберр-и!

Отдельной артелькой сбилось несколько раскольников из Невьянска и из Ревды, — угрюмый и неприветливый народ, глядевший на всех остальных никониан исподлобья. По костюму — купечество средней руки, может быть, какие-нибудь прасолы и скотогоны или гуртовщики. Крепкий народ и держит себя оригинально, хотя сильно смущается табачным дымом. Особенно хорош был один седой, сердитый старик, точно весь высеребренный.

— Уж этаким старикам на печке бы сидеть да грехи свои замаливать, — ворчал Собакин несколько раз. — А тоже золота захотел.

— Нэхай покопае — лишние гроши и прокопае, — равнодушно цедил Середа, не обращаясь, собственно, ни к кому.

— Только мешаться под ногами будет, старый черт... Еще где-нибудь задавят в суматохе-то, а то сам завалится куда-нибудь в ямку и подохнет, — не унимался Флегонт Флегонтович.

Из «бывших» на некоторое время привлекали общее внимание двое отставных военных — ташкентский майор и какой-то сомнительный кавказец. Очень подер-

жанные, очень нахальные и очень жалкие в своем гражданском виде, они держали себя с видом людей, которым уж и терять ничего не осталось. Вот у этих сомнительных воинов и возникло какое-то недоразумение специального характера, что-то вроде вопроса о чести мундира; может быть, это были старые счеты, но недоразумение перешло в крупный разговор, потом в ссору и, наконец, заключилось вызовом на дуэль. Дуэль в деревне Причине — это одно уж чего-нибудь стоило... Но вся буря кончилась ничем, потому что не оказалось соответствующего оружия: собранные со всего стана револьверы оказались разных мастеров и разных калибров.

Остальная «публика» состояла из разных доверенных и просто приказчиков, посланных сделать заявки непременно на Причинке. Это был все народ подневольный, не имевший самостоятельного значения, хотя и представлял собой громкие имена уральских богачей.

— Удивляюсь, что это от Могильниковой никого нет! — несколько раз повторял Флегонт Флегонтович, наводя справки о прибывших партиях. — А они должны быть здесь... То есть, натурально, сама она не поедет, а доверенного пошлет. Уж тут не даром, не такая баба, чтобы маху дала. Пробойная баба, одним словом... Только что у нас будет — одному богу известно. Слышали: Агашков заводских лошадей выставил до самого Екатеринбурга, чтобы опередить всех с заявкой. И Кун тоже, и Кривополов...

— А вы как?

— Мы?.. Мы малыми дорогами их обгоним всех... Хе-хе!.. Тут ведь дороги каждые десять минут... да. Я Пластунова пошлю верхом, о дву-конь, по-киргизски... Эх, жаль, у меня Воронка не стало! Вот была лошадь, скажу я вам — золото, клад... На ней я сам по сту верст верхом делал на проход. Если бы жива была, сам на ней поехал бы с заявкой... А мужичье-то, причинные-то мужики, что выделывают — слышали?

— Пьянствуют?

— С кругу спились, совсем одурели. Да и как не одуреть: в сутки по три целковых теперь получают, да

еще сколько обманут... Ведь наш брат другой раз даже до смешного бывает глуп и доверчив!.. Ей-богу! В глаза мужики всех обманывают, а им за это еще деньги платят. Одно место в четверо рук продают... Ха-ха!

— Да ведь и Спирька, может быть, тоже надувает вас?

— Ну, уж извините, Спирька других надул, а не меня... Он у меня в разведке, как стеклышко, будет. Вот сами увидите... всю дурь из него вытрясем.

Причинные мужики действительно совсем потерялись в вихре событий: запрос на рабочие руки оказался громадный, а, кроме того, всякий золотопромышленник, конечно потихоньку от других, старался непременно заручиться верным человеком, который знает верное местечко. В результате получалась прекурьезная игра в темную, причем каждый был уверен, что именно он проведет всех остальных. Флегонт Флегонтович окончательно успокоился, познакомившись с наличным составом своих конкурентов, и только подшучивал над вылезавшими наружу плутнями других.

— Видели, как Кун вчера якобы на охоту с ружьем ходил? — рассказывал Собакин. — Думает, что так ему и поверили... а еще немец! Агашков прошлой ночью сам ездил потихоньку посмотреть место... Да и другие тоже. И все, главное, думают, что никто и ничего не знает, точно все оглохли и ослепли.

Сбившиеся с панталыку причинные мужики бродили по селу, как чумные телята, и всё промышляли, где бы еще выпить. Слова: «произведу», «предоставлю», «руководствуй» — так и висели в воздухе, повторялись на все лады. Напротив нас стояла гнилая избушка, в которой жил рыжий мужик Парфен, обладавший громадным носом; этот Парфен успевал аккуратно два раза в день напиться и каждый раз производил в своей избенке настоящий геологический переворот — как-то разом все начинало лететь из избушки прямо на улицу: горшки, ребятишки, ухваты, и жена Парфена вылетала после всего в самом отчаянном виде, с растрепанными волосами, босая, в растерзанном сарафанишке.

— Ловко... — поощрял Спирька соседа, поглядывая

из окошка. — Дай ей хорошего раза, Матрене-то... руководствуй...

И Парфен действительно руководствовал на всю улицу, потешая скучавших золотопромышленников. Он приходил даже в какой-то экстаз и все старался придумать что-нибудь почуднее, чтобы удивить всех. Другой мужик, Силантий, живший через два двора, смирный и забитый в нормальном состоянии, как выпивал две-три рюмки, тоже начинал руководствовать и лез непременно драться к первому встречному. Его обыкновенно связывали вожжами и укладывали успокоиться куда-нибудь на холодке. На другом краю деревни бушевал какой-то седой старик Емельяныч, который колотил трех своих сыновей поленьями. Приехавшие рабочие из других деревень, в большинстве самый отпетый народ, набравшийся по приискам вольного духу, дополняли картину своим пьянством, драками и постоянно приставали к причинным бабам и девкам. Женский курс вдруг поднялся, и бабы к общему соблазну принялись щеголять по улице в самых ярких сарафанах и в кумачных платках, за что им прописывалась сугубая трепка.

Словом, происходила невообразимая кутерьма, и благочестивые причинные старушки только молили бога, чтобы скорее наступило это растреклятое первое мая.

— Я теперь совсем обумился, Флегон Флегоныч, — уверял Спирька, все еще находившийся под домашним арестом. — Пусти хоть дохнуть разик с нашими причинными... Ей-богу, ни в одном глазу.

— Врешь, все врешь... — упрямо отказывал Собакин. — Знаю я тебя, гусь лапчатый. Тебя только на улицу выпусти, так ты сейчас без задних ног, да еще, пожалуй, с вина сгоришь... Немного уж ждать осталось, а там хоть лопни от водки.

Спирька чесал свою гриву, вздыхал и потом соглашался с неумолимым патроном, что оно точно, пожалуй, опять сорвет с ума-то. К довершению общей суматохи случилось два происшествия: «сгорел» с вина какой-то старик, и потом нашли избитую до полусмерти девку Анисью, которая пострадала за свое коварство —

взяла с трех претендентов на ее внимание приличные подарки. Обманутые сговорились и поучили.

— Нет, уж что же это такое? — спросил Агашков, благочестиво поднимая плечи. — Настоящие Содом и Гоморра... уголовство.

VI

Наконец наступил и канун первого мая. С раннего утра в Причине все поднялось на ноги, даже не было видно пьяных. Партии рабочих уже были в полном сборе и толпились кучками около изб, где жили хозяева, или около обозов. Приготовляли лошадей, мазали телеги, бегали и суетились, как перед настоящим походом. Только хозяева старались казаться спокойными, но в то же время зорко сторожили друг друга — кто первый не утерпит и тронется в путь. Свои лазутчики и соглядатаи зорко следили за каждым движением.

— Мы из деревни выедем совсем не в ту сторону, куда нужно, — шепотом сообщил мне Флегонт Флегонтович, тревожно потирая руки. — А вы слышали, что Спирька сегодня ночью чуть не убежал у нас? Да, да... Ну, я с ним распорядился по-своему и пообещал посадить на цепь, как собаку, если он вздумает еще морочить меня. А все-таки сердце у меня не на месте... Всю ночь сегодня грезился проклятый заяц, который нам тогда перебежал дорогу, — так и прыгает, бестия, под самым носом.

— А далеко нам ехать?

— Да верст пятнадцать будет... По крайней мере Спирька так говорит, и Гаврила Иваныч тоже.

В общей суматохе не принимали участия только Кривополов, Дружков, Середа и еще какой-то инженер в отставке, которые винтили уже третьи сутки. Агашков молился с утра богу, Кун, заложив руки в карманы своей кожаной куртки, особенно сосредоточенно курил сигару с раннего утра. В избе Спирьки Флегонт Флегонтович возился с каким-то футляром, который никак не уходил у него в боковой карман.

— Что это у вас такое? — спросил я. — Револьверы?

Собакин осторожно оглянулся кругом и расстегнул застежки футляра: в нем лежала разобранная флейта.

— Это для чего у вас? — спросил я.

— А нужно... вот увидите. Я немножко, знаете, играю. Скучно в лесу иногда бывает, особенно осенью, когда ненастье зарядит недели на три. Две партии уже отправились, — перескочил он к злобе дня, — это доверенные от Охлестышевых. Ну, да эти не опасны, пусть поездят по лесу. Я, признаться сказать, больше всего опасаюсь Агашкова и Куна... Черт их знает, что у них на уме.

— Да что же они могут сделать?

— Э, да мало ли что... Будут караулить, куда поедем, и, пожалуй, помешают.

Напились чаю, потом пообедали, но никому кусок в рот не шел. Метелкин выглядывал с почтительной грустью. Спирька сидел как приговоренный; сам Флегонт Флегонтович постоянно подбегал к окошку на малейший стук и осторожно выглядывал из-за косяка. Один Гаврила Иванович не испытывал, кажется, никакого волнения и сосредоточенно ел за четверых, облизывая свою крашеную деревянную ложку.

День был ясный, настоящий весенний, с легким холодком в воздухе; по небу с утра бродили белые волнистые облачка, обещая долгое вёдро. Но кругом не было еще зелени, и только на пригорках кое-где пробивалась свежая травка зелеными щетками. Река Причинка уже очистилась ото льда и начала разливаться в своих низких болотистых берегах, затопляя луга и низины. Пролетело несколько косяков диких уток; где-то печально кричали журавли.

Часов в семь вечера наша первая партия выступила из Причины, потому что к заветному месту нужно было подойти обходным путем, чтобы запутать все следы и обмануть охотников открыть наш секрет. Теперь нас было две партии — одна под предводительством Флегонта Флегонтовича, а другая во главе с Пластуновым. У нас вожаком служил Спирька, а у Пластунова Гаврила Иванович. Сговорились встретиться на каком-то урочище Сухой Пал, прежде чем захватить окончательно местечко. Чтобы решительно сбить с толку всех,

мы ехали в одну сторону, а Пластунов в другую. Собственно, наша партия должна была выступить час спустя.

— Ох, не разъехаться бы... — стонал Собакин, провожая партию Пластунова вперед. — Ты, Гаврила Иванович, смотри, — не ударь в грязь лицом.

— Уж не сумлевайтесь... все оборудуем, Флегонт Флегонтыч, — отвечал старик, залезая в коробок Пластунова. — В лучшем виде.

Другие партии тоже зашевелились, и две из них отправились вслед за нашей партией, хотя это были «бывшие», значит, особенной опасности не предвиделось.

— Что вы так хлопочете, чтобы не разъехаться, — говорил я, — все равно: Пластунов займет другой участок — и только.

— Э, батенька, в том весь и секрет, чтобы занять два участка рядом, потому что у меня в участке жила, ну, а как она уйдет к другому? Вот это-то и дорого... Все из-за этого хлопочут. По закону, каждая партия имеет право занять только один участок — пять верст в длину и сто саженей в ширину, то есть по течению какой-нибудь речки.

Было восемь часов, и мы выступили тоже в поход. Спирька поместился у нас на козлах, и Собакин категорически объявил ему:

— Ну, ты, идол, смотри в оба, а ежели надуешь, так я из тебя и крупы надеру и муки намелю в лесу-то...

— Предоставлю, Флегон Флегоныч, — угрюмо отвечал Спирька, нахлобучивая какую-то совершенно невозможную шапку на свою взлохмаченную голову. — Уж мы с Гаврилой Иванычем вот как сруководствуем... важное местечко.

Флегонт Флегонтович все оглядывался, точно ожидал погони; но погони не было, и только в стороне дороги раза два повторялся какой-то подозрительный шум, точно кто шел за нами, прячась за деревьями и в кустах.

— Ишь, подлецы, как провожают... — ругался Собакин. — Наверно, Агашков подослал или этот немец с сигарой...

Небо было совершенно ясное, солнце только что закатилось, из лесу тянуло свежей ночной сыростью. С большой дороги мы свернули по указанию Спирьки куда-то направо и поехали в цело, то есть без всякой дороги, по какому-то покосу. Меня удивило то, что мы ехали от реки Причинки, тогда как должны были держаться около нее. Впрочем, она текла крайне извилисто, и мы, вероятно, просто выгадывали пространство. Все молчали и как-то старались не смотреть друг на друга, точно премированные заговорщики. В одном месте, когда мы ехали около соснового подседа, над нашими головами пролетело несколько тянувших вальдшнепов с тем особенным кряхтеньем, которое настоящего охотника заставляет замирать на месте. Но теперь было не до охотничьих восторгов, и мы пропустили тягу совершенно равнодушно. Но чем дальше мы подвигались, тем больше начинало попадаться нам подозрительных признаков — перепутанные колеи, следы лошадиных ног, какой-то отдаленный глухой шум или неожиданный треск где-нибудь в стороне.

— Это всё партии гуляют по лесу, — объяснил Флегонт Флегонтович; он несколько раз выскакивал из экипажа и припадал ухом к земле, чтобы лучше расслышать лошадиный топот. — Далеко до Сухого Пала осталось, Спирька?

— Да еще верст семь надо класть, Флегон Флегоныч... а может, и побольше. Кто его знает: здесь ведь места-то баба мерила клюкой, да махнула рукой...

В одном месте мы спугнули несколько пар журавлей, которые с печальным криком полетели дальше. Место было болотистое, с низкими кустами ольхи, черемухи и болотной ивы; наш экипаж прыгал по кочкам и постоянно грозил опасностью перевернуться вверх дном. Откуда-то повеяло холодной сыростью, — это была вода, может быть, одно из бесчисленных озер. В другом месте, в лесу, слабо замигала красная точка и потянуло дымком; наш обоз остановился, и вперед посланы были лазутчики. Оказалось, что стояла станом какая-то партия, ожидавшая наступления двенадцати часов: рабочие были не здешние, а хозяин «из господ», как объяснили вернувшиеся лазутчики.

— Должно быть, заблудились, сердечные... — посмеялся Флегонт Флегонтович, однако велел объехать партию подальше стороной, «чтобы не навести на сумление».

Взошел молодой месяц, и все кругом потонуло в фантастическом, колебавшемся свете. Собственно говоря, сравнительно с душистой и туманной летнею ночью, эта холодная и, так сказать, сухая весенняя ночь была просто жалка, но что было хорошо в ней и что придавало ей какую-то особенную поэзию — это неумолкавшая жизнь пернатого царства. Каких-каких звуков только не было!.. Кроме журавлиного и лебединого крика и кряхтения вальдшнепов, слышалось неумолкаемое пение со всех сторон. Какие птицы пели — не умею сказать, за исключением иволги, которая резко выделялась среди других певцов. Где-то точно разговаривают и кричат две голосистые бабы, потом глухо забормотал на листвени тетерев, потом, точно из-под земли, донеслось неистовое фырканье и кудахтанье игравших на току косачей. Ночь была тихая, и можно было расслышать игру на нескольких токах. Но всего удивительнее был какой-то страшный крик, точно во всю глотку ревел пьяный мужик; я даже вздрогнул в первую минуту.

— Что, испугались? — смеялся Флегонт Флегонтович. — Угадайте-ка, что за зверь это отличается? Не угадать... Это куропатка.

— Не может быть!..

— Уверяю вас; я сам сначала не верил, пока не убедился своими глазами. Ревет, точно оглашенная...

В сторонке тихо и нерешительно слышалось осторожное заячье бобоканье; зайцы кричат иногда пресмешно в лесу — сядет на задние лапки, насторожит уши, вытянет мордочку и начинает как-то по-детски наговаривать: «бо-бо-бо-бо»...

— Гли-ко, гли [1], Флегон Флегоныч, — зашептал Спирька, показывая головой в сторону небольшой сосновой гривки, у которой стояли две темные фигуры. — Вишь, как зѐрят [2] за нам...

---

[1] Гляди, гляди. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Зóрят — смотрят. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Ну, пусть их зорят.

— А в лесу лошадь привязана — вон одна голова торчит...

— Ах, подлецы! Чьи бы это?

— Темно, не признать сыздали. Быдто из сосунят кто по обличью-то... может, и наши причинные.

Кроме этих отрывочных эпизодов, наше путешествие совершалось в мертвом молчании; слышался только лошадиный топот и стук колес, когда они попадали на древесный корень. Вахромей сидел на козлах в обычном молчании и только изредка, в виде особенной милости, благоволил всыпать вертлявой пристяжной несколько хлестких ударов.

— Эва тебе и Сухой Пал... — проговорил, наконец, Спирька, когда впереди серым неясным пятном выступила между редкими соснами узкая лесная прогалина. — И Гаврила Иваныч тамоди [1] с людям дожидает нас... в самую точку попали.

Сухой Пал выделялся какой-то суровой красотой и резко отличался от других мест, по которым ехали до сих пор. Кругом росли вековые сосны в обхват толщиной; почва делала мягкий уклон к небольшому круглому озерку и кончалась крутым обрывом, на котором росла корона из громадных лип.

— Старцы здесь жили в допрежние времена, — объяснил Спирька, — вон и липняк насадили для пчелы... Только их начальство выжило; потому как они, старцы-то, к старой вере были прилежны... строго было. Весь скиток разорили...

Партия Пластунова дожидалась нас уже с час. Посыпались рассказы с обеих сторон о встречных партиях. Весь лес на десятки верст по течению Причинки был переполнен людьми, ждавшими наступления полуночи.

— Страсть сколь народичку понаперло, — удивлялся Гаврила Иваныч, поправляя свою баранью шапку. — Немца видели... ну, еще с сигарой ходил. В двух верстах отсюдова будет...

— А Агашкова не видал?

---

[1] Тамоди — там. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Нет, как будто не заприметил. Тут всё какие-то новые партии, Флегонт Флегонтыч. И господь их знает, откуда они набрались. В Причине как будто их не видать было, все наперечет. Это всё пришлые... Надо полагать, режевские али невьянские.

— Все равно... один черт, — ворчал Собакин. — Столбы разведочные приготовили?

— Два столбика сорудовали... и слова написали.

— Хорошо. Уж десять часов скоро, — говорил Собакин, со спичкой разглядывая циферблат своих часов. — Далеко отсюда?

— Версты три, надо полагать, будет; в час доедем.

— Часик подождем.

Ехать прямо на заветное местечко прежде времени мы не могли, потому что на нас могли набежать другие партии и начать спор по заявке. Но, с другой стороны, полная неизвестность являлась тяжелым кошмаром для всех. Время тянулось убийственно медленно, как при всяком ожидании, и Флегонт Флегонтович беспрестанно жег спички, чтобы посмотреть, сколько осталось.

Ровно в одиннадцать часов мы трогаемся в путь в мертвом молчании, но лес кругом гудит от конского топота и торопливо шмыгающих людей. Мимо нас проскакала партия верхом на лошадях; где-то далеко рубят дерево, и каждый удар топора звонко разносится в ночной тиши. Вероятно, это готовят разведочный столб. Вот где-то совсем близко посыпались тоже удары топора, кто-то рубит лихорадочной, неумелой рукой. Опять встреча, едут на двух телегах, разъезжаемся молча — ни слова. Торопливо бегут какие-то мужики с лопатами и топорами. Уж близко совсем, вот и небольшой пологий ложок, который спускается корытом к Причинке.

— Здесь... — шепчет Спирька.

Флегонт Флегонтович отряжает Пластунова с Гаврилой Ивановичем вверх по Причинке, к какому-то Семенову Бугру, где он должен ждать сигнала и сейчас же ставить разведочный столб.

— Как я заиграю, значит, место свободно, ты сейчас и катай столбы и шурфы, — наставительно шепчет

он своему доверенному. — Через полчаса, чтобы все было готово... Слышишь?.. Я как заиграю, ты сейчас и действуй.

Партия Пластунова исчезает в густой сосновой заросли, а мы остаемся на ложке, в ожидании двенадцати часов. Заветное местечко на полверсты ниже, но занимать его теперь рано, можно только привлечь внимание проходящих мимо партий. А народ так валит и валит, все дальше, вверх по Причинке; каждая новая партия заставляет переживать скверное чувство: а как она да наше место и захватит? Но пока все благополучно — все проходят мимо.

— Начинай, благословясь, — командует Флегонт Флегонтович, откладывая несколько широких крестов. — Ну, восемь минут осталось... пора.

Мы отправляемся вниз по Причинке, которая здесь шириной всего несколько аршин, а в некоторых местах ее просто даже можно перескочить с разбегу. Лошади остались на месте, а мы идем пешком.

— Скорее, скорее... — торопит Флегонт Флегонтович, задыхаясь на ходу. — Спирька, где место-то?

— Да вон береза-то развилашкой стоит, тут и место, — объясняет Спирька, едва поспевая за Собакиным на своих кривых ногах.

За нами несколько рабочих несут разведочный столб.

— Стой! — командует Флегонт Флегонтович, когда мы поровнялись с указанной березой. — Ровно двенадцать часов... ставь столб!

В подтверждение своих слов он показывает нам свои часы; Спирька с двумя рабочими копают яму, а Флегонт Флегонтович вынул из кармана футляр с флейтой, собрал инструмент, и по лесу далеко покатился вальс из «Корневильских колоколов»:

Ходил три раза кругом света
И научился храбрым быть...

В ответ на вальс послышался глухой выстрел из револьвера.

— Слава богу, место свободно, — объяснил Собакин. — У нас такой уговор был: если свободно — один

выстрел, если нет — три. Ставьте скорее столб. Ну, теперь валяй шурфы.

Разведочный столб был уже поставлен, и рабочие ставили пониже другой. Метелкин со Спирькой из срубленной березы устраивали живой мостик через Причинку. Флегонт Флегонтович сам отмерял на земле квадрат шурфа и принялся обрубать топором дерн; он взмахивал топором со всего плеча и не мог вывести прямой линии.

В самый разгар работы, на противоположном берегу Причинки, в лесу послышался глухой треск, точно шла целая рота солдат, и затем выскочило несколько рабочих с лопатами и кирками. Намерения неожиданных пришельцев были очевидны, и Флегонт Флегонтович закричал не своим голосом:

— Стой! Место занято... Кто первый пошевелится, на месте убью!

На этот вызов из приближавшейся толпы рабочих отделился высокого роста мужчина в кожаной куртке, в высоких сапогах и в модной шляпе с двумя козырьками. Он подошел к переходу через речку и, сняв шляпу, спокойно отрекомендовался:

— Стреляйте... К вашим услугам: Серапион Чесноков. Обращаю особенное внимание ваше, милостивый государь, на то, что вы в глухом лесу производите угрозу с оружием в руках, что предусмотрено уложением о наказаниях. Притом вы начали работу целым получасом раньше, чем это назначено, за что тоже будете отвечать, а теперь я займу эту площадь на основании общих правил.

Бедный Флегонт Флегонтович побелел от злости и только смотрел на оратора с открытым ртом, как помешанный.

— Да вы... вы от кого? — проговорил он наконец, опуская бессильно руки.

— Я? Я от Анфусы Полихроновны Могильниковой...

— А! Так вы вот как... О, я знаю вас!.. Я... я... — закричал Флегонт Флегонтович каким-то крикливым голосом и бросился грудью защищать переход через Причинку. — Я знаю тебя, подлеца!.. алеут!.. Ребята, не

пущай!.. Спирька, Метелкин! Братцы, это разбойник... эго грабеж!.. Будьте все свидетелями...

— Эй, вы, послушайте, — спокойно продолжал «алеут», отдавая какие-то приказания своим рабочим. — Кроме вооруженного нападения, вы еще делаете подлог: часы у вас переведены... Притом вы меня оскорбили с первого слова. И в том и в другом случае вы ответите в законном порядке.

— Врешь, алеут... Это у тебя часы переведены! — орал Флегонт Флегонтович, напирая грудью на незнакомца, но при последних словах внезапно покатился по земле, точно под ним земля пошатнулась.

— Ребята, руби столб!.. — крикнул алеут, перескакивая на нашу сторону.

За этим возгласом произошла уже настоящая свалка: наши рабочие отчаянно защищали свой столб, а сподвижники алеута старались их сбить с позиции, что скоро и было исполнено благодаря их численному превосходству, да и народ все был рослый, заводский, молодец к молодцу.

— Катай их... валяй! — ревел Собакин, бросаясь на алеута в рукопашную. — Спирька, Метелкин, бери его!.. действуй!..

Но взять алеута было не так-то просто: он одним ударом опрокинул Метелкина, потом схватил Спирьку за горло и бросил прямо на землю, как дохлую кошку. Но Флегонт Флегонтович был довольно искусен в рукопашной и как-то кубарем бросился прямо в ноги алеуту, свалил его и с ним вместе покатился по земле одним живым комом; Метелкин и Спирька, очувствовавшись от первого афронта, схватились разом за барахтавшегося на земле алеута, который старался непременно встать на колени.

— Что же вы-то смотрите... а?! — кричал мне Флегонт Флегонтович, взмостившись на алеуте верхом. — Ах, подлец... ах, разбойник! Спирька, не давай ему на четыре кости вставать... не дав...

Чесноков, утвердившись «на четырех костях», быстро поднялся на ноги и разом стряхнул с себя всех троих, так что Флегонт Флегонтович первым обратился в бегство, а за ним побежал Метелкин. Я оставался попреж-

нему безучастным зрителем этой немного горячей сцены, в которой не желал принимать активного участия. Чесноков торжественно осмотрел поле сражения и как-то добродушно проговорил:

— Хороши...

Затем он засмеялся, достал из кармана серебряный портсигар и как ни в чем не бывало закурил дешевенькую папиросу.

— Пожалуйста, будьте свидетелем всего здесь случившегося, — вежливо проговорил он, обращаясь ко мне.

— Нет, уж избавьте, пожалуйста, от этой чести...

— Вы не имеете права отказываться, как порядочный человек. Впрочем, эти дела до суда у нас не доходят. Устроим полюбовную. А, да, кажется, еще новый конкурент. Да ведь это наипочтеннейший Глеб Клементьевич Агашков... Вот это мило!..

Действительно, пока происходила борьба Чеснокова с Флегонтом Флегонтовичем, Агашков, под шумок, успел не только поставить свой разведочный столб, но уже дорабатывал второй, обязательный для заявки шурф, причем уже промывали в приисковом ковше пробу.

— Ну, это дудки, — хладнокровно проговорил Чесноков, направляясь прямо к благочестивому старцу. — Эй, вы, черт вас возьми совсем! Это вы что же делаете?

— Как что делаю? — удивился в свою очередь Агашков, немного отступая от приближавшегося алеута. — Вы, милостивый государь, пожалуйста, подальше, а то у вас руки-то...

— Что руки?..

— Скоры вы на руку-то, сударь, даже оченно скоры... Вон как Флегонта Флегонтовича изувечили.

— Убирайтесь отсюда... сейчас же!.. Слышите? — грозно приказал Чесноков, принимая угрожающую позу.

— И уйду... даже сейчас уйду-с, вот только заявочный столбик приспособлю.

— А я ваш столб срублю!

— И рубите... потому как здесь лес, а в городу это всё разберут.

— Вы хотите, кажется, меня перехитрить? Ну, извините, Глеб Клементьевич, я вас отсюда не выпущу... Ребята, окружайте его и не выпускайте. Вот так.

Около Агашкова образовался живой круг, и он очутился как в мышеловке. Произошла преуморительная сцена, которая закончилась тем, что Глеб Клементьевич, потеряв всякую надежду пробиться сквозь окружающую его цепь, смиренно уселся на камешек, а Чесноков в это время собственноручно доканчивал разведку и сам доводил золото в Причинке. Когда все было кончено, этот страшный поверенный купчихи Могильниковой сел на верховую лошадь, попрощался со всеми и исчез в лесу.

— Разбойник... подлец!.. — ругались в две руки Собакин и Агашков, проклиная отчаянную алеутскую башку; к довершению несчастья, Флегонт Флегонтович повернул неловко ногу во время давешней борьбы и теперь охал и стонал при каждом движении.

VII

— Надо первым делом в Причинку воротиться, чтобы составить акт и всякое прочее, — решили в голос Собакин и Агашков, когда немного пришли в себя. — Мы допекем алеута... к исправнику... к губернатору пойдем. Разбой на большой дороге... в лесу... да мы всех екатеринбургских адвокатов натравим на алеута.

Потерпевшие ругались, как умели, и старались изобрести тысячи самых ядовитых способов извести алеута. Как все очень рассерженные люди, они не только сами верили своим жестоким намерениям, но требовали непременно, чтобы и все другие разделяли их чувства. Мы с Гаврилой Ивановичем сделались невольными жертвами этого озлобления и принуждены были выражать свое полное согласие.

— Я к губернатору, Гаврила Иваныч... — приставал Собакин к нашему «вожу», который почесывал затылок и несколько раз повторял одну и ту же бессмысленную фразу: «Ах, чтоб тебя расстрелило!..»

— Нет, ты скажи, ведь мы его узлом завяжем? — приставал Собакин, размахивая своими короткими руками. — У меня есть один знакомый в канцелярии губернатора из поповичей и такая дока, такая дока... Ведь мы пропишем, Гаврила Иваныч, алеуту горячего до слез... а?!. Вот и Глеб Клементьевич тоже...

— Обыкновенно, оборудуем, — благочестиво соглашался Агашков, разглаживая свою седую бороду. — У меня тоже есть один знакомый в духовной консистории...

— В светлеющий синод надо бумагу подать, — советовал Гаврила Иванович, дергая плечами. — Ах, чтобы тебя ущемило... Ну и разбойник!..

— А я еще раньше это предугадывал... — припоминал Флегонт Флегонтович. — Помните? Я несколько раз говорил: «Что это от Могильниковой никого нет?» А вот она и объявилась... И нашла же кого послать!

— Да кто он такой, этот Чесноков? — спрашивал я, воспользовавшись маленьким перерывом, когда Флегонт Флегонтович переводил дух.

— Алеут-то? А черт его знает, кто он такой... Всего года два как объявился в наших местах. Я с ним в Верхотурье в первый раз встретился, даже раз в карты играл. Он тогда адвокатом был и все судился с кем-то. Ну, парень ничего, и на разговор как по-писаному режет. Сначала-то всем даже очень понравился, и в хорошие дома везде принимали. Некоторые верхотурские дамы даже очень уважали этого самого алеута, потому, сами посудите, — детина десяти вершков росту, любо смотреть. Ну, обыкновенно, место глухое, дамочкам это даже очень любопытно казалось этакого зверя прикармливать, а потом он себя и оказал, так-таки сразу и оказал — весь как на ладонке. Именины были, и Чесноков тут же. Ну, как попало ему хорошенько за галстук, он и произвел — четверых отколотил... Силища, как у медведя. Двоих схватил за бороды да головами и давай друг о дружку стучать, чуть живых отняли. Чистый дьявол... и на руку скор, страсть! Как-то в театре в Перми идет в антракте в буфет, а навстречу купец и не сворачивает — алеут в ухо, а купец, как яблоко, и покатился. Уж теперь все этого алеута знают

и чуть что — сейчас подальше. А как он попал к Могильниковой — ума не приложу... Такая степенная дама и вдруг этакого молодца подсылает. Ведь это что же такое: нож ему в руки да на большую дорогу.

— Зачем же его называют алеутом?

— Все так зовут, потому что в Америке, сказывают, жил где-то там, у алеутов... Наверно, все врет, только будто языком про Америку, а сам, наверно, из каторги ушел.

— Из каторги не из каторги, а около того, — глубокомысленно заметил Агашков. — Очень замашистый человек и даже, можно сказать, весьма неприятный... А уж откуда его добыла Могильникова — ума не приложу. Я, кажется, лучше с медведем в берлоге переночую, чем с этим алеутом...

Увлеченный неудержимым потоком своего гнева, Собакин совсем позабыл, что Агашков чуть-чуть не отнял у него заветное местечко. Об этом щекотливом обстоятельстве он вспомнил только при нашем вступлении в Причину.

— Ну, и вы, Глеб Клементьевич, тоже хороши, ежели разобрать... — корил он благочестивого старца. — Я местечко-то караулил два месяца, сколько одной водки выпоил Спирьке, а вы...

— Я?.. Да ведь я хотел вам помочь, Флегонт Флегонтович... Слышу, битва идет, ну, я и бросился ослобонять вас.

— А шурфы-то зачем били... а?.. Нет, уж не отпирайтесь лучше... Ну, да теперь все равно: дело пропащее. По крайней мере не доставайся местечко Могильниковой...

— Вот-вот, это самое и есть... — вторил Агашков. — Послушайте, это что же такое... а?.. Вот те и раз!

Заслонив рукой свои старые глаза, Агашков смотрел вдоль по причинской улице, где у квартиры Кривополова стояли оседланные лошади и толпились какие-то мужики. Издали можно было узнать только нескладную фигуру долгоносого пьяницы Парфена, который отчаянно взмахивал руками и расслабленно приседал. Когда мы поровнялись с квартирой Кривополова, за ворота занимаемой им избы, пошатываясь, вышел за-

хмелевший хохол Середа; он посмотрел на нас каким-то блаженным взглядом и, покрутив головой, на немой вопрос Агашкова пролепетал: «Ой, лишечко...»

— К нам, к нам, милостивые господа!.. — выкрикивал коснеющим языком Парфен. — Там Марфа Ивановна... их душа... вот помереть... люблю.

Мы остановились. Рожа Кривополова показалась в окне, и он Христом-богом умолял всех зайти в избушку.

— Да что вы, окаянные, тут делаете! — журил Агашков, не решаясь спуститься с экипажа. — Добрые люди на разведках бьются, а они вон где прохлаждаются... ах вы, греховодники этакие, ей-богу, греховодники!..

— У нас тут... ха-ха!.. Голубчики, Глеб Клементич, и ты, Флегонт Флегонтыч... ради Христа заходите. Я ведь все знаю про вас, как вы там с алеутом воевали... ха-ха!..

В этот момент за ворота выкатился, как шар, толстый седой Дружков и без всяких разговоров принялся стаскивать Агашкова с экипажа за ноги. Мы всей гурьбой отправились в избу, где слышался чей-то женский смех и неистовый хохот Кривополова. В переднем углу, около стола, заставленного бутылками и разной походной посудой, сидела молодая красивая женщина в темном платочке с глазками. Ей было на вид лет двадцать. Высокая, полная, белая, с продолговатым лицом, она дышала тем завидным здоровьем, какое еще сохраняется только в старинных купеческих семьях. Всего замечательнее в этом красивом женском лице были серые, опушенные длинными ресницами глаза с поволокой и сочные свежие губы, складывавшиеся сами собой в такую хорошую улыбку, как умеют смеяться только настоящие красавицы.

— Вот кого нам бог послал... — хрипел Кривополов, указывая толстыми пальцами прямо на свою гостью. — Ну-ка, Глеб Клементич, угадай, кто такая будет... а?.. И не думай лучше, все равно не угадаешь... Вот так красота — сейчас в рамку да под стекло.

— Уж вы, Нил Ефремыч, и скажете... — немножко кокетливо проговорила красавица и сейчас же вся

застыдилась. — А я вас, Глеб Клементич, даже очень хорошо помню, вот и Флегонта Флегонтовича тоже.

— Матушка ты наша... ягодка... — говорил седой Дружков, припадая своей одутловатой сыромятной рожей к ручке Марфы Ивановны.

Агашков и Флегонт Флегонтович переглянулись, не зная, как себя держать с Марфой Ивановной. Лицо Агашкова так и просветлело — старичок любил красивых женщин, — но, с другой стороны, может, какая-нибудь переряженная арфистка...

— Ну, ну! Чего вы медведями-то стоите!.. — кричал Кривополов. — Небось Ивана-то Семеныча Семиквасова помните? Еще гурты в степи гонял... Ну, он-то, Иван-то Семеныч, значит, помер, водочкой зашибал покойник, крепко зашибал напоследях, а это, значит, его дочь, Марфа Ивановна...

— Да как вы к нам в лес-то, в этакую трущобу попали, Марфа Ивановна? — спросил Агашков, долго удерживая в своих руках мягкую, полную ручку Марфы Ивановны. — Да где тут узнать... Я вас видел еще такой махонькой, по десятому годку. Еще пряников привозил... Может, помните?

— Как же, я вас сразу узнала, — певуче ответила Марфа Ивановна и с ласковой улыбкой смотрела прямо в глаза таявшему старичку.

— Вот и отлично, что помните... Ну, а теперь-то где же мне узнать вас, вон какая раскрасавица выросла... хе-хе! Только все-таки как же это вы к нам-то, в лес-то попали... а?..

— Я с Серапиеном Михалычем... — ответила Марфа Ивановна, заметно смутившись. — Он насчет разведки, от Могильниковой, а я с ним везде езжу, потому одних Серапиена Михалыча никак невозможно отпускать, при их неукротимом характере.

Марфа Ивановна так и говорила: «карактер», «Серапиен Михалыч», но у нее и этот недостаток превращался в достоинство, потому что как нельзя больше подходил к платочку с глазками и простенькому шерстяному платью купеческого покроя.

— Вы тоже по золоту? — ласково спрашивала меня Марфа Ивановна, когда первый взрыв восторгов прошел.

— Нет, я так... на охоту приехал.

Марфа Ивановна отнеслась недоверчиво к моей охоте и только едва заметно вздохнула. Мне казалось, что я где-то ее встречал, — лицо было такое знакомое, и голос, и глаза, но где? Да и сама Марфа Ивановна отнеслась ко мне, как к старому знакомому.

— А ведь Марфа Ивановна у нас гостит на отлете, — объяснял Кривополов, утирая свою калмыцкую образину фуляровым платком. — Угадай-ка, Глеб Клементич, куда она собралась!

— Как, уезжает? — удивился благочестивый старец, но, взглянув на гостью, он только улыбнулся и, потирая руки, своим ласковым голосом проговорил: — А мы не пустим Марфу Ивановну... ей-богу, не пустим. Такой веревочкой привяжем, что и сама не поедет... хе-хе!..

— Нет, я скоро уеду... далеко уеду, — с легким вздохом проговорила Марфа Ивановна, ласково улыбаясь. — Так далеко, что и думать-то страшно... я ведь с Серапиеном Михалычем; куда они, туда и я...

— В Америку едет Марфа-то Ивановна наша, — объяснил Кривополов и как-то особенно глупо захохотал, — Чесноков в Калифорнию собирается золото искать...

Все недоверчиво переглянулись.

— Я и выговорить-то это слово не умею, куда Серапиен Михалыч собираются уезжать, — объясняла Марфа Ивановна в свою очередь. — А только непременно уедем... Вы чему это смеетесь, Глеб Клементич? Ведь Серапиен Михалыч такой человек: что захотят, то и сделают. Они уж такие... особенные совсем. Вы не смейтесь, Глеб Клементич.

— Я-с? Помилуйте, Марфа Ивановна... уж на что особеннее Серапиона Михалыча. Вот хоть Флегонта Флегонтыча спросите, хе-хе! А что касательно Америки там, так что же — сторона хорошая, и даже в газетах я как-то про нее читал. Хорошая сторона, прямо сказать, только далеконько маленько будет, ну, да

Серапиону-то Михалычу это сущий пустяк-с... Я только так про себя думаю, как же вы, Марфа Ивановна, насчет своих сродственников? Тоже ведь жаль бросить своих-то, свою-то кровь, а там, на чужой-то стороне, еще что бог подаст.

— Нет, я уж решила, — ласково и упрямо повторяла Марфа Ивановна, опуская глаза, — куда Серапиен Михалыч — и я с ними... А сродственники... тетка есть да дядя, ну, они от меня отказались, как я с Серапиеном Михалычем познакомилась, потому что я... я ведь и теперь невенчанная.

Последнее слово Марфа Ивановна произнесла с заметным трудом и даже побледнела.

— Ох, не нам судить, старикам, — ласковым шепотом заговорил Агашков, делая благочестивое лицо. — Все грешны да божьи, и девать нас некуда... А вы, голубушка, еще молоды: замолите грех. Да оно по нонешним временам это даже сплошь и рядом пошло, что невенчанные живут, да еще как живут — лучше венчанных. Это прежде строгость была большая насчет браку, а по нонешним слабым временам и разобрать-то не можешь, где грех, где спасение. Другая и венчанная жена, а даже назвать ее не знаешь как... Нет, не судите, да не судимы будете. Так ведь, Нил Ефремыч? — обратился в заключение своей назидательной речи Глеб Клементьевич к Кривополову.

Появление женщины как-то сразу изменило картину жизни в Причине, точно ворвавшийся в комнату луч света. Не говоря уже о Кривополове и Дружкове, которые забыли даже о разведке из-за Марфы Ивановны, все остальные обыватели почувствовали, что случилось что-то такое, что прекратило разом прежнее пьяное безобразие. Вместо составления протокола и прочих громов, долженствовавших обрушиться на отпетую башку Чеснокова, Собакин и Агашков беседовали в квартире Кривополова самым благочестивым образом. Особенно хорош был Глеб Клементьевич, точно просиявший всем своим старческим благообразием; присутствие свежей молоденькой женщины наполнило его до самых краев самыми благочестивыми и душеполезными помыслами, которыми он спешил поделиться с

Марфой Ивановной. Эти медоточивые речи заставили расчувствоваться даже такого бесповоротно испорченного грешника, как старый Дружков, безобразничавший напропалую по всем градам и весям.

— Подлецы мы все... это ты правильно, Глеб Клементич! — решил Дружков, чувствуя себя совсем «на точке». — Уж какая наша приисковая жизнь... Ох-хо-хо!.. Марфа Ивановна, искушали бы с нами хоть хереску или мадерцы... а?..

Этот непростительный переход от раскаяния к мадерце шокировал всех, и Кривополов тихонько дернул Дружкова за рукав, так что сыромятный старик неловко замолчал на полуслове.

Пока мы пили чай, который разливала Марфа Ивановна, под окнами нашей избы несколько раз мелькали усатые, забубенные головы «отставных» и «бывших», вернувшихся с разведки в Причину неизвестно зачем. И этих людей, выкинутых за борт жизнью, тоже интересовало таинственное появление в глуши причинских лесов таинственной женщины. Прохаживаясь под окнами квартиры Кривополова, они, вероятно, припоминали свои лучшие дни, когда и им улыбались красивые и молодые женщины.

Не дождавшись, когда кончится затянувшаяся беседа, я вернулся на квартиру, в избу Спирьки, один. После бессонной тревожной ночи долил мертвый сон. Но в Спирькиной избе мне не удалось отдохнуть, потому что там стоял дым коромыслом — очевидно, там «руководствовали» вернувшиеся с работы «вожи» и проводники: по крайней мере можно было отлично различить голоса самого Спирьки, долгоносого Парфена, Силантия и других. Я пробрался прямо в сарай, выбрал уголок с остатками сена и трухи и, завернувшись в плед, заснул крепким сном, каким спится только после долгого шатанья по лесу.

Когда я проснулся, день уже был на исходе. Солнце висело под самым горизонтом, и красноватые лучи заката врывались сквозь щели дырявой крыши пыльными полосами. Свежесть весеннего вечера давала себя чувствовать, но после долгого, крепкого сна не хотелось шевельнуть пальцем, а так лежал бы без конца с откры-

тыми глазами и думал без конца пеструю полосу плывших в голове мыслей. Это чисто-созерцательное настроение испытывается только в полном одиночестве, когда знаешь, что никто тебя не потревожит, и наслаждаешься даже этим сознанием. Лежа на сене, я долго наблюдал игру света и тени на покосившейся стене сарая, по стрехам и прогнившим драницам, точно солнечные лучи делали самую тщательную ревизию недвижимой собственности Спирьки.

— Ладно она их приклеила... — слышался голос Гаврилы Ивановича. — Диво бы еще Кривополов или Дружков, а то и Глеб Клементич туда же... Да и наш-то хорош тоже, нечего сказать. Хотели суды судить с тем, с дьяволом, а заместо того цельный день прохлаждаются, и полицейские там же прилипли.

— А Глеба-то Клементича видел? — сдержанным полушепотом спрашивал другой, незнакомый голос с легкой хрипотой. — Глазки-то так и бегают, как по маслу, а сам все насчет души... прокуратит старичонка, уж это верно. Уж такой он охотник до гладких баб, такой охотник... Очень даже я его знаю: ни одной не пропустит..

— Молитвенный старичок, а грех-то за плечами, — глубокомысленно заметил Гаврила Иванович, аппетитно зевая. — Откедова она взялась-то, эта самая Марфа Ивановна?

Наступила длинная пауза. Слышно было только, как кто-то осторожно зевал в руку и что-то бормотал.

— А я ведь ее, Марфу-то Ивановну, даже весьма хорошо знаю... да-а!.. — протянул незнакомый голос. — Верно говорю... даже случай был со мной, то есть касательно этой самой Марфы Ивановны. Может, я, Гаврила Иваныч, и пью-то с этого самого случая... да-а... вот те Христос! Как даве услыхал, что она в Причине — у меня инда руки и ноги затряслись со страху. Очень испугался даже...

— Да чего тебе бояться-то, чучело гороховое?

— Себя боюсь, Гаврила Иваныч, сердце дрожжит... это тоже понять надо. А сам думаю: «Не пойду я к ней на глаза — и конец тому делу»... Ей-богу!.. Потому как

эта самая Марфа Ивановна хуже мне погибели... Смерть она мне, вот что!

Этот разговор меня заинтересовал. Добравшись до стены, в широкую щель между осевшими бревнами я увидел на дворе Спирьки такую картину: Гаврила Иванович лежал в нашем коробке, закинув ноги на облучок, а на облучке, скорчившись, сидел Метелкин. Он был в своем порыжевшем плисовом пиджаке и в красном шарфе; бледное чахоточное лицо было покрыто розовыми пятнами, и черные большие глаза сегодня казались еще больше. Кажется, Метелкин был сильно с похмелья и с особенным ожесточением курил крючок махорки, постоянно сплевывая на сторону.

— Ведь я у родителя-то Марфы Ивановны еще в мальчиках вырос. Тогда Иван Семеныч гурты гоняли из-под Семипалатинска... Ну, а я был круглым сиротой, вот он и взял меня к себе. При его-то деле с мальчиком способнее, — послать, прибрать, записку написать и всякое прочее. Благодетелем моим был, и пожаловаться на него не могу, разе под пьяную руку неукротим на руку был, потому мужчина из себя целая сажень, рука, как пудовая гиря, ну, кровь-то в нем как заходит, тогда уж никто не попадайся на глаза — разнесет в щепы. Эти гуртовщики как-то все на одну колодку — чистые лешие... Зиму жили мы в городе и с весны в степь уезжали, так я в степи и вырос. Ну, как я вырос, большой стал совсем, Иван Семеныч даже женить меня собирался, а это вина я в те поры в рот ни капли... Хорошо. Только у Ивана-то Семеныча и умри ихняя супруга; ну, он с горя-то и принялся чертить, а на руках дочь маленькая. Он ее любил до смерти и с собой везде возил. Тогда Марфа Ивановна была так годку по девятому, а мне шестнадцать. Я с ней и водился, когда Иван Семеныч чертил... Сильно он закладывал, недели по две не в своем виде бывал, ну, скучно в другой раз в степи-то, одурь возьмет, вот с девчонкой и возишься. Ну, а тут и случай подошел... В отца вся вышла Марфа Ивановна — рослая, полная, как холмогорская телка, а в четырнадцать лет хоть сейчас под венец, кровь с молоком девка, одним словом... Хорошо. И ко мне она привыкла, как к брату... Хорошо. Веселая была... Ну,

однажды ночью Иван Семеныч спит у себя в палатке пьяный, а мы с Марфенькой у огонька сидим да глупости разные болтаем... А надо тебе сказать, что я еще раньше заметил, что стала Марфенька немножко как будто задумываться, даже из себя вся потемнеет. Ну, думаю, нездоровится девке, мало ли что бывает женским делом... Хорошо. А тут вдруг так разыгралась, и глазенки потемнели, а сама, как котенок, так и играет... Ну, болтали мы, болтали, а Марфенька как схватит меня за шею, обняла, да как поцелует прямо в губы, крепко так... Меня как обухом по голове, точно обожгло по сердцу, и свет из глаз выкатился... Сижу это дураком и смотрю на нее, а сам ничего не понимаю... А она смотрит на меня и смеется... «Что вы, Марфа Ивановна, делаете со мной? — говорю я. — Тятенька проснется — беда»... А она мне: «Никого я не боюсь, Вася, потому что люблю тебя... а тятеньки не боюсь».

— Вот так девка... — изумился Гаврила Иваныч. — Четырнадцати лет, говоришь, была? Экая охаверница...

— Нет, ты это напрасно, — вступился Метелкин, бросая окурок. — Эта Марфа Ивановна совсем особенная женщина... Вон какая она из себя-то, дерево-деревом, вся в тятеньку родимого. Кровь в ней, значит, поднялась... А как это она тогда сказала мне: «Вася»... Ну, да что уж тут говорить.

— Обнаковенно... только я думаю так, что не чисто тут дело, не без дьявольского наваждения. Христианской душе прямая погибель через этих самых баб...

— И я то же самое думаю, Гаврила Иваныч, то есть после-то, когда очувствовался, в разум пришел, потому эта сама Марфенька совсем ведь еще дитей была и разных предметов не могла даже понимать. И смелость в ней эта самая — чистый бес, а не девка.

— Чем же это у вас кончилось?

— Да оно, пожалуй, и теперь не кончилось... Видел ведь я сегодня Марфу-то Ивановну... узнала меня... улыбнулась по-своему, а у меня мурашки по спине, захолонуло на душе... и опять: «Вася, такой-сякой... зачем пьешь?..» Ну, разное говорила. Смеется над стариками, которые увязались за ней. И про своего-то орла сказывала... обошел ее, пес, кругом обошел; как со-

бачка, бегает за ним. Понимаешь: себя совсем потеряла.

— Да и парень: чистяк... Ну, так она чего тебе-то говорила?

— Говорила, что уедет в Америку, только это пустое... Уж это верно. Агашков увязался за Марфой Ивановной и не пустит. Крепкий старичок... я его даже очень хорошо знаю. Карахтер тоже у него... Марфа-то Ивановна теперь, конечно, смеется, а только она по своему женскому разуму совсем даже не понимает людей. Думает, что лучше нет ее-то Серапиена Михалыча, а еще бабушка надвое сказала...

— Послушай-ка, Вася, — остановил Гаврила Иваныч, — а ведь ты мне не обсказал еще своего-то случая, чем у вас дело тогда кончилось.

Метелкин долго не отвечал, делая новый крючок.

— Да чем кончилось — обнаковенно... тоже и я живой человек, совсем ума решился. Как ночь, отец пьяный спит, а Марфа Ивановна ко мне... Жаль мне было ее загубить, ну, какие еще ее годы — четырнадцать лет, а она пристает, покою нет. Ну, и слюбились... Думал я, что женюсь на Марфеньке, потому как на отчаянность пошел... Обнаковенно: в ноги родителю, а там что будет. Ежели, думаю про себя, Иван Семеныч меня по шее, так я или Марфеньку выкраду у него, или себя порешу. И сделал бы, все сделал бы... отчаянность тогда во мне одна была, да и Марфенька все подучивала, как и отцу объявиться и всякое прочее. Ну, а вышло совсем не по-нашему... Выбрали мы денек, когда Иван-то Семеныч совсем трезвый был; приоделся я, помолился богу и пошел в палатку, а сердце так и бьется, как птица. Вхожу. Иван Семеныч на счетах прокладывает, посмотрел на меня и спрашивает: «Ну, что, Вася? Чего ты из лица-то ровно выступил, уж здоров ли?» Добрый он был, ежели в своем виде, ну, а тут этой своей добротой точно он придавил меня, как плитой придавил. Уж я и тут почуял, что не ладно дело... Ну, сотворил я про себя молитву, да прямо в ноги Ивану Семенычу и объявил начисто: все, как на ладонке, выложил. Думаю, разнесет он меня, раздавит, как щепку, а Иван-то Семеныч сидит да только вздыхает... «Ну, говорит, Вася, запла-

тил ты мне за мое добро, что я тебя, как родного сына, воспитал... Не к тому, говорит, молвлю, чтобы корить тебя куском хлеба, а к тому, что без всякой совести ко мне пришел. Бога ты забыл, Вася... Я на тебя, говорит, и сердиться даже не могу, потому совсем ты меня раздавил своей превеликой подлостью, а только, говорит, скажу тебе одно: Марфа Ивановна — так и назвал ее Марфой Ивановной — сама свою женскую глупость износит, а только я тебе живую ее не отдам — прокляну. Вот тебе, говорит, мой первый и последний сказ, и даже, говорит, весьма мне за тебя совестно, что ты еще со своей подлостью смел явиться ко мне на глаза». Ну, как он это выговорил, а сам помутнел весь и слезы у него на глазах, так я и утонул... зарезал он меня своей кротостью.

Метелкин перевел дух и покачал головой, точно она была налита свинцом.

— С Марфой-то Ивановной он все-таки по-свойски разделался — и за косу, и всякое прочее, потому как я, говорит, за свою кровь ответ должен богу дать. А Марфа Ивановна свое... Бились мы, бились, а через родительское проклятие не посмели переступить, да и жених подвернулся к Марфе Ивановне. Потом вышла она замуж, только, как слухи пошли, нехорошо жила с ним, то есть он-то ее обижал за ее провинность. А я по приискам пустился, пировал, безобразничал... Видал ее издалька, только подойти боялся. Ну, а теперь вот она с Серапиеном Михалычем ушла от мужа... Все мне рассказала, а сама плачет. «Сняли, говорит, Серапиен Михалыч с меня мою волю...»

— Шш... хозяин идет, — предупредил Гаврила Иваныч и зашипел опять, как сторожевой гусь.

Флегонт Флегонтович возвращался на свою квартиру нетвердыми ногами, что-то бормотал про себя, улыбался и размахивал руками. Пробравшись в избу, он сунулся на лавку и сейчас же заснул. Теперь я отлично припомнил мельчайшие подробности своей встречи с Марфой Ивановной. Это было на большом сибирском тракте, где на станции мне пришлось ждать лошадей чуть не целый день. На эту же станцию привезли и Ивана Семеновича, который был не в своем

виде; его сопровождала Марфенька. В этой девочке, развитой физически не по летам, меня поразило совершенно особенное выражение глаз, которое уже говорило о понимании «разных предметов».

Осенью встречаю Флегонта Флегонтовича в Екатеринбурге.

— Как ваше дельце? — спрашиваю.

— Какое?

— А с Причиной?

— Ах, да... Знаете, тут вышло маленькое недоразумение. Наше местечко и теперь спорным считается, так никому и не досталось... Помните алеута-то? Ведь его тогда Спирька Косой подвел... а Спирьку подкупил Агашков, а Агашков... Марфа-то Ивановна теперь у Агашкова живет. Да-с... И лучше: старичок-то не надышится на нее, ну, бабенка молоденькая, по крайней мере отдохнет, а алеут-то ее чуть-чуть до смерти не изуродовал. И как ловко алеута поддел Глеб-то Клементич... хе-хе!.. Угожденьем донял молодца, в лоск его споил, а потом и Марфу Ивановну перетянул за себя... Славная бабочка. Как-нибудь поедемте к ней чай пить... Не хотите? Ну, как знаете, про себя вам лучше знать!

— А где ваш приказчик Метелкин?

— Метелкин? Бедняга приказал вам долго жить... И черт его знает, что с ним сделалось после этой самой золотой ночи — совсем задурил парень: начал пить, безобразия всем строил... И представьте себе, на чем человек может помешаться: увязался за Марфой Ивановной. Ей-богу... Положим, что он ее знал еще дитей, ну, а все-таки, согласитесь сами, даже смешно: Марфа Ивановна и Метелкин. Конечно, она его жалела по своей доброте и прощала разные глупости, а когда он хворал — даже сама навещала его, но ведь это совсем не то-с. Скоротечная чахотка у Метелкина открылась и в две недели его скрутила.

— А где теперь алеут?

— А кто его знает: исчез и только. Много у нас таких-то.

Результаты «золотой ночи» окончательно выяснились только осенью, когда были утверждены произведенные заявки. Собственно, по реке Причинке самые лучшие куски остались спорными, а остальное было разобрано Агашковым, Кривополовым, Куном и прочей прожорливой и добычливой братией... Флегонт Флегонтович остался на бобах и теперь мечтает о каком-то заветном местечке на реке Чусовой, которое ему обещал предоставить самый наивернейший человечек.

НА ШИХАНЕ

Из записной книжки охотника

I

— Там кто-то есть... — проговорил Савка, нюхая воздух, как собака. — На шихане[1] артель.

Он остановился в задумчивой позе, поставил свою винтовку на камень и пристально посмотрел назад, в дымившуюся под нашими ногами голубую даль. Пестрая собачонка Кукша давно уже почуяла присутствие людей и в ответ на слова хозяина только помахала своим пушистым хвостом и даже облизнулась — умное животное чувствовало близость других собак.

— Карла с объездчиками... шестером, на вершных, — продолжал Савка, осматривая каменистую извилистую тропу, круто забиравшуюся кверху между двумя россыпями. — Чуешь, барин?

— Нет, ничего не чую... — должен был я сознаться

— А я давно чую, и Кукша тоже... — проговорил Савка с задумчивой улыбкой, которая так шла к его изрытому оспой некрасивому лицу.

Небольшого роста, худенький, сутуловатый Савка казался таким жалким мужичком в своем широком

---

[1] Шиханами на Урале называют каменные утесы на вершинах гор. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

армяке, подпоясанном каким-то оборванным ремешком. Разношенная бобровая шапка, надвинутая на самые уши, делала лицо Савки еще меньше. Ободранные сапоги на ногах и мешок из синей пестрядины за плечами дополняли охотничий костюм. Дробь и порох Савка носил в двух деревянных ладунках, которые прятал в пазухе, всегда отдувавшейся у него самым неудобным образом; «свистоны», хранившиеся в пузырьке из-под какого-то лекарства, он прятал в шапку, вместе с табачным кисетом и пыжами. Курил Савка преуморительно: свернет из газетной бумаги крючок, набьет крупкой, зажжет и, затянувшись раза два, погасит крючок прямо о ладонь своей заскорузлой руки и окурок спрячет в шапку. Спичек изводил он несметное количество, но никогда не решался выкурить весь крючок зараз.

— Далеко еще до шихана? — спросил я, когда Савка полез в свою шапку за окурком.

— Да версты две, поди, будет... Засветло еще придем.

Я, собственно, был очень доволен этой остановкой, потому что едва передвигал ноги: мы бродили целый день по лесу, а тут еще крутой подъем на гору почти в пять верст. Три версты этого подъема оставались назади, оставалось сделать еще две. Пожалуй, хорошо было бы устроить охотничий привал и на том месте, где мы сейчас стояли, но Савка был неумолим в таких случаях — не сделать ночевку в заранее намеченном балагане, урочище или просто где-нибудь под камнем для него было чем-то вроде святотатства. Впрочем, это уж такая «зараза» всех записных охотников, и Савке не раз случалось, особенно на зимней охоте за оленями или дикими козлами, являться в балаган полуживым. Через четверть часа мы продолжали свой подъем в гору, карабкаясь по громадным камням россыпи. Но сначала нужно сказать, что такое «россыпь». Если смотреть на гору издали, часто кажется, что целый бок горы усыпан мелким щебнем, каким мостят шоссе; иногда из такого щебня образуются правильные полосы, которые спускаются вниз каменными потоками. Это и есть россыпи. Когда вы начинаете взбираться на гору и встречаете россыпь, то вместо щебня оказываются

громадные камни, иногда объемом в несколько кубических сажен. Приходится прыгать с камня на камень, карабкаться и даже ползти, чтобы подняться по такой россыпи. Когда вы, наконец, подниметесь на самый верх, перед вами открывается великолепная картина: россыпь сползает вниз сплошной серой массой валунов, точно высыпанных здесь из гигантского мешка каким-нибудь исполином. Края россыпи обыкновенно затянуты кустами жимолости, черемухой, малиной и иван-чаем; кой-где поднимаются сибирские кедрики и горные ели и пихты. Особенно красивы последние: они так и рвутся в небо своими готическими прорезными вершинами, а внизу расстилают по камням целый ковер из бархатной зеленой хвои. Между этим ковром и стрелкой ели остается голый темный ствол. Я несколько раз спрашивал Савку о причине такого расположения ветвей.

— Это от олешков... — флегматически объяснял Савка. — Когда у олешка вырастут молодые рога, ведь они у него кожей обтянуты и в шерсти — вот олешек и обтирает эту кожу по россыпям о пихты, потому зудят у него рога-то в те поры.

Мне такое объяснение Савки казалось недостаточным, потому что такие же пихты должны были бы встречаться и в обыкновенном лесу, где водятся олешки, но этого не бывает.

— Говорю: олешки... Чего еще тебе? — сердился Савка.

Подъем по россыпям значительно облегчается тем, что все камни, точно нарочно, выложены разноцветными мхами и необыкновенно красивыми лишаями. Нога ступает иногда как по мягкому ковру; в засуху лишаи хрустят и осыпаются под ногой, но после дождя камни кажутся обтянутыми змеиной кожей, такой же пестрой, влажной, холодной и скользкой. Мхи бывают большею частью великолепных серых цветов или зеленоватые с черными пятнами, красными крапинками и целыми узорами, точно вычерченными какой-то очень искусной рукой. Эта чисто северная растительность гнездится по камням и медленно разлагает их поверхность в мелкий песок, который смывается дождем и сносится вниз снегами. Можно представить себе ту микроскопи-

чески гигантскую работу, при помощи которой получается каждая горсть песку где-нибудь на дне горной речки. Растения здесь помогают атмосферическим деятелям и разъедают камни своими корешками. Мелкая зеленая травка осыпает образовавшийся из старых лишайников слой чернозема точно медной ярью или изумрудной оправой; иногда из расщелины скалы весело глянет на вас розовым или синим глазком северный цветник, занесенный сюда бог знает откуда, иногда широко топорщатся широкие листья или расползутся по откосам и ссадинам разные каменки и горькая горная полынь.

Наша тропинка вилась между двумя такими россыпями, потом перекосила одну из них и увела в густую еловую заросль, которая зеленой щеткой покрывала широкую впадину почти на самом верху горы. Нас сразу охватило смолистым ароматным воздухом, который накопился здесь за день. И я теперь уже слышал легкий запах гари, тянувший со стороны недалекого шихана.

— Теперь по самому по лбу идем... — объяснил Савка, развалисто ступая своими кривыми ногами. — Широченный у ей лоб-от!..

Гора, на которую мы взбирались, называлась Лобастой, потому что имела форму волчьей головы; мы поднялись по самому крутому подъему, который вел к шихану. На Лобастой было два шихана, которые издали казались ушами каменной головы.

С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире и небо делалось глубже. Гора Лобастая составляла центр небольшого горного узла; от нее в разные стороны уходили синими валами другие горы, между ними темнели глубокие лога и горбились небольшие увалы, точно тяжелые складки какой-то необыкновенной толстой кожи. Хвойный лес выстилал синевшую даль, сливаясь с горизонтом в мутную белесоватую полосу. Где-то далеко желтел своими песчаными отвалами небольшой прииск, дальше смутно обрисовывалась глухая лесная деревушка, прятавшаяся у подножия довольно высокой горы с двумя вершинами. В нескольких местах винтом поднимался синий дымок, тихо таявший в воздухе и расплывавшийся голубым

пятном. Несколько бойких горных речек сбегались в одну, которая смело пробивалась между загораживавших ей дорогу прикрутостей и увалов; в одном месте она пробила скалистый берег, который вставал отвесной каменной стеной, точно полуразрушившийся за̀мок.

Над этой картиной плыло несколько белоснежных облачков, прохваченных по краям розовым золотом, густевшим и точно спекавшимся в кровавый сгусток на самом западе, где багровым шаром спускалось над горами закатившееся солнце. Горизонт горел кровавым пожаром; это море огня дрожало и переливалось золотыми блестками, точно там, сейчас за зубчатой линией горизонта, колыхалась сплошная волна расплавленного золота. А здесь, на земле, уже чувствовалась наливавшаяся ночная свежесть, потянуло ароматом лесных пахучих трав — земля «дала пар», как объяснял Савка. Над лесной опушкой толклись высоким столбом комары, где-то впросонье пиликала какая-то лесная «пичужка», неожиданно вырывалась изломанной линией летучая мышь и быстро исчезала в накоплявшейся мгле. Внизу, по логам и расселинам, заползал волокнистый туман, кутавший белой пеленой говорливые речки и ключики, речную осоку, все низины и болотины.

— Вёдро будет... ишь как туман-то заходил, — проговорил Савка, перекидывая свою винтовку с одного плеча на другое. — Кукша, цыц, треклятая!

Вдали, точно под землей, вопросительно гукнул сторожевой собачий лай, и Кукша ответила подавленным ворчаньем.

II

На шихане, вернее — под шиханом, действительно сделала привал охотничья артель, с «Карлой» во главе, как угадал Савка. Нам навстречу вылетели два сеттера-гордона, черные, с желтыми подпалинами, и сейчас же напали на Кукшу, которая присела задом к земле и по-волчьи защелкала зубами.

— Ну вы, дуроломы, отойдите! — кричал Савка на лаявших господских собак. — В хозяина шерстью-то вышли...

Шихан на Лобастой представлял собой острый каменный гребень сажен в двенадцать высотой, сейчас под ним образовалась в мелкой пихтовой заросли небольшая лужайка. Место было порядочно дикое, но его скрашивали два охотничьих балагана, поставленных один против другого под самым шиханом. Таких балаганов по горам разбросано без числа: в них скрываются от дождя и непогоды охотники, лесообъездчики и просто бродяги. В осеннюю дождливую пору, а особенно зимой, такому балагану цены нет, и не один охотник спасся здесь от верной смерти, поэтому балаганы оберегаются как общественное достояние.

Теперь на лужайке под шиханом горел яркий костер; около него собралась пестрая кучка охотников. В центре, около самого огня, на бухарском ковре лежал в охотничьей венгерке сам «Карла», а около него лежали и сидели на траве человек пять лесообъездчиков. Над самым огнем висел походный котелок с варевом и медный чайник.

— Мир на привале... — здоровался Савка, входя в полосу света, падавшего от огня.

— Мир доро́гой, — отозвался один из объездчиков. — Да это ты, Савка?

— Выходит, что я, Иван Васильич... Можно нам заночевать?

— На-вот, всем места хватит.

— А я вот барина по лесу водил, пристали... Кукша, цыц, стерва!..

— Пожалуйт, пожалуйт, каспада... — заговорил сам Карла, приподнимаясь с ковра. — Веста, тубо... назать!.. А, это ти, Сафк...

— Я, Карла Иваныч... Вот к огоньку вашему прибрели с барином.

— Ошэнь рат... садитесь на месту... Кого убиль?

— Да так, пустяки, Карла Иваныч, — скромничал Савка, снимая с плеч свой пестрядевый мешок. — Двух поляшей залобовали да польнюшку [1].

---

[1] Поляш, или косач — тетерев-березовик, польнюшка — тетерька. Залобовать — убить. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Карош.

Мы познакомились. Карла Иваныча я знал по слухам. Он был управителем в Кособродском заводе и между рабочими слыл под именем «Слава-богу», потому что называл Ивана Богослова — Иван Слава-богу. Это был чистокровный баварский немец — вспыльчивый, горячий и по-своему добрый; он жил «на России» чуть не двадцать лет и говорил самым невозможным ломаным языком, но зато ругался по-русски мастерски. Рабочие любили его, потому что Слава-богу хоть и был крут, но зато был и отходчив сердцем; обругает, прогонит, а потом отойдет и все забудет. Бывало так, что он даже извинялся пред простыми рабочими. «А шерт минэ взял... мой не прав... твой извиняйт», — говорил он в таких случаях, и рабочие по-своему понимали этот тарабарский язык. Наружность Карлы как нельзя больше соответствовала его внутреннему содержимому: среднего роста, коренастый, с взъерошенными волосами, с белыми немецкими глазами навыкате, он точно был налит кровью. У Карлы не только было красное лицо, но и вся шея, даже руки. Козлиная бородка и усы, завинченные штопором, придавали ему вид «человека» из номеров для гг. приезжающих или егеря средней руки. У нас на Урале он сходил за заводского управляющего, и даже за очень хорошего управляющего, хотя в специально-заводском деле ничего не смыслил. Уральские заводские управляющие — народ с бору да с сосенки, военные писаря, гардемарины, какие-то забвенные шведы, кантонисты и т. д., так что в этой разношерстной среде Слава-богу являлся настоящей находкой и пользовался громкой репутацией настоящего дельца. Кровяные бифштексы, английский портер, рижские сигары и вера в то, что нет на свете людей лучше немцев, делали из Карлы то, чем он был.

— А ви сюда... ковер... — обязательно предлагал мне Слава-богу место около себя и сейчас же налил водки в походный серебряный стаканчик. — Зарядиться... мест опасный.

Пять человек лесообъездчиков смотрели в глаза своему повелителю, как дрессированные лошади, и старались предупредить малейший его жест. Народ был

все рослый, здоровый и крайне плутоватый, потому что около господ нельзя не избаловаться. Лучше других был Иван Васильич, старый объездчик, степенный и благообразный старик, с широкой грудью и седыми подстриженными усами; он был из отставных унтер-офицеров и в тонкости знал всякую субординацию и военную вытяжку. Охотничья закуска была нам приготовлена в лучшем виде, потому что первой обязанностью хорошего лесообъездчика считается поварское искусство. Мы съели отличный суп, пару рябчиков и какую-то кашу, а потом на сцену появились сардинки, копченый язык и даже страсбургский пирог в герметически закупоренной жестянке. Карла ел за четверых, запивал все водкой и портером и болтал без умолку на своем попугайском языке. Собаки почтительно дожидались подачки, облизывались и с опущенными ушами униженно вертели хвостами.

— Хорош собак? — спрашивал Слава-богу, облизывая свои пальцы. — Веста, куш... отличный сука!

Подкрепив свои силы всевозможными составами, немец растянулся у огня и сейчас же захрапел. Мой Савка развел огонек у другого балагана и варил убитую польнюшку в горшочке, который раздобыл откуда-то из балагана. Кукша, положив свою острую морду с торчавшими пнем ушами меж передних лап, следила за каждым движением хозяина и вызывающе взмахивала пушистым белым хвостом.

— Эк этот Карла трескает... страсть! — задумчиво говорил Савка, помешивая одной рукой в своем горшочке, а другой заслоняя лицо от летевших искр. — Чисто как в бочку водку льет. Этакая прорва... И каждый день так-то натрескается, а потом и дрыхнет, как стоялый жеребец. Иван Васильич, хошь моей похлебки?..

Иван Васильич молча подсел на корточки к огоньку и раскурил деревянную трубочку, которую по солдатской привычке носил за голенищем.

— Хороша у вас сучка-то... — проговорил Савка, отставляя горшок от огня.

— Ничего... — протянул Иван Васильич, насасывая свою трубочку. — На дупелей стойку держит, на копалят [1] тоже...

— Ну, это пустое... а так, баская собачка. Вы куда?

— Под Мохнатенькую... Карле пуще всего болото: хлебом не корми, а под Мохнатенькой болотина верст на пять.

— Знаю... Куликов стрелять? Известно, господская охотка... все в лет надо.

Савка презрительно улыбнулся, потому что куликов и всякую болотную дичь считал поганой. Сам он стрелял только в сидячую птицу, да и то из винтовки, потому что его винтовка пороху принимала самую малость, а это большой расчет для настоящего охотника.

А летняя горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким сумраком, который сгустился по логам и в лесу в черную мглу. Горы приняли фантастические очертания, точно они выросли и поднялись выше; лес превратился в сплошные темные массы, неподвижно обложившие все кругом. Сильно пахло свежей травой и смолевым деревом. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Летние ночи, по-моему, особенно хороши именно этой росой и густыми туманами, чего не бывает весной, когда стоишь на тяге — от сухой травы пахнет чем-то мертвым, а тут точно все дышит около вас. Я долго любовался изменявшейся картиной северного неба, которое сейчас после солнечного заката сильно потемнело и только мало-помалу «отошло» и приняло великолепный голубой цвет. Полярная звезда, Большая Медведица горели лихорадочным светом; Млечный Путь теплился матовым фосфорическим блеском. В одном месте чиркнула по небу падавшая звезда, точно кто в темной комнате зажигал спичку о стену. Падавшие звезды производили на Савку какой-то суеверный ужас, и он долго шептал какую-то молитву.

— Это андел божий пал на земь, — объяснял он. — По душу господь его послал, по праведную.

---

[1] Глухаря-самку на Урале называют в некоторых местах копалухой, а глухарят — копалятами. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Лежа в балагане, на широких полатях, я долго не мог заснуть, хотя устал страшно. В открытые двери балагана мне видна была вся площадка, освещенная двумя кострами. Недалеко бродили по траве спутанные лошади, тяжело падая на передние ноги при каждом прыжке. Где-то ухнул филин и замолк; ночная птица шарахнулась над самым огнем и заставила Савку обругаться. «О, будь ты проклята, некошная! — ругался он за свой испуг. — Эк ее взяло, проклятущую...» Иван Васильич, похлебав из горшочка охотничьего варева, облизал ложку, вытер усы и, сняв кожаную фуражку, помолился на восток.

— Ну, что у вас на Кособродском? — спрашивал Савка, раскуривая бумажный крючок.

— Да чего тебе нового-то... Дровосушки закрыли. Наладили новую печь, Сименсом зовут, труба высоченная, ну, так эта печь сырые дрова-то жрет. Слышь, щепам да корьем можно топить... Девкам теперь на дровосушных печах никакой работы не стало, а только которы еще поденщиной перебиваются.

— А будь они от меня трижды прокляты, эти дровосушные печи! — азартно проговорил Савка, бросая окурок в траву.

— Не забыл разе еще Анки-то? Ах ты, пес тебя возьми... ишь ведь... а?.. Экой у тебя характер, Савка... чистый ты дьявол, ежели разобрать... а?

— Хуже дьявола, потому как...

Савка не докончил речи и начал крутить новый крючок.

III

Мне пришлось познакомиться с Савкой в лесу, на охоте около глухой деревушки Студеной. Дело было осенью, под вечер, когда нужно было позаботиться о ночлеге.

— Пойдем, барин, ко мне, заночуем... — предложил Савка. — Я в Студеной живу...

Вероятно, многим случалось пользоваться такими любезными приглашениями, а затем на поверку оказывалось, что у гостеприимного хозяина изба полна ребят

и жена хуже черта. Вид Савки говорил не в его пользу, и я колебался принять его предложение.

— Да ты чего, барин, сумлеваешься? — заговорил Савка, угадывая мою мысль. — Я в своем дому хозяин, не сумлевайся... Верно тебе говорю!.. У меня избушка теплая, самовар оборудуем...

Мы отправились. Деревушка Студеная была недалеко от золотых промыслов, и нам приходилось тащиться в кромешной тьме верст пять, рискуя каждую минуту свалиться куда-нибудь в шахту. Я вполне положился на охотничью опытность Савки и брел за ним ощупью. Наконец, показалась и Студеная. Избушка Савки стояла на самом краю и была без ворот и двора; ход в нее шел прямо с улицы. В избе огня не было; нас встретила высокая здоровенная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Савки, а потом принялась ругаться.

— И чего ты, шатун, ведешь незнакомого барина, на ночь глядя? — ругалась достойная половина Савки. — В избе и места-то нет совсем...

В избе Савки действительно места совсем не оказалось: на полу, на лавках, на полатях — везде валялись ребята. У Савки было восемь человек детей, и самый меньшой качался еще в зыбке. Мне ничего не оставалось, как только ругать про себя и дурака Савку и свою глупую доверчивость.

— Нам бы, Анка, насчет самоварчика? — попробовал робко заявить Савка пред своей разгневанной половиной.

— Самоварчик?!. да где я тебе его возьму? — с азартом закричала Анка, наступая на мужа со сжатыми кулаками. — Заведи сперва самоварчик-то, а потом и спрашивай, а то у меня и чугунки-то нет...

— Да ты что больно зудишь? — заговорил Савка с очевидным намерением показать себя настоящим хозяином в своем дому. — Я тебя расчешу, постой... я тебе...

Вместо ответа Анка схватила ухват и со всего плеча принялась ломить «хозяина своего дома» по чему попадя. Ребятишки проснулись и заревели. Я ожидал жестокой схватки, но Савка, под градом сыпавшихся на

него ударов, улизнул на печку и уже оттуда кричал на жену: «Погоди, Анка, вот я тебя расчешу... будет тебе зудить-то!»

— Ох, погубитель... ох, разбойник, нет на тебя пропасти-то, на окаянного!.. — неистово голосила Анка, стараясь ударить Савку по самому чувствительному месту, по голове, в живот или по хребту. — Гли-ко, ребятишек-то наплодил полную избу, а сам все на проклятом винище протрескивает... Все ведь видят мою-то муку мученическую!..

Савка ругался, кричал, но даже не пытался сопротивляться, а только защищал себя руками и ногами, как перевернутый на спину таракан. Дело кончилось тем, что, утомившись колотить мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как по покойнике, причем для первого знакомства рассказала всю подноготную про мужа: как он в третьем годе последнюю телушку свел в кабак, как потом, когда она рожала последнего ребенка, Савка отбил замок у ее сундука и пропил всю одежу до нитки, как... и т. д.

Я провел под гостеприимной кровлей Савки прескверную ночь и утром на другой день был крайне удивлен картиной полнейшего примирения супругов. Дело объяснилось каким-то недоумением в расчетах: Анка заподозрила мужа в сокрытии нескольких пятаков, чего не оказалось в действительности.

— Она, Анка-то, славная у меня... — докладывал Савка. — И меня любит, а только на руку больно скора, когда расстервенится. Конешно, есть тут и мое зверство...

Анка при дневном свете была еще некрасивее, чем при искусственном освещении. Это была здоровенная, высокая баба с необыкновенно широкой спиной и некрасивым желтым лицом; она точно вся была сделана из дерева, притом сделана столяром-самоучкой, который больше всего заботился о крепости своего произведения. В своей избушке Анка являлась настоящей рабочей машиной, не знавшей устали; единственным недостатком этой машины была только ее неистощимая производительность. За двадцать лет супружества Анка при-

несла восемнадцать ребят, из которых десять похоронила.

— А пропасти на вас нет... хошь бы передохли все до единого! — кричала Анка на ораву ребятишек с утра до ночи. — Который помер — и слава богу, не мается сам и меня не тянет... А отцу что, хоть околей мы тут, ему бы только вино. Ох, уж и жисть же только; как колесом по тебе ездят...

Несмотря на свою видимую суровость, необыкновенную скорость на руку и способность голосить, Анка была самой примерной женой и по-своему очень любила мужа и детей. Каждый новый детский гробок она оплакивала по месяцам, пока новый ребенок не отнимал у нее последние свободные от работы минуты. Савку за глаза Анка никогда не ругала и никому не жаловалась на свое положение, как делают другие бабы, даже напротив, она яростно защищала его пред общественным мнением Студеной и готова была перегрызть горло каждой бабенке, которая скажет что-нибудь нехорошее про Савку. «Он, Савка-то, ведь совсем особенный, не как другие...» — объяснила мне однажды Анка про мужа, и этим одним словом было сказано все.

Вот история Савки в коротких словах.

Жил в Кособродском заводе один мужик, по прозванию Крохаль. Это был настоящий богатырь — высокий, плечистый, широкий в кости, с железной рукой; он в свободное от заводской работы время промышлял зверованьем и на своем веку залобовал за сорок медведей. Как все слишком развитые физически люди, старый Крохаль не получил соответствующего развития умственных способностей и даже был «слабоват головой»; избыток материи перевешивал в нем более тонкие психические отправления. Между прочим, этот медведь в человеческом образе испытывал какой-то панический ужас, когда ему приходилось идти в заводскую контору или к приказчику; Крохаль всегда говорил, что ему лучше идти один на один на медведя, чем к начальству. Извиняющим обстоятельством для старого Крохаля было только то жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими обращались, как с преступниками, даже хуже. По необъяснимой игре

природы, у богатыря Крохаля был сын, лядащий мужичонко Савка Крохаленок, и, по еще более необъяснимой игре природы, в этом лядащем Крохаленке от младых ногтей проявились именно те самые душевные свойства, каких недоставало отцу. Начать с того, что Савка Крохаленок не боялся решительно никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я» от всяких поползновений на его неприкосновенность. Сначала мальчишки, потом подростки и мужики — все узнали в Савке особенного человека, которого не тронь. Одним словом, Крохаленок оказался отчаянной башкой, которому везде было по колено море и все — трын-трава. Старики дивились в Савке его необыкновенному уму: он все понимал по-своему и все умел представить в самом смешном виде с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги. Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как говорят все талантливые выродки и отщепенцы: мысль выражалась полусловами, намеками, загадками, точно это была бурлившая горная речка, которая прокладывала себе извилистое течение через тысячи препятствий.

— Уж Савка скажет — как завяжет! — дивилось мужичье. — Мудреный, пес...

— Не больно завидно мудренее вас-то быть, — огрызается Савка. — Все вы, как бараны, друг за дружкой ходите... Всякий своего ума боится.

— А ты поживи за нас своим-то умом, Савка.

— И поживу.

Особенному человеку Савке скоро вышла и особенная судьба. Он работал на заводской фабрике, в кричной; на фабрике же при дровосушных печах работала и Анка. Что понравилось Савке в ней — трудно сказать, но только он крепко привязался к Анке и везде ходил за ней, как хороший гусь. Вероятно, эта связь прикрылась бы венцом и был бы тому делу конец, но, на беду Савки, не так вышло. Приказчик в Кособродском на ту пору случился Чернобровин, из крепостных служащих; это был благочестивый тихонький старичок, большой охотник до ядреных и рослых баб. Чернобровин увязался за Анкой и при помощи своих клевретов получил желаемое, то есть в одну прекрасную ночь

Анка очутилась в господском доме, прямо в когтях благочестивого старца. Вся фабрика замерла в ожидании, что выкинет Савка Крохаленок по такому исключительному случаю. И Савка действительно выкинул: Чернобровина нашли задушенным в своей квартире, причем преступление было совершено среди белого дня с отчаянной смелостью. Наехал суд, и первым делом, конечно, схвачен был Савка. Несмотря на всевозможные подходцы и придирки, прямых улик против Савки суд не мог найти и до окончания дела препроводил Савку в острог. С этого момента в жизни Савки начинается ряд подвигов, прославивших его имя на несколько уездов: он шесть раз уходил из острога, наводил грозу на целые селения и снова попадался в острог благодаря своей слабости к родному гнезду и к своей Анке. Он не мог прожить больше году, чтобы не объявиться в Кособродском, и притом являлся всегда смело, с отчаянной энергией и замечательным хладнокровием.

— Уж знаю, что взловят меня, а иду домой, — рассказывал Савка. — Как в петлю иду и никого не боюсь. Чего мне было бояться, когда люди меня боялись хуже огня?.. Даже смешно в другой раз бывало над ихней глупостью!.. Приду в Кособродский ночью, прямо в кабак: отворяй!.. Целовальник трясется, как осиновый лист, только его не тронь, и прямо меня за стойку, как дорогого гостя — еще мне же кланяется... А там уж донесут в контору, потому караулят меня, ну, сейчас ударят на пожар, народ и повалит Савку ловить к кабаку. А на меня самое это зверство нападет: сижу в кабаке и не могу с места встать — так бы я всех этих дураков в крошки расшиб, потому боятся одного человека. И уходил, из глаз у всех уходил, разве когда сонного возьмут.

— Как же ты уходил?

— Да так... больше по своей смелости, потому человек, ежели расстервенится, хуже он в те поры всякого зверя. Ну, кому свою-то голову охота было подставлять, да и крепостные тогда были, не по своей воле ловили меня, а тут еще свои дружки-приятели помогали. Где тут в свалке ночью-то разберешь — один крик да гам, как на пожаре, а я, глядишь, и вывернулся... Ну,

а как воля пришла, этих самых приказчиков прежних не стало, лютовать-то не перед кем, ну, я сам пришел в острог-то и объявился. Таскали-таскали меня по острогам, а потом в подозрении оставили и выпустили, потому как большая неправда прежде по заводам была и утеснение народу. Много нас этаких-то в бегах состояло, по горам бродили, как олени... Нынче тихо все, потому уж не те времена.

— Ну, а Анка что?

— Анка?.. Конечно, вышел тогда с ней грех, только это грех подневольный, а тем море не испоганилось, что пес налакал...

Нужно заметить, что крепостное время с его варварскими порядками создало на уральских горных заводах два характерных явления, служивших как бы сторонами одной и той же медали: это заводские разбойники и заводские дураки. Около таких разбойников, на стороне которых были все симпатии населения, сложились целые легенды, но достаточно указать на тот факт, что прошло всего каких-нибудь двадцать пять лет воли, как те и другие совершенно исчезли вместе с создавшими их причинами. Так, Савка до воли состоял в бегах и наводил панику, как завзятый разбойник, а когда настала воля — он просто перешел в разряд тех «особенных» людей, каких выдвигает из себя крестьянский мир в виде исключений.

И занятие себе Савка выбрал «особенное», ни от кого не зависящее — охоту. Заметим здесь в скобках, что для мужика, собственно, охоты, как удовольствия, в барском смысле этого слова, не существует, и даже самые слова «охота» или «охотник» считаются обидными, потому что господа стреляют всякую погань — куликов, воробьев и т. д.; мужик зверует, то есть, как старый Крохаль, бьет только зверя, или лесует, то есть, как Савка, бьет птицу и зверя. От старинных времен сохранился еще термин: ясачить, который часто употребляется на Урале, но не в своем собственном смысле, то есть не в смысле добывания ясака. Савка отлично знал места на сто верст кругом и мог жить безбедно, промышляя лесованием, но его губила водка — он ча-

сто не доносил вырученных за дичь денег, за что и получал законную трепку от Анки.

— Уж супротив Савки не сделать, — говорили про него другие мужики, — его и птица всякая знает и зверь, потому как он слова такие знает... Ведь он того, не к ночи будь сказано: с нечистой силой знается.

В сущности Савка, как большинство настоящих охотников, был поэт в душе и крайне наблюдательный человек, которому до тонкости были известны все привычки, особенности и образ жизни каждой дичи. Он являлся настоящим хозяином в лесу.

— Зачем же ты пьешь так, что зоришь сам себя? — несколько раз спрашивал я Савку. — Ведь ты мог бы жить не хуже других?

— От зверства своего и пью... — коротко объяснял Савка. — Ведь ты у меня не был на душе-то у пьяного? То-то вот и есть, а я, может, жисти своей не рад... Как пойдут в башке круги да столбы, начнется тоска... Ох, да что тут говорить, барин!.. А то раздумаешься-раздумаешься...

Таков был особенный человек Савка, составлявший вполне органическое целое с своей Анкой.

IV

На шихане утром мы поднялись очень рано, потому что Савка обещал Слава-богу показать какое-то дупелиное болото сейчас под Лобастой горой.

В горах даже самые лучшие июльские утра очень холодны и нагоняют неприятную дрожь. Солнце подымается в туманной мгле горизонта багровым шаром без лучей, точно оно отделено от вас громадным матовым стеклом; утренний свет льется откуда-то сверху дрожащей волной, которая дробится мириадами искр в ночной росе, еще покрывающей траву и деревья. В логах колышется густыми массами туман: где-то из-за горы он всплыл кверху небольшим белым облачком. Зелень свежа и режет глаз своим блеском, как только что ограненный драгоценный камень. Все кругом дышит наливающейся силой летнего дня, и вы чувствуете эту силу,

как и то, что вы ничтожная пылинка в этом грандиозном концерте природы. Вздрагиваешь, надевая покоробившиеся за ночь охотничьи сапоги, вздрагиваешь, когда солнце ударит в глаза ослепляющим светом, вздрагиваешь от первого слабо дохнувшего ветерка, поднявшего накопившийся за ночь в лесу тяжелый аромат, а там стоит густая трава по пояс, которая промочит вас до нитки на нескольких саженях пути.

— Важное утречко издалось... — говорит Савка, залезая плечами в свой пестрядинный мешок. — Пусть ужо Карла погоняет куликов в болоте, ноги-то у него долгие.

Слава-богу совсем одет и уже красен, как зажаренный с кровью барашек. Обе собаки с нетерпением следят, как он надевает на себя патронницу и заряжает свою бельгийскую двустволку центрального боя; Веста слабо взвизгивает от радости и взмахивает хвостом, готовая сейчас ринуться в мокрую траву, опустив нос к земле.

— Пошла, Сафк? — спрашивает Слава-богу, опрокидывая серебряный охотничий стаканчик.

— А я, Карла Иваныч, этих самых куликов одинова набил целый десяток шапкой, — рассказывает Савка, трогаясь в путь своей развалистой походкой.

— Врать... — скептически замечает Иван Васильич, потягиваясь в седле и зевая.

— Ей-богу, сейчас помереть... Утренничек был этак в успленьев пост, ну, им росой-то крылушки и заморозило. Я иду около болота, а они передо мной порх-порх... Взлететь-то и не могут. Ну, я снял шапку, да шапкой их и ловил.

Мы идем с Савкой впереди. За нами в линию вытянулись лесообъездчики; лошади фыркают и громко лязгают подковами по камням. Слава-богу молча сосет сигару, продолжая дремать в седле; объездчики тоже дремлют и потихоньку зевают. Шихан и пихтовая заросль остались назади, а перед нами крутой спуск с горы между россыпями. Вид на горы отсюда утром необыкновенно хорош. Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметно, как он дрожит и переливается в ярком утреннем свете солнца. Синевато-серая даль

точно поднесена. Можно рассмотреть даже Кособродский завод, до которого от Лобастой верных тридцать верст; ближе спряталась в лесу Студеная, около нее серыми пятнами выделяются золотые прииски. Лес в логах принимает какой-то фиолетовый оттенок, и только курени и поруби остаются светлозелеными, точно громадные заплаты. Глаз отдыхает на этой картине широкого простора, дышится так вольно, и является скромное желание подняться куда-то выше, в синеву неба, где черными точками плавают ястреба.

Между россыпями трава по пояс; белые шапки душистого белого шалфея, иван-чай и малина лепятся около самых камней, точно живая бахрома. В одном месте из-под куста жимолости вынырнул зайчонок и пустился наутек в траву; Веста вздрогнула, согнулась и, как пущенная из лука стрела, пустилась вдогонку за беглецом. Слава-богу спрыгнул с лошади и пустился бегом за собакой, выкрикивая хриплым голосом: «Веста, Веста... канайль!.. швейн!» Быстрая на бегу Веста совсем начала настигать зайчонка, но хитрая зверушка, спасая свой заячий животишко, сделала крутой поворот назад и стремглав полетела прямо на нас. Разбежавшейся собаке нужно было выгнуть большой круг, чтобы вернуться назад.

— Ох, барин!.. — вдруг крикнул Савка каким-то не своим голосом, пустившись бежать к Карле. — Ой, барин... стой!..

Но было уже поздно, Слава-богу успел выстрелить, и бедная Веста с диким воем упала на траву. Дальше произошло что-то необыкновенное: Савка подбежал к Слава-богу и как-то по-волчьи схватил его прямо за горло. Прежде чем объездчики успели опомниться, Савка уже катался по траве с Карлой одним живым комом. Когда мы подбежали на выручку, Слава-богу уже сидел на Савке и колотил его прямо по лицу своими красными кулаками.

— Бей, бей... — хрипел Савка, закрывая глаза. — Лучше меня бей.

— А... канайль... швейн!.. — ревел Карла, продолжая обрабатывать побежденного неприятеля. — Ты меня хотел убивайт... душил за горлом...

— И задушу... вот постой, немчура... я те покажу...

Мы кое-как растащили сцепившихся врагов, и странно было то, что Савка не отпускал немца, а не наоборот.

— Отцепись ты, дьявол! — кричал Иван Васильич, напрасно стараясь разжать судорожно скорченные руки Савки. — Точно клещ впился... Дьявол, тебе говорят: пущай...

— Бей меня, а то пса губить... живодеры, мошенники! — ревел Савка, продолжая барахтаться.

Пятеро здоровенных мужиков едва могли оторвать Савку. Слава-богу смотрел кругом ошалелыми глазами, не понимая, что такое случилось. Веста неистово визжала, ползая по траве.

— А шерт минэ взял... а шерт тебэ взял... Зачево минэ душиль?.. — спрашивал Слава-богу, повертываясь. — Стрелял мой собак... твой минэ душиль...

— У! нехристь...— шипел Савка, стараясь вырваться из рук объездчиков.

Этот неожиданный эпизод совсем расстроил нашу охоту. Слава-богу уехал с лесообъездчиками, а я остался с Савкой на россыпи. Этот странный человек долго молча лежал на траве и только вздрагивал своим тщедушным телом. Я принес ему воды в берестяном чумане и лег на траву; в десяти шагах от нас валялась убитая Веста, над которой уже начали кружиться какие-то зеленые мухи. Где-то в воздухе слышался ребячий крик коршуна и щекотанье польнюшки-матки, сторожившей на ягоднике свой выводок. Тихо-тихо набегал утренний ветерок, колыхал высокую траву и скрывался в лесной заросли с тихим шепотом. В траве стрекотали кузнечики и ползала всякая мелкая тварь, может быть жившая всего одним этим днем и поэтому особенно наслаждавшаяся самым фактом своего существования. По небу плыли легкие облачка, вытягивая за собой по горам длинные тени.

Савка безмолвно пролежал с полчаса, а потом сел и тяжело вздохнул. Лицо у него вспухло, один глаз совсем затек; на зипуне и на руках оставались кровавые пятна. Он ощупал что-то за пазухой и только покачал головой, а потом отправился к тому месту, где происхо-

дила свалка. Через несколько минут он поднял с земли маленький нож, который всегда носил за пазухой.

— Ишь ты, проклятый... вывалился из-за пазухи-то, — как-то в раздумье проговорил он, разглядывая нож. — Ну, счастлив Карла, а то я бы ему выпустил все кишки.

— Это из-за собаки?

Савка посмотрел на меня, отрицательно покачал головой и в прежнем раздумье заговорил:

— Не помню, из ума вышибло... Ах, барин, барин!.. Как это Карла нацелился в собаку, так у меня точно что порвалось в нутре... Не помню ничего, что дальше было, а только помню, как он меня по роже лепил. Да мне это наплевать, а вот псицу жаль... Зачем он ее порешил без вины? Не могу я этого самого зверства видеть, потому во мне все нутро закипит... Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство! Ты теперь разбери, барин, кто лучше: зверь или человек?

— Какой зверь, какой человек?

— А всякой... Зверь лютует с голоду, ему пропитал нужен, а так всякой зверь, как ребенок малый. Возьми ты даже медведя... На что волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так... Он сытый-то еще, пожалуй, хуже... Верно! Лютости этой в человеке, зверства — пропасть... Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека. А уж касательно лошади али пса — так и говорить нечего... Я никогда не трону лошадь али пса, потому куда бы мы поспели без них? Конечно, говорят, что души в них нет только, а я так думаю, что хоть плохонькая душонка, да должна быть... Я тебе какой случай скажу. Ехал как-то через наш Кособродский завод один купец, он на ярмарку ехал. Денег при нем тыщи три было... Ну, остановился у знакомых мужиков, покормил лошадь, а лошадь у него своя была, преотличная лошадь. Уехал купец, а мужики, у которых он останавливался, больно озарились на его деньги, сейчас в погоню, догнали его, да и убили. Ну, убитого купца затащили в лес да в ширф и бросили, а сверху елочками закидали... Теперь куда с лошадью деться, а лошадь дорогая, приметная. Эти самые убивцы взяли эту самую лошадь да к сосенке на

цепь и приковали и на ноги железные путы надели. Думают, помрет на этом самом месте с голоду, — и конец всему делу. Хорошо... А лошадка-то три дня стояла у сосенки да грызла ее, да и перегрызла, а потом с путами-то поскакала домой. Семьдесят верст, сердешная, проскакала она в путах и прямо на двор к хозяину. Как увидали ее — все всполошились, конечно, и по следу назад поехали, потому из ног-то у ней кровь все лила по дороге, а она вперед идет и прямо в Кособродский к нам привела, к тому двору, где убивцы жили. Ну, народ, конешно, собрался, все признали лошадь-то и все на убивцев: признавайтесь... Помялись-помялись они и прямо миру в ноги: «Наше дело... мы убили купца. Простите!» Признаться признались, а куда убитого купца дели — не сказывают. Тогда опять эту самую лошадь пустили вперед... Что бы ты думал, ведь она повела: идет впереди, а народ за ней так валом и валит. Плачет народ-то, так это жалостливо все вышло. Ну, привела лошадь к самой шахте, в которую купца бросили, и встала. Тут его и нашли... Так народ что тогда делал: ревмя ревели, не над купцом, а над лошадью! Изгибла, сказывают, скоро, потому ноги себе путами извела...

— Почему же эти мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца?

— Ах, какой ты непонятный, барин... Человека-то, поди, легче убить, чем скотину, потому она безответная тварь, только смотрит на тебя. На купца, значит, рука поднялась, а на лошадь не поднялась. У нас в дому такой случай был. Жеребушечка у отца росла да ножку себе и сломала. Куда с ней, как не пришибить? Ну, отец взял винтовку, зарядил, пошел стрелять жеребушку — и воротился... Медведей бил, а жеребушку не мог порешить. Думали-думали, послали за одним пропойцем, Тишкой звать. Отчаянная-преотчаянная башка, настоящий душегубец... Ну, Тишка и говорит: «Ставь полштоф водки, тогда и жеребушку вашу порешу». Повели его в кабак, выставили полштоф. Тишка его выпил и к нам. Отец-то со страхов в избу спрятался и на крючок заперся. Ей-богу! Ну, а Тишка взял топор, замахнулся и бросил... «Не могу, говорит, рука не поднимается, хошь что хошь со мной делайте. Обратно вам полштоф ваш

выставлю...» И выставил, а жеребушечка уж сама изгибла. Вот оно, барин, какое дело-то выходит. При всем нашем зверстве и то руки опускаются, а тут еще барин называется и пса стреляет. Пес-то, может, лучше его был...

В этом бессвязном рассказе Савки рельефно обрисовывались основания его оригинального миросозерцания. Сознание Савки было подавлено проявлениями человеческого «зверства» и «лютости»; его пытливый ум прилепился к безграничному лесному простору, и здесь, в мире животных, он находил погибшую в людях правду... Савку не страшили самые дикие проявления железного закона борьбы за существование в этом животном царстве, потому что для этого закона существовало разумное объяснение, как неизбежной, хотя и жестокой необходимости, тогда как человек проявляет свое зверство большею частью помимо этой необходимости, а только удовлетворяя своей жажде «лютовать».

— Теперь читал ты о великих угодниках, которые по лесам спасались? — допрашивал меня Савка. — К этим угодным человекам всякой лесной зверь приходил: и медведь и олень... Это как по-твоему?.. Зверь-то понимает, что человек его лютее, и обходит человека. Никого так зверь не боится, как человека... А старухи говорят, что в звере нет души, а пар. Какой тут пар... Ты бы весной послушал, что по лесу делается?.. Стоишь этак, стоишь, прислушаешься, а лес-то кругом тебя точно весь живой: тут птица поет, там козявка в траве стрекочет, там зверь бежит... Уж больно хорошо птицы по весне поговаривают, точно вот понимаешь их, и так у них все хорошо выходит. А как припомнишь свое-то житьишко да про других-то, господи милостивый, сколько неправды... Раз я этак-то слушал-слушал, точно очумел, а потом гляжу, вся рожа-то у меня мокрая: слезой проняло.

БАШКА

Из рассказов о погибших детях

I

Утро было отвратительное, точно природа выворотила из своих недр всю грязь, какая только была в запасе. По небу ползли низкие, грязные облака, цеплявшиеся за самые крыши городских домов. На улицах грязь стояла по колено, и можно было подумать, что с неба в течение двух последних дней лился не дождь, а помои. Грязь, грязь и грязь — целое море грязи, в котором уездный городишко Пропадинск растворялся, как брошенная в стакан воды горсть соли.

— Совершенная подлость! — коротко заметил густым надтреснутым басом Башка, взглянув в запотевшее окно на улицу.

В этот момент все кругом окончательно потонуло в мутной кружившейся мгле, сверху тихо начали падать хлопья мокрого снега и сейчас же таяли в липкой, точно разведенной грязи. Через полчаса окна кабака «Плевна» были залеплены мокрым снегом, так что внутри сделалось совершенно темно, как в сумерки.

— Экое божеское произволенье! — флегматично заметил сиделец «Плевны», толстый и рябой мужик в плисовом пиджаке; его звали обыкновенно Иван Василичем, а под сердитую руку просто Ванькой Каином. —

Ну, Башка, дело дрянь выходит... совсем как есть дрянь!

Башка протянул свои длинные ноги в стоптанных опорках и ничего не ответил, а только передернул широкими плечами. Облокотившись жилистой, волосатой рукой на стойку, он низко опустил свою лохматую голову с легкой проседью в русых кудрявых волосах. Костюм Башки давно требовал самой серьезной ремонтировки, потому что засаленный старинный сюртук с узкими рукавами и широким воротником расползался окончательно и дал несколько трещин по швам, а серые триковые штаны готовы были свалиться каждую минуту, не говоря уже о выдавшихся заплатанных коленках и точно выеденных задках раструбов. Но Башке было не до костюма. Он был весь поглощен одной идеей, сосавшей и щемившей его с раннего утра: это — опохмелиться. Все громадное тело Башки ныло каждой косточкой, каждой каплей крови, а в трещавшей голове колесом вертелась одна мысль. Его широкое лицо с окладистой бородой, густыми бровями, приплюснутым носом и высоким лбом точно было подернуто сегодня туманом, а маленькие серые глазки смотрели воспаленным взглядом.

— Хоть бы черт принес кого-нибудь, — проворчал Башка, поглядывая на отворяющуюся и затворяющуюся дверь кабака. — Этакая мерзость!

Непогодь гнала народ в «Плевну», но это все были чужие: извозчики, отставные солдаты, мужики с базара, несколько мастеровых. Они вносили с собой комья грязи на ногах, отряхивали снег с шапок, ругались и подходили к стойке Ваньки Каина, который не успевал сегодня поворачиваться, наливая стаканчики из толстого пузыристого стекла. Водка выпивалась, слышалось здоровое кряканье совсем прозябших людей, на стойку сыпались пятаки, а потом долго прожевывалась захваченная с собой закуска. «Ух, студено!» — кричал приземистый, плотный извозчик, отворачивая полу своего кафтана, чтобы достать кисет с деньгами. Он как-то особенно аппетитно опрокинул себе в рот стаканчик водки, закрыл глаза и одним глотком покончил всю церемонию. Башка старался не смотреть на эту

картину, но это не мешало ему чувствовать каждый глоток водки, разливавший блаженную теплоту. Ванька Каин казался каким-то необыкновенным капельмейстером, который разыгрывал целую оперу.

«Нет, чтобы предложить опохмелиться... ну, какой-нибудь стаканчик, — с тоской думал Башка, и ненависть к Ваньке Каину несколько парализовала ломавшее его жестокое похмелье. — Этакая шадривая каинская рожа!.. Ведь рассчитался бы после. У! дьявол... И как назло никого нет: ни Хохлика, ни Корнилыча, ни Трубы».

Кабак «Плевна» был из привилегированных и находился почти в центре города, в глухом переулке, который шел от Хлебного рынка. Прямо из сеней дверь вела в большую полутемную комнату со стойкой Ваньки Каина в глубине; это собственно и был кабак; из-за стойки маленькая дверца вела в каморку самого сидельца, а другая дверь из кабака вела в две следующие комнаты, предназначенные для публики почище, собственно для кабацких завсегдатаев вроде Башки. Эти завсегдатаи редко останавливались перед стойкой, а проходили дальше и проклажались уже в своей компании. Случайные посетители и мужичье толклись обыкновенно в первой комнате или сидели на широкой грязной лавке, поставленной вдоль всей передней стены. Теперь, собственно, была полна только эта первая комната. Но музыкальное, чуткое ухо Башки уже поймало знакомые торопливые шаги в сенях: это без сомнения был он, Корнилыч. В растворившихся дверях показалась сгорбленная юркая фигурка в пиджаке и фуражке; раскланявшись с Ванькой Каином, она быстро исчезла в соседней комнате, куда поплелся и Башка.

— Едва ушел... — торопливо рассказывал Корнилыч, моргая своими рысьими глазками. — Всего две партии сыграл на биллиарде, подвинул двенадцатого шара рукавом, ну, меня и взбрили. В бок здорово саданули кулаком... Ну, а ты? Вижу, вижу.. Эх, скверно!..

Корнилыч запустил руки в карманы брюк и забегал по комнате маленькими шажками, как ходят трактирные половые; на его пиджаке мокрыми отпотинами обо-

значались остатки мокрого снега, а плечи просто дымились от пара.

— Нет, Ванька-то... а? Каков подлец?! — громко проговорил Башка, останавливаясь посредине комнаты в самой трагической позе. — Ведь видит, шельма рогатая, как живого человека кочевряжит, и хоть бы какой наперсток...

— Это ты напрасно, Башка, — уговаривал Корнилыч. — Где же нас всех поить даром? А без Ваньки куды бы мы? Пропадай, как червь.

Башка крепко выругался, но должен был согласиться с Корнилычем, который всегда и всех оправдывал и даже на самого себя смотрел как-то со стороны. Лицо у Корнилыча было бойкое, всегда измятое и всегда добродушное; остриженные щеткой волосы дали повод называть его в своей компании «ерошкой». Он был замечательный мастер разговаривать и знакомиться с кем угодно и был самый необходимый человек в хорошей компании.

— Ну, а снег? — спросил Башка, что-то соображая про себя.

— Снег? Подлец, а не погода... так и лепит. Мне за воротник сколько насыпало... бррр... У тебя покурить нет? Ну, не надо...

Ерошка наслаждался теперь и охватившей его теплотой гнилого кабацкого притона и сознанием собственной безопасности. Эти грязные, покосившиеся стены, избитый точно в конюшне пол, пропитанная специфическими кабацкими миазмами атмосфера, — все ему было дорого и мило; Ерошка с удовольствием потянул в себя промозглую струю воздуха, прохваченную запахом грязи, дегтя, гнилой кожи, мокрого платья, перегорелого лука и сивушного масла. Несколько расшатанных стульев и некрашеный деревянный стол составляли всю меблировку этой привилегированной половины.

— А вот и наши здесь! — проговорил в дверях плечистый, приземистый мужик в поддевке; рыжая борода и прищуренный косой глаз придавали ему подозрительный вид. — Ну и погодка!.. Месил, месил грязь, хоть бы одна шельма попалась. Есть до смерти хочется, братцы...

— У нас табаку нет, а он: есть! — презрительно ответил Башка, шагая по комнате неровными шагами. — Хохлика не видал?

— Как не видал: у Хохлика тоже ненастье...

— Вот что, Труба, как бы нам того... не пропадать же в самом деле? — заговорил Ерошка заискивающим голосом. — Сходи, братику, к Каину, авось расступится... а? Ты объясни ему... а?

Труба почесал в затылке, еще сильнее прищурил свой косой глаз и отрицательно покачал головой. Наступила тяжелая пауза, которой не нарушило даже появление Хохлика. Это был еще совсем молодой человек с зеленовато-серым лицом и глубоко ввалившимися глазами, горевшими лихорадочным, чахоточным блеском. Он молча сел в уголок, поджал под себя ноги и долго не мог отдышаться после скорой ходьбы. На всех напала минута тяжелого уныния, как у людей, заблудившихся в лесу. В таких исключительно критических случаях обыкновенно выручал Башка, отличавшийся дьявольской изобретательностью, но сегодня и он повесил нос, точно пришибленный. А из кабака доносилась настоящая мелодия довольного кряканья после выпивки, звона стаканчиков и того кабацкого галденья, какое бывает только около стойки.

— Эк их взяло, подлецов! — глухо пробасил Башка, натягивая на свою голову заношенную, как блин, кожаную фуражку. — Ну, братцы, я схожу... подождите, может, и выгорит что.

Когда высокая фигура Башки скрылась в дверях, все как-то разом оживились и заговорили: «Уж Башка одно слово... Выручит! Да он из земли добудет, особенно ежели с похмелья ломает когда. Золотая голова!» Даже Ванька Каин почувствовал угрызение своей каиновой совести, когда мимо его стойки Башка прошагал с самым мрачным видом.

«По погодью-то надо бы стаканчик было подать, — думал Ванька Каин, проворно орудуя за своим прилавком. — Ну, да больно зазнаваться стал, пусть не фордыбачит».

В душе Ваньки Каина шевельнулась обидная мысль, что Башка третьего дня облаял Акулину, его любов-

ницу, которая жила с ним в каморке. И всего-то дела было, что Акулина попросила Башку наставить самоварчик, так куды тебе — сейчас на дыбы, мы-ста образованные люди и всякое прочее, а вот теперь, образованный человек, ступай-ка, помеси грязь-то... Это даже совсем преотлично для тех, кто настоящего понятия не хочет иметь и добра не помнит.

II

Отчаянное положение выдавило в голове Башки мысль, которую он теперь нес из «Плевны» на самый конец города. Собственно, это было последнее средство, на какое он решался только в самых критических обстоятельствах.

— Э, черт с ними! — ругался Башка, шагая через грязь.

А погода делалась все отвратительнее. Холод крепчал. Откуда-то налетал порывами пронизывавший насквозь ветер, который просто жег голые руки и спину. Хлопья мокрого снега сменились сухой снежной пылью, тихо кружившейся в воздухе отдельными пушистыми снежинками в форме правильных звездочек, игл и разных замысловатых геометрических фигур. Недавно сплошная полоса грязи, заливавшая пропадинские улицы, теперь приняла самый обманчивый вид, и Башка постоянно ошибался, стараясь пробраться поблагополучнее. В одном месте он совсем оставил свои опорки в грязи и долго не знал, что делать с ними. Грязь еще сохраняла в себе известную теплоту, сравнительно с верхним снеговым налетом, который резал ноги, как ножом. После короткого раздумья Башка всунул ноги в полные грязи опорки и зашагал по деревянному тротуару. От «Плевны» ему было нужно перекосить соборную площадь, потом обогнуть старый гостиный двор, а там свернуть в узкую Проломную улицу, где тонули в грязи постоялые дворы. Сделав с полверсты по этой убийственной дороге, Башка почувствовал непреодолимое желание вернуться под гостеприимный кров «Плевны», — обычная энергия изменила даже

его железной натуре. Это был настоящий припадок малодушия, но Башка устоял против искушения и только быстрее зашагал вперед.

Скрестивши по-наполеоновски руки на груди, чтобы сохранить терявшуюся теплоту, и подняв плечи, чтобы защитить голую шею от попадавшего за воротник снега, Башка летел вперед, как хороший волк. В конце Проломной стоял кабачок Зобуна, в который Башка иногда заходил, но теперь было не до него — до цели оставалось всего с полверсты. Купеческие каменные дома в Пропадинске были только в центре, затем во все стороны расходились деревянные постройки, а на окраинах тянулись самые жалкие лачуги, слепленные кое-как из разной дряни, как ласточкины гнезда. За Проломной, на самой окраине, как исключение, стоял большой каменный дом гуртовщика Ломотина; сюда и держал свой путь Башка. Разбогатевший мужик Ломотин недавно умер, и сегодня шел девятый день, следовательно, должна была быть богатая подачка нищей братии. Башка не без основания рассчитывал кое-что получить здесь, хотя к такому нищенству прибегал только в самом безвыходном положении, как сегодня.

Около ломотинского дома уже собралась порядочная кучка нищих. Когда Башка подходил к ней, в воротах появился мордастый дворник; он загородил калитку жердью и начал пропускать под нее во двор по одному человеку. Нищая братия одним сплошным шевелившимся комом лохмотьев наперла на калитку и брала приступом каждый вершок. Слышалась хриплая ругань, бабий визг и тяжелые вздохи. Башка остановился позади всех и терпеливо ждал своей очереди пролезть под жердью, перегораживавшей калитку; он чувствовал особенное отвращение к этой грязной сволочи, потерявшей всякий образ и подобие божие, потому что и в самом падении своем чувствовал себя неизмеримо выше этого человеческого хлама. Некоторых он знал. Вот, например, этот седой сгорбленный старичок, который особенно назойливо пробивался вперед; он когда-то служил в земском суде, занимал видное место и во время своей славы раскуривал трубку кредитками, но спился с круга и теперь жил подаянием. За ним

держался смуглый бритый мужчина; этот славился как прежний богач, умевший промотать доставшееся ему наследство в пятьдесят тысяч. Далее следовал ряд совершенно темных личностей, собравшихся сюда бог знает из каких трущоб; особенно были подозрительны женщины-побирушки, с обрюзгшими, измятыми лицами и злыми глазами. Это всё были специально нищие, промышлявшие сбором подаяния по домам, на рынке, по церковным папертям и шмыгавшие по всем поминкам в богатых купеческих и чиновничьих домах. Для них лохмотья и заплаты служили средством существования, как вывески какого-нибудь цехового мастера; где кончались лохмотья и где начинался человек, трудно было разобрать; люди здесь превращались в живые лохмотья, заплаты и прорехи.

Башке пришлось прождать битый час в этой толпе, и он совершенно окоченел, напрасно стараясь согреться переминанием с ноги на ногу. Живая теплота живого тела оставила его; у Башки начинали стучать зубы, и он почувствовал особенную ненависть к жирному и брыластому дворнику, который нарочно медлил, пропуская очередных, и несколько раз начинал переругиваться с нищими жиденьким тенорком.

— Отпячивай назад, пехота! — кричал дворник, защищая вход своим толстым брюхом в белом фартуке. — Я вот скажу Анфисе Парфеновне, так она вас всех метлой отселева...

— А ты не больно шеперься, не велик в перьях-то! — огрызалась какая-то шустрая старушонка с птичьим лицом. — Не к тебе пришли...

— Разговаривай! — лениво протянул дворник. — Вон она, Анфиса-то Парфеновна, сама на крыльце-то стоит.

Наконец, наступила и очередь Башки. Он уже держался одной рукой за палку, ожидая своей очереди и стараясь не глядеть на дворника, который его просто возмущал всей своей фигурой, как голодного волка возмущает сытая собака. Вместе с тем Башка испытывал тяжелое чувство унижения и еще больше сердился на ни в чем не повинного дворника, которого с удовольствием перекусил бы пополам. От нечего делать

он рассматривал внутренность богатого двора, усыпанного желтым песочком, с крепкими службами назади, с цепной собакой у амбара, с привязанной у столба великолепной лошадью, заложенной в лакированный экипаж; налево был подъезд с стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна в лисьей шубе и степенно давала каждому его пай милостыни, лениво повторяя одну и ту же фразу: «Помолись, миленький, за раба божия Симеона и сродников». Около купчихи толклись какие-то две старушонки в темных платочках с глазками.

— Пролезай! — крикнул дворник на зазевавшегося Башку.

Башка согнулся, чтобы пролезть под жердью, но в этот момент мимо него головой вперед рванулась какая-то бабенка с подбитым глазом и чуть было не предупредила его, но Башка во-время схватил ее за шиворот и отбросил назад, как тряпицу.

— Куда, Фигура, прешь? — ворчал он, уже шагая к крыльцу.

Получив подаяние и крепко сжав деньги в кулаке, Башка зашагал в другой конец двора, куда выпроваживал нищую братию высокий кучер в кожаном кафтане. Чтобы не было напрасной давки, нищих выпускали из двора другими воротами. Очутившись на улице, Башка сосчитал полученные деньги; на его долю достался целый полтинник, и это обстоятельство разом вознаградило его за все лишения.

Через полчаса Башка уже входил в кабак Зобуна, где толпились нищие, успевшие «выправить» подаяние раньше его. Размякший, ожирелый сиделец с зобом на шее орудовал не хуже Ваньки Каина и, наливая стаканчики, приговаривал:

— Помяни раба божия Симеона и сродников... Больно добра для вас Анфиса-то Парфеновна, гли-ко, по полтине на рыло сошлось. А! и ты, Башка, здесь?

— Ну, ну, не разговаривай... совсем околел!

Башка залпом выпил два стаканчика, чтобы сразу согреться, но водка на него не действовала сегодня, и он потребовал себе третий. Когда Башка уже подносил

дрожавшей рукой стакан ко рту, около него появилась давешняя бабенка с подбитым глазом и нахально толкнула его локтем в бок.

— Ты опять, Фигура? — зарычал взбешенный Башка и даже замахнулся на надоедливую бабенку поднятой рукой. — Раздавлю, как муху...

— Ух, какой страшный! — кокетливо взвизгнула Фигура и нахально захихикала прямо в лицо Башке. — Этакое верзило и с бабами драться... Ну, тронь, только тронь!..

Отпустив несколько отборнейших выражений на специально кабацком жаргоне, Фигура с наслаждением выпила стаканчик зеленого бальзама, вытерла губы подолом грязного платья и опять засмеялась своим нахальным смехом.

— Што, Башка, наткнулся на ерша? — спрашивал Зобун, кисло улыбаясь. — Уж она октрыса, одно слово, как бритвой бреет...

Башка презрительно взглянул на Фигуру еще раз и отвернулся. Он вообще ненавидел всех женщин, как другие не выносят мышей или тараканов, а теперь еще должен был переживать чувство оскорбленного достоинства, что связался с бабой.

Именно этот почти невольный жест физического отвращения задел за живое Фигуру, которая в дни крайнего падения не могла расстаться с логикой хорошенькой женщины, привыкшей требовать общего внимания. Взглянув теперь на Фигуру, никто бы не поверил, что это отекшее лицо с воспаленными и слезившимися глазами, с распухшим носом и блестевшими синеватыми губами могло быть когда-нибудь красиво, хотя это было так. Костюм Фигуры был самого подозрительного свойства — какая-то рыжая кофточка, сбившаяся на один бок, ситцевые юбки, обносок шали на голове и стоптанные ботинки на ногах. Выпив два стакана бальзама, Фигура села на лавку, рядом с Башкой, и далеко вытянула свои грязные ноги, так что из-под юбки выставились совсем голые щиколотки и нижняя часть белых полных икр.

— Будь ты проклята, анафема! — выругался Башка, вскочив с лавки. — Чего ты лезешь?

— Будет лаяться-то, невежа! — совсем другим тоном, спокойно и самоуверенно проговорила Фигура, взяла Башку за локоть и посадила рядом с собой. — Ну, чего ты бесишься? Лучше покурим; у меня табак есть...

Башка сердито плюнул на сторону, но от табаку не отказался. Он испытывал теперь совершенно особенное чувство, именно, он точно был давно знаком с этой нахальной бабой и даже был доволен, что она его удержала на месте. Про себя Башка несколько раз обругал соседку самыми непечатными словами и хотел сейчас же отправиться в «Плевну» к ожидавшим его товарищам, но вместо этого язык Башки как-то против его воли проговорил:

— Хочешь еще бальзаму, Фигура Ивановна?

— Только вместе с тобой...

Дальше все происходило в каком-то тумане: стаканчики следовали за стаканчиками, Башке сделалось тепло и весело; он хохотал и пел с своей новой знакомой, как сумасшедший. Потом они вместе пошли от Зобуна по Проломной улице, и Башка даже помогал своей спутнице переходить через грязь, как настоящий кавалер.

— Пойдем к Ваньке Каину; там у нас настоящее гнездо, — объяснял Башка, сильно пошатываясь. — Все отличные ребята... Ерошку не знаешь? и Хохлика? и Трубу?.. Ну, после этого ты ровно ничего не знаешь...

Башка дергал на ходу плечами, сжимал кулаки и совсем не чувствовал холода, который леденил его тело.

— Нужно еще денег достать, — говорила Фигура.— Пойдем, я знаю где... Еще есть в двух домах поминки.

III

На привилегированной половине «Плевны» целый день прошел в самом нехорошем настроении духа; это решительно был пресквернейший день. Сначала все поджидали возвращения Башки и рассказывали анекдоты о его необыкновенной находчивости; потом на-

чали ворчать и ругаться, зачем Башка так долго не идет на выручку, и, наконец, все тяжело замолчали, как люди, потерявшие последнюю надежду. Даже Ванька Каин, и тот сжалился над ними и выслал целое решето черного хлеба и луку. Это было уж совсем под вечер.

— Должно быть, Башку пьяного в полицию где-нибудь забрали, — повторял несколько раз Корнилыч. — Зашел погреться куда-нибудь, выпил, ну, и разомлел с холоду-то... Это бывает!

Точно в ответ на это предположение в дверях «Плевны» появился сам Башка, сильно пьяный; гнев всего общества был готов обрушиться на его голову, но его проявление было парализовано появлением Фигуры, которую привел с собой Башка.

— Господа, рекомендую... вот женщина... Фигура Ивановна, — бормотал Башка заплетавшимся языком.

Все общество встретило эту рекомендацию гробовым молчанием и сделало такой вид, что совсем не замечает присутствия «женщины». В дверях выглядывала улыбавшаяся рожа Ваньки Каина, а из-за его плеча сумрачно смотрела Акулина, высокая костлявая баба, с широким деревянным лицом, походившим на лопату.

— Вот так уколол Башка штуку... ловко! — хрипел Ванька Каин, любуясь происходившей пред его глазами сценой.

— Да вы что молчите-то, оглашенные? — заговорила Фигура, обращаясь к публике вообще. — Подавились чем или мух ловите здесь?

Общество оставалось глухо и немо; все были сконфужены и за себя и в особенности за сбесившегося Башку, который нарочно теперь бодрился перед своими друзьями, как все виноватые люди. Он с напускной развязностью потребовал у Ваньки Каина водки и сел вместе с Фигурой за отдельный столик, точно вызывая все общество на бой. Собственно говоря, собравшиеся в этой комнате потерянные люди отличались большой тонкостью чувств и той особенной психической чуткостью, когда слова являются излишними для взаимного понимания. Все они отлично понимали друг друга по одному взгляду, по малейшему жесту. Молчаливый

протест друзей для Башки был в тысячу раз тяжелее открытого восстания, ругани и даже рукопашной. Даже нахальная без границ Фигура, и та, видимо, не ожидала такой встречи и теперь только улыбалась пьяной и нахальной улыбкой.

— Пожалуйте, Фигура Ивановна, — угощал Башка свою гостью, стараясь быть любезным назло всем.

— А как тебя зовут? Я еще не знаю, — спрашивала Фигура, делая вид, что ничего не понимает.

— Меня здесь зовут Башкой...

— Очень хорошее имя: Башка... да! Из семинаристов? Да, да... Я встречала много семинаристов... Славный народ и пьют отлично.

Фигура стыдливо обдернула сбившуюся набок юбку, спрятала грязные ноги и несколько времени упорно старалась принять серьезный вид приличной дамы, но ее опухшее лицо само собой расплывалось в отвратительную улыбку, которая просто коробила Башку, точно его поджигали каленым железом. Но он хотел выдержать характер. Труба, Корнилыч и Хохлик сбились в углу в одну кучку, как последние римляне и как люди, хорошо посвященные в тайны светских приличий; они вели вполголоса совершенно посторонний разговор, как это делают хорошие друзья, когда в доме покойник или другое какое несчастие.

Это критическое положение сторон разрешилось совершенно неожиданной развязкой. За стойкой у Ваньки Каина произошла довольно горячая сцена с Акулиной, которая сначала шипела, а потом принялась голосить и ругаться на весь кабак.

— Хотя я тебе не жена, а все-таки у тебя ума нисколь нет! — кричала Акулина, размахивая длинными руками. — Разве это порядок, штобы пущать в заведение всякую дрянь? Да она, шлюха этакая, ещо стащит што-нибудь. Разве углядишь за ей, паскудой?... И што это я за каторжная далась тут вам, штобы напускать всяких потаскушек!

— Затвори хайло-то, хайло затвори, ворона! — огрызался Ванька Каин, хотя это делалось только для порядку, чтобы показать перед публикой свою хозяй-

скую власть. — Вот я возьму как обихаживать самое-то, только стружки полетят.

— Ну, бей, бей! А я не соглашусь, штобы всякая потаскушка распоряжалась в заведении! — голосила Акулина неистовым голосом, точно ее резали. — Хотя я не в законе с тобой, а в дому порядок должен быть... Да я ей, твари, все зенки выцарапаю, вот што! Разве у нас такое заведение, штобы манеры-то эти разводить?.. Я и Башке всю рожу исцарапаю.

Положение Башки крайне усложнилось. Ополоумевшая Акулина имела за себя все преимущества как перед мужем, так и перед завсегдатаями, которые, конечно, держали ее сторону. В пьяной голове Башки шевелилась уже мысль о неизбежности рукопашного решения спорного вопроса, и он под столом сжимал свои страшные кулаки, вызывающе поглядывая на недавних приятелей.

— Вот что, Башка, пойдем отсюда, — предложила ему Фигура, поднимаясь с места. — У меня еще дело есть... Медальон ждет.

— Какой Медальон?

— Увидишь.

За водку деньги были заплачены вперед, и парочка торжественно направилась к выходу. Когда Фигура была уже у дверей, Акулина выбежала из-за стойки, догнала ее и толкнула своей деревянной рукой в шею.

— Акулька, язва, отвяжись! — кричал Ванька Каин.

Башка зарычал, как медведь, по которому выстрелили, но Фигура успела его вытолкнуть в сени и энергично потащила за руку вперед.

— Стоит связываться с дурой! — успокаивала она своего спутника, шлепая по грязи. — Тут недалеко, живо дойдем. Дай руку, вот так, как барыни ходят...

Фигура хрипло засмеялась в темноте, а Башка молча зашагал рядом с ней. Кругом было совершенно темно, хоть глаз выколи, и только слабо мигали жалкие фонари по углам улиц. Снег остановился, но холод был попрежнему страшный и пробирал до костей. Где-то завывала бездомная собачонка, слышалось хлопанье оторвавшегося с крыши железного листа; какой-то забулдыга брел через соборную площадь и все

старался затянуть песню, походившую на мычанье. Медленно проехал извозчик, позвонил в чугунную доску ночной сторож, а впереди и назади — кромешная тьма. Парочка брела наощупь и через двадцать минут была уже в узком и глухом переулке.

— Здесь, — проговорила Фигура и остановилась у какой-то деревянной развалины.

Они вошли во двор, потом в какой-то сырой и холодный подвал, походивший на могилу. Фигура чиркнула спичкой и отыскала сальный огарок, вставленный в бутылку из-под сельтерской воды. При слабом свете Башка мог рассмотреть весь подвал, служивший когда-то кухней. Маленькие окошечки с железными решетками, как в каземате, выходили на улицу; ободранная дверь болталась на одной петле; около одной стены на груде тряпья спал какой-то человек с бледным, худым лицом.

— Медальон, вставай... Я гостя привела!.. — кричала Фигура, расталкивая спавшего. — Да ну же, вставай!.. Это, наконец, невежливо так принимать гостей. Посмотри, какого я зверя привела...

— Ах, это ты, Милочка? — проговорил Медальон, поднимаясь со своего неприхотливого ложа. — Какого зверя?.. Милочка, как у меня страшно голова болит, мне всего одну бы... а?

— Видишь, какой ты лакомка, Медальон: «одну бы», а где я тебе ее возьму? Ну, ну, не плачь, я сейчас... Я и закуски принесла, а пока позволь представить тебе нашего гостя: m-r Башка.

Медальон был еще совсем молодой человек, лет двадцати трех, белокурый, жиденький, с длинной шеей и голубыми детскими глазами; костлявые плечи, ввалившаяся грудь и бескровное лицо придавали ему вид какого-то подвижника. «Эх, какая дохлятина! — с презрением подумал Башка, разглядывая Медальона. — Настоящая глиста». Фигура в это время успела достать откуда-то бутылку водки и кусок вареной печенки, что составляло уже целый ужин на троих.

— Странно, право: нас сегодня выгнали из кабака, — рассуждала Фигура, разрезывая печенку обломком перочинного ножа. — Нашли меня неприличной...

Ужели я настолько не умею себя держать, что не могу быть приличной для кабака? Фи... Какая гадость! Боже мой, боже мой, до чего может дойти человек! Я, собственно, и обиделась только сейчас, то есть не обиделась даже, а так... гадко стало для самой себя...

Медальон, выпив две рюмки, несколько пришел в себя и с аппетитом принялся есть печенку. Проглотив последний кусок, он проговорил с комическим пафосом:

— Sic transit gloria mundi! [1]

— Domine [2], ты знаешь по-латыни? — обрадовался Башка, протягивая руку.

— Да, немножко...

— Медальон кончил гимназию с золотой медалью, — объяснила Фигура не без удовольствия, — а таких там называют «медальонами».

— Ага! — проговорил Башка. — У нас в семинариях первых учеников звали «башками», я и имел несчастие быть таким первым учеником; значит, мы с вами одного поля ягоды...

Они молча пожали друг другу руки и засмеялись. Знакомство завязалось быстро, и за рюмкой водки новые друзья рассказали о себе всю подноготную. Медальону пришлось немного рассказывать о себе: сын богатых, но разорившихся родителей, блестящим образом кончивший гимназию, он быстро свихнулся, когда пришлось зарабатывать свой хлеб, и теперь ждет какого-то места, обещанного ему каким-то очень хорошим человеком.

— Только бы получить место, а потом я брошу эту проклятую водку и заживем с Милочкой припеваючи, — закончил свою повесть Медальон. — Так ведь, Милочка?

— Конечно, конечно... да, припеваючи, — машинально повторила Фигура, опуская голову.

— А знаете, что нас всех сгубило? — задумчиво говорил Башка. — Самолюбие... Да!.. Вся система нашего воспитания построена именно на самолюбии, которое в

---

[1] Так проходит земная слава! *(лат.)*
[2] Господин, *(лат.)*

нас развивали с детства. По себе знаю... Это общая судьба всех первых учеников... Поврежденный народ выходит... Видите ли, для таких людей должна быть жизнь на особых условиях, а не прозябание обыкновенных смертных. А когда тебя станут по носу щелкать на каждом шагу, тут и погибель: характера-то не хватает, а самолюбие давит... ну, и утешаемся по-своему... Так ведь?

— Верно, — согласился Медальон.

— Много нас таких-то, — продолжал Башка, не обращаясь, собственно, ни к кому. — Ну, и, конечно, обвинять кого-нибудь и что-нибудь в своем падении по меньшей мере глупо, все равно, что обвинять машину, которая одному раздробила руку, а другого совсем искрошила... Все, что существует, существует разумно и, ergo [1], имеет право на существование. Факт стоит выше всяких законов... да. Если я говорю: «нас погубила система», то это только принятая форма выражения, приспособленная для понимания большинства. Так сказать, это только личная форма... Можно только понимать факты, а сердиться и радоваться по поводу их — это уже детство мысли. Одна есть истинная точка зрения на вещи и факты, это — отвлеченная философская мысль.

— Ух, какая ученость! — со вздохом проговорила Фигура, чувствуя, как у нее слипаются глаза.

Через пять минут, под шумок умных разговоров, Фигура уже заснула, где сидела. Ей грезилась плохонькая сцена провинциального театра, плохонькая музыка, плохонькая провинциальная публика, плохонькое освещение, а она выпархивает в коротких юбках и трико прямо к рампе и начинает петь забористую шансонетку. Публика аплодирует и любуется ее ногами, которые действительно замечательно хороши своей упругой полнотой и классическими линиями. Ей подносят большой букет, она прячет в него свое счастливое, улыбающееся лицо, потом посылает поцелуй публике и улетает за кулисы.

---

[1] следовательно, (*лат.*)

IV

Теперь нам необходимо сказать несколько слов о «Плевне» и ее завсегдатаях.

В Пропадинске было много кабаков, и каждый из них имел свою собственную физиономию. Так, кабак Зобуна в Проломной улице славился как притон конокрадов и лесоворов; кабак «Ямка», около гостиного двора, служил сборным местом нищих; были кабаки самой подозрительной репутации, как пристанище жуликов и мазуриков и т. п. «Плевна» резко отличалась от всех, потому что в ней завсегдатаями были особенные люди, промышлявшие разными художествами: в «Плевне» составлялись прошения мужикам, там всегда можно было найти для нотариуса грамотного свидетеля с паспортом, там же процветала игра в стуколку, три листа и в трынку, там же можно было послушать музыку и даже пение, покутить в хорошей компании и т. д. Главное, в «Плевне» никогда не позволялось буйство и мазурничество, за чем Ванька Каин следил в оба; полиция была поэтому особенно довольна «Плевной» и редко осчастливливала ее своими посещениями.

Такие особенности «Плевны» создались отчасти благодаря ее выгодному центральному положению, а главным образом — благодаря сметке и административной прозорливости Ваньки Каина. До него из сидельцев в «Плевне» славился кривой старик Ермило, но после Ермилы наступил смутный период междуцарствия: переменился целый ряд сидельцев, и звезда «Плевны» начала быстро клониться к закату, если бы не выручил Ванька Каин, явившийся в самый критический момент и сумевший сразу поставить свое «заведение» прямо на точку, чем он особенно гордился. Его предшественники или не умели обращаться с публикой, или не могли выдержать характера, или просто прогорали от плохих расчетов. Кабацкое дело кажется со стороны таким простым, но оно далеко не просто, и только посвященные знают, сколько нужно уменья, характера и чисто дипломатической изворотливости, чтобы удержаться на таком видном посту, как «Плевна». Конечно, запутанная кабацкая бухгалтерия стояла на первом плане,

потом разные отношения к полиции и акцизным чиновникам, но всего важнее было организовать правильные отношения к разношерстной кабацкой публике, вернее сказать, создать такую публику.

— Прежде всего, мы народ очень самолюбивый, — объяснял Башка, когда Ванька Каин забрал в свои цепкие руки бразды правления. — Да... А потом нужно помнить, что мы совсем потерянный народ только для вас, а для себя мы потерянные только временно. Самый последний пьянчужка глубоко убежден, что он пьянствует только пока, а потом бросит водку и заживет еще лучше других.

— Уж это обнакновенно; кажный последнюю рюмочку у вас пьет, — прибавлял глубокомысленно Ванька Каин от себя. — И мы тоже не без понятия...

— Отлично... Потом заруби себе на носу, что деньги наживают не с богатых, а с бедных, вот с таких проходимцев, как мы, в особенности. Я тебе объясню, почему... Во-первых, богатых людей очень немного, второе, богатый всегда и все купит во-время и подешевле, — так? — ну, а беднота платит втридорога вашему брату, и из грошиков-то да из пятачков, глядишь, у ловкого человека капитал вырос... Так?.. И мотай себе это на ус... Если бы ты знал математику, так я тебе доказал бы, как дважды два, что значат так называемые несоизмеримо малые величины. Горы из них растут, из этих несоизмеримо малых величин... Да. Так и в вашем деле.

— Уж известно, надо и нам свою линию выводить... А только я вот чего никак не пойму: так это вы складно умеете говорить, как по-писаному, и так все верно у вас выходит, а только вот с собой-то не можете ничего сделать... Даже, ей-богу, жаль глядеть в другой раз со стороны!.. При этаком-то уме да при вашей грамоте какую бы линию можно было вывести... то есть только ах, боже мой!

— Ну, это уж не твоего ума дело, Иван Василич.

Башка сделался для Ваньки Каина правой рукой во всех важных кабацких делах и вместе с тем постоянной статьей дохода. Говоря вообще, именно Башка задавал тон всей «Плевне», где он являлся

вполне авторитетным лицом. Специальностью Башки служило ходатайство по делам, причем он иногда зарабатывал порядочные деньги, одевался заново и потом все спускал до последней нитки. Знакомых у Башки в мелком купечестве, в духовном звании было несметное число, и он умел эксплуатировать всю эту братию с замечательной изворотливостью. В «Плевне» было составлено и написано Башкой множество прошений, которыми он одолевал суды всех инстанций; он же являлся свидетелем в двух нотариальных конторах, как человек «лично известный» гг. нотариусам. На худой конец Башка зарабатывал в день рубль или полтора, хотя в его тревожной жизни случались нередко совсем глухие моменты, особенно после жестокого перепоя, когда он сидел без гроша по неделям. Такие несчастия обыкновенно случались с ним сейчас после больших получений: получит Башка деньги и пойдет чертить, а потом и зубы на полку, так что даже к нотариусу не в чем явиться. Обыкновенно из такого отчаянного положения Башку выручал Ванька Каин, делавший ему при этом приличную нотацию. В глубине души Ванька Каин благоговел пред талантами Башки, хотя иногда и любил его поприжать своей каиновой лапой.

Около Башки группировались уже остальные завсегдатаи «Плевны».

Корнилыч, промотавшийся купеческий сынок, был великим артистом по части бильярдной игры; он дневал и ночевал по трактирам, выжидая подходящего случая нагреть руки около загулявшего купчика или чиновника. Всю выручку он нес в «Плевну», где сейчас же появлялись на сцену сардинки, сыр, разные лакомства сезона и т. д., пока не улетучивалась у Корнилыча последняя копейка. Этот человек остался неисправимым мотом; сорить деньги было у Корнилыча в крови, и он многолетней практикой до совершенства постиг великое искусство шикнуть и показать товар лицом. Пил Корнилыч совсем мало и перебивался в «Плевне» около хороших людей вроде Башки.

Труба, сбившийся с панталыку мужик, промышлял около приезжавших в город крестьян, с которыми умел заводить знакомство с необыкновенной быстротой; он

в одном кармане носил колоду карт, а в другом свой величайший секрет — «гривенку». Захмелевших мужиков Труба умел затянуть в известную кабацкую игру «три туза» или начинал метать орлянку, причем на сцену выступала заветная гривенка. Эта гривенка была устроена особенным образом. Труба взял две старых николаевских гривны и у одной сточил «решетку», а у другой «орел», так что сложенные вместе они составляли одну гривну; в «решетке» Труба искусно высверлил несколько желобков и в них налил ртути, а потом спаял обе гривны в одну. Такая монета, брошенная вверх, всегда ложится решеткой вниз, так что Труба никогда не рисковал проиграться, хотя заветную гривенку приходилось пускать в оборот очень осторожно. Труба редко играл в «Плевне», а большею частью на стороне, где его не знали, и с выигрышными деньгами непременно являлся к Ваньке Каину и пил тяжелым мужицким запоем.

Кто такой был Хохлик, по всей вероятности, он и сам того не знал. В «Плевне» он являлся безответным, чрезвычайно скромным существом; его можно было послать куда угодно, и он, кажется, никогда не мог возразить что-нибудь. Чем он существовал — тоже являлось неразрешимой загадкой. Его друзья знали только то, что Хохлик умеет играть на гитаре и на пробках; последнее искусство стоило ему самого каторжного труда, и он овладел им настолько, что, взявши в зубы две пробки, разыгрывал даже опереточные арии. Корнилыч и Труба часто пользовались услугами безответного товарища, когда им нужно было подставное лицо, а Башка гонял Хохлика с прошениями по всему городу. Вообще Хохлик отличался полным отсутствием воли и был счастлив, когда делал что-нибудь для других по их приказанию.

— И какой ты, право, Христос с тобой! — говорила ему в припадке сердечного расслабления сожительница Ваньки Каина. — Ты бы смелее, ей-богу... Учись у Башки-то али у других тоже... Право, какой ты!..

— Где уж нам, Акулина Митревна... Мы уж так-с... помаленьку-с, — смущенно отвечал Хохлик, обдергивая рукава своего пальто.

— Ежели бы ты блаженненький был... придуривал там, а то ведь... Уродится же этакой человек, подумаешь! А?

Кроме этих завсегдатаев, «Плевну» периодически посещало множество других особенных людей, которые временем сильно зашибали водкой. Посещение такого гостя было настоящим праздником для завсегдатаев. Гость пропивался до нитки и потом удалялся восвояси. В этом разряде были чиновники, купцы и люди неопределенных профессий; за ними обыкновенно являлись родственники, которые страшно ругались с Ванькой Каином и обещались жаловаться начальству.

— Что же-с? Я их не неволю-с, — любезно отвечал Ванька Каин, взмахивая жирными волосами. — А что до начальства касательно, так у меня есть пакент... сделайте ваше одолжение.

Ванька Каин был великий тактик и в совершенстве обладал величайшим сокровищем, которое называется «чувством меры»; людей он видел насквозь и со всяким умел обойтись по-своему. Тонкость понимания была в нем развита замечательно и еще скрашена известным запасом чисто русского добродушия. Конечно, по-своему Ванька Каин был прожженный плут и мошенник, но только для других, а не у себя дома, где он являлся почти отцом семейства. Бездомные бродяги и скитальцы вели у него все хозяйство, ходили за лошадью, и даже сам Башка полол в огороде гряды. Завсегдатаи любили Ваньку Каина именно за его понимание, то есть за то, что он один относился к ним, как к людям.

— Да ты думаешь, Иван Васильевич, я пошел бы куда-нибудь в кабак?.. а? — допрашивал пьяненький Корнилыч. — Не-ет, брат, я тоже себе цену знаю... А к тебе вот иду, потому что уважаю. Да!.. Как к отцу родному иду, во как... Уж это ты будь без сомнения, по всей форме.

Отметим здесь ту особенность, что в этой среде кабацких завсегдатаев соблюдался целый ритуал самых строгих приличий, преступать которые никто не мог, и, может быть, нигде в другом месте так жестоко не преследовалось отступление от этих приличий, как здесь. Между прочим, строго было запрещено приводить в

«Плевну» женщин или, выражаясь кабацким жаргоном, баб, что и выполнялось до сих пор неукоснительно. Причин такого драконовского закона было много, начиная с того, что Башка не выносил баб вообще и в частности, и кончая тем, что Акулина Митревна строго блюла патриархальность нравов своего заведения и в качестве женщины ненавидела всех других женщин, а тем более шляющихся по кабакам. Ванька Каин держал нейтралитет, потому что находился в некотором подчинении у своей сожительницы, особенно когда сам зашибал своим товаром.

Теперь нам понятно то чувство негодования, которое было вызвано неожиданным появлением в «Плевне» Фигуры. Когда дверь кабака захлопнулась за ней, сейчас же последовал настоящий взрыв одобрения, адресованного к расхрабрившейся Акулине Митревне.

— Молодца у нас Акулина Митревна, — галдели завсегдатаи, точно праздновали настоящую победу. — Ловко она отчехвостила эту шлюху... А Башка после этого будет хуже Мазепы.

— Настоящий Гришка Отрепьев.

Общественное мнение «Плевны» было возмущено до глубины души и вынесло Башке обвинительный вердикт без всяких смягчающих вину обстоятельств, и только один Ванька Каин испытывал некоторое угрызение совести, что не предложил Башке во-время стаканчика и тем довел его до окончательного падения. Впрочем, он вслух никому не высказывал своих мыслей, тем более что его вина носила слишком косвенный характер.

«Сбесился, пес, — раздумывал Каин, орудуя за стойкой. — Этакое колено уколол!.. а? Бабу приволок, да еще какую-то такую, что... тьфу! Этакие пропастины, подумаешь, на белом свете водятся...»

На другой день после этого события «Плевна» уже имела самые подробные биографические сведения относительно прошлого и настоящего Фигуры. Это поусердствовал Корнилыч, имевший большие трактирные связи, а в трактирах Фигуру отлично знали.

— Перво-наперво она у родителев жила, — повествовал Корнилыч, глубокомысленно насасывая дешевенькую сигарку. — Из дворян еще будет... Ну, воспита-

ние получила самое нежное, да потом и пошла щеголять. В театре актрисой была, потом арфисткой, потом по трактирам... Щеголяла-щеголяла, да вот и дощеголяла до своего настоящего виду. Зобун рассказывал, как она Башку-то подцепила... Нехорошо даже рассказывать. И такая, сказывает, пройдоха, что не приведи Христос. Шлёнда, одним словом...

— Удавить бы ее, проклятущую! — предложил кто-то.

Однако такие разговоры никого не могли утешить; отсутствие Башки чувствовалось во всем: точно из машины вынули главное колесо. И, как назло, народ так и пер в «Плевну» с прошениями, а Башка и глаз не показывал.

— Сказывают, утонул он, — отвечал Ванька Каин на расспросы просителей и мрачно улыбался.

V

Через неделю Башка неожиданно появился в «Плевне», он привел с собой Медальона и занял свое обычное место, как ни в чем не бывало. Понятно, что завсегдатаи встретили его очень подозрительно, но Башка с обычной хитростью притворился, что ничего не замечает, и держал себя так, точно ничего особенного не случилось.

— Экие бесстыжие глаза! — изумлялась Акулина Митревна. — И беспременно у него што-нибудь есть на уме... уж не таковский человек, штобы спроста! И одежонкой раздобылся, пес...

Действительно, Башка явился в сапогах, в калошах, в приличных брюках и даже в осеннем дипломате с чужого плеча. Медальон жался в одном пиджачке.

— А мы уж тебя утонувшим записали, — ехидно говорил Ванька Каин, выставляя приличную посудину. — Много тут спрашивали... Я ищо пожалел, потому как в цвете лет и, можно сказать, без покаяния...

— Будет тебе огороды-то городить, — обрезал Башка. — Я вот тебе хорошего человека привел.

— Что же? Мы хорошим людям завсегда рады... Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Медальон был подвергнут самой беспощадной критике и выдержал испытание. Его как-то сразу все полюбили, а Акулина Митревна сказала прямо, что «энтот как раз под пару подойдет Хохлику-то». Однако вечером, когда пьяный Башка принялся рассуждать с Медальоном о разных философских предметах, Ванька Каин заметил жене, что Медальон «далеко не вплоть» Хохлику-то, вон какие мудреные слова разговаривает. Даже Корнилыч, на что лют бобы-то разводить, и тот только глазами хлопает. А Башка действительно разговорился как-то необыкновенно и точно все заискивал перед новым своим другом, чем завсегдатаи были обижены еще раз.

— Есть целый разряд фактов, который совсем выходит из пределов обыкновенной логики, — философствовал Башка. — Например, общество не хочет знать нас и даже стыдится, а между тем мы самое наизаконнейшее явление... Даже можно сказать, мы правильнее смотрим на вещи, потому что, по теории утилитаризма, променяли фиктивные блага на более существенное, так сказать, мы пьем сок жизни, когда другие только приближаются к этому идеалу. Важно доработаться до философского миросозерцания, а с высоты его разные житейские невзгоды кажутся просто смешными.

— Совершенно верно! — соглашался Медальон, запуская тонкие руки в свои белокурые волосы. — Людям крайне тяжело расставаться с известными житейскими предрассудками, особенно теми из них, которые срослись с домашним обиходом... Только вот у нас в гимназии плохо проходили философию, и я не совсем понимаю некоторые твои рассуждения.

— Пустяки! Этот недостаток твоего воспитания мы пополним, — смеялся Башка, встряхивая своей гривой. — Знаешь, я человек откровенный и прямо тебе скажу, что крепко недолюбливаю ваше сухарное гимназическое образование... Ей-богу!.. Знаете вы много и порядочно знаете, а вот настоящего закалу в вас нет... этой философской выдержки. У нашего брата, бурсака, дубленые мозги-то... Ха-ха!.. Жизнь, братику, это му-

дреная история, если особенно взять не казовые концы и не ее парадную праздничную сторону, а настоящую суть. Везде противоречия... «Ввергохом злато в огонь, и излияся телец». Ха-ха!.. Это уж постоянно. «Злато» — это то, чем мы были до нашего воспитания, а «телец» получился уже в результате. Знаешь, я недавно шел ночью босиком в одной рубахе по грязи... холодище смертный, даже одеревенел весь, а в главизне разные латинские да греческие цитаты так и шевелятся: из Овидия, из Гомера, из Цицерона. Ведь получается жестокая, но поучительная ирония... Я хохотал, над собой хохотал. К чему? Зачем?.. Жизнь требует цельного человека, сильного умом и волей, а мы являемся на житейский пир, как попугаи, с двумя-тремя латинскими фразами. Я вот человеком-то себя чувствую только здесь, в «Плевне», и то постоянно сосет червь... Просто иногда пугает этот всеобщий разлад, частицу которого составляешь и сам своей особой. Вот Ванька Каин уравновешенная душа, потому что он безмерно глуп... из породы сумчатых и толстокожих, и, наверное, у него волосы растут прямо из мозгов.

Медальон говорил на эту же бесконечную тему, хотя во многом не мог согласиться с жестокой логикой Башки. Он сидел на своем стуле, болезненно согнувшись, точно все еще под ним была гимназическая парта, и нервно вздрагивал каждый раз, когда за стенами «Плевны» с визгом и завываниями поднимался режущий осенний ветер, метавшийся по городским улицам, как оглашенный. Стоял октябрь, земля уже покрылась промерзшей корой, и везде белел первый снег, которым так приятно любоваться из хороших теплых домов, когда в запасе есть теплая шуба. В «Плевне» в эту пору всегда бывает особенно много посетителей, потому что холод всех гонит к теплу.

— Экая у тебя жидкокостная и гнилая натуришка! — негодовал Башка каждый раз, когда у Медальона на улице зуб с зубом не сходился. — Ты смотри на меня: точно из подошвенной кожи сшит.

Раньше Башка ночевал вместе с другими завсегдатаями в задней каморке «Плевны» или по разным

ночлежным притонам, а теперь к ночи обязательно исчезал в обществе Медальона.

— Это он к той шляется, — соображала «Плевна» и презрительно пожимала плечами. — А та небось боится сюда бесстыжие-то свои глаза показать.

Между тем Фигура лежала больная в своем подвале, куда Башка и Медальон приносили дрова и разный необходимый провиант, добываемый ими по всему городу. Башка был неузнаваем. Он сначала ненавидел Фигуру, потом помирился с ней, а теперь ухаживал за ней, как за ребенком, то есть ухаживал-таки опять по-своему, по-бурсацки. Со стороны можно было подумать, что Башка хочет приколотить больную. Но это не мешало ему просиживать над ней целые ночи, бесконечные осенние ночи, когда все кругом покоится мертвым сном и только ветер выводит дикие ноты в трубе. Башка привел к больной доктора, ему одному известными способами добывал лекарства, Башка приносил откуда-то дрова, Башка раздобылся матрацем и одеялом для больной; одним словом, он работал неутомимо и, кроме того, еще ухаживал за Медальоном, которого полюбил с первого раза. Фигура лежала на своем одре с закрытыми глазами и, кажется, не узнавала никого; по ночам она начинала тяжело метаться и глухо стонала. Башка обкладывал ее компрессами, измерял температуру, подавал лекарства и был очень доволен, что у него не остается ни минутки свободного времени. Иногда Башка приносил с собой бутылку водки и молча ее распивал в обществе Медальона, который делал всегда то, что делают другие. Особенно хорошо чувствовали себя друзья в те часы, когда топилась вечером печь и они могли сидеть перед ней в безмолвном созерцании, как настоящие философы. Пламя трещало так весело и разливало кругом такую благодатную теплоту.

— Странная вещь этот огонь, — задумчиво говорил Башка, глядя на переливы пламени. — Это стихийное начало, с одной стороны... с другой, символ очищения, прообраз домашнего очага, величайшее приобретение для ветхого человека и неутомимый работник для нового.

Медальон цитировал греческих и римских авторов, припоминая места, где говорили об огне, а Башка сидел и думал, думал без конца, как думается только в осенние непроглядные ночи. Ни отца, ни матери он не помнил; они умерли разом в сорок восьмом холерном году. Дядя свез его восьми лет в бурсу, и с тех пор Башка жил своим умом. Много перенес он за двенадцать лет бурсацкой науки и холода, и голода, и всяких других напастей, и в конце концов выработался из него чистокровный семинарский «башка». Чем только он ни был, проходя через это бурсацкое чистилище: архиерейским исполатчиком, кадило- и свещевозжигателем, канонархом, иподьяконом, архиерейским басом, потом служил в консистории, в акцизном ведомстве, при полиции, на золотых промыслах, в городской управе и т. д.

— Не сносить тебе головы, братец, — говорил Башке один старичок, семинарский профессор, — винта не хватает одного в мозгах... Очень уж ты башковат, своя сила одолит, да и гордости этой в тебе через меру.

Действительно, в голове у Башки недоставало какого-то винта. С блестящими способностями, с философской складкой ума, выносливый, изобретательный, он принимался за десятки специальностей, быстро делался общим любимцем, а потом так же быстро ссорился со всеми, бросал дело и уходил на улицу, которая всегда кормила и поила его. В минуты раздумья Башка сам сознавал, что пропадает ни за грош, но переломить себя не мог: его вечно грыз бес ненасытной гордости, точно какая скрытая зараза. Конечно, Башка страшно пил, пил с двенадцати лет, но что могла значить водка для его железной натуры? Он пил с тоски, которая неотступно сосала его. Даже успех не радовал его, а наводил уныние: он, который чувствовал в себе силу сдвинуть гору, должен был «ловить мышей», как выражался Башка. Сознание собственной силы и превосходства над окружающими сделало его несчастным, как и многое множество других талантливых русских выродков, кончивших роковым «общим знаменателем», как называл Башка кабак.

В жизни Башки был один ничем не объяснимый пробел: для него женщины почти не существовали, или,

вернее, существовали, как печальная физиологическая необходимость. Радужный ореол, которым окружали женщину поэты всех стран и народов, для Башки был дребеденью и чепухой; он видел только баб, самый вздорный и ничего не стоящий народишко, который в природе служит только переходной формой и, как таковая, носит в себе все недостатки переходного существования. С физической стороны Башка относился к женщине брезгливо, с тем презрением, которое выработала в нем тяжелая практика; как философ, он их ненавидел, как ненавидит каторжник цепи даже на других. О любви и вообще нежных чувствах Башке не приходилось задумываться, и в нем жил какой-то подвижнический, почти аскетический дух. Не помня матери и не имея семьи, Башка вырос дикарем и частенько подумывал о монашестве.

Случайная встреча с Фигурой и Медальоном произвела на него какое-то смешанное впечатление: чем ближе он знакомился с Фигурой, тем сильнее ее презирал, и чем больше ее презирал, тем больше любил Медальона, этого гимназического башку в зародыше, в бесконечном приближении к своему первообразу и идеалу, точно Башка видел в Медальоне часть самого себя, именно ту часть, которой ему недоставало. Как ни странно сказать, Башка питал к Медальону отечески нежные чувства, точно сам он физически хотел продолжиться в этой жидкокостной натуришке. Сначала Башку до глубины души возмущали телячьи нежности в отношениях Фигуры и Медальона; эти нежности шокировали и коробили Башку, но вместе с тем пред ним страница за страницей раскрывался совершенно неведомый мир, мир неиспытанных ощущений. Фигура любила Медальона, и это неизведанное чувство Башка переживал в отраженной форме. Им овладела какая-то новая тоска, точно он что-то потерял такое хорошее и дорогое и, вместе, такое чистое... Да, это было новое чувство, и Башка боролся с ним молча, сосредоточенно, как борются в темноте со смертельным врагом, который напал сзади.

— Вздор... глупости! — ворчал Башка, схватывая себя за голову.

Разве он мог любить грязную, истасканную Фигуру, столько же походившую на женщину, как стоптанная, валяющаяся дырявая калоша где-нибудь на улице походит на настоящую обувь. Башка был слишком силен физически, чтобы не чувствовать физического отвращения к Фигуре, хотя это чувство и не мешало ему видеть в ней другую женщину, именно ту, которая еще так недавно блестела своей свежестью, женщину, которая одной улыбкой могла сделать человека счастливым. Просиживая ночи у постели больной, Башка припоминал плохонький провинциальный театр, из райка которого он любил смотреть на сцену, и на этой сцене он припомнил Фигуру. Да, это была она — улыбающаяся, заражавшая публику своим весельем, а теперь... Даже философски-организованный ум не в состоянии помириться с таким беспощадным превращением, как не помирится он с вином, потерявшим свой букет, — оставалась одна форма, а содержание улетучилось.

А Фигура все лежала с закрытыми глазами, и Башка не один раз думал, что она уже умирает. Его схватывала какая-то злоба от сознания своего полного бессилия пред творившимся на его глазах актом природы; он, с своим железным здоровьем, суровый и непреклонный, был здесь слабее ребенка и, как ребенок, только мог ждать. Одна ночь особенно была тяжела, но эта ночь имела благодетельный исход. Фигура заснула в первый раз спокойным сном выздоравливающего человека и наутро в первый раз попросила есть.

— Мне лучше, — прошептала она и пожала руку Башке.

Это невольное движение испортило все дело: Башка даже пожалел, что Фигура не умерла, и озлился на себя, зачем напрасно терял время в этом подвале. Главное, Башка почувствовал себя как-то необыкновенно глупо, и ему сделалось совестно даже пред выздоравливавшей.

Наступила новая полоса. Башка начал теперь пропадать по целым дням и являлся на квартиру к Медальону только вечером. Выздоровление Фигуры подвигалось вперед быстрыми шагами, молодой организм

брал свое; она уже могла сидеть на постели и все придумывала разные необыкновенные кушанья.

— Знаете, что мне кажется? — говорила однажды Фигура, когда Медальон и Башка сидели у топившейся печки и мечтали. — Мне кажется, что я родилась во второй раз... Я как-то проснулась здесь днем одна, и вдруг мне представилось, что я маленькая девочка, совсем маленькая, когда ходила в коротеньких платьицах и в панталонах с кружевной оборочкой. Да... Это так было смешно. И рубашка на мне была такая тонкая и чистая, настоящая батистовая, летнее платьице из дешевенькой кисеи с маленькими такими розовыми мушками, а волосы на голове были подвязаны одной ленточкой, — и больше ничего. Ведь это во сне все... да. И сама я такая легкая сделалась, и хорошо мне так, что я даже засмеялась про себя.

Этот рассказ просто взбесил Башку. Он схватил свою шапку и, не сказав никому ни одного слова, убежал из подвала.

— Что это с ним такое сделалось? — недоумевала Фигура.

— А кто его знает, — равнодушно ответил Медальон. — Он ведь вообще довольно странно себя держит.

Башка жестоко пил весь вечер в «Плевне», раскаялся во всех своих вольных и невольных прегрешениях Корнилычу и, облегченный этой добровольной исповедью, дал слово своему закадычному благоприятелю, что больше никогда не заглянет к Медальону.

— Ну их к черту! — коротко заметил Корнилыч.

— Беленькое платьице... Батистовая рубашка... Слышишь? И рубашка беленькая! Ха-ха!.. Говорит, во сне видела... Этакая подлая душонка! И ленточка... тьфу!..

Пьяный Башка проклинал всех баб вообще, а на другой день вечером опять сидел в подвале у Медальона и сурово курил один крючок махорки за другим. Он шел мимо и зашел погреться — не больше. С Фигурой он не говорил ни слова и точно совсем не замечал ее присутствия, а когда уходил, то так сильно хлопнул дверью, что та соскочила с последней своей петли. Это обстоятельство задержало Башку в подвале дольше, чем он предполагал, но он все-таки до конца выдержал

характер и не проронил с Фигурой ни одного словечка. Очутившись на улице, Башка долго бродил и все что-то обдумывал, ругаясь про себя.

— Нет, это уж благодарю покорно! — думал он вслух, шагая по молодому снежку, который своей белизной опять напоминал ему о проклятой беленькой рубашке. — Дудки!.. К черту!

Башка в последнее время работал самым лихорадочным образом и успел обделать сотни ловких дел. Из-под его пера летел целый град прошений и всяческих кляуз во всевозможные инстанции. Денег у него было много, и, между прочим, он успел достать Медальону место писца у нотариуса. Словом, работа кипела. По вечерам Башка иногда захаживал в подвал к Медальону погреться, выкуривал несколько папирос и исчезал. К Фигуре он относился с прежней суровостью, а между тем она уже могла бродить по комнате и с удовольствием сидела перед печкой. Болезнь совсем изменила ее. Пьяная одутловатость исчезла, лицо вытянулось, кожа побледнела, глаза смотрели чистым светлым взглядом, как у проснувшегося ребенка.

— Теперь уж кончено, — в сотый раз повторяла Фигура. — Я водки больше ни-ни... У тебя теперь есть место, и я тоже найду занятия. Поступлю суфлером в театр, возьму место приказчицы, словом, устроимся.

Эти планы поверялись и Башке, который только иронически улыбался. Он теперь занят был исключительно философскими соображениями и постоянно спорил с Медальоном, то есть, вернее, придирался к нему и постоянно разбивал его по всем пунктам. Раз такой разговор перешел в настоящую ссору.

— Ничего вы, медальоны, не понимаете — вот что! — обрезал Башка. — Ну, что вы за народ, если разобрать? Плюнуть — и растереть нечего, вот и весь разговор.

— Однако ты, Башка, довольно сильно выражаешься сегодня, — заметил Медальон, задетый за живое.

— А вы привыкли, чтобы вас по головке гладили?.. а? — зарычал неожиданно Башка. — Какой-нибудь издохлый гимназистишко и философия... Ха-ха!..

— Послушайте, это невежливо наконец, — заметила от себя Фигура.

— Не-веж-ли-во? — переспросил с расстановкой Башка, побелев от охватившей его злости. — А тебя, Фигура Ивановна, кто спрашивает?.. К черту!.. Слышала?.. А то я, без церемонии, за хвост да об стену...

Башка разругался напропалую и, как все неправые люди, старался выместить свою злость на ни в чем не повинном Медальоне, который скоро замолчал, что уже окончательно вывело из себя Башку.

VI

Дела в «Плевне» шли всё под гору, что завсегдатаи объясняли отщепенством Башки. Он, правда, бывал в «Плевне», и даже очень часто бывал, но это было «то, да не то», потому что душой он уже не принадлежал к ней, как это было прежде.

«И точно на меня затмение тогда нашло какое, — раздумывал с горечью про себя Ванька Каин, пересчитывая выручку. — Ну, чего стоило дать тогда Башке опохмелиться, ну, какой-нибудь стаканчик — плевать, а теперь вот и ожигайся...»

С другой стороны, Ваньку Каина точно какой бес подталкивал не покоряться Башке ни под каким видом. «Эка важность, и без него проживем: было бы болото, а черти будут!» Наружно он был вежлив с Башкой попрежнему, хотя и не умел скрыть оборотной стороны этой вежливости, выжидая только случая отомстить Башке по-настоящему. Эти жестокие мысли в Ваньке Каине поддерживались еще больше плохой выручкой, которая даже перед рождеством не поправилась, хотя это было самое бойкое время. К довершению всех бед, чуть не под носом у Ваньки Каина открывался другой кабак, что, очевидно, было делом рук все того же Башки.

— Это даже весьма обнакновенно, — рассуждал Ванька Каин в своей компании с видом угнетенной невинности. — И поговорка такая есть: «Не поя, не кормя, ворога не наживешь». Оно все так и выходит: за мою хлеб-соль да меня же Башка и подводит. Прежде

прошения писать сколько мужиков в «Плевну» ходило, так и прут, как в окружной суд, а теперь, видно, шабаш, как обрезало... А все за мою доброту, да, — прибавлял Каин многозначительно.

Завсегдатаи «Плевны» тоже чувствовали себя не особенно весело, потому что и у них дела без Башки сильно пошатнулись, а главное, уж не было прежнего духа. Про себя они тоже обвиняли в своих неудачах Башку, обвиняли в таких проступках, о которых он не мог знать даже «сном-делом». Так, Корнилыч проигрывался на биллиарде — рука стала не тверда и глаз притупился, а он обвинял в этом обстоятельстве Башку; Трубе где-то в харчевне крепко наломали бока за его гривенку — и тоже Башка был виноват. Даже безответный Хохлик, и тот, ложась с пустым желудком, не раз был огорчен странным поведением своего недавнего покровителя.

Раз, незадолго до рождества, выдался для «Плевны» особенно плохой день. Снег так и ходил по улицам белой стеной, холод был страшный и пробирал до костей в самых теплых шубах, а у завсегдатаев на троих не было даже теплой шапки. Приходилось сидеть в «Плевне» и ждать, не подвернется ли какой хороший человек. А тут еще, как назло, мимо «Плевны» шли и ехали с разными покупками к празднику: тащили гусей, ломти замороженной свинины, всяческую другую снедь, точно с специальной целью непременно подзадорить щелкавших зубами завсегдатаев.

— Хоть бы Башку черт принес! — ворчал Корнилыч, тоскливо поглядывая на отворявшуюся дверь. — Сказывают, в шубе щеголяет и с бобровым воротником.

— Ах, пес! — ругался Труба. — Ведь вот, подумаешь, какое другим людям счастье привалит.

В момент наибольшего отчаяния в «Плевне» появляется Фигура; она сильно навеселе и держит окоченевшими от холода руками какой-то бумажный сверток.

— Башка здесь? — спрашивает Фигура самого Ваньку Каина, который смотрит такими глазами, точно сейчас хочет проглотить ее живьем.

— Был, да весь вышел, — отвечает он в галантерейном тоне.

— Мне бы поговорить с вами нужно...

— Говорите.

— Нет, здесь нельзя; у меня секрет.

Каин отлично знал эти секреты своих посетителей и только указал головою на дверь в свою комнату, куда Фигура и шмыгнула с проворством ящерицы. Отдыхавшая на перине Акулина Митревна встретила посетительницу самым неприветливым образом, не говоря ни слова, вырвала у ней из рук бумажный сверток и сердито принялась обрывать бумагу, вытаскивая на свет что-то белое.

— Может, ищо украдено, — говорила Акулина, растягивая перед окном тонкую батистовую женскую рубашку, отделанную кружевами, а потом кисейное белое платье с розовыми мушками; из средины упала на пол тоненькая голубенькая ленточка. — Ищо в суд потащут за краденое-то. Нет, матушка, не надо... у нас не такое заведение, штобы краденым промышлять.

— Могу вас уверить, что это не краденое, — уверяла Фигура. — Что дадите, то и возьму.

— Сказывай сказки-то, знаем мы...

В сущности у Акулины глаза разбежались на хороший заклад, но она не могла отказать себе в удовольствии поломаться над ненавистной Фигурой, которую так бы и смазала прямо по роже. Акулине давно хотелось иметь кисейное платье, а то она летом ужасно потела, а теперь платье само прилетело к ней.

— Откедова у тебя такому платью взяться? — тянула Акулина, снова прикидывая на свет и рубашку и платье.

— Да ведь это для вас все равно: мое, и только.

— Твое!.. А купи его да надень, в полицию и представят. Это как?

— Ах, боже мой!.. Я дешево отдам...

— Не надо, — обрезала Акулина, свертывая комом платье. — Наживешь греха-то с вашим братом. Проваливай подобру-поздорову!

— Послушайте, я даже скажу вам, от кого это платье, только, пожалуйста, не рассказывайте никому...

— Ну?

— Мне подарил все это Башка... Да. Он такой странный... Вчера я вечером была дома одна, Медальон

еще не пришел со службы, слышу шаги Башки... Я знаю его походку хорошо. Ну, я нарочно и притворилась спящей и думаю: что он будет делать? Ей-богу, только он вошел в комнату, видит, что я одна и сплю, подкрался ко мне и спрятал под подушку вот этот самый сверток, а сам убежал. Честное слово, не вру, вот ни капельки не вру! Уж что ему за фантазия пришла — не понимаю...

— Сколько тебе под заклад-то?

— Дайте пять рублей... Ведь эти две вещи стоят больше двадцати.

— Два бери.

— Помилуйте, ведь эти вещи из магазина.

Торг закончился на трех рублях, и Фигура, зажав бумажку в руке, отправилась прямо в комнату завсегдатаев и сейчас же спросила три бутылки водки и закуски.

— Господа, мы сегодня кутим! — приглашала она компанию. — Да вы не стесняйтесь, пожалуйста... Ха-ха!.. Ну, первая колом, вторая соколом, а потом мелкими пташечками полетят.

«Плевна» закутила. Корнилыч и Труба позабыли все невзгоды и сосали рюмку за рюмкой; безответный Хохлик тоже «поддерживал компанию». Но всех великолепнее, без сомнения, была сама виновница этого импровизированного торжества, то есть Фигура. Она быстро опьянела и косневшим языком, улыбаясь, рассказывала разные анекдоты о Башке и, между прочим, сама же первая разболтала со всеми подробностями историю последнего подарка Башки.

— Он славный, — тянула Фигура, делая неопределенный жест рукой. — И ленточку голубенькую не забыл... Ха-ха!.. Это я ему сама рассказала... когда была маленькая... да-а!.. Чему вы смеетесь?

Подогретая вином и общим вниманием, Фигура принялась рассказывать о Башке в лицах, кривлялась, размахивала руками и несколько раз чуть не растянулась на полу. Это даровое представление надрывало животики всей «Плевне», так что сам Ванька Каин хохотал над Фигурой до слез.

— Ох, будь же она проклята, язвина! — шептал он в умилении, утирая катившиеся от смеха слезы. — Не-

даром сказано, что «баба хмельная — вся чужая»... Ай да Башка, молодца!

В самый разгар этого веселья, когда вся посторонняя публика приняла в нем оживленное участие, в «Плевну» вошел Башка. Ванька Каин пальцем подозвал его к стойке, вынул из шкафа купленный у Фигуры сверток и, развернув покупки на стойке, спросил:

— Узнаешь супрызец-то? Ха-ха!.. Погляди-ка ступай, как твоя-то Фигура представляется.

Башка в первое мгновение совсем ошалел от этой приятной неожиданности, и Ванька Каин втолкнул его в комнату, где Фигура в десятый раз представляла в лицах переделанный по-своему анекдот о подарке Башки. Публика аплодировала и задыхалась от смеха, а Башка, бледный как полотно, смотрел на нее дикими, остановившимися глазами.

— Видел?.. а?.. — спрашивал Каин, наклоняясь к самому уху Башки.

— Видел.

— И это правда все?

— Правда.

Завсегдатаи, заметив стоявшего в дверях Башку, вдруг присмирели и начали один за другим отодвигаться от пьяной Фигуры, которая уже не могла ничего видеть.

— Ну-ка, закати ей хорошего раза, — поджигал Каин осовевшего Башку и даже легонько подталкивал его вперед. — Да ну, взвесели ее, шельму!

Башка через плечо посмотрел на Каина как-то так странно, улыбнулся и, не сказав ни слова, пошатываясь, пошел к двери.

— Постой! Куда ты! — кричал Каин. — Шапку-то хоть возьми, ежова голова!

Но Башка ничего не слыхал и шагал уже далеко, чувствуя, как его голова и без шапки горит огнем.

После этого Башку больше не видали в «Плевне», он исчез навсегда из Пропадинска.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

Роман в пяти частях

«Приваловские миллионы» — первое крупное произведение Д. Н. Мамина-Сибиряка. В нем писатель выступил как выдающийся художник-реалист и демократ, сумевший в ярких образах и картинах показать жизнь капиталистического Урала в ее своеобразии и противоречиях.

Впервые роман «Приваловские миллионы» был напечатан в 1883 году в журнале «Дело», №№ 1—5 и 7—11. Однако начало работы над ним относится к студенческому периоду жизни Мамина-Сибиряка в Петербурге (1872—1877). Об этом свидетельствует сам автор в автобиографической заметке (1886): «В Петербурге... три последних года перебивался работой в газетах и мелких журналах — был репортером, печатал мелкие рассказы и повести. В это время писались рассказы и повести для «толстых» журналов, но они возвращались «за неудобностью». Такие неудачи, однако, не мешали начинающему автору высиживать большой роман «Приваловские миллионы», который с небольшими перерывами писался около 10 лет».

Замысел первоначально был значительно шире того, который осуществлен в окончательной редакции романа. В той же автобиографической заметке Мамин-Сибиряк пишет: «...тема этого романа была задумана очень широко, и, собственно, в настоящем своем виде «Приваловские миллионы» представляют только последний заключительный роман из тех трех, которыми автор предполагал в исторической последовательности очертить преемственное развитие типов уральских заводчиков. В первом романе выступал основатель и родоначальник всей фамилии Тит Привалов, один из тех удивительных типов «первых заводчиков»,

коих создал XVIII век на Урале: ум, железная воля, самодурство, жестокость, дикое великодушие — одним словом, добро и зло в этих людях перемешалось самым удивительным образом. Этот первый роман должен был закончиться пугачевщиной, которая захватила уральские заводы. Во втором романе, действие которого относится к сороковым годам настоящего столетия, фигурируют выродившиеся наследники; это время беспримерной по своей чудовищности роскоши, мотовства и всяческого безобразия, не сдерживаемых ничем. В этих рамках должен был выступить разгар крепостного режима, как он вылился специально на Урале. В третьем романе, который напечатан — «Приваловские миллионы», — выведен последний из Приваловых, человек, который несет в своей крови тяжелое наследство и который под влиянием образования постоянно борется с унаследованными пороками... Таким образом, эта приваловская эпопея должна была захватить собой полный цикл развития приваловского типа, и, конечно, голая тема еще не дает того, что должно было вылиться в формах, красках и действии».

Недостаточное знание жизни и недостаточный писательский опыт, а также, очевидно, и материальная нужда были причиной того, что Мамину-Сибиряку не удалось в то время осуществить свой замысел. Но писатель работал много и напряженно. «Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа, — сообщает он в автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко». — То была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности». Рукописи этого времени — по свидетельству писателя их было много — не сохранились.

Интенсивная работа над «Приваловскими миллионами» продолжалась и после 1877 года, когда писатель снова вернулся на Урал. Этот период имел особенно важное значение для создания романа. Именно в это время прежние юношеские впечатления от поездок по уральским заводам и приискам, от путешествий по реке Чусовой, по свидетельству самого автора, дополнялись «новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом». От этого периода работы писателя над романом сохранилось пять рукописей и план романа, озаглавленный «Каменный пояс».

Первая рукопись, имеющая название «Семья Бахаревых» (хранится в Свердловском областном архиве), относится, повиди-

мому, к 1878 году. Хотя основной сюжетный узел «Приваловских миллионов» — борьба капиталистических хищников из-за приваловского наследства — отсутствует в «Семье Бахаревых» и Привалов здесь — простой агент по продаже хлеба, однако «Семья Бахаревых» представляет собою этап в творческой истории «Приваловских миллионов». Ряд героев «Семьи Бахаревых» — Привалов, Бахаревы, Ляховские, некоторые второстепенные персонажи, а также ряд ситуаций, сцен и картин вошли затем в окончательную редакцию «Приваловских миллионов».

В «Семье Бахаревых» писатель, следуя великим традициям революционно-демократических писателей-шестидесятников, ставит, как одну из основных тем, тему угнетенного, обездоленного народа. «Я человек не особенно чувствительный, — говорит доктор Толмачев, один из персонажей романа, — а другой раз, глядя на этакое житье-бытье, просто слеза прошибала... Бедность, непроходимая, непролазная бедность, а ты ему капельки должен прописывать, когда ему надо прописать света, воздуха, тепла, хлеба! Нет, как хотите, а у меня просто всю душу переворачивало иной раз, и я проклинал все и всех на свете, кто и что отнимает у этих бедняков солнечный свет и заработанный собственными руками хлеб! Нет, бедный наш народ, несчастный народ — и мы его не знаем, и он совершенно справедлив, что не признает нас».

«Семья Бахаревых» — законченное произведение. Есть основания предполагать, что писатель пытался его напечатать. Так, в письме к родным от 23 апреля 1878 года он сообщал: «...роман свой я послал, наконец, буду ждать ответа в середине или конце мая» (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).

В 1879 году в черновую тетрадь Мамин-Сибиряк записывает новый план романа, озаглавив его: «Каменный пояс. Роман Дмитрия Рассказова. 1879» (местонахождение рукописи не известно, план опубликован в сборнике «Урал», 1913).

Из этого плана видно, что писатель не только значительно изменяет композицию «Семьи Бахаревых», вводит новые лица, но изменяет и основную тему произведения, так что она становится более близкой к окончательной редакции романа. Привалов теперь — наследственный миллионер; угнетаемый мыслью, что его миллионное наследство создано на крови сотен тысяч трудящихся, он желает «расплатиться» с народом, обобранным и обездоленным его предками. «Я хотел заплатить большой долг, который лежал на моей совести, я хотел заплатить за три поколения моих отцов», — говорит Привалов.

В этом плане еще резче подчеркиваются социальные контрасты: «...толпы бурлаков — перекатная голь, захудалые, обросшие, грязные, голые, беднее самой бедности... Голод, нищета, дети, жены...

Обед бурлаков: заплесненный, черный, как камень, хлеб опускается в бурак и приправляется горячей молитвой...

Вот фундамент богатств Ляховского, Архарова и других».

Кроме этого плана, имеются также две (незаконченные) рукописи «Каменного пояса» (Свердловский областной архив). Над ними автор работал, очевидно, в 1879—1881 годах.

Из этих рукописей видно, что писатель теперь нашел сюжетную основу романа. Борьба капиталистических хищников за находящееся под опекой миллионное приваловское наследство, стремление Привалова избавиться от опеки, чтобы получить возможность «расплатиться» с народом, ограбленным предками, и осуществить экономические мероприятия в деревне — таков тот сюжетный узел, который был найден и который должен был связать воедино всех основных героев романа.

В следующей рукописи, имеющей заглавие: «Сергей Привалов. История одного наследства. Часть вторая», относящейся, видимо, к 1880—1881 годам, писатель пытается развернуть этот сюжет в большое художественное полотно. Однако по неизвестным причинам он прекращает работу, не осуществив замысла.

Успех напечатанных в 1881—1882 годах произведений Мамина-Сибиряка — «В камнях», «Все мы хлеб едим...», «Старатели», «От Урала до Москвы» — вызывает новый творческий подъем у писателя. С 1881 по 1882 год он напряженно работает над романом, который теперь уже носит название: «Приваловские миллионы» (рукопись хранится в Свердловском областном архиве). Находясь с августа 1881 по апрель 1882 года в Москве, Мамин-Сибиряк почти в каждом письме к родным сообщает об этой работе над романом.

«Сижу и пишу рассказы и дописываю роман, которого хватит надолго», — сообщает он 26 ноября 1881 года. В этом же письме он просит родных передать местному жителю Е. Я. Погадаеву, который «представляет из себя ходячий склад разных историй, случаев, таинственных происшествий», просьбу сообщить ему некоторые сведения из уральского быта. «Главное, пусть об екатеринбургских раскольниках напишет, да о Зотовых», — добавляет он.

«Теперь одной рукой пишу роман, а другой — мелкие рассказы», — сообщает он в декабре 1881 года. А в письме к матери

от 15 февраля 1882 года отмечает: «В настоящую минуту кончаю свой роман...» (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).

Но закончил его Мамин-Сибиряк значительно позже, уже вернувшись в Екатеринбург.

31 октября 1882 года он писал из Екатеринбурга брату Владимиру: «Сегодня посылаю четвертую часть своего романа в «Дело», а пятую доканчиваю. Не знаю, удастся ли поместить в январе» (Центральный государственный литературный архив — ЦГЛА).

В сентябре 1883 года роман был закончен. На последнем листе рукописи имеется запись: «Конец. Д. Сибиряк. — Кончена эта рукопись в г. Екатеринбурге, в Колобовской ул., в д. Алексеевой. 1883 г., 2 сентября, в 1 ч. 35 м. пополудни».

О том, что роман был принят редакцией журнала «Дело», писатель впервые узнал из журнального объявления. «Милый Володя, — писал он брату, — сего 22 декабря в первый раз прочел объявление «Дела» на 1883 г., где в первую голову стоит: «Приваловские миллионы», большой роман из жизни золотопромышленников, Д. Сибиряк. Понимаешь, мой роман, значит, принят (ответа редакции до сих пор не получил; или потерялось на почте, или милая небрежность редакции)... Это рождество для меня лично является праздником праздников, потому что труд десяти лет принят и принесет плод» (ЦГЛА).

Современная писателю буржуазная критика не оценила роман. 6 марта 1883 года Мамин-Сибиряк писал брату: «Мой печатающийся в «Деле» роман «Приваловские миллионы» встречен критикой холодно, и, думаю, ему не будет теплее и на конце» (ЦГЛА).

Между тем демократические читатели с большим интересом встретили роман. Брат писателя Владимир, тогда студент Московского университета, писал: «Вся екатеринбургская колония с величайшим интересом следит за романом».

«Глеб Успенский остался очень доволен моими «Приваловскими миллионами», поелику в них «все типы», — писал 11 декабря 1883 года Мамин-Сибиряк брату Владимиру.

В «Приваловских миллионах», как и в других своих произведениях, писатель с большой художественной силой отразил важнейшие процессы, происходившие на Урале после реформы 1861 года, — шествие капитала «хищного, алчного, не знавшего удержу ни в чем» («Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», 1937, стр. 166). Заслуга писателя состояла в том, что он в годы народнической пропаганды о некапиталистическом пути

развития России сумел увидеть и отобразить в своем романе проникновение капитализма во все сферы тогдашней русской жизни.

Подготавливая «Приваловские миллионы» в 1897 году для отдельного издания, писатель еще раз провел большую работу над романом. Он сделал много исправлений и сокращений почти по всему тексту, изъял ряд эпизодов и сцен, исключил несколько второстепенных персонажей. Кроме того, он полностью опустил 5 глав — XVII из 2-й части и IX, X, XI и XII из 4-й. Писатель решительно освобождал роман от всего, что могло отвлечь читателя от основной темы романа. Некоторые исключенные мотивы и сцены писатель использовал в других своих произведениях.

Большой интерес представляет исключенная характеристика кулака Дорони (начало XI главы журнального текста), из которой видно, как еще в 1882 году ярко изображал Мамин-Сибиряк происходившее под воздействием капитализма расслоение крестьянства:

«Дороня был типом «нового мужика». Сосредоточенная и расчетливая натура до крайности, он ждал только подходящего случая, чтобы «стать на настоящую точку». Это была та сила, которая страшнее всяких других зол, какие сыпались на деревню извне. Свое, домашнее зло, как скрытая болезнь, в сто раз хуже наружных язв, которые у всех на виду. Городской человек, во всяком случае, наживается и рвет куши только при благоприятных обстоятельствах: нет сплоченной организации, нет системы. Даже такие дельцы, как Ляховский, при всей своей последовательности, ничего не стоили рядом с тысячами таких «становящихся на точку» мужиков, каким являлся Дороня. Посторонний человек сорвал свое, взял куш и ушел, а свой человек всегда останется дома, завяжет всю деревню узлом и будет бесконечно сосать своего брата мужика.

Интересно было наблюдать Дороню, каким он являлся в домашней жизни, где все отличительные черты этого нового типа проявлялись с особенной рельефностью. Сам он мало работал черную крестьянскую работу, занимаясь разными «нужными» человечками, то есть бедными мужиками, которые отрабатывали десятерицей полученные от Дорони в трудную минуту пятаки. Но от крестьянской работы Дороня все-таки не отставал, потому что земля еще держала его, как она держит всякого крестьянина, хотя он, видимо, тяготился своим крестьянством, которое совсем не отвечало роившимся в его голове планам. Привалов часто про-

бовал разговориться с Дороней, который обладал замечательной способностью запутывать свою мысль до бессмыслицы, точно он плел какое-то мудреное кружево. С языка Дорони не сходили ничего не выражавшие словечки, которыми он отделывался во всех затруднительных случаях: «пожалуй», «оно похоже» и т. д. Разговоры с Дороней кончались обыкновенно ничем. Тем не менее Привалов не мог не чувствовать, что к нему лично Дороня относится с специально-мужицким презрением, как к совсем несуразному барину, который захотел тягаться с мужиком, то есть в данном случае захотел помешать ему, Дороне, стать на точку.

— Это прежде, оно точно, деревенские мужики были даже оченно просты, — резонировал Нагибин. — А по нонешним временам... хе-хе!.. В сапожках деревня-то похаживает!.. Да-с... Это только одна видимость, что он мужик, а расковыряй-ка его, да у него в башке-то узоры нарисованы, что только на̀ поди. Тут нонче и по деревням живут».

При переиздании в 1902 году текст романа также подвергся стилистической правке. В письмах Мамина-Сибиряка за этот год к издателю Д. П. Ефимову неоднократно упоминается о том, что у писателя много времени уходит на чтение корректур своих произведений.

В настоящем собрании сочинений роман печатается по изданию 1902 года, с исправлением опечаток по предшествующим прижизненным изданиям.

Стр. 92. *Приписные к заводам крестьяне.* — Так назывались во время крепостного права крестьяне, жившие на государственных землях и приписанные по распоряжению правительства к заводам и фабрикам, на которых они жестоко эксплуатировались их владельцами.

Стр. 117. *...мекленбургскими порядками.* — Мекленбург — немецкая провинция, в которой долгое время сохранялись средневековые сословные порядки, что вызывало сильную эмиграцию крестьянства.

Стр. 221. *...читала «Кириллову книгу».* — Кирилловой книгой называли изданный в 1644 году в Москве сборник статей, направленных против католической церкви; назван по первой статье сборника, связанной с именем Кириллы Иерусалимского.

Стр. 246. *Уставная грамота.* — Составлялась во время «освобождения» крестьян от крепостной зависимости; подписывалась

помещиком и уполномоченными от крестьян и утверждалась мировым посредником, избиравшимся из помещичьей среды (см. также том 1-й настоящего издания, стр. 603).

Стр. 302. *А годы проходят — все лучшие годы!* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скушно и грустно» (1840).

Стр. 335. *...помните Темир-Ленка.* — Тимур Ланг, или Тамерлан (1336—1405) — известный средневековый полководец, основатель обширного среднеазиатского государства.

РАССКАЗЫ

ЗОЛОТАЯ НОЧЬ

Из рассказов о золоте

Впервые рассказ напечатан в журнале «Наблюдатель», № 10, 1884, за подписью: «Д. Сибиряк».

На рукописи, хранящейся в Свердловском областном архиве, имеется помета автора о начале работы над рассказом: «15 мая, 84 г., Екатеринбург».

Еще в ранних произведениях — «Старик», «От Урала до Москвы», «Старатели» — писатель, рисуя жизнь, быт, взаимоотношения старателей-кустарей, показывал, как развиваются капиталистические отношения в приисковом деле, как растет зависимость старателей от крупных предпринимателей-золотопромышленников.

В «Золотой ночи» Мамин-Сибиряк вновь обращается к этой теме. Но здесь уже первым планом он рисует крупных хищников золотопромышленности, борющихся между собой за захват золотоносных участков.

В 1892 году писатель использовал в романе «Золото» описание борьбы под 1-е мая за приисковые участки. Однако он изменил социальный состав борющихся групп, вновь возвратившись к постоянно интересовавшему его вопросу — судьбе старателей и старательских артелей в условиях развивающегося капитализма.

Название городов, селений, рек, упоминаемых в рассказе, не вымышленные, а действительно существовавшие.

При жизни автора рассказ был издан в сборнике «Золотая лихорадка», выпущенном издательством П. И. Певина в Екате-

ринбурге. В этом издании в рассказе имеется много опечаток, искажающих смысл.

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по журналу «Наблюдатель», № 10, 1884, с исправлением вкравшихся в журнальный текст опечаток.

НА ШИХАНЕ

Из записок охотника

Впервые рассказ напечатан в журнале «Вестник Европы», № 10, 1884, за подписью: «Д. Мамин». Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

Тема протестующего против социальной несправедливости горнозаводского человека занимает видное место в творчестве Мамина-Сибиряка («Разбойники», «Не у дел», «Три конца», «Охонины брови» и др.). Однако в произведениях писателя этот протест, как и у главного героя рассказа «На шихане» — Савки, часто носит бунтарский, стихийный характер.

Образ другого героя рассказа — иностранца-управителя Славабогу писатель в общих чертах наметил еще в 1881 году, в неопубликованном при жизни автора очерке «Сестры» (см. 1-й том настоящего издания).

Рассказ «На шихане» получил положительную оценку в № 11 журнала «Русская мысль» за 1884 год. В рецензии отмечалось, что Мамин-Сибиряк «понял душу живую мужика Савки и дает нам уразуметь ее под безобразной оболочкой фабричного замотыги и бродяги... драма, скрытая под лохмотьями Савки, незаметная для постороннего взгляда, самим Савкою неясно осознаваемая и только чувствуемая, — вот что хватает за душу и поднимает в голове тяжелую думу».

При жизни автора рассказ переиздавался в сборнике «Уральские рассказы» (1888, 1899). В 1886 году Киевским отделением Российского общества покровительства животным он был издан (с значительными сокращениями) отдельной книжкой, под названием «Савка».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Уральские рассказы», т. 1, 1905, с исправлением опечаток по предшествующим прижизненным изданиям.

БАШКА

Из рассказов о погибших детях

Впервые рассказ напечатан в журнале «Русская мысль», № 11, 1884, за подписью: «Д. Сибиряк».

Написан рассказ в августе — сентябре 1884 года, о чем свидетельствуют пометы автора на автографе, хранящемся в Свердловском областном архиве. На первом листе имеется помета автора: «24 августа 1884 г. — Екатеринбург», на последнем: «5 сентября 1884 г. — Екатеринбург».

В рассказе «Башка» Мамин-Сибиряк ярко нарисовал образы «бывших людей» и показал социальные причины падения их «на дно». В журнальном тексте, а также в тексте сборника «Уральские рассказы» 1888 года имелось, опущенное в последующих изданиях, высказывание главного персонажа — Башки, в котором с особой силой подчеркивались эти причины: «Что воспитание! Это только частица громадного органического целого. Все мы только мышей ловим... Богатырь Святогор говорил: «Тяжело от силушки, как от тяжелого бремени»... Ты и разумей».

В 1888 году, по выходе в свет 1 тома сборника «Уральские рассказы», куда вошел и рассказ «Башка», рецензент журнала «Русская мысль» (№ 11), подчеркивая реалистичность произведений Мамина-Сибиряка, писал: «Особенную прелесть рассказам г. Мамина придает полная их правдивость, отсутствие деланности или придуманности... Это художественные снимки с натуры, в них настоящая «подлинная» жизнь (как говорит Глеб Успенский) бьет ключом, потому что пересказы об этой «подлинной» жизни одухотворены «подлинным» талантом и к бытию вызваны неподдельной, горячей любовью к тем людям, о страданиях и радостях которых повествует автор».

Рассказ «Башка» был отмечен Л. Толстым. В письме к матери 8 октября 1893 года Мамин-Сибиряк писал: «...один толстовец рассказывал, что Толстой в восторге от моего рассказа «Башка» и сам читал его вслух своей семье» (ЦГЛА).

Высокую оценку дал рассказу М. Горький.

«Башка» — один из лучших рассказов Мамина, — писал Горький. — Это вещь, написанная à la Брет-Гарт о людях «бывших». Один из героев — бывший семинарист, другой — бывший гимназист, героиня — бывшая актриса. Герои — золоторотцы, героиня — проститутка. Описана колоритным языком автора кабацкая жизнь, трущобные нравы. Рассказ производит сильное впечатление, еще

раз доказывая, что иногда и грязь не мешает человеку блестеть алмазами духовной красоты» (М. Горький, Несобранные литературно-критические статьи, 1941, стр. 50—51).

При жизни автора рассказ неоднократно переиздавался в сборниках «Уральские рассказы», а также вышел отдельным изданием в 1901 году в «Новой библиотеке» журнала «Русская мысль».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Уральские рассказы», т. 1, 1905, с исправлением опечаток по предшествующим прижизненным изданиям.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

Роман в пяти частях

Редактор *А. Романов*

Оформление художника *Б. Никифорова*

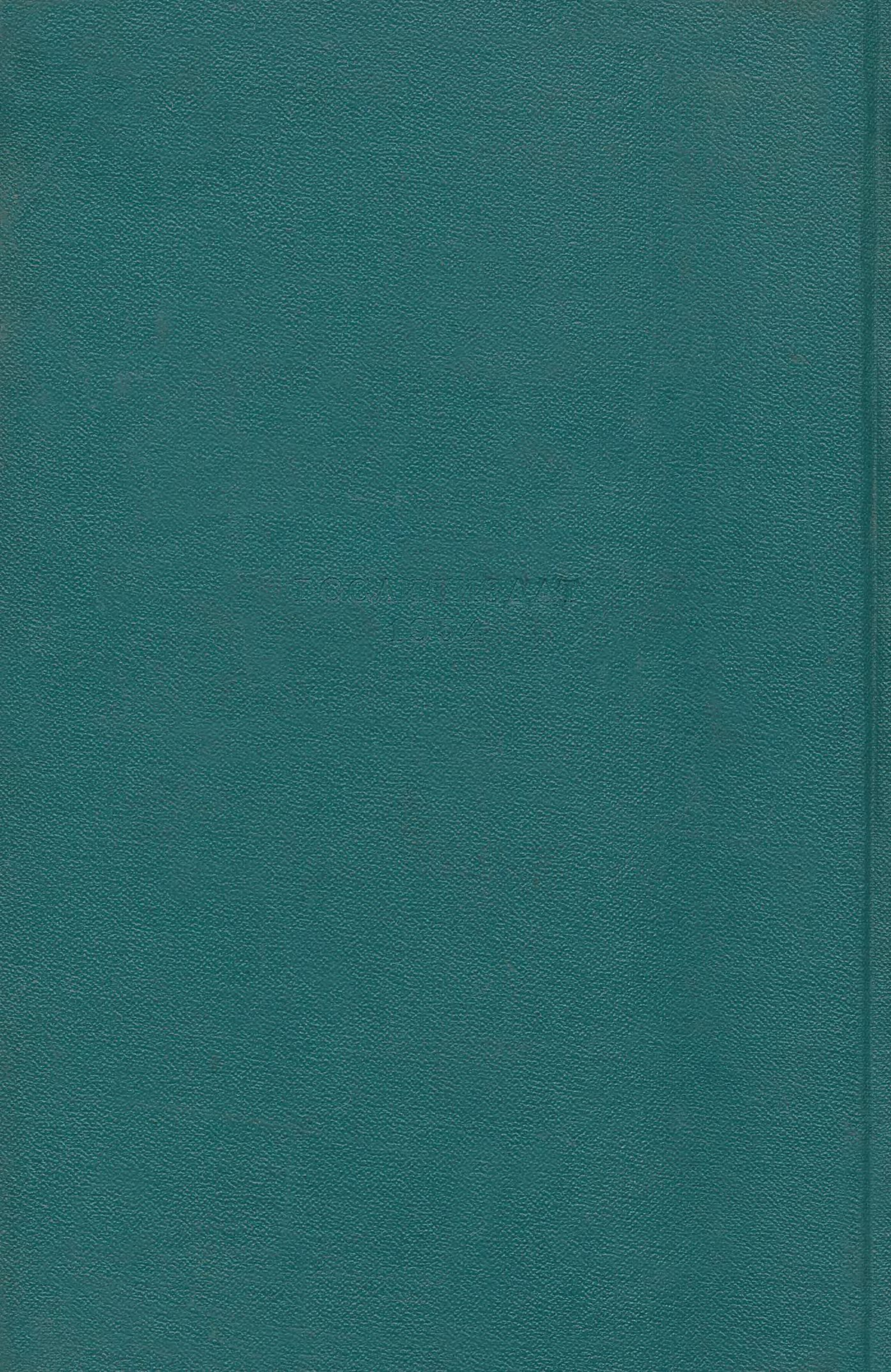
Худож. редактор *К. Буров*. Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Бунчукова*

Сдано в набор 24/XII 1953 г. Подписано к печати 16/III 1954 г. А-01039
Бумага 84×108 $^1/_{32}$—37 печ. л. 30,34 усл. печ. л. 28,409 уч.-изд. л.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 1032. Цена 12 р.

Гослитиздат. Москва, Ново-Басманная, 19

2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького
Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР
Ленинград, Гатчинская, 26.


ГОСЛИТИЗДАТ
1954